

Русская литература

№ 4

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

1990

Издается с января 1958 года

Выходит 4 раза в год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. А. Мысляков. Писарев: романтик реализма	3
И. А. Спиридонова. Степан Разин Василия Шукшина	18
С. И. Кормилов. Русская метризованная проза (прозостих) конца XVIII—XIX века	31

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. Г. Короленко. Письма из Полтавы (предисловие и примечания С. Н. Гуськова)	45
Н. А. Бердяев. Русская идея (примечания В. А. Котельникова)	59
В. А. Котельников. Русская идея как философская и историко-литературная тема	112
Д. П. Святополк-Мирский. Литературно-критические статьи (вступительная статья и примечания В. В. Перхина)	120

УЧИТЕЛЮ-СЛОВЕСНИКУ

О. В. Творогов. Рюриковичи (окончание)	155
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

П. Е. Бухаркин. Об Алексее Владимировиче Чичерине и его трудах	161
А. В. Чичерин. Гневный голос Герцена	167
В. А. Туниманов. О Сергее Александровиче Макашине и его последней книге	170

Г. М. Фридендер. Б. В. Томашевский — теоретик литературы	176
К. Ю. Постоуленко. К истории неопубликованной книги Б. В. Томашевского («Пушкин и французские поэты»)	189

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. П. Степанов. К биографии Ф. Г. Карина	192
Л. С. Саркисян. Об одном «несостоявшемся» жанре русской лирики конца XVIII—начала XIX века (Карамзин и Державин)	196
Р. Г. Назарьян. Рабочие тетради А. А. Дельвига как источник для биографии В. К. Кюхельбекера	202
Л. С. Сидяков. Заметки о стихотворении Пушкина «Герой»	208
С. А. Фомичев. Памятник нерукотворный	214
Б. Н. Тихомиров. Из творческой истории романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (Соня Мармеладова и Порфирий Петрович)	217
История двух писем И. А. Бунина к Г. Т. Шеметилло (публикация Т. А. Геллер).	223
П. Р. Заборов. И. П. Умов — поэт и переводчик	228

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Д. М. Климова. О некоторых нерешенных вопросах текстологии и издания произведений Бориса Пастернака	233
---	-----

ХРОНИКА

А. К. Михайлова. Четвертая Грибоедовская конференция	237
Н. Н. Мостовская. Двадцать пятая Некрасовская конференция	242
А. В. Федорова. Научная конференция «Славянофильство и современность»	246
Р. М. Горохова. Пятые Алексеевские чтения	251
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская литература» в 1990 году	254

Редакционная коллегия:

Н. Н. СКАТОВ (и. о. главного редактора),
В. Н. БАСКАКОВ, Г. Я. ГАЛАГАН (зам. главного редактора), *А. А. ГОРЕЛОВ,*
Г. А. ГОРЫШИН, В. Я. ГРЕЧНЕВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. А. ДМИТРИЕВ, Б. Ф. ЕГОРОВ,
А. И. ПАВЛОВСКИЙ, А. М. ПАНЧЕНКО, В. А. ТУНИМАНОВ, С. А. ФОМИЧЕВ,
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев
 Адрес редакции: 199034, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

ПИСАРЕВ: РОМАНТИК РЕАЛИЗМА

1

Бывают в истории того или иного общества периоды, когда оно с какой-то фаталистической силой влечется к «нас возвышающим обманам», отворачиваясь от «тьмы низких истин», когда кажимость подменяет сущность, слово — дело, когда упадок гримируется под процветание, порок — под добродетель. . .

Писарев рано почувствовал вкус к развенчанию всевозможных «обманов»-идеализаций. Завещанные николаевской эпохой, они проникли во все поры тогдашнего общественного организма, препятствуя свободному разумению жизни, аналитическому взгляду на вещи, активному поиску истины.

Крымская война отчетливо высветила беды страны, приученной пробавляться «безбожной лестью». Многие современники потянулись тогда к отрицающему идеализацию *реализму*. Писарев оказался в их числе.

Прежде всего, реализм потребовал к ответу социально-политические установления. Достаточно ли в них человечности, справедливости? Насколько они обеспечивают долю «сеятеля и хранителя» русской земли? Совершенны ли верховная власть и ее институты?

Далее, перед судом реализма предстали такие «священные принципы», как семья, собственность, государство, личность, творчество. Какими нормами — самоотвержения или эгоизма в его разумных формах — надлежит руководствоваться личности? Как должны строиться ее отношения с обществом, государством? Допустимо ли принуждение в семье? Правомерно ли «чистое» искусство в условиях острого социального неблагополучия?

В общем хоре реалистов-отрицателей 1860-х годов, где особенно выделялись сильные голоса Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Щедрина, у Писарева была своя партия, исполняя которую он был не прочь брать самые высокие ноты. . .

В середине 1870 года И. С. Тургенев записал для себя: «Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть *романтики реализма*. . . Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к *идеалу*».¹

Тургеневский оксиморон, думается, очень «идет» к Писареву, захватывая важные особенности его идейно-психологического облика. Кстати, и сам писатель, припасая эту «диалектическую» характеристику для Нежданова из «Нови», непосредственно соотносил ее с личностью погибшего двумя годами ранее публициста «Русского слова»: «. . .взять несколько от Писарева».²

Мы еще вернемся к тому, что должно было, по Тургеневу, роднить Нежданова (а также Базарова) и Писарева. А сейчас посмотрим поближе на некоторые из характерных положений писаревского реализма, отразивших его противоречивую природу.

«. . .Сущность нашего направления, — формулировал Писарев, имея в виду реализм как тип мировоззрения, — заключает в себе две главные стороны, которые тесно связаны между собою, но которые, однако, могут быть рассматриваемы отдельно и обозначаемы различными терминами. Первая сторона состоит из наших взглядов на природу: тут мы принимаем в соображение только действительно существующие, *реальные*, видимые и осязаемые явления и свойства предметов. Вторая сторона состоит из

наших взглядов на общественную жизнь: тут мы принимаем в соображение только действительно существующие, *реальные*, видимые и осязаемые потребности человеческого организма». ³ Как нетрудно заметить, Писарев объявляет философской основой своей реалистической теории материализм, примыкая к тому течению русской общественной мысли, которое до этого наиболее отчетливо предстало в «Письмах об изучении природы» Герцена и «Антропологическом принципе в философии» Чернышевского. Но уже здесь, на малой площади формулировки, чувствуется та одержимость, та романтическая «жажда» (Тургенев) *реального*, которая заметно отличает публициста «Русского слова» от названных теоретиков материализма. Борясь за «реальное», выражая недоверие всему «нематериальному», умозрительному, «тайному», Писарев объявляет «действительно существующими» («реальными») только «видимые и осязаемые» явления и свойства предметов, только «видимые и осязаемые» потребности человеческого организма. А как быть в этом случае с «невидимым» атомом или же «невидимой» потребностью эстетического наслаждения?

«Непосредственно наблюдаемое», «очевидное» провозглашается Писаревым «каноникой материализма». «Когда я вижу предмет, то не нуждаюсь в дальнейших доказательствах его существования; *очевидность есть лучшее ручательство действительности*. Когда мне говорят о предмете, которого я не вижу и не могу никогда увидеть или ощупать чувствами, то я говорю и думаю, что он для меня не существует. *Невозможность очевидного* проявления исключает действительность существования» (1, 123).

Причины подобных заострений у Писарева объяснимы: это горячее желание демократа-шестидесятника, осознавшего необходимость жизненных преобразований, очистить головы людей от «призраков» схоластики, от теоретических спекуляций; от официальных идеологических прописей. «Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не оуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов» (1, 118). Атаки на «фантазии» и «теории» следовало бы признать справедливыми, если бы они, эти фантазии и теории, сводились бы исключительно к бесплодным умствованиям, мертвым абстракциям. Но ведь среди «теорий», «отвлеченностей», например, и гениальные диалектические умозрения Гегеля. Что же, и их почесть «бесполезною тратою сил» (1, 128)? «Романтик реализма» склонен отвечать на этот вопрос скорее утвердительно, чем отрицательно. Для него философская теория — «метафизика», не представляющая живого практического интереса; «смысл глубочайший науки и смысл философии всей» он усматривает в естествознании, предпочитая Канту и Гегелю Бюхнера и Мошешотта.

Определение «романтик реализма» действительно весьма подходит для феномена Писарева: им захватывается и максималистская увлеченность публициста исповедуемой доктриной, и различимая диссонантность, «оксиморонность» его позиции как идеализатора материально-земного начала — «идеалиста земли», говоря языком Н. В. Шелгунова. Оба эти момента с особой отчетливостью предстают в таком опорном для писаревской концепции вопросе, как проблема личности.

По мысли Е. А. Соловьева («Опыт философии русской литературы»), русская история постоянно грешила отрицанием личности, так что борьба за права последней являлась нервом прогрессивной отечественной мысли и литературы. В самом деле, и Белинский, и Бакунин, и Герцен, и Чернышевский, и Михайловский убежденно выступали за всемерное освобождение личности. При этом речь шла не только об освобождении, так сказать, внешнем — от самодержавно-крепостнического гнета, от ига «темного царства», но и об освобождении внутреннем, нравственно-психологическом — от норм официальной морали, от требований абстрактного долга, от слепого подчинения авторитетам. Касаясь этой стороны дела, лидеры передовой русской интеллигенции обосновывали принцип самоценности, примата личности. Горячего сторонника нашел этот принцип и в лице Писарева.

К «борьбе за индивидуальность», употребляя терминологию Михайловского, Писарева подталкивали и личные обстоятельства (посягательство семьи на свободу его

чувств), и обстоятельства социально-исторические (характерное для «шестидесятых годов» усиление движения за эмансипацию личности). Почитатель «Современника», Писарев, надо полагать, близко к сердцу принял выступления в пользу личности идейных руководителей журнала — Чернышевского и Добролюбова. Первый из них, в частности, писал: «Некоторые предполагают для государства цель более высокую, нежели потребности отдельных лиц, — именно осуществление отвлеченных идей справедливости, правды и т. п. Нет сомнения, что из такого принципа очень легко выводить для государства права более обширные, нежели из другой теории, которая говорит только о пользе частных лиц; но вообще мы держимся последней и выше человеческой личности не принимаем на земном шаре ничего».⁴ Убежденно защищал свободу, самостоятельность личности Добролюбов. «Сохраните же свою личную самостоятельность против всякого авторитета, сохраните свою внутреннюю нравственность против всяких внешних внушений», — обращался он к молодым соотечественникам.⁵ Между прочим, критик «Современника» резко полемизировал с теми, кто стремился «противодействовать» утверждению «реального», «естественного» взгляда на вещи,⁶ сделавшегося вскоре краеугольным камнем писаревского учения.

В статьях Чернышевского и Добролюбова конца 1850-х—начала 1860-х годов Писарева как раз и привлекала тенденция последовательно *реалистически* истолковать все сферы жизни личности, включая сферу этическую. Фейербахианский (материалистический) подход к последней (а также и к области эстетической) у названных мыслителей особенно пленил воображение начинающего публициста.

Оспаривая философию жизни, основывающуюся на принципе самоотречения во имя нравственного долга,⁷ Добролюбов прямо высказался в пользу «эгоизма», но не «узкого», «грубого», а имеющего в подкладке развитие начала гуманизма. Критик «Современника» за то, чтобы человек руководствовался не исходящими извне «велениями» нравственного императива, а «потребностями внутреннего существа своего», вбирающими требования долга только в переработанном «процессом самосознания и саморазвития» виде, в качестве «интенсивно-необходимых» желаний, источника «наслаждений».⁸ Но ведь это значит открывать дверь эгоизму, предвидит возможный упрек Добролюбов. Да, говорит он, но ничего зазорного в этом нет, ибо эгоизм, как свидетельствует жизненная практика, есть главная пружина нашего поведения, врожденное свойство человеческой природы. Все дело лишь в том, каков эгоизм: «мелкий», животный, или же просвещенный, «высший», не замыкающийся в интересах одного «я», допускающий наслаждение «чужой радостью, чужим счастьем».⁹

Мысль о том, что освобождение личности требует всемерного признания ее индивидуальных, «эгоистических» прав, еще более акцентированно и развернуто высказывалась Чернышевским, складываясь в целую теорию так называемого «разумного эгоизма».

По Чернышевскому, эгоизм — в природе человека, и с этим нельзя не считаться, если желать правильно, *реально* смотреть на вещи. Именно в эгоизме — ключ к пониманию всех побуждений и поступков человека, начиная с тех, которые продиктованы интересами собственного «я» (здесь все ясно само собой), и кончая теми, в которых присутствует забота о благе других. Да, и у бескорыстия, настаивает Чернышевский, все та же «эгоистическая основа» (получение большего личного удовольствия или пользы от такого, *бескорыстного*, а не иного поступка).¹⁰ Следовательно, «все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия».¹¹ В связи с этим очень важно то, как понимается, «рассчитывается» индивидуумом его «выгода». Здравомыслящий человек, в частности, сознает, что его интерес не может быть обеспечен сполна без учета интересов других людей. Желая себе пользы, добра (по Чернышевскому-утилитаристу, эти понятия тождественны: «добро есть польза»¹²), «разумный эгоист» непременно

желает добра и пользы другим, иначе он бы и не был «разумным». «Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр».¹³

2

В теории «разумного эгоизма» Писарева прежде всего устраивало отрицание какой бы то ни было нормативности, какого бы то ни было принуждения в делах личности и прямо связанная с этим ориентация на внутреннюю потребность, на свободное желание природы. Он всячески поддерживает мысль, что естественные (в отличие от искусственных, порождаемых социальными аномалиями) потребности и желания нормально развитой личности надлежит удовлетворять, а не подавлять. Подавление, ведущее к утравке желаний, ослабляет нравственность человека, порождая лицемерие; в иных же случаях оно попросту иссушает, мертвит саму жизнь.

Новая этика бросала вызов этике «старой», в частности религиозной, исходившей из дуалистических представлений о борьбе в человеке потребностей «тела» и «души» и рассматривавшей первые как низкие, эгоистические, а вторые — как возвышенные, альтруистические. Во имя нравственности и предлагалось жертвовать первыми, самоотречься.

«Шестидесятники», и в их числе Писарев, вознамерившиеся поставить вопрос об альтруистических, возвышенных поступках человека на реальное, земное основание, решительно встали на сторону «выработанной естественными науками идеи о единстве человеческого организма», отринув всякий дуализм.¹⁴ Едина натура человека, едино и побуждение, «управляющее действиями каждого», — эгоизм.¹⁵ Стремление доказать универсальность эгоистического чувства заставило «шестидесятников», как уже отмечено выше, усматривать его в самых, казалось бы, неэгоистических поступках (самопожертвование в пользу общества, больного друга и т. д.). В конечном счете альтруизм объявлялся все тем же эгоизмом, но только в лучшем, высшем своем проявлении.

Провозглашая настоящим регулятором человеческого поведения принцип разумного «расчета выгод», Чернышевский и его единомышленники выступали тем самым против какого бы то ни было игнорирования интересов личности: последние объявлялись не противостоящими этическим нормам, а вполне согласующимися, сочетающимися с ними. Теория «разумного эгоизма» узаконивала внутренне свободное поведение человека без внушений отвлеченного долга, без предписываемых извне самоотречения и жертвенности («жертва — сапоги всмятку»); она утверждала доверие к человеческой натуре, к ее потребностям, к способности нравственной саморегуляции.

Отличаясь целым рядом несомненно сильных положений, эта теория, однако, содержала в себе и элементы внутренних противоречий. Заметные уже в изложении Чернышевского, они особенно резко обозначились под пером максималиста Писарева, осложнившись к тому же противоречивостью идейного развития публициста «Русского слова». В самом деле, теоретики «разумного эгоизма» делают антропологическую ставку на натуру «нормального» человека, рассматривая его потребности вне контекста общественных императивов. Но ведь человек — существо «социальное» (Герцен). Но ведь функции, которые он призван выполнять, занимая определенное общественное положение, далеко не всегда могут отвечать естественным желаниям его *человеческой* натуры (например, в случае с командиром, вынужденным посылать на верную гибель своих подчиненных). Да и жертву, как таковую, вряд ли возможно практически, реально исключить из человеческого общежития: необходимость достижения тех или иных общих целей способна порождать ситуации, требующие именно самопожертвования отдельного лица. И вряд ли можно утверждать, не будучи *романтиком* принципа, что во всех случаях пожертвование своими интересами, своей жизнью наконец, отвечает видам этого лица, доставляет ему наибольшее «удовольствие».

Писарев с первых шагов начал напористо пропагандировать эгоизм, сочлняя его с лозунгом максимальной независимости личности. «Жить своим умом в свое удовольствие», не поступаться личными интересами ни для каких посторонних, навязываемых извне целей, получать «из каждого своего усилия возможно большее количество наслаждения» (1, 86) — вот основные пункты его программы периода статей «Идеализм Платона», «Стоячая вода», «Схоластика XIX века». Самостоятельное развитие индивидуума, его свобода, говорит публицист, закономерно требуют признания эгоизма: «Эгоизм — система умственных убеждений, ведущая к полной эмансипации личности и усиливающая в человеке самоуважение. . .». В эгоизме осуществляется право каждого человека на радости жизни, на наслаждения, на счастье (1, 185—186).

А как же быть с общими нормами и идеалами? Как согласовать их с личными интересами? Ответ краток и прям: следует просто-напросто отказаться от общих норм и идеалов, которые в той же степени непригодны для индивидуумов, в какой непригодны для них «общие очки или общие сапоги» (1, 83). Принимать «общий идеал», служить «общим целям» — значит «уничтожать» свою личность, впасть в мещанство (1, 84—85). Дальше — больше. Угрозу индивидуальности Писарев усматривает даже в «воспитании», трактуя его как неоправданную ломку личности и предпочитая ему «образование» (см., например, 2, 192—196). В орбиту писаревского негативизма попадают, вслед за идеалами, и общие критерии, принципы, теории.¹⁶ Публицист горячо ратует за то, чтобы «вера в необходимость теории была подорвана в массе читающего общества». Причина? Она все та же: «Строго проведенная теория непременно ведет к стеснению личности» (1, 116). Отвлеченные принципы и теории — удел «идеалистов», готовых «все сломать перед своим убеждением — и чужую личность, и свои интересы, не умеющих взять в толк, «что человек всегда дороже мозгового вывода» (2, 43). Не должно быть ни общих идеалов, ни общих воззрений: «. . . есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д. Которое истинно? Для каждого свое. . .» (1, 135). «Эгоистический» реализм, утрируемый, «нигилизируемый» Писаревым, оборачивается субъективизмом. Развивать теорию «эгоизма», отвергая теории, и утверждать идеал свободной личности, отрицая идеалы, — это ли не свидетельство романтической *мечтательности* Писарева, возникающей как продолжение, как крайний результат его воинствующей *рассудочности*.

Рассудочность, заметим кстати, позволяла ему с разных концов релятивировать этику, в частности оправдывать соображениями «пользы дела» небезупречные в моральном отношении поступки некоторых из передовых деятелей, совершаемые с целью самозащиты от преследований и расправ со стороны предержавных властей. Так, в статье «Популяризаторы отрицательных доктрин» он увлеченно защищает «гибкое» поведение, обманную тактику Вольтера, предлагая судить его, «утилитариста», иной, чем «мистика» Яна Гуса, «меркой». Конечно, рассуждает Писарев, кривить душой, прибегать к «бурсацким» уловкам, быть может, и не совсем хорошо, но в дурно устроенном обществе виноваты все же не те, «которые лгут», а те, «которые заставляют лгать» (4, 156—158). Что-то мешает признать правоту подобных рассуждений. Здравому рассудку здесь вроде бы и просторно, а вот нравственному чувству — тесно, неловко.

Неловко ему было и в узком пространстве ультраэгоистической концепции. После статьи «Базаров» (1862), написанной с позиций указанного «романтического» бунта против общих «принципов», «теорий» и «идеалов» (тургеневский герой пришелся по душе Писареву именно как завзятый «эгоист» и «утилитарист»), публицист «Русского слова» заметно отходит от абсолютизации эгоизма, а точнее, эгоцентризма. Ко времени написания «Реалистов» (1864) в мелодию личной пользы все слышнее вплетается мотив пользы общественной. Трудиться «для человечества и для общества» (3, 12), трудиться «с любовью» (3, 67), получая личное удовлетворение, — вот *урок, задание* «мыслящему работнику», который, по новым представлениям Писарева, во время работы «принадлежит обществу», а во время отдыха — «самому себе» (3, 12). Объявленным прежде вне закона «целям» и «идеалам» возвращаются права гражданства. Что касается, например, «высшей руководящей идеи», то в качестве таковой выдвигается «идея общей пользы или

общечеловеческой солидарности» (3, 63); что же до главной, «конечной» цели, то ею провозглашается разрешение вопроса «о голодных и раздетых людях» (3, 105). Для достижения указанной цели реалист «должен» (!) следовать принципу «экономии умственных сил» (3, 10).

«Личность» не забыта. Но «общество» начинает все более и более властно вторгаться в концепции Писарева, осознавая им не как лишь то, что противостоит личности, а как и то, что взаимодействует с нею, способствуя ее полному проявлению, с одной стороны, а с другой — осуществляя через нее дело своего совершенствования. Отметим в связи с последним моментом, что увеличение числа мыслящих личностей, «реалистов» рассматривается Писаревым как первое условие, как «альфа и омега» социального прогресса (3, 123).

Как же конкретно может содействовать прогрессу мыслящая личность? В писаревском ответе на этот вопрос снова сталкиваешься с той «жаждой» (Тургенев) *реального*, утолить которую невозможно без *мечтаний*. И Писарев мечтает. . . Мечтает о распространении в обществе знаний, в особенности знаний естественнонаучных, как наивернейшем способе достижения желанных преобразовательных целей. В русской жизни наметился порочный круг: «. . . мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны» (3, 9). Разорвать этот круг может только наука. Обеспечение торжества *науки*, а вместе с нею разумных социальных отношений и является делом «мыслящих работников», причем делом, наиболее отвечающим данным историческим условиям (условиям «трудного времени»), наиболее *реальным*.

Не станем говорить об уязвимости писаревской установки на «науку» — это уже привлекало внимание многих, начиная с современников публициста (в их числе — Щедрин и Лавров).

Подчеркнем, что Писарев, оставаясь и теперь защитником «личности» (с этим, в частности, связано его известное возвеличение социальной роли интеллигенции), все отчетливее, все явственнее «поощряет» в ней открытые общественные устремления. Его утилитаризм, как было отмечено выше, приобретает заметно социальную инструментовку, однако и здесь дело не обходится без характерных воспарений писаревской мысли. В частности, ригористически заостренное требование «экономии умственных сил» поставило автора «Реалистов» и «Разрушения эстетики» в крайне противоречивые отношения к искусству.

3

Согласно принципу означенной «экономии», тот крайне недостаточный «умственный капитал», которым располагает русское общество, должен использоваться в высшей степени целесообразно с точки зрения получения *практически* полезных и *неотложных* результатов. Поскольку, рассуждает Писарев, требуемые результаты способны проистечь прежде всего из естественных наук, то на них и надлежит расходовать в первую очередь имеющийся интеллектуальный запас, а вот на искусство в таких его *неполезных* видах, как музыка, живопись, скульптура, «чистая» поэзия, тратиться неразумно. Это роскошь, без которой вполне можно обойтись. Нельзя же, в самом деле, в условиях, когда существуют «не только голодные люди, но даже голодные классы», думать о наслаждении искусством (3, 451; см. также с. 298—299, 485—486).

Итак, необходимо сосредоточиться на решении острейших «нерешенных вопросов»: как обеспечить нищему люд, как освободить личность? Эстетика, по Писареву, здесь не помощница, а потому она и не вправе претендовать на какое-либо признание. Да, собственно, эстетики как общей теории искусства и критики, добавляет публицист, нет (3, 433—435). У каждого своя эстетика — и в указанном значении термина, и в смысле представлений о прекрасном (3, 420). Сфера эстетики — сфера субъективного. Место критериев здесь заступают личные вкусы. В силу этого любые споры о том, выше или ниже

по художественным достоинствам одно произведение другого, беспредметны. (Нельзя, например, доказать, намеренно заостряет Писарев, что «Ванька-Танька» ниже сонаты Бетховена — 3, 470.)

Что касается его собственных вкусов, то в полном соответствии с исповедуемой им утилитарной теорией публицист заявляет о «глубочайшем равнодушии» к тем «отраслям» искусства, которые не являются «орудиями реализма» (скульптура, живопись, музыка, театр — 3, 476). Выдерживая «насмешливый тон» (3, 115), он заявляет о своем неверии в то, «чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества» (3, 114). Отсюда и пародийно выстроенный ряд «гениев», в котором соседствуют «великий Бетховен, великий Рафаэль, великий Канова, великий шахматный игрок Морфи, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря» (3, 115).

Иное отношение у Писарева к литературе, которую, впрочем, он четко делит на две «литературы»: одна, как и названные выше «отрасли» искусства, способна лишь «отвлекать» людей от «общепользуемой деятельности», а потому точно так же отвергается; другая, проявляющая интерес к большим проблемам социальной действительности, отстаивающая передовые идейные позиции или же оказывающая влияние на развитие общественного сознания колоссальностью умственного потенциала, принимается. Отрицание «поэзии» (художественной литературы), следовательно, не абсолютно; оно обусловлено тем, что собой являет «поэт»: «титан» ли он, «потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли»? (3, 95). Талант, поэтическая «искренность», разумеется, «необходимы», но «поэт может быть искренним или в полном величии разумного мирозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он — г. Фет. — В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена» (3, 95—96).

Убежденный в том, что только «мысль», «знания» могут «переделать и обновить весь строй человеческой жизни» (3, 105, 122), Писарев желает, чтобы литература как можно ближе сходилась с наукой. Но поскольку в гносеологическом отношении научные исследования превосходят беллетристические сочинения, постольку «польза» последних определяется, главным образом, популяризацией истин, содержащихся в первых. «... Каждый последовательный реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго замечательных поэтов и чрезвычайно полезных работников нашего века. Эти писатели составляют своими произведениями живую связь между передовыми мыслителями и полубразованною толпою всякого пола, возраста и состояния. Они — популяризаторы разумных идей по части психологии и физиологии общества, а в настоящую минуту добросовестные и даровитые популяризаторы по крайней мере так же необходимы, как оригинальные мыслители и самостоятельные исследователи» (3, 113).

Подходя с означенных позиций утилитарной эстетики к русской литературе, Писарев «без всяких обиняков» отрицает в ее прошлом и настоящем наличие «замечательных поэтов». «У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта» (3, 108). «Зародыши» — Лермонтов, Гоголь, Полежаев, Крылов, Грибоедов. «Пародии» — Пушкин и Жуковский. Впрочем, говоря о современных ему писателях, он готов признать, что между ними «есть несколько умных и добросовестных работников» (3, 109). В их числе, как можно понять публициста, идейные руководители «Современника», автор «Отцов и детей», Достоевский, Некрасов (3, 128).

Оставим в стороне объемный вопрос о просчетах и достижениях «реалистической критики» (3, 107) Писарева. Всего лишь два слова о его отрицательном взгляде на Пушкина в связи с рассматриваемой проблематикой.

Ошибочные позиции в отношении первоклассных писателей и новых, и «отживших» поколений публицисту случалось занимать и ранее, до появления программных «Реалистов». Достаточно вспомнить «Цветы невинного юмора», в которых импульсивный

автор столь же энергично, сколь и несправедливо предпринял «отрицательную работу» (2, 357) по дискредитации Салтыкова-Щедрина. Здесь, впрочем, немалую роль сыграли, что называется, привходящие обстоятельства, хорошо известные тогдашним современникам, включая Щедрина. Развенчивание же Пушкина, с особой целенаправленностью развернутое в статье «Пушкин и Белинский», было напрямую связано именно с концепцией «последовательного реализма» (3, 109), быть может, нигде так явственно не обнаружившей своей искусственности, как в данном случае. «Реализм» и Пушкин не совмещались — тем хуже для Пушкина, азартно посчитал Писарев. Специально полемические цели — борьба с «чистым искусством» — конечно же, сказались на критических заострениях автора «Пушкина и Белинского», но главная причина его серьезных «промахов», определившая, между прочим, и очевидные нигилистические излишества самой этой борьбы, коренилась в недостатках «вчиняемой» им утилитарной теории искусства.

Нетрудно заметить, насколько противоречив и нередко просто нереалистичен в своих эстетических суждениях Писарев-«реалист».

В самом деле, реализм — это последовательная ориентация на действительность, это принципиальное признание, говоря словами Белинского, всего, что есть в жизни и в чем есть жизнь. Писарев стоит горой за такую ориентацию, за такое признание. Но вот беда: следуя принципу «утилитаризма», объявляя «неполезными» и потому лишними, ненужными многие источники эстетических переживаний человека и сами эти переживания, он, не желая того, суживает сферу жизни, усекает многообразие ее слагаемых.

Неправомерно считать «действительно существующими», «реальными» только материальные потребности «человеческого организма» (3, 450), элиминируя из этого круга потребности эстетические. Когда публицист доказывает, что пища и одежда, так сказать, «главнее» симфоний и скульптур, что без первых жить нельзя, а без вторых можно, он явно грешит против корректности в постановке вопроса. Удовлетворение эстетических потребностей — *необходимое* (безотносительно к тому, первое оно, второе или третье) условие человеческой жизни, взятой в ее целостности, в засвидетельствованном социальной историей единстве физической и духовной сторон.

Бороться за эмансипацию личности и «освободить» ее от «эстетики», оставлять ей в удел главным образом естествознание — значит отрицать свое же собственное положение, по которому интересы живого человека важнее рассчитанных на его *пользу* «мозговых выводов». Заметим кстати, что критерием «мне нравится» (писаревский любимец Базаров утверждает его категоричным — «и basta») пользуются у публициста то «реалисты», то «эстетики», вызывая в одном случае его энергичное поощрение, а в другом — не менее энергичное порицание (ср.: 2, 9—10; 3, 58, 63).

Делить литературу на «истинную» и «неистинную» вполне закономерно. Дело, однако, в том, как практически осуществляется деление. Если, например, Пушкин остается вне круга истинных поэтов, рассматривается как «пародия» на них (3, 108), то провозглашаемую особую правду, особый реальный смысл такого деления признать невозможно. Невозможно посчитать достижением «реализма» и положение, отстаиваемое Писаревым вслед за автором «Эстетических отношений...», о служебной роли искусства по отношению к науке. Выше уже цитировалась примечательная в этом плане характеристика Диккенса, Теккерея и других почитаемых Писаревым писателей как «популяризаторов» малопонятных читательской массе научных истин. Писареву кажется, что при наблюдаемой «неразвитости общества» (3, 132) лучшей участи для искусства и желать не следует. Впрочем, в идеале ему видится слияние искусства с наукой. «...Высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит именно в том, чтобы слиться с наукою и, посредством этого слияния, дать науке такое практическое могущество, которого она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами» (3, 131).

Писарев зовет «популяризировать» не «санскритскую грамматику», не «теорию музыки» и не «историю живописи», а, конечно же, естественные науки. Оговаривая этот

момент специально, он даже перечисляет, какие именно дисциплины имеются в виду: «астрономия, физика, химия, физиология, ботаника, зоология, география и геология» (3, 137). Хорошо бы, добавляет публицист, включить в этот ряд те отрасли знания, которые помогают составить понятия и об общественной жизни человека, в частности историю и статистику. Но они еще пока «не достигли научной твердости и определенности» и потому в деле «изучения человека в обществе» должны уступить место непосредственным «жизненным наблюдениям» (3, 138).

Писарев грешит против реализма не тогда, когда определяет объекты популяризаторского внимания художественной литературы (хотя и здесь видна субъективность); необоснованной следует признать саму постановку вопроса о служебно-«популяризаторском» назначении искусства, являющегося такой же самостоятельной формой общественного сознания, как и наука.

Искусство должно служить обществу. Как это справедливо, и как это упрощенно, если под «службой» разумеет преследование лишь целей «чистого» практицизма, интересов лишь данной исторической минуты. Не вдаваясь в подробности специальной теоретической материи, отметим только, что, например, воспевание «листочков», «ручейков», «локонов» любимой и т. д., над которым так охотно иронизировали критики-реалисты за его очевидную-де бессмысленность, бессодержательность, в подлинно поэтических творениях исполнено великой пользы: оно участвует в «воспитании чувств», в эстетическом обеспечении человека.

Ставил ли Писарев перед собой вопрос в такой именно плоскости? Ставил. Его отношение к «неполезным» направлениям и жанрам искусства основывалось на вполне сознательном игнорировании их широкой опосредствованной пользы. «Если же вы мне станете говорить о том, — по другому поводу, но весьма характерно полемизирует он, — что сонаты Бетховена облагораживают, возвышают, развивают человека, и проч., и проч., то я вам посоветую рассказывать эти сказки кому-нибудь другому, а не мне, потому что я этим сказкам ни в каком случае не поверю: каждый из моих читателей знает, наверное, многих искренних меломанов и глубоких знатоков музыки, которые, несмотря на свою любовь к великому искусству и несмотря на свои глубокие знания, остаются все-таки людьми пустыми, дрянными и совершенно ничтожными» (3, 470). Вряд ли, однако, правомерно предлагать искусству держать ответ за то, как используется во всех конкретных случаях предоставляемая им возможность «выпрямления» (употребляя термин Г. Успенского) человека. Между прочим, экзамена на повсеместно и безотлагательно приносимую «пользу» не выдержит и излюбленная публицистом наука (астрономия или теоретическая физика, к примеру). И искусство, и науку нельзя понять и определить через принцип *видимой*, сиюминутной пользы.

Понятно стремление Писарева к трезво-разумному пониманию явлений жизни. Насколько естественно, однако, все в человеке строить на разуме, на рациональном начале? Насколько правомерно, в частности, судить мир эмоций по законам рассудка? Не значит ли это измерять расстояние единицами веса? Как ни доказывай пользу разума и разумность пользы, неизбывны в человеческой жизни «неразумная» любовь, «безотчетное» восхищение соловьиной трелью, «бесполезная» радость созерцания мастерски нарисованного пейзажа.

Присягнув материализму и детерминизму (по ряду причин не всегда в их лучших, диалектических формах), Писарев выказал большое желание все без исключения вычислить, рассчитать, опричинить в человеке, не оставив в нем никаких «идеалистических» тайн. Капищем последних являлась, по мнению Писарева, сфера эстетического. Отсюда призыв (в форме следования Чернышевскому) к «разрушению» эстетики, к растворению ее в «физиологии и гигиене» (3, 423).

Писаревские *теории* и требования *жизни* не всегда совместимы. И эту несовместимость можно наблюдать в случае с самим Писаревым как *живым человеком*.

В Базарове, а затем в Нежданове, по воле автора (и объективно) соотносящихся с Писаревым, Тургенев особо выделил такой момент, как разлад *принципа* и *натуры*.

В духе «реалистов»-шестидесятников, отдававших предпочтение общественной стороне в жизни человека перед любовно-интимной, Базаров, в частности, *принципиально* третирует любовь («в смысле идеальном»), называя ее «белибердой» и «непростительной дурью». ¹⁷ Он отказывается принимать всерьез любовную драму Павла Петровича Кирсанова, характеризуя его страдания как элементарное малодушие. Но вот судьба сталкивает Базарова с Анной Сергеевной Одинцовой, и иронизировавший над любовными «пустяками» герой влюбляется. Напрасно пытается он напряжением ума и воли победить расхоловшееся сердце — победа не дается. Всемогущий Базаров оказывается бессильным: «...он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость». И негодует «реалист» Базаров, сознавая «романтика в самом себе», и гневно мерит лес «большими шагами», и «грозит себе кулаком». ¹⁸ А затем чувство к Одинцовой вырывается наружу, и герой произносит традиционно-«романтическое»: «Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно...» ¹⁹

Человеческое, природное властно заявляет свои права, не внемля заклинаниям «разумных» теорий. Рассудительный Базаров «забывает» о своих заповедях и правилах, поступая крайне нелогично. «Нравится тебе женщина, — говаривал он, — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». ²⁰ Еще до окончательного объяснения Базаров понял, что с Одинцовой «не добьешься толку», а отвернуться не смог.

По мысли Тургенева, Базаров готов «ломать» себя под *теорию, принципы* (реализма, пользы), и это, свидетельствующее о неужинности его характера, есть не что иное, как проявление гонимого им «романтического» самоотречения, «идеализма». Пытающийся жить по «теории», наперекор требованиям *натуры*, Базаров испытывает муки трагического разлада, так как не может на деле отрешиться от природного, естественного, извечного в человеке. (По замыслу писателя, чутко уловленному Ф. М. Достоевским, это и должно возвышать героя — «беспокойного», «тоскующего», обнаруживающего тем самым «признак великого сердца». ²¹)

«Самоломанностью» отличается и Нежданов, в котором, как мы помним, романист прямо планировал «взять несколько от Писарева». ²²

Не нужно думать, убеждает читателя Тургенев, что «смеющийся» — из принципа — над идеалами герой и впрямь «циник»: нет, он по натуре самый настоящий «идеалист»; ошибочно считать, разъясняет далее писатель, что подчеркнутый интерес к «социальным и политическим вопросам», демонстративное третирующее «эстетики» — следствие его действительного отказа от прекрасного: нет, Нежданов «втайне наслаждался искусством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях... даже сам писал стихи». ²³

Некий разлад, некая противоречивость, не роняющие, а, напротив, как-то очеловечивающие, как-то обмирщающие их носителей, были свойственны и, так сказать, реальным «реалистам», начиная с их лидера — Чернышевского.

Автор и герои романа «Что делать?» красноречиво отрицали жертвенность. Жизнь Чернышевского между тем была круто замешана на самоотвержении. Не чужд последнему и «особенный человек» Рахметов. Рационалистическое провозгласив *эгоизм* мерою вещей, Чернышевский, однако, следуя голосу живого чувства, сразу же открывал дверь *самоотречению*, как только являлась надобность выставить героя в наиболее привлекательном свете. Что там ни говори, но в природе людей склонность чтить тех, кто поступает своим интересом — и «разумным» и «неразумным», кто самоотвергается для других.

Между прочим, Писарев деликатно указал на противоречие автора «Что делать?» (как приверженца «разумного эгоизма»), сделавшего из Рахметова аскета и ригориста. Прочитывая высказывание героя, в котором его аскетизм объясняется, как говорится, идейными соображениями («Так нужно. Мы требуем. . . полного наслаждения жизнью. . . не для себя лично, а для человека вообще», требуем «по принципу», а не «по личной надобности»), публицист находит, что это высказывание «в логическом отношении никуда не годится». «Если я доказываю, что людям необходимо полное наслаждение жизнью, то мне нет никакой надобности подрывать свои доказательства примером собственной жизни. . . Вообще жизнь и учение человека должны всегда находиться в возможно полном согласии» (4, 45). Не одобрил Писарев и отказ Рахметова от любви, увидев здесь жертву, приносимую без всякой необходимости (4, 47—48). Впрочем, Писарев мог, смотря по обстоятельствам, и иначе квалифицировать поведение «ригориста» Рахметова, предлагая видеть в последнем не аскета, а истинного разумного эгоиста (см. 3, 507).

В свете затрагиваемой проблемы «коррекции» принципа натурой интересно следующее признание Чернышевского в письме к Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 года: «. . . я вовсе не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас».²⁴

«Потребности сердца» были хорошо знакомы Писареву, и они, надо сказать, далеко не всегда ладили у него с требованиями принципа. Как и в тургеневском Нежданове, в Писареве продолжало жить тонкое эстетическое чувство, несмотря на все третирувание — демонстративное, бретерское — «эстетики». Между прочим, Тургенев, убежденный в наличии у Писарева подобного расхождения, прямо высказался на этот счет. Протестуя против вульгаризаций в писаревских характеристиках творчества Пушкина, и в частности стихотворения «19 октября», Тургенев заметил публицисту при их встрече: «Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали нарочно, с целью».²⁵

В рассматриваемом плане весьма примечательны такие строки из письма Писарева к матери от 13 июля 1866 года: «Третьего дня и вчера я читал в „Библиотеке для чтения“ за 1856 год — четвертую и пятую часть романа Теккеря „Ньюкомы“. Первые три части мне неизвестны, продолжение и окончание также; несмотря на все это, я читал эти две части с величайшим удовольствием, читал так, как меломан может слушать хорошую музыку, нисколько не заботясь о том, что он не слышал начала пьесы и не услышит ее конца. Неправда ли, друг мой мамаша, что подобные занятия совершенно непривычны для свирепого критика, писавшего о разрушении эстетики?» Чтобы оценить Теккеря по достоинству, говорит далее критик, «надо пожить, надо иметь за собой достаточный запас воспоминаний, тогда мягкий осенний колорит, лежащий на его произведениях, получает такую прелесть, с которою ничто не может сравниться». И тут же характерное — полусутошное, полусерьезное — самоодергивание: «Однако пора и честь знать. Не в эстетики же я, в самом деле, записался!»²⁶

Особенно заметен у Писарева разлад принципа и природы в сфере сердечной, любовной. Не требуется много говорить о том, что в теории любви он старался быть не меньшим «реалистом», чем в теории искусства. Иронизируя над теми, кто находил «циническим» (3, 41—43) реальный взгляд Базарова на отношения между женщиной и женщиной, публицист решительно берет сторону тургеневского героя и заявляет, что женские «плечи следует называть плечами» и что в любовании «красотою живой женщины или мраморной Венеры» ничего неземного, «небесного» нет — ощущение очень обыкновенное; стало быть, и выражение должно быть просто и положительно» (3, 46). Не будь Одинцова в плену «эстетики», и любовь бы между нею и Базаровым непременно возникла, ибо налицо все ее, любви, «составные элементы»: «уважение», «желание дружбы» и пр. (3, 58). «Составные элементы» — это не оговорка, это принцип:

у любви нет «тайн», у нее, как и у всего остального, есть подлежащие анализу и учету ингредиенты. Уместно вспомнить: писаревский протезе Базаров самым саркастическим образом отнесся к рассказу Аркадия о непостижимой власти над сердцем Павла Петровича княгини Р. с ее «загадочным взглядом». «Нет, брат, это все распушенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука».²⁷

Казалось бы, судьба менее других предрасполагала Писарева к «простому», «положительному» определению любви. А между тем он отрешенно упорствует в своем рационализме. Предлагаю в письме (из крепости) незнакомой девушке по имени Лидия Осиповна стать его женой (после освобождения), Писарев стремится решить все сердечные дела с помощью логики и «здорового смысла»: предложение, доказывает он в письме, вполне основательное и «благоразумное», оно избавляет адресата от опасности стать женою какого-нибудь «олуха». Что касается до такого возможного препятствия, как «любовь», — предложение ведь заочное, — то оно-де вполне преодолимо. «... Мы вообще привыкли смотреть на любовь, как на что-то непостижимое, возникающее Бог знает почему...»²⁸ Но, мне кажется, любовь — вещь очень простая и естественная; когда даны условия любви — молодость, ум, приличная наружность, тогда и любовь должна возникнуть и всегда возникает».²⁹

Странное дело: Писарев «не помнит» урока, преподанного жизнью не кому-нибудь другому, а лично ему, вовсе не обделенному указанными «условиями».³⁰ В случае с кузиной Раисой Кореновой, которую он с юных лет любил, забыв про заповеди «реализма», любовью поистине безрассудной — до «беснования»,³¹ «условия» оказались бессильными: Раица (так на романтический манер называл кузину Писарев) предпочла другого. Кстати, все рационалистически стройные расчеты, построения, все взвешенные доводы (в числе последних и искреннее заверение, что Раица забыта навсегда), изложенные в письмах к Лидии Осиповне, неудержимо рухнули, стоило лишь Раисе Гарднер (по мужу) проявить вежливое внимание к влюбленному кузену.

Живое писаревское чувство заявляло себя явно не «по теории». Не «по теории» повел себя, кстати, Писарев и тогда, когда узнал об «измене».

Свобода чувства трактовалась публицистом как одно из условий полной эмансипации личности и потому отстаивалась с наибольшей решительностью, категоричностью. Как и у многих «шестидесятников», вопрос этот был развернут у Писарева прежде всего в сторону требования свободы женского чувства. Не станем делать соответствующие выписки из писаревских статей — это заняло бы немало места. (Уже в ранних выступлениях — отклике на «Дворянское гнездо» например, — Писарев утверждает на этих позициях: см. сопоставление характеров Ольги Ильинской и Лизы Калитиной — 1, 28—29). Приведем лишь одно его суждение из письма к матери в ответ на высказанное ею недовольство слишком вольным поведением Раисы Кореновой как предполагаемой невестки: «Согласно с моими убеждениями женщина свободна духом и телом и может распоряжаться собой по усмотрению, не отдавая отчета никому, даже своему мужу».³²

Раица Коренева, не будучи женой Писарева, распорядилась собой как раз «по усмотрению», приняв предложение приглянувшегося ей Евгения Гарднера. Декларированным «принципам» пришлось крайне туго: Писарев, как это и случается со многими, потерял голову, искал повода оскорбить счастливого соперника, добивался дуэли, думал о самоубийстве. Теория оказалась плохой помощницей. Возвращаясь некоторое время спустя к причинам своей любовной неудачи, Писарев даже вменял себе в вину то, что он слишком умствовал, теоретизировал, тогда как «уместнее было засверкать глазами, схватить в объятия и поступить „по-мужински“».³³

Базаров мог бы подсказать Писареву, что и «мужинская» решительность не может гарантировать успеха «на rendez-vous»...

В статье «Бедная русская мысль», хронологически приходящейся как раз на кульминационный период его любовной драмы, Писарев специально, с очевидной самокритичностью, поднял вопрос о нередко наблюдаемом «разладе» между «мозговыми выкладками» и «натурой», о невозможности «расположить собственную жизнь по той программе, которую совершенно одобряет наш разум. . . То, что в голове прожектера складно и последовательно, то, что на бумаге ясно, легко и просто, то может не пойти в ход от какого-нибудь ничтожного столкновения с плотью и кровью жизни. . .» (2, 61). И, явно учитывая собственный казус, он конкретизирует: «Область неизвестного, непредвиденного и случайного еще так велика, мы еще так мало знаем и внешнюю природу и самих себя, что даже в частной жизни наши смелые замыслы и последовательные теории постоянно разбиваются в прах то об внешние обстоятельства, то об нашу собственную психическую натуру. Кто из нас не знает, например, что ревность — чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение, пусть его разлюбит женщина, к которой он глубоко привязан! Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя своими теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненной философии?»

Нет, помилуйте! Этот непобедимый диалектик, этот вдохновенный философ полезет на стены и наделает таких глупостей, на которые, может быть, не решился бы самый дюжинный смертный» (2, 60—61).

В идейно близкой Писареву среде были и те, кто сумел возвыситься даже над ревностью. Однако в его или же герценовском «бунте» сердца едва ли не больше жизненно-живого, природно-естественного. . .

И еще на один момент необходимо указать, рассматривая вопрос о степени соответствия писаревских теорий реальной практике. Имеем в виду известное заострение в формулировании характерных принципов исповедуемой доктрины, приносившее полемическое удовлетворение, но одновременно открывавшее дверь схематизму и односторонности.

Выше уже говорилось, что мироотношение Чернышевского или того же Писарева далеко не покрывалось, к примеру, «разумно-эгоистическим» положением о бессмысленности жертвы. Безжертвенники в теории, они в любой момент могли пожертвовать и жертвовали собой на практике. Здесь, в этом противоречии отвлеченной максимы и непосредственного движения души, заключался немалый драматизм положения «реалистов», нередко ломавших себя под формулы, которые были много уже, чем их («реалистов») нравственное содержание.³⁴

Означенный момент специально оговорил в статье «Идеализм, идолопоклонство и реализм» (1873) Н. К. Михайловский. «В кратких, грубых, якобы реалистических формулах, отнюдь не соответствующих чувствам формулирующего, недостатка не было. Некоторые были даже не без юмора. Например: жертва есть сапоги всмятку. . . Останавливаясь на этой формуле, мы упускали из виду, что, во-первых, расширение личного я до степени самоотвержения, до возможности переживать чужую жизнь, — столько же реально, как и самый грубый эгоизм; и что, во-вторых, формула: жертва есть сапоги всмятку не покрывает нашего психического содержания, ибо более, чем когда-нибудь, мы были готовы приносить жертвы».

Идеалу эстетиков-«отцов», продолжает далее Михайловский, «реалисты» противопоставили «требование строго точного изображения действительности, низкой истины. Само по себе это требование не исключало ни идеалов вообще, ни в частности идеальных типов. Но, спускаясь, под влиянием травы и других невыгодных внешних условий, со ступеньки на ступеньку, мы предлагали наконец художнику обратиться в фотографический аппарат, в гонении всяческих символов и нереальных образов дошли до того, что серьезно костили Шекспира за тень отца Гамлета и проч.»

К «внутреннему разладу» приводили и другие «параграфы» «кодекса реализма», в частности — о любви. «Якобы реалистическая формула: любовь исчерпывается

половым влечением — восторжествовала для многих. Но кто более или менее пережил эти времена на самом себе или на близких людях, тот знает, что эта краткая и грубая формула отнюдь не выражала собою нашего психического содержания; что в душе нашей жил идеал, который *non sine gloria* мог бы померяться с идеалами наших отцов; что подчас страшной внутренней ломки стоило нам прикидываться якобы реалистами, смеяться над тем, что нам в сущности было дорого, и стыдиться того, чем мы имели бы право гордиться. Мы, восставшие на ложь, — лгали, хоть конечно не так, как лгали наши отцы: те стыдились своей действительности и своего реализма, мы — своих идеалов и своего идеализма».³⁵

В цитируемой статье Михайловский, говоря о «кратких» формулах, затронул еще один в высшей степени важный момент: опасность их, формул, сугубой вульгаризации всевозможными прозелитами и наследниками. Конечно же, одно дело, когда эти формулы в руках Чернышевского или Писарева, самобытность и возвышенность натур которых могла и не дать ходу теоретической односторонности; другое, — когда они в распоряжении «пришлых людей». «Как бы то ни было, — говорит Михайловский от имени творцов «формул», — но мы вынесли много ломки, страданий и внутренней борьбы из-за этого разлада наших скрытых идеалов с нашим открытым реализмом». «Краткие и грубые формулы» питались живительными соками этих исканий и этой «внутренней борьбы», в них жила если и не вся, то хотя бы часть истины. Но вот «пришли люди, не мучавшиеся над их выработкой, не знающие их цены, не имеющие той внутренней гарантии, которая не допускала бы практического падения, несмотря на односторонность теоретических положений. Пришли эти люди и подобрали наши краткие и ясные формулы и пустили их в оборот. . . Боже, что они из них сделали!»³⁶

Суждения Михайловского помогают еще лучше осознать необходимость разграничения «писаревщины» и Писарева. В одном случае — бесплодное доктринерство и плоский «нигилизм»; в другом — пульсация живой мысли, знакомой с «разладом» открытого реализма и скрытой идеальности.

* * *

В статье «Реалисты» есть небольшое отступление, посвященное автору книги «О человечестве» — Пьеру Леру.

По словам Писарева, Леру — «фантазер». Он настолько увлечен своей гуманистической идеей, что порой незаметно для себя оставляет в своих построениях твердую почву реальности. Простекающие из чистого источника теоретические неумеренности Леру не ставят, однако, под сомнение значительность его личности, не лишают мыслителя права на высокое уважение современников и потомков.

Писарев, не ведая того, в чем-то приближался здесь к самохарактеристике. . .

¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1966. Т. 12. С. 314.

² Там же. С. 319. Интересно, что «один Писарев», по свидетельству романиста, заметил «внесенную» в Базарова «частицу этого романтизма» (Там же. С. 314).

³ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 3. С. 450. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 5. С. 597.

⁵ Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.; Л., 1962. Т. 3. С. 347.

⁶ См. там же. С. 343.

⁷ По мнению исследователей, конкретным адресатом полемики в этом случае являлся И. С. Тургенев как автор повести «Фауст».

⁸ См.: Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 389—390.

⁹ Там же. С. 390, 392, 395.

¹⁰ См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 7. С. 283—285.

¹¹ Там же. С. 285.

¹² Там же. С. 288.

- ¹³ Там же. С. 291.
- ¹⁴ Там же. С. 240.
- ¹⁵ Там же. С. 282 и след.
- ¹⁶ См. также: *Иванов-Разумник*. История русской общественной мысли. Изд. 4-е. СПб., 1914. Т. 2. С. 61—68.
- ¹⁷ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 8. С. 286.
- ¹⁸ См. там же. С. 287.
- ¹⁹ Там же. С. 299.
- ²⁰ Там же. С. 287.
- ²¹ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 59.
- ²² Не приходится доказывать, как даже и не «несколько», а весьма и весьма много «писаревского» (вплоть до формулировочной конкретики — см. Т. 8. С. 216, 238, 242—243 и др.) отражено и предсказано Тургеневым в Базарове («пародирование» Писарева в базаровских суждениях отмечалось исследователями, и в частности Н. К. Пиксановым — см. его статью «Великое наследие Тургенева» // И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Сб. под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940. С. 74).
- ²³ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 12. С. 31.
- ²⁴ *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 14. С. 322.
- ²⁵ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 14. С. 36.
- ²⁶ Красный архив. 1924. Т. 5. С. 257.
- ²⁷ *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 8. С. 226.
- ²⁸ Устами Рудина Тургенев — и это, надо полагать, было памятно Писареву — говорил о любви: «... в ней все тайна: как она приходит, как развивается, как исчезает» (Т. 6. С. 291).
- ²⁹ Цит. по: *Соловьев Е. Д. И.* Писарев. Изд. 3-е. СПб., 1899. С. 104.
- ³⁰ Вот портрет Писарева, оставленный Н. В. Шелгуновым: «Раз утром зашел я к Благодетелю. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным, умным лбом и с большими умными красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев» (*Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания. М., 1967. Т. 1. С. 201).
- ³¹ См.: *Соловьев Е.* Указ. соч. С. 108.
- ³² Цит. по: Там же. С. 85.
- ³³ Там же. С. 92—93.
- ³⁴ См. также: *Иванов-Разумник*. Указ. соч. С. 92.
- ³⁵ *Михайловский Н. К.* Соч. СПб., 1897. Т. 4. С. 38—39.
- ³⁶ Там же. С. 40.

СТЕПАН РАЗИН ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

В центре творчества Шукшина стоит проблема личности с ее вечной и всегда остросовременной драмой свободы и совести. И здесь, в пределах художественного мира писателя, каким бы вопросом мы ни задались, какой бы персонаж ни рассматривали, все они обязательно приведут нас к Разину.

Степан Разин — человеческая и художническая страсть Шукшина; личность, постоянно занимавшая его ум и сердце; характер, который он буквально носил в себе. Это не просто главный среди героев писателя, но их квинтэссенция — историческое лицо, концентрированно выразившее бунтарский дух, который особенно притягивал и тревожил Шукшина.

В судьбе и характере вольнолюбивого атамана Шукшин искал ответы на самые проклятые вопросы своего личного и общенационального бытия. К воплощению образа Разина он шел долго, выверяя каждый шаг. Так огромен, так важен был для него этот исторический характер, так невозможно было ошибиться в понимании его существа, что художник задумал прожить Разина в искусстве трижды, воплотить во всех своих творческих ипостасях — как писатель, как режиссер, как актер. Судьба дала возможность реализовать лишь первое. Летом семьдесят четвертого был завершен и сдан в печать роман «Я пришел дать вам волю»...

Пристальное, особо заинтересованное внимание читателей, критиков, литературоведов к этому роману и предложенной в нем трактовке исторического характера вполне понятно. Разин — ключевой, а по воле рока и итоговый образ шукшинской характерологии, вобравший в себя его многолетние напряженные раздумья о судьбе человеческой, судьбе народной. В то же время Разин — один из ключевых характеров русской истории. Личность эта, вспыхнувшая в переломный момент национально-государственного устройства, не только ярко высветила мощь народного духа — от страшных бездн ненависти до горних высот сострадания, но и наложила свой отпечаток на склад национальной души, пройдя сквозь вековые толщи сознания и мироощущения последующих поколений. Это перекрестно-ключевое положение Разина и составляет особо пристально вглядываться в его лик в романе «Я пришел дать вам волю».

Разин Шукшина записан критикой и в ад — как великий грешник, и в рай — как великий праведник. И та и другая версии опираются на шукшинский текст, вернее — на часть его. Разноголосица при оценке шукшинских персонажей — явление привычное, во многом спровоцированное самим писателем. Его сложные, предельно противоречивые герои (а Разин — самый сложный, самый противоречивый из них) просто не могут быть сведены к однозначной характеристике. И все же применительно к Разину полярность мнений имеет еще другую, «внешнюю» по отношению к автору и герою причину. Восприятию Степана Разина как художественного лица романа «Я пришел дать вам волю» предшествует, во многом его определяя, мнение читающего об исторической личности Разина. Последнее обстоятельство, т. е. свое, до чтения романа сложившееся понимание характера и исторической роли «бунташного» атамана, накладывает существенный отпечаток на то, как прочитывается и трактуется тем или иным исследователем шукшинский Разин, а в некоторых случаях такая собственная версия едва ли не вытесняет авторскую.

Разумеется, полностью избежать субъективизма при реконструкции авторской концепции личности в художественном произведении невозможно; известная, даже изрядная доля исследовательского «я» в ней всегда будет присутствовать. Но постараться свести критический произвол к приемлемому минимуму все-таки можно. Общеизвестно: в художественном произведении «что» неразрывно сцеплено с «как». Следовательно, что хотел сказать *своим* Разиным Шукшин прочитывается в значительной мере в том, как художественно строится этот образ. Важно только, чтобы это художественное «как» было рассмотрено возможно более полно в объеме всего произведения. Здесь уже немало сделано, вспомним хотя бы содержательную статью В. Петелина «Степан Разин — личность и образ», но еще больше сделать предстоит. И предлагаемая работа, очевидно, не дает сколько-нибудь исчерпывающего решения. Это лишь развернутая реплика в общем разговоре, тема которого представляется нам важной для дня сегодняшнего и, может быть, еще более — грядущего. . .

Колоритная историческая фигура Разина является одной из наиболее эстетически оформленных в русском искусстве. Первые легенды о нем, как и первые анафемы ему, прозвучали еще при жизни атамана. Степан Тимофеевич Разин — один из любимейших героев фольклора; к его личности обращались А. С. Пушкин и А. П. Сумароков, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Д. Н. Садовников, в советское время — М. Горький, Ал. Алтаев, В. Гиляровский, А. Чапыгин, С. Злобин. Эта-то многократная воплощенность образа Разина и позволяет яснее понять и обозначить своеобразие шукшинского понимания и художественного решения исторического характера.

Шукшин создает свой роман «Я пришел дать вам волю» в прямом смысле отталкиваясь от опыта литературных предшественников, прежде всего А. Чапыгина и С. Злобина. Их произведения писатель выделял как наиболее значительные, близкие по жанру и исходной творческой установке. Поэтому интересно посмотреть, как каждым из них до Шукшина решалась по сути дела та же задача — дать художественно правдивый образ предводителя крестьянской войны XVII века.

Заслуга создания первого в советской литературе полнокровного реалистического образа Степана Разина принадлежит Чапыгину (его роман «Разин Степан» увидел свет в 1925—1926 годах). Ища точку опоры при осмыслении исторического характера, писатель обратился к народной поэтической традиции, где Разин всегда понимался как заступник простого люда. Таким он предстает и в чапыгинском романе. Фольклорные мотивы ощутимы уже в рисунке внешнего облика героя, предстающего человеком удивительной красоты и мощи. «Колдовской» взгляд Разина помнится людьми всю жизнь; сила такова, что никто в казацком кругу не выходит на бой с ним; хмельной сон атамана не может побороть даже грохот жестокой битвы. То же можно сказать о его внутренних качествах: удаль, ум, любовь, гнев, милость, месть Разина — все дано в превосходной степени, все чрезмерно. Подчеркнем, что момент исключительности, играющий у Чапыгина столь важную роль в воссоздании образа народного героя, тем не менее не приводит к его идеализации. Мы видим казацкого атамана в романе и пьяным, и сластолюбивым, и неправым; в этих своих проявлениях герой так же чрезмерен, как в добродетелях. И все же есть черта, ниже которой художник при разработке образа «народного вожа» не опускается. Особенно ясно это просматривается в решении мотива мести. Разинское «плачу злым за зло» у Чапыгина всегда справедливо. Атаман не дает восставшим глумиться над больной боярыней Морозовой, дарует жизнь честному врагу воеводе Беклемишеву, прощает оступившегося товарища Васку Уса. Потому, скажем, страшная астраханская расправа разинцев над семьями защитников города не изображается Чапыгиным, а только упоминается. Точно так же никогда не живописала, не «смаковала» этот страшный эпизод народная поэтическая традиция.

Если обратиться за аналогиями к фольклору, то роман «Разин Степан» не столько «быль», сколько «былина». Традиция легендаризации личности ощущается уже в художественной раме произведения. Разин у Чапыгина возникает символически и буквально из мрака жизни, озаряя ее светом свободы (действие романа начинается

ненастной осенней ночью, когда молодой Разин спасает погребенную заживо женщину). Соответствующее решение находит писатель и для финала: пленение и казнь Разина показываются не непосредственно, а со слов очевидцев — «из уст в уста». Достоверность в изложении событий сохраняется, но восприятие читающего существенно перестраивается. Перед ним проходят картины не физического конца Разина, а начала его жизни в легенде. Герой как бы не умирает вовсе, переходя жить в благодарную память народа.

С. Злобин, монументальный роман которого был закончен и напечатан в начале 50-х годов, в противовес поэтической мощи чапыгинского Разина выдвигает в качестве основного принципа построения исторического характера социально-классовый детерминизм: «Я подходил к Разину как к вождю большого крестьянского движения». ¹ Отсюда последовательность и обстоятельность в воссоздании эволюции народного героя — от верности казацкой волюшке к войне с боярской Русью за всех обездоленных.

Такая обрисовка исторического характера в художественном произведении при всех своих несомненных достоинствах имеет оборотную сторону. Прав В. Петелин, когда пишет: «...стремясь как можно яснее выразить классовую сущность Разина, Злобин... лишил своего героя сочности страстей, в какой-то мере превратил его в иллюстрацию к учебнику истории». ² Действительно, Степан Разин предстает у писателя как воплощение лучших (и только лучших) черт народа. Вспыльчивый, крутой характер реального Разина оказывается «выпрямлен», его ошибки и заблуждения подаются исключительно как исторически и социально обусловленные. Показательно, как дан Злобиным самый трагический эпизод крестьянской войны — уход казаков из-под Симбирска. Решение бежать на Дон, оставив крестьянские массы на произвол судьбы, принимает у писателя не Разин, который находится в беспомощности после тяжелого ранения в голову, а казацкие старшины. Тем самым с главного героя снимается тяжесть личной ответственности. Чрезмерная правильность, классовая сознательность Разина в романе Злобина граничит иногда с нарушением исходного принципа достоверности, как, например, в сцене встречи поверженного атамана с царем в пыточной. Но, справедливости ради отметим, — только иногда.

Таковы в общих чертах две основные художественные версии Разина, предшествующие шукшинскому роману «Я пришел дать вам волю». Одна из них опиралась на народную поэтическую традицию, другая — на социально-историческую концепцию своего времени. Читательские симпатии Шукшина на стороне чапыгинского произведения. Однако будь писатель целиком согласен с образом Разина, каким он сложился в литературной и даже фольклорной традиции, он не стремился бы так страстно к собственной интерпретации.

На вопрос, что не устраивает его в предшествующем художественном опыте, Шукшин ответил достаточно определенно: «Слишком уж легко и привычно шагает он (Разин. — И. С.) по страницам книг: удалец, душа вольницы, заступник и предводитель голытьбы, гроза бояр, воевод и дворян. Все так. Только все не так просто. Он — национальный герой, и об этом, как ни странно, надо забыть. Надо по возможности суметь отнять у него прекрасные легенды и оставить человека». ³

Воинствующее неприятие художником «хрестоматийного» Разина сказалось, в частности, в том, что в своем романе он не разрабатывает подробно или вовсе опускает наиболее известные и эстетически освоенные эпизоды разинской эпопеи: сказочную удачу персидского похода «за зипунами», роковые любовные страсти, кровавую месть за брата Ивана, думы на высоком утесе, встречу-поединок с царем (этот эпизод присутствовал в шукшинском сценарии 1968 года, но в романе писатель от него отказался). Из известных сцен-характеристик героя Шукшин оставляет в своем произведении лишь одну — Лобное Место.

Каким же путем в решении проблемы дать *живого* исторического героя идет Шукшин? Предметом художественного исследования он делает не судьбу, как Чапыгин, и не объективный ход событий, как Злобин, а — характер. («Главную заботу я бы проявил в раскрытии характера самого Разина...», «...обнаружить сущность крестьян-

ской войны во главе с Разиным — во многом через образ самого Разина».⁴) Тем самым историческое повествование прямо вводится в русло психологической прозы с ее вечными и всегда современными проблемами человеческого бытия. В связи с этой психологической установкой писатель существенно перестраивает традиционную структуру исторического романа: отказывается от панорамного изображения событий, от показа становления исторической личности, сосредоточивая все внимание на конечном, завершающем развороте характера Разина. По убеждению Шукшина, человеческая суть народного героя полнее и ярче всего выразилась в трагическом финале его жизни. Осуществленная перестройка действия и структуры исторического повествования не просто укрупнила характер Разина, но дала принципиально иное его решение. Характер оказался развернут на все романное пространство, а значит, на первый план вышел не внешний социально-классовый конфликт (столкновение классов, групп, лиц), но внутренний конфликт разинского «я» — конфликт Совести.

Если у Чапыгина и Злобина Разин предстает прежде всего человеком своего, т. е. прошлого времени, то Шукшин делает упор на вечный человеческий фактор, актуализируя современность этой исторической личности с ее проблемой воли.

Как оценивают такое художественное решение специалисты-историки, наиболее беспристрастные и компетентные арбитры? В. Шульгин, автор предисловия к книге «Бунташный век» (серия «История отечества в романах, повестях, документах»), видит особую заслугу Шукшина в том, что ему удалось «избежать односторонности в образе Степана Разина, показать его исторически обусловленную противоречивость».⁵ Это скупое по литературоведческим меркам, но точное заключение перекликается с авторским «разбором» личности Разина: «Натура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другой быть не могло».⁶ Логично теперь задаться вопросом, каковы противоборствующие стороны внутреннего разинского конфликта, подчинившего себе все объемное пространство шукшинского романа.

«Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? — спрашивает писатель и сам отвечает: — Потому что он своей силой и своей неумностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. . .» Казак, преданный интересам казачества, во главе крестьянского движения — осмысление этого исторического противоречия не является художественным открытием Шукшина. Его освещали и Чапыгин, и Злобин. Но вопрос — как. Чапыгин изображал Разина преимущественно как казацкого атамана, Злобин — как крестьянского предводителя, т. е. в обоих случаях для создания цельного героического образа выбиралась и предпочтительно разрабатывалась одна сторона указанного противоречия. Шукшин же в равной мере исследует оба начала, их взаимное притяжение и отталкивание. В результате традиционно героический образ народного предводителя впервые наполняется трагическим содержанием.

Объективное, исторически обусловленное социально-классовое противоречие писатель детально разрабатывает на индивидуальном нравственно-психологическом уровне. Многозначность, многомерность разинской личности заявлена в шукшинском романе уже в первой характеристике героя: «К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался. . . Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся его жизнь, и раньше и после — поступки и дела его — тому свидетельство».⁷

С первых страниц перед читателем предстает «человек, разносимый страстями» (1, 354). Если попытаться разобрать клубок разинских страстей, то стоит потянуть ниточку жалости, как она тут же вытянет за собой жестокость, вера — отчаяние, ум — дурь, открытость — скрытность, хитрость — простодушие, целеустремленность — упрямство. «Где есть одна крайность, — замечает автор, — там есть и другая — прямо противопо-

ложная» (1, 372). Следовательно, ни одно чувство героя, ни одно движение его души не может быть понято вне оглядки на противоположность.

В этой бинарной структуре, делающей противоречие основным принципом построения характера, существует своя доминирующая пара, давно выделенная критикой. Это жалость—жестокость Разина.

На протяжении всего действия шукшинский Разин жесток: с княжной, с вестовыми, с верными есаулами, не говоря уж о врагах. Шукшин не боится показать «ужасный лик» своего героя. «Страшный взгляд, страшный. . . И страшен он всякому врагу, и *всякому человеку*, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломанной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стыlostью. . . Такие есть глаза у людей: в какую-то решающую минуту они сулят *смерть, ничего больше*» (1, 439. Курсив здесь и далее наш. — И. С.). Жестокость Разина в романе «Я пришел дать вам волю» выведена за пределы случайного или исторически обусловленного, т. е. она дается и как то, и как другое, но еще и как сугубо *личная* черта разинского характера, за которую он, как личность, несет всю полноту ответственности.

На протяжении всего действия шукшинский Разин жалостлив. Жалость в системе гуманистических ценностей стоит у Шукшина очень высоко. В рассказе «Боря», вступая в полемику с основной идеей широкоизвестного монолога Сатина из пьесы Горького «На дне», писатель заявляет: «Зря все-таки воскликнули: „Не жалеть надо человека!..“ Это тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да. Только ведь уважение — это дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек. . . Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из жалости. . .» В рабочих записях художника размышление на ту же тему: «Жалеть. . . Нужно жалеть или не нужно жалеть — так ставят вопрос фальшивые люди. Ты еще найди силы жалеть. Слабый, но притворный выдумывает, что надо уважать. Жалеть и значит уважать, но еще больше». ⁸ Жалость Шукшин ставит выше любви (которая может быть эгоистичной) и уважения (которое требует работы рассудка, но не сердца).

Ближе всего к жалости, как ее понимал писатель, стоит, видимо, сострадание — умение принять в себя чужую боль. О Разине в романе разные люди, друзья и враги, говорят одно и то же — что у него «душа болит за всех»: за товарищей, за едва знакомых скоморохов, за вовсе незнакомых кабальных мужиков, за всю обездоленную Русь.

Жалость и жестокость. . . Эти два разнонаправленных начала образуют напряженное поле нравственного конфликта романа. Вот почему от той или иной оценки их единороства зависит оценка личности Разина в целом. Мнения критиков на этот счет разошлись. Одни, как, например; И. Золотусский, делают упор на насилии, полагая, что Разин занес над Русью «меч слепца и убивца». Жалость в этом случае подается как рефлексия по поводу свершенных злодеяний. ⁹ Другие, среди них Л. Емельянов, считают, что «ключ» к характеру Разина — жалость, ею объясняя и «сердечную отзывчивость, и лютую ненависть к угнетателям, и пылкую жертвенность, и своенравие, и жестокость». ¹⁰

Вторая точка зрения традиционна, первая — острее, интереснее (ведь действительно у Шукшина, в отличие от Чапыгина и Злобина, предельно акцентировано внимание на тяжких, ошибочных, кровавых поступках атамана); и все же обе, на наш взгляд, упрощают шукшинскую концепцию личности.

Нетрудно ответить на вопрос, что первично. В романе устами Фрола Минаева прямо говорится, что именно жалость подтолкнула Разина на «страшный и гибельный путь». Однако далее взаимодействие этих начал гораздо сложнее, чем их объяснение критиками в обоих вариантах. Об усложнении мотива жестокости мы уже упоминали. Напомним, что в романе она не сводима ни к случайному, ни к социально заданному. Столь же непросто обстоит дело с жалостью. Она вовсе не исчерпывается высокими порывами любви и сострадания, включая в себя и горечь, и презрение, и злобу. Жалость Разина часто проявляет себя в ненависти, в мщении, и столь же часто в раскаянии. По отношению к жестокости она может находиться и в препозиции (как толчок к насилию), и в постпози-

ции (как рефлексия по поводу него), но в основном мы имеем не переход одного состояния в другое, а сложное проявление одного в другом.

Одна из центральных и самых страшных сцен романа — расправа разинцев над беглыми стрельцами:

«Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут... на дела человеческие. — Говорил вам!! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость. — Собаки!. . Доносить побежали.

Стрельцов окружили кольцом. . . И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, выкли, как плети, перерубленные» (1, 440).

В приведенном отрывке отмечено курсивом то новое, что появилось в романе по сравнению со сценарным вариантом 1968 года. В Горн пришел к заключению, что смысл этого эпизода в романе принципиально изменяется в связи с введением мотива жалости, которая хоть и не отменяет кровавой резни, тем не менее существенно перестраивает восприятие происходящего. И далее следует общий вывод: «Если в сценарии только временами чувство жалости охватывает героя, то в романе чувство жалости постоянно живет в душе Разина».¹¹ Между тем мысль критика представляется необходимым продолжить. Вводя сострадание в самый акт разинского насилия, писатель вовсе не ослабляет жестокий смысл происходящего. Не убрана и даже не смягчена ни одна деталь, воссоздающая сцену убийства (иначе совершаемое не назовешь). И, кроме указанной Горном действительно очень важной психологической детали — Разину жалко убиваемых, Шукшин вносит еще одно добавление. Отгоняют коней, «чтоб они не глазели тут. . . на дела человеческие». Это пояснение, *почему* уводят коней, с многоточием в центре, обнажает противоположность того, что заставит сейчас Разин свершить казаков, чтобы кровью насмерть привязать их к своему «вольному» делу. В сцене, таким образом, предельно резко проявляют себя оба разинских начала: и жалость, и жестокость. Весь ход событий в романе и являет нам их трагическую нерасторжимость: «жалость— жестокость» как неделимое целое. Потому душа Разина, которая «болит за всех», есть в то же самое время «больная душа». «Боль-болезнь» Разина становится лейтмотивом романа «Я пришел дать вам волю». «Надорванное сердце», — говорит об атамане старый казак Стырь.

Все сказанное позволяет утверждать, что характер предводителя народной войны в романе Шукшина дан в гибельных, разрушительных для человеческой природы противоречиях. Главное среди них, выводящее противоречивость героя за пределы субъективно значимого, придающее личности Разина трагический смысл, который особенно пронзительно раскрылся уже в нашей «бунташной» истории XX века, — правое дело на крови не построишь. . . Перед нами встает в романе личность трагически противоречивая, которую высокая гуманистическая идея привела в один из самых страшных тупиков истории.

Однако вывод о противоречивой разъятости характера Степана Разина у Шукшина все же нельзя принять за окончательный хотя бы потому, что роман дает материал и для прямо противоположного утверждения: шукшинский Разин — личность исключительно цельная. Стоит посмотреть на героя под другим углом зрения — по отношению к главной цели жизни, как «разносимая страстями личность» становится личностью «сжигаемой одной страстью».¹²

В век, когда крестом и мечом прокладывала себе дорогу идея всеобщего подчинения — в России устанавливалась абсолютная монархия, Степан Разин своею жизнью и смертью, т. е. наиболее последовательно и полно, утверждает идею свободы. «А мне, если ты меня спросишь, — говорит он Фролу Минаеву, — всего на свете *воля* дороже». Это смертное, исключающее компромисс противостояние личности поработенно отражено в композиционном решении романа. Кольцевое обрамление его составляет официальная точка зрения на бунтаря: «Вор, и изменник, и крестопреступник, и душегубец». Но, разрывая этот порочный круг трехсотлетней и великодержавной лжи,

встает со страниц романа «живой» Разин, несущий в себе великую гуманистическую идею воли народной.

«Я пришел дать вам волю» — называется произведение, в самом названии заключая по меньшей мере два значения слова «воля» — как «свободы» и как свойства характера, «выражающегося в способности добиваться осуществления поставленных перед собой целей».¹³ Все, что делает Степан Разин, как бы ни были противоречивы его конкретные поступки, о чем думает, как бы ни опровергали друг друга его частные мысли, подчинено в конечном счете одному — дать волю народу. Первым на семантическую многозначность понятия «воля» в шукшинском контексте указал И. Золотусский, однако он замкнул все на дилемме «воля» — «своеволие», «насилие».¹⁴ Цельность разинской природы у Шукшина довольно часто толкуют как предельно выраженное свободолобие, ценное само по себе. Так, Золотусский пишет: «Это конец исторической судьбы, а не отдельной жизни, конец идеи о воле, которая не воля вовсе, если неволить других надо, чтобы она восцарствовала».¹⁵ Л. Аннинский считает, что «Стенька потрянул сонную Московию», «до кровавого предела исчерпав, испытав, изжив разгульную волюшку».¹⁶ Трактовать так исторического Разина, наверное, можно и даже правильно, шукшинского Разина — нет. (Это и есть та подстановка своего понимания героя вместо авторского, о которой мы говорили вначале.) Близкая по смыслу к последней точке зрения на Разина есть в самом романе — высказывает ее войсковой атаман Корней. Что же отвечает ему Степан? «Не в гульбе дело. А то бы я не нашел, где погулять!..» И далее — на обвинение Корнея, сколько жизней загублено: «Не за себя погубил, за обиженных» (1, 667—668). Очевидно, что писатель придает разинскому свободолобию гуманистический смысл. Отрицать это — значит оказаться в положении жены Степана Алены, которая никак не может понять, зачем *вольному* казаку *воля*. Чтобы понять это, нужно принципиально иное — разинское — понимание смысла жизни: «Я — вольный казак... Но куда же я деваю свои вольные глаза, чтобы не видеть голодных и раздетых, бездомных... Их на Руси — пруд пруди. Я, может, *жалость потерял, но совесть-то я не потерял!* Не уронил ее с коня в чистом поле!..» (1, 493—494).

Свободолобивому атаману мало иметь — надо дать. Всепоглощающая разинская страсть — *дать волю народу*, подтверждение чему мы находим в названии романа. Зададимся вопросом, почему так высоко вознесен этот, мягко говоря, небезгрешный герой памятью народной. Да потому, что никогда он не руководствовался интересами своего «я». И народ понял этот глубинный смысл разинской жизни, поставив его над многочисленными тяжкими винами казацкого атамана. Писателю близко это народное понимание Разина, которого он показывает прежде всего как человека большой совести, обостренно чутко воспринимающего весть о мире в себе и о себе в мире. Цельность образа Разина у Шукшина — это цельность самоотречения. «Отказ» героя от интересов собственного «я» находит своеобразное закрепление в сюжете. В романе «Я пришел дать вам волю» Разин в прямом смысле не имеет личной жизни. Он живет *общей*, или, как сейчас принято говорить, общественной жизнью. Вне единства с народом индивидуальная жизнь утрачивает для него всякий смысл.

Трудно согласиться с В. Апухтиной, которая считает, что «при общности трагического исхода движения, потопленного в крови, все-таки вырисовываются две трагедии: Степана Разина и народа, крестьянства».¹⁷ Вновь необходимо оговориться: такое заключение вполне правомочно относительно исторического Разина, но оно никак не следует из романа Шукшина. «Именно в романе, — утверждает писатель, — нашла свое законченное выражение та идея, ради которой было задумано все произведение: трагедия Разина — часть всенародной трагедии».¹⁸

Да, Шукшин тщательно исследует в романе страшные, смертные вины казацкого атамана перед народной, крестьянской Русью. Он возлагает на него всю полноту ответственности за бегство казаков из-под Симбирска. Как приговор, звучат слова Матвея Иванова: «Ты, Степан, ты виноватый, ты». Но очевиднее, беспощаднее этих слов — проплывающие мимо плоты с виселицами (повешены оставленные им в роковую

минуту люди). Сцена за сценой показывается в романе «распадение связей» казацкого атамана с мужицкой Русью после Симбирска. Но не здесь видит художник ключ к пониманию существа Разина. «Эшафот... главный момент в решении образа Разина», — поясняет он в рабочих записях.¹⁹

Очень важно, как дается в романе разинское стремление к «гибельному концу». В. Апухтина толкует поведение героя после непоправимой трагедии Симбирска как «отчаянное мужество» (или «мужественное отчаяние») человека, «постигающего безысходность своего положения».²⁰ Но там, где исследовательница увидела «безысходность», писатель видит выход: через страдание и смерть — путь воссоединения с народом. В стремлении героя к смерти на Лобном Месте Шукшину дорога, как представляется, идея искупления вины, а не ее констатация (разница существенная). Мотив искупления закрепляется библейской параллелью, трижды возникающей в конце романа: Разин, рвущийся в Кагальник, — Иисус, идущий в Иерусалим. Оба знают, что впереди мученический конец, но идут к нему, так как видят в своей смерти последнюю возможность служения людям. И если у сына божьего впереди воскресение, то сыну человеческому его не дано. Выбирая крестный путь, Разин отдает себя людям всего без остатка. Такова, на наш взгляд, гуманистическая природа цельности главного героя романа «Я пришел дать вам волю».

То, как ведет себя человек в час последних, смертных испытаний, заставило Шукшина очень разное, если не полярно оценить два исторических характера, Разина и Пугачева, равно записанные в свободолобивые. Наша историческая наука, до последнего времени твердо придерживающаяся идейно-классовых ориентиров, не видит между ними принципиальной разницы: оба — казаки, предводительствовавшие в крестьянских войнах; оба возглавили борьбу угнетенных против угнетателей; оба сложили голову на Лобном Месте; оба вошли в память народную как заступники и мстители. Но для Василия Шукшина две эти исторические судьбы наполнены разным этическим содержанием. Отстаивая на заседании Художественного совета киностудии свое видение Разина, Шукшин делает следующее, несколько неожиданное, но важное отступление: «Я бы, например, делая фильм о Пугачеве, не отнял бы у него особенность, какую он проявил на допросе, когда он выпрашивал милости и сохранения жизни. Тогда был бы не весь Пугачев, этот образ был бы неполным. И надо иметь мужество выходить с этим».²¹ Из сказанного следует, что, как и в случае с Разиным, эшафот является для художника решающим моментом при оценке личности Пугачева, но свидетельствует против него. И дело тут не в том (вернее — не только в том), что последнему не хватило силы *воли* отстоять свои *вольноклюбивые* интересы под смертной пыткой. Главное, что «выпрашивание милости и сохранения жизни» — своей, персональной, единичной, когда вся бунтовавшая с Пугачевым Россия вздергивалась на дыбу и колесовалась, обнаружило эгоистическую червоточину в его свободолобии. Ответ этого предсмертного малодушия падает на всю жизнь Емельяна Пугачева.

О Разине в самых страшных его деяниях Шукшин мог убежденно сказать: «Да, Степан был жесток. Но... во имя чего он жесток? Если во имя власти своей, — тогда он, сильный, вызывает страх и омерзение. Тогда он — исторический карлик, сам способный скулить перед лицом смерти: она сильнее, она сразит его. Степан не может быть так жесток».²² Относительно Емельяна Пугачева у писателя такой уверенности не было, и он обходит его в своем творчестве недоверчивым молчанием.

О человеческом величии Разина Шукшин нигде прямо не говорит. Более того, он постоянно варьирует мотив его общности. Внешний облик героя не содержит ничего исключительного: не красавец, рост средний, взгляд обычный, голос негромкий (вспомним, для сравнения, богатырскую статью Разина в романе Чапыгина). То же можно сказать о психофизических данных: умный, но не глупее его войсковой атаман Корней; хитрый, но тот же князь Львов не прост; храбр, но не трус и воевода Прозоровский. Однако по мере чтения романа растет ощущение громадности Степана Разина, и это, если так можно выразиться, запланированный автором результат восприятия. Он достигается,

в частности, таким художественным приемом, как обратный эффект. Шукшин показывает убогую малость, карликовость разинских антагонистов, которые предстают таковыми не в смысле физических и умственных данных, но в нравственном своем содержании: «Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открестилось от Стеньки Разина» (1, 665).

Мотив человеческой малости противостоящих Разину сил тесно переплетается в романе с мотивом их животного начала. Так много в них низменного, инстинктивного, нацеленного исключительно на удовлетворение и сохранение своего живота, так подчинены этому все силы ума и души, что собственно человеческого ничего не остается.

Вот гневная авторская оценка официальной Руси, много вобравшая в себя от горького шукшинского знания «бояр» нового времени: «Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего-то чтоб набить брюхо. Тьфу!.. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и хрюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали — убажляли. Вот невоготу-то, господи!» (1, 666).

Страшный образ нелюдей с ненасытной звериной утробой вырисовывается в романе. «Лизоблюды, твари поганые! Невинных-то людей?! — в исступлении кричит Степан, потрясенный бесчеловечной расправой астраханского воеводы над скomorоxами. — ... Кто породил такую гадость? Собаки!.. Руби, Фрол!.. Не давай жить...» (1, 406). Шукшин переплавляет эти разинские определения сильных мира сего в развернутую остросатирическую характеристику государства-псарни: «В державе налаживалась жизнь сложная: умели не только пихаться локтями, пробираясь к дворцовой кормушке, а и умели в свалке укусить хозяина — за пинок, за обиду. И при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостами...» (1, 568). Против такого античеловечного государственного устройства яростно восстают и Разин, и Шукшин, солидаризирующийся со своим героем.

Откровенно иронически рисует Шукшин «всея Великая и Малыя и Белая Россия самодержца» Алексея Михайловича — хозяина государства-псарни. Эта историческая фигура нравственно и эстетически противопоставлена в романе Разину, олицетворяя противоположное начало — рабство.

Характеристика «кроткого духом» самодержца разворачивается в произведении как и разинская: от официальной точки зрения к раскрытию действительной сути личности — но с обратным этико-эстетическим знаком.

Мучительные внутренние противоречия, терзающие Разина, трагически возвышают его до высоты Человека; фарисейская двуличность Алексея Михайловича низводит его до ничтожно малой величины. С него, богато костюмированного, тщательно загримированного под великого, Шукшин в своем романе срывает маску, смывает краски, и перед читателем остается маленькое неприглядное существо — спесивое, эгоистичное, лживое.

Не людям — «зверям лютым», «кровососам» объявляет беспощадную войну Степан Разин. Вот как он объясняет заветную цель жизни: «Гадов повывести на Руси... — люди отдохнут». Разинская борьба против всевластья «гадов» предстает в то же самое время борьбой за человека в человеке. Нет власти без подчинения, нет рабства без рабов. Об этом невеселые мысли Степана: «За волю-то не шибко вон поднимаются мужики-то: на бояр да за царя... Так уж невтерпеж им перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы: зачем это людям надо» (1, 557). Здесь, во внутреннем рабстве народа, главная причина трагедии Разина. Горькое сознание добровольности этого рабства толкает атамана на вынужденный обман: «За волю, за волю, за царя тоже за волю, ну пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж... там уж не их забота» (1, 557). И разыгрывается жалкий балаган с прибытием в повстанческое войско царевича Алексея и патриарха Никона. (Отметим, что Шукшин первый в советской литературе вводит эту исторически имевшую место сцену в свое повествование. Чапыгин и Злобин «обошли» ее, видимо, как разрушающую, по их мнению, героическую цельность образа.) В этом шаге Разина, подменяющего истинный смысл начатой борьбы «за волю» фальшивым «за царя», драматически сплелись вера и неверие, сила и бессилие, прозорливость и слепота. Время

не давало другого лозунга, как «за царя», ведь и умный мужик Матвей Иванов ничего другого предложить не может, как самому атаману стать «мужицким царем».

Однако Разин был бы не Разин, если бы опустил в бессилии руки, сложил оружие в борьбе за вольного человека. Он берет на себя нелегкую миссию растолковать, «зачем это людям надо». Огромную роль в утверждении идеи воли в народе играет смех Разина. А. И. Герцен, подчеркивая демократическую природу смеха, писал: «Одни равные смеются между собой».²³

Шукшин, по сути дела, первым показал нам смеющегося Разина. Художественное открытие сколь простое, столь и значительное после 300-летней одиозной серьезности, которую хранил в искусстве грозный атаман.

Разин в романе «Я пришел дать вам волю», будучи фигурой трагической, улыбается, усмеяется, хохочет, жалует и казнит смехом. Юмор в произведении — явление многозначное, не исчерпывающее себя теми двумя сценами («пужание» княжны и шествие с шубой), которые традиционно кочуют из одной критической работы в другую в качестве иллюстрации богатой психологической палитры художника.

В смеховом развороте романа центральной фигурой остается Степан Разин, являющийся сценаристом, режиссером и главным исполнителем большинства комедийных действий — от мастерски разыгранной шутки «оратор на бочке» до презрительных издевок над своими палачами во время казни. Основные сцены романа с определенно выраженным комедийным звучанием — многоактный торг атамана с воеводой Прозоровским, обучение «уму-разуму» боярского соглядатая Леонтия, игра со Стырем, «подбивающим» Разина воевать Москву, представление «как казак Стенька к царю за волей ходил» и, наконец, языческие праздники воли, которые справляет все разинское войско после жестоких боев. Уже из перечисленного видно, что смех Разина носит у Шукшина вовсе не шутейный характер — он предельно серьезен и имеет ярко выраженную социально-нравственную направленность, являясь действенным оружием в борьбе за свободу, которая завоевывается не только в классовых битвах, но и в единоборстве с рабской психологией.

Мотив воли, определяющий трагический ход событий, сохраняет свое центральное положение и в комедийном плане романа. Под этим углом зрения интересно рассмотреть историю с шубой (особо оговорим, именно историю — в ее полном объеме, а не отдельный эпизод).

Шуба, как засвидетельствовал «Хронограф» XVIII века, значилась в перечне подношений атамана астраханскому воеводе. Историю с шубой использовал А. С. Пушкин в цикле разинских песен, где она выступает в качестве откупа — средства погашения конфликта Разина с воеводой:

Добро, воевода,
Возьми себе шубу,
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму.

Шукшин, вслед за Пушкиным решая эпизод с шубой в народно-поэтическом ключе, наполняет его прямо противоположным содержанием. Дарение шубы превращается в открытое издевательство над спесивым и жадным боярином. Из средства погашения конфликта во взрывной силы повод к нему. Это, несмотря на то что в астраханской ситуации, как воссоздает ее Шукшин, Разин ничуть не меньше заинтересован в том, чтобы «не было б шуму». В чем же дело? Почему он дурит, рискуя успехом всего предприятия? Объяснение находим в сцене, предшествующей «шубному сговору», где Степан Разин и воевода Прозоровский во время переговоров неожиданно сбрасывают маски «благожелательности», покидают позицию «договорившихся и помирившихся», обнаруживая непримиримую классовую ненависть. «Ну что, телиться-то будем, — раздраженно спросил Прозоровский, он нервничал больше других. — Как уговоримся-то? — Кому время пришло — с богом, — миролюбиво сказал Степан. — Мне рано телиться: я ишо не мычал. — Ну дак замычишь! — Прозоровский поднялся. — Слово клятвенное даю:

замычишь. Раз добром не хочешь. . . Степан впился в него глазами. . . Долго молчал. С трудом, негромко, как будто нехотя, осевшим голосом сказал: Буду помнить, боярин. . . клятву твою. Не забудь сам. . . — Разговор принимал нехороший оборот» (1, 346).

Тогда-то хитрый и жадный Прозоровский приглядел в качестве «мировой» шубу. На «ахи» воеводы вокруг шубы следует упорное разинское молчание. Пять раз повторена ремарка: «Степан молчал». Ясно, что это не сулит Прозоровскому ничего хорошего, о чем неглупый воевода мог бы догадаться, если бы сказочное сокровище не лишило его ума. Он уходит не ранее, как услышав заветное — бери. Эпизод завершается разинским обещанием: «Будет тебе шуба, боярин. Будет тебе шуба. . . свинья ненасытная» (1, 397). После этого следует одна из самых ярких, запоминающихся глав шукшинского романа, — шестие с шубой. Триста казаков, среди них Разин, шумно провожают шубу, которую, по их объяснениям, высватал замуж астраханский воевода. Перед нами разворачивается целый комедийный спектакль, хорошо продуманный, срежиссированный и исполненный. Во главе процессии — скоморохи, но душа и организатор всего — Разин.

Разин предстает в романе Шукшина талантливым носителем народной смеховой культуры. Во время переговоров Прозоровский не зря презрительно кидает ему: «Брось дурить! . . . Скоморошничаете, атаман!» Автор подтверждает, что его герой «умеет ломать дурака» — разыгрывать смеховую правду о мире в полном соответствии с народной комедийной традицией.

Проводы шубы разыгрываются как буйное скоморошье представление: с песнями, плясками, прибаутками. Но не одного веселья ради все это было затеяно. Социальная направленность действия очевидна и исполнителям, и зрителям, и Прозоровскому. Обратим внимание на то, что все вышеперечисленные лица исключительно серьезны в момент комедийного действия. Сатира в средневековой культуре понималась вполне определенно — как символическая казнь. Именно такое содержание несет в себе разинское представление. Потому-то так беснуется, так злится, так страшно мстит воевода. Смеховой конфликт предваряет борьбу реальную и имеет в ней кровавое продолжение. Ответный выпад Прозоровского — истязание скоморохов. Доигрывается «спектакль» по жестоким правилам игры насмерть после взятия разинцами Астрахани. Вновь сходятся два его основных участника — Разин и Прозоровский, вновь появляется реквизит — «та самая шуба». Только теперь Разин вершит над боярином не смеховой, а взаправдашний суд. Облаченного в неуместно нарядную шубу Прозоровского Разин самолично сбрасывает с городской колокольни. Дважды суждено принять смерть боярину Прозоровскому: первый раз — условную, смеховую, второй раз — реальную, и оба раза «в шубе», которая становится символом алчного мира властей предержащих.

Но и здесь не будет поставлена точка в этой истории. В финале романа припомнят Разину шубу его палачи. Один из царских вопросов, ответ на который выпытывали у атамана, был: «. . . о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?» За смех над державной властью с Разина будет спрошено сполна, как за тягчайшее преступление.

Шукшинский Разин хорошо знает целительную силу смеха, который уничтожает священное чувство страха перед хозяином. Смеющийся холоп — уже не холоп, потому-то Степан Разин и начинает борьбу за народную волю смехом.

Памятна сцена последнего представления атамана со Стырем — «как казак Стенька к царю за волей ходил». Представление является ответом Разина на письмо Дорошенки, отказывающегося «воевать Москву». Холопскую суть письма Дорошенки Степан передает в двух словах: «Царя попросить можно, а не ходить на него войной» (1, 522). Тут же Разин предлагает Стырю (Кузьме Хорошему) показать казакам, что из такой просьбы выйдет.

После недолгих приготовлений «казак» Стенька является к «царю» Стырю: «Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! . . . До тебя были вольности, а ты отбираешь! . . . Сиухи хошь? — спросил Стырь. . . — Я воли прошу, а не сиухи! — Какой тебе воли? —

воскликнул Стырь. — А хрена в зубы не надо? Воли он захотел!. » (1, 523, 524). Играют оба, и Степан, и Кузьма Хороший, яростно, самозабвенно, как это часто у Шукшина, и не играют уже вовсе. Разин перед «царем» и на карачках постоит, и плетей чуть не отведает. Завершается «камедь» тем, что «царь» катается на казацком атамане, наглядно демонстрируя тем монаршью «волю».

Смех Разина прозвучит в последний раз в романе Шукшина уже в пыточной, как отрицание правоты тех, кто вершит над ним суд, как утверждение непреходящей ценности народной воли. Такое поведение героя полно глубокого смысла. М. М. Бахтин писал: «Настоящий смех, амбивалентный и универсальный, не отрицает серьезности, а очищает и восполняет ее. . . Смех не дает серьезности застыть и оторваться от незавершенной цельности бытия».²⁴ Если спроецировать это высказывание на созданный Шукшиным образ Разина, то становится понятно, что комическое помогает автору не только счастливо избежать монотонности в раскрытии характера, придать ему художественный и психологический объем, но и «снять» эту историческую фигуру с монументального героического постаamenta (не лишая при этом героичности), по-человечески приблизить к читателю, сосредоточить внимание не на законченном совершенстве героя, а на живой, полной проб и ошибок трудности восхождения к высотам Человека.

Движитель-страсть Разина — народная воля. Весь ход событий в романе показывает, что из двух ее составляющих — народ и воля — жизненно необходим приоритет первого над второй. Свобода, не ограниченная нравственным законом сосуществования людей, становится злой, разрушительной для человека и человечества силой. Не вина Разина, что он пришел в мир, где этот закон безжалостно попран. Но в своем страстном желании наказать зло он сам становится невольным отступником. Осознав это благодаря своему мощному, предельно обостренному нравственному инстинкту, Степан Разин сам по сути дела выносит себе смертный приговор. Исторический герой, у которого не одно поколение прилежно училось «любви-ненависти», в последнем, смертном для него усилении завещает любовь как единственно возможную связь между людьми. . . Что это у Разина Шукшина так, а не иначе, подтверждает сравнение сценария 1968 года с окончательной редакцией романа 1974 года. В сценарии характер Разина еще вполне укладывался в двухчастную композицию: «Вольные казаки» (первое название — «Помутился ты, Дон, сверху донизу») и «Мстите, братья!», — соответствующую традиционной формуле «жизни-борьбы». В романе же писателю потребовалась, как их продолжение, самостоятельная третья часть с символическим названием — «Казнь». И если Разин «Вольных казаков» вызывает восхищение, Разин-мститель из второй части — ужас, то Разин в «Казни» — живое человеческое участие и сострадание. . .

Так как же «сделан» Разин Шукшина? Писатель подходит к раскрытию глубинного, дорогого для него смысла этой исторической личности так, как ювелир к обработке редкого драгоценного камня: чем больше граней, чем тщательнее шлифовка, тем точнее будет выявлена натура. Но огранка имеет у хорошего мастера еще другой — высший — смысл. Грани должны располагаться так, чтобы, преломляя, удерживать внутри луч света: только тогда камень оживет. Нечто подобное мы имеем в построении главного характера в романе «Я пришел дать вам волю». Образ Разина у Шукшина тоже представляет собой многогранник, где каждая грань важна не столько сама по себе, сколько преломлением идеи жизни по совести, наполняющей эту судьбу светом человечности.

¹ Злобин С. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 543.

² Петелин В. Степан Разин — личность и образ // Петелин В. Мятая душа России. М., 1986. С. 28.

³ Шукшин В. Вопросы самому себе. М., 1981. С. 103.

⁴ Там же. С. 108, 109.

- ⁵ Шутьгин В. С. Предисловие // Бунташный век. М., 1983. С. 10.
- ⁶ Шукшин В. Вопросы самому себе. С. 103.
- ⁷ Шукшин В. М. Собр. соч.: В 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 322. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
- ⁸ Шукшин В. Вопросы самому себе. С. 250.
- ⁹ Золотусский И. История, исповедь, легенда // Лит. обозрение. 1979. № 3. С. 55—57.
- ¹⁰ Емельянов Л. Василий Шукшин: Очерк творчества. Л., 1983. С. 124.
- ¹¹ Горн В. Наш сын и брат. Барнаул, 1985. С. 142.
- ¹² Шукшин В. Вопросы самому себе. С. 104.
- ¹³ Словарь русского языка: В 4-х т. М., 1985. Т. 1. С. 209.
- ¹⁴ Золотусский И. Указ. соч. С. 56.
- ¹⁵ Там же. С. 57.
- ¹⁶ Аннинский Л. Воля. Путь. Результат // Новый мир. 1975. № 12. С. 264.
- ¹⁷ Апухтина В. А. Проза В. Шукшина. М., 1986. С. 94.
- ¹⁸ Шукшин В. Вопросы самому себе. С. 181.
- ¹⁹ Там же. С. 103.
- ²⁰ Апухтина В. А. Указ. соч. С. 94.
- ²¹ Шукшин В. Вопросы самому себе. С. 83.
- ²² Там же. С. 177.
- ²³ Герцен А. И. Об искусстве. М., 1957. С. 125.
- ²⁴ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле. М., 1965. С. 135.

РУССКАЯ МЕТРИЗОВАННАЯ ПРОЗА (ПРОЗОСТИХ) КОНЦА XVIII—XIX ВЕКА

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТРИЗОВАННОЙ ПРОЗЫ ДО АНДРЕЯ БЕЛОГО

Долгое время господствовало весьма отрицательное отношение к «метрической прозе Андрея Белого». Романы Белого с их затрудненным, в значительной степени за счет метризации, языком расценивались часто как единственный и беспрецедентный случай применения этой формы, каковая на этом основании отвергалась сама по себе.¹ Но поступать так — все равно что абстрактно оценивать возможности любого другого способа ритмизации, например говорить, что ямб — метр хороший, а хорей — плохой. Прежде всего необходимо знать конкретный материал, который значительно богаче, чем принято полагать. Предшественники Белого в этой области обнаруживаются с конца XVIII века.

По-видимому, первый из них — М. Н. Муравьев, предвозвестник русского сентиментализма и романтизма. В его прозаическом цикле «Тетрадь для сочинений» (подобные вещи сентименталистского толка Муравьев писал в конце 80-х—начале 90-х годов) есть небольшое произведение «Соболезнование к страждущим. Идиллия. Сочинение Клейста, славного стихотворца немецкого». Идиллии в прозе писал друг Муравьева Н. А. Львов. Однако в «Соболезновании...» сразу чувствуется силлаботонический двусложниковый ритм: «Будь здрав, Филинт, будь здрав и счастлив! Благословен сей день, что мне тебя дарует. О, добрый старец! Сколь давно тебя я не видал! С тех пор и более сединой главу твою покрыла старость. Приди и отдохни под зыблющейся тенью. Приди, здесь виноград к себе нас призывает; там сладкая смоковница! Вкуси от плодов: они уже созрели».² В приведенном отрывке ощущаются два перебоя, но один из них, возможно, опечатка: «более» вместо «боле». Подобные стыки метризованных отрезков встречаются и дальше, но ритма в целом не уничтожают. Колоны чаще всего совпадают с каким-либо ямбическим размером. Если бы они были равны между собой, получился бы настоящий стих, как в «Песне о Буревестнике» Горького. Но этого не происходит: концы колонов непредсказуемы, значит, непредсказуемы и паузы между ними, авторская установка не предполагает паузу как значимый элемент; в результате она не может развиваться в межстиховую. Кроме того, иногда колоны превышают допустимую для нормального ямба величину: «Убогий, скорбный старец / вкусил спокойствие под тению древесной / и воздал похвалу смоковнице и сладкому плоду ея».³ Совершенно очевидно, что это не просто разностопный ямб (впрочем, и вольного ямба без рифм было тогда не так уж много, разве только в переложениях псалмов Сумарокова).

На двусложниковой основе метризованная проза (будем впредь — пока для краткости — называть ее прозостихом) развивалась и дальше, что безусловно связано с абсолютным преобладанием двусложников в XVIII и первой половине XIX века. В 1790 году появляется песня цюрихского юноши из «Писем русского путешественника» Карамзина,⁴ после большого перерыва, в конце 1820-х годов, — первая сцена мистерии Дельвига «Ночь на 24 июля»;⁵ А. Ф. Вельтман в 1832 году включает в свою книгу-путешествие «Странник» небольшую драматическую сцену «Октавий Август и Овидий Назон в теплице пантеона»,⁶ а в 1836 году в роман «Предки Калимероса» — сон автора об

основных этапах жизни Наполеона.⁷ В том же году некто С. Темный печатает полуфилософское-полулирическое сочинение «Ночь» с обильной двусложниковой метризацией.⁸ Через пять лет опять-таки Вельтман уснащает этой формой драму «Ратибор Холмоградский».⁹ В 1848 году издается «Двойная жизнь» К. К. Павловой, где переходы от прозы к стихам в конце глав осуществляются с помощью этой формы.¹⁰ В 60-е годы двухсложниковым прозостихом говорят иногда герои исторических пьес Н. А. Чаева и Н. Бицына (псевдоним театрального критика Н. М. Павлова).¹¹ Завершает этот ряд Н. С. Лесков. В статье о ритме отдельных частей его романа «Островитяне» М. П. Штокмар¹² упоминает также о «ямбическом» ритме в других лесковских произведениях: «Обойденные» (т. III, гл. X), «На краю света» (гл. I и, добавим от себя, отчасти гл. 10). Однако он не только ничего не сказал о предшественниках Лескова, но и в самих «Островитянах» заметил далеко не все метризованные места.

Все же несколько более продуктивной оказалась другая линия в развитии прозостиха — прозостих, имеющий трехсложниковую основу: чисто метрическую, дольниковую или тактовиковую (т. е. допускающий как стяжения, так и наращенные, но наращенные не более чем в один слог). Эту традицию начал Ф. Н. Глинка миниатюрой 1826 года «Опыт поли-метра» (тактовиковый прозостих) и решительно подхватил Вельтман. В 1829 году он пробует начать трехсложниковым прозостихом повесть «Эмин»¹³ и сразу отказывается от своего замысла. Но тогда же он пишет поэму «Эскандер», которую в 1831 году печатает отдельно и в составе «Странника» (часть первая), а немедленно вслед за тем во второй части помещает начало другого сочинения — «Создание мира».¹⁴ Обе вещи выполнены почти совершенно чистым метром. Далее в форме прозостиха, преимущественно дольниковой, следуют сказовые и песенные отрывки в двух его сказочно-исторических романах¹⁵ и полное переложение «Слова о полку Игореве».¹⁶ Одновременно Лермонтов создает «Синие горы Кавказа. . .» (1832). А. В. Кольцов 13 марта 1837 года пишет по поводу смерти Пушкина письмо к А. А. Краевскому, взволнованное начало которого представляет собой лирический монолог в форме трехсложникового прозостиха.¹⁷ В 70-е годы эту якобы декадентскую форму использует не кто иной, как Л. Н. Толстой, в одном из вариантов начала романа об эпохе Петра I.¹⁸ А в 80—90-х годах Лесков активно эксплуатирует ее в своих легендах и повестях из древней жизни¹⁹ (в том числе в неопубликованной «Оскорбленной Нетэте».)²⁰

Некоторое приближение (может быть, неосознанное) к прозостиху допустимо усмотреть также в лермонтовском наброске «Я проводил тебя со слезами. . .» (из И. Гермеса)²¹ и еще в отдельных отрывках из произведений Вельтмана.²² К той же категории текстов отчасти относится заключение 9-й главы романа А. К. Толстого «Князь Серебряный», но только отчасти, потому что здесь текст жестко и однозначно делится на колоны, которые по существу делают его стихотворным: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнивать крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»²³ Но записан он сплошь и потому воспринимается в несколько иной системе. Вообще говоря, такие колоны-стихи, разделенные, в частности, постоянной клаузулой, имеют свою собственную традицию. Они достаточно отчетливо могут выделяться и при отсутствии метризации. Такой последовательный клаузульный ритм близких по величине колонов можно наблюдать, например, в комической опере Екатерины II «Новгородский богатырь Боеслаевич» (1786)²⁴ или в эпизодах «Славенских вечеров» В. Т. Нарезного (1809),²⁵ посвященных древним событиям. Прибегали к такому способу ритмизации и А. Ф. Вельтман, и Н. С. Лесков.²⁶ Отрывок А. К. Толстого лежит на пересечении этих двух способов образования горизонтального ритма: с помощью метризации и с помощью четкого выделения (паузой, клаузулой) примерно равных колонов. Вельтман иногда в сказовых местах полностью выравнивает колоны,²⁷ совершенно сливая оба способа. Потом это будет в «Песнях» Горького о Соколе и Буревестнике, а в наше время к двум стиховым параметрам присоединяют иногда и рифму (см., например, весьма различные по содержанию сочинения Леонида

Мартынова, Александра Мажорного, А. Шумского).²⁸ Так или иначе, все это — горизонтальная запись определенных последовательностей стоп или долей без графического выделения вертикальных связей.

Даже если не учитывать переходные случаи, обнаруженных образцов прозостиха в XIX веке довольно много. Не исключено, что в «низовой» литературе это было явление если не распространенное, то вполне обычное. Существование других, неизвестных нам текстов прозостиха заставляют предположить некоторые высказывания современников,²⁹ естественно, не очень ясные в смысле терминологическом, но от того не менее любопытные. Секретарь Екатерины II А. В. Храповицкий в 1786 году записал в дневнике: «Говорено о кадансированной прозе в последних пьесах и спрашивано у меня, от чего сие происходит?»³⁰ Речь идет, скорее всего, не о целых драмах (под «пьесой» справедливее понимать стихотворение), неизвестно, какого рода «каданс» имеется в виду (может быть, клаузульный ритм колонов), но не исключено и знакомство с прозостихом. Г. Р. Державин в «Рассуждении о лирической поэзии или об оде» (1811—1815) так характеризовал оперу: «Поелику же в ней большая часть есть лирическая, или лучше, прямая важная опера, по образцам Метастазия, должна быть вся писана краткими лирическими стихами, или, по крайней мере, скандированною прозою, чтоб удобно было ее сопровождать музыкаю. . .»³¹ Опять-таки неизвестно, не идет ли тут речь о любых неклассических стихах или, например, о формах, предшествующих современному верлибру, но важно уже наличие самого понятия о «скандированной» или «кадансированной» прозе. Оба автора высказываются без признаков удивления, тем более негодования в адрес каких-то не очень распространенных средств ритмизации.

Среди авторов прозостиха особенно показательны, конечно же, фигуры А. Ф. Вельтмана и Н. С. Лескова. Если сравнить средний объем прозаических произведений первой трети XIX века (периода «поэтического») и первой трети XX (периода преобладания прозы) и сделать соответствующую скидку на относительность восприятия этих объемов, то получится, что Вельтман за сто лет до А. Белого проявлял к прозостиху никак не меньший интерес.

Следует иметь в виду и то, что в XX веке прозостихом писал не только А. Белый, но и такие разные авторы, как М. Горький («Человек»), А. Ремизов, Л. Андреев, В. Хлебников, Н. Петровская, А. Цветаева, Е. Замятин, А. Гастев, П. Бессалько, Ю. Либединский, М. Шагинян, С. Клычков, И. Бунин, Я. Голосовкер, Ю. Куранов, В. Аксенов, Ф. Бурлацкий, Ч. Айтматов и др. Эту форму широко используют переводчики с восточных языков (самых разных). Есть она и в украинской литературе (назовем имена Леси Украинки, Днипровой Чайки, П. Тычины, А. Левады, Р. Федорива), а также в литовской (Э. Межелайтис) — большинство соответствующих текстов существует в русских переводах.

2. СТРУКТУРА ПРОЗОСТИХА

Идеальная модель прозостиха есть непрерывная последовательность правильных стоп, не нуждающаяся в дополнительных членениях. На практике абсолютно правильный прозостих в литературе XVIII—XIX веков не встречается или встречается только в сравнительно небольших отрывках.

Начнем с трехсложниковой метризации. Никакой хронологической линии развития форм здесь не прослеживается. Зарождается трехсложниковый прозостих в его очень разболтанном, тактовиковом варианте (Ф. Глинка); у Лермонтова, в начале «Эскандера» и в переложении «Слова» Вельтмана он очень строг,³² а в романских вставках того же автора и у Лескова по большей части вновь довольно свободен; опять он становится сравнительно более строгим у Л. Толстого. Видимо, здесь имеется зависимость не столько от творческой индивидуальности вообще, сколько от функционального задания.

3 Русская литература, № 4, 1990 г.

Например, Вельтман в «Песни ополчению Игоря Святославича» безусловно стремится к предельной правильности метра, но допускает отступления с целью сохранить какое-либо характерное выражение оригинала: «А князю славы» (известный рефрен), «Тяжко тебе, голова без плеч; горе тебе, тело без головы!» (слова Бояна, выделенные даже графически — разрядкой). Иногда Вельтман жертвует метром, чтобы сохранить не только фразеологию, но и какую-либо черту ритмики подлинника, например внутренние рифмы: «От раннего утра до позднего вечера, с зари до зари, и стрелы летят, и сабли гремят, и копыя трещат средь незнаемой степи, в земле половецкой».³³ Немногочисленные отступления не только не уничтожают общего ощущения метричности, стихотворности, но, напротив, «встряхивают», актуализируют его, подобно соринкам, от которых, как писал Л. Н. Толстой в начале 1871 года А. А. Фету, ключевая вода «еще чище и свежее».³⁴

Видимо, было бы небезынтересно сравнить прозостих с ритмической прозой в понимании В. М. Жирмунского, в основу которой кладется художественная упорядоченность синтаксических групп.³⁵ Есть ли в нем те же самые признаки? В идеале подобные соотношения должны избегаться, так как трехсложниковый прозостих стремится к единой нерасчлененной линии ритма, к сплошному речевому потоку. В этом смысле он ближе к неритмической, даже антиритмической прозе; синтаксические членения как выразительное средство здесь оттеснены на второй план. Таково почти безукоризненно метрическое стихотворение — прозостих Лермонтова «Синие горы Кавказа...», построенное из больших сгустков эмоциональной речи. Однако возможны и гибридные случаи. Вельтман, например, любит в прозостихе именно короткие абзацы.

Но особое значение имеют сверхстопные членения в двусложниковом прозостихе. Трехсложниковый синтаксически длинится как проза, но собственно акцентологически может выступать словно единая длинная строка. Для двусложникового это невозможно. Он всегда является акцентологически *расчлененным*, хотя колоны здесь тоже, как и в прозе, непредсказуемы и оттого не полностью определены (полная определенность дает стихи вроде горьковских «Песен...»)³⁶ Например:

«Отечество мое! Любвию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоя готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид Природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются».³⁷

В единую четноударную линию вытягивается далеко не весь текст; он складывается из «кирпичиков» — отрывков разных размеров с разными клаузулами. Двусложниковый ритм в русском языке вообще не может строиться исключительно на ритме стоп. Ведь он крайне редко демонстрирует «схемное» расположение ударений и потому воспринимается не как последовательность равнозначных дискретных единиц — стоп, а как принцип выдержанной четноударности или нечетноударности (ударения падают либо только на четные слоги, либо только на нечетные). Возможно, потому-то строки ямба и хорей почти не встречаются вместе: они различаются между собой не просто одним слогом в анакрузе, как считал Б. В. Томашевский,³⁸ а именно противоположными принципами организации всей строки. Такой «порядковый»³⁹ ритм существует лишь до тех пор, пока существует точка отсчета четно- или нечетноударности. «Забыв» о том, какое ударение — на четном или на нечетном слоге — начинало текст, и не находя (в отличие от трехсложникового прозостиха) чередования ударных и безударных слогов через равные промежутки, читатель тем самым теряет ощущение ритма, т. е. периодической повторяемости. Но поскольку в прозостихе начало текста задает установку на ритмическую организацию, то стопный ритм не исчезает, а распределяется между колонами. Чаще всего колоном является синтагма, реже — какие-либо из форм употребительных в данную эпоху стиховых размеров (как в цитированном сочинении Карамзина).

Иное дело трехсложные метры. В их основе не альтернативный принцип (принцип взаимного исключения), а единый для всех трех метров закон: между ударными слогами всегда два безударных. Различие тут действительно только в анакрузе, и оттого смещение

разных трехсложных метров всегда широко практиковалось. Отсюда следует и то, что, «потеряв» анакрузу, мы ритма все равно здесь не потеряем.⁴⁰ Последовательность трехсложных стоп возможна и без деления на строки или колоны. Интонационный период совпадает с синтаксическим, как в прозе. Но ритм не слабее, чем в двусложниковом прозостихе (конечно, если число стяжений и тем более непривычных для русского стиха наращений в стопах невелико), ибо здесь больше регулярности, больше единства в проводимой через текст акцентологической закономерности.

В обоих случаях не стоит называть ритм прозостиха ямбическим, анапестическим и т. д., как это, например, делал применительно к своему прозостиху А. Белый.⁴¹ В сплошном трехсложниковом ритме зачин скоро забывается, да и перебои меняют исходную каденцию. Двусложниковый же только до тех пор и не переходит в стихи, пока структура колонов в нем упорядочена лишь имманентно им самим, а не в более широком ритмическом единстве, т. е. пока нет полной предсказуемости.

Естественно, прозостих может располагать и дополнительными средствами ритмизации, в том числе рифмой, но только как окказиональным приемом. Например: «Я мог сего желать; — любовь моя была святая; — в тебе я Ангела любил; но, милый друг, скажи, кто здесь свой трудный жизни путь без слез свершил? . . . Кто до могилы с одной улыбкой доходил? Ах, нет! — в слезах мы рождены, в бедах земных живем — и часто рады, рады, когда дойдем. . .»⁴² Белинскому такой прием уже казался безвкусицей («рифмы хороши в стихах, но в прозе никуда не годятся»),⁴³ однако незадолго до того рифмы считались даже желательными в особо торжественных местах ораторских выступлений. Глагольные рифмы использует, например, И. С. Захаров в «Похвале Екатерине Второй» (СПб., 1802), которую известный трактат А. С. Шишкова рекомендует в качестве образцовой.⁴⁴

3. ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА

Родоначальник русского прозостиха М. Н. Муравьев сопровождал свой опыт подзаголовком: «Сочинение Клейста, славного стихотворца немецкого». Обращение к Э. Х. Клейсту, вообще к немецкой поэзии чрезвычайно показательно. Именно немецкая предромантическая и романтическая поэзия оказала большое влияние на подготовку неклассических форм ритмообразования в русской версификации. В. М. Жирмунский констатирует наличие двусложникового прозостиха в романе Новалиса «Ученики в Саисе» (как пишет исследователь, «проза переходит в вольные ямбы»)⁴⁵ Есть основания усматривать эту форму у Жан-Поля Рихтера. Определенно дольниковый прозостих присутствует в «Годах учения Вильгельма Мейстера» Гете, в словах хоров на погребении Миньоны.⁴⁶ Эта особенность соблюдена (правда, менее последовательно) в русском переводе С. Г. Займовского (1912).⁴⁷

Другой источник возможных подражаний — англоязычный. Это «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона, в которых, по словам В. В. Рогова, «наличествует некое сознательное сочетание двух- и трехсложных стоп, подобранных без определенного порядка, но явственно ощутимых».⁴⁸ По-видимому, справедливо отмечено С. И. Родзевичем⁴⁹ влияние на «Синие горы. . .» Лермонтова ритма байроновского стихотворения «Смерть Кольмара и Орлы», созданного в подражание Оссиану.

Русские поэты могли следовать и друг другу. Муравьев мог подтолкнуть Карамзина, Лермонтов — учесть опыт не только Байрона, но и знаменитого тогда Вельтмана (как раз в 1832 году «Эскандер» был литературной новинкой). Вельтмана, писателя вообще недостаточно у нас оцененного, допустимо представить себе в роли учителя другого активнейшего «стихопрозаика» — Н. С. Лескова. Б. Я. Бухштаб видел непосредственное влияние первого на второго в области языковой системы;⁵⁰ мы можем поддержать это утверждение в плане ритмологическом.

Но, разумеется, имели место и совершенно самостоятельные эксперименты. Об этом говорит уже название миниатюры Ф. Н. Глиники — «Опыт поли-метра». Этот первый опыт

тактовикового прозостиха, по всей вероятности, задумывался как экспериментальное сочетание разных трехсложных метров, где «размытость» анакрузы совмещается с «размытостью» границ между стихами. Приведем текст полностью.

«Конь, утомленный путем, наевшись подножного корма, дремлет спокойно; а бодрый ездок подле сидит и взирает, в тишине безмятежных ночи, на синее небо, на звезды золотые. . . Глядит — и мечтает о своем дальнем пути, о тех городах, о тех царствах, по которым сей путь пролегает. — То же и с нами: с нашим телом и духом: первое, чувства насыты сладостями сей дольня жизни, спит; а другой, лишь улягутся страсти, не дремлет, а смотрит на небо и мыслит о пути неизвестном, далеком. . .»⁵¹

Если принять за основу синтаксическое членение, то первое предложение состоит из стихов: 3-стопного дактиля, 3-стопного амфибрахия, 2-стопного дактиля, 2-стопного амфибрахия, 3-стопного дактиля, 3-стопного анапеста, 4-стопного амфибрахия. Эти «строки» снимают те пропуски слогов между ударениями, которые нарушают единую линию метра. Например, «Конь, утомленный путем, наевшись подножного корма» — не $\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}\wedge\cup|\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}\cup$, а $\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}\cup\cup|\dot{\cup}$ (дактиль) и $\cup\dot{\cup}\cup|\cup\dot{\cup}\cup|\cup\dot{\cup}\cup$ (амфибрахий).

Однако пропуски и наращенные схемных слогов не всегда совпадают с границами синтагм: «Глядит — и мечта(ет) о своем ($\wedge\wedge$) дальнем пути». Значит, синтагма не выступает здесь основной ритмической единицей, колоном. Совпадение пропуска с концом синтагмы не столько разлагает единый горизонтальный ритм, сколько скрепляет его, частично компенсируя отсутствие слога синтаксической паузой. Таких «синтаксических» выпадений слога в тексте семь против трех «несинтаксических» (правда, в последних дважды выпадает по два слога). Из наращений два совпадают с концом синтагмы и два — нет, т. е. наращенные столь же способствуют распределению ритма по синтагмам, сколько и противодействуют ему. Поэтому в целом тенденция синтаксического ритма оказывается слабее единого, нерасчлененного горизонтального ритма стоп и долей, который перехлестывает границы синтаксические: «. . .на звезды золотые. . . Глядит — и мечтает / о своем / дальнем пути. . .» (метрические перебои, обозначенные значком /, происходят внутри фразы, а не между двумя фразами). Конечно, колоны не всегда должны быть равны синтагмам; однако их непредсказуемость была бы больше, чем в двусложниковом прозостихе, поскольку стандартных моделей трехсложных размеров, которые были бы у всех на слуху, как 4-стопный или 6-стопный ямба, не существовало. Это действительно единый горизонтальный ритм, вроде единой длинной строки на целое произведение. Полиметр как таковой не состоялся — возник первый русский прозостих на трехсложниковой основе.

Оттенок экспериментаторства, надо думать, лежит и на первом двусложниковом прозостихе. Мы не знаем, как он воспринимался современниками, но вообще творчество Муравьева оценивается с точки зрения постоянных поисков нового: «За исключением самых ранних юношеских произведений. . . все остальное относится к области непрерывного творческого эксперимента».⁵²

Авторы XIX века ничего не говорят об источниках используемых ими прозостиховых форм. Поэтому доля «изобретательства» скорее всего так или иначе присуща почти каждому из них. Или же формы эти действительно были в ходу (повторяем — в «низовой» литературе) и потому казались чем-то само собой разумеющимся и не требующим специального обоснования.

4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Как уже говорилось, литературоведы относятся к метризованной прозе отрицательно. При этом на ритмическую форму переносятся оценки гораздо более сложных комплексов. Например, высказывания Б. В. Томашевского, М. Г. Харлапа, А. Л. Жовтиса, В. В. Ковалевского⁵³ целиком основываются на романах Андрея Белого; А. И. Овчаренко

называет вычурным и искусственным прозостих Ю. Либединского, потому что видит в его повестях «Неделя» и особенно «Завтра» подражание Б. Пильняку и тому же Белому,⁵⁴ но приветствует двусложниковый прозостих и родственные ему формы в «Женщине» Э. Межелайтиса.⁵⁵

С. М. Бонди теоретически опровергал художественную выразительность самой этой формы вообще. Вслед за Маяковским он сравнил стихотворную строку с фитилем, а ее конец с динамитом: «В ритмической прозе фитиль горит и горит, а взрыва все нет и нет».⁵⁶ Однако возможна и другая ситуация: поэт или его герой говорит «взахлеб», спешит высказать сразу как можно больше и не может выговориться. Взрыв в конце концов наступает — с завершением периода.⁵⁷ Он долго подготавливается, но тем внушительнее реализуется как эмфатическое разрешение, как «пуант». Речь льется на едином дыхании, насколько это позволяют естественные условия, и ее внезапный, непредсказуемый обрыв — одновременно и эмоциональная разрядка, и предвестие нового затяжного напряжения.⁵⁸

В целом большом романе такое построение в самом деле не может не оказаться чересчур искусственным и тяжелым. Но в лирическом излиянии типа «Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое...» неуместным оказывается не единый ритмический поток, а как раз его расчленение. Последнюю часть этого стихотворения Лермонтов попробовал записать вразбивку, создав полиметр, который не вышел у Ф. Глинки, но сам немедленно почувствовал свою неудачу и зачеркнул эту часть, звучащую в качестве «чистых» стихов слишком замедленно, с неоправданными константными задержками-перебоями:

Воздух там чист, как молитва ребенка;
И люди как вольные птицы живут беззаботно;
Война их стихия; и в смуглых чертах их душа говорит.
В дымной сакле, землей иль сухим тростником
Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружие,
И шьют серебром — в тишине увядая
Душою — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой.⁵⁹

Поэты и писатели XIX века интуитивно чувствовали отмеченную особенность прозостиха и обычно прибегали к нему как к выразительному средству в небольших по объему текстах. В ряде произведений Вельтмана, у С. Темного, А. В. Кольцова, К. К. Павловой, А. К. Толстого, Чаева, Бицына, Лескова это только отрывки в прозаических произведениях, пусть даже весьма часто употребляемые (у первого и последнего авторов). У Л. Толстого это один лишь эпизод, вариант начала романа; вряд ли он собирался писать в такой форме все произведение. У Дельвига — первая сцена пьесы, оборванной в начале второй (прозаической) сцены. В других случаях прозостихом пишутся тоже сравнительно небольшие лирические или сюжетные вставки (Карамзин, Вельтман). Самостоятельные произведения, целиком написанные прозостихом в XVIII—XIX веках, — это только опыты Муравьева, Глинки, незаконченные стихотворения Лермонтова и переложение «Слова о полку Игореве» все того же всеохватывающего Вельтмана. Самое короткое из отмеченных произведений — «Опыт поли-метра» (в общей сложности 53 икта), самое длинное — переложение «Слова» (2023 икта). У Муравьева и Лермонтова — по одной странице среднего формата. Причем любопытно следующее. А. Ф. Вельтман, укладывая в прозостих довольно объемистые тексты, уменьшает вместе с тем длительность сплошного речевого потока. Например, переложение «Слова» расчленено на относительно короткие абзацы. Всего их 55, в среднем по 36,8 стоп или долей в абзаце, но есть и значительно более короткие. Вот начало переложения: «Не славно ли, други, воспеть древним ладом высоких сказаний о подвигах Игоря — Игорь-Святъславича?

Былое воспеть, а не вымысл Бояна, которого мысли текли в вышину так, как соки по дереву;

Как серые волки неслись по пространству, а сизым орлом в поднебесьи парили».⁶⁰

Некоторые абзацы не превышают 4—6 стоп и, таким образом, создают не только горизонтальный, но и отчетливый вертикальный ритм, как обычные стихотворные строки вполне допустимых размеров. В таких отрывках это уже даже не собственно прозостих, а некая гибридная форма, что подчеркивается еще и выдержанностью единой амфибрахической анакрузы в начале каждого абзаца (исключений всего два; в «Эскандере» немногим больше). В других местах переложения особых метрических «затяжек» тоже нет благодаря краткости синтаксических единиц. Всего в произведении 262 предложения, что дает в среднем 4,8 предложения на абзац, абзацы же и сами по себе невелики. Средняя длина предложения — 7,7 стоп, в трехсложных стихах это обычно соответствует двустопию.

Вельтман и в других своих прозостиховых текстах предпочитает маленькие абзацы. Возможно, для него эта форма отчетливее ассоциировалась со стихом, чем с прозой (в прозе XVIII—начала XIX века до Гоголя включительно господствуют очень крупные абзацы; А. Белый в этом отношении мог опираться на гоголевскую традицию).

Итак, первый закон употребления прозостиха в XIX веке — краткость и высокая эмоциональность текста. Стих далеко не всегда эмоциональнее прозы, он может оформлять и высокий интеллектуальный потенциал, но прозостих функционирует положительно-эстетически с большей зависимостью от экстраритмической ситуации. Он способствует либо лиризации, либо драматизации речи. Впрочем, одно от другого резко не отграничено, лирическая страстность может быть проникнута особым рода драматизмом. Функция драматизации в прозостихе, пожалуй, более явственна. Это самоочевидно в произведениях драматического рода и драматизированных сценках-«поэмах», каковыми являются опыт Дельвига, обе поэмы в «Страннике», сон о Наполеоне в «Предках Калимероса» и «Ратибор Холмоградский» Вельтмана, отрывки Чаева и Бицына. М. П. Штокмар говорит, что в «Островитянах» прозостих употреблен преимущественно в диалогах, причем на авторские ремарки не распространяется. То же наблюдаем и в лесковских легендах, и во вставках Вельтмана. Отрывок Л. Н. Толстого состоит главным образом из диалога. Штокмар основывал свое наблюдение лишь на двусложниковом прозостихе «Островитян»; трехсложниково-тактовиковый, замеченный им в двух распространенных предложениях того же романа, вызвал у него гипотезу иного свойства: «Если бы такие примеры были не единичны, то, быть может, мы имели бы право противопоставить в „Островитянах“ трехсложный повествовательный ритм ямбу патетического диалога. . .»⁶¹ Если учесть другие произведения, примеры эти далеко не единичны и в целом опровергают гипотезу Штокмара. Двусложниковый прозостих, по его словам, в одном месте «Островитян» пародирует аффективность газетной заметки. Но ведь и «Странник» насквозь пародиен, а в него включены образцы обеих форм прозостиха.⁶² Драматизм серьезный или пародийный устраивает авторов прозостиха в равной степени.

Но столь абстрактных условий для появления прозостиха в XVIII—XIX веках еще недостаточно. Как относительно необычная форма он реализуется лишь в определенных, достаточно узких содержательных заданиях.

В наиболее типичном случае нормативное художественное сознание дореалистической литературы требовало прецедента, опоры на авторитет, хотя бы и принципиально условный. Оттого начало новой формы должно было иметь место в переводе или подражании. Муравьев «прячется» за Э. Х. Клейста (а вообще в его время не было принято конкретно указывать имя — чаще писали просто «с немецкого», «с французского»), Карамзин создает песню *цюрихского* юноши, который поет, но поет даже не стихами: «заграничная» условность оправдывает этот ход. Воспитанный на французской литературе Карамзин не мог не знать, что французы и те же немцы переводят иностранную поэзию прозой, и в своей имитации пошел по среднему пути. Мистерия А. А. Дельвига — обращение к «чертовщине», типичной для немецкого романтизма. Автор «Ночи» С. Темный скорее всего рабски подражал (в том числе в содержании) «Гимнам Ночи» Новалиса, где, как и у него, наличествуют и прозостих, и стихотворные

вставки (Германия — классическая страна философии, а «Ночь», обильно уснащенная эпитафиями из Любомудра Д. Веневитинова, имеет претензию на философский смысл). К немецкой культуре была близко приобщена и Каролина Карловна Яниш, по мужу Павлова.

Но и сами немцы апеллировали к прецеденту, к высшему авторитету в поэзии — к античности. Некоторые высказывания античных авторов, их попытки расчлнить прозаический текст на стихотворные стопы,⁶³ отсутствие в позднейшие времена четких представлений о границах метрических рядов в тех или иных античных памятниках приводили к мысли о том, что метризованная проза несет на себе «классический» колорит и является не только допустимым, но и в определенных случаях (однако только в определенных!) желательным художественным средством.

Вскоре это представление оказалось расширенным. Как гекзаметр у В. А. Жуковского стал условным средством передачи не только древнегреческого, но и вообще древнего (например, древнеиндийского), а там и попросту полулегендарного и прямо легендарного, сказочного колорита, так точно и прозостих — тоже метрическая и протяженная, но не столь жестко ограниченная структура — стал знаком некой пространственно-временной и затем онтологической отдаленности и отвлеченности, знаком своеобразного остранения, выделения из эмпирической реальности. При обращении к темам легендарного прошлого метризация имела под собой и некоторое объективное основание. Как известно, ритмической, мерной прозой составлен целый ряд национальных сказаний, например индонезийский эпос, древнейшие части Корана, а возможно и Библии.

М. Н. Муравьев в своей миниатюре показывает встречу древнегреческих мудрецов. А. Ф. Вельтман сразу отказывается от прозостиха в повести «Эмин» вследствие ее современной и вполне реальной тематики, а в печати как стихопрозаик впервые выступает с античным материалом: в «Странника» включены поэмы об Александре Македонском и об Октавиане с Овидием, а в его продолжении сон о Наполеоне получает также отчасти античное (псевдоантичное) освещение, потому что Наполеон в «Предках Калимероса» выведен прямым потомком Александра. Существенно заглавие «Странник», отчетливо каламбурное. Книга пародийна, насмешлива, шутивла до необычайности, изобилует отступлениями всевозможного рода, так что именно в ней возможны такие *странные* отступления. Уже здесь и в «Предках...» (имеющих характернейший для Вельтмана подзаголовок «Александр Филипович Македонский») античность причудливо перемешивается с современностью и другими этапами исторического развития. Это облегчало перенесение прозостиховых форм на легендарно-древнерусский материал в «Кощее», «Светославиче» и «Песни ополчению Игоря». Приведем пример стилизации экзотического языка в сказочно-фантастическом романе «Кощей Бессмертный», тоже шутивно-пародийном. Иерей Симон читает богатырю Иве Олельковичу толстый «Хронограф», отрывок о Кощее.

«Чему, братие, смуты и хмара, чему обурились князи, владыки и друзи и вси осудари?

Аль в недро запала недобрая дума — своя то печаль аль чужая кручина?

Покинем печаловать, братие; жизнь есть поток, источающий сладость и горкость! древо, дающее смоквы и грозди волчицы. . .»⁶⁴

В «Светославиче» такая форма воссоздает уже песню варягов, т. е. перерастает задачи имитации русской старинной речи. Наконец, в 1841 году Вельтман обращается к прозостиху в драме «Ратибор Холмоградский» о полулегендарных событиях в Западной Европе VIII века, причем доказывает (непонятно — в шутку или всерьез), что славяне в те времена занимали чуть ли не всю Европу и «язык славянский был повсюду в неизбежном употреблении и искоренялся постепенно более и более от Запада к Востоку».⁶⁵ При таком подходе естественно стирание всяких границ в применении прозостиха к греческой ли, западноевропейской или русской древности. В произведениях же о современности Вельтман никогда этой формы не употреблял.

У Н. А. Чаева и Н. Бицына двусложниковым прозостихом говорят в особо напряженных ситуациях лица русской истории: тверская княгиня, в 1340 году провожающая в Орду своего мужа, которого там убьют («Князь Александр Михайлович Тверской»), Лжедмитрий, которого тоже вот-вот убьют («Дмитрий Самозванец» Чаева), Скопин-Шуйский и Прокофий Ляпунов, поминающие соответственно царя и христианскую веру («Смута» Бицына-Павлова). А. К. Толстой прозостихом характеризует напряженнейшее столкновение царской власти и боярства в XVI веке. У Л. Н. Толстого трехсложниковым прозостихом говорят царевна Софья и ее фаворит Василий Голицын; так же оформлены авторские рассуждения о всегдашней жизненной позиции и нынешнем непредвиденном положении, постигшем опытного царедворца. Легенды Лескова посвящены поздней античности и раннему христианству. Отчетливо отделенные от автора герои обладают и соответствующей манерой изъяснения.

Естественно, аналогию к античной, древнерусской и средневековой европейской экзотике представляли и «Поэмы Оссиана». За Макферсоном шел Байрон, за Байроном — молодой Лермонтов, для которого легенды о шотландских горцах могли ассоциироваться с его любимым Кавказом, тем более что он, считая себя потомком шотландца Лермонта, и тут и там усматривал нечто вроде своей духовной родины. А возможный второй его опыт в прозостихе — перевод немецкого поэта (правда, в оригинале — стих, ямб, но ведь допустим «средний путь», подобный подходу Н. М. Карамзина).

В первой половине XIX века столь определенной тематической закреплённости прозостих не имеет только у Глинки, Кольцова, Павловой да еще в демонстративно оборванном «Создании мира» Вельтмана. Опыт Глинки имеет возвышенно-философский характер, отрывок Вельтмана пародирует именно такую литературу; у Кольцова — выражение необычайного потрясения, плач по убитому поэту; у Павловой — переходы от реальной жизни героини ко второй, мечтательной, даже мистической жизни. Так или иначе, почти ни одно предложение не написано прозостихом без того или иного «специализированного» содержательного обоснования даже у художников весьма сомнительного таланта, как Темный или Бицын. Следовательно, дело не в типе дарования и тем более не в его уровне, а именно в исторически сложившихся представлениях о круге допустимого употребления этих форм.

Аналогичные представления, конечно, без учета прецедентов (и донныне малоизвестных), спонтанно возникают и в XX веке. В 20-х годах прозостих используется при переводе старояпонских памятников; в 50-х Я. Э. Голосовкер заставил им говорить своих мифических персонажей⁶⁶ (есть прозостих и в авторской речи;⁶⁷ весьма употребителен также отчетливый ритм коротких колонов,⁶⁸ создающий условную замену архаизации речи, как в традиции Нарезного и др.). В 70-х годах Ф. М. Бурлацкий использовал двусложниковый прозостих в драматизированных частях своей книги о Макиавелли. Это речи Савонаролы перед казнью и Макиавелли в тюрьме после пытки.⁶⁹ Приведенные примеры доказывают, что единая последовательность стоп до сих пор воспринимается как драматизирующая и архаизирующая художественную речь. В этом отношении прозостих функционально вполне идентичен обычному стиху трагедий и драматических хроник на исторические и мифологические сюжеты: комедии из современной жизни гораздо чаще писались прозой.

Сколько-нибудь весомое исключение из этого правила, да и то лишь наполовину, в XIX веке представляет один Лесков. В «Островитянах» принцип драматизации соблюден, но архаизации и вообще непосредственно мотивированного остранения нет. В этом смысле (впрочем, не только в этом) «Островитяне» предвосхищают романы Белого, но вряд ли являются прямым образцом для них, поскольку Белый увлекался трехсложниковым прозостихом, а Лесков в данной повести (в отличие от легендарных) прибегает больше к двусложниковому, который теснее ассоциировался с современной ему стихотворной драмой.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что такое прозостих или метризованная проза — собственно проза или стих? Современные стиховеды отвечают: проза. Но некоторые исследователи считают возможным игнорировать авторскую запись и разбивают на строчки прозостих Лермонтова,⁷⁰ Кольцова,⁷¹ Белого.⁷² Впрочем, сам А. Белый говорил, что записал «Маски» сплошь только для экономии места.⁷³ М. Янакиев проделал эксперимент с неискушенными в стиховедческих концепциях болгарскими студентами и определил, что метрическая проза принимается за стих гораздо решительнее, чем верлибр.⁷⁴

Кто прав с точки зрения отвлеченно-теоретической?

По концепции Тынянова, определившего стих функционально, выделив его двойную сегментацию (синтаксическую и собственно стиховую), прозостих есть безусловно проза.⁷⁵ Здесь нет единства и тесноты стихового ряда и разнообразных вертикальных соотношений между звуковыми и смысловыми элементами обособленных строк. Следовательно, и интонационная волна должна быть прозаической. Эта-то концепция и разделяется современными стиховедами.

Но есть другая точка зрения на стих, трактующая его как некий более или менее выдержанный конвенциональный ритм, как ограниченность речи некими заранее известными или допустимыми нормами надязыкового порядка. Собственно, это основное положение любой школьной метрики. Исходя отсюда, прозостих — никакая не проза, но в некотором смысле даже самый «стихотворный» стих: если для любого стихотворного размера путем подсчета выборок можно найти вероятностную речевую модель, частоту его спонтанной встречаемости в обычной живой речи, то применительно к прозостиху такая модель *практически* неосуществима; столь затянутый, в пределе бесконечный ряд стоп в обычной, нехудожественной речи не встречается *никогда*, это сугубо литературное, относящееся только к искусству, явление.

Есть, однако, и третий путь определения сущности прозостиха — экспериментальный. Эксперимент проверяет художественную речь в звучании, в «действии». Доказано, что речь стихотворная отличается от прозаической по ряду параметров,⁷⁶ в том числе наличием певческой форманты (последнее очевидно даже без эксперимента: люди, обладающие дефектом речи, обычно гораздо легче с ним справляются как в пении, так и в чтении стихов). Думается, именно на этом пути возможно позитивное разрешение вопроса. Оно, надо думать, потребует пересмотра бытующих представлений о взаимоотношениях стиховых систем в рамках национального стихосложения. Пока же мы применяем к изучаемому явлению оба термина: и «метрическая проза» — как широко распространенный, и «прозостих» — как отражающий разные возможности восприятия и осознания этой формы, чему есть немало свидетельств.

Разумеется, термин «прозостих» не должен считаться единственным и безусловным обозначением сугубо горизонтальной метризации протяженных текстов. Он не раскрывает все своеобразие данного явления, а в принципе мог бы прилагаться и к явлениям совсем другого порядка. Например, О. И. Федотов, ссылающийся на более развернутую рукопись настоящей статьи,⁷⁷ применяет сходное определение «стихопроза» («эмбриональная стихопроза») к древнерусской словесности периода отсутствия в массовом (не учено-книжном) сознании оппозиции стих — проза (ее заменяла оппозиция текст поющийся — текст произносимый).

В словесности существуют разные формы строения текстов, которые непросто отнести однозначно к стиху или к прозе: так называемый «молитвословный стих», «элогиум» и др., во многом — «лапидарный слог» надписей на памятниках, обелисках, зданиях, в том числе и весьма близкий к метрической прозе, но разбитый на отрезки в соответствии с конфигурацией памятника, а не имманентными свойствами текста. Не очень просто решается и проблема моностиха — кратчайшей формы горизонтального ритма. Так, В. П. Бурич предлагает свой термин: «Законченный текст, состоящий из одной авторской строки, называется *удетероном* (от греческого «удетерос» — ни тот ни этот)».⁷⁸

Точнее было бы сказать, что одна последовательность ударений может давать и то и другое — и прозу, и моностих, в зависимости от определенности установки на художественное функционирование.

Метризованная проза — лишь одна из маргинальных, пограничных форм ритмообразования, пока не более исследованная, чем другие. Русская, и не только русская, литература без этого своеобразного явления была бы в чем-то неполной.

¹ См., например: «В русском стихе стопа не имеет самостоятельного значения и может служить лишь вспомогательной единицей измерения внутри метрической единицы высшего порядка. Последовательности стоп, не образующие высших единиц, встречающиеся иногда в античной поэзии, в нашем стихосложении невозможны. „Бесконечные“ ряды правильно повторяющихся акцентов, как в прозе Белого, не только не производят на нас впечатления размерности, но скорее вызывают раздражение именно отсутствием меры. Размер мы воспринимаем прежде всего как определенное размещение пауз, и основной метрической единицей мы считаем стих, с которым связано название размеренной речи вообще. Можно сказать, что в отличие от прозы мы называем стихами то, что состоит из стихов» (Харлап М. О стихе. М., 1966. С. 31). Намного раньше, в 20-е годы, А. К. Воронский писал, что «кажется несносной ритмическая проза Белого» (Воронский А. Искусство видеть мир. М., 1987. С. 95). Добавим к этому, что в 1925 году М. Горький порицал метризацию в романе С. А. Клычкова «Сахарный немец» (см.: Клычков Серг. Чертухинский балакирь: Романы. М., 1988. С. 668).

² Муравьев. Соч.: В 2 т. СПб., 1847. Т. 1. С. 197—198.

³ Там же. С. 198.

⁴ Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 222.

⁵ Дельвиг А. А. Полн. собр. стихов. 2-е изд. Л., 1959. С. 252—254.

⁶ Вельтман А. Странник. М., 1832. Ч. 3. С. 92—102. Еще во второй части (М., 1831. Гл. CLXIX. С. 77) двусложниковый прозостих появился в развернутой фразе о взрывающейся бомбе.

⁷ [Вельтман А. Ф.] Предки Калимероса. Александр Филипович Македонский. М., 1836. С. 74—90.

⁸ Темный С. Ночь. СПб., 1836.

⁹ Вельтман Александр. Ратибор Холмоградский. М., 1841. С. 23—24, 64—69, 74—80, 103, 107, 124—127, 161, 192.

¹⁰ См.: Сапогов В. А. К проблеме типологии полиметрических композиций: (О полиметрии у Н. А. Некрасова и К. К. Павловой) // Н. А. Некрасов и русская литература: Тезисы докладов и сообщений межвуз. научн. конф. Кострома, 1971. С. 100.

¹¹ Чаев Н. 1) Князь Александр Михайлович Тверской // Библиотека для чтения. 1864. Сентябрь. С. 70—72, 74—76, 80—84; 2) Дмитрий Самозванец // Эпоха. 1865. № 1. С. 100; Бицын Н. Смута // Русский вестник. 1867. Т. 67. Февраль. С. 834, 846, 853.

¹² Штокмар М. Ритмическая проза в «Островитянах» Лескова // Arg poetica. М., 1928. Вып. 2. С. 183—211.

¹³ Вельтман А. Ф. Странник. М., 1978. С. 197. (Дополнения).

¹⁴ Московский телеграф. 1831. № 2. С. 195—202; Вельтман А. Странник. М., 1831. Ч. 1. С. 101—112; Ч. 2. С. 26—27.

¹⁵ Вельтман Александр. 1) Кошей Бессмертный, былина старого времени. М., 1833. Ч. 2. С. 85—88, 103—104, 109—122, 125, 162; Ч. 3. С. 7—19, 155; 2) Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного солнца Владимира. М., 1835. Ч. 1. С. 3, 4, 7—8, 18—19, 144, 150; Ч. 2. С. 83, 120, 124—127, 135, 141, 161, 165—168, 196, 200, 208.

¹⁶ Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского / Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вельтманом. М., 1833. Местами метризация встречается также во втором, полностью переработанном издании переложения. См.: Слово об ополчении Игоря Святославича, князя Новгород-Северского, на половцев в 1185 году, А. Ф. Вельтмана. 2-е изд. М., 1866. С. 11, 13, 25, 29.

¹⁷ Кольцов А. В. Соч.: В 2 т. М., 1961. Т. 2. С. 30—31.

¹⁸ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1963. Т. 10. С. 426—428.

¹⁹ Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 8 («Скоморох Памфалон», «Прекрасная Аза», «Гора, Египетская повесть»); Т. 9 («Невинный Пруденций»).

²⁰ См.: Алпатов А. В. «Оскорбленная Нетэта» — незавершенная историческая повесть Н. Лескова // Замысел; Труд; Воплощение. . . М., 1977. С. 204—205, 208.

²¹ Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. / Под ред. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 414.

²² Вельтман А. Ф. 1) Предки Калимероса. С. 160—161; 2) Новый Емеля, или Превращения. М., 1845. С. 231—232.

²³ Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 3. С. 227.

²⁴ Екатерина II. Соч. СПб., 1901. Т. 2.

²⁵ Нарезный Василий. Славенские вечера. СПб., 1826.

²⁶ Вельтман А. Светославич, вражий питомец. Ч. 1. С. 152—154, 158—159, 189; Ч. 2. С. 21 и др.; Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 9. С. 5—31 (сказка «Час воли божией», 1890).

²⁷ Вельтман А. 1) Кошей Бессмертный... Ч. 2. С. 104; 2) Новый Емеля, или Превращения. С. 31—32, 230.

²⁸ Мартынов Л. Проблема перевода // Юность: Избранное: 1955—1965. М., 1965. С. 691—692; Мажорный А. Рифмопроз о внимании // Крокодил. 1976. № 26. С. 10; Шумский А. Терема на речке Каменек // Комсомольская правда. 1978. № 120. 21 мая. С. 4.

²⁹ Отмечены Ю. Н. Тыняновым. См.: Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. С. 133.

³⁰ Храповицкий А. В. Дневник: 1782—1793. СПб., 1874. С. 20.

³¹ Державин. Соч. 2-е академ. изд. СПб., 1878. Т. 7. С. 606.

³² В последнем из 2023 стоп или долей число стяжённых (т. е. собственно долей) — всего 37, или 1,8 %. В стихотворной поэме Вельтмана «Муромские леса» (1831) дольниковых строк 9 из 865 (без вставок иных метров), или 1 %. В пересчете на стопы это, конечно, в несколько раз меньше, чем в переложении «Слова», но факт есть факт, даже в «настоящих» стихах малораспространенные трехложные метры не выдерживаются так уж безукоризненно.

³³ Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского / Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вельтманом. С. 11, 43, 15.

³⁴ Толстой Л. Н. О литературе. М., 1955. С. 135.

³⁵ Жирмунский В. О ритмической прозе // Русская литература. 1966. № 4. С. 107—114.

³⁶ Показательно, что Тынянов, впервые показавший колоссальную роль выделения стиха (строки) как единицы ритма, не фетишизировал, в отличие от многих его современных последователей, выделенность графическую: «Если мы все же считаем стихами стихи без графического знака стиховой установки, то это обычно стихи с максимумом выполненных условий, которые уже известным образом кристаллизовались в систему...» (Тынянов Ю. Указ. соч. С. 38). Оговорка в высшей степени полезная, если учесть историю стиха и его национальные формы, которые, уже будучи записанными, далеко не всегда предполагали зримость вторичной сегментации (древнейшие стихи в славянских странах, раннесредневековые западноевропейские стихи, ряд систем восточного стихосложения и т. д. и т. п.).

³⁷ Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотв. 2-е изд. М.; Л., 1966. С. 89.

³⁸ Томашевский Б. В. Стих и язык. М.; Л., 1959. С. 59.

³⁹ Французское стиховедение разграничивает понятия «*énumération*» и «*développement*». Мы можем использовать их для различения ритма порядкового и ритма «развивающегося» (как свиток), т. е. повторяющего некоторые дискретные элементы. См.: *Grammont Maurice. Petit traité de versification française*. Ed. 9. Paris, 1937. P. 72 и др.

⁴⁰ Поэтому опыты по превращению стихов в обычную прозу при помощи одной лишь записи в строчку, проделанные независимо друг от друга несколькими исследователями, проводились на примере не правильных трехсложников, а только дольника (С. М. Бонди) и главным образом двусложниковых размеров, и притом с большим числом переносов, т. е. при разболтанности потенциальных прозостиховых колонов. См.: Харлап М. Указ. соч. С. 88—89; Штокмар М. Указ. соч. С. 191—192; Артоболовский Г. В. Очерки по художественному чтению. М., 1959. С. 76—77; Назаренко Вадим. Язык искусства. Л., 1961. С. 391; Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. 4-е изд. М., 1971. С. 271—272; Поспелов Г. Н. Художественная речь. М., 1974. С. 183; Гиришман М. М. Анализ поэтических произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. М., 1981. С. 30; Жовтис А. Л. К вопросу о границе между стихом и прозой // Филологические науки. 1985. № 3. С. 65—66.

⁴¹ Белый Андрей. Маски. М., 1932. С. 11.

⁴² Темный С. Указ. соч. С. 5—6.

⁴³ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 214.

⁴⁴ [Шишков А. С.] Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. [2-е изд.] СПб., 1813. С. 401—402, 403—404.

⁴⁵ Жирмунский В. Указ. соч. С. 104.

⁴⁶ См.: *Goethe Johann Wolfgang. Wilhelm Meisters Lehrjahre*. Kiew, 1940. S. 552—553.

⁴⁷ Гете. Годы учения Вильгельма Мейстера. Пермь, 1959. С. 506—507.

⁴⁸ Рогов Вл. Верлибр: мода или потребность? // Лит. обозрение. 1974. № 9. С. 103.

⁴⁹ Родзевич С. И. К вопросу о влиянии Байрона и А. де Мюссе на Лермонтова // Филологические записки. Воронеж, 1915. Вып. 1. С. 44.

⁵⁰ Бухштаб Б. Первые романы Вельтмана // Русская проза / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926. С. 199, 201.

⁵¹ Глинка Федор. Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе. СПб., 1826. С. 26.

⁵² Бруханский А. Н. М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство» // XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959. С. 158.

⁵³ См.: Томашевский Б. В. Указ. соч. С. 11; Харлап М. Указ. соч. С. 27—28, 31, 36; Жовтис Александр. Стихи нужны... Алма-Ата, 1968. С. 11 и след.; Ковалевский Володимир. Ритмічні засоби українського літературного вірша: Спроба систематики. Київ, 1960. С. 23.

⁵⁴ См.: *Овчаренко Александр*. Новые герои — новые пути: От М. Горького до В. Шукшина. М., 1977. С. 101, 105—106.

⁵⁵ Там же. С. 240.

⁵⁶ См.: *Гаспаров М. Л.* Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974. С. 164.

⁵⁷ Ю. Н. Тынянов (см. указ. соч. С. 43) ссылается на слова Л. Н. Толстого по поводу метрической прозы Белого, в которых она сравнивалась с «хлопаньем ставень в бессонную ночь: все ждешь, когда уж хлопнет». О своем собственном прозистихе Толстой думал, наверное, несколько иначе.

⁵⁸ В. Г. Адмони положительно оценивает «динамику прямого эмоционального разбега» сверхстиховых синтаксических единиц в современном верлибре (*Адмони В.* Поэтика и действительность. Л., 1975. С. 276).

⁵⁹ *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч.: В 5 т. / Под ред. Б. М. Эйхенбаума. Т. 1. С. 342. Впрочем, данная форма записи — весьма вероятная ошибка публикаторов.

⁶⁰ Песнь ополчению Игоря Святославича, князя Новгород-Северского / Переведено с древнего русского языка XII столетия Александром Вельтманом. С. 3.

⁶¹ *Штокмар М.* Указ. соч. С. 208.

⁶² В тексте «Странника» «Эскандеру» предшествует оговорка: «По обратном прибытии в Вавилон, по смерти Александра, т. е. по прочтении следующего перевода из Ба х а р и с т а н а Джиами. . . Здесь заблаговременно должно заметить, что все нижеследующее можно найти только в первоначальном манускрипте Ба х а р и с т а н а; как вещь не совершенно достоверную, в коей сомневался и сам Абдал-Рахман-бен-Ахмед. . .» (*Вельтман А.* Странник. Ч. 1. С. 99—100). Фраза оборвана. Вельтман откровенно издевается над теми писателями, которые оправдывают собственные сочинения ссылками на несуществующий источник или образец. За «древнюю латинскую рукопись» выдана и вторая вставная поэма (Ч. 3. С. 92).

⁶³ Ср.: *Харлап М.* Указ. соч. С. 26, 31, 72; *Муравьев С. Н.* Силлабо-тоничность ритмической прозы Гераклита Эфесского // Античность и современность. М., 1972. С. 236—251.

⁶⁴ *Вельтман Александр*. Кошей Бессмертный. . . Ч. 2. С. 85—86.

⁶⁵ *Вельтман Александр*. Ратибор Холмоградский. С. 221.

⁶⁶ *Голосовкер Яков*. Сказание о кентавре Хироне. М., 1961. С. 12—13, 50.

⁶⁷ Там же. С. 51.

⁶⁸ Там же. С. 46, 52, 53, 54 и мн. др. Слияние обоих типов ритмообразования см. на с. 39—40.

⁶⁹ *Бурлацкий Федор*. Загадка и урок Никколо Макиавелли: Драматургические, исторические и социологические новеллы. М., 1977. С. 21, 93.

⁷⁰ *Дурылин С. Н.* Как работал Лермонтов. М., 1934. С. 26; *Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966. С. 75.

⁷¹ *Бархин К. Б.* Два стихотворения на смерть А. С. Пушкина // Стиль и язык А. С. Пушкина. М., 1937. С. 30—31; *Скатов Н. Н.* А. Кольцов: «Лес» // Поэтический строй русской лирики. Л., 1973. С. 135—136.

⁷² *Ковалевский Владимир*. Указ. соч. С. 24.

⁷³ *Белый Андрей*. Указ. соч. С. 11. В том же предисловии (С. 11—12) есть еще два очень важных для нас признания: 1) «. . ., М а с к и» — драматичны по содержанию»; 2) «я учился. . . ритму у Ницше» (т. е. опирался непосредственно на немецкую традицию, а через нее, возможно, и на античную — ведь Ф. Ницше был профессором классической филологии).

⁷⁴ *Янакиев М.* Българско стихознание. София, 1960. С. 76.

⁷⁵ *Тынянов Ю.* Указ. соч. С. 38, 42.

⁷⁶ См.: *Златоустова Л. В.* Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами // Контекст-1976. М., 1977. С. 61—80. Мы опираемся также на серию докладов проф. Л. В. Златоустовой, сделанных на конференциях стиховедов в ИМЛИ.

⁷⁷ *Федотов О.И.* Фольклорные и литературные корни русского стиха. Владимир, 1981. С. 12.

⁷⁸ *Бурич В.* Тексты: Стихи; Удетероны; Проза. М., 1989. С. 144.

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В. Г. КОРОЛЕНКО. ПИСЬМА ИЗ ПОЛТАВЫ

(ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ С. Н. ГУСЬКОВА)

«Короленко — художник беллетрист только наполовину. Другая половина его работы — публицистика, преимущественно по конкретным поводам, в которых выступают характерные черты современного русского строя»,¹ — писал Владимир Галактионович в автобиографии. Публицистика Короленко долгое время печаталась в нашей стране избирательно. В наименьшей степени советскому читателю было известно написанное им после 1917 года. Восприятие писателя было неадекватным. Сегодня опубликованы «Письма к Луначарскому», «Земли! Земли!», «Торжество победителей». В каждой из этих статей содержится серьезная критика большевистской власти. Но, чтобы представлять себе истинную позицию писателя во время гражданской войны, не следует забывать, что и к старой власти он относился критически: «... вообще теперь на русской почве стоят лицом к лицу две утопии. Одна желает вернуть старое со всем его гнусным содержанием. . . Утопии реакционной противостоит другая утопия — большевистского максимализма».²

Публикуемые в этом номере журнала «Письма из Полтавы» содержат острую критику Добровольческой армии. «Во время деникинского захвата Полтавы я, по старой памяти, не утерпел и послал 6 писем о безобразиях, которые творили здесь добровольцы. . . Теперь это добровольчество уже в прошлом. „Память его погиге с шумом“, и бог с ним. Утопия, только обращенная назад», — вспоминал Короленко в письме к А. Г. Горнфельду от 6 мая 1920 года.³ Таким образом, данная публикация дополняет картину отношений писателя к разным властям в период гражданской войны.

Главная же ценность «Писем из Полтавы», на наш взгляд, в том, что, критикуя Деникина, Короленко излагает собственные представления о началах, на которых могла бы возродиться Россия.

«Письма из Полтавы» написаны летом и осенью 1919 года и публиковались в екатеринодарской газете «Утро Юга» от 28 августа/10 сентября, 30 августа/12 сентября, 1/14 сентября, 4/17 сентября и 8/21 сентября 1919 года. В том же году в Екатеринодаре вышел литературный сборник «Перевал», в котором печатались письма 1—5. Письмо 6-е по названию «О разрубании узлов и об украинстве» напечатано было только в харьковских газетах «Рідне слово», № 23 за 1919 год, и «Южный край», № 94 за 1919 год, соответственно 10/23 августа и 29 сентября/12 октября. Обширные фрагменты «Писем из Полтавы» приводились С. В. Короленко в «Книге об отце».

В данной публикации текст 1—5 «Писем. . .» воспроизводится по изданию: Перевал. Лит. сборник. Екатеринодар, 1919. С. 78—99. Письмо 6-е печатается по машинописи с поправками автора, хранящейся в РО ГБЛ: Ф. 135/1. К. 17. № 1017.

¹ Короленко В. Г. Полн. посм. собр. соч. Полтава, 1929. Т. 5. С. 196.

² Цит. по: Короленко В. Г. Из дневников 1917—1921 гг. // Память. Историч. сборник. Вып. 4. М., 1977. Париж, 1979. С. 395.

³ Цит. по: Короленко С. В. Книга об отце. Ижевск, 1968. С. 348.

I

Новая страница

Полтава пережила еще один переворот. К вечеру 15/28 июля большевики спешно эвакуировались. Это было более похоже на паническое бегство, чем на отступление. . . Отошли от Киевского вокзала последние эшелоны. . . Потом — небольшая канонада по городу, трескотня ружейных и пулеметных выстрелов. Над домами в темноте разорвалось несколько снарядов. Трудно сказать, были ли при этом жертвы и сколько их было. Кажется, во всяком случае, немного. . . И вот в истории нашего города, пережившего так много переворотов,¹ открывается новая страница.²

Начало ее — нерадостно. Когда я, на второе утро после занятия города, писал эти строки, кругом шел сплошной погром и грабеж. Врывались в квартиры, населенные евреями, обирали семьи даже последних бедняков, уходили одни, приходили другие, забирали, что оставалось от прежних посетителей, и уходили. . . А на смену им шли опять новые. В совещании, которое происходило в думе на второй день, было заявлено, что в некоторых семьях грабеж повторялся по семи и более раз. Сегодня (на третий день) вести опять нерадостные: сплошной грабеж еще продолжается на некоторых улицах. Впрочем, появился приказ, воспреещающий грабежи и грозящий расстрелами грабителей на месте. Два случая таких расстрелов уже имели место на третий день.

Перед уходом большевиков они отпустили из тюрем 150 красноармейцев, конечно сидевших за более или менее тяжкие уголовные преступления.³ Потом пришла какая-то загадочная повстанческая банда, разгромила тюрьму и арестантские роты и выпустила всех заключенных с самым мрачным прошлым. При этих условиях жители ждали скорейшего занятия города, надеясь на зашитку войск. Надежда не оправдалась: военные отряды дают тон, а худшие элементы города идут навстречу погромному течению. Вещи, выкидываемые из еврейских жилищ, подхватываются «штатскими», даже подростками, которые водят казаков от двора к двору, указывая евреям. . . Это много обещает для нравственности этой молодежи на ближайшее будущее.

«Грабят только евреям. . . И при этом никого не убивают». . . Это правда, — но какое это жалкое оправдание, напоминающее худшие времена того прошлого, к которому нет и не должно быть возврата. . .

Среди заложников, которых увозили большевики при своем отступлении навстречу мрачной и тяжелой неизвестности, было немало и евреям. Всей Полтаве известно, что вынесли представители состоятельного еврейства, отправляемые на принудительные тыловые работы. . . Тридцать пять человек были доставлены в больницы со следами таких истязаний, что даже один из членов большевистской комендатуры написал на протоколе: «Смерть негодяям, опозорившим большевистскую власть такими жестокостями. . .»

Евреи тоже страдали, значит, от некоторых сторон большевистского режима. Это была преимущественно более состоятельная часть еврейства, хотя нередко томилась в чрезвычайных и еврейская мелкота. Теперь, как это бывает при всех погромах, страдают больше всего бедняки: мелкие торговцы, ремесленники, тяжелым трудом добывающие средства скудного существования, лишаются последнего имущества, которое уцелело от большевистских «реквизиций».

Да, нерадостно началась новая страница местной истории, омрачившая первые дни того режима, которого, несомненно, многие ждали как начала эры твердой законности и устойчивого права. Права широкого, охватывающего одинаково все нации, все исторически сложившиеся классы, все слои существующего общества. Теперь и эти люди спрашивают себя: с этого ли должна начаться новая эра? Когда же рассеется эта туча узкого ненавистничества, погромов и слез?

Эту скорбную страничку из жизни нашего города я написал в первые дни, когда на улицах города еще продолжался грабеж. Я хотел написать серию небольших писем

в местной газете,⁴ которая наконец вышла после отсутствия всякой прессы, кроме большевистских официозов. Мне казалось невозможным, недостойным «свободной» прессы начинать беседу с читателем с умолчания о главном, о том, что все видят, что требует громкого протеста. Но... ни этой, ни следующей заметке не суждено было увидеть света... Попытаюсь хоть теперь отметить эту «новую страницу» с ее характерными чертами... Беда не в том, что будут говорить об этом. Об этом все равно говорят все, может быть даже с преувеличениями. Беда в том, что это было, и что это частью есть и теперь (по деревням). И молчать об этом — значит только опять прибегать к политике страуса...

17—20 июля 1919 г.

II

Трагедия бывших офицеров

28 и 29 июля настоящего года у нас в Полтаве расстреляны два офицера: подпоручик Вячеслав Зверев и поручик Николай Николаевич Тверитинов. Об обстоятельствах дела Зверева мне ничего не известно, но пример Тверитинова имеет яркое показательное значение. В приказе о предании его суду (№ 11 от 27 июля) говорится, что «будучи мобилизован советскими властями, он своей отменно усердной службой снискал доверие высших агентов большевистского правительства и, благодаря этому, занимал ряд ответственных должностей в Красной армии: командира продовольственного транспорта, командира кавалерийского дивизиона, каковой и формировал сам. Занимал должность начальника штаба 4-й стрелковой Украинской дивизии». За все эти действия Н. Н. Тверитинов 29 июля осужден военно-полевым судом и расстрелян. Тверитинов просил о вызове свидетелей, которые могли, быть может, установить обстоятельства, изменяющие картину его отношений с советской властью. Но в вызове свидетелей ему отказано. Защиты, как известно, в военно-полевых судах не бывает. Значит, приказ о предании его суду является вместе с тем и формулой приговора, отвергнуть которую подсудимый лишен возможности.

Этот пример характеристичен для истинно трагического положения бывших офицеров. Близкие к Тверитинову люди говорят мне, что он ждал прихода Добровольческой армии как избавителей от большевистского пленения. Он был «мобилизованный». При отходе большевистских войск он и не подумал уйти с ними... Что же теперь делать другим офицерам, мобилизованным большевиками? Не придется ли им после этого урока уходить с большевиками и продолжать драться с Добровольческой армией, если не по убеждению, то для спасения своей жизни, нужной для их семей (у Тверитинова 8 человек детей). Правильна ли такая политика?

Почему Тверитинов не ушел от большевиков ранее, — я не знаю. Многие бывшие офицеры, мобилизованные в Красную армию или в другие учреждения, не уходят просто потому, что они не герои, готовые пренебречь всем для той или другой идеи. За отсутствие героизма наказывать нельзя. На одном героизме нельзя построить широких объединений. Между тем все бывшее офицерство у нас теперь на положении подсудимых и угрожаемых. Полтава то и дело видит на своих улицах целые отряды из бывших офицеров, которых гонят в тюрьмы, как арестантов. Еще недавно они были на подозрении у большевиков. Их хватали, сажали в тюрьмы, грозили расстрелами и порой расстреливали. Теперь их опять сажают в тюрьмы и опять расстреливают. За что же теперь?

Допускаю самый резкий случай: Тверитинов или другой мог примкнуть к большевикам, искренно увлеченный их лозунгами. Не надо закрывать глаз на истину: такие искренние люди есть и среди большевиков, и мне приходилось встречать их. Допустим, что офицер такого настроения попадает в плен Добровольческой армии. Я знаю, что при нравах и обычаях междуусобной войны обе стороны расстреливают пленных офицеров. Всякая война ведет к озверению, а междуусобная война отбрасывает даже те смягчения,

которые уже давно вошли в нравы войны международной. Я глубоко убежден, что это вредно даже с чисто утилитарной точки зрения. Ко мне однажды пришел со слезами на глазах солдат (все равно какого лагеря). Он пошел по убеждению, но увидел себя лицом к лицу с проявлениями озверения в виде расстрелов противника за убеждения и не мог помириться с этим: каждая казнь уже обезоруженного пленника, каждое убийство только за инакомыслие рождает новых противников, ослабляет энтузиазм со стороны лучших приверженцев.

Что же сказать о казни, подобной казни Тверитинова? Он был у большевиков, но он не ушел с ними, а пошел навстречу добровольцам. Может быть, он тоже разочаровался, а может, просто был «не герой» и не сумел вырваться ранее. И вот его казнили. . . Какие чувства вызовет это в других бывших офицерах? Не должна ли эта казнь вызвать реакцию после первого радостного порыва? И мне действительно говорят уже о том, что в среде этих «бывших» начинается реакция: начинают снимать погоны, начинают даже дезертировать.

В день казни Тверитинова я был у начальника Полтавского гарнизона, ген. Непенина.⁵ Он сказал, что я пришел поздно: приговор уже приведен в исполнение. Во время разговора, когда я попробовал высказать соображения, приведенные выше, генерал мне ответил, что он не вправе пускаться в соображения политического свойства о последствиях того или другого закона. Закон ясен. Инструкции тоже ясны. Он их только применяет, хотя и с стесненным сердцем. И конечно, генерал был по-своему, по-военному, прав. Но я думаю, что этот «ясный закон» и ясные инструкции вносят в кровавый туман, заволакивающий будущее нашего отечества, такую трагическую черту, которая только сгущает мрак.

Я считаю, что программа ген. Деникина,⁶ если ее честно провести до конца, дает приблизительно то, на чем могло бы в конце концов устояться разбушевавшееся море русской жизни для отдыха и нового движения.⁷ Но между всякой программой и ее конечным выполнением лежит еще преломляющая среда и, прежде всего, среда, проводящая эту программу. Важно поэтому, чтобы обозначились не только приемлемые цели, но чтобы и средства применялись правильные. А то, что пережила Полтава в первые дни по занятии и что продолжает переживать теперь, кажется мне ведущим к результатам противоположным.

Полтава не в первый раз становится объектом завоевания. Может быть (кто знает?), и не в последний. И ко всякой вновь приходящей власти приходится обращаться с напоминанием — вспомнить не только о стратегии и ее трофеях, но и о таких высших и более широких началах, как свобода и справедливость. . . Я уверен, что этот призыв уже носится в воздухе, рождаясь в глубине истерзанных и стосковавшихся сердец.

И не следует говорить: «сначала победа, а потом подумаем о справедливости, свободе, гуманности и тому подобных началах. . .» Это как раз та формула отсрочки, с которой погибла царская власть: сначала успокоение, а потом реформы! Нужно, чтобы сразу было видно, куда стремится новая власть. Если в ее программу входит свобода печати, то нужно иметь мужество выслушать ее свободный голос, хотя бы и в неприятном деле.

Говорят, в последние дни получена из южного центра телеграмма, чтобы смертные приговоры над офицерами не приводились в исполнение без утверждения главнокомандующего. Есть, значит, надежда, что эти ненужные расстрелы будут прекращены.

3 авг. 1919 г.

III

Власть или шайка

Через несколько дней по занятии Полтавы Добровольческой армией я, вместе с П. С. Ив(ановск)ой,⁸ товарищем председателя Политического Красного Креста,

отправились в контрразведку. Политический Красный Крест⁹ — учреждение, нелегальное при самодержавии, — у нас в Полтаве легализовался еще до большевиков и часто служил посредником между населением и разными «чрезвычайными» учреждениями. Большевики в Полтаве признали это посредничество, и хотя чрезвычайная комиссия косилась порой и выражала нетерпение на «неуместное вмешательство», но П. С. Ив(анов)ской и мне удавалось все-таки поддерживать посредническую роль. Такое посредничество «нейтрального» учреждения и лиц, имеющих в виду лишь человеколюбие и возможную справедливость, никогда не может повредить никакой господствующей в данное время власти. Оно вносит критику в ее действия, удерживает слишком страстные порывы, приводит все аргументы, которые нужно знать власти «с другой стороны», и в конце концов способствует смягчению ужасных нравов междуусобия. Если бы это было признано сразу, то наверное не случилось бы у нас многое, о чем новой власти приходится и еще придется пожалеть. . .

У нас, как я уже сказал, посредническая роль Политического Красного Креста признавалась во время кратковременной власти петлюровцев; Политический Красный Крест действовал также все время при большевиках. Теперь пришла новая власть, еще ни разу не бывшая в Полтаве.

На меня лично уже давно легла своего рода тяжелая повинность. Еще при самодержавии каждый раз, когда в городе случались те или иные эксцессы власти (вроде «сорочинской трагедии»¹⁰), ко мне шли и требовали вмешательства печати. Это создало привычку, и теперь ко мне то и дело обращались с такими же жалобами и требованиями. Большевики задушили независимую печать, оставив только официозы. Я никогда не работал в официозах, а некоторые приемы «коммунистического органа» лишили меня всякой возможности прибегать к «Известиям» хотя бы с простыми письмами в редакцию.¹¹ Значит, печать как орудие хотя бы местной гласности была у меня отнята. Оставалось «непосредственное воздействие». Я, параллельно с Политическим Красным Крестом, не мог отказываться от этой тяжелой повинности. П. С. Ив(анов)ская посещала тюрьмы, помогала заключенным, ходатайствовала, подавала заявления. . . По самому характеру момента содержание этой работы определяла сама жизнь.

«Политический Красный Крест ходатайствует за контрреволюционеров. Короленко тоже», — говорили иные чрезвычайники. В тюрьмах сидели все люди, настроенные не большевистски. Произволу и административным воздействиям (вплоть порой до бессудных расстрелов) подвергались бывшие помещики, крестьяне-хлеборобы, записанные в официальные списки и порой ничего общего с официальной партией, поставившей гетмана,¹² не имевшие, юнцы гимназисты и гимназистки, бывшие офицеры, старики генералы, мелкие торговцы-евреи, бедняки-крестьяне, ставшие жертвой подлых ложных доносов и т. д. Борьбась с произволом чрезвычайники значило практически — отстаивать все ее жертвы. И мы это старались делать.

С приходом каждой новой власти нам предстояло в сущности делать то же дело. Страсти поворачивались теперь в другую сторону, объекты стали другие, но страсти оставались теми же страстями, часто слепыми и жестокими. Вопрос для нас состоял в том, пожелают ли эти новые власти прислушиваться к голосу «со стороны», уже доказавшему свое беспристрастие и спокойное стремление к справедливости и смягчению жестокостей. Труп учителя Ямпольского, весь день лежавшего на улице и несомненно расстрелянного «сгоряча», «неизвестно кем», трагически красноречиво напоминал о необходимости такого нейтрального вмешательства. И мы с Прасковьей Семеновной Ив(анов)ской пошли в «контрразведочное бюро», чтобы определить новое положение Политического Красного Креста и знать, как нам отвечать на обращения местных людей, которых ураган междуусобия ударял теперь с другой стороны.

Нас принял начальник контрразведки, полковник Щ(учкин), — человек с видимой жандармской выправкой. Я не стану воспроизводить всего разговора, происшедшего между нами, укажу только на одну черту, на мой взгляд очень характерную. Едва

я упомянул о роли Политического Красного Креста «при смене разных властей», как полковник, подняв голос, сказал:

— Позвольте вам заметить, что вы напрасно говорите о смене *властей*. Власти до сих пор не было. . . Была лишь шайка разбойников. . .

Я тоже позволил себе заметить строгому полковнику, что знаю употребление русских слов и знаю, что когда та или иная группа приобретает возможность издавать декреты, признаваемые на огромном пространстве отечества, когда она на этом пространстве устанавливает свои учреждения, свои суды, которые судят, приговаривают и приводят приговоры в исполнение, то я называю такую группу властью и думаю, что я прав. . . Так было при гетмане, так было при Петлюре,¹³ так было и при большевиках. Значит, я вправе повторить опять: «при смене разных властей» и т. д.

Понятно, что разговор, начавшийся таким образом, не мог привести к удовлетворительным результатам, и Политический Красный Крест признания не получил. . . Я тоже со своим «вмешательством» был поставлен на «надлежащее место». Но меня интересует в данном случае не столько непосредственный результат разговора, сколько точка зрения, выраженная этим полковником.

В самом деле: власть или не власть были большевики? В приказе о предании суду поручика Тверитинова (номер 11) говорится прямо, что он содействовал «*власти* и войскам Советской Республики» в их враждебных против вооруженных сил Юга действиях. Я мог бы, значит, в разговоре с моим строгим собеседником сослаться на этот официальный документ. Но нужно сказать, что в другом приказе по поводу подпоручика Зверева говорится уже, что «поступив в преступное сообщество большевиков» и т. д. Можно, значит, сказать, что и в отношениях власти к большевизму, как шайке или как власти, тоже существует нерешительность и колебание. Между тем от определенного ответа на этот вопрос зависит многое. Если была большевистская власть, то и те, кто в это время исполнял те или другие официальные обязанности, являлись лишь агентами «существовавшей власти», и их действия подлежат обсуждению с одной точки зрения: как они ей служили. Совершали или не совершали преступления по существу? . . . Если же это не власть, а только «преступное сообщество» (слова другого приказа) или «шайка разбойников», как говорил полковник Щ(учкин), тогда является преступлением уже самый факт службы и исполнения известных обязанностей, потому что всякое содействие разбойникам, хотя бы и косвенное, есть несомненное преступление. . . Даже музыкант, «по мобилизации» участвовавший в оркестре, услаждавшем слух разбойников, тоже подлежит ответственности. И я знаю случаи, когда музыканты, мобилизованные советскими властями, принуждены были скрываться, как красноармейцы, деятельно выступавшие против добровольцев. . .

Из моего письма о судьбе офицеров, уже расстрелянных или ждущих еще решения военно-полевого суда, а также из моих следующих писем, если им суждено увидеть свет, будет видно, как важна определенность ответа на этот вопрос и какой ответ является по моему единственно возможным, вносящим определенность, прочность, необходимую степень терпимости, устойчивости в положение занимаемых добровольцами местностей, могущим рассеять залегающий над нами кровавый туман.

5 авг. 1919 г.

IV

Власть доноса

Когда-то давно, еще в 90-х годах прошлого столетия, когда я жил в Нижнем Новгороде,¹⁴ у меня был произведен обыск. Никакого резонного повода для него очевидно не было, и я к этому давно привык. Но все-таки обыск в квартире, произведенный в присутствии понятых и привлекший внимание соседей, казалось мне, должен иметь

какое-нибудь более или менее резонное объяснение. Я пошел объясняться с жандармским генералом Познанским.¹⁵

На мой негодующий вопрос генерал, по-видимому все-таки несколько сконфуженный, попросил меня пройти в соседнюю комнату и указал средних размеров сундучок, плотно набитый бумагами.

— Знаете, что это такое? — спросил он. — Это все доносы, анонимные и неанонимные. И доносы эти не от наших официальных агентов, а . . . от обывателей-добровольцев. . .

— Охота же вам обращать внимание на это негодование?!

Он пожал плечами.

— Большую часть мы и оставляем без внимания. Но всего оставлять без внимания нельзя. Доносчики доносят и на меня высшему начальству. И порой у меня запрашивают: почему не обращено внимание на донесение такого-то о таком-то? . . . Вот такой донос поступил и на вас. Должен был произвести обыск. . . *Мы сами во власти доноса.*

Власть доноса — власть не только подлая и безнравственная, но и опасная. Как-то раз мне пришлось объясняться в чрезвычайке по поводу группы хлеборобов, скромных людей, не занимавшихся никакой политикой. Я привел убедительные резоны, что этих людей, с точки зрения даже большевистской власти, лучше всего отпустить в их деревню к весенним полевым работам. . .

— Это так, пожалуй, — сказал один из «чрезвычайников», видимо поколебавшийся. — Но что же мы скажем «нашим крестьянам»?

«Наши крестьяне» — это значит та часть крестьян, то порой ничтожное меньшинство, которое во имя большевизма держало в страхе массу населения властью гнусных доносов. Отпустить арестованных — это значит ослабить значение этого меньшинства на месте. . . И бедняги арестованные сидели дни и недели во славу доноса тех самых людей, которые, быть может, теперь так же ретиво доносят новой власти, прикидываясь ее друзьями. И чрезвычайка, в которой слонялись разные люди, порой, пожалуй, недурные, так до конца не освободилась от власти доноса.

Эта гнусность, этот доносительский яд составляет самостоятельную и очень вредную силу. Есть разные борющиеся стороны: большевики, петлюровцы, добровольцы. Есть махновцы¹⁶ и григорьевцы,¹⁷ ведущие свою особую линию. И есть еще доносчики, перекидывающиеся со своим гнусным оружием то на одну, то на другую сторону. Это не борьба в пользу той или другой идеи. Это орудие сведения личных счетов.

У нас в Полтавщине был один разительный случай такого рода. Ссорились два брата, и ссора приняла, как это часто бывает, самый ожесточенный характер. Когда пришли большевики, один из братьев донес на другого, что он — контрреволюционер. . . «Ну вот. . . Посиди-ка, дружок. . . Будешь знать». . . Потом он образумился и пошел в местную чрезвычайку, чтобы снять оговор. . . Оказалось, что уездная чрезвычайка не дремала: ему сообщили, что контрреволюционер уже расстрелян. . .

И всякая «перемена власти» ведет за собой новую вспышку доносничества. Теперь у нас гуляет лозунг: «Вот комиссар. . . Лови комиссара». Приказ о том, чтобы все, кто знает места пребывания «комиссаров», непременно об этом доносили, особенно раздувает эту вспышку. . . Приказ. . . Значит, можно усердствовать и порой переусердствовать в исполнении. Конечно, настоящие комиссары, занимавшие ответственные должности и действовавшие в чисто большевистском духе, давно эвакуировались. Остались только те из занимавших какие-нибудь официальные посты во время большевизма, которые готовы дать ответ за свои действия и уверены, что их строго не осудят.

Но рвение доносителей не знает пределов. . . В первые же дни, когда еще не стихло впечатление канонады и перестрелки, когда не знающие местных обстоятельств добровольческие власти оглядывались по сторонам, опасаясь притаившихся врагов, охочие доносители, — часто те самые, которые прежде кричали: «Вот он, контрреволюционер», — теперь принялись кричать: «Вот комиссар». Две дамы поссорились «пососедски». Одна уже доносит на другую или на ее мужа. . . Юноши, почти мальчишки

видели такого же юношу с красным бантом. При большевиках этот юноша очень «козырял» перед ними. Теперь они кричат: «Ловите его. Это комиссар». И его ловят. . . И дальнейшие следы его затерялись в мрачной неизвестности.*

Вот еще один случай этого рода с более благополучным окончанием. 18 июля, то есть на третий день по вступлении добровольцев в Полтаву, вечером был арестован в своей квартире И. Ю. Немировский. О нем было сообщено лжедоносителями, якобы он был председателем революционного трибунала и подписал более 100 (!) смертных приговоров. Значит, церемониться нечего.

Немировский был болен, и его пришлось оставить под караулом на его квартире. И это, может быть, большое счастье. Его пришлось бы вести близ тех самых мест, где в этот день до самого вечера лежал труп бедняги Ямпольского, расстрелянного кем-то в качестве «опасного комиссара», а на деле оказавшегося безобиднейшим учителем гимназии. . . Но Немировский был оставлен до утра, а тем же вечером в контрразведку явились местные обыватели с просьбой охранить арестованного от возможных случайностей. Наутро было с точностью установлено:

1) Что военно-революционный трибунал в Полтаве не вынес *ни одного смертного приговора*.

2) Что Немировский не был его председателем.

3) Что он сам судился в этом трибунале за то, что во время эвакуации, состоя членом военной инспекции, освободил всех политических заключенных, которые благодаря ему избегли «случайностей» замешательства при эвакуации и теперь живы и свободны. . .

Вот что осталось от этих воплей охочих доносителей «Лови комиссара». . . И вот как опасно доверять этим охочим людям, добровольцам сыска и доноса. . .

И кого только нет в рядах этих охочих людей! . . Тут, как я уже говорил, и юнцы, и солидные люди. . . Называют одно лицо, занимавшее видное общественное положение, которое не побрезгало ткнуть перстом в неприятного ему человека и потребовать его ареста на улице. Не будем называть его. *Nomina sunt odiosa*. Но еще более одиозны поступки этих охочих людей. И на сей раз опасный комиссар при ближайшем рассмотрении оказался совсем не опасным и не комиссаром. . . Единственная его вина состояла в том, что он не угодил в чем-то почтенному доносителю.

Особенно характерны доносы разных хищников, которые, когда у них требуют отчета в израсходованных по должности деньгах, отвечали при большевиках:

— А! . . Вы контрреволюционеры! Хорошо же. . .

И бежали в чрезвычайку. . . Теперь (я знаю такие случаи) они же заявляют с апломбом:

— А! Вы большевики! Хорошо же. . .

И бегут в контрразведку. . .

Берегитесь ядовитого и разлагающего действия, которое производит эта общественная язва. . . «Берегитесь попасть во власть доноса» — вот что могли бы сказать новой власти учреждения и лица, привыкшие служить посредниками «при смене разных властей», если бы захотели слушать их спокойные голоса. . .

7 авг. 1919 г.

V

Еретические мысли о единой России¹⁸

Не помню точно, в каком именно очерке или рассказе есть у Глеба Успенского или у Щедрина такой диалог.¹⁹ Разговаривают двое о могуществе единого русского государства. Один особенно им восхищается, другой настроен скептически.

* Дело некоего Финтиккикова, бывшего смотрителя какого-то склада, выданного доносчиками за опасного «комиссара». . . (прим. Короленко).

— Представьте, — говорит первый, — такую ситуацию: какой-нибудь крестьянин Московской, Владимирской или, допустим, Курской губернии, Иван Парамонов задолжал казне семь с половиной, ушел со своего места и, шатаясь по свету со своей недоимкой, забрел на Новую Землю или в Камчатку. . . Его, разумеется, ищут, дабы казенному интересу не причинилось ущерба. Ну, как вы думаете: найдут ли и будет ли сия недоимка неуклонно взыскана?

Скептический собеседник вынужден согласиться, что едва ли Ивану Парамонову удастся отбегаться. Его непременно поймают, водворят сначала в камчатскую каталажку, потом через ряд улусных²⁰ каталажек препроводят по этапу в свое место, и хоть через пять, шесть, а может, и двадцать лет недоимка будет взыскана, и казенный интерес восстановлен.*

— Ну вот видите, — говорит тот из собеседников, который отстаивает мысль о сверхъестественном могуществе государства.

Диалог несомненно имеет иронический характер, и в нем ясно сквозит вопрос: то ли это могущество, то ли единство, которое стоит защищать и отстаивать? А перед нами теперь тот же вопрос стоит в новой форме: то ли это единство, которое нам нужно теперь восстанавливать?

Да, несомненно, самодержавная Россия была необыкновенно могущественна в отыскании беглых недоимщиков или политически неблагонадежных лиц. На это в ее распоряжении находился прекрасно разработанный аппарат, единый и превосходно централизованный. Усердие в изловлении недоимщиков Иванов Парамоновых, а также в изловлении неблагонадежных доходило до виртуозности, граничившей с наивностью. Когда-то в 80-х годах мне, в силу веления сей могущественной государственности, пришлось побывать в отдаленной Якутской области. Один из тамошних «заседателей» (звание, равное становому приставу) рассказывал мне не без своеобразного юмора, что по некоторым отдаленным улусам еще недавно гуляла бумага о разыскании пропавшего без вести американца Франклина. Скитаясь в течение почти столетия из улуса в улус и претерпевая на этом пути своеобразные изменения, она попадает в руки нового писаря, старающегося «очистить переписку» и закончить «нерешенные дела». Переписка о Франклине попадает в разряд дел «о поимке беглых» и заканчивается сообщением, что упомянутого беглого американского подданного во вверенном улусе не оказалось. А буде окажется, то будет неукоснительно пойман и отправлен в областной город для поступления по законам. И конечно, если бы случился в тех местах однофамилец Франклина, то ему бы не миновать целого ряда улусных каталажек.

Вот именно эта отчетливость административно-полицейского сыска, который, точно особого рода нервная система, охватил всю Россию от Петербурга до отдаленной Камчатки, долго смешивалась у нас с действительным могуществом и с действительным единством России, о которых говорилось даже в учебниках географии. А между тем, было ли это единство, было ли это могущество?

Меня всегда поражало, до какой степени слепы эти полицейские всевидящие очи и как глухи эти всеслышающие уши. Вспоминаю следующий характерный эпизод. Тот же жандармский генерал Познанский, о котором я говорил в одном из предыдущих писем, позвал меня «по важному для меня делу» и с встревоженным видом сообщил, что на меня опять поступил серьезный донос.

— Я конечно этому не верю, — заявил он милостиво, — но. . . мне доносят, будто вы пешком, с котомкой и посохом ходили по Заволжью и вели пропаганду. Мне придется нарядить туда жандармов. Вы могли бы облегчить задачу, если бы сообщили, что могло подать к этому повод.

Я засмеялся и ответил, что легко могу облегчить ему задачу и указать источник, из которого он может узнать о каждом моем шаге по Заволжью. . .

— Какой же это источник? — насторожился генерал. . .

* Цитирую, может быть, неточно, но мысль именно та (прим. Короленко).

— Газета «Русские ведомости». Там я в течение уже целого месяца печатаю впечатления моего путешествия пешком и на лодке. . .²¹

Это очень характерно. Гг. жандармы тщательно следили, собирали доносы, глубокомысленно искали крамолу там, где все было ясно. Им казалось ценно все, что им донесли, а то, что было очевидно как день — только не из агентурных источников, — от них ускользало. Недавно в печать попал целый ряд документов о «надзоре над писателем Короленко».²² Усердный полтавский полицмейстер доносил в департамент о каждом моем шаге. Строились остроумные соображения о целях моего посещения такого-то или такого-то дома, но при этом поражала великая наивность, с которой я причислялся то к преступной партии кадет, то к социал-демократам, то к террористам и даже анархистам.

Это характерно. Частности сыского характера закрывали совершенно то, что имело показательный и общественный интерес. Это имело место как в отдельных случаях, так и в более широком масштабе. Техника сыска закрывала важнейшие мотивы на пространстве всей обследуемой с этой точки зрения России. Казалось, могущество «единой России» достигает баснословных размеров, если судить по числу изловляемых крамольников. И только никому не приходил в голову вопрос: почему же это число все растет, какие мысли, какие чувства бродят под влиянием этих событий в обществе и в народных массах, в каком направлении толкают они стихийную, как океан, и, как океан, широкую народную мысль и народную волю. . .

Вот в этом все дело. Гоняясь за частностями, могущественное государство само глохло, слепо и становилось неспособно отдавать себе отчет в общих явлениях. Оно подавляло всякое проявление мнения и воли страны, а потому и не могло их знать. Оно видело свое могущество в том, чтобы никакого мнения и никакой воли страны не было. Оно преследовало революционеров и видело сепаратизм в стремлении к местным культурам. И революционеров, и «сепаратистов» оно излавливало успешно, органы печати на инородческих языках усердно закрывались, и государство покоилось в уверенности, что все эти его частные победы означают подавление самих стремлений к проявлению народами России самостоятельной мысли.

Но вот над «единой великой Россией» грянул гром, и она сразу развалилась на части с такой быстротой, которая способна вызвать удивление. Очевидно, это единство было спаяно очень плохо. Чисто полничейская организация — плохой цемент, а действительный цемент, скрепляющий государства, — единство мысли и единство воли не воспитывалось, не организовывалось, а только подавлялось и разрушалось. И вот, толчок — и единой России нет! Отдельные части нашего великого отечества потеряли связь со своим центром и зажили собственной жизнью, как тело червя, которое продолжает жить после того, как заступ разрезет его на несколько частей. . .

И нужно сказать — в этом еще великое счастье и великая надежда. Великое счастье в том, что все-таки самодержавный Петербург не успел централизовать и помрачить всех отправлений областной жизни. Великая надежда в том, что отдельные области не стали мертвы, а продолжают жить и действовать, группируясь около собственных центров. В этой деятельности многое еще подлежит поправкам и координации, но факт состоит в том, что жизнь не прекратилась и что она не определяется всецело бюрократическими декретами из центра, ни самодержавного, ни большевистского.

Какой же урок следует из этого для тех, кто мечтает теперь о «единой России», кто надеется восстановить этот великий государственный организм? Они должны признать факты и сделать из них последовательные выводы.

Факты состоят в том, что возрождающая сила находится не в центре, а на периферии. Не Петербург и не Москва возрождают единое отечество своими директивами, а, наоборот, группировка областей стремится провести сознание единого отечества к центрам. Возможно ли и нужно ли, чтобы эти усилия привели опять к прежней централизации, подавляющей областную мысль и областную волю?²³

Очевидно, это и невозможно и не нужно. Областная мысль и областные воли, показавшие свою жизнеспособность, должны действовать и в будущем по возможности

свободно и самостоятельно. Для России возврат к прошлому немислим. Если она будет жить, то будет жить только демократической свободной жизнью. Не подавлять самостоятельность областей, а вызывать ее к жизни и координировать в единую сознательную государственную работу — вот истинная задача ближайшего будущего. Когда приходится изловить только беглого Ивана Парамонова и такого же беглого «злоумышленника», то для этого достаточно двух исправников, одного в центре, другого на окраине. Но когда нужно ловить не отдельного человека, а истинное мнение и волю той или другой части единого отечества, — для этого исправники не годятся. Не годится и прежнее «единое» государство. Россия может стать единой в истинно демократическом смысле только путем децентрализации и автономии областей.

Задача трудная: сохранить меру областных самостоятельности и меру их сознательного взаимодействия в государственном смысле. Меру эту еще придется искать, может быть с трудом и даже с частичными потрясениями. Но найти ее необходимо.

Но и теперь уже есть многое, совершенно бесспорное в этом направлении, если мы захотим признать факты и будем последовательными в выводах. . .

Факты несомненны: к современному кризису, к той анархии, которую мы видим кругом, привели нас крайности централизации и полное подавление самых законных и жизненных стремлений отдельных национальностей.

Вывод: нужно признать свободу национальных культур, полное проявление национальных особенностей. Отныне нельзя преследовать ни одного вероисповедания, ни одного языка, ни одного племени, ни одного национального сознания. Этот принцип должен лечь в основание предстоящей государственной деятельности. . .

Может быть, я ошибаюсь, но будущее великой России рисуется мне в виде своего рода федерации, наподобие американских штатов,²⁴ с областными сеймами по вопросам местного законодательства и с общим сеймом, по вопросам общегосударственным.

Да, может быть, в этом я забегая слишком далеко. Вопрос этот сложный и трудный, а я не считаю себя политиком. Назвать ли будущие отношения России и ее областей федерацией или как-нибудь иначе, и в каких началах выльется в конце концов эта федерация — дело будущего. Гораздо ближе принципиальный вопрос о свободе национальных культур. Это начало необходимо признать сразу. Иначе государственная политика на местах может стать не русской в широком смысле, а только обрусительной и «русопетской». А это может привести к самым губительным последствиям, вместо разумного и желаемого единства. . .

VI

О разрубании узлов

Первое обращение к населению Полтавы со стороны новой власти, расклеенное на улицах Полтавы по ее занятии Добровольческой армией, было напечатано еще в Константинограде.²⁵ Оно носило штемпель константиноградской типографии и, по-видимому, было составлено не тою властью, которая заняла Полтаву. В этом и в последующих плакатах и объявлениях заключались довольно решительные заявления, намечавшие общую линию поведения. Между прочим в переданном по телеграфу приказе генерала Деникина (от 10 июля) говорилось, что «. . . в очищенные от большевиков места являются владельцы, насильно восстанавливающие, нередко при поддержке вооруженных команд, нарушенные в разное время свои имущественные права, прибегающие при этом к действиям, имеющим характер сведения личных счетов и мести. . . Воинские части не могут принимать на себя обязанности разбираться в спорных правовых взаимоотношениях», а «власти обязаны впредь до установления законного порядка предупреждать новые захваты прав, не разрешая прежних споров и не допуская насилий с чьей бы то ни было стороны и во имя чего бы то ни было. Урегулирование этого вопроса принадлежит

государственной власти. . . *Иначе взаимное озлобление будет расти, вместо одного насилия появится другое, и авторитет армии будет падать*».*

В этом и в некоторых других обращениях новой власти намечалась линия поведения, которой нельзя не сочувствовать. Не надо новых насилий, не надо классовой мести и преждевременных счетов. Все это относилось лишь к самым запутанным земельным и имущественным отношениям, но, очевидно, этот девиз «не надо мести», не надо разрубать насильственно запутанных узлов может быть отнесен и к другим областям жизни.

К сожалению, в том же первом обращении местной власти к жителям Полтавы, которое было заготовлено в Константинограде, встречается нота, вызывающая значительное недоумение. В нем говорилось между прочим, что все «вывески на галицийском языке» должны быть немедленно сняты.

Это как раз один из случаев, где попытка разрубить слишком поспешно один из запутанных узлов, урегулирование которых принадлежит лишь законодательной власти, является опасной и неуместной. К сожалению, эта странная обмолвка официального документа пошла навстречу настроению рядового добровольчества, и полтавские улицы стали ареной эпизодов, которые действительно способны уронить авторитет Добровольческой армии в глазах широких слоев населения «занятой страны». Из многих примеров приведу характерных два: к группе местных жителей подходит доброволец с винтовкой и приглашает их помочь ему снять эту вывеску «на собачьем языке». Оскорбленные жители не трогаются с места. Доброволец кое-как сковыривает «преступную вывеску» и с досады начинает бить по жести прикладом. . .

Другой случай: по тротуару идет компания местных жителей, среди которых виднеются девушки в шитых украинских костюмах. По улице едут верхом добровольцы офицеры. Неудобство официальных обмолвок вроде приведенной выше состоит особенно в том, что масса склонна придавать им распространительное толкование. «Галицийский язык» превращается в язык «собачий», а за языком становится запретным проявление всякой украинской национальной особенности. Офицеру приходит в голову поглумиться над украинским костюмом. Он сходит с лошади и, остановив компанию, спрашивает у девушек, «что это на них за *азиятский* костюм». В компании оказывается мужчина, который объясняет офицерам всю нетактичность их поступка. Слово за слово, — заступника приглашают к коменданту. Он не уклоняется, наоборот, сам настаивает на этом. . . Любопытно, как объяснили бы гг. офицеры причину этого ареста, но. . . они предпочли сами уклониться и уехали. . .

Это, конечно, мелочи, но их много. О них говорят, их толкуют, они приобретают широкое значение, раздражают без надобности, оскорбляют без оснований. Мне довелось принять участие в депутации, отправившейся в первые дни к тогдашнему начальнику гарнизона, генералу Штакельбергу. Пришлось говорить о том, что было предметом моего первого письма, — о продолжавшихся грабежах еврейского имущества, о самовольных арестах, о случаях бессудных расстрелов. В заключение я попытался выяснить недоразумение с «галицийским языком». Между нами в этой депутации не было «самостийников», но все участники депутации были местные уроженцы, признающие, уважающие, даже любящие украинский язык и национальные черты украинского народа. Недостаточно окрестить язык, на котором говорят миллионы людей, — язык Котляревского,²⁶ Квитки²⁷ и Шевченко — языком галицийским, чтобы стало понятным его запрещение. Генерал выслушал депутацию с большим вниманием, и затем последовали приказы, воспрепятствующие продолжению грабежей, грозившие тяжкой ответственностью за самовольные аресты и всякого рода самовольную расправу, и, наконец, было воспрещено «срывание вывесок». Случаи вроде приведенных выше стали значительно реже.

Спрашивается однако, позволил ли бы себе указанный выше офицер остановить девушек на Дону или на Кубани, если бы они были в подобных же местных костюмах? . .

* Курсив мой (В. К.).

Почему же он (да и не он один) позволяет это себе на Украине? Ответ, мне кажется, ясен: потому что навстречу массовому национальному предрассудку на этот раз идет неясность и колебание директив сверху. . .

Как прежде не признавали самое существование украинского языка, так и теперь он называется галицийским, а потом в просторечии превращается уже прямо в «собачий» (!!).

Тяжело думать, что и теперь после стольких тяжелых уроков опять приходится доказывать, что материнский язык многих миллионов населения имеет право на признание в рабочей школе, в литературе, в обычном обиходе.

¹ С ноября 1917 по декабрь 1919 года (окончательное занятие города войсками РККА) власть в Полтаве менялась 9 раз, не считая кратковременных приходов махновцев, григорьевцев и т. п.

² 28 июля 1919 года (здесь и далее даты по новому стилю) Полтава была занята Добровольческой армией под командованием генерала Май-Маевского.

³ Газета «Полтавский день» сообщает другое число — около 300.

⁴ Газета «Полтавский день» была возобновлена 31 июля 1919 года.

⁵ Полковник, а затем генерал-майор Непенин исполнял должность начальника Полтавского гарнизона с 3 по 20 августа 1919 года.

⁶ Деникин Антон Иванович (1872—1947). В это время — главнокомандующий вооруженными силами Юга России, генерал-лейтенант.

⁷ Главные пункты программы Деникина были изложены в декларации правительствам союзников о целях в борьбе с Советской властью и в государственном строительстве:

«1. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка.

2. Восстановление могущественной Единой и Неделимой России.

3. Созыв Народного Собрания на основах всеобщего избирательного права.

4. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления.

5. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания.

6. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения.

7. Немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом». (Цит. по: Кто такой генерал Деникин? Харьков, 1919. С. 29).

⁸ Ивановская-Волошенко Прасковья Семеновна (1852—1935) — сестра жены В. Г. Короленко, участница революционного движения 1870-х годов, народоволка. В 1883 году по «процессу 17 народовольцев» приговорена к пожизненной каторге. В 1889 году вышла на поселение. После побега в 1903-м — член БО ПСР, участвовала в убийстве Плеве. В 1905-м — член БО, готовившей покушение на великого князя Владимира Александровича, Булыгина, Дурново, Трепова. Арестована по доносу провокатора. Освобождена благодаря Союзу Союзов. В 1907 году эмигрирует. Возвращается в 1913-м. В годы первой мировой войны — на фронте в качестве машинистки при Земском Сьюзе. С 1917-го — товарищ председателя Полтавского Политического Красного Креста. После смерти Короленко — председатель.

⁹ Известно, что после октября 1917 года организации Политического Красного Креста существовали в Москве (председ. Е. П. Пешкова), Петрограде (С. П. Швецов), Харькове (Л. Б. Сандомирская). В Полтаве организация возникла по инициативе В. Г. Короленко и П. С. Ивановской в 1917—1918 годах. Организация действовала эффективно. В соответствии с «Отчетом о деятельности Полтавского Губотдела ГПУ за время с 1.10.1921 по 1.10.1922» была окончательно ликвидирована в сентябре 1922 года. См.: Память. Ист. сборник. Вып. 3. М., 1978. Париж, 1980. С. 537.

¹⁰ См. об этом статью В. Г. Короленко «Сорочинская трагедия».

¹¹ «В полтавских „Известиях“ появилась статья Пятакова „Да здравствует красный террор“. Я решил напечатать возражение. Других газет нет, кроме большевистских. Как-то редактор. . . приходил ко мне и просил писать у них. Они имеют в виду разоблачать „непорядки и отрицательные стороны“. . . Через два дня в газете появляется статья, но не Короленко, а Жарновецкого (редактора. — С. Г.). Автор, третируя меня. . . сообщает, что контрреволюционеры присылают им свои статьи, требуя их напечатания, тогда как советская власть считает это излишним и т. д. Затем из моей статьи приводятся краткие произвольные выдержки, и великолепный Жарновецкий победоносно сообщает мне, что по прочтении моей статьи он еще с большим убеждением и горячностью восклицает: „Да здравствует красный террор!“

Очевидно, большевики, даже литературные, отбросили всякое представление о литературной порядочности, и такой полемический прием не конфузит этих людей». (Цит. по: Короленко В. Г. Из дневников 1917—1921 гг. / Публикация Т. Тиля // Память. Ист. сборник. Вып. 4. С. 390).

¹² Скоропадский Павел Петрович (1873—1945) — крупный помещик, с 1916 года — генерал-лейтенант. Был избран гетманом 29 апреля 1918 года на «съезде хлеборобов» в Киеве. Свергнут 14 декабря 1918 года.

¹³ Петлюра Симон Васильевич (1879—1926) — один из руководителей националистического движения на Украине. С ноября 1918 года был членом Украинской директории и атаманом войск Украинской Народной Республики (УНР). После разгрома войск директории бежал в Варшаву. Убит в Париже Ш. Шварцбардом из мести за еврейские погромы на Украине. Петлюровцы занимали Полтаву с 14 декабря 1918-го по 19 января 1919 года.

¹⁴ В Нижнем Новгороде Короленко жил с января 1885-го по январь 1896 года.

¹⁵ Познанский Игнатий Николаевич (ум. 1897) — начальник Нижегородского губернского жандармского управления с 1883 по 1895 год; морфинист, борец с крамолой, читал лекции по гальванизму, увлекался нумизматикой, собственноручно писал доносы на Короленко.

¹⁶ Движение под руководством Махно Нестора Ивановича (1889—1934) существовало в 1918—1921 годах под лозунгами «безвластного государства» и «вольных советов». Идеологическое влияние имели вожди русского анархизма: Волин, Аршинов, Готман и др. Махновцы воевали против белогвардейцев, петлюровцев, красноармейцев. Махно трижды вступал в соглашение с большевиками и трижды нарушал его. В 1921 году бежал за границу.

¹⁷ Странники Григорьева Н. А. — штабс-капитана царской армии, с декабря 1918 года — петлюровского атамана. 7—9 мая 1919 года поднял антисоветский мятеж с националистическими лозунгами. Убит 27 июля 1919 года по приказу Махно.

¹⁸ В письме выражено отношение Короленко к одной из целей программы А. И. Деникина: восстановление единой и неделимой России. См. прим. 7.

¹⁹ Источник цитаты неизвестен.

²⁰ Улус — бывшая административно-территориальная единица Якутии, соответствующая району.

²¹ Имеются в виду очерки «В пустынных местах» (описание путешествия по Ветлуге и Керженцу). Печатались в газете «Русские ведомости» в 1890 году с 4 августа по 23 декабря.

²² Короленко говорит о корреспонденции Ф. Покровского «Короленко под надзором полиции» (Былое. 1918. № 13).

²³ «Областничество» Короленко подробно рассматривается в книге: *Бялый Г. А. В. Г. Короленко*. 2-е изд. Л., 1983. С. 95—102.

²⁴ В Америке Короленко побывал в августе—сентябре 1893 года.

²⁵ В настоящее время — город Красноград в Харьковской обл. УССР.

²⁶ Котляревский Иван Петрович (1769—1838) — украинский писатель, первый классик новой украинской литературы.

²⁷ Квитка-Основащенко Григорий Федорович (1778—1843) — украинский писатель.

РУССКАЯ ИДЕЯ

(ПРИМЕЧАНИЯ В. А. КОТЕЛЬНИКОВА) *

Глава VIII

Религиозная тема. Религиозный характер русской философии. Разница между богословием и религиозной философией. Критика западного рационализма. Философские идеи Киреевского и Хомякова. Идея соборности. Владимир Соловьев. Эротика. Интуиция всеединства. Бытие и сущее. Идея богочеловечества. Учение о Софии. «Смысл любви». Религиозная философия Достоевского и Л. Толстого. Русская религиозная мысль в духовных академиях. Архиепископ Иннокентий. Несмелов. Тареев.

1

В русской культуре XIX века религиозная тема имела определяющее значение. И так было не только в религиозных направлениях, но и в направлениях внерелигиозных и богоборческих, хотя бы это и не было признано. В России не было философов такого размера, как наши писатели, как Достоевский и Л. Толстой. Русская академическая философия не отличалась особенной оригинальностью. Русская мысль по своей интенции была слишком тоталитарной, она не могла оставаться отвлеченно-философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной, в ней был силен моральный пафос. В России долгое время не образовывалось культурной философской среды. Она начала образовываться лишь в 80-е годы, когда начал выходить журнал «Вопросы философии и психологии». Для насаждения у нас философской культуры значение имела деятельность Н. Грота,¹ который сам был мало интересный философ. Условия для развития у нас философии были очень неблагоприятны, философия подвергалась гонению и со стороны власти, и со стороны общества, справа и слева. Но в России создавалась и нарастала оригинальная религиозная философия. Такова была одна из задач русской мысли. Речь идет именно о религиозной философии, а не о богословии. На Западе мысль и знание очень дифференцированы, все распределено по категориям. Официальное католичество и официальный протестантизм создали огромную богословскую литературу, богословие стало делом профессиональным, им занимались специалисты, люди духовные, профессора богословских факультетов и институтов. Профессора богословия всегда не любили религиозную философию, которая представлялась им слишком вольной и подозревалась в гностическом уклоне, они ревниво охраняли исключительные права богословия как защитники ортодоксии. В России, в русском православии долгое время не было никакого богословия или было лишь подражание западной схоластике. Единственная традиция православной мысли, традиция платонизма и греческой патристики, была порвана и забыта. В XVIII веке даже считалась наиболее соответствующей православию философия рационалиста и просветителя Вольфа. Оригинально, по-православному богословствовать начал не профессор богословия, не иерарх Церкви, а конногвардейский офицер в отставке и помещик Хомяков. Потом самые замечательные религиозно-философские мысли были у нас высказаны не специальными богословами, а писателями,

* Начало публикации см. в № 2 и 3 «Русской литературы» за 1990 год.

людьми вольными. В России образовалась религиозно-философская вольница, которая в официальных церковных кругах оставалась на подозрении. Вл. Соловьев был философ, а не богослов. Он был приват-доцентом и был изгнан из университета за речь против смертной казни. Он менее всего походил на специалиста-богослова и специалиста-философа. Интересно, что, изгнанная из университетов, философия находила себе приют в духовных академиях. Но духовные академии не создавали оригинальной русской философии, за очень редкими исключениями. Русская религиозная философия пробудилась от долгого сна мысли вследствие толчков, полученных от германской философии, главным образом от Шеллинга и Гегеля. Единственный иерарх Церкви, представляющий некоторый интерес в области мысли, архиепископ Иннокентий,² принадлежит скорее религиозной философии, чем богословию. Из профессоров Духовной академии самый оригинальный и замечательный мыслитель Несмелов³ — по духу своему религиозный философ, а не богослов, и он делает ценный вклад в создание русской религиозной философии. Чистый богослов мыслит от лица Церкви и опирается главным образом на Священное Писание и священное предание, он принципиально догматичен, его наука социально организована. Религиозная философия принципиально свободна в путях познания, хотя в основании ее лежит духовный опыт, вера. Для религиозного философа откровение есть духовный опыт и духовный факт, а не авторитет, его метод интуитивный. Религиозная философия предполагает соединение теоретического и практического разума, достижение целостности в познании. Это есть познание совокупностью духовных сил, а не одним разумом. Русская религиозная философия особенно настаивает на том, что философское познание есть познание целостным духом, в котором разум соединяется с волей и чувством и в котором нет рационалистической расщепленности. Поэтому критика рационализма есть первая задача. Рационализм признавали первородным грехом западной мысли, и она неверно окрашивалась почти целиком в рациональный цвет. На Западе всегда существовали течения, противоположные рационализму. Но русская религиозная философия находила себя и определяла себя по противоположению западной мысли. При этом большое значение для нее имели Шеллинг, Гегель, Фр. Баадер.* Последний боролся с рационализмом не менее славянофильских философов. Но оригинальной особенностью русской религиозной и философской мысли нужно признать ее тоталитарный характер, ее искание целостности. Мы видели уже, что позитивист Н. Михайловский не менее И. Киреевского и Хомякова стремился к целостной правде, правде-истине и правде-справедливости. Употребляя современное выражение, можно было бы сказать, что русская философия, религиозно окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и философствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный опыт, целостный, а не разорванный опыт. Величайшим русским метафизиком и наиболее экзистенциальным был Достоевский. Унамуно говорит, что испанская философия — в Дон Кихоте.⁴ Так и мы можем сказать, что русская философия — в Достоевском. Для русского сознания XIX века характерно, что русские безрелигиозные направления — социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш атеизм — имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом. Это отлично понимал Достоевский. Он говорит, что русский социализм есть вопрос о Боге и бессмертии. Для революционной интеллигенции революция была религиозной, она была тоталитарна, и отношение к ней было тоталитарное. Религиозный характер русских течений выражался уже в том, что более всего мучила проблема теодицеи, проблема существования зла. Она мучила Белинского и Бакунина столь же, как и Достоевского. С этой проблемой связан и русский атеизм.

Программа самостоятельной русской философии была впервые начертана И. Киреевским и Хомяковым. Они прошли школу германского идеализма. Но они пытались отнестись критически к вершине европейской философии своего времени, т. е. к Шеллингу

* См. недавно вышедшее самое обстоятельное изложение философии Баадера: E. Suisini. «Franz von Baader et le romantisme mystique». Deux volumes.

и Гегелю. Можно было бы сказать, что Хомяков мыслил от Гегеля, но он никогда не был гегелианцем, и его критика Гегеля очень замечательна. И. Киреевский писал в своей программной философской статье: «Как необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целостность нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша философия должна развиваться из нашей жизни, создаваться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия*».⁵ Характерно, что И. Киреевский хочет вывести философию из жизни. Хомяков утверждает зависимость философии от религиозного опыта. Его философия по типу своему есть философия действия. К сожалению, И. Киреевский и Хомяков не написали ни одной философской книги, они ограничились лишь философскими статьями. Но у них была замечательная интуиция. Они провозглашают конец отвлеченной философии и стремятся к целостному знанию. Происходит преодоление гегелианства и переход от отвлеченного идеализма к идеализму конкретному. Этот путь будет продолжать Вл. Соловьев и напишет книги для выражения своей философии. Согласно славянофильской схеме, католичество порождает протестантизм, протестантизм порождает идеалистическую философию и Гегеля, а гегелианство переходит в материализм. С замечательной проницательностью Хомяков предвидит появление диалектического материализма. Хомяковская критика более всего обличает в философии Гегеля исчезновение сущего, субстрата. «Сущее, — говорит он, — должно быть совершенно отстранено. Самое понятие, в своей полнейшей отвлеченности, должно было все возродить из собственных недр». «Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности». Основная идея русской философии есть идея конкретного сущего, существующего, предшествующего рациональному сознанию. Наиболее близка славянофильская философия, как и философия Вл. Соловьева, к Фр. Баадеру и отчасти к Шеллингу последнего периода. Намечается очень оригинальная гносеология, которую можно было бы назвать соборной, церковной гносеологией. Любовь признается принципом познания, она обеспечивает познание истины. Любовь — источник и гарантия религиозной истины. Общение в любви, соборность есть критерий познания. Это принцип, противоположный авторитету. Это также путь познания, противоположный декартовскому *cogito ergo sum*.⁶ Не я мыслю, мы мыслим, т. е. мыслит общение в любви, и не мысль доказывает мое существование, а воля и любовь. Хомяков — волюнтарист; он утверждает *волящий разум*. «Воля для человека принадлежит области *до-предметной*». Только воля, только разум волящий, а не безвольный, полагает различие между *я* и *не я*, между внутренним и внешним. В основании знания лежит вера. Сущее воспринимается верой. Знание и вера, в сущности, тождественны. «В этой области (области первичной веры), предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что — миру внешнему». Воля узревает сущее до рационального сознания. Но воля у Хомякова не слепая и не иррациональная, как у Шопенгауэра, она есть волящий разум. Это не иррационализм, а сверхрационализм. Логическое сознание не вполне схватывает предмет, реальность сущего схватывается до логического сознания. У Хомякова философия настолько зависит от религиозного опыта как первичного, что он даже говорит о зависимости философского познания от верования в Св. Троицу. Но Хомяков делает одну ошибку относительно немецкой философии. Поглощенный борьбой с западным рационализмом, он как будто не замечает, насколько немецкая метафизика была проникнута волюнтаризмом, который восходит к Я. Беме и который есть у Канта, Фихте, Шеллинга. Правда, волюнтаризм самого Хомякова был несколько иной. Воля у него также означает свободу, но свобода не имеет темного, иррационального истока, воля

соединена с разумом, нет рассеченности, есть целостность, целостность духа. У Хомякова были замечательные философские интуиции, основоположные философские идеи, но в неразвитом, неразвернутом состоянии. В том же направлении будет двигаться философия Вл. Соловьева, но в более рациональной форме, и особенно философия кн. С. Трубецкого с его учением о соборном сознании, которое он не успел достаточно развить.⁷ Спиритуалистическая философия Голубинского, Кудрявцева и др., вышедшая из духовных академий, носила другой характер. Она была родственна западным течениям умозрительного теизма.⁸ Более интересен был Юркевич тем, что утверждал центральное значение сердца. В философии университетской наиболее замечательны Козлов и Лопатин.⁹ Это спиритуалистическая философия, родственная Лейбницу, Мен де Бирану, Лотце, Тейхмюллеру.¹⁰ Козлов и Лопатин свидетельствуют о том, что в России была самостоятельная философская мысль, но они не представляют оригинальной русской философии, всегда тоталитарной по постановке проблем, всегда соединяющей теоретический и практический разум, всегда окрашенной религиозно.

Более раскрыты были богословские мысли Хомякова, тесно, впрочем, связанные с его философией. Но в богословии нельзя было ждать от Хомякова систематических трудов. К сожалению, он раскрывал свои положительные мысли в форме полемики с западными вероисповеданиями, с католичеством и протестантизмом, к которым часто был несправедлив. Особенно бросается в глаза, что, говоря о православной церкви, Хомяков имеет в виду идеальное православие, такое, каким оно должно быть по своей идее, а говоря о католической церкви, он имеет в виду католичество эмпирическое, такое, каким оно было в исторической действительности, часто неприглядной. В основании богословствования Хомякова положены идеи свободы и соборности, органическое соединение свободы и любви, общности. У него был пафос духовной свободы (этим проникнуто все его мышление), была гениальная интуиция соборности, которую он узрел не в исторической действительности православной церкви, а за ней. Соборность принадлежит умопостижаемому образу церкви и в отношении к церкви эмпирической она есть долженствование. Слово «соборность» непереводаемо на иностранные языки. Дух соборности присущ православию, и идея соборности, духовной коммюнитарности, есть русская идея. Но трудно найти хомяковскую соборность в историческом православии. Богословские произведения Хомякова были запрещены в России цензурой, и они появились за границей на французском языке и лишь значительно позже появились на русском. Это очень характерно. Между тем как друг и последователь Хомякова Ю. Самарин предлагал признать Хомякова учителем Церкви.¹¹ Догматическое богословие митрополита Макария,¹² которое Хомяков назвал восхитительно-глупым, выражавшее официальную церковность, было снимком с католической схоластики. Хомяков же пытался выразить оригинальное православное богословствование. Что же представляет собой соборность у Хомякова?

Богословствование Хомякова было занято главным образом учением о Церкви, что для него совпадало с учением о соборности, дух же соборности был для него духом свободы. Он решительный, радикальный противник принципа авторитета. Буду характеризовать хомяковские взгляды его собственными словами. «Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос есть глава, и другого она не знает». «Церковь — не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его». «Кто ищет вне надежды и веры каких-либо гарантов для духа любви, тот уже рационалист». «Непогрешимость почитает единственно во *вселенскости* церкви, объединенной взаимной любовью». Это и есть соборность. «Церковь знает братства, но не знает подданства». «Мы исповедуем церковь единую и свободную». «Христианство есть не иное что, как свобода во Христе. . .» «Я признаю церковь более свободную, чем протестанты. . . В делах церкви принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть». «Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести». «Единство церкви есть не

иное что, как согласие личных свобод». «Свобода и единство — таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе». «Знание истины дается лишь взаимной любовью». Можно было бы умножить цитаты из Хомякова, из II тома собрания его сочинений, посвященного богословию. Такого понимания христианства как религии свободы, такого радикального отрицания авторитета в религиозной жизни никто еще, кажется, не выражал. Авторитету противопоставляется не только свобода, но и любовь. Любовь есть главный источник познания христианской истины. Церковь и есть единство любви и свободы. Невозможно формальное, рациональное определение церкви, оно узнается лишь в церковном духовном опыте. В этом глубокое отличие католического богословия и характерный признак русского богословия XIX века и начала XX века. Тема свободы была наиболее выражена у Хомякова и Достоевского. Западные христиане, и католики и протестанты, обыкновенно с трудом понимают, что такое соборность. Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она означает коммюнитарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости. Для Хомякова вселенский собор тоже не был авторитетом, навязывающим церковному народу свое понимание христианской истины. Вселенский характер церковного собора не имеет внешних формальных признаков. Не там действует Дух Св., где по формальным признакам вселенский собор, а там вселенский собор, где действует Дух Св. Для определения Духа Св. нет никаких внешних формальных признаков. Ничто низшее, юридическое, похожее на жизнь государства, не может быть критерием подлинности действия Духа Св. Так же рационально-логическое не может быть критерием истинности догматов. Дух Св. не знает других критериев, кроме самого Духа Св. Где был подлинный вселенский собор, а где не подлинный, как, например, «разбойничий», решает церковный народ, т. е. решает дух соборности. Это было наиболее заострено против католического учения о церкви. Совершенно ошибочно противопоставлять католическое учение о непогрешимости папы, говорящего *ex cathedra*,¹³ якобы православному учению о непогрешимости собора епископов. Хомяков также отрицает и авторитет епископата. Истина для него не в соборе, а в соборности, в коммюнитарном духе церковного народа. Но беда в том, что официальное православное богословие склонялось к признанию авторитета епископата, в противоположность авторитету папы. Соборов в православной церкви не было слишком долго. В России нужна была страшная революция, чтобы возможен был собор. Правые православные круги, почитавшие себя наиболее ортодоксальными, утверждали даже, что соборность есть выдумка Хомякова, что православная свобода у Хомякова несет на себе печать учения Канта и немецкого идеализма об автономии. В этом была доля истины, но это значит лишь, что богословие Хомякова пыталось творчески осмыслить весь духовный опыт вековой новой истории. В известном смысле, Хомякова можно назвать православным модернистом, у него есть некоторое родство с католическим модернизмом — борьба против схоластики и против интеллектуалистического понимания догматов, сильный модернистический элемент защиты свободной критической мысли. В его время католического модернизма не было. Но наибольшее родство он имел с замечательным католическим богословом первой половины XIX века Мелером,¹⁴ который защищал идею, очень близкую хомяковской соборности.* Хомяков читал швейцарского протестанта Винэ¹⁶ и, наверное, сочувствовал его защите религиозной свободы. Но хомяковское соединение духа свободы с духом коммюнитарности остается очень русской идеей. Наибольшие симпатии Хомяков имел в англиканской церкви и переписывался с Пальмером,¹⁷ которого хотел обратить в православие. К синодальному управлению у него, как и вообще у славянофилов, было отрицательное отношение. Мысль Хомякова свидетельствует о том, что в православии возможна большая свобода мысли (говорю о внутренней, а не о внешней свободе). Это

* См.: J. A. Möhler. «Die Einheit in der Kirche» и книгу E. Wermeil. «J. A. Möhler et l'école catholique de Tübingen».¹⁵ Вермейль считает Мёлера родоначальником модернизма.

объясняется тем, что православная церковь не имеет обязательной системы и более решительно, чем католичество, отделяет догматы от богословия. Впрочем, это имеет и более глубокие причины. Но богословствование Хомякова имело свои границы, многих вопросов, которые потом поднимала русская религиозно-философская мысль, он не затрагивает, например проблему космологическую. Направленность его мысли очень мало эсхатологическая. У него не было ожидания нового откровения Св. Духа, не было параклетизма.¹⁸ Размах религиозно-философской мысли Вл. Соловьева был большой, но о церкви вернее мыслил Хомяков. Интересно отметить, что в русской религиозно-философской и богословской мысли совсем не было идеи натуральной теологии, которая играла большую роль в западной мысли. Русское сознание не делает разделения на теологию откровенную и теологию натуральную,¹⁹ для этого русское мышление слишком целостно и в основе знания видит опыт веры.

2

Владимир Соловьев признается самым выдающимся русским философом XIX века. В отличие от славянофилов, он написал ряд философских книг и создал целую систему. Образ его, если взять его в целом, более интересен и оригинален, чем его философия в собственном смысле.* Это был загадочный, противоречивый человек, о нем возможны самые противоположные суждения, и из него вышли самые противоположные течения. Два обер-прокурора Св. Синода признавались его друзьями и учениками,** от него пошли братья Трубецкие²¹ и столь отличный от них С. Булгаков,²² с ним себя связывали и ему поклонялись как родоначальнику русские символисты А. Блок и А. Белый, и Вячеслав Иванов готов был признать его своим учителем, его считали своим антропософом.²³ Правые и левые, православные и католики одинаково ссылались на него и искали в нем опоры. И вместе с тем Вл. Соловьев был очень одинок, мало понят и очень поздно оценен. Лишь в начале XX века образовался миф о нем. И образованию этого мифа способствовало то, что был Вл. Соловьев дневной и был Вл. Соловьев ночной, внешне открывавший себя и в самом раскрытии себя скрывавший и в самом главном себя не раскрывавший. Лишь в своих стихотворениях он раскрывал то, что было скрыто, было прикрито и задавлено рациональными схемами его философии. Подобно славянофилам, он критиковал рационализм, но философия его была слишком рациональной, и в ней слишком большую роль играли схемы, которые он очень любил. Он был мистиком, имел мистический опыт, об этом свидетельствуют все, его звание, у него была оккультная одаренность, которой совсем не было у славянофилов, но мышление его было очень рациональным. Он был из тех, которые скрывают себя в своем умственном творчестве, а не раскрывают себя, как, например, раскрывал себя Достоевский со всеми своими противоречиями. В этом он походит на Гоголя. Гоголь и Вл. Соловьев — самые загадочные фигуры в русской литературе XIX века. Наш самый большой христианский философ прошлого века совсем не был уже бытовым человеком, подобно славянофилам. Он был человеком стихии воздуха, а не стихии земли, был странником в этом мире, а не человеком оседлым. Он принадлежит эпохе Достоевского, с которым был непосредственно связан. Л. Толстого он не любил. Но этот загадочный странник всегда хотел обосновать и укрепить жизнь людей и обществ на незыблемых объективных началах и всегда выражал это обоснование в рациональных схемах. Это поражает в Соловьеве. Он всегда стремился к целостности, но целостности в нем самом не было. Он был философом эротическим, в платоновском смысле слова, эротика высшего порядка играла огромную роль в его жизни, была его экзистенциальной темой. И вместе с тем в нем был сильный

* Для характеристики личности Вл. Соловьева особенно интересна книга К. Мочульского «Владимир Соловьев». Для изложения и критики философии Вл. Соловьева наибольший интерес представляет кн. Е. Трубецкой: «Миросозерцание Вл. Соловьева». Два тома.²⁰

** Кн. А. Оболенский и Лукьянов.

моралистический элемент, он требовал осуществления христианской морали в полноте жизни. Этот моралистический элемент особенно чувствуется в его статьях о христианской политике и в его борьбе с националистами. Он был не только рациональным философом, признававшим права разума, но также теософом. Ему близки не только Платон, Кант, Гегель, Шопенгауэр, но также христианские теософы Я. Беме, Портедж, Фр. Баадер, Шеллинг последнего периода. Он хочет построить систему свободной христианской теософии и соединить ее со свободной теократией и теургией.²⁴ У Вл. Соловьева была своя первичная интуиция, как у всякого значительного философа. Это была интуиция всеединства. У него было видение целостности, всеединства мира, божественного космоса, в котором нет отделения частей от целого, нет вражды и раздора, нет ничего отвлекающего и самоутверждающегося. То было видение Красоты. То была интуиция интеллектуальная и эротическая. То было искание преображения мира и Царства Божьего. Интуиция всеединства делает Вл. Соловьева универсалистом по своей основной направленности. С этим будут связаны и его католические симпатии. Очень интересно, что за этим универсализмом, за этой устремленностью к всеединству скрыт момент эротический и экстатический, скрыта влюбленность в красоту божественного космоса, которому он даст имя Софии. Вл. Соловьев — романтик, и в качестве романтика у него происходило неуловимое сближение и отождествление влюбленности в красоту вечной женственности Премудрости Божией с влюбленностью в красоту конкретного женского образа, которого он так никогда и не мог найти. Интуиция всеединства, конкретного универсализма делает его прежде всего критиком «отвлеченных начал», чему посвящена его главная книга.²⁵

Вл. Соловьев — интеллектуалист, а не волюнтарист. Поэтому у него не играет такой роли свобода, как у волюнтариста Хомякова. Его мирозерцание скорее принадлежит к типу универсального детерминизма, но детерминизм этот спиритуалистический. Оно принадлежит также к типу эволюционного мирозерцания, но эволюционизм этот получен не от натуралистических учений об эволюции, а от германской идеалистической метафизики. Достижение всеединства, социального и космического, носит у него интеллектуальный характер. Иррациональной свободы у него нет. Отпадение мира от Бога есть распадение его на враждующие начала. Эгоистическое самоутверждение и отчуждение суть главные признаки падшести человека и мира. Но каждое из отделившихся от высшего центра начал заключает в себе частичную истину. Воссоединение этих начал с подчинением их высшему божественному началу есть достижение всеединства. Всеединство мыслится не абстрактно, а конкретно, с внесением в него всех индивидуальных ступеней. Так, в теории познания эмпиризм, рационализм и мистицизм являются отвлеченными началами, которые ложны в своем исключительном самоутверждении, но заключают в себе частичные истины, которые войдут в целостное познание свободной теософии. Также в сфере практической, свободная теократия достигается соединением начал церкви, государства и земщины, как тогда обозначали в славянофильской терминологии общество. Вл. Соловьев одно время слишком верил, что интеллектуальная концепция свободной теософии и свободной теократии может очень способствовать достижению конкретного всеединства. Он сам потом в этом разочаровался. Но совершенно верна была его мысль, что нельзя рассматривать то, что он называл «отвлеченными началами», как зло, грех и заблуждение. Так, эмпиризм сам по себе есть заблуждение, но в нем есть частичная истина, которая должна войти в теорию познания более высшего типа. Так, гуманизм в своем исключительном самоутверждении есть заблуждение и неправда, но в нем есть и большая истина, которая входит в богочеловеческую жизнь. Преодоление «отвлеченных начал» и есть то, что Гегель называет *Aufhebung*. В преодоление входит то, что было истинным в предшествующем. Вл. Соловьев говорит, что для того, чтобы преодолеть неправду социализма, нужно признать правду социализма. Но стремится он всегда к целостности, он хочет целостного знания. С целостью всегда для него была связана не только истина и добро, но и красота. Он остается в линии Гегеля и немецких романтиков, отсюда он получил универсализм и органичность. Он не переживал с остротой проблему свободы, личности и конфликта, но

с большой силой переживал проблему единства, целостности, гармонии. Его тройственная теософическая, теократическая и теургическая утопия есть все то же русское искание Царства Божьего, совершенной жизни. В этой утопии есть социальный элемент, его христианство — социальное. По мнению Вл. Соловьева, есть два отрицательных начала — смерть и грех, и два положительных желания — желание бессмертия и желание правды. Жизнь природы есть скрытое тление. Господствующая в природном мире материя, отдаленная от Бога, есть дурная бесконечность. Вера в Бога есть вера в то, что добро есть, что оно сущее. Искушение же в том, что зло принимает форму добра. Победа над смертью и тлением есть достижение всеединства, преобразование не только человека, но и всего космоса. Но самая интересная и оригинальная идея Вл. Соловьева связана с различием бытия и сущего.

Он был, конечно, под сильным влиянием Гегеля. Но он все-таки по-иному решает вопрос о бытии. Бытие есть лишь предикат субъекта — сущего, но не самый субъект, не самое сущее. Бытие говорит о том, что что-то есть, а не о том, *что* есть. Нельзя сказать, что бытие есть, есть только сущее, существующее. Понятие бытия логически и грамматически двусмысленное, в нем смешиваются два смысла. Бытие значит, что что-то есть, и бытие значит то, что есть. Но второй смысл «бытия» должен быть устранен. Бытие оказывается субъектом и предикатом. Говорят: «это существо есть» и «это ощущение есть». Так происходит гипостазирование предиката.^{26*} По-настоящему предметом философии должно было бы быть не бытие вообще, а то, чему и кому бытие принадлежит, т. е. сущее.** Это важное для Вл. Соловьева различие между бытием и сущим не на всех языках выразимо. Тут он как будто бы приближается к экзистенциальной философии. Но его собственное философствование не принадлежит к экзистенциальному типу. В основании его философии лежала живая интуиция конкретного сущего, и его философия была делом его жизни. Но самая его философия остается отвлеченной и рациональной, сущее в ней задавлено схемами. Он все время настаивает на необходимости мистического элемента в философии. Этим проникнута его критика отвлеченных начал, его искание целостного знания, в основании знания, в основании философии лежит вера, самое признание реальности внешнего мира предполагает веру. Но как философ Вл. Соловьев совсем не был экзистенциалистом, он не выражал своего внутреннего существа, а прикрывал. Он пытался компенсировать себя в стихах, но и в стихах он прикрывал себя шуткой, которая иногда производит впечатление не соответствующее серьезности темы. Особенности Вл. Соловьева как мыслителя и писателя дали основание Тарееву написать о нем: «Страшно подумать, что Соловьев, столь много писавший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувства Христа».^{***} Тареев имел тут в виду, что Вл. Соловьев, говоря о Христе, обычно говорил как будто бы о Логосе неоплатонизма, а не об Иисусе из Назарета. Но его интимная духовная жизнь оставалась для нас скрытой, и не следует произносить о ней суда. Нужно помнить, что он отличался необыкновенной добротой, раздавал бедным свою одежду и однажды должен был появиться в одеяле. Он принадлежит к числу людей, внутренне раздвоенных, но он стремился к целостности, к сущему, к всеединству, к конкретному знанию. К конкретному знанию стремился и Гегель, но достигал этого лишь частично, главным образом в «Феноменологии духа». Как у русского философа, тема историософическая была для Вл. Соловьева центральной, вся его философия в известном смысле есть философия истории, учение о путях человечества к богочеловечеству, к всеединству, к Царству Божьему. Его теократия есть историософическое построение. Философия истории связана для него с учением о Богочеловечестве, что и есть главная его заслуга перед русской религиозно-философской мыслью. В этом отношении огромное значение имеют его «Чтения о Богочеловечестве». Идея Богочеловечества, выношенная русской мыслью и

* См.: Вл. Соловьев. «Критика отвлеченных начал» и «Философские начала цельного знания».²⁷

** См. мою еще ненапечатанную книгу «Творчество и объективизация. Опыт эсхатологической метафизики».²⁸

*** См.: Тареев. «Основы христианства». Т. IV. «Христианская свобода».²⁹

мало понятная западной католической и протестантской мысли, означает своеобразное понимание христианства. Эту идею не нужно отождествлять с соловьевским эволюционизмом, при котором и Богочеловек и Богочеловечество суть как бы продукт мировой эволюции. Но и в эволюционизме Вл. Соловьева, в основном ошибочном и несоединимом со свободой, есть доля несомненной истины. Так, гуманистический опыт новой истории входит в Богочеловечество, и результатом этого является эволюция христианства. Вл. Соловьев хочет христиански осмыслить этот опыт и выражает это в замечательном учении о Богочеловечестве.

Христианство есть не только вера в Бога, но и вера в человека, в возможность раскрытия божественного в человеке. Существует соизмеримость между Богом и человеком, и потому только и возможно откровение Бога человеку. Чистый, отвлеченный трансцендентизм делает невозможным откровение, не может раскрыть путей к Богу и исключает возможность общения между человеком и Богом. Даже юдаизм и магометанство не являются таким трансцендентизмом в крайней его форме. В Иисусе Христе — Богочеловеке, в индивидуальной личности дано совершенное соединение двух природ, божественной и человеческой. Это должно произойти коллективно в человечестве, в человеческом обществе. С этим связана для Вл. Соловьева самая идея Церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, история Церкви есть богочеловеческий процесс, и потому есть развитие. Должно произойти свободное соединение Божества и человечества. Таково задание, поставленное перед христианским человечеством, которое его плохо исполняло. Зло и страдание мира не мешали Вл. Соловьеву в этот период видеть богочеловеческий процесс развития. Богочеловечество подготавливалось еще в языческом мире, в языческих религиях. До явления Христа история стремилась к Богочеловечеству. После явления Христа история стремится к Богочеловеку. Внехристианский и противохристианский гуманистический период истории входит в этот богочеловеческий процесс. Богочеловечество возможно потому, что человеческая природа консубстанциональна человеческой природе Христа. На идее Богочеловечества лежит печать социальной и космической утопии, которой вдохновлялся Вл. Соловьев. Он хотел осуществления христианства в путях истории, в человеческом обществе, а не в индивидуальной только душе, он искал Царства Божьего, которое будет явлено еще на этой земле. Я употребляю слово утопия не в порицательном смысле, наоборот, я вижу большую заслугу Вл. Соловьева в том, что он хотел социального и космического преображения. Утопия обозначает только целостный, тоталитарный идеал, предельное совершенство. Но утопизм обыкновенно связан с оптимизмом. И мы тут наталкиваемся на основное противоречие. Соединение человечества и Божества, достижение Богочеловечества можно мыслить только свободно, оно не может быть принудительным, не может быть результатом необходимости. Это Вл. Соловьев признает и вместе с тем богочеловеческий процесс, который приводит к Богочеловечеству, для него как будто бы есть необходимый, детерминированный процесс эволюции. Проблема свободы не продумана до конца. Свобода предполагает не непрерывность, а прерывность. Свобода может быть и противлением осуществлению Богочеловечества, может быть и искажением, как мы видели в истории Церкви. Парадокс свободы в том, что она может переходить в рабство. У Вл. Соловьева богочеловеческий процесс безтрагичен, между тем как он трагичен. Свобода порождает трагедию. На «Чтениях о Богочеловечестве» лежит несомненная печать влияния Шеллинга последнего периода. Но тем не менее соловьевское учение о Богочеловечестве есть оригинальный плод русской мысли, этого учения в такой форме нет ни у Шеллинга, ни у других представителей западной мысли. Идея Богочеловечества означает преодоление самодостаточности человека в гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего его достоинства, божественного в человеке. Понимание христианства как религии Богочеловечества радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории искупления, распространенной в богословии католическом и протестантском. Явление Богочеловека и грядущее явление Богочеловечества означают продолжение миротворе-

ния. Русская религиозно-философская мысль в своих лучших представителях решительно борется против всякого юридического истолкования тайны христианства, и это входит в русскую идею. Вместе с тем идея Богочеловечества обращается к космическому преобразению, это почти совершенно чуждо официальному католичеству и протестантизму. На Западе родство с космологизмом русской религиозной философии можно найти лишь в немецкой христианской теософии, у Я. Беме, Фр. Баадера, Шеллинга. Это приводит нас к теме о Софии, с которой Вл. Соловьев связывает свое учение о Богочеловечестве.

Учение о Софии, которое стало популярно в религиозно-философских и поэтических течениях начала XX века, связано с платоновским учением об идеях. «София есть выраженная, осуществленная идея», — говорит Соловьев. «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом Божественного единства».³⁰ Учение о Софии утверждает начало божественной премудрости в тварном мире, в космосе и человечестве, оно не допускает абсолютного разрыва между Творцом и творением. Для Вл. Соловьева София есть также идеальное человечество. И он сближает культ Софии с культом человечества у Ог. Конта. Для придания Софии православного характера он указывает на иконы Св. Софии Премудрости Божией в Новгороде и в киевском Софиевском соборе. Наибольшие нападения в православных кругах вызвало понимание Софии как вечной женственности, внесение женственного начала в Божество. Но принципиально те же возражения должно было вызвать внесение мужественного начала в Божество. С Софией связаны наиболее интимные мистические переживания Вл. Соловьева, выраженные главным образом в его стихах. Услышав внутренний призыв, он совершает таинственное путешествие в Египет на свидание с Софией — Вечной Женственностью. Он описывает это в стихотворении «Три свидания» и других стихотворениях.

Не веруя обманчивому миру
Под грубую корою вещества,
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Еще невольник суетному миру
Под грубую корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье Божества.

Подруга вечная, тебя не назову я.³¹

И еще:

Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод.

Все, чем красна Афродита мирская,
Радость домов, и лесов, и морей, —
Все совместит красота неземная.
Чище, сильней, и живей, и полней.³²

Видение Софии есть видение красоты Божественного космоса, преображенного мира. Если София есть Афродита, то Афродита небесная, а не простонародная. Соловьевское учение о Софии — Вечной Женственности и стихи, посвященные ей, имели огромное влияние на поэтов-символистов начала XX века Александра Блока и Андрея Белого,

которые верили в Софию и мало верили в Христа, что было огромным отличием от Вл. Соловьева. На Западе гениальное учение о Софии было у Якова Беме, но оно носило несколько иной характер, чем у Вл. Соловьева и у русских софиологов.* Учение Я. Беме о Софии есть учение о вечной девственности, а не о вечной женственности. София есть девственность, целостность человека, андрогинный образ человека.³⁴ Грехопадение человека и было утерей им своей Девы Софии. После падения София отлетает на небо, а на земле является Ева. Человек тоскует по своей Деве Софии, по целостности. Пол есть знак раздвоенности и падшести. Можно открыть родство бемевского учения о Софии с Платоном (учение об андрогине)³⁵ и с Каббалой. Софиология у Беме имеет главным образом антропологический характер, у Вл. Соловьева — главным образом космологический. Бемевское учение чище соловьевского, которое допускает муть в софийных настроениях. У Вл. Соловьева было, несомненно, космическое прельщение. Но в его ожидании красоты преображенного космоса была большая правда. И в этом он выходит за пределы исторического христианства, как и все оригинальные течения русской религиозной мысли. Статья Вл. Соловьева «Смысл любви» — самое замечательное из всего им написанного, это даже единственное оригинальное слово, сказанное о любви-эросе в истории христианской мысли. Но в ней можно найти противоречие с учением о Софии, учение о любви выше учения о Софии. Вл. Соловьев — первый христианский мыслитель, по-настоящему признававший личный, а не родовой смысл любви между мужчиной и женщиной. Традиционное христианское сознание не признавало смысла любви и даже не замечало ее, для него существовало только оправдание соединения мужчины и женщины для деторождения, т. е. оправдание родовое. То, что писал об этом Бл. Августин, напоминает трактат по скотоводству.³⁶ Но такова преобладающая церковная точка зрения. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между совершенством личности и деторождением. Это — биологическая истина. Метафизическая же истина в том, что существует противоположность между перспективой личного бессмертия и перспективой смены вновь рождающихся поколений. Личность как бы распадается в деторождении, торжествует безличный род над личностью. Вл. Соловьев соединяет мистическую эротика с аскетизмом. В гениальных прозрениях «Смысла любви» ставится проблема антропологическая. В ней меньше той синтезирующей примирительности, которая часто раздражает в Соловьеве, раздражает более всего в его «Оправдании добра», системе нравственной философии, в этой статье он мыслит радикально. Единственным его предшественником в этой области можно признать лишь Фр. Баадера, но его точка зрения все же несколько иная.**

В свое время Вл. Соловьев был мало оценен и не понят. Ценили главным образом его идею теократии, т. е. самое слабое в нем; более широкое признание имела его либеральная публицистика. Огромное влияние он имел позже на духовный ренессанс начала XX века, когда в части русской интеллигенции произошел духовный кризис. Как оценить дело Вл. Соловьева? Его манера философствования принадлежит прошлому, она более устарела, чем философия Гегеля, которой в наше время по-новому увлекаются. Его построение всемирной теократии с тройственным служением царя, первосвященника и пророка разрушено им самим и менее всего может быть удержано. Также предлагаемый им способ соединения церквей, обращенный к церковным правительствам, кажется наивным и несоответствующим современным настроениям, когда придают больше значения типам духовности и мистики. И все же значение Вл. Соловьева очень большое. Прежде всего, огромное значение в соловьевском деле имеет его утверждение профетической³⁸ стороны христианства и в этом оно более всего входит в русскую идею. Профетизм его не имеет обязательной связи с его теократической схемой и даже опрокидывает ее. Вл. Соловьев верил в возможность новизны в христианстве, он был проникнут

* См. мою статью «Учение Якова Беме о Софии» в «Пути».³³

** См. в «Schriften Franz Baaders». Insel-Verlag: «Saetze aus der erotischen Philosophie» и «Vierzig Saetze aus einer religioesen Erotik».³⁷

мессианской идеей, обращенной к будущему, и в этом он нам наиболее близок. Русские течения религиозной мысли, русские религиозные искания начала XX века будут продолжать пророческое служение Вл. Соловьева. Он был врагом всякого монофизитского уклона³⁹ в понимании христианства, он утверждал активность человека в христианском богочеловеческом деле, он ввел в христианство правду гуманизма и гуманитаризма. Вопрос о католичестве Вл. Соловьева обычно неверно освещается и его католическими сторонниками, и его православными противниками. Он никогда не переходил в католичество, это было бы слишком просто и не соответствовало бы значительности поставленной им темы. Он хотел быть разом и католиком, и православным, хотел принадлежать ко Вселенской Церкви, в которой была бы полнота, какой нет еще ни в католичестве, ни в православии, взятых в их изолированности и самоутверждении, он допускал возможность интеркоммуниона.⁴⁰ Это значит, что Вл. Соловьев был сверхконфессионален, верил в возможность новой эпохи в истории христианства. Католические симпатии и уклоны, особенно выраженные, когда он писал книгу «Россия и Вселенская Церковь», были выражением универсализма Вл. Соловьева. Но он никогда не порывал с православием и перед смертью исповедывался и приобщался у православного священника. В «Повести об антихристе» православный старец Иоанн первый узнает антихриста, и этим утверждается мистическое призвание православия. Вл. Соловьев, как и Достоевский, выходил за пределы исторического христианства, и в этом его религиозное значение. Об его эсхатологических настроениях под конец жизни речь будет в следующей главе. Он разочаровался в оптимизме своих теократических и теософических схем, увидел силу зла в истории. Но это был лишь момент его внутренней судьбы, он принадлежал к типу мессианских религиозных мыслителей, родственных польскому мессианисту Чешковскому. Нужно еще сказать, что борьба, которую Вл. Соловьев вел с национализмом, торжествовавшим в 80-е годы, внешне может казаться устаревшей, но она остается живой и для нашего времени. Это его большая заслуга. Так же как борьба за свободу совести, мысли, слова. Уже в XX веке от богатой, разнообразной, часто противоречивой мысли Вл. Соловьева пошли разные течения: религиозная философия С. Булгакова и кн. Е. Трубецкого, философия всеединства С. Франка, символизм А. Блока, А. Белого, В. Иванова; с ним очень связана проблематика начала века, хотя в узком смысле соловьевства у нас, может быть, и не было.

3

Но главные фигуры в русской религиозной мысли и религиозных исканиях XIX века не философы, а романисты — Достоевский и Л. Толстой. Достоевский — величайший русский метафизик, вернее, антрополог. Он сделал великие открытия о человеке, и от него начинается новая эра во внутренней истории человека. После него человек уже не тот, что до него. Только Ницше и Кирхегард⁴¹ могут разделить с Достоевским славу зачинателей этой новой эры. Эта новая антропология учит о человеке как о существе противоречивом и трагическом, в высшей степени неблагоприятном, не только страдающем, но и любящем страдания. Достоевский более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа, и о проблемах духа написаны его романы. Он изображает человека, проходящего через раздвоение. У него появляются люди двоящихся мыслей. В человеческом мире Достоевского раскрывается полярность в самой глубине бытия, полярность самой красоты. Достоевский заинтересовывается человеком, когда начинается внутренняя революция духа. И он изображает экзистенциальную диалектику человеческого раздвоения. Страдание не только глубоко присуще человеку, но оно есть единственная причина возникновения сознания. Страдание искупает зло. Свобода, которая есть знак высшего достоинства человека, его богоподобия, переходит в своеволие. Своеволье же порождает зло. Зло есть знак внутренней глубины человека. Достоевский открывает подполье и подпольного человека, глубины подсознательного. Из этой глубины

воскликает человек, что он хочет «по своей глупой воле» пожить и что «дважды два — четыре» есть начало смерти. Основная тема Достоевского есть тема свободы, тема метафизическая, которая никогда еще не была так глубоко поставлена. Со свободой связано и страдание. Отказ от свободы облегчил бы страдание. Существует противоречие между свободой и счастьем. Достоевский видит дуализм злой свободы и принудительного добра. Эта тема о свободе есть основная тема «Легенды о Великом Инквизиторе», вершины творчества Достоевского. Принятие свободы означает веру в человека, веру в дух. Отказ от свободы есть неверие в человека. Отрицание свободы есть антихристов дух. Тайна Распятого есть тайна свободы. Распятый Бог свободно избирается предметом любви. Христос не насилует своим образом. Если бы Сын Божий стал царем и организатором бы земное царство, то свобода была бы отнята от человека. Великий Инквизитор говорит Христу: «Ты возжелал свободной любви человека». Но свобода аристократична, она есть непосильное бремя для миллиона миллионов людей. Возложив на людей бремя свободы, «ты поступил, как бы не любя их вовсе». Великий Инквизитор принимает три искушения, отвергнутые Христом в пустыне, отрицает свободу духа и хочет сделать счастливыми миллионы миллионов младенцев. Миллионы будут счастливы, отказавшись от личности и свободы. Великий Инквизитор хочет сделать муравейник, рай без свободы. «Эвклидов ум» не понимает тайны свободы, она рационально непостижима. Можно было бы избежать зла и страдания, но ценой отречения от свободы. Зло, порожденное свободой как своеволием, должно сгореть, но оно есть прохождение через искушающий опыт. Достоевский раскрывает глубину преступления и глубину совести. Иван Карамазов объявляет бунт, не принимает мира Божьего и возвращает билет Богу на вход в мировую гармонию. Но это лишь путь человека. Все мирозерцание Достоевского было связано с идеей личного бессмертия. Без веры в бессмертие ни один вопрос не разрешим. И если бы не было бессмертия, то Великий Инквизитор был бы прав. В «Легенде» Достоевский имел, конечно, в виду не только католичество, не только всякую религию авторитета, но и религию коммунизма, отвергающую бессмертие и свободу духа. Достоевский, вероятно, принял бы своеобразный христианский коммунизм и, наверное, предпочел бы его буржуазному капиталистическому строю. Но коммунизм, отрицающий свободу, достоинство человека как бессмертного существа он признавал порождением антихристового духа.

Религиозная метафизика Льва Толстого менее глубокая и менее христианская, чем религиозная метафизика Достоевского. Но Л. Толстой имел огромное значение в русской религиозности второй половины XIX века. Он был пробудителем религиозной совести в обществе, религиозно-индифферентном или враждебном христианству. Он вызвал искание смысла жизни. Достоевский как религиозный мыслитель имел влияние на сравнительно небольшой круг интеллигенции, на души более усложненные. Толстой как религиозный нравственный проповедник имел влияние на более широкий круг, он захватывал и народные слои. Его влияние чувствовалось в сектантских движениях. Группы толстовцев в собственном смысле были немногочисленны. Но толстовская мораль имела большое влияние на моральные оценки очень широких кругов русского интеллигентного общества. Сомнение в оправданности частной собственности, особенно земельной, сомнение в праве судить и наказывать, обличение зла и неправды всякого государства и власти, покаяние в своем привилегированном положении, сознание вины перед трудовым народом, отвращение к войне и насилию, мечта о братстве людей — все эти состояния были очень свойственны средней массе русской интеллигенции, они проникли и в высший слой русского общества, захватили даже часть русского чиновничества. Это было толстовство платоническое, толстовская мораль считалась неосуществимой, но самой высокой, какую только можно себе представить. Таково, впрочем, было отношение и к евангельской морали вообще. В Л. Толстом произошло сознание своей вины в господствующем слое русского общества. Это было прежде всего аристократическое покаяние. У Л. Толстого была необычайная жажда совершенной жизни, она томила его большую часть жизни, было острое сознание своего несовершенства.* От православия

* Много материалов дает П. Бирюков — «Л. Н. Толстой. Биография». ⁴²

получил он сознание своей греховности, склонность к неустанному покаянию. Мысль, что нужно прежде всего исправить себя, а не улучшать жизнь других, есть традиционно-православная мысль. Православная основа у него была сильнее, чем обыкновенно думают. Самый нигилизм его в отношении к культуре получен от православия. Одно время он делал усилия быть самым традиционным православным, чтобы быть в духовном единстве с рабочим народом. Но он не выдержал испытания, он возмутился против грехов и зол исторической церкви, против неправды жизни тех, которые почитали себя православными. И он стал гениальным обличителем неправд исторической церковности. В своей критике, в которой было много правды, он зашел так далеко, что начал отрицать самые первоосновы христианства и пришел к религии более близкой к буддизму. Л. Толстой был отлучен от церкви Св. Синодом, органом малоавторитетным. Между тем как православная церковь не любила отлучать. Могут сказать, что Толстой сам себя отлучил. Но отлучение было возмутительно потому, что оно было применено к человеку, который так много сделал для пробуждения религиозных интересов в обществе безбожном, в котором люди, мертвые для христианства, не отлучались. Л. Толстой был прежде всего борцом против идолопоклонников. В этом была его правда. Но ограниченность духовного типа Толстого связана с тем, что религия его была столь исключительно моралистической. Он никогда не сомневался только в добре. От толстовского мировоззрения иногда бывает душно и у толстовцев же это бывает невыносимо. Отсюда нелюбовь Толстого к обрядам. Но за толстовским морализмом скрыто было искание Царства Божьего, которое должно осуществляться здесь, на земле, и сейчас. Нужно начинать, сейчас, но, по его словам, идеал Царства Божьего бесконечен. Он любил выражаться с нарочитой грубостью и почти нигилистической циничностью, он не любил никаких прикрас. В этом есть большое сходство с Лениным. Иногда Толстой говорит: Христос учит не делать глупостей. Но он же говорит: то, что есть, неразумно, разумно то, чего нет, мировая разумность — зло, мировая нелепость — добро. Он стремился к мудрости и в этом хочет быть вместе с Конфуцием, Лаодзе, Буддой, Соломоном, Сократом, стоиками, Шопенгауэром, которого очень почитал. Величайшим из мудрых он почитал Иисуса Христа. Но он был ближе к буддизму и к стоицизму, чем к христианству. Метафизика Л. Толстого, лучше всего выраженная в его книге «О жизни», резко антиперсоналистична. Только отказ от личного сознания победит страх смерти. В личности, в личном сознании, которое для него есть животное сознание, он видит величайшее препятствие для осуществления совершенной жизни, для соединения с Богом. Бог же для него и есть истинная жизнь. Истинная жизнь есть любовь. Антиперсонализм Толстого наиболее отделяет его от христианства и наиболее приближает его к индусскому религиозному сознанию. У него было большое уважение к Нирване. Для Достоевского в центре стоял человек. Для Толстого человек есть лишь часть космической жизни, и человек должен слиться с божественной природой. Самое художество его космическое, в нем как бы космическая жизнь сама себя выражает. Самое большое значение имеет жизненная судьба самого Толстого, его уход перед смертью. Личность Толстого необыкновенно значительна и гениальна в самых своих противоречиях. Он был теллургическим человеком, он нес в себе всю тяжесть земли, и он устремлен был к чисто духовной религии. В этом его основное трагическое противоречие. И он не мог примкнуть к толстовским колониям не вследствие своей слабости, а вследствие своей гениальности. Всю жизнь у этого гордого, полного страстей важного барина, настоящего грандсеньора, была память о смерти, и все время он хотел смириться перед волей Бога. Он хотел осуществить закон Хозяина жизни, как он любил выражаться. Он много мучился, религия его была безблагодатна. Про него скажут, что он собственными силами хотел осуществить совершенную жизнь.⁴³ Но, по его богосознанию, осуществление совершенной жизни есть присутствие Бога в человеке. Чего-то в христианстве он до конца не мог понять, но вина в этом лежит не на нем, не только на нем. По своим исканиям правды, смысла жизни, исканиям Царства Божьего, своим покаянием, своему религиозно-анархическому бунту против неправды истории и цивилизации он принадлежит русской идее. Он есть русское противопоставление Гегелю и Ницше.

Русская религиозная проблематика была очень мало связана с духовной средой, с духовными академиями, с иерархами церкви. В XVIII веке замечательным духовным писателем был св. Тихон Задонский, имевший такое значение для Достоевского.⁴⁴ В нем было веяние нового духа, на него имел влияние западный христианский гуманизм, Арндт⁴⁵ и др. В XIX веке можно назвать немного людей из духовной среды, которые представляют интерес, хотя они остаются вне основных духовных течений. Таковы Бухарев (архимандрит Федор),⁴⁶ архиепископ Иннокентий, Несмелов, в особенности, и Тареев. Жизнь Бухарева была очень драматична. Будучи монахом и архимандритом, он пережил духовный кризис, усомнился в своем монашеском призвании и в традиционных формах аскезы, ушел из монашества, но остался горячо верующим православным. Потом он женился и придавал особенное религиозное значение браку. Всю жизнь он продолжал быть духовным писателем, и через инерцию традиционного православия у него прорывалась новизна, он ставил проблемы, которых не ставила официальная православная мысль. Он, конечно, подвергся преследованию, и положение его было трагическим и мучительным. Официальная православная среда не признавала его своим, широкие же круги интеллигенции его не читали и не знали. Заинтересовались им позже, уже в начале XX века. Писал он очень старомодно, языком не свойственным русской литературе, и читать его было не очень приятно. Его книга об Апокалипсисе, которую он писал большую часть жизни и которой придавал особенное значение, — самое слабое из его произведений, очень устаревшее, и сейчас ее читать невозможно.⁴⁷ Интересна только самая его обращенность к Апокалипсису. Новым у него был исключительный интерес к вопросу об отношении православия к современности, так и называется одна из его книг.* Понимание Бухаревым христианства можно было бы назвать панхристизмом. Он хочет приобретения и усвоения себе Христа, а не Его заповедей. Он все сводит к Христу, к Его лику. В этом резко отличается от Л. Толстого, у которого было слабое чувство личности Христа. Дух Христов не отворачивание от людей, а человеколюбие и самопожертвование. Бухарев особенно настаивает на том, что главная жертва Христа — за мир и человека, а не жертва человека и мира для Бога. Это противоположно судебному пониманию христианства. Ради всякого человека Сын Божий стал человеком. Агнец был заклан до сотворения мира. Бог творил мир, отдавая себя на заклание. «Мир явился мне, — говорит Бухарев, — не только областью, во зле лежащей, но и великою средой для раскрытия благодати Богочеловека, взявшего зло мира на себя». «Мыслью о Христовом царстве не от мира сего мы пользуемся только для своего нечеловеколюбивого, ленивого и малодушного безучастия к труждающимся и обремененным в сем мире». Бухарев утверждает не деспотию Бога, а самопожертвование Агнца. Дух силен свободой, а не рабством страха. Ему дороже всего «снисхождение Христово на землю». Ничто существенно человеческое не отвергается, кроме греха. Благодать противоплагается греху, а не природе. Естественное неотделимо от сверхъестественного. Творческие силы человека есть отсвет Бога Слова. «Будет ли и когда будет у нас это духовное преобразование, по которому и все земное мы стали бы понимать по Христу; все гражданские порядки были бы нами и понимаемы и сознательно выдерживаемы в силе и смысле благодатных порядков». Идея Царства Божьего должна быть применена к судьбам и делам царства мира сего. Бухарев говорит, что Христос сам действует в церкви, а не передает авторитет иерархам. Оригинальность его была в том, что он не столько хотел осуществления в полноте жизни христианских принципов, сколько приобретения полнотой жизни самого Христа, как бы продолжения воплощения Христа во всей жизни. Он утверждал, как потом Н. Федоров, внехрамовую литургию. Русской религиозной мысли вообще была свойственна идея продолжающегося боговоплощения, как и продолжающегося в явлении Христа миротворения. Это отличие русской религиозной мысли от западной. Отношение между Творцом и творением не вызывает никаких представлений о судебном процессе. Бухареву

* См. его книгу «Об отношении православия к современности» и «О современных потребностях мысли и жизни, особенно русской».⁴⁸

свойственна необыкновенная человечность, все христианство его проникнуто духом человечности. Он хочет осуществлять эту христианскую человечность. Но он, как и славянофилы, еще держался за монархию, совсем, впрочем, непохожую на абсолютизм и империализм. Иногда кажется, что монархизм был защитным цветом русской христианской мысли XIX века. Но в нем был и непреодоленный исторический романтизм.

Единственный иерарх церкви, о котором стоит упомянуть, когда говорят о русской религиозной философии, — это архиепископ Иннокентий.* Митрополит Филарет⁵⁰ был очень талантливый человек, но для религиозной философии он совсем не интересен, у него не было в этой области своих интересных мыслей. Епископ Феофан Затворник писал исключительно книги по духовной жизни и аскетике в духе «Добролюбия».⁵¹ Архиепископа Иннокентия можно назвать скорее философом, чем богословом. Он, подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, прошел через немецкую философию и мыслил очень свободно. Ревнителю ортодоксии, вероятно, признают многие его мысли недостаточно православными. Он говорил: страх Божий приличествует для еврейской религии, для христианства он не подходит. И еще говорил: если бы в человеке, в его сердце не было зародыша религии, то и сам Бог не научил бы религии. Человек свободен, и Бог не может заставить меня хотеть того, чего я не хочу. Религия любит жизнь и свободу. «Кто почувствует свою зависимость от Бога, тот станет выше всякого страха, выше деспотизма». Бог захотел увидеть своего другого, своего друга. Откровение не должно противоречить уму высшему, не должно унижать человека. Источники религии: озарение Св. Духа, избранные люди, предание и Св. Писание, и пятый источник — пастыри. Откровение есть внутреннее действие Бога на человека. Нельзя доказать бытия Божьего. Бог познается и чувством, и умом, но не умом и понятием. Религия принимается только сердцем. «Никакая наука, никакое доброе действие, никакое чистое наслаждение не лишны для религии». Иисус Христос дал лишь план церкви, а устройство ее предоставил времени. Иерархи не непогрешимы, испорченность присутствует внутри церкви. Подобно Вл. Соловьеву, архиепископ Иннокентий думает, что «всякое познание основано на вере». Воображение не могло бы выдумать христианства. Некоторые его мысли не соответствуют преобладающим богословским мнениям. Так, он справедливо думает, что душа должна предсуществовать, что она вечно была в Боге, что мир создан не во времени, а в вечности. На средние века он смотрел как на время суеверия и грабежа, что было преувеличением. В религиозной философии архиепископа Иннокентия были элементы модернизма. Западные либеральные веяния коснулись и нашей духовной среды, которая была очень затхлой. Многие профессора духовных академий находились под сильным влиянием немецкой протестантской науки. И это имело положительное значение. Но, к сожалению, это приводило к неискренности и притворству: должны были выдавать себя за православных те, которые ими уже не были. Были в среде профессоров духовных академий и совсем неверующие. Но были и такие, которым удавалось соединить совершенную свободу науки с искренней православной верой. Таков был замечательный историк церкви Болотов, человек необъятной учености.⁵² Но в русской богословской литературе совсем не было трудов по библейской критике, по научной экзегезе Священного Писания. Это отчасти объясняется цензурой. Библейская критика оставалась запретной областью, и с трудом просачивались некоторые критические мысли. Единственным замечательным трудом в этой области, стоящим на высоте европейской науки и свободной философской мысли, была книга кн. С. Трубецкого «Учение о Логосе».⁵³ Но много ценных трудов было по патристике. Духовная цензура свирепствовала. Так, например, книга Несмелова «Догматическая система св. Григория Нисского»⁵⁴ была искажена духовной цензурой, его заставили изменить конец книги в смысле неблагоприятном для учения св. Григория Нисского о всеобщем спасении. Несмелов — самое крупное явление в русской религиозной философии, вышедшей из духовных академий, и вообще один из самых замечательных религиозных мыслителей. По своей

* См. «Сочинения Архиепископа Иннокентия».⁴⁹

религиозной и философской антропологии он интереснее Вл. Соловьева, но в нем, конечно, нет универсализма последнего, нет размаха мысли, нет такой сложности личности.

Несмелов, скромный профессор Казанской духовной академии, намечает возможность своеобразной и во многом новой христианской философии.* Главный труд его называется «Наука о человеке». Огромный интерес представляет второй том этого труда, озаглавленный «Метафизика христианской жизни».⁵⁶ Несмелов хочет построить христианскую антропологию, но эта антропология превращается в понимание христианства в целом вследствие особого значения, которое он придает человеку. Загадка о человеке — вот проблема, которая с большой остротой им ставится. Человек для него и есть единственная загадка мировой жизни. Эта загадочность человека определяется тем, что он, с одной стороны, есть природное существо, с другой же стороны, он не вмещается в природный мир и выходит за его пределы. Из учителей церкви несомненное влияние на Несмелова имел св. Григорий Нисский. Учение о человеке св. Григория Нисского⁵⁷ превосходит святоотеческую антропологию, он хотел поднять достоинство человека, для него человек был не только грешным существом, но и действительно был образом и подобием Божиим и микрокосмом.** Для Несмелова человек есть двойственное существо. Он религиозный психолог, и он хочет иметь дело не с логическими понятиями, а с реальными фактами человеческого существования, он гораздо конкретнее Вл. Соловьева. Он предлагает новое антропологическое доказательство бытия Божьего. «Идея Бога действительно дана человеку, но только она дана ему не откуда-нибудь извне, в качестве мысли о Боге, а предметно-фактически осуществлена в нем природою его личности как нового образа Бога. Если бы человеческая личность не была идеальной по отношению к реальным условиям ее собственного существования, человек и не мог бы иметь идеи Бога, и никакое откровение никогда бы не могло сообщить ему эту идею, потому что он не в состоянии был бы понять ее. . . Человеческая личность реальна в бытии и идеальна по своей природе, и самим фактом своей идеальной реальности она непосредственно утверждает объективное существование Бога как истинной личности». Несмелов особенно настаивает на том, что человеческая личность необъяснима из природного мира, превосходит его и требует высшего бытия, чем бытие мира. Интересно, что Несмелов очень ценит Фейербаха и хочет превратить мысль Фейербаха об антропологической тайне религии в орудие защиты христианства. Тайна христианства есть прежде всего антропологическая тайна. И атеизм Фейербаха может быть понят как диалектический момент христианского богопознания. Отвлеченное богословие с его игрой понятий должно было вызвать антропологическую реакцию Фейербаха. Это заслуга Несмелова, что он хочет антропологизм Фейербаха обратить в пользу христианства. Интересна и своеобразна у него психология грехопадения. Сущность грехопадения он видит в суеверном отношении к материальным вещам как источнику силы и знания. «Люди захотели, чтобы их жизнь и судьба определялись не ими самими, а внешними материальными причинами». Несмелов все время борется против языческих, идолопоклоннических, магических элементов в христианстве. Он самый крайний противник и острый критик юридической теории искупления как сделки с Богом. В искании спасения и счастья он видит язычески-иудейское, суеверное искажение христианства. Понятие об истинной жизни он противопоставляет понятию о спасении. Спасение приемлемо только как достижение истинной и совершенной жизни. Он также хотел бы изгнать из христианства страх наказания и заменить сознанием несовершенства. Подобно Оригену, св. Григорию Нисскому и многим восточным учителям церкви, он хочет всеобщего спасения. Он борется против рабьего сознания в христианстве, против унижения человека в аскетическом-монашеском понимании христианства. Христианская философия Несмелова есть

* Я, кажется, первый обратил внимание на Несмелова в статье «Опыт философского оправдания христианства», напечатанной в «Русской мысли» 35 лет тому назад.⁵⁵

** Сейчас католики, главным образом иезуиты, заинтересовались св. Григорием Нисским. См. интересную книгу: Hans von Balthasar. «Présence et pensée, Essai sur la philosophie religieuse de Grégoire de Nysse».⁵⁶

в большей степени персонализм, чем христианская философия Вл. Соловьева. Русская религиозно-философская мысль ставила по-иному проблему религиозной антропологии, чем католическая и протестантская антропология, и она идет дальше антропологии патристической и схоластической, в ней сильнее человечность. Несмелову принадлежит большое место в этой религиозной антропологии.

Профессор Московской духовной академии Тареев создал оригинальную концепцию христианства, наиболее отличающуюся от традиционного православия.* У него находили скрытый протестантизм, что, конечно, есть условная терминология. Но есть в нем и что-то характерно русское. По мнению Тареева, русский народ — смиренно верующий и кротко любящий. В христологии его главное место занимает учение о кенозисе, о самоуничижении Христа и подчинении его законам человеческого существования. Божественное слово соединилось не с человеческой силой, а с человеческим унижением. Богосыновство Христа есть вместе с тем богосыновство каждого человека. Индивидуально-ценное в религиозной области можно увидеть лишь имманентно, по родству с предметом. Истинная религия не только священнически-консервативна, но и пророчески духовна, не только стихийно народна, но и лично духовна, она даже по преимуществу пророчески духовна. Тареев — сторонник духовного христианства. Евангелию свойственна лично-духовная абсолютность. Эта абсолютность и духовность не может быть выражена в естественной исторической жизни, которая всегда относительна. Духовная истина христианства не может воплощаться в исторической жизни, она выражается в ней лишь символически, а не реально. Тареевская концепция христианства дуалистическая и очень отличается от монизма славянофилов и Вл. Соловьева. У Тареева есть много верного. Он решительный враг теократии. Но он также враг всякого гностицизма. Царство Божие есть царство личностей, духовно свободных. Основная идея Евангелия — идея божественной духовной жизни. Есть два понимания Царства Божьего: эсхатологическое и теократическое. Верно эсхатологическое понимание. В Евангелии церковь имеет второстепенное значение, и Царство Божье — все. В царстве Христовом не может быть власти и авторитета. Тареев хочет освобождения духовной религии от символической оболочки. Он противопоставляет символическое служение Богу и духовное служение Богу. Евангельская вера — абсолютная форма религии и погружена в безграничную свободу. Тареев утверждает свободу абсолютной религии духа от исторических форм и свободу природно-исторической жизни от притязаний религиозной власти. Поэтому для него не может быть христианского народа, государства, брака. Вечная жизнь есть не загробная жизнь, а истинная духовная жизнь. Дух есть не часть человеческой природы, а божественное в человеке. Непреодолимый дуализм Тареева имеет обратной своей стороной монизм. Религиозная антропология Несмелова выше религиозной антропологии Тареева. Тареевский дуализм имеет большую ценность как критика ложности исторических воплощений христианства, этот дуализм справедливо указывает на смешение символического с реальным, относительного с абсолютным. Но он не может быть окончательным. Остается непонятным смысл существования исторической церкви с ее символикой. У Тареева нет философии истории. Но он оригинальный религиозный мыслитель, острый по своим противоположениям, и неверно сводить его целиком к немецким протестантским влияниям, сопоставляя его с Ричлем.⁵⁹ Дуализм Тареева во всем противоположен дуализму К. Леонтьева. Тареев склонялся к известной форме имманентизма. К. Леонтьев исповедует крайний трансцендентизм. Его религия есть религия страха и насилия, а не любви и свободы, как у Тареева, это религия трансцендентного эгоизма. При всех уклонах Тареева от традиционного православия, его христианство более русское, чем христианство Леонтьева, совсем, как было уже сказано, не русское, византийское, исключительно монашески-аскетическое и авторитарное. Необходимо установить различие между русской творческой религиозной мыслью, которая по-новому ставит проблему антропологическую и космологическую, и официальным монашески-аскетическим православием,

* См.: Тареев. «Основы христианства». Четыре тома.

для которого авторитет «Добролюбия» стоит выше авторитета Евангелия. Новым в творческой религиозной мысли, столь отличной от мертвящей схоластики, было ожидание, не всегда открыто выраженное, новой эпохи в христианстве, эпохи Св. Духа. Это и есть более всего русская идея. Русская мысль — существенно эсхатологическая, и эсхатологизм этот принимает разные формы.

Глава IX

Ожидание новой эпохи Святого Духа. Эсхатологический и профетический характер русской мысли. Отрицание буржуазных добродетелей. Странничество. Народные искатели Царства Божьего. Эсхатологическое настроение среди интеллигенции. Извращенная эсхатология у революционной интеллигенции. Странничество Л. Толстого. Эсхатологизм и мессианизм у Достоевского. Срыв у Леонтьева и Соловьева. Гениальная идея Федорова об условности апокалиптических пророчеств. Прозрение Чешковского. Проблема рождения и смерти у В. Соловьева, Федорова и Розанова.

1

В своей книге о Достоевском я писал, что русские — апокалиптики или нигилисты. Россия есть апокалиптический бунт против античности (Шпенглер). Это значит, что русский народ по метафизической своей природе и по своему призванию в мире есть народ конца. Апокалипсис всегда играл большую роль и в нашем народном слое, и в высшем культурном слое, у русских писателей и мыслителей. В нашем мышлении эсхатологическая проблема занимает несоизмеримо большее место, чем в мышлении западном. И это связано с самой структурой русского сознания, мало способного и мало склонного удержаться на совершенных формах срединной культуры. Историки-позитивисты могут указать, что для характеристики русского народа я делаю выбор, выбираю немного, исключительное, в то время как многое, обыкновенное было иное. Но умопостигаемый образ народа можно начертать лишь путем выбора, интуитивно проникая в наиболее выразительное и значительное. Я все время подчеркивал профетический элемент в русской литературе и мысли XIX века. Я говорил также о роли, которую играла эсхатологическая настроенность в русском расколе и сектантстве. Элемент педагогический и благоустроительный был у нас или очень слаб, почти отсутствовал, или был ужасен, безобразен, как в «Домострое». Нравоучительные книги епископа Феофана Затворника также носят довольно низменный характер.⁶⁰ Все это связано с коренным русским дуализмом. Устраняют землю и земную жизнь злые силы, отступившие от правды Христовой, добрые же силы ждут Града Грядущего, Царства Божьего. Русский народ очень одаренный, но у него сравнительно слабый дар формы. Сильная стихия опрокидывает всякую форму. Это и есть то, что западным людям, особенно французам, у которых почти исчезла первичная стихия, представляется варварством. В Западной Европе цивилизация, которая достигла большой высоты, все более закрывает эсхатологическое сознание. Католическое сознание боится эсхатологического понимания христианства, так как оно открывает возможность опасной новизны. Устремленность к грядущему свету, мессианское ожидание противоречат педагогическому, социально-устроительному характеру католичества, вызывают опасение, что ослабит возможность водительства душами. Также и буржуазное общество, ни во что не верящее, боится, что эсхатологическое сознание может расшатать основы этого буржуазного общества. Леон Блуа, редкий во Франции писатель апокалиптического духа, был враждебен буржуазному обществу и буржуазной цивилизации, его не любили и мало ценили.* В годы катастроф апокалипти-

* См. изумительную книгу Л. Блуа «Exégèse des lieux communs». ⁶¹ Это страстное обличение буржуазного духа и буржуазной мудрости.

ческие настроения появляются и в европейском обществе. Так было после французской революции и наполеоновских войн.* Тогда Юнг Штилинг⁶³ пророчествовал о скором явлении антихриста. В более далеком прошлом, в IX веке, на Западе было ожидание антихриста. Более близки русским пророчества Иоахима из Флориды⁶⁴ о новой эпохе Св. Духа, эпохе любви, дружбы, свободы, хотя все это слишком связывалось с монахами. Близок русским также образ св. Франциска Ассизского,⁶⁵ искупающий многие грехи исторического христианства. Но христианская цивилизация Запада строилась вне эсхатологической перспективы. Необходимо объяснить, что я понимаю под эсхатологией. Я имею в виду не эсхатологическую часть богословской системы, которую можно найти во всяком курсе католического или протестантского богословия. Я имею в виду эсхатологическое понимание христианства в целом, которое нужно противополжить историческому пониманию христианства. Христианское откровение есть откровение эсхатологическое, откровение о конце этого мира, о Царстве Божьем. Все первохристианство было эсхатологично, ждало второго пришествия Христа и наступления Царства Божьего.** Историческое христианство, историческая церковь означают, что Царство Божье не наступило, означают неудачу, приспособление христианского откровения к царству этого мира. Поэтому в христианстве остается мессианское упование, эсхатологическое ожидание, и оно сильнее в русском христианстве, чем в христианстве западном. Церковь не есть Царство Божье, церковь явилась в истории и действовала в истории, она не означает преобразования мира, явления нового неба и новой земли, Царство же Божье есть преобразование мира, не только преобразование индивидуального человека, но также преобразование социальное и космическое. Это конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, он имел в виду преобразование мира, наступление Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда. Она была у большей части представителей русской религиозной мысли. Но русское мессианское сознание, как и русский эсхатологизм, было двойственно.

В русском мессианизме, столь свойственном русскому народу, чистая мессианская идея Царства Божьего, царства правды была затуманена идеей империалистической, волей к могуществу. Мы это видели уже в отношении к идеологии Москвы — Третьего Рима. И в русском коммунизме, в который перешла русская мессианская идея в безрелигиозной и антирелигиозной форме, произошло то же извращение русского искания царства правды волей к могуществу. Но русским людям, несмотря на все соблазны, которыми они подвержены, очень свойственно отрицание величия и славы этого мира. Таковы, по крайней мере, они в высших своих состояниях. Величие и слава мира остаются соблазном и грехом, а не высшей ценностью, как у западных людей. Характерно, что русским не свойственна риторика, ее совсем не было в русской революции, в то время как она играла огромную роль во французской революции. В этом Ленин со своей грубостью, отсутствием всяких прикрас, всякой театральности, с простотой, переходящей в цинизм, характерно русский человек. Относительно Петра Великого и Наполеона, образов величия и славы, русский народ создал легенду, что они антихристы. У русских отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, столь ценимые Западной Европой. Буржуазные же пороки у русских есть, именно пороки, которые такими и сознаются. Слова «буржуа», «буржуазный» в России носили порицательный характер, в то время как на Западе эти слова означали почетное общественное положение. Вопреки мнению славянофилов, русский народ менее семейственный, чем народы Запада, менее прикованный к семье, сравнительно легко с ней разрывающий. Авторитет родителей в интеллигенции, в дворянстве, в средних слоях, за исключением, может быть, купечества, был слабее, чем на Западе. Вообще у русских было сравнительно слабо иерархическое

* Много интересных материалов можно найти у А. Wiatte: «Les sources occultes du romantisme». Deux volumes.⁶²

** Эсхатологическое понимание христианства можно найти у Вейса и Луази.⁶⁶

чувство, или оно существовало в отрицательной форме низкопоклонства, т. е. опять-таки порока, а не добродетели. Русский народ в глубоких явлениях своего духа наименее мешанский из народов, наименее детерминированный, наименее прикованный к ограниченным формам быта, наименее дорожающий установленными формами жизни. При этом самый быт русский, например купеческий быт, описанный Островским, бывал безобразен в такой степени, в какой этого не знали народы западной цивилизации. Но этот буржуазный быт не почитался святыней. В русском человеке легко обнаруживается нигилист. Все мы нигилисты, говорит Достоевский. Наряду с низкопоклонством и рабством, легко обнаруживается бунтарь и анархист. Все протекало в крайних противоположностях. И всегда есть устремленность к чему-то бесконечному. У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души. Странничество — очень характерное русское явление, в такой степени незнакомое Западу. Странник ходит по необъятной русской земле, никогда не оседает и ни к чему не прикрепляется. Странник ищет правды, ищет Царства Божьего, он устремлен в даль. Странник не имеет на земле своего пребывающего града, он устремлен к Граду Грядущему. Народный слой всегда выделял из своей среды странников. Но по духу своему странниками были и наиболее творческие представители русской культуры, странниками были Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, Вл. Соловьев и вся революционная интеллигенция. Есть не только физическое, но и духовное странничество. Оно есть невозможность успокоиться ни на чем конечном, устремленность к бесконечному. Но это и есть эсхатологическая устремленность, есть ожидание, что всему конечному наступит конец, что окончательная правда откроется, что в грядущем будет какое-то необычайное явление. Я назвал бы это мессианской чувствительностью, одинаково свойственной людям из народа и людям высшей культуры. Русские в большей или меньшей степени, сознательно или бессознательно — хилиасты.⁶⁷ Западные люди гораздо более оседлые, более прикреплены к усовершенствованным формам своей цивилизации, более дорожат своим настоящим, более обращены к благоустройству земли. Они боятся бесконечности, как хаоса, и этим походят на древних греков. Слово «стихия» с трудом переводимо на иностранные языки. Трудно дать имя, когда ослабела и почти исчезла самая реальность. Но стихия есть исток, прошлое, сила жизни, эсхатологичность же есть обращенность к грядущему, к концу вещей. В России эти две нити соединены.

2

Мне посчастливилось приблизительно около 10-го года этого столетия прийти в личное соприкосновение с бродячей Русью, ищущей Бога и Божьей правды. Я могу говорить об этом характерном для России явлении не по книгам, а по личным впечатлениям. И могу сказать, что это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. В Москве, в трактире около церкви Флора и Лавра, одно время каждое воскресенье происходили народные религиозные собеседования. Трактир этот тогда называли «Яма». На этих собраниях, носивших народный стиль уже по замечательному русскому языку, присутствовали представители самых разнообразных сект. Тут были и бессмертники, и баптисты, и толстовцы, и евангелисты разных оттенков, и хлысты, по обыкновению себя скрывавшие, и одиночки — народные теософы. Я бывал на этих собраниях и принимал активное участие в беседах. Меня поражали напряженность духовного искания, захваченность одной какой-нибудь идеей, искание правды жизни, а иногда и глубоко-мысленный гнозис. Сектантский уклон всегда означает сужение сознания, недостаток универсализма, вытеснение сложного многообразия жизни. Но каким укором официально православию являлись эти народные богоискатели! Присутствовавший православный миссионер был жалкой фигурой и производил впечатление полицейского чиновника. Народные искатели Божьей правды хотели, чтобы христианство осуществилось в жизни, они хотели большей духовности в отношении к жизни, не соглашались на

приспособление к законам этого мира. Наибольший интерес представляла мистическая секта бессмертников, которые утверждали, что верующий во Христа никогда не умрет и что люди умирают только потому, что верят в смерть и не верят в победу Христа над смертью. Я много говорил с бессмертниками, они приходили ко мне, и я убедился, что переубедить их невозможно. Они защищали какую-то часть истины, взятую не в полноте, в исключительности. Некоторые народные богомудры имели целую гностическую систему, напоминающую Я. Беме и других мистиков гностического типа. Обычно силен был дуалистический элемент, мучила трудность разрешить проблему зла. Но, как это нередко бывает, дуализм парадоксально сочетался с монизмом. В Х [арьковской] губернии рядом с имением, в котором я много лет жил летом, была колония, основанная одним толстовцем, замечательным человеком. В эту колонию стекались искатели Бога и Божьей правды со всех концов России. Иногда они проводили в этой колонии всего несколько дней и шли дальше, на Кавказ. Все приезжающие бывали у меня, и мы вели духовные беседы, иногда необыкновенно интересные. Было много добролюбовцев. Это последователи Александра Добролюбова, «декадентского» поэта, который ушел в народ, опростился, стал учителем духовной жизни.⁶⁸ С добролюбовцами общение было трудно, потому что у них был обет молчания. Все богоискатели обычно имели свою систему спасения мира и были беззаветно ей преданы. Все считали этот мир, в котором приходилось жить, злым и безбожным и искали иного мира, иной жизни. В отношении к этому миру, к истории, к современной цивилизации настроение было эсхатологическое. Этот мир кончается, в них начинается новый мир. Духовная жажда была огромная, и так характерно было ее присутствие в русском народе. То были русские странники. Вспоминаю простого мужика, чернорабочего, еще очень юного, и беседы с ним. С ним мне легче было говорить на духовные и мистические темы, чем с культурными людьми, с интеллигенцией. Он описывал пережитый им мистический опыт, который очень напоминает то, о чем писали Экхардт⁶⁹ и Беме, о которых он, конечно, не имел никакого понятия. Ему открылось рождение Бога из тьмы. Я не представляю себе России и русского народа без этих искателей Божьей правды. В России всегда было и всегда будет духовное странничество, всегда была эта устремленность к конечному состоянию. У русской революционной интеллигенции, исповедывавшей в большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения в сознании, в русском нигилизме, социализме была эсхатологическая настроенность и напряженность, была обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то конечном совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злomu, несправедливому, рабьему миру. «Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира. . . так-этак, послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого». Тут Достоевский угадывает что-то очень существенное в русском революционере. Русские революционеры, анархисты и социалисты, были бессознательными хилиастами, они ждали тысячелетнего царства. Революционный миф есть миф хилиастический. Русская натура была наиболее благоприятна для его восприятия. Это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение, что спасение коммюотарно, что все ответственны за всех. Отношение Достоевского к русским революционерам-социалистам было сложное, двойственное. С одной стороны, он писал против них почти пасквили. Но, с другой стороны, он говорит, что бунтующие против христианства тоже суть Христова лика.

3

Можно подумать, что у Л. Толстого нет эсхатологии, что его религиозная философия, монистическая и близкая к индуистской, не знает проблемы конца мира. Но это суждение остается на поверхности. Уход Толстого из семьи перед смертью есть эсхатологический

уход и полон глубокого смысла. Он был духовным странником, он хотел им сделаться во всей своей жизни, что ему не удавалось. Но странник устремлен к концу. Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную божественную жизнь. Это есть устремление к концу, к тысячелетнему царству. Л. Толстой не был эволюционистом, который хотел бы постепенного движения истории к вожделенному концу, к Царству Божьему. Он максималист и хочет срыва истории, прекращения истории. Он не хочет продолжать жить в истории, которая покоится на безбожном законе мира, он хочет жить в природе, смешивая падшую природу, подчиненную злему закону мира не менее истории, с природой преображенной и просветленной, природой божественной. Но эсхатологическая устремленность Л. Толстого не подлежит сомнению. Он искал совершенной жизни. Именно за искание совершенной жизни, за обличение жизни дурной и грешной черная сотня и призывала к убийству Толстого. Этот гнойник русского народа, осмеливавшийся называть себя союзом русского народа, ненавидел все, что есть великого в русском народе, все творческое, все, что свидетельствовало о высоком призвании русского народа в мире. Крайние ортодоксы ненавидят и опровергают Л. Толстого потому, что он был отлучен Синодом от церкви. Большой вопрос, можно ли было признать Синод органом церкви Христовой, и не был ли он скорее органом царства кесаря. Отказаться от Льва Толстого значило отказаться от русского гения, в конце концов, отказаться от русского призвания в мире. Высокая оценка Толстого в истории русской идеи совсем не означает принятия его религиозной философии, которую я считаю слабой и неприемлемой с точки зрения христианского сознания. Оценка должна быть связана с его личностью в целом, с его путем, его исканием, с его критикой злой исторической действительности, грехов исторического христианства, с его жадной совершенной жизни. Л. Толстой соприкасается с духовным движением в народной среде, о которой я говорил, и в этом отношении он — единственный из русских писателей. Он, вместе с совсем непохожим на него Достоевским, представляет русский гений на его вершинах. О себе Л. Толстой, всю жизнь калявшийся, сказал гордые слова: «Я такой, какой есть. А какой я, это знаю я и Бог». Но и нам подобает узнавать, каков он.

Творчество Достоевского насковзь эсхатологично, оно интересуется лишь конечным, лишь обращенным к концу. В Достоевском профетический элемент сильнее, чем в каком-либо из русских писателей. Профетическое искусство его определялось тем, что он раскрывал вулканическую почву духа, изображал внутреннюю революцию духа. Он обозначал внутреннюю катастрофу, с него начинаются новые души. Вместе с Ницше и Кирхегардом он открывает в XIX веке трагическое. В человеке есть четвертое измерение. Это открывается обращением к конечному, выходом из серединного существования, из общеобязательного, которое получает название «всемства». Именно у Достоевского наиболее остро русское мессианское сознание, оно гораздо острее, чем у славянофилов. Ему принадлежат слова, что русский народ — народ-богоносец. Это говорится устами Шатова. Но в образе Шатова обнаруживается и двойственность мессианского сознания, — двойственность, которая была уже у еврейского народа. Шатов начал верить, что русский народ — народ-богоносец, когда он в Бога еще не поверил. Для него русский народ делается Богом, он идолопоклонник. Достоевский обличает это с большой силой, но остается впечатление, что в нем самом есть что-то шатовское. Он, во всяком случае, верил в великую богоносную миссию русского народа, верил, что русскому народу надлежит сказать свое новое слово в конце времен. Идея конечного, совершенного состояния человечества, земного рая играла огромную роль у Достоевского, и он раскрывает сложную диалектику, связанную с этой идеей, это — все та же диалектика свободы. «Сон смешного человека» и сон Версилова в «Подростке» посвящены этой идее, от которой мысль Достоевского никогда не могла освободиться. Он отлично понимал, что мессианское сознание универсально, говорил об универсальном призвании народа. Мессианизм ничего общего не имеет с замкнутым национализмом, мессианизм размыкает, а не замыкает. Поэтому Достоевский говорит в речи о Пушкине, что русский человек — всечеловек, что в нем есть универсальная отзывчивость. Призвание русского народа

ставится в эсхатологическую перспективу, и этим сознание это отличается от сознания идеалистов 30-х и 40-х годов. Эсхатологизм Достоевского выражается в пророчестве о явлении человекобога. Образ Кириллова в этом отношении наиболее важен, в нем предвосхищается Ницше и идея сверхчеловека. Кто победит боль и страх, будет богом. Время «погаснет в уме». «Мир закончит тот», кому имя будет «человекобог». Атмосфера разговора Кириллова и Ставрогина совершенно эсхатологическая, разговор идет о конце времен. Достоевский писал не о настоящем, а о грядущем. «Бесы» написаны о грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени. Пророчества Достоевского о русской революции суть проникновение в глубину диалектики о человеке, — человеке, выходящем за пределы средненормального сознания. Характерно, что отрицательные пророчества оказались более верными, чем положительные пророчества. Политические пророчества были совсем слабы. Но интереснее всего, что самое христианство Достоевского было обращено к грядущему, к новой завершающей эпохе в христианстве. Профетизм Достоевского выводил его за пределы исторического христианства. Старец Зосима был пророчеством о новом старчестве, он совсем не походил на оптинского старца Амвросия, и оптинские старцы не признали его своим.^{70*} Алеша Карамазов был пророчеством о новом типе христианина, и он мало походил на обычный тип православия. И старец Зосима, и Алеша Карамазов менее удались, чем Иван Карамазов и Дмитрий Карамазов. Это объясняется трудностью для пророческого художества создавать образы. Но К. Леонтьев был прав, когда говорил, что православие Достоевского не традиционное, не его византийско-монашеское православие, а новое, в которое входит гуманизм. Но только никак нельзя его назвать розовым, оно трагическое. Он думал, что восстание на Бога в человеке может происходить от божественного в нем, от чувства справедливости, жалости и достоинства. Достоевский проповедовал Иоанново христианство, — христианство преображенной земли, религии воскресения прежде всего. Традиционный старец не сказал бы того, что говорит старец Зосима: «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его. . . Любите все создание Божье, и целое, и каждую песчинку. Каждый листок, каждый луч Божий любите, любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будем любить всякую вещь и тайну Божию постигать в вещах»; «Землю целуй и неустанно, ненасытно люби, всех люби. нищи восторга и исступления сего». В Достоевском были зачатки новой христианской антропологии и космологии, была новая обращенность к тварному миру, чуждая святоотеческому православию. Черты сходства на Западе можно было бы найти в св. Франциске Ассизском. Это обозначает уже переход от христианства исторического к христианству эсхатологическому.

К концу XIX века в России возникли апокалиптические настроения, связанные с чувством наступления конца мира и явления антихриста, т. е. окрашенные пессимистически. Ожидали не столько новой христианской эры и пришествия Царства Божьего, сколько царства антихриста. Это было глубокое разочарование в путях истории и неверие в существование еще исторических задач. Это был срыв русской идеи. Некоторые склонны объяснять это ожидание конца мира предчувствием конца русской империи, русского царства, которое почиталось священным. Главными выразителями этих апокалиптических настроений были К. Леонтьев и Вл. Соловьев. Апокалиптический пессимизм К. Леонтьева имел два источника. Философия истории и социология К. Леонтьева, которая имела биологическую почву, учили о неотвратимом наступлении дряхлости всех обществ, государств и цивилизаций. Он связывал эту дряхлость с либерально-эгалитарным прогрессом. Дряхлость для него означала также уродство, гибель красоты, связанной с былым цветом культуры. Эта социологическая теория, претендующая на научность, сочеталась у него с религиозной апокалиптической настроенностью. Огромное значение в возникновении этих мрачных апокалиптических настроений имела потеря веры в возможность еще в России оригинальной цветущей культуры. Он всегда думал,

* Наибольшее влияние на Достоевского имел образ св. Тихона Задонского, который был христианским гуманистом в стиле XVIII века.

что все непрочно и неверно на земле. К. Леонтьев слишком натурализовал конец мира. Дух никогда и нигде не является у него активным, у него нет свободы. Он никогда не верил в русский народ и оригинальных результатов он ждал совсем не от русского народа, а от навязанных ему сверху византийских начал. Но наступал момент, когда это неверие в русский народ делается острым и безнадежным. Он делает страшное предсказание: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всего другого по смертному пути всесмешения. . . и мы неожиданно из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, родим антихриста». Ни к чему другому русский народ не способен. К. Леонтьев предвидел русскую революцию и многое угадал в ее характере. Он предвидел, что революция будет сделана не на розовой воде, что в ней не будет свободы, свобода будет совсем отменена и что для революции потребуются вековые инстинкты повинования. Революция будет социалистической, а не либеральной и не демократической. Защитники свободы будут сметены. Предсказывая ужасную и жестокую революцию, К. Леонтьев вместе с тем сознает, что вопрос об отношении между трудом и капиталом должен быть разрешен. Он был реакционером, но он признавал безнадежность реакционных принципов и неотвратимость революции. Он предвидел не только русскую, но и мировую революцию. Это предчувствие неотвратимости мировой революции принимает апокалиптическую форму, и она представляется наступлением конца мира. «Антихрист идет!» — восклицает К. Леонтьев. Понимание Апокалипсиса было у него совершенно пассивное. Человек не может ничего сделать, может лишь спасти свою душу. К. Леонтьева эстетически привлекает этот апокалиптический пессимизм, ему нравится, что на земле правда не восторжествует. У него не было русской жадности всеобщего спасения, он совсем не был устремлен к преобразованию человечества и мира. В сущности, ему была чужда идея соборности и идея теократии. Он обличал Достоевского и Л. Толстого в розовом христианстве, гуманизме. Эсхатологизм К. Леонтьева носит отрицательный характер и совсем не характерен для русской эсхатологической идеи. Но ему нельзя отказать в остроте и радикализме мысли, а часто и в исторической пронизательности.

Под конец жизни настроение Вл. Соловьева очень меняется, оно делается мрачно-апокалиптическим. Он пишет «Три разговора», в которых есть скрытая полемика с Л. Толстым, и к ним прилагается «Повесть об антихристе». Он окончательно разочаровывается в своей теократической утопии, не верит более в гуманистический прогресс, не верит в свое основное — в богочеловечество, или, вернее, идея богочеловечества для него страшно суживается. Им овладевает пессимистический взгляд на конец истории, который он чувствует приближающимся. В «Повести об антихристе» Вл. Соловьев прежде всего сводит счеты со своим собственным прошлым, со своими теократическими и гуманитарными иллюзиями. Это, прежде всего, крах теократической утопии. Он не верит больше в возможность христианского государства, неверие очень полезное и для него, и для всех. Но он идет дальше, он не верит в исторические задачи вообще. История кончается, и начинается сверхистория. Соединение церквей, которое он продолжает желать, происходит за пределами истории. По своим теократическим идеям Вл. Соловьев принадлежит прошлому. Он от этого отжившего прошлого отказывается, но входит в пессимистическую и апокалиптическую настроенность. Между теократической идеей и эсхатологией существует противоположность. Теократия, осуществленная в истории, исключает эсхатологическую перспективу, она делает конец как бы имманентным самой истории. Церковь, понятая как царство, христианское государство, христианская цивилизация ослабляют искание Царства Божьего. Раньше у Вл. Соловьева было слабое чувство зла. Теперь чувство зла делается преобладающим. Он ставит себе очень трудную задачу начертать образ антихриста, он делает это не в богословской и философской форме, а в форме повести. Это оказалось возможным осуществить только благодаря шутилой форме, к которой он так любил прибегать, когда речь шла о самом заветном и интимном. Многих это шокировало, но шутиливость эта может быть понята как стыдливость. Я не разделяю мнения тех, которые чуть ли не выше всего у Вл. Соловьева

ставят «Повесть об антихристе». Она очень интересна, и без нее нельзя было бы понять путь Вл. Соловьева. Но повесть принадлежит к неверным и устаревшим толкованиям Апокалипсиса, в которых слишком многое принадлежит времени, а не вечности. Это пассивная, не активная и не творческая эсхатология. Нет ожидания новой эпохи Св. Духа. В начертании образа антихриста ошибочным является то, что он изображается человеколюбом, гуманистом, он осуществляет социальную справедливость. Это как бы оправдывало самые контрреволюционные и обскурантские апокалиптические теории. В действительности, говоря об антихристе, вернее сказать, что он будет совершенно бесчеловечен и будет соответствовать стадии крайней дегуманизации. Более прав Достоевский, изображая антихристово начало прежде всего враждебным свободой и презирающим человека. «Легенда о Великом Инквизиторе» много выше «Повести об антихристе». Английский католический писатель Бенсон⁷¹ написал роман, очень напоминающий «Повесть об антихристе». Все это находится в линии, обратной движению к активно творческому пониманию конца мира. Учение Вл. Соловьева о богочеловечестве, доведенное до конца, должно бы привести к активной, а не пассивной эсхатологии, к сознанию творческого призвания человека в конце истории, которое только и сделает возможным наступление конца мира и второе пришествие Христа. Конец истории, конец мира есть конец богочеловеческий, он зависит и от человека, от человеческой активности. У Вл. Соловьева не видно, каков же положительный результат богочеловеческого процесса истории. Раньше он ошибочно представлял себе его слишком эволюционным. Теперь он верно представляет себе конец истории катастрофическим. Но катастрофизм не значит, что не будет никакого положительного результата творческого дела человека для Царства Божьего. Единственным положительным у Вл. Соловьева является соединение церковью в лице папы Петра, старца Иоанна и доктора Паулуса.⁷² Православие оказывается наиболее мистическим. Эсхатология Вл. Соловьева все-таки прежде всего есть эсхатология суда. Это один из эсхатологических аспектов, но должен быть другой. Совершенно иное отношение к Апокалипсису Н. Федорова.⁷³

Н. Ф. Федоров при жизни был мало известен и оценен. Им особенно заинтересовалось лишь наше поколение начала XX века.* Он был скромный библиотекарь Румянцевского музея, живший на 17 рублей в месяц, аскет, спавший на ящике, и вместе с тем противник аскетического понимания христианства. Н. Федоров — характерно русский человек, гениальный самородок, оригинал. При жизни он почти ничего не напечатал. После смерти друзья его напечатали в двух томах его «Философию общего дела»,⁷⁵ которую раздавали даром небольшому кругу людей, так как Н. Федоров считал недопустимой продажу книг. Это был русский искатель всеобщего спасения. В нем достигло предельной остроты чувство ответственности всех за всех, — каждый ответствен за весь мир и за всех людей и каждый должен стремиться к спасению всех и всего. Западные люди легче мирятся с гибелью многих. Это, вероятно, связано с ролью, которую играет справедливость в западном сознании. Н. Федоров не был писателем по своему складу. Все, что он писал, есть лишь «проект» всеобщего спасения. Временами он напоминает таких людей, как Фурье. В нем сочетается фантазерство с практическим реализмом, мистика — с рационализмом, мечтательность — с трезвостью. Но вот что писали о нем самые замечательные русские люди. Вл. Соловьев пишет ему: «„Проект“ ваш я принимаю безусловно и без всяких оговорок. Со времени появления христианства ваш „проект“ есть первое движение вперед человеческого духа по пути Христову. Я, с своей стороны, могу только признать вас своим учителем и отцом духовным».** Л. Толстой говорил о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком». Очень высокого мнения о Федорове был и Достоевский, который писал о нем: «Он (Федоров) слишком заинтересовал меня. . . В сущности, совершенно согласен с этими мыслями. Их я принял,

* Одной из первых статей о Н. Федорове была моя статья «Религия воскрешения» в «Русской мысли».⁷⁴

** См. книгу В. А. Кожевникова «Николай Федорович Федоров», очень богатую материалами.⁷⁶

как бы за свои». Что же за «проект» у Федорова, что за необыкновенные мысли поразили самых гениальных русских людей? Н. Федоров был единственный человек, чья жизнь импонировала Л. Толстому. В основании всего мирозозерцания Н. Федорова лежало печалование о горе людей. И не было на земле человека, у которого была бы такая скорбь о смерти людей, такая жажда возвращения их к жизни. Он считал сынов виновными в смерти отцов. Он называл сынов блудными сынами, потому что они забыли могилы отцов, увлеклись женами, капитализмом и цивилизацией. Цивилизация строилась на костях отцов. Истоки мирозозерцания Н. Федорова родственны славянофильству. У него есть идеализация патриархального строя, патриархальной монархии, вражда к западной культуре. Но он выходит за пределы славянофилов, и в нем есть совершенно революционные элементы — активность человека, коллективизм, определяющее значение труда, хозяйственность, высокая оценка позитивной науки и техники. В советский период внутри России было течение федоровцев. И, как это ни странно, было некоторое соприкосновение между учением Федорова и коммунизмом, несмотря на его очень враждебное отношение к марксизму. Но вражда Федорова к капитализму была еще большая, чем у марксистов. Главная его идея, его «проект», связана с регуляцией стихийных сил природы, с подчинением природы человеку. Вера в могущество человека идет у него дальше марксизма, она более дерзновенная. Совершенно оригинально у него это соединение христианской веры с верой в могущество науки и техники. Он верил, что возвращение жизни всем умершим, активное воскрешение, а не пассивное лишь ожидание воскресения должно быть не только христианским делом, внехрамовой литургией, но и делом позитивно-научным, техническим. Есть две стороны в учении Н. Федорова: его истолкование Апокалипсиса, гениальное и единственное в истории христианства, и его «проект» воскрешения мертвых, в котором есть, конечно, элемент фантастический. Но самое нравственное сознание его есть самое высокое сознание в истории христианства.

У Н. Федорова были обширные знания, но культура его была скорее естественнонаучная, чем философская. Он очень не любил философского идеализма, не любил гностических тенденций, которые были у Вл. Соловьева. Он был моноидеистом, он целиком захвачен одной идеей — идеей победы над смертью, возвращения жизни умершим. И в его образе и образе его мыслей было что-то суровое. Память смертная, о которой есть христианская молитва, у него всегда была, он жил и мыслил перед лицом смерти, не его собственной, а других людей, всех умерших людей за всю историю. Но суровость, не допускающая никакой игры избыточных сил, была связана у него с оптимистической верой в возможность окончательной победы над смертью, в возможность не только воскресения, но и воскрешения, т. е. активного участия человека в деле всеобщего восстановления жизни. Н. Федорову принадлежит совершенно оригинальное истолкование апокалиптических пророчеств, которое можно назвать активным, в отличие от обычного пассивного истолкования. Он предлагает толковать апокалиптические пророчества как условные, чего еще никогда не делалось. И действительно, нельзя понимать конца мира, о котором пророчествует Апокалипсис, как фатум. Это противоречило бы христианской идее свободы. Фатальный конец, описанный в Апокалипсисе, наступит как результат путей зла. Если заветы Христа не будут исполнены людьми, то неотвратимо будет то-то. Но если христианское человечество соединится для общего братского дела победы над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избежать фатального конца мира, явления антихриста, страшного суда и ада. Тогда человечество может непосредственно перейти в вечную жизнь. Апокалипсис есть угроза человечеству, погруженному во зло, и он ставит активную задачу перед человеком. Пассивное ожидание страшного конца недостойно человека. Эсхатология Н. Федорова резко отличается от эсхатологии Вл. Соловьева и К. Леонтьева, и правда на его стороне, ему принадлежит будущее. Он решительный враг традиционного понимания бессмертия и воскресения. «Страшный суд есть только угроза для младенствующего человечества. Завет христианства заключается в соединении небесного с земным, божественного — с человеческим; всеобщее же воскрешение, воскрешение имманентное, всем сердцем, всей

мыслью, всеми действиями, т. е. всеми силами и способностями всех сынов человеческих совершаемое, и есть исполнение этого завета Христа — Сына Божьего и вместе с тем сына человеческого». Воскрешение противоположно прогрессу, который примиряется со смертью всех поколений. Воскрешение есть обращение времени, активность человека в отношении к прошлому, а не к будущему только. Воскрешение противоположно также цивилизации и культуре, которые цветут на кладбищах и основаны на забвении смерти отцов. Великим злом Н. Федоров считал капиталистическую цивилизацию. Он враг индивидуализма, сторонник религиозного и социального коллективизма, братства людей. Общее христианское дело должно начаться в России как стране, наименее испорченной безбожной цивилизацией. Н. Федоров исповедовал русский мессианизм. Но в чем же был этот таинственный «проект», который так поражал, вызывал восторги одних и насмешки других? Это есть не более и не менее как проект избежания страшного суда. Победа над смертью, всеобщее воскрешение не есть только дело Бога при пассивности человека, это есть дело богочеловеческое, т. е. и дело коллективной человеческой активности. Нужно признать, что в «проекте» Н. Федорова гениальное прозрение в толковании апокалиптических пророчеств, необыкновенная высота нравственного сознания, всеобщей ответственности всех за всех соединяются с утопическим фантазерством. Автор проекта говорит, что наука и техника могут способствовать воскрешению умерших, что человек может окончательно овладеть стихийными силами природы, регулировать природу и подчинить ее себе. Конечно, у него все время это соединяется с воскрешающими религиозными силами, с верой в Христово Воскресение. Но он все-таки рационализирует тайну смерти. Он недостаточно чувствовал значение креста, для него христианство было исключительно религией воскресения. Он совсем не чувствует иррациональность зла. В учении Федорова очень многое должно быть удержано как входящее в русскую идею. Я не знаю более характерно русского мыслителя, который должен казаться чуждым Западу. Он хочет братства людей не только в пространстве, но и во времени и верит в возможность изменения прошлого. Но предложенные им материалистические методы воскрешения не могут быть удержаны. Вопрос об отношении духа к природному миру не был им до конца продуман.

Мессианизм был свойствен не только русским, но и полякам. Страдальческая судьба Польши его обострила. Интересно сопоставить русские мессианские и эсхатологические идеи с идеями величайшего философа польского мессианизма Чешковского, который до сих пор недостаточно еще оценен.⁷⁷ Его главное четырехтомное сочинение «Notre Père» построено в форме толкования молитвы «Отче Наш».* Это есть оригинальное толкование христианства в целом, но в особенности есть христианская философия истории. Подобно славянофилам и Вл. Соловьеву, Чешковский прошел через германский идеализм и испытал влияние Гегеля. Но мысль его остается самостоятельной и творческой. Он хочет остаться католиком, не порывает с католической церковью, но выходит за пределы исторического католицизма. Он более определенно, чем русские мыслители, выражает религию Св. Духа. Он стремится к тому, что называет *Révélation de la Révélation*.⁷⁹ Полное откровение Бога есть откровение Духа Св. Бог и есть Дух Св., это Его настоящее имя. Дух есть высшее. Все есть Дух и через Дух. Только в третьем откровении Духа, полном и синтетическом, раскроется Св. Троица. Догмат Троичности не мог быть еще открыт в Св. Писании. Только молчание о Св. Духе считалось ортодоксальным, все остальное считалось еретическим. Ипостаси Троицы — имена, образы, моменты откровения. У Чешковского люди очень ортодоксальные, вероятно, найдут уклон к савелианству.⁸⁰ По мнению Чешковского, в ересях была частичная истина, но не было полноты истины. Он пророчесствует о наступлении новой эпохи Св. Духа. Только параклетическая эпоха даст полное откровение. Вслед за германским идеализмом, подобно Вл. Соловьеву, он утверждал духовный прогресс, духовное развитие. Человечество не могло еще вместить Св. Духа, не было еще достаточно зрело. Но время особенного

* Издано по-французски. Ste A. Ciezkowski. «Notre Père». 4 тома.⁷⁸

действия Св. Духа близится. Наступает духовная зрелость человека, когда он в силах будет вместить откровение Св. Духа, исповедовать религию Духа. Действие Духа распространится на все человечество. Дух объемлет душу и тело. В эпоху Духа войдут также социальные и культурные элементы человеческого прогресса. Чешковский настаивает на социальности славянства. Он ждет откровения Слова в социальном акте. В этом сходство с русской мыслью. Он проповедует *Communauté du St. Esprit*.⁸¹ Человечество будет жить во имя Параклета.⁸² «Отче Наш» — пророческая молитва. Церковь не есть еще Царство Божье. Человек активен в создании нового мира. Очень интересна мысль Чешковского, что мир действует на Бога. Установление социальной гармонии внутри человечества, которая будет соответствовать эпохе Св. Духа, приведет к абсолютной гармонии в Боге. Страдание Бога есть признак Его святости. Чешковский прошел через Гегеля и потому признает диалектическое развитие. Наступление новой эпохи Св. Духа, который охватит всю социальную жизнь человечества, он представляет себе скорее в форме развития, чем в форме катастрофы. Не может быть новой религии, но может быть творческое развитие вечной религии. Религия Св. Духа и есть вечная христианская религия. Вера для Чешковского есть знание, принятое чувством. У него есть много интересных философских мыслей, на которых я не могу здесь останавливаться. Чешковский учит не столько о конце мира, сколько о конце века, о наступлении нового эона.⁸³ Время для него есть часть вечности. Чешковский был, конечно, большим оптимистом, он был полон надежды на скорое наступление нового эона, хотя вокруг были мало отрадные события. Этот оптимизм был свойствен его эпохе. Мы не можем быть столь оптимистичны. Но это не мешает оценить значительность его основных идей. Многие мысли его схожи с русскими мыслями, с русскими христианскими упованиями. Чешковского у нас совсем не знали, ни у кого нет ссылок на него, как и он не знал русской мысли. Очевидно, сходство есть сходство общеславянское. В некоторых отношениях я готов поставить мысль Чешковского выше мысли Вл. Соловьева, хотя личность последнего была сложнее и богаче, в ней было больше противоречий. Сходство было в том, что должна наступить новая эпоха в христианстве, что предстоит новое излияние Св. Духа и что человек будет в этом активен, а не пассивен. Апокалиптическая настроенность ждет завершающего откровения. Церковь Нового Завета есть лишь символический образ вечной Церкви.

4

Три замечательных русских мыслителя — Вл. Соловьев, Н. Федоров и В. Розанов — высказали очень глубокие мысли о смерти и об отношении между смертью и рождением. Это мысли разные, даже противоположные. Более всего интересовала тема о победе вечной жизни над смертью. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между перспективой вечной жизни для личности и перспективой родовой, в которой рождение новой жизни ведет к смерти предшествующих поколений. Смысл любви — в победе над смертью, и достижение вечной личной жизни Н. Федоров также видит в связи между рождением и смертью. Сыны рождаются, забывая о смерти отцов. Но победа над смертью означает требование воскрешения отцов, обращение энергии рождающей в энергию воскрешающую. В отличие от Вл. Соловьева, Н. Федоров — не эротический философ. У В. Розанова — третья точка зрения. Об этом необыкновенном писателе речь будет в следующей главе, сейчас скажу только о его решении темы о смерти и рождении. Все творчество Розанова есть апофеоз рождающей жизни. В родовом процессе, порождающем все новую и новую жизнь, Вл. Соловьев и Н. Федоров видят смертность, отравленность грехом. Розанов, наоборот, хочет обоготворить рождающий пол. Рождение и есть победа над смертью, вечное цветение жизни. Пол свят, потому что он есть источник жизни, антисмерть. Такое решение вопроса связано со слабым чувством и сознанием личности. Рождение неисчислимого количества новых поколений не может примирить со

смертью хотя бы одного человека. Во всяком случае, русская мысль глубоко задумалась над темой о смерти, о победе над смертью, о рождении, о метафизике пола. Все три мыслителя понимали, что тема о смерти и рождении есть тема о метафизической глубине пола. У Вл. Соловьева энергия пола в любви-эросе перестает быть рождающей и ведет к личному бессмертию, он платоник; у Н. Федорова энергия пола превращается в энергию, воскрешающую умерших отцов; у В. Розанова, возвращающегося к юдаизму и язычеству, энергия пола освящается как рождающая новую жизнь и этим побеждающая смерть. Очень знаменательно, что в русской религиозности главное значение имеет Воскресение. Это существенное отличие от религиозности западной, где Воскресение отходит на второй план. Для католической и протестантской мысли проблема пола была исключительной проблемой социальной и моральной, но не была проблемой метафизической и космической, как была для мысли русской. Это объясняется тем, что Запад был слишком замкнут в цивилизации, слишком социализирован, христианство было слишком педагогическое. Самая тайна Воскресения была не космической тайной, а догматом, потерявшим жизненное значение. Тайна космической жизни была закрыта организованной социальностью. Был, конечно, Я. Беме, который не впадал в организованную социальность. Взятая в целом, западная мысль имеет бесспорно большее значение для решения проблемы религиозной антропологии и религиозной космологии. Но католическая и протестантская мысль в официальных своих формах очень мало интересовалась этими проблемами во всей их глубине, вне вопросов церковно-организационных и педагогически-водительствующих. В православии не был органически усвоен греко-римский гуманизм, преобладала аскетическая отрешенность. Но именно поэтому на почве православия легче может раскрыться новое о человеке и космосе. Также православие не имело такого активного отношения к истории, какое имело западное христианство. Но, может быть, именно поэтому оно будет иметь исключительное отношение к концу истории. В русской православной религиозности всегда было скрыто эсхатологическое ожидание.

В русском православии можно различить три течения, которые могут переплетаться: традиционное монашески-аскетическое, связанное с «Добротолюбием», космоцентрическое, узревающее божественные энергии в тварном мире, обращенное к преображению мира, с ним связана софиология, и антропоцентрическое, историософское, эсхатологическое, обращенное к активности человека в природе и обществе. Первое течение не ставит никаких творческих проблем и в прошлом оно опирается не столько на греческую патристику, сколько на сирийскую аскетическую литературу. Второе и третье течения ставят проблемы о космосе и человеке. Но за всеми этими различаемыми течениями скрыта общая русская православная религиозность, выработавшая тип русского человека с его недовольством этим миром, с его душевной мягкостью, с его нелюбовью к могуществу этого мира, с его устремленностью к миру иному, к концу, к Царству Божьему. Русская народная душа воспитывалась не столько проповедями и доктринальным обучением, сколько литургически и традицией христианского милосердия, проникшей в самую глубину душевной структуры. Русские думали, что Россия — страна совсем особенная, с особенным призванием. Но главным была не сама Россия, а то, что Россия несет миру прежде всего, — братство людей и свобода духа. Тут мы подходим к самому трудному вопросу. Русские устремлены не к царству этого мира, они движутся не волей к власти и могуществу. Русский народ по духовному своему строю не империалистический народ, он не любит государство. В этом славянофилы были правы. И вместе с тем это народ-колонизатор и имеет дар колонизации и он создал величайшее в мире государство. Что это значит, как это понять? Достаточно уже было сказано о дуалистической структуре русской истории. То, что Россия так огромна, есть не только удача и благо русского народа в истории, но также и источник трагизма судьбы русского народа. Нужно было принять ответственность за огромность русской земли и нести ее тяготу. Огромная стихия русской земли защищала русского человека, но и сам он должен был защищать и устраивать русскую землю. Получалась болезненная гипертрофия государства, давившего народ и часто истязавшего народ. В сознании русской идеи, русского

призвания в мире произошла подмена. И Москва — Третий Рим, и Москва — Третий Интернационал связаны с русской мессианской идеей, но представляют ее искажение. Нет, кажется, народа в истории, который совмещал бы в своей истории такие противоположности. Империализм всегда был искажением русской идеи и русского призвания. Но не случайно Россия так огромна. Эта огромность провиденциальна, и она связана с идеей и призванием русского народа. Огромность России есть ее метафизическое свойство, а не только свойство ее эмпирической истории. Великая русская духовная культура может быть свойственна только огромной стране, огромному народу. Великая русская литература могла возникнуть лишь у многочисленного народа, живущего на огромной земле. Русская литература, русская мысль были проникнуты ненавистью к империи, обличали ее зло. И вместе с тем предполагали империю, предполагали огромность России. Это противоречие, присущее самой духовной структуре России и русского народа. Огромность России могла бы быть иной, не быть империей с ее злыми сторонами, она могла бы быть народным царством. Но оформление русской земли происходило в тяжелой исторической обстановке, русская земля была окружена врагами. Это было использовано злыми силами истории. Русская идея создавалась в разных формах в XIX веке. Но она находилась в глубоком конфликте с русской историей, как она создавалась господствующими в ней силами. В этом — трагизм русской исторической судьбы и сложность нашей темы.

Глава X

XX век: культурный ренессанс и коммунизм. Источники культурного ренессанса. Пробуждение религиозного беспокойства в литературе. Критический марксизм и идеализм. Религиозные искания среди марксистов. Мережковский. Розанов. Обращение к ценностям духовной культуры. Религиозно-философские собрания. Расцвет поэзии. Символизм. Влияние Соловьева. Блок. Белый. В. Иванов. Шестов. Расцвет русской религиозной философии. Религиозно-философское общество. Флоренский. Булгаков. Бердяев. Трубецкой. Эрн. Лосский. Франк. Разрыв между высшими культурными силами и революцией. Попытки сближения: журнал «Вопросы жизни». Коммунизм как извращение русской мессианской идеи. Итоги русской мысли XIX века: Русская идея.

1

Только в начале XX века были оценены результаты русской мысли XIX века и подведены итоги. Но самая проблематика мысли к началу XX века очень усложнилась, и в нее вошли новые веяния, новые элементы. В России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, мистические и оккультные настроения. Как всегда и везде, к искреннему подъему присоединилась мода и было немало вранья. У нас был культурный ренессанс, но неверно было бы сказать, что был религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной и сосредоточенной воли, была слишком большая культурная утонченность, были элементы упадочности в настроениях культурного слоя, и этот высший культурный слой был слишком замкнут в себе. Поразительный факт. Только в начале XX века критика по-настоящему оценила великую русскую литературу XIX века, прежде всего Достоевского и Л. Толстого. Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена, ею прониклись, и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благоприятное, по сравнению с литературой XIX века. Исчезла необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Появились люди двоящихся мыслей. Таков, прежде всего, Д. Мережковский; он имеет несомненные заслуги в оценке Достоевского и Л. Толстого, которых неспособна была оценить традиционная и публицистическая критика. Но

у Мережковского нельзя уже найти этого необыкновенного правдолюбия русской литературы, у него все двоится, он играет сочетаниями слов, принимая их за реальности. То же нужно сказать про Вячеслава Иванова и про всех почти. Но произошел один знаменательный факт — изменение сознания интеллигенции. Традиционное миросозерцание левой интеллигенции пошатнулось. Вл. Соловьев победил Чернышевского. Уже во вторую половину 80-х годов и в 90-е годы это подготавливалось. Было влияние философии Шопенгауэра и Л. Толстого. Начался интерес к философии, и образовалась культурная философская среда. В этом сыграл свою роль журнал «Вопросы философии и психологии» под редакцией Н. Грота. Появились интересные философы метафизического направления — кн. С. Трубецкой и Л. Лопатин. Изменилось эстетическое сознание, и начали придавать большее значение искусству. Журнал «Северный вестник» с его редактором А. Вольнским был одним из симптомов этого изменения. Тогда же начали печататься Д. Мережковский, Н. Минский, К. Бальмонт. Позже появились журналы культурно-ренессансного направления — «Мир искусства», «Весы», «Новый путь», «Вопросы жизни». В петровской императорской России не было целостного стиля культуры, образовалась многоплановость, разноэтажность и русские жили как бы в разных веках. В начале века велась трудная, часто мучительная борьба людей ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции, — борьба во имя свободы творчества и во имя духа. Русский духовно-культурный ренессанс был встречен очень враждебно левой интеллигенцией как измена традициям освободительного движения, как измена народу, как реакция. Это было несправедливо уже потому, что многие представители культурного ренессанса были сторонниками освободительного движения и участвовали в нем. Речь шла об освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма. Но изменение основ миросозерцания и новое направление нелегко даются. Борьба шла в разных направлениях, по нескольким линиям. Наш ренессанс имел несколько истоков и относился к разным сторонам культуры. Но по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм, утилитаризм, от которых не могла освободиться левонастроенная интеллигенция. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам духовной культуры XIX века. Но беда была в том, что люди ренессанса в пылу борьбы, из естественной реакции против устаревшего миросозерцания часто недостаточно оценивали ту социальную правду, которая была в левой интеллигенции и которая оставалась в силе. Все тот же дуализм, та же расколотость продолжают быть характерными для России. Это будет иметь роковые последствия для характера русской революции, для ее духоборства. В нашем ренессансе элемент эстетический, раньше задавленный, оказался сильнее элемента этического, который оказался очень ослабленным. Но это означало ослабление воли, пассивность. И это особенно неблагоприятно должно было отозваться на попытках религиозного возрождения. Много дарований было дано русским людям начала века. То была эпоха исключительно талантливая, блестящая. Было много надежд, которые не сбылись. Ренессанс стоял не только под знаком Духа, но и Диониса. И в нем смешался ренессанс христианский с ренессансом языческим.

Духовный перелом, связанный с русским ренессансом, имел несколько источников. Более широкое значение для интеллигенции имел источник, связанный с марксизмом. Часть марксистов более высокой культуры перешла к идеализму и в конце концов к христианству. В значительной степени отсюда вышла русская религиозная философия. Факт этот может показаться странным и требует объяснения. Марксизм в России был кризисом левой интеллигенции и разрывом с некоторыми ее традициями. Он возник у нас во вторую половину 80-х годов в результате неудачи русского народнического социализма, который не мог найти опоры в крестьянстве, и срыва партии Народной воли после убийства Александра II. Старые формы революционного социалистического движения казались изжитыми, и нужно было искать новых форм. За границей возникает группа «Освобождения труда», которая кладет основы русского марксизма, это: Г. В. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич. Марксисты переоценивают народническую идею о том, что

Россия может и должна миновать период капиталистического развития, они — за развитие капитализма в России, и не потому, что капитализм сам по себе — благо, а потому, что развитие капитализма способствует развитию рабочего класса, который и будет единственным в России революционным классом. В деле освобождения на рабочий класс более можно опереться, чем на крестьянство, которое, по Марксу, есть класс реакционный. Во вторую половину 90-х годов в России возникает сильное марксистское движение, которое захватывает все более широкие круги интеллигенции. Вместе с тем возникает и рабочее движение. В многочисленных кружках происходят сражения марксистов и народников, и победа все более склоняется на сторону марксистов. Возникают марксистские журналы. Меняется душевный тип интеллигенции: марксистский тип более жесткий, чем народнический. Первоначально марксизм был западничеством, по сравнению со старым народничеством. В части марксистов второй половины 90-х годов очень повышается уровень культуры, особенно культуры философской, пробуждаются более сложные культурные запросы, происходит освобождение от нигилизма. Для старой народнической интеллигенции революция была религией, отношение к революции было тоталитарным, вся умственная и культурная жизнь была подчинена освобождению народа, свержению самодержавной монархии. В конце XIX века начался процесс дифференциации, высвобождения отдельных сфер культуры от подчинения революционному центру. Философия искусства, духовная жизнь вообще объявляются свободными сферами. Но мы увидим, что русский тоталитаризм в конце концов возьмет реванш. От марксизма осталась широкая историософическая перспектива, которая и была его главным обаянием. Во всяком случае, на почве марксизма, правда критического, а не ортодоксального, стало возможным умственное и духовное движение, которое почти прекратилось в староверческой народнической интеллигенции. Некоторые марксисты, оставаясь верными марксизму в социальной сфере, с самого начала не соглашались быть материалистами в философии, они были кантианцами или фихтеанцами, т. е. идеалистами. Этим открывались новые возможности. Марксисты более ортодоксального типа, державшиеся за материализм, относились очень подозрительно к философскому свободомыслию и предсказывали отпадение от марксизма. Получалось разделение на принимавших марксизм тоталитарно и принимавших его лишь частично. Во второй группе и произошел переход от марксизма к идеализму. Эта идеалистическая стадия продолжалась недолго, и скоро обнаружилось движение к религии, к христианству, к православию. К поколению марксистов, пришедших к идеализму, принадлежали С. Булгаков, со временем ставший священником, пишущий эти строки, П. Струве, наиболее политик из этой группы, С. Франк.⁸⁴ Все обратились к проблемам духовной культуры, которая в предшествующих поколениях левой интеллигенции была задавлена. Как участник движения, могу свидетельствовать, что процесс этот сопровождался большим подъемом. Раскрывались целые миры. Умственная и духовная жажда была огромная. Прошло веяние Духа. Было чувство, что начинается новая эра. Было движение к новому, небывшему. Но был и возврат к традициям русской мысли XIX века, к религиозному содержанию русской литературы, к Хомякову, к Достоевскому и Вл. Соловьеву. Мы попали в необыкновенно творчески одаренную эпоху. Был очень пережит Ницше, хотя и не всеми одинаково. Влияние Ницше было основным в русском ренессансе начала века. Но тема Ницше представлялась русским темой религиозной по преимуществу. Имел значение также Ибсен. Но рядом с этим, как и в первую половину XIX века, имел огромное значение германский идеализм — Кант, Гегель, Шеллинг. Так образовывалось одно из течений, создавших русский ренессанс.

Другой источник ренессанса был по преимуществу литературный. В начале века Д. С. Мережковский играл главную роль в пробуждении религиозного интереса и беспокойства в литературе и культуре. Это литератор до мозга костей, живущий в литературе и словесных сочетаниях и отражениях более, чем в жизни. У него большой

литературный талант, он необыкновенно плодовитый писатель, но он не был значительным художником, его романы, представляющие интересное чтение, свидетельствуют об эрудиции, имеют огромные художественные недостатки, они проводят его идеологические схемы, и о них было сказано, что это смесь идеологии с археологией. Главные романы — «Юлиан-Отступник», «Леонардо да Винчи», «Петр Великий» — посвящены теме «Христос и антихрист». Мережковский пришел к христианству, но не к традиционному и не к церковному христианству, а к новому религиозному сознанию. Главная его книга, которой он приобрел значение в истории русской мысли, — это «Л. Толстой и Достоевский», в которой впервые обращено достаточное внимание на религиозную проблематику двух величайших русских гениев. Книга блестящая, но испорченная обычными недостатками Мережковского — риторикой, идеологическим схематизмом, мутью двоящихся мыслей, преобладанием словесных сочинений над реальностями. У Мережковского отсутствует нравственное чувство, которое так сильно было у писателей и мыслителей XIX века. Он стремится к синтезу христианства и язычества и ошибочно отождествляет его с синтезом духа и плоти. Иногда остается впечатление, что он хочет синтезировать Христа и антихриста. Христос и антихрист — его основная тема. Возможность нового откровения в христианстве для него связана с реабилитацией плоти и пола. Мережковский — символист, и «плоть» оказывается для него символом и всей культуры, и общественности. Его нельзя понять без влияния на него В. В. Розанова. Последний — гениальный писатель, его писательство было настоящей магией слов, и он очень теряет от изложения его идей вне литературной формы. Он не сразу себя обнаружил во весь рост. Его истоки славянофильски-консервативные и православные. Но не в этом его интерес. Писания его приобретают захватывающий интерес, когда он начинает отступать от христианства, делается острым критиком христианства. Он становится моноидеистом и говорит про себя: «Сам-то я бездарен, да тема моя талантлива». В действительности он был очень талантлив, но талант его разворачивается на талантливой теме. Это тема пола, взятая как религиозная. Розанов разделяет религии на религии рождения и религии смерти. Юдаизм, большая часть языческих религий — религии рождения, апофеоз жизни, христианство же есть религия смерти. Тень Голгофы легла на мир и отравила радость жизни. Иисус заворожил мир, и в сладости Иисуса мир прогорк. Рождение связано с полом. Пол — источник жизни. Если благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол. Христианство в этом отношении остается двусмысленным. Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно даже видит оправдание брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но пола оно гнушается и закрывает глаза на него. Розанов считает это лицемерием и провоцирует христиан на решительный ответ. Он в конце концов приходит к мысли, что христианство — враг жизни, что оно есть религия смерти. Он не хочет видеть, что последнее слово христианства есть не распятие, а Воскресение. Для него христианство не религия Воскресения, а исключительно религия Голгофы. Никогда с таким радикализмом и такой религиозной углубленностью не ставился вопрос о поле. Решение Розанова было неверно, это означало или реюдаизацию христианства или возврат к язычеству, он хочет не столько преобразования пола и плоти мира, сколько их освящения такими, каковы они есть. Но постановка вопроса была верной и была большой заслугой Розанова. У него было много почитателей священников, которые его плохо понимали и думали, что речь идет о реформе семьи. Вопрос об отношении христианства к полу превратился в вопрос об отношении христианства к миру вообще и к человечеству. Ставилась проблема религиозной космологии и антропологии.

В 1903 году в Петербурге организуются религиозно-философские собрания, на которых происходит встреча русской интеллигенции верхнего культурного слоя с представителями православного духовенства. На собраниях председательствовал ректор Петербургской Духовной Академии епископ Сергей, потом Патриарх Московский. Из иерархов церкви активную роль играл еще епископ Антонин, впоследствии живо-

церковник. Со стороны светской культуры выступали Д. Мережковский, В. Розанов, Н. Минский, А. Карташов,⁸⁵ изгнанный из Духовной Академии, впоследствии министр исповеданий Временного правительства, апокалиптик и хиляст В. Тернавцев,⁸⁶ тогда чиновник особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода. Собрания были очень живыми и интересными, новыми по общению людей разных, совершенно разобщенных миров и по темам. Главную роль играл Д. Мережковский. Но темы были связаны с Розановым. Его влияние означало, что преобладали темы о поле. То была также тема об отношении христианства к миру и жизни. Представители культуры допрашивали иерархов церкви, является ли христианство исключительно аскетической, враждебной миру и жизни религией или оно может освятить мир и жизнь. Так стала центральной тема об отношении церкви к культуре и общественной жизни. Все, что говорили представители светской культуры, предполагало возможность нового христианского сознания, новой эпохи в христианстве. Это было трудно допустить иерархам церкви, хотя бы и наиболее просвещенным. Для представителей духовенства христианство давно стало повседневной прозой, искавшие же нового христианства хотели, чтобы оно было поэзией. Религиозно-философские собрания были интересны главным образом своими вопрошениями, а не ответами. Верно было, что на почве исторического христианства трудно, почти невозможно было решить вопросы о браке, о справедливом устройстве общества, о культурном творчестве, об искусстве. Некоторые участники собраний формулировали это как ожидание нового откровения правды на земле. Мережковский связывал с этим проблему плоти, при этом слово плоть он употреблял в философском неверном смысле. В исторической церковности было как раз слишком много плоти, уплотненности и недостаточно духовности. Розанов отталкивался от образа Христа, в котором видел вражду к жизни, к рождению, но он любил быт православной церкви, видел в нем много плоти. И новое христианство будет не более плотским, а более духовным. Духовность же совсем не противоположна плоти, телу, а противоположна царству необходимости, поработченности человека природным и социальным порядком. В религиозно-философских собраниях отразилось русское ожидание эпохи Св. Духа. Это ожидание принимало в России разнообразные формы, иногда очень несовершенно выраженные. Но всегда это характерно для России. Наиболее активный характер это имело у Н. Федорова. Его мышление было очень социальным. Этого нельзя сказать про участников религиозно-философских собраний. То были прежде всего люди литературы, и у них не было ни теоретической, ни практической подготовки для решения вопросов социального порядка. Между тем они ставили вопросы о христианской общественности. Мережковский говорил, что христианство не раскрыло тайны трех, т. е. тайны общечеловечности. В Тернавцев, который писал замечательную книгу об Апокалипсисе, очень верил в Первую Ипостась, Отца, и Третью Ипостась, Духа, но мало верил во Вторую Ипостась, Сына. У всех была религиозная взволнованность, религиозное брожение и искание, но не было настоящего религиозного возрождения. Менее всего оно могло возникнуть из литературных кругов, которым был присущ элемент утонченной упадочности. Но религиозная тема, которая среди интеллигенции долгое время была под запретом, была выдвинута на первый план. Было очень *bien vu*⁸⁷ говорить на религиозные темы, это стало почти модным. По свойствам русской души деятели ренессанса не могли оставаться в кругу вопросов литературы, искусства, чистой культуры. Ставились последние вопросы. Вопросы о творчестве, о культуре, о задачах искусства, об устройстве обществ, о любви и т. п. приобретали характер вопросов религиозных. Это вопросы все тех же «русских мальчиков», но ставших более культурными. Религиозно-философские собрания существовали недолго, и такой встречи интеллигенции с духовенством уже не повторилось. Да и сама интеллигенция этих собраний распалась на разные направления. В начале века у нас было либеральное движение в части духовенства, главным образом белого. Это движение было враждебно епископату и монашеству. Но в нем не было глубоких религиозных идей, — идей, выношенных в русской мысли. Спротивление официальной церкви было очень сильное, и церковная реформа, в которой

была нужда, не удалась. Поразительно, что на Соборе 17-го года, который стал возможен только благодаря революции, не обнаружилось никакого интереса к религиозным проблемам, мучившим русскую мысль XIX и начала XX века. Собор занялся исключительно вопросами церковной организации.

2

Третье течение в русском ренессансе связано с расцветом русской поэзии. Русская литература XX века не создала большого романа, подобного роману XIX века, но создала очень замечательную поэзию. И эта поэзия очень знаменательна для русского сознания, для истории русских идейных течений. То была эпоха символизма. Александр Блок, самый большой русский поэт начала века, Андрей Белый, у которого были проблемки гениальности, Вячеслав Иванов, человек универсальный, главный теоретик символизма, и многие поэты и эссеисты меньшего размера — все были символистами. Символисты сознавали себя новым течением и были в конфликте с представителями старой литературы. Основным влиянием на символистов было влияние Вл. Соловьева. Он так формулировал сущность символизма в одном из своих стихотворений:

Все, видимое нами,
Только отблеск, только тени
От незримого очами.⁸⁸

Символизм видит духовную действительность за этой видимой действительностью. Символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. Вера их совсем не была догматической. Лишь один Вяч. Иванов, впоследствии перешедший в католичество, был одно время очень близок к православию. Вл. Соловьев сообщил символистам свою веру в Софию. Но характерно, что символисты начала века, в отличие от Вл. Соловьева, верили в Софию и ждали ее явления как Прекрасной Дамы, но не верили в Христа. И это нужно определить как космическое прельщение, под которым жило это поколение. Правда тут была в жажде красоты преображенного космоса. А. Белый говорит в своих воспоминаниях: «Символ „жены“ стал зарею для нас (соединением неба с землей), сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости, с именем новой музы, сливающей мистику с жизнью».* Влиял не дневной Вл. Соловьев с его рационализированными богословскими и философскими трактатами, а Соловьев ночной, выразившийся в стихах и небольших статьях, в сложившемся о нем мифе. Наряду с Вл. Соловьевым, влиял Ницше. Это было самое сильное западное влияние на русский ренессанс. Но в Ницше воспринято было не то, о чем больше всего писали о нем на Западе, не близость его к биологической философии, не борьба за аристократическую расу и культуру, не воля к могуществу, а религиозная тема. Ницше воспринимался как мистик и пророк. Из поэтов Запада, вероятно, наибольшее значение имел Бодлер. Но русский символизм очень отличался от французского. Поэзия символистов выходила за пределы искусства, и это была очень русская черта. Период так называемого «декадентства» и эстетизма у нас быстро кончился, и произошел переход к символизму, который означал искания духовного порядка, и к мистике. Вл. Соловьев был для Блока и Белого окном, из которого дул ветер грядущего. Обращенность к грядущему, ожидание необыкновенных событий в грядущем очень характерны для поэтов-символистов. Русская литература и поэзия начала века носили профетический характер. Поэты-символисты со свойственной им чуткостью чувствовали, что Россия летит в бездну, что старая Россия кончается и должна

* Воспоминания А. Белого об А. Блоке, напечатанные в четырех томах «Эпопей», — первоклассный материал для характеристики атмосферы ренессансной эпохи, но фактически в нем много неточного.⁸⁹

возникнуть новая Россия, еще неизвестная. Подобно Достоевскому, они чувствовали, что происходит внутренняя революция. Русским людям культурного слоя XIX и XX века свойственна быстрая смена поколений и настроений; постоянная распря детей и отцов особенно характерна для России. А. Белый в своих воспоминаниях характеризует напряженность своего кружка поэтов-символистов как ожидание зорь и как видение зорь. Ждали восхода солнца Грядущего дня. Это было ожидание не только совершенно новой коллективной символической культуры, но также и ожидание грядущей революции. А. Белый называет «нашими» только тех, которые видели «зори» и предчувствовали зоревое откровение. Это также была одна из форм ожидания наступления эпохи Св. Духа. А. Белый блестяще характеризует атмосферу, в которой возник русский символизм. Время было очень замечательное. Но неприятна кружковщина, почти сектантство молодых символистов, резкое деление на «наших» и не наших, самоуверенность и самопоуенность. Этому времени свойственна была взвинченность, склонность к преувеличениям, раздувание иногда незначительных событий, недостаточная правдивость с собой и другими. Так, необычайные, почти космические размеры приобретала распря Белого с Блоком, хотя за ней скрыты чувства, в которых ничего космического не было. Жена Блока одно время играла роль Софии, она была Прекрасной Дамой. В этом было что-то неправдивое и неприятное, была игра с жизнью, которая вообще была свойственна той эпохе. В значительной степени от Вл. Соловьева получил Блок культ Прекрасной Дамы, которой посвящен целый том его стихов. Разочарование в Прекрасной Даме он выразил в «Балаганчике». Негодование Белого против якобы измены Блока и петербургской литературы символическому искусству преувеличено и не вполне правдиво, так как за этим было скрыто что-то личное. По воспоминаниям Белого, самое лучшее впечатление производит Блок. В нем было больше простоты, правдивости, было меньше вранья, чем у других. Белый был сложнее и многообразнее по своим дарованиям, чем Блок, он был не только поэтом, но и замечательным романистом, он любил философствовать и стал впоследствии антропософом. Он написал толстую книгу о символизме, который обосновал при помощи философии Риккерта.⁹⁰ Он был у нас единственным замечательным футуристом. В очень оригинальном романе «Петербург» человек и космос разлагаются на элементы, исчезает целостность вещей и границы, отделяющие одно от другого; человек может переходить в лампу, лампа — в улицу, улица проваливается в космическую бесконечность. В другом романе изображается утробная жизнь до рождения. Блок, в отличие от Белого, не пленяется никакими теориями. Он — исключительно лирический поэт, величайший поэт начала века. У него было сильное чувство России, и стихи, посвященные России, — гениальны. У Блока было предчувствие, что на Россию надвигается что-то страшное.

Развязаны дикие страсти
Под игом ушервной луны. . .

Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.⁹¹

В изумительном стихотворении «Россия» он вопрошает, кому отдастся Россия и что от этого произойдет.

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу,
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Но наиболее замечательно его стихотворение «Скифы». Это стихотворение пророческое, посвященное теме Востока и Запада.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте, сразитесь с нами!
 Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
 С раскосыми и жадными очами. . .

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
 И обливаясь черной кровью,
 Она глядит, глядит, глядит в тебя,
 И с ненавистью, и с любовью. . .

Да, так любить, как любит наша кровь,
 Никто из вас давно не любит! . .

Мы любим все — и жар холодных числ,
 И дар божественных видений,
 Нам внятно все — и острый галльский смысл,
 И сумрачный германский гений. . .

Вот строчки, очень жуткие для людей Запада, которые могут оправдывать беспокойство, которое вызывает Россия:

Виновны ль мы — коль хрустнет ваш скелет
 В тяжелых, нежных наших лапах?

В заключение — обращение к Западу:

В последний раз — опомнись, старый мир!
 На братский пир труда и мира,
 В последний раз на светлый братский пир
 Сзывает варварская лира.

Тут с необыкновенной остротой поставлена тема о России и Европе — основная тема русского сознания XIX века. Она не поставлена в категориях христианских, но христианские мотивы остаются. Можно было бы сказать, что мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком космоса, а не Логоса. Поэтому космос поглощает у них личность; ценность личности была ослаблена: у них были яркие индивидуальности, но слабо выражена личность. А. Белый даже сам говорил про себя, что у него нет личности. В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преобразенной форме, преобладал над христианским персонализмом.

Вячеслав Иванов был самой характерной и блестящей фигурой ренессанса. Он не принадлежал к группе молодых поэтов, увидевших зори. В то время он был за границей. Он был учеником Момзена, написал по-латински диссертацию о налогах в Риме.⁹² Это был человек западной образованности, очень больших знаний, которых не было у Блока и Белого. На него влияли главным образом Шопенгауэр, Р. Вагнер, Ницше; из русских — Вл. Соловьев, которого он знал лично. Наиболее близок он к Р. Вагнеру. Стихи он начал писать поздно. Поэзия его трудная, ученая, пышная, полная выражений, взятых из церковнославянского языка, требующая комментариев. Он не исключительно поэт, — он также ученый-филолог, лучший русский эллинист, блестящий эссеист, учитель поэтов, он и теолог, и философ, и теософ. Человек универсальный, синтетического духа. В России он был человеком самой утонченной культуры. Такого и на Западе не было. Ценила его главным образом культурная элита, для более широких кругов он был недоступен. Это не только блестящий писатель, но и блестящий causeur.⁹³ Со всеми он мог говорить на тему их специальности. Его идеи по видимости менялись. Он был консерватором, мистическим анархистом, православным, оккультистом, патриотом, коммунистом и кончает свою жизнь в Риме католиком, и довольно правым. Но в своих постоянных изменениях он, в сущности, всегда оставался самим собой. В жизни этого шармера было много игры. Приехав из-за границы, он привез с собой религию Диониса, о которой написал замечательную и очень ученую книгу. Он хотел не только примирить, но

и почти отождествить Диониса и Христа. Вяч. Иванов, как и Мережковский, вносил много язычества в свое христианство, и это было характерно для ренессанса начала века. Поэзия его также хотела быть дионисической, но в ней нет непосредственного стихийного дионисизма, дионисизм у него надуманный. Проблема личности была ему чужда. Вяч. Иванов имел склонность к оккультизму, который вообще процветал в России около 10 года нашего века. Как в конце XVIII и начале XIX века, у нас искали в эти годы настоящего розенкрейцерства, искали то у Р. Штейнера,⁹⁴ то в разных тайных обществах. Но большее утончение культуры делало это течение менее правдивым и наивным, чем в начале XIX века. Вяч. Иванов был человеком многосторонним и многоплановым, и он мог обращаться разными своими сторонами. Он был насыщен великими культурами прошлого, особенно греческой культурой, и жил их отражениями. Он частью проповедовал взгляды почти славянофильские, но такая гиперкультурность, такая упадочная утонченность была не русской в нем чертой. В нем не было того искания правды, той простоты, которые пленяли в литературе XIX века. Но в русской культуре должны были быть явлены и образы утонченности и культурного многообразия. Вячеслав Иванов останется одним из самых замечательных людей начала века, человеком ренессансным по преимуществу.

Во всем противоположен Вяч. Иванову был Л. Шестов, один из самых оригинальных и замечательных мыслителей начала XX века.⁹⁵ В отличие от Вяч. Иванова, Л. Шестов был моноидеистом, человеком одной темы, которая владела им целиком и которую он вкладывал во все написанное им. Это был не эллин, а иудей. Он представляет Иерусалим, а не Афины. Вышел он из Достоевского, Л. Толстого и Ницше. Его тема связана с судьбой личности, единичной, неповторимой, единственной. Во имя этой единичной личности он борется с общим, с универсальным, с общеобязательной моралью и общеобязательной логикой. Он хочет стать по ту сторону добра и зла. Самое возникновение добра и зла, самое их различие есть грехопадение. Познание с его общеобязательностью, с порождаемой им необходимостью есть рабство человека. Будучи философом, он борется против философии, против Сократа, Платона, Аристотеля, против Спинозы, Канта, Гегеля. Его герои — это немногие люди, пережившие потрясения, это Исаия, ап. Павел, Паскаль, Лютер, Достоевский, Ницше, Кирхегардт. Тема Шестова религиозная. Это тема о неограниченных возможностях для Бога. Бог может сделать однажды бывшее небывшим, может сделать, что Сократ не был отравлен. Бог не подчинен ни добру, ни разуму, не подчинен никакой необходимости. Грехопадение для Шестова не онтологическое, а гносеологическое, оно связано с возникновением познания добра и зла, т. е. с возникновением общего, общеобязательного, необходимого. У Достоевского особенное значение он придает «Запискам из подполья». Он хочет философствовать, как подпольный человек. Опыт потрясения выводит человека из царства обыденности, которому противоположно царство трагедии. Шестов противопоставляет древу познания добра и зла древо жизни. Но он всегда был гораздо сильнее в отрицании, чем в утверждении, которое было у него довольно бедно. Ошибочно считать его психологом. Когда он писал о Ницше, Достоевском, Л. Толстом, Паскале, Кирхегардте, то он интересовался не столько ими, сколько своей единственной темой, которую он вкладывал в них. Он был прекрасный писатель, и это скрадывало недостатки его мысли. Пленяет в нем независимость мысли; он никогда не принадлежал ни к каким течениям, не подвергался влиянию духа времени. Он стоял в стороне от основного русла русской мысли. Но Достоевский связывал его с основными русскими проблемами, прежде всего с проблемой конфликта личности и мировой гармонии. Под конец жизни он встретился с Кирхегардтом, с которым имел большое родство. Л. Шестов является представителем своеобразной экзистенциальной философии. Книги его переведены на иностранные языки, и его ценят. Но нельзя сказать, что его верно понимали. Во вторую половину жизни он все более и более обращался к Библии. Религиозность, к которой он шел, была скорее библейская, чем евангельская. Но он чувствовал родство с Лютером, которого он оригинально сближал с Ницше (по ту сторону добра и зла). Главное для Шестова была вера,

7 Русская литература, № 4, 1990 г.

противопологаемая знанию. Он искал веры, но он не выразил самой веры. Фигура Л. Шестова очень существенна для многообразия русского ренессанса начала века.

3

Около 1908 года в России образовалось религиозно-философское общество в Москве по инициативе С. Н. Булгакова, в Петербурге — по моей инициативе, в Киеве — по инициативе профессоров Духовной Академии. Религиозно-философское общество сделалось центром религиозно-философской мысли и духовных исканий. В Москве общество называлось «Памяти Вл. Соловьева». Это общество отражало зарождение в России оригинальной религиозной философии. Для них характерна была большая свобода мысли, несвязанность школьными традициями. Мысль была не столько богословской, сколько религиозно-философской. Это характерно для России. На Западе существовало резкое разделение между богословием и философией, религиозная философия была редким явлением, и ее не любили ни богословы, ни философы. В России в начале века философия, которая очень процветала, приобретала религиозный характер и исповедание веры обосновывалось философски. Философия совсем не ставилась в зависимость от богословия и от церковного авторитета, она была свободна, но внутренне зависела от религиозного опыта. Религиозная философия охватывала все вопросы духовной культуры и даже все принципиальные вопросы социальной жизни. Религиозно-философские общества первоначально имели большой успех, публичные заседания с докладами и прениями очень посещались, посещались и людьми, которые имели умственные и духовные интересы, но не специально религиозно-христианские. В Москве центральной фигурой религиозно-философского общества был С. Н. Булгаков, тогда еще не священник. Произошло соединение с течениями XIX века, главным образом с Хомяковым, Вл. Соловьевым, Достоевским. Началось искание истинного православия. Его пытались найти в Св. Серафиме Саровском,⁹⁶ любимом святом той эпохи, и в старчестве. Обратились также к греческой патристике. Но в религиозно-философском обществе участвовали также такие люди, как В. Иванов. Участвовали и антропософы. Русская религиозная философия подготавливалась с разных концов. Очень характерной фигурой ренессанса был отец Павел Флоренский. Это был разнообразно одаренный человек. Он математик, физик, филолог, богослов, философ, оккультист, поэт. Натура очень сложная и не прямая. Он вышел из кружка Свентицкого и Эрна,⁹⁷ которые одно время пытались соединить православие с революцией. Но постепенно он делался все более и более консервативным и в профессуре Московской Духовной Академии был представителем правого крыла. Впрочем, его консервативность и правость носили не столько реалистический, сколько романтический характер. В то время это часто случалось. П. Флоренский сначала окончил математический факультет Московского университета и подавал большие надежды в качестве математика. После духовного кризиса он поступает в Московскую Духовную Академию, делается профессором Академии и хочет стать монахом. По совету старца он не делается монахом, а лишь священником. В то время многие люди из интеллигенции принимают священство — П. Флоренский, С. Булгаков, С. Соловьев, С. Дурылин и др.⁹⁸ Это было желание войти вглубь православия, приобщиться к его тайне. П. Флоренский был человеком утонченной культуры, и в нем был элемент утонченной упадочности. В нем совсем нет простоты и прямоты, нет ничего непосредственного, он все время что-то прикрывает, много говорит нарочно и представляет интерес для психологического анализа. Я характеризовал его православие как стилизованное православие.* Он стилизатор во всем. Он эстет, в этом он человек своей эпохи, человек, равнодушный к моральной стороне христианства. В русской православной

* Моя статья в «Русской мысли» о книге П. Флоренского «Столп и утверждение истины» называлась «Стилизованное православие».⁹⁹

мысли в первый раз появляется такая фигура. Этот реакционер по эстетическому чувству во многом является новатором в богословии. Его блестящая книга «Столп и утверждение истины» произвела большое впечатление в некоторых кругах и на многих имела влияние, например на С. Н. Булгакова, человека совсем другой формации и иного душевного склада. Книга П. Флоренского по своей музыке производит впечатление падающих осенних листьев. В ней разлита меланхолия осени. Написана она в форме писем к другу. Ее можно было бы причислить к типу экзистенциальной философии. Наиболее ценна в книге ее психологическая сторона, особенно глава об елохѣ.¹⁰⁰ Положительно также борьба с рационализмом в богословии и философии и защита антиномичности. П. Флоренский хочет, чтобы богословие было духовно-опытным. Мысль его все же нельзя назвать творческим словом в христианстве. Он слишком стилизатор, слишком хочет быть традиционным и ортодоксальным. Но по душевному складу своему он все-таки новый человек, человек своего времени, даже известных годов начала XX века. Он слишком понимал движение Духа как реакцию, а не как движение вперед. Но он ставит проблемы не традиционные. Такова прежде всего проблема Софии — Премудрости Божией. Самая эта проблема не традиционно-богословская, сколько бы Флоренский ни пытался опереться на учителей церкви. Постановка проблемы Софии означает уже иное отношение к космической жизни, к тварному миру. Развитие темы о Софии и ее богословское оформление будут принадлежать о. С. Булгакову. Но о. П. Флоренский давал первые толчки. Он говорил враждебно и даже пренебрежительно о «новом религиозном сознании», но он все-таки слишком производит впечатление современника Д. Мережковского, В. Иванова, А. Белого, А. Блока. Особенно близко он себя чувствует к Розанову. Он равнодушен к теме о свободе и потому равнодушен к моральной теме. Он погружен в магическую атмосферу. Характерно, что в книге, которая представляет целую богословскую систему, хотя и не в систематической форме, почти совсем нет Христа. П. Флоренский старается скрыть, что он живет под космическим прельщением и что человек у него подавлен. Но, как русский религиозный мыслитель, он тоже по-своему ждет новой эпохи Духа Св. Выражает он это с большими опасениями, так как книга его была диссертацией для Духовной Академии, и он стал ее профессором и священником. Во всяком случае, П. Флоренский — интересная фигура годов русского ренессанса.

Но центральной фигурой в движении русской мысли к православию был С. Булгаков. Он был в молодости марксистом, профессором политической экономии в Политехническом институте. Происходит он из духовного звания, предки его были священниками, первоначально учился он в духовной семинарии. В нем была глубоко заложенная православная основа. Он никогда не был ортодоксальным марксистом, в философии был не материалистом, а кантианцем. Пережитый им перелом он выразил в книге «От марксизма к идеализму».¹⁰¹ Он первый в этом течении делается христианином и православным. В известный момент основное влияние на него имел Вл. Соловьев. Его интересы от вопросов экономических переходят к вопросам философским и богословским. По складу своему он всегда был догматиком. В 1918 году он делается священником. Высланный из Советской России в 1922 году с группой ученых и писателей, он делается профессором догматического богословия в Париже в Православном богословском институте. Уже в Париже он создает целую богословскую систему под общим заглавием «О Богочеловечестве». Первый том называется «Агнец Божий», второй том — «Утешитель», 3-й том — «Невеста Агнца». Еще до войны 1914 года он изложил свою религиозную философию в книге «Свет Невечерний».¹⁰² Я не собираюсь излагать идеи о. С. Булгакова. Он современник. Укажу только самые общие черты. Его направление называют софиологическим, и его софиология вызывает резкие нападки правоортодоксальных кругов. Он хочет дать отвлеченно-богословское выражение русским софиологическим исканиям. Он хочет быть не философом, а богословом, но в его богословии есть много философских элементов и для его мысли большое значение имеют Платон и Шеллинг. Он остается представителем русской религиозной философии. Он

остаётся верен основной русской идее Богочеловечества. Богочеловечество есть обожение твари. Богочеловечество осуществляется через Духа Св. Софиологическая тема есть тема о Божественном и тварном мире. Это есть тема прежде всего космологическая, которая интересовала русскую религиозную мысль более, чем западную. Нет абсолютного разделения между Творцом и творением. Есть предвечная не тварная София в Боге, мир платоновских идей, через нее наш мир сотворен, — и есть София тварная, проникающая в творение. О. С. Булгаков называет свою точку зрения панентеизмом (термин Краузе),¹⁰³ в отличие от пантеизма. Можно было бы это назвать также панпневматизмом. Происходит как бы сошествие Духа Св. в космос. Панпневматизм вообще характерен для русской религиозной мысли. Наибольшее затруднение для софиологии связано с проблемой зла, которая и недостаточно поставлена и не разрешена. Это система оптимистическая. Основной оказывается не идея свободы, а идея Софии. София есть Вечная Женственность Божья, что вызывает наибольшие нарекания. Самая проблема о. С. Булгакова имеет большое значение, и она недостаточно разрешена в христианстве. Ее постановка указывает на творческую мысль в русском православии. Но критику вызывает неясность определения того, что такое София. Софией оказывается и Св. Троица, и каждая из Ипостасей Св. Троицы, и космос, и человечество, и Божья Матерь. Является вопрос, не происходит ли слишком большое умножение посредников. О. С. Булгаков решительно возражает против отождествления Софии с Логосом. Неясно, что должно быть отнесено к откровению, что — к богословию и что — к философии, неясно также, какую философию нужно считать обязательно связанной с православным богословием.

Неясно, как примирить эсхатологическую перспективу с софиологическим оптимизмом. Происходит отождествление церкви с Царством Божьим, что противоречит эсхатологическому ожиданию. Я не разделяю софиологического направления, но очень ценю у о. С. Булгакова движение мысли в православии, постановку новых проблем. Философия его не принадлежит к типу экзистенциальному. Он объективист и универсалист, в своей первооснове — платоник, он слишком верит в богопознание через понятие, катафатический элемент слишком преобладает над апофатическим.¹⁰⁴ Как и все представители русской религиозно-философской мысли, он устремлен к новому, к царству Духа, но остаётся неясным, в какой мере он признает возможность нового, третьего откровения. О. С. Булгаков — одно из течений русской религиозной мысли, главным образом сосредоточенных на теме о божественности космоса. Самой большой правдой его остаётся его вера в божественное начало в человеке. Он горячий защитник всеобщего спасения. В этом смысле его мысль противоположна томизму и особенно бартианству,¹⁰⁵ а также традиционно-православному монашески-аскетическому богословию.

Сам я принадлежу к поколению русского ренессанса, участвовал в его движении, был близок к деятелями и творцами ренессанса. Но во многом я расходился с людьми того замечательного времени. Я являюсь одним из создателей образовавшейся в России религиозной философии. Я не собираюсь излагать свои философские идеи. Кто интересуется, может познакомиться с ними по моим книгам. Очень важные для меня книги написаны уже за границей, в эмиграции, т. е. выходят за пределы ренессансной эпохи, о которой я пишу. Но я считаю полезным для характеристики многообразия нашей ренессансной эпохи определить черты отличия меня от других, с которыми я иногда действовал вместе. Своеобразие моего мирозерцания было выражено в моей книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека», написанной в 1912—1913 годах. Это был *Sturm und Drang*. Книга была посвящена основной теме моей жизни и моей мысли — теме о человеке и его творческом призвании. Мысль о человеке как о творце была потом развита в моей книге «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики»,¹⁰⁶ изданной уже на Западе, — лучше развита, но с меньшей страстью. Меня не без основания называли философом свободы. Тема о человеке и о творчестве связана с темой о свободе. Такова была моя основная проблематика, которую часто плохо понимали. Большое значение для меня имел Я. Беме, которого я в известный момент моей жизни с энтузи-

азмом читал. Из чистых философов я более других обязан Канту, хотя во многом расхожусь с кантианством. Но первоначальное определяющее значение для меня имел Достоевский. Позже имел значение Ницше и, особенно, Ибсен. В моем отношении к неправде окружающего мира, неправде истории и цивилизации в очень ранней молодости большое значение для меня имел Л. Толстой, а потом К. Маркс. Моя тема о творчестве, близкая ренессансной эпохе, но не близкая большей части философов того времени, не есть тема о творчестве культуры, о творчестве человека в «науках и искусстве», это тема более глубокая, метафизическая, тема о продолжении человеком миротворения, об ответе человека Богу, который может обогатить самую божественную жизнь. Мои взгляды на поверхности могли меняться, главным образом в зависимости от моих иногда слишком острых и страстных реакций на то, что в данный момент господствовало, но я всю жизнь был защитником свободы духа и высшего достоинства человека. Моя мысль ориентирована антропоцентрично, а не космоцентрично. Все, мной написанное, относится к философии истории и этике, я более всего — историософ и моралист, может быть, теософ в смысле христианской теософии Фр. Баадера, Чешковского или Вл. Соловьева. Меня называли модернистом, и это верно в том смысле, что я верил и верю в возможность новой эпохи в христианстве, — эпохи Духа, которая и будет творческой эпохой. Для меня христианство есть религия Духа. Более верно назвать мою религиозную философию эсхатологической. И я в течение долгого времени пытаюсь усовершенствовать мое понимание эсхатологии. Мое понимание христианства эсхатологическое, и я противоплагаю его христианству историческому. Понимание же эсхатологии у меня активно-творческое, а не пассивное. Конец этого мира, конец истории зависит и от творческого акта человека. Вместе с тем я раскрывал трагедию человеческого творчества, которая заключается в том, что есть несоответствие между творческим замыслом и творческим продуктом; человек творит не новую жизнь, не новое бытие, а культурные продукты. Основной философской проблемой для меня является проблема объективации, которая основана на отчуждении, потере свободы и личности, подчинении общему и необходимому. Моя философия резко персоналистическая, и по ставшей модной ныне терминологии ее можно назвать экзистенциальной, хотя и совсем в другом смысле, чем, например, философию Гейдеггера.¹⁰⁷ Я не верю в возможность метафизики и теологии, основанных на понятиях, и совсем не хочу строить онтологии. Бытие есть лишь объективизация существования. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух — образы и символы невыразимого Божества, и это имеет огромное экзистенциальное значение. Метафизика есть лишь символика духовного опыта, она экспрессионистична. Откровение Духа есть откровение духовности в человеке. Я утверждаю дуализм мира феноменального, который есть мир объективации и необходимости, и мира нумерального, который есть мир подлинной жизни и свободы. Этот дуализм преодолим лишь эсхатологически. Моя религиозная философия не монистическая, и я не могу быть назван платоником, как о. С. Булгаков, о. П. Флоренский, С. Франк и др. Более всего я сопротивляюсь тому, что можно назвать ложным объективизмом и что ведет к подчинению индивидуального общему. Человек, личность, свобода, творчество, эсхатологически-мессианское разрешение дуализма двух миров — таковы мои основные темы. Социальная проблема у меня играет гораздо большую роль, чем у других представителей русской религиозной философии, я близок к тому течению, которое на Западе называется религиозным социализмом, но социализм этот — решительно персоналистический. Во многом, и иногда очень важным, я оставался и остаюсь одинок. Я представляю крайнюю левую в русской религиозной философии ренессансной эпохи, но связи с православной Церковью не теряю и не хочу терять.

К религиозно-философскому течению начала века принадлежали также кн. Е. Трубецкой и В. Эрн. Кн. Е. Трубецкой был близок к Вл. Соловьеву и был активным участником московского религиозно-философского общества. Направление его было более академическое. Наибольший интерес представляет его «Мировоззрение Владимира Соловьева», с ценной критикой. Мировоззрение самого Е. Трубецкого прошло через

немецкий идеализм, но он хочет быть православным философом. Он очень критически относится к софиологическому направлению о. П. Флоренского и С. Булгакова, видит в нем уклон к пантеизму. В. Эрн, который не успел вполне себя выразить, так как рано умер, наиболее был близок к софиологии о. П. Флоренского и о. С. Булгакова. Вся его критика, часто несправедливая, была направлена главным образом против немецкой философии, которая делалась особенно популярной в кругах русской философской молодежи. Русский ренессанс был также ренессансом философским. Никогда, кажется, не было еще у нас такого интереса к философии. Образовывались философские кружки, в которых была интенсивная философская жизнь. Наиболее замечательными представителями чистой философии были Н. Лосский¹⁰⁸ и С. Франк, которые создали оригинальные философские системы, которые можно назвать идеал-реализмом. Самая их манера философствовать более напоминала немецкую. Но направление их было метафизическое, когда в Германии еще господствовало враждебное метафизике неокантианство. Н. Лосский создал своеобразную форму интуитивизма, которую можно было бы назвать критическим восстановлением наивного реализма. Он не вышел из философии Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. Его истоки другие, близкие к Лейбницу, Лотце, Козлову. С. Франк ближе к классическому германскому идеализму. Он, подобно Вл. Соловьеву, хочет создать философию всеединства. Сам он называет себя продолжателем Плотина и Николая Кузанского,¹⁰⁹ особенно последнего. В общем, его философия принадлежит к платоновскому течению русской философии. Его книга «Предмет знания»¹¹⁰ — очень ценный вклад в русскую философию. Много позже в Германии Н. Гартман¹¹¹ будет защищать точку зрения, близкую к С. Франку. И Н. Лосский, и С. Франк в конце концов переходят к христианской философии и входят в общее русло нашей религиозно-философской мысли начала века. Основная тема русской мысли начала XX века есть тема о божественном космосе и о космическом преображении, об энергиях Творца в творениях; тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека и смысле культуры; тема эсхатологическая, тема философии истории. Русские мыслили о всех проблемах по существу, как бы стоя перед тайной бытия, западные же люди, отягченные своим прошлым, мыслили о всех проблемах слишком в культурных отражениях, т. е. в русской мысли было больше свежести и непосредственности. И можно установить что-то общее между богоискательством в народной среде и богоискательством в верхнем слое интеллигенции.

И все-таки нужно признать, что был разрыв между интересами высшего культурного слоя ренессанса и интересами революционного социального движения в народе и в левой интеллигенции, не пережившей еще умственного и духовного кризиса. Жили в разных этажах культуры, почти что в разных веках. Это имело роковые последствия для характера русской революции. Журнал «Вопросы жизни», редактируемый мной и С. Н. Булгаковым, пытался соединить разные течения. То было время первой малой революции, и журнал мог просуществовать только год. Политически журнал был левого, радикального направления, но он впервые в истории русских журналов соединял такого рода социально-политические идеи с религиозными исканиями, метафизическим мирозерцанием и новыми течениями в литературе. Это была попытка соединения бывших марксистов, ставших идеалистами идвигающихся к христианству, с Мережковским и символистами, частью с представителями академической философии идеалистического и спиритуалистического направления и с публицистами радикального направления. Синтез был недостаточно органическим и не мог быть прочным. То было очень интересное и напряженное время, когда для наиболее культурной части интеллигенции открывались новые миры, когда души освобождались для творчества духовной культуры. Наиболее существенно, что появились души, которые вышли из замкнутого имманентного круга земной жизни и повернулись к трансцендентному миру. Но это произошло лишь в части интеллигенции, большая часть ее продолжала жить старыми материалистическими и позитивистическими идеями, враждебными религии, мистике, метафизике, эстетике и новым течениям в искусстве, и такую установку считали обязательной для всех,

кто участвует в освободительном движении и борется за социальную правду. Я вспомню яркий образ разрыва и раскола в русской жизни. У Вячеслава Иванова на «башне» — так называлась его квартира на углу самого верхнего этажа высокого дома против Таврического дворца — по средам, в течение нескольких лет собиралась культурная элита: поэты, романисты, философы, ученые, художники, актеры. На «Ивановских средах» читались доклады, велись самые утонченные споры. Говорили не только на литературные темы, но и на темы философские, религиозные, мистические, оккультические. Присутствовал цвет русского ренессанса. В это же время внизу, в Таврическом дворце, и вокруг бушевала революция. Деятели революции совсем не интересовались темами «Ивановских сред», а люди культурного ренессанса, спорившие по средам на «башне», хотя и не были консерваторами и правыми, многие из них даже были левого направления и готовы были сочувствовать революции, но большинство из них было асоциально и очень далеко от интересов бушевавшей революции. Когда в 1917 году победили деятели революции, то они признали деятелей культурного ренессанса своими врагами и низвергли их, уничтожив их творческое дело. Вина тут лежала на обеих сторонах. У деятелей ренессанса, открывавших новые миры, была слабая нравственная воля и было слишком много равнодушия к социальной стороне жизни. Деятели же революции жили отсталыми и элементарными идеями. В этом отличие от французской революции. Деятели французской революции жили передовыми идеями того времени, идеями Ж.-Ж. Руссо, просветительной философией XVIII века. Деятели русской революции жили идеями Чернышевского, Плеханова, материалистической и утилитарной философией, отсталой тенденциозной литературой, они не интересовались Достоевским, Л. Толстым, Вл. Соловьевым, не знали новых движений западной культуры. Поэтому революция была у нас кризисом и утеснением духовной культуры. Воинствующее безбожие коммунистической революции объясняется не только состоянием сознания коммунистов, очень суженного и зависящего от разного рода *ressentiments*,¹¹² но и историческими грехами православия, которое не выполняло своей миссии преобразования жизни, поддерживая строй, основанный на неправде и гнете. Христиане должны сознать свою вину, а не только обвинять противников христианства и посылать их в ад. Враждебна христианству и всякой религии не социальная система коммунизма, которая более соответствует христианству, чем капитализм, а лжерелигия коммунизма, которой хотят заменить христианство. Но лжерелигия коммунизма образовалась потому, что христианство не исполняло своего долга и было искажено. Официальная церковь заняла консервативную позицию в отношении к государству и социальной жизни и была рабски подчинена старому режиму. Некоторое время после революции 1917 года значительная часть духовенства и мирян, почитавших себя особенно православными, была настроена контрреволюционно, и только позже появились священники нового типа. Церковной реформы и обновления церковной жизни творческими идеями XIX века и начала XX века не произошло. Официальная церковь жила в замкнутом мире, сила инерции была в ней огромна. Это тоже было одно из проявлений разрыва и раскола, проходившего через всю русскую жизнь.

4

К 1917 году в атмосфере неудачной войны все созрело для революции. Старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала священная русская империя, которую отрицала и с которой боролась целое столетие русская интеллигенция. В народе ослабели и подверглись разложению те религиозные верования, которые поддерживали самодержавную монархию. Из официальной фразеологии «православие, самодержавие и народность» исчезло реальное содержание, фразеология эта стала неискренней и лживой. В России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя и была утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России

революционным идеям. В России революция могла быть только социалистической. Либеральное движение было связано с Государственной Думой и кадетской партией. Но оно не имело опоры в народных массах и лишено было вдохновляющих идей. По русскому духовному складу революция могла быть только тоталитарной. Все русские идеологии были всегда тоталитарными, теократическими или социалистическими. Русские — максималисты, и именно то, что представляется утопией, в России наиболее реалистично. Как известно, слово «большевизм» произошло от большинства на съезде социал-демократической партии в 1903 году, слово же «меньшевизм» — от меньшинства этого съезда. Слово «большевизм» оказалось отличным символом для русской революции, слово же «меньшевизм» — негодным. Для русской левой интеллигенции революция всегда была и религией, и философией, революционная идея была целостной. Этого не понимали более умеренные направления. Очень легко доказать, что марксизм есть совершенно неподходящая идеология для революции в земледельческой стране, с подавляющим преобладанием крестьянства, с отсталой промышленностью и с очень немногочисленным пролетариатом. Но символика революции условна, ее не нужно понимать слишком буквально. Марксизм был приспособлен к русским условиям и русифицирован. Мессинская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, соединилась и отождествилась с русской мессинской идеей. В русской коммунистической революции господствовал не эмпирический пролетариат, а идея пролетариата, миф о пролетариате. Но коммунистическая революция, которая и была настоящей революцией, была мессинизмом универсальным, она хотела принести всему миру благо и освобождение от угнетения. Правда, она создала самое большое угнетение и уничтожила всякую свободу, но делала это, искренно думая, что это — временное средство, необходимое для осуществления высшей цели. Русские коммунисты, продолжавшие себя считать марксистами, вернулись к некоторым народническим идеям, господствовавшим в XIX веке, они признали возможным для России миновать капиталистическую стадию развития и прямо перескочить к социализму. Индустриализация должна происходить под знаком коммунизма, и она происходит. Коммунисты оказались ближе к Ткачеву, чем к Плеханову и даже чем к Марксу и Энгельсу. Они отрицают демократию, как отрицали многие народники. Вместе с тем они практикуют деспотические формы управления, свойственные старой России. Они вносят изменения в марксизм, который должен быть приведен в соответствие с эпохой пролетарских революций, которой еще не знал Маркс. Ленин был замечательным теоретиком и практиком революции. Это был характерно русский человек с примесью татарских черт. Ленинисты экзальтировали революционную волю и признали мир пластическим, годным для любых изменений со стороны революционного меньшинства. Они начали утверждать форму диалектического материализма, в которой исчезает детерминизм, раньше столь бросающийся в глаза в марксизме; почти исчезает и материя, которой приписываются духовные качества — возможность самодвижения изнутри, внутренняя свобода и разумность. Произошла также острая национализация Советской России и возвращение ко многим традициям русского прошлого. Ленинизм-сталинизм не есть уже классический марксизм. Русский коммунизм есть извращение русской мессинской идеи. Он утверждает свет с Востока, который должен просветить буржуазную тьму Запада. В коммунизме есть своя правда и своя ложь. Правда — социальная, раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов; ложь же — в духовных основах, которые приводят к процессу дегуманизации, к отрицанию ценности всякого человека, к сужению человеческого сознания, которое было уже в русском нигилизме. Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, но освобожденная от лжи. Русская революция пробудила и расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный смысл. Советская конституция 1936 года создала самое лучшее

в мире законодательство о собственности. Личная собственность признается, но в форме, не допускающей эксплуатации. Назрел новый душевный тип с хорошими и плохими чертами. Но свободы человека все еще нет.

При всей разорванности русской культуры и противоположности между революционным движением и ренессансом, между ними было что-то общее. Дионисическое начало прорывалось и там, и там, хотя и в разных формах. Я называю русским ренессансом тот творческий подъем, который у нас был в начале века. Но он не походил на большой европейский ренессанс по своему характеру. Позади его не было средневековья, позади была пережитая интеллигенцией эпоха просвещения. Русский ренессанс вернее сравнить с германским романтизмом начала XIX века, которому тоже предшествовала эпоха просвещения. Но в русском движении того времени были специфические русские черты, которые связаны с русским XIX веком. Это прежде всего религиозное беспокойство и религиозное искание, это постоянный переход в философии за границы философского познания, в поэзии — за границы искусства, в политике — за границы политики в направлении эсхатологической перспективы. Все протекало в мистической атмосфере. Русский ренессанс не был классическим, он был романтическим, если употреблять эту условную терминологию. Но романтизм этот был иной, чем на Западе, в нем была устремленность к религиозному реализму, хотя этот реализм и не достигался. В России не было той самодовольной замкнутости в культуре, которая так характерна для Западной Европы. Несмотря на западные влияния, особенно Ницше, хотя и по-особенному понятого, влияния западных символистов, была устремленность к русскому самосознанию. В эту эпоху было написано уже цитированное стихотворение А. Блока «Скифы». Только в ренессансную эпоху стал нам по-настоящему близок Достоевский, полюбили поэзию Тютчева и оценили Вл. Соловьева. Но вместе с тем было преодолено нигилистическое отрицание XIX века. Русское революционное движение, русская устремленность к новой социальности оказались сильнее культурно-ренессансного движения; движение опиралось на поднимающиеся снизу массы и было связано с сильными традициями XIX века. Культурный ренессанс был сорван, и его творцы отодвинуты от переднего плана истории, частью принуждены были уйти в эмиграцию. Некоторое время торжествовали самые поверхностные материалистические идеи, и в культуре произошел возврат к старому рационалистическому просвещению. Социальный революционер был культурным реакционером. Но все это, свидетельствуя о трагической судьбе русского народа, совсем не означает, что весь запас творческой энергии и творческих идей пропал даром и не будет иметь значения для будущего. Но так совершается история. Она протекает в разнообразных психических реакциях, в которых то суживается, то расширяется сознание. Многое то уходит в глубину, исчезая с поверхности, то опять поднимается вверх и выражает себя вовне. Так будет и у нас. Происшедший у нас разгром духовной культуры есть только диалектический момент в судьбе русской духовной культуры и свидетельствует о проблематичности культуры для русских. Все творческие идеи прошлого вновь будут иметь оплодотворяющее значение. Духовная жизнь не может быть угашена, она — бессмертна. В эмиграции реакция против революции создала и реакционную религиозность. Но явление это незначительно в свете более далеких перспектив.

Русская мысль, русские искания начала XIX века и начала XX века свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа. Русский народ — религиозный по своему типу и по своей душевной структуре. Религиозное беспокойство свойственно и неверующим. Русские атеизм, нигилизм, материализм приобретали религиозную окраску. Русские люди из народного, трудового слоя, даже когда они ушли от православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать смысла жизни. Русским чужд рафинированный скептицизм французов,

они верующие и тогда, когда исповедуют материалистический коммунизм. Даже у тех русских, которые не только не имеют православной веры, но даже воздвигают гонение на православную церковь, остается в глубине души слой, сформированный православием. Русская идея — эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Русские люди любовь ставят выше справедливости. Русская религиозность носит соборный характер. Христиане Запада не знают такой коммюнитарности, которая свойственна русским. Все это — черты, находящие свое выражение не только в религиозных течениях, но и в течениях социальных. Известно, что главный праздник русского православия есть праздник Пасхи. Христианство понимается прежде всего как религия Воскресения. Если брать православие не в его официальной, казенной, извращенной форме, то в нем больше свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, больше истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. За внешним иерархическим строем русские в последней глубине всегда были антииерархичны, почти анархичны. У русского народа нет той любви к историческому величию, которым так пленены народы Запада. Народ, обладающий величайшим в мире государством, не любит государства и власти и устремлен к иному. Немцы уже давно построили теорию, что русский народ — народ женственный и душевный, в противоположность мужественному и духовному немецкому народу. Мужественный дух немецкого народа должен овладеть женственной душой русского народа. С этой теорией связывалась и соответственная практика. Вся теория построена для оправдания германского империализма и германской воли к могуществу. В действительности русский народ всегда был способен к проявлению большой мужественности, и он это докажет и доказал уже германскому народу. В нем было богатырское начало. Русские искания носят не душевный, а духовный характер. Всякий народ должен быть муже-женственным, в нем должно быть соединение двух начал. Верно, что в германском народе есть преобладание мужественного начала, но это скорее уродство, чем качество, и это до добра не доводит. Эти суждения имеют, конечно, ограничительное значение. В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное начало. Но верно, что германская и русская идеи противоположны. Германская идея есть идея господства, преобладания, могущества, русская же идея есть идея коммюнитарности и братства людей и народов. В Германии всегда был резкий дуализм между ее государством и милитаристическим и завоевательным духом и ее духовной культурой, огромной свободой ее мысли. Русские очень много получили от германской духовной культуры, особенно от ее великой философии, но германское государство есть исторический враг России. В самой германской мысли есть элемент, нам враждебный, особенно в Гегеле, в Ницше и, как это ни странно, в Марксе. Мы должны желать братских отношений с германским народом, который сотворил много великого, но при условии его отказа от воли к могуществу. Воле к могуществу и господству должна быть противопоставлена мужественная сила защиты. У русских моральное сознание очень отличается от морального сознания западных людей, это сознание более христианское. Русские моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не к отвлеченным началам собственности, государства, не к отвлеченному добру. У русских иное отношение к греху и преступлению, есть жалость к падшим, униженным, есть нелюбовь к величию. Русские менее семейственны, чем западные люди, но безмерно более коммюнитарны. Они ищут не столько организованного общества, сколько общности, общения, и они мало педагогичны. Русский парадокс заключается в том, что русский народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более коммюнитарен, более открыт для общения. Возможна мутация и резкие изменения под влиянием революции. Это возможно и в результате русской революции. Но Божий замысел о народе остается тот же, и дело усилив свободы человека — оставаться верным этому замыслу. Есть какая-то индетерминированность в жизни русского человека, которая мало понятна более рационально детерминированной жизни западного человека. Но эта индетерминированность оукрывает много возможностей. У русских нет таких делений, классификаций,

группировок по разным сферам, как у западных людей, есть большая цельность. Но это же создает и трудности, возможность смешений. Нужно помнить, что природа русского человека очень поляризованная. С одной стороны, сострадательность, жалостливость; с другой стороны, возможность жестокости; с одной стороны, любовь к свободе, с другой — склонность к рабству. У русских иное чувство земли и самая земля иная, чем у Запада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли. Русский народ по своей вечной идее не любит устройства этого земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдет. Для Нового Иерусалима необходима коммунальность, братство людей, и для этого необходимо еще пережить эпоху Духа Св., в которой будет новое откровение об обществе. В России это подготовлялось.

Примечания

¹ Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, профессор Московского университета; был председателем Московского психологического общества, первым редактором журнала «Вопросы философии и психологии».

² Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов) (1800—1857), архиепископ — богослов и проповедник.

³ См. прим. 12 к публикации IV—VII глав (Русская литература. 1990. № 3).

⁴ Унамуно Мигель де (1864—1936) — испанский философ и писатель. В его трактовке образ Дон Кихота есть подлинная реальность интраистории и в этом качестве — «душа Испании» и выражение национального мирозерцания. См.: *Унамуно М.* Назидательные новеллы. М.; Л., 1962; *Unamuno M.* Vida de Don Quijote у Sancho. Madrid, 1905.

⁵ Неточная цитата из «Обозрения русской словесности за 1829 год». Не вполне верно называть эту раннюю литературно-критическую работу Киреевского «программной философской статьей», как то делает Бердяев.

⁶ Мыслью, значит существую (лат.).

⁷ Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), князь — философ. Основные идеи «учения о соборном сознании» высказаны им в работе «О природе человеческого сознания» (*Трубецкой С. Н.* Собр. соч. М., 1908. Т. 2).

⁸ Теизм (в отличие от пантеизма и деизма) — тип религиозного мирозерцания, исходящий из понимания Абсолюта как бесконечной божественной личности, трансцендентной миру и одновременно проявляющей в мире свою свободную творческую активность. Теизм составляет основу авраамических религий (иудаизма, христианства, ислама) и развивается также в ряде течений религиозно-философской мысли, возникших в русле этих религий.

⁹ Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — философ, профессор Киевского университета; один из предшественников русского персонализма. Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ, профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии»; представитель русского персонализма.

¹⁰ Мен де Биран Мари Франсуа Пьер Гонтье (1766—1824) — французский философ-волюнтарист, политический деятель. Лотце Герман (1817—1881) — немецкий философ, естествоиспытатель, врач. Тейхмиллер (Тейхмюллер) Густав (1832—1888) — философ, развивавший идеи персонализма; профессор в Геттингене, Базеле, Дерпте.

¹¹ В 1867 году Ю. Ф. Самарин в предисловии ко второму тому сочинений Хомякова высказал мысль, что заслуги последнего, утверждавшего истины православия в борьбе с рационализмом в его «латинской» и «протестантской» формах, дают право называть его учителем Церкви.

¹² Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков) (1816—1882), митрополит — богослов, историк, духовный писатель, автор фундаментальной «Истории русской церкви», «Православно-догматического богословия» (Т. 1—5. СПб., 1849—1853).

¹³ С кафедрой (лат.); здесь официально.

¹⁴ Мелер Иоанн Адам (1796—1838) — католический богослов, профессор в Тюбингене.

¹⁵ См.: *Möhler J. A.* Die Einheit in der Kirche, oder das Princip des Katholicismus. Tübingen, 1843; *Wermeil E. J. A.* Möhler et l'école catholique de Tübingue 1815—1840. Paris, 1913.

¹⁶ Винэ Александр Родольф (1797—1847) — реформатский богослов, историк литературы, профессор в Базеле и Лозанне.

¹⁷ Пальмер Вильям (1811—1879) — англиканский архидиакон, богослов, археолог; был энергичным сторонником соединения англиканской церкви с православной, возможность чего обсуждалась в его переписке с Хомяковым.

¹⁸ Параклетизм — вера в продолжающееся раскрытие богооткровенной истины через действие Св. Духа. Параклет (Утешитель) — наименование третьего Лица Св. Троицы — Св. Духа, основывающееся на словах Христа в прощальной беседе с учениками (см.: Ин. 14, 16—17).

¹⁹ Теология натуральная («естественная теология») — логическое обоснование религиозной доктрины, развертывание учения о Боге в спекулятивных формах. Теология откровенная — совокупность непосредственно со-

общаемых Богом («откровенных») истин, данных в Св. Писании; исходя из них религиозное учение строится как интуитивно-мистическое богопознание.

²⁰ См.: Мочульский К. В. В. С. Соловьев. Париж, 1936; Трубецкой Е. Н. Мирозозерцание В. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1—2.

²¹ Трубецкие — Трубецкой С. Н. (см. выше прим. 7). Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), князь — философ, правовед, общественный деятель.

²² Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — философ, богослов, экономист, публицист, литератор.

²³ Антропософы — последователи антропософии, религиозно-окультистического учения о человеке, создававшегося в начале XX века Р. Штейнером (см. ниже прим. 94) и его адептами. Увлечение антропософией довольно широко распространилось в русских символистских и околосимволистских кругах.

²⁴ В «Философских началах цельного знания» Соловьев определяет свободную христианскую теософию («цельное знание») как гармоническое соединение теологии с философией и наукой. «Свободная теократия» («цельное общество») определяется так же как единый цельный организм, который образуется «духовным обществом или церковью в свободном внутреннем союзе с обществами политическими и экономическими». «Свободная теургия» — это «реализация человеком божественного начала во всей эмпирической, природной действительности, осуществление человеком божественных сил в самом реальном бытии природы» («Критика отвлеченных начал»).

²⁵ «Критика отвлеченных начал» — докторская диссертация В. С. Соловьева, защищенная в 1880 году, опубликованная в «Русском вестнике» (1877—1880) и вышедшая в Москве (1880) отдельным изданием.

²⁶ Т. е. тому, что говорится о сущем (его предикату, «бытийствованию» субъекта, сущего), придается статус действительности.

²⁷ См.: Соловьев В. С. 1) Критика отвлеченных начал. М., 1880; 2) Философские начала цельного знания // Журнал Министерства народного просвещения. 1877. № 3, 4, 6, 10, 11. См. также: Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988.

²⁸ См.: Бердяев Н. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация. Париж, 1947.

²⁹ Тарев Максим Матвеевич (1867—1934) — богослов, профессор Московской духовной академии, последний редактор «Богословского вестника». Его главный труд — «Основы христианства. Система религиозной мысли. В 5 томах» (2-е изд. Сергиев Посад, 1908—1911). Соловьеву посвящена специальная глава во втором разделе IV тома, откуда и взяты приведенные слова.

³⁰ Бердяев цитирует «Чтения о богочеловечестве» (чтение шестое). Нелишне все-таки напомнить здесь, что у Соловьева София неразрывна с Логосом; единство их осуществляет

в себе Христос как «цельный божественный организм».

³¹ Цитата из поэмы «Три свидания».

³² Стифы из стихотворения «Das Ewig-Weibliche».

³³ См.: Бердяев Н. Из этюдов о Я. Беме. Этюд II. Учение о Софии и андрогине Я. Беме и русские софиологические течения // Путь. 1930. № 21.

³⁴ Андрогинный — соединяющий в себе мужское и женское начала.

³⁵ Учение об андрогинах, мифических существах, в которых изначально были слиты свойства мужчины и женщины, излагается в диалоге Платона «Пир», прежде всего в речи Аристофана.

³⁶ Бердяев имеет в виду суждения Августина в сочинении «О граде Божием. К Марцеллину против язычников» (кн. 14, гл. XXI—XXVI).

³⁷ См.: Schriften Franz von Baaders, ausgewählt und herausgegeben von Max Pulver. Leipzig, 1921.

³⁸ Пророческий — пророческий.

³⁹ См. прим. 6 к публикации IV—VII глав (Русская литература. 1990. № 3).

⁴⁰ Интеркоммюнион — внутренняя общность, органическая сообщаемость внутренних, существенных сторон явления.

⁴¹ Кьеркегор (Кирхегард) Серен (1813—1855) — датский теолог, философ, предшественник экзистенциализма.

⁴² См.: Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4 т. 3-е изд. М.; Пг., 1922—1923.

⁴³ Более подробно эту тему Бердяев разрабатывал в статье «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании Л. Толстого» // Сборник второй. О религии Льва Толстого. М., 1912.

⁴⁴ Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Кириллов) (1724—1783), епископ — подвижник, духовный писатель. Нравственно-аскетическое учительство, религиозные настроения Тихона Задонского были глубоко пережиты Достоевским и получили яркое художественное отражение в «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых».

⁴⁵ Арндт Иоганн (1555—1621) — протестантский богослов и писатель. Наибольшую известность (в том числе и в России) имело его сочинение «Об истинном христианстве». Его пафос «сердечной веры» и внутреннего преобразования был близок Тихону Задонскому.

⁴⁶ См. прим. 5 к публикации глав IV—VII (Русская литература. 1990. № 3).

⁴⁷ См.: Бухарев А. М. (Архимандрит Феодор). Исследование Апокалипсиса. Сергиев Посад, 1916. Эта книга была подготовлена к печати и издана П. А. Флоренским, который видел в деятельности Бухарева «явление прогностическое в отношении современных религиозных исканий. Бердяев высказывает здесь пристрастное и несправедливое суждение о книге, в которой его раздражает не только стилевой консерватизм автора, но и сам способ религиозно-этического переживания Бу-

харевым эсхатологических мотивов «Откровения».

⁴⁸ См.: *Феодор, архимандрит*. О православии в отношении к современности. В разных статьях. СПб., 1860; *Бухарев А.* О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской. Собрание разных статей. М., 1865.

⁴⁹ См. выше прим. 2. Бердяев ссылается, вероятно, на издание товарищества М. О. Вольфа: *Иннокентий (Борисов), архиеп.* Сочинения: В 12 т. СПб.; М., 1901.

⁵⁰ Имеется в виду Филарет (Дроздов), митрополит Московский.

⁵¹ Феофан Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров), епископ — духовный писатель, автор аскетического сочинения «Путь ко спасению», «Писем о христианской жизни». «Добротолубие» («Филокалия») — свод извлечений из аскетических трудов Отцов восточной Церкви.

⁵² Болотов Василий Васильевич (1854—1900) — востоковед, историк церкви, профессор Петербургской духовной академии.

⁵³ См.: *Трубецкой С. Н.* Учение о Логосе в его истории. М., 1900.

⁵⁴ См.: *Несмелов В.* Догматическая система св. Григория Нисского. Казань, 1887.

⁵⁵ См.: *Бердяев Н.* Опыт философского оправдания христианства // Русская мысль. 1909. № 9.

⁵⁶ См.: *Несмелов В.* Наука о человеке: В 2 т. 2-е изд. Казань, 1906. Т. 2.

⁵⁷ См. прим. 10 к публикации IV—VII глав (Русская литература. 1990. № 3).

⁵⁸ См. прим. 11 к публикации IV—VII глав (Русская литература. 1990. № 3).

⁵⁹ Ричль Альбрехт (1822—1889) — протестантский богослов, профессор в Бонне и Геттингене.

⁶⁰ Эта оценка не соответствует содержанию и духу сочинений Феофана Затворника. В православной культуре Бердяеву всегда была ближе другая «струя антропологически-эсхатологическая, связанная с проблемой о человеке, о его предназначении в мире, о судьбе и оправданности культуры, о Царстве Божием», как он определял это в статье «О характере русской религиозной мысли XIX века» (Современные записки, кн. XLII. Париж, 1930. С. 330). Далее же всего он отстоял от «струи аскетическо-монашеской» (к которой относил и еп. Феофана), он мало вникал в аскетическую антропологию и метафизику; однако признавал, что «в этой струе есть и вечный для православия элемент аскетического очищения и внутреннего духовного делания» (Там же. С. 329). Но сам он вряд ли был способен к «трезвению сердца», к мистико-аскетическому просветлению. Прав Ст. Юрьев: мистическим даром, даром Св. Духа Бердяев не обладал (Русская мысль. Париж, 1990. 6 апр. С. 9) — в отличие от К. Леонтьева, например. Опыт, не перешедший интимно, остался чужд Бердяеву. Поэтому известной односторонностью отмечен его взгляд на нравственно-аскетическую традицию, на русское подвижничество (на Серафима Саровского, в частности), на старчество, о чем

свидетельствует VII глава «Смысла творчества» и более поздние суждения в «Самопознании».

⁶¹ Блуа Леон (1846—1917) — французский журналист, писатель, критик, мемуарист. См.: *Bloy L.* *Exégèse des lieux communs.* Paris, 1902.

⁶² См.: *Viatte A.* *Les sources occultes du romantisme, illuminisme — théosophie, 1770—1820.* Paris, 1928.

⁶³ См. прим. 46 к публикации I—III глав (Русская литература. 1990. № 2).

⁶⁴ Иоахим из Флориды (Калабрийский) (ок. 1132—1202) — итальянский монах, мыслитель-мистик, развивавший хилиастические идеи, за что осуждался католической церковью.

⁶⁵ Франциск Ассизский (Джованни Бернардоне) (1181 или 1182—1226) — итальянский религиозный деятель, основатель братства миноритов и францисканского ордена.

⁶⁶ Вейс (Вайсс) Альберт Мария (1844—1925) — католический богослов. Луази Альфред (1857—1940) — французский католический богослов.

⁶⁷ Хилиасты — приверженцы хилиазма, веры в наступление тысячелетнего царства Бога и праведников на земле, основывающейся на пророчестве Апокалипсиса о «первом воскресении» (Откр. 20, 4—7).

⁶⁸ Добролюбов Александр Михайлович (1876—1944) — поэт. Его богоискательство приняло форму своеобразного отшельничества; он странствовал в Олонечкой губернии, жил в Соловецком монастыре, затем основал в Поволжье секту «добролюбовцев».

⁶⁹ Экхардт (Экхарт) Иоганн (Мейстер Экхарт) (ок. 1260—1327) — немецкий философ-мистик, монах доминиканского ордена.

⁷⁰ Утверждая, что Зосима Достоевского чужд оптинскому иночеству, Бердяев почти дословно повторяет мнения К. Н. Леонтьева (см.: *Леонтьев К.* О Владимире Соловьеве и эстетике жизни. (По двум письмам). М., 1912. С. 29; Из переписки К. Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. № 4. С. 643, 650—651). Однако эти мнения во многом пристрастны и не находят фактического подтверждения.

⁷¹ Бенсон Роберт Хью (1871—1914) — английский католический писатель.

⁷² У Соловьева — профессор Эрнст Паули.

⁷³ См. прим. 13 к публикации IV—VII глав (Русская литература. 1990. № 3).

⁷⁴ См.: *Бердяев Н.* Религия воскресения // Русская мысль. 1915. № 7.

⁷⁵ См.: *Федоров Н. Ф.* Философия общего дела. Верный, 1906. Т. 1; М., 1913. Т. 2.

⁷⁶ См.: *Кожевников В. А.* Николай Федорович Федоров. М., 1908. Ч. 1.

⁷⁷ См. прим. 123 к публикации I—III глав (Русская литература. 1990. № 2).

⁷⁸ См.: *Cieszkowski A.* *Notre Père.* Paris, 1906. Т. 1.

⁷⁹ Откровение Откровения (фр.).

⁸⁰ Савелианство — еретическое антиринитарное учение, возникшее в III веке. Согласно ему, Лица Св. Троицы выступают лишь внешней формой обнаружения безличной бо-

жественной монады и имеют значение только в отношении к миру и только на определенное время.

⁸¹ Община Св. Духа (фр.).

⁸² См. выше прим. 18.

⁸³ Эон — «вечносущее»; здесь: новое совершенное бытие.

⁸⁴ Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, философ, публицист, общественный деятель; до 1900-х годов представитель легального марксизма, автор манифеста I съезда РСДРП и один из переводчиков «Капитала». Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ; испытывал влияние марксистских идей в пору учебы в Московском университете, высылался из России за пропаганду марксизма и составление антиправительственного памфлета.

⁸⁵ Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — государственный деятель, богослов; эмигрировал в 1919 году, был профессором Богословского института в Париже.

⁸⁶ Тернавцев Валентин Александрович (1866—1940) — государственный и церковный деятель, духовный писатель; в «Религиозно-философских собраниях» играл весьма заметную роль.

⁸⁷ Здесь: было принято, считалось хорошим тоном (фр.).

⁸⁸ Цитата из стихотворения Соловьева «Милый друг, иль ты не видишь...».

⁸⁹ См.: Белый А. Воспоминания о Блоке // Эпопея. М.; Берлин, 1922—1923. № 1—4.

⁹⁰ См.: Белый А. Символизм. М., 1910. Риккерт Генрих (1863—1936) — немецкий философ-неокантианец.

⁹¹ Цитата из стихотворения «Опять с вековой тоскою...» (цикл «На поле Куликовом»).

⁹² Момзен (Моммзен) Теодор (1817—1903) — немецкий историк античности, профессор Берлинского университета, где под его руководством В. И. Иванов работал над своей диссертацией.

⁹³ Собеседник (фр.).

⁹⁴ Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий теософ, мистик, основатель антропософии.

⁹⁵ Шестов Лев (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана) (1866—1938) — философ, литератор; с 1920 года жил в Париже.

⁹⁶ Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) (1760—1833) — иеромонах Саровской пустыни, «самый великий подвижник благочестия последних времен», по словам митрополита Филарета.

⁹⁷ Свентицкий (Свенцицкий) Валентин Павлович (1879—1931) — писатель, публицист. Вместе с В. Ф. Эрном в 1905 году возглавил «Христианское братство борьбы». Позднее принял священство, выступал как религиозный писатель. Эрн Владимир Францевич (1881—1917) — философ, деятель религиозно-церковного обновления. Взгляды его отчасти близки идеям христианского социализма; в революции 1905—1907 годов он видел признаки «религиозного ренессанса» в России.

⁹⁸ Соловьев Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, переводчик, критик; принадлежал к кругу младших символистов; по окончании духовной академии принял священство. Дурьлин Сергей Николаевич (1877—1954) — поэт, беллетрист, литературовед, искусствовед. Священство принял в 1917 году.

⁹⁹ См.: Русская мысль. 1914. № 1.

¹⁰⁰ С понятием «эпохэ» гуссерлианство связывало представление о так называемой феноменологической редукции, подразумевавшей отказ от всех нерелективных утверждений о бытии, от объективно-мыслительных форм, имеющих социально-идеологический статус, и возвращение к подлинности изначального опыта, поворот философского мышления от объекта к субъекту.

¹⁰¹ См.: Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму. СПб., 1903.

¹⁰² См.: Булгаков С. Н. 1) Агнец Божий. Париж, 1933; 2) Утешитель. Париж, 1936; 3) Невеста Агнца. Париж, 1945; 4) Свет невечерний. Созерцания и умозрения. Сергиев Посад, 1917.

¹⁰³ Понятие «панентеизм» характеризует отношение космоса к Богу и выражает ту идею, что универсум не тождествен Богу, но пребывает в Нем. Этим понятием пользовался и С. Л. Франк. Впервые ввел его в 1828 году немецкий философ Карл Христиан Фридрих Краузе (1781—1832), чтобы отграничить свое учение от натуралистического и материалистического пантеизма.

¹⁰⁴ Катафатический — относящийся к катафатическому богословию, которое ведет к познанию Бога через положительные утверждения о Нем. Апофатический — относящийся к апофатическому богословию, которое базируется на отрицательных утверждениях о Боге — как не имеющем атрибутов, не подлежащем определению, поскольку Он находится вне бытия и качественности.

¹⁰⁵ Томизм — философская система, созданная итальянским философом и богословом Фомай Аквинским (1225—1274) и развивавшаяся как важнейшее направление католической философии. Бартнианство — так называемая «диалектическая теология», создателем которой был Карл Барт, швейцарский философ и богослов, близкий к религиозному экзистенциализму. Как в томизме, так и в бартнианстве спасение рассматривается прежде всего в плане индивидуальной эсхатологии. У С. Н. Булгакова сотериологические представления складывались не без влияния идеи апокатастасиса — всеобщего восстановления первозданной чистоты и совершенства и конечного спасения. Присутствие этой идеи ощутимо в православной эсхатологии, и справедливо утверждение, что «русская религиозная совесть никогда не удовлетворялась зрелищем личного спасения одной индивидуальной души, она всегда была озабочена общим спасением. Все души связаны между собою, и ни одна не приходит к Богу без того, чтобы не увлечь за собою других» (Иоанн

(Кологривов). Очерки по истории русской святости. Брюссель, 1961. С. 11).

¹⁰⁶ См.: Бердяев Н. О назначении человека.

Опыт парадоксальной этики. Париж, 1931.

¹⁰⁷ Хайдеггер (Гейдеггер) Мартин (1889—1976) — немецкий философ. Отграничивать свой «экзистенциализм» от хайдеггеровского (до 1940-х годов) Бердяев имел то основание, что «картина существования» у Хайдеггера по преимуществу онтологична, а мысли Бердяева свойствен сугубый антропоцентризм. Экзистенциальный опыт для него всегда уникален и проистекает из свободы, которая первичнее бытия и творит бытие; и именно человек,

несущий свое «бремя свободы», конкретно ответствен за бытие, порученное ему Богом.

¹⁰⁸ Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, представитель интуитивизма.

¹⁰⁹ Плотин (204/205—269/270) — античный философ, основатель неоплатонизма. Николай Кузанский (Кребс) (1401—1464), кардинал — католический богослов и философ.

¹¹⁰ См.: Франк С. Л. Предмет знания. Пг., 1915.

¹¹¹ Гартман Николай (1882—1950) — немецкий философ, основоположник «критической онтологии».

¹¹² Здесь: мстительных чувств (фр.).

РУССКАЯ ИДЕЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ТЕМА

Бердяев, конечно, не единственный и далеко не первый, кто обратился к этой теме, понимая «русскую идею» как совокупность духовных мотивов национальной жизни и сверхнационального призвания. Он следует путями, которые уже освещены мыслью Чаадаева, Хомякова, И. Киреевского, Тютчева, Л. Толстого и особенно Достоевского. Он во многом соприкасается с В. Соловьевым. В 1888 году Соловьев прочитал в Париже лекцию под названием «Русская идея»,¹ где тема развевывалась в метафизическом плане и сами истоки «русской идеи» рассматривались как надьсторичные, трансцендентные. «Идея нации, — говорил Соловьев, — есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».² К тем же истокам восходит «русская идея» у Бердяева, как то провозглашается в начале его книги: «Меня будет интересовать. . . вопрос о том, что замыслил Творец о России». Однако далее возникает очень существенное расхождение с Соловьевым. Последний полагал, что «русская идея», миссия России состоит в восстановлении «социальной троицы», долженствующей быть «верным образом» Троицы божественной.³ Тем самым «русская идея» получала завершение в историческом времени, в граде земном. По Бердяеву, она осуществится вполне только в перспективе раскрывающегося и познаваемого замысла Творца, с наступлением эпохи Св. Духа; она открыта в эсхатологическое время и окончательно разрешится в Граде Небесном.

У Бердяева «русская идея» выясняется через движение мысли в России, через развитие национального самосознания. Здесь он также неодинок. Подобную задачу решал Г. Федотов, и весьма последовательно, при всей фрагментарности его выступлений.⁴ Но с чем бердяевская книга составляет самую тесную параллель — это «Пути русского богословия» Г. Флоровского.⁵ Хотя Бердяев всего три раза ссылается на этот труд (причем в двух случаях полемически), очевидно, что он постоянно имеет его в виду, перекликается с ним. Заметно стремление в иных важных пунктах скорректировать и метафизически углубить нарисованную Флоровским картину. Две эти книги — две различные экспликации «русской идеи», но замечательно, что обе выводят нас к одним мотивам русской жизни и культуры.

Бердяев берет громадный материал — от средневековья до 1920-х годов, от народного «религиозного инстинкта» до вершин теоретического и художественного творчества. Но совершенно исключительное значение для него имеет литература девятнадцатого века: тут сходятся все линии русской духовной активности, тут главные ее достижения. В 1904 году, когда обдумывалась и обосновывалась концепция «метафизического реализма», Бердяев был убежден, что именно в русской литературе «заложены глубочайшие философские и религиозные алканья и, может быть, задачей русской философии и публицистики является разработка мотивов русской литературы».⁶

Сам Бердяев чрезвычайно чуток к этим мотивам, к литературному выражению «русской идеи». Он отлично слышит их не только у Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Толстого, Достоевского — он находит «религиозно-философское зерно» у Г. Успенского, у Чехова «с его „Скушной историей“».⁷ Разработкой этих мотивов он

занимался, в сущности, всегда: в «Новом религиозном сознании и общественности» (1907), в «Философии свободы» (1911), «Смысле творчества» (1916), «Новом средневековье» (1924), «О назначении человека» (1931), не говоря уже о «Трагедии и обыденности», «Ставрогине», «Миросозерцании Достоевского».

Центральная идея русской литературы XIX века — идея человека; относительно этой идеи литература, с ее глубочайшими интуициями о человеке, представляет собой *целостный* творческий акт — при всех индивидуальных оттенках его, при всем многообразии моральных и эстетических решений. Цельность обуславливалась двумя обстоятельствами. Первое — переживание русским писателем кризиса новоевропейского гуманизма, деформации традиционных гуманистических идеалов, трагедии созданной гуманизмом личности. Второе — стремления преодолеть этот кризис все более сближались в общем русле христианской антропологии. В своей последней и высшей форме вопрос о человеке был вопрос о его отношении к Богу, вопрос о положении его между Творцом и тварным миром, вопрос о Богочеловечестве. Присутствие такого вопроса ощутимо повсюду в русской литературе.

Что составляет ее главную особенность — это радикальное, небывалое в секулярной культуре расширение антропологического объема. Человек русской литературы предстает в размерах ветхо- и новозаветного человека. Он изображается и в своей тварной, подзаконной природе, и в просветленной, благодатной. Литература знает человека внешнего и человека внутреннего — соответственно тому, как определял это Ап. Павел. За жизнью телесной раскрывается жизнь психическая, а за нею — другая обширнейшая область — область человека духовного. И обратившийся к ней Достоевский, замечает Бердяев, уже «более пневматолог, чем психолог, он ставит проблемы духа, и о проблемах духа написаны его романы».

О Гоголе Бердяев говорит в «Русской идее»: трагедия его была в том, «что он никогда не мог увидеть и изобразить человеческий образ», «образ Божий в человеке», что он «был наименее человеческим в самой человеческой из литератур».

Как окончательная характеристика это суждение может быть оспорено. Однако в нем есть проблема: содержание человека у Гоголя, антропологические прототипы его героев, которые ведь надо различать под социальной личиной последних. Почти ничего не значит сказать, что здесь общерусские или общечеловеческие типы.

Гоголь воссоздает тот человеческий пласт, постоянно возобновляющийся в истории, который выпадает из ветхозаветного порядка (отнюдь не прекратившегося с Боговоплощением и с распространением христианства), но не приходит к христианскому. В нем стертлось чувственное и знание ветхозаветного Бога, нет отношений к Нему, нет отчетливой оформленности Божией волей, карающей и милующей, воспитавшей ветхого Адама, создавшей выразительный облик личности и цивилизации. И у гоголевского человека нет подлинной формы; это не проработанная Богом до конца человеческая природа. Поэтому гоголевский человек ни в каком времени: он не в вечности, не в утопическом времени сатиры (как у Свифта), не в эпохе — он между временами.

Это пласт тех людей, что неприкаянно проходят по евангельским городам и дорогам. Они не узнали Христа, не изумились Ему, не последовали за Спасителем, хотя и не восстали на Него. Это будущие и всегдашние лаодикийцы. Это люди с распутий мира, где нашли их рабы царя и позвали на брачный пир, но они пришли не в брачной одежде. Когда царь спросил приведенного гостя, почему он не в брачной одежде, тот молчал. Это трагикомический момент. «Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званных, а мало избранных» (Мф. 22, 13—14). Это люди без слова, без духа, без лика. Они не сосуды греха, поскольку нет самого сосуда с печатью Творца на нем. Среди них нет Савла, но никогда из них не явится и Павел, как не явится и Иоанн. (Небезразлична к этому и гоголевская антропонимика.) Они — герои жанра, стоящего вне Писания, герои божественной интермедии, допускающей смех, но под ним — «плач и скрежет зубов».

Этот человеческий пласт составляет главное содержание гоголевской антропологии, он выступает в его героях. А они знаменуют ситуацию человека в XIX веке, разнообразно отразившуюся в нашей литературе: положение его между ветхозаветным и новозаветным мироотношением. Гоголь хотел преодолеть эту пустоту, усугубляющуюся «мерзость запустения» в человеке, преодолеть богооставленность, богосиротство человека. Из недр такого состояния, сквозь толщу обезбоженных наслоений, телесных, житейских, исторических наносов в человеке, непросветленных, лишенных Духа, Гоголь обращается ко Христу, ищет в этих слоях живой отклик (прежде всего морально-практический) на Слово и Истину. И в себе он ищет способности узнать Христа, увидеть Его в человеке, ищет истинного богопознания. В Гоголе этот процесс происходил трагически, и Бердяев правомерно применяет к нему гегелевское определение: «несчастное сознание». Движение творческого духа в Гоголе состоит в усилии захватить жизнь и подниматься с нею ввысь; это устремление псалмической «Песни восхождения», это страждущая интонация «Из глубины взываю к Тебе, Господи. . .».

Другой полюс в человеческом пространстве литературы, другая грань «русской идеи», как истолковывает ее Бердяев, — Богочеловечество. «Идея Богочеловечества, — говорит он, — означает преодоление самодостаточности человека в гуманизме и вместе с тем утверждение активности человека, высшего его достоинства, божественного в человеке. Понимание христианства как религии Богочеловечества радикально противоположно судебному пониманию отношений между Богом и человеком и судебной теории искупления, распространенной в богословии католическом и протестантском. Явление Богочеловека и грядущее явление Богочеловечества означают продолжение миротворения».

Но это также означает и выход за границы тварной природы человека и за пределы данного бытийного качества. Русское сознание внутренне ориентировано именно в таком направлении, хотя бы вопрос о конечных судьбах мира и человека не ставился теоретически средствами богословия и философии. Возникает устойчивая эсхатологическая устремленность, которой отмечены мысль, нравственное и эстетическое чувство на разных ступенях их развития, в разных общественных и культурных обстоятельствах. Она выражается не только в апокалиптических настроениях, захватывающих в известной части народное религиозное мироощущение и иногда глубоко проникающих в литературу. Она выражается и в русском максимализме — моральном, гносеологическом, эстетическом. Умом и воображением русский человек устремлен за пределы и наличного, и возможного в мире, он тяготеет как бы поверх мира к абсолютной истине, к абсолютному добру, к абсолютной красоте. Таков он в своем задании, подчас бессознательном, пусть это даже не оправдывается в исполнении. Но здесь важна интенция к абсолютному и конечному, она существенно характеризует и человека в литературе, и сам творческий акт.

Эсхатологическая ориентация выражается и в стремлении выйти из рамок истории, из установившихся границ культуры. «Русский народ, — пишет Бердяев, — есть народ конца, а не середины исторического процесса». Таков он «по своей метафизической природе и по своему призванию в мире», что определяет «структуру русского сознания». Корни этого — в православии, которое особенно сильно развивало эсхатологическую сторону христианства, и еще глубже — в первохристианстве, насквозь эсхатологичном.

(Кстати будет заметить, что по своему душевному и интеллектуальному складу сам Бердяев также человек «конца, а не середины». Он «искал выхода в эсхатологическом ожидании».⁸ В «Самопознании» он писал: «Меня всегда интересовало не исследование мира как он есть, меня интересовала судьба мира и моя судьба, интересовал конец вещей. Моя философия не научная, а пророческая и эсхатологическая по своей направленности».⁹)

Выход из истории — это русское странничество, один из самых заметных, рано осознанных и широко разработанных мотивов в нашей литературе. В ней-то прежде всего Бердяев и нашел культурный тип, бывший носителем русского странничества, — нашел

созданного Пушкиным «вечного скитальца земли русской, всечеловека с мятежным и тоскующим духом».¹⁰ Продолжением ряда стали скитальцы Достоевского, но есть и еще множество не столь крупных литературных воплощений данного типа.

Книжные скитальцы и реальные русские странники (литературность и жизнь в них почти неотделимы, это произведения «метафизического реализма») ставят под сомнение ценности истории, прогресса, культуры, и тут они на одной почве с аскетическим мироотречением и с нигилистическим разрушением. Потребность духовного странничества, аскетизм и нигилизм — три взаимосвязанные стороны русского сознания, которое не любит устройство града земного и на тех или иных путях ищет Града Небесного, Нового Иерусалима. Так это вырисовывается у Бердяева на нескольких наиболее ярких примерах. Однако столь важная для девятнадцатого века тема требует обстоятельной разработки в историко-литературном материале. Во многом иным предстанет тогда соотношение так называемых «дворянской» и «разночинской» линий в литературе, взаимодействие светской и аскетической культуры.

В своеобразном освещении предстает в «Русской идее» фигура Л. Толстого. Бердяев видит в нем полученный от православия сильный нравственно-аскетический элемент и как продолжение его — нигилизм в отношении к плодам цивилизации и к самим принципам ее, перерастающий в «религиозно-анархический бунт против неправды истории», против культуры и творчества. Неизбежно Толстой становится скитальцем. Его уход из дома перед смертью Бердяев истолковывает как уход эсхатологический. «Он был духовным странником, он хотел им сделаться во всей своей жизни, что ему не удавалось. Но странник устремлен к концу. Он хотел выхода из истории, из цивилизации в природную божественную жизнь. Это есть устремление к концу, к тысячелетнему царству».

В другом месте Бердяев дополняет философский портрет Толстого очень существенной чертой: Толстой «был теллургическим человеком, он нес в себе всю тяжесть земли», устремляясь в то же время за пределы царства земного. А в конце книги Бердяев скажет, что русскому сознанию вообще свойственно не отрывать от эсхатологических упований свою огромную землю, свойственно связывать ее с Новым Иерусалимом и верить, что она войдет в него.

Вера в конечное преобразование земли не столько хилиастическая мечта, сколько вера в общее, соборное спасение. Это характерно русское представление, что не может быть индивидуального спасения, как не может быть отъединенного от всех пути к Богу, к истине, к совершенству. Соборность — одна из главнейших религиозно-нравственных категорий, выработанных православным сознанием и ставших достоянием национальной культуры. Бердяев безусловно прав, когда утверждает, что «дух соборности присущ православию, и идея соборности, духовной коммюнитарности, есть русская идея». Вслед за Хомяковым он понимает соборность как «пребывание в общении и любви» и видит в ней особый тип миропознания: «Не я мыслю, мы мыслим, т. е. мыслит общение в любви, и не мысль доказывает мое существование, а воля и любовь». Личное начало здесь отнюдь не исчезает, но у личности бесконечно расширяется духовный опыт, проистекающий из соборной, церковной общности людей, и ход мысли, движение воли, переживание любви обогащаются и усиливаются этим опытом. Очевидно, что «дух соборности» в высшей степени свойствен русской литературе XIX века, что соборность — ее основополагающий гносеологический принцип, и это должно бы стать предметом серьезного историко-литературного исследования.

* * *

Бердяев был близок к нескольким философским традициям (в частности, к мистико-теософской традиции Я. Беме и Ф. Баадера), он испытал сильнейшие духовные влияния (Ницше, Соловьева), откликнулся на многие веяния в современной ему культуре. Но главный исток его мирозерцания — творчество Достоевского; отсюда идут самые

мощные импульсы, возбуждающие бердяевскую мысль. Говоря о «русской идее», Бердяев чаще всего говорит о Достоевском или имеет его в виду.

«С Достоевским я изначально имел глубокую связь», — признавался Бердяев.¹¹ Связь эта возникла еще в детстве; и впоследствии в жизни, в мировосприятии, в мышлении Бердяева слишком многое было пронизано Достоевским, горячо откликалось на него, подлежало, так сказать, ведению Достоевского, даже помимо прямых, осознанных влияний. Кризисные состояния жизни и культуры воспринимались Бердяевым преимущественно сквозь призму коллизий и образов Достоевского. Атмосферу его «надломов» и «надрывов» Бердяев рано нашел в своей семье, история которой могла бы составить эффектный эпизод в том же «Подростке». Эпоха болезненно задевала и неотвратимо расшатывала старый аристократический уклад их круга, некогда прочные родовые отношения, сами основы выработанного поколениями типа личности. Неустойчивость мира, катастрофичность хода событий, проблемность человеческого существования — все это не только вычитано у Достоевского, но и пережито Бердяевым как жизненная данность. Это вошло в его духовный опыт, и тем с большей готовностью он принимал идеологическое и художественное оформление этого опыта, найденное у Достоевского.

То, что у писателя было литературным воплощением самой трагической стороны «русской идеи» — духовного скитальчества, дошедшего до безмерной, смертельной жажды в Ставрогине, — то стало (на время, однако не столь уж краткое) частью натуры, темой жизни самого Бердяева. «Моим негативом был Ставрогин», — откровенно признавался он в автобиографии.¹² Он не только внешне напоминал героя «Бесов» (что страшно нравилось), но и внутренне тяготел к нему, сознавал культурно-психологическое родство с ним, культивировал в себе жизнеощущение, моральный строй, интеллектуальный склад ставрогинского типа (особенно в киевский период 1902—1903 годов, в своем неотразимо-обаятельном тогда положении «аристократа в революции»).

Ему стоило громадного труда в конце концов отделиться и отделаться (вполне ли?) от Ставрогина, преодолеть этот роковой для русской интеллигенции «соблазн». Но и отойдя от него, Бердяев, кажется, не избавился от двойственности в философском истолковании этого типа и вместе важного мотива русской духовной жизни. Он видит в Ставрогине «мировую трагедию истощения от безмерности, трагедию омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления».¹³ В то же время в ставрогинском отпадении от религиозных корней, от почвы он предполагает «огненную жажду нового откровения», в котором преодолется «старое христианское сознание» и раскроется подлинный смысл гибели Ставрогина. Бердяев все-таки не оставляет надежд на будущий «мессианский пир», где «безмерность желаний и стремлений должна быть насыщена и осуществлена в безмерности божественной жизни».¹⁴

На этом двусмысленном итоге явственны следы колебания Бердяева между трезвым религиозно-философским взглядом на исторический срыв гуманизма, на срыв «люциферического» духа и все тем же соблазном ставрогинского безмерного своеволия мысли и вселенских вождлений.

Проблема осталась нерешенной у Бердяева. Тем полезнее было бы с добытыми им результатами вернуться к Ставрогину, к связанным с ним художественным мотивам — как у Достоевского, так и в литературе вообще, расширив основание для иных решений.

Надо сказать, что Бердяев очень пристрастен к идеям. Энергию ума и метафизического воображения (последнее играет огромную роль в его философствовании), свой пламенный интеллектуальный темперамент он вносит в развитие излюбленных идей, доводя их до невероятного накала, до ослепительной яркости. Но при этом может совершенно не затрагиваться, оставаться неосвещенным и холодным лежащий рядом идейный материал. Больше того, он может получать искажающее освещение.

Такой оказалась участь некоторых сторон национальной государственности, исторического христианства, церковности. В православной культуре, например, Бердяев

выделяет наиболее импонирующую ему «антропологически-эсхатологическую струю» и разрабатывает почти исключительно с ней связанные аспекты «русской идеи». Он отличает и другие направления: «православный космизм», «струю аскетически-монашескую».¹⁵ Но о первом он едва упоминает и в работах 1910—1930-х годов, и в «Русской идее», а последнюю почти не продумывает, несмотря на ее колоссальное значение в русской религиозной жизни и в светской культуре. Его мнения об угасании подвижнических традиций, об омертвлении святоотеческой аскетики, о монофизитском уклоне в «аскетическо-монашеской струе» остаются на поверхности. Не проникает внутрь явления и резкая критика в адрес Феофана Затворника; она отдает запоздалым просветительским антиклерикализмом.¹⁶

В отношении Бердяева к Достоевскому также есть провалы — рядом с озаряющими взлетами и масштабными философскими обобщениями.

Еще в давней, 1918 года, статье «Откровение о человеке в творчестве Достоевского»¹⁷ Бердяев отбросил все, что было до «Записок из подполья», не включив тогда и не включая впоследствии (в том числе и в «Русской идее») этот «старый гуманизм» писателя в его «новую антропологию». Но в позднейших и высших художественно-философских итогах Достоевского не «переработано», а ценностно сохранено и очень весомо все, что было найдено в «Бедных людях», в «Двойнике», в «Записках из Мертвого дома», в «Селе Степанчикове» и т. д. Если учитывать это обстоятельство (а его нельзя не учитывать — иначе всякий крупный вывод о *всем* Достоевском окажется не только эстетически, но и философски и этически неполным), — если учитывать его, то ясно, что не могут быть приложены даже специально к одному или нескольким поздним произведениям такие излюбленные тогда Бердяевым характеристики, как дионисийство и экстазизм.¹⁸ Пусть и с оговоркой, что «в дионисийском экстазе и исступлении никогда у него [Достоевского] не исчезает человек, и в самой глубине экстазического опыта сохраняется образ человека, лик человеческий не растерзан, принцип человеческой индивидуальности остается до самого дна бытия».¹⁹ Точно так же сопротивляется поздний Достоевский (ибо в нем присутствует и активен Достоевский ранний и «средний») тому, чтобы его отношение к злу определять как гностическое²⁰ и видеть сущность его антропологизма в «гностических откровениях о человеке».²¹

В «Русской идее» таких определений нет. Но нет и восполнения образовавшихся пустот (не всюду бросающихся в глаза). Освободившись от прежнего оргиастически-дионисийского истолкования, тема стихийно-природного начала выпала из поля зрения Бердяева. А с ее отсутствием, неразработанностью вся «новая христианская антропология» оказывается обедненной. К тому же Бердяев и тут не учитывает того факта, что в человеке романов Достоевского живет человек его повестей.

Как в прежних работах, так и в «Русской идее» Бердяев относит к второстепенным и слабым персонажам образы Зосимы и Алеши. Они не возбуждают в нем серьезного религиозно-философского интереса. Причина — их связь с упомянутой выше «аскетически-монашеской» линией в православии. Бердяев многократно подчеркивает профетизм творчества Достоевского, выводящий его «за пределы исторического христианства» (которое представлялось Бердяеву ограниченным и требующим преодоления, выхода в грядущую эпоху Св. Духа). Но самые значительные, яркие профетические фигуры он словно не различает. Как вяло, без обычного энтузиазма толкует он о том, что Зосима — «пророчество о новом старчестве» (старчество так и не было понято Бердяевым), что Алеша — «пророчество о новом типе христианина»! Он не вникает в светоносную мистику их прозрений. А между тем «русский инок» Достоевского знаменовал реальной возможностью возрождения русской нравственно-аскетической традиции (которой Бердяев слишком мало сочувствовал). Он не только верно отражал — вопреки мнению К. Н. Леонтьева и ссылающегося на него Бердяева — расцвет оптинского подвижничества, но и действительно пророчествовал о грядущем подъеме православной церковности и культуры. Это пророчество было услышано и нашло живой, широкий отклик, в нем сильно прозвучала «русская идея». В. Розанов свидетельствовал, что «вся

Россия прочла „Братьев Карамазовых“ и изображению старца Зосимы поверила. От этого произошло два последствия. Авторитет монашества, слабый и неинтересный дотол (кроме специалистов), чрезвычайно поднялся. „Русский инок“ (термин Достоевского) появился как родной и как обаятельный образ в глазах всей России, даже неверующих ее частей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в следующем: иноки русские, из образованных, невольно поддались в сторону любви и ожидания. . . Если это не отвечало типу русского монашества XVIII—XIX веков (слова Леонтьева), то, может быть и даже наверное, отвечало типу монашества IV—IX веков».²²

Бердяев не увидел «русского инока». В аскете, в монахе, казалось ему, личность ограничена и подавлена. К таким немислимым для христианского философа аберрациям приводила его абсолютизация этического индивидуума, по поводу которой В. Н. Лосский заметил, что Бердяев «одержим „мракобесием свободы“».

Но и с подобными провалами Бердяев в своем восприятии и трактовке Достоевского — выдающееся явление, чрезвычайно много говорящее о художнике, о его литературно-общественном контексте, о «русской идее».

Про него можно сказать, что он вышел из «Легенды о Великом инквизиторе». Для Бердяева (и для многих современных ему мыслителей) она часто заслоняла другие стороны Достоевского и едва ли не заменяла Евангелие. Бердяев называет ее «богвдохновенной Легендой», в которой «сходятся все нити религиозного смысла истории и общности».²³

«В мое сердце вошел образ Христа „Легенды о Великом Инквизиторе“, — рассказывал Бердяев в «Самопознании», — я принял Христа „Легенды“. Христос остался для меня навсегда связанным со свободой духа. . . Отречение от бесконечной свободы духа было для меня отречением от Христа и от христианства, принятием соблазна Великого Инквизитора».²⁴

От метафизического обаяния Великого инквизитора, от говорящего в нем «страшного и умного духа, духа самоуничтожения и небытия»²⁵ Бердяев, кажется, никогда не мог освободиться; он истощал свой собственный дух в бесконечном яростном споре с ним. Он зачастую видел мир в том «ослепительном обратном свете, который падает от демонических слов Великого Инквизитора» и который «заключает в себе большее религиозное откровение и откровение христианское, чем поучения Зосимы, чем образ Алеши. Здесь нужно искать ключ к великим антропологическим откровениям Достоевского, к его положительной религиозной идее о человеке».²⁶

На всей бердяевской «философии свободы» лежит отсвет «Легенды» — или тень Великого инквизитора?

Но чрезвычайно ценно, что, пройдя через Достоевского, Бердяев вынес и утверждал затем чисто русскую идею о свободе как о долге, как о великом бремени. «Человек обязан нести бремя свободы, не имеет права сбросить с себя это бремя. Бог принимает только свободных, только свободные нужны ему. . . Достоевский ставит вопрос о христианской свободе на религиозную почву и дает невиданную еще по силе апологию свободы. По Достоевскому, человек должен вынести бремя свободы, чтобы спастись».²⁷ Но идея о свободе как долге и бремени остается оборванной, она не получает необходимого религиозно-метафизического завершения в аскетической практике, связь с которой у Бердяева отсутствует.

Двигаясь в данном русле, Бердяев пришел к снятию противоположения между свободой и благодатью, как это сформулировано им в последней книге «Царство Духа и Царство Кесаря» (над ее рукописью Бердяев скончался): «То, что называют благодатью, действует внутри человеческой свободы как ее просветление».²⁸ На этом пути могла бы быть более глубоко и верно разрешена давняя, еще в «Смысле творчества» рассматривавшаяся культурная антиномия гениальности и святости, противоположение Пушкина и Серафима Саровского. Но в «Русской идее» Бердяев не поднимал этой проблемы (хотя упоминал о ней в I главе и подчеркивал ее значительность). Разрешения ее в философском и историко-литературном плане предстоит искать нам.

Бердяев выявил главные интенции русского сознания и показал пронизанность ими духовной жизни, культуры девятнадцатого и нынешнего веков. Но между прочерченными им линиями и намеченными узлами остается нетронутым материал, в отношении которого выводы и «гениальные афоризмы» Бердяева должны быть проверены.

Было замечено недавно, что «Бердяев — прекрасный философ, но только для начального чтения».²⁹ Понимать нам это следует так, что результаты бердяевских размышлений о «русской идее» могут стать отправным пунктом для дальнейших содержательных экскурсов в русскую литературу нового времени.

Примечания

¹ В том же году она вышла на французском языке, а затем в русском переводе Г. А. Рачинского (см.: *Соловьев В. С.* Русская идея. М., 1911). Лекция заключала в себе главные положения тогда уже вчерне написанной книги «Россия и Вселенская церковь».

² *Соловьев В. С.* Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 220.

³ Там же. С. 246. Ср. соловьевскую концепцию «свободной теократии» как тройственного союза Церкви с политическим и экономическим обществом.

⁴ См.: *Федотов Г. П.* 1) Трагедия интеллигенции // Версты. 1926. № 2; 2) Святые Древней Руси (X—XVII вв.). Париж, 1931; 3) И есть и будет: Размышления о России и русской революции. Париж, 1932; 4) Стихи духовные: Русская народная вера по духовным стихам. Париж, 1935; 5) Письма о русской культуре. I. Русский человек // Русские записки. 1938. № 3. Ср. суждения Федотова о Бердяеве в статье «Бердяев-мыслитель». (Нью-Йорк, 1952).

⁵ *Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Paris, 1937.

⁶ *Бердяев Н.* Sub specie aeternitatis: Опыт философские, социальные и литературные. (1900—1906 гг.). СПб., 1907. С. 157.

⁷ Там же. С. 159.

⁸ *Бердяев Н. А.* Самопознание: (Опыт философской автобиографии) // Общественные науки. 1989. № 4. С. 221.

⁹ Там же. № 5. С. 227—228.

¹⁰ *Бердяев Н.* Sub specie aeternitatis. С. 158.

¹¹ *Бердяев Н. А.* Самопознание // Общественные науки. 1989. № 6. С. 232.

¹² Там же. 1989. № 3. С. 229.

¹³ *Бердяев Н.* Ставрогин // Русская мысль. 1914. № 5. С. 83 (2-я пагинация).

¹⁴ Там же. С. 88—89 (2-я пагинация).

¹⁵ *Бердяев Н.* О характере русской религиозной мысли XIX-го века // Современные записки. Кн. XLII. Париж, 1930. С. 329—330.

¹⁶ См.: *Бердяев Н. А.* Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989. С. 388, 398, 425, 560—561.

¹⁷ Русская мысль. 1918. Март—июнь. С. 39—61.

¹⁸ Там же. С. 45.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. С. 50.

²¹ Там же. С. 61.

²² Из переписки К. Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. № 4. С. 651.

²³ *Бердяев Н.* Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. L. Из «Легенды» Бердяев берет эпиграф к этой книге; «Великий Инквизитор» — первая ее глава, и собственно проблематика «Легенды» составляет основу всей работы.

²⁴ *Бердяев Н. А.* Самопознание // Общественные науки. 1990. № 1. С. 227.

²⁵ *Достоевский Ф. М.* Полное собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 229.

²⁶ *Бердяев Н.* Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Русская мысль. 1918. Март—июнь. С. 59.

²⁷ *Бердяев Н. А.* Философия свободы. С. 193.

²⁸ *Бердяев Н.* Судьба России. М., 1990. С. 282.

²⁹ *Юрьев Ст.* Бердяев и русская идея // Русская мысль (Париж). 1990. 6 апр. С. 9.

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ В. В. ПЕРХИНА)

О Д. П. Святополк-Мирском

Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890—1939) все еще известен у нас как Д. Мирский.¹ Между тем за двенадцать лет эмиграции (1920—1932) выдающийся русский критик опубликовал огромное количество статей в периодике русского зарубежья, а также в английских, немецких, французских, итальянских журналах (свободно владея семью европейскими языками, он не нуждался в переводчиках своих работ).² Все они подписаны полной фамилией.³

Только под московскими статьями 30-х годов появился своеобразный псевдоним Д. Мирский. Один из мемуаристов не без иронии и горечи заметил, что в Москве Святополк-Мирский «скромно стал просто Мирским».⁴ Добавим, стал вынужденно: не нужно было лишней раз напоминать о княжеском происхождении. Но это не помогло.

В 1935 году М. Горькому пришлось вступить за критика: «Д. Мирский разрешил себе появиться на землю от родителей-дворян, и этого было достаточно, чтобы на него закричали: как может он, виновный в неправильном рождении, критиковать книгу коммуниста?».⁵ Умер М. Горький, и защитников у критика не нашлось. Те, кто кричал, оказались сильнее. Они «топтали его ногами», записывал в дневнике К. И. Чуковский, они устроили ему «гражданскую казнь».⁶ Через год после смерти М. Горького он был арестован, выслан в Сибирь и скончался в одном из колымских лагерей (вероятно, в 1939 году).

Все литературное наследие Святополк-Мирского представляет неразрывное целое. Оно символизирует единство русской критики советской эпохи, единство, зависевшее и в то же время независимое от места появления статей — в Москве, Лондоне или Париже.⁷

Зарубежный период литературно-критической деятельности Святополк-Мирского начинался в Афинах, где бывший офицер оказался в августе 1920 года, бежав из концентрационного лагеря, куда попал после интернирования части деникинской армии польскими властями. Шесть военных лет, гибель друзей и брата настраивали на трагические размышления. Пришла пора мучительных духовных исканий.

В письме от 5 сентября 1920 года известному английскому писателю М. Берингу Святополк-Мирский сообщал, что он разочаровался и «в России с ее Распутиным, Керенским, большевиками и всеми остальными, а затем и в Европе с ее пресловутым Версальским договором, надувательством Вильсона, ничтожным трусом Ллойдом Джорджем и предателями Франции».⁸

В те дни одно не подвергалось отрицанию, одно оставалось неизменным — чувство Родины, которое он позднее назовет «патриотической тревогой». Святополк-Мирский постоянно возвращался к мысли о судьбах России. Правда, тогда он противопоставлял «России Ленина» «Россию Лескова», «Россию чернозема», которой и обещал быть всегда верным. Эта вера в народную Россию Лескова помогла ему сделать выбор среди множества направлений русской зарубежной общественной мысли. Его внимание привлекло, в частности, евразийское движение как проявление «юношеской жизненной силы», как свидетельство «жизнеспособности интеллектуальной России», — жизнеспособ-

собности, которая «выходит на свет даже с еще большим самоутверждением и самосознанием, чем когда-либо, несмотря на самые неблагоприятные условия ссылки и диаспоры».⁹

Евразийское движение возникло в 1920 году, когда Н. С. Трубецкой опубликовал в Софии книгу «Европа и человечество». Евразийцы ставили вопрос о месте России в современном мире. Н. С. Трубецкой отмечал, что западная цивилизация является всего лишь локальной и ни в чем, за исключением аспектов коммерческого и военного, не превосходит другие цивилизации. Сравнивая Россию и Запад, Святополк-Мирский тоже приходил к выводу, что на современном Западе нет имен равных А. Блоку и А. Белому, В. Розанову и Л. Шестову. «Когда мы читаем то, что считается независимыми и революционными произведениями в Англии или Франции или Германии, — писал Святополк-Мирский, — всегда кажется, что мы имеем дело с провинциальным (иногда прекрасным) приспособлением русского оригинала».¹⁰

Но было у Н. С. Трубецкого и его адептов такое, что Святополк-Мирский принять не мог. Он никогда не связывал духовность с религиозными исканиями, а евразийцы видели в христианстве краеугольный камень их движения. С этих позиций они осуждали цели Октябрьской революции, хотя и гордились ею «как одним из наиболее великих актов самоутверждения русского народа».¹¹ С последним Святополк-Мирский соглашался. Он разделял мнение своего друга П. П. Сувчинского: «Не принять революцию — не принять *своего*, назначенного, заслуженного — значит, не принять Россию прошлую и будущую».¹²

Оспорил Святополк-Мирский и мысль евразийцев о том, что миссия России — возглавить борьбу народов других цивилизаций против тирании Запада. Святополк-Мирский был убежден, что сознание национальных задач не должно оборачиваться недоверчивым или враждебным отношением к иностранцу как таковому. Если русский интеллигент утвердится на такой точке зрения, предостерегал критик, «наступит конец его великим гуманистическим традициям и непреодолимая пропасть навсегда отделит его от Европы. ...».¹³

Расхождения с ортодоксальным евразийством обострились во второй половине 20-х годов, когда Святополк-Мирский вместе с П. П. Сувчинским стал издавать журнал «Версты», а затем газету «Евразия» при участии Л. П. Карсавина. Основоположники евразийства продолжали настаивать, что основа движения — христианство, осуждали марксизм и искали подтверждений большей близости России к Востоку, чем к Западу. На страницах «Евразии» эти устои подвергались сомнению. В ответ «истинные» евразийцы обрушились на газету с обвинениями в расколе.¹⁴

Раскол стал фактом, когда выявились расхождения в крестьянском вопросе, который пионеры евразийства считали главным для России, и особенно в оценке коллективизации. Оппоненты упрекали «Евразию» в том, что она смотрит на коллективизацию сквозь призму советской официальной прессы.¹⁵ Они критиковали колхозное строительство с антисоциалистических позиций, протестуя против насилия над крестьянами. Святополк-Мирский в это время уже любую критику Советской страны воспринимал как враждебную пропаганду и одобрял политику «новой власти» по отношению к крестьянству.¹⁶

Эволюция взглядов Святополк-Мирского была обусловлена рядом факторов. Сам критик указывал на всеобщую британскую стачку 1926 года, которая обнаружила равнодушие капиталистов к судьбам рабочих, воздействие советской литературы, особенно романа А. Фадеева «Разгром», и знакомство с ленинскими работами в ходе написания книги о В. И. Ленине.¹⁷ Эта книга, завершенная в начале 1930 года, особенно ее главы о новой экономической политике,¹⁸ и данный Святополк-Мирским обзор философской дискуссии 1930—1931 годов¹⁹ показывают, что он в основном склонялся в освещении этих тем к официальной сталинской концепции, так же как и в оценке коллективизации.

На первый взгляд кажется, что дело только в том, что Святополк-Мирский просто стремился создать соответствующую репутацию, готовясь к возвращению на Родину. М. Горькому он прямо писал, что ждет выхода книги о Ленине, чтобы в Москву «явиться не с пустыми руками».²⁰

Но сама идея о возвращении на Родину была следствием изменений в политических взглядах. И осмысляя это изменение, нельзя пройти мимо влияния М. Горького на мировоззренческую эволюцию Святополк-Мирского.

Вспоминая о знакомстве с М. Горьким в Италии в 1928 году, критик подчеркивал, что оно «в значительной степени повлияло на меня».²¹ Это подтверждает уже первое письмо, отправленное Святополк-Мирским писателю из Лондона 2 февраля 1928 года: «...как будто бы я побывал не в Сорренто, а в России, и эта побывка в России меня страшно выпрямила. И нет, наверно, другого такого человека, который бы так носил в себе Россию, так, как Вы...».²² Любовь к России сразу сблизила писателя и критика. Создалась благоприятная почва для усвоения политических воззрений М. Горького, которые в то время видоизменялись в сторону сближения с официальной позицией советских руководителей, прежде всего в отношении к крестьянству и в решении вопроса о гуманизме. Об этом свидетельствуют его письма Н. И. Бухарину и И. В. Сталину,²³ а также переписка с Л. Авербахом.

Осенью 1928 года М. Горький писал Л. Авербаху: «...знаю, вижу, что действительность в главных своих качествах и тенденциях развивается по Марксу».²⁴ Это означало признание классовой борьбы как в условиях капиталистического общества, так и выдвинутого в том же году сталинского тезиса об обострении классовой борьбы в СССР. Это стало новой основой для поддержания давнего горьковского недоверия к крестьянству, которое «кое-где кушает пшеничный хлеб», в то время как «в городах не хватает пшеницы».²⁵ С этими взглядами гармонировали тогда же начавшиеся выступления М. Горького против «гуманизма» мещан, «меду» благополучия которых писатель противопоставлял «кровь» революционной борьбы.²⁶

Именно в этом направлении «выпрямил» Святополк-Мирского встреча с Горьким.

Но Святополк-Мирский испытывал и другое влияние — Л. П. Карсавина и П. П. Сувчинского, членов редколлегии «Евразии». Они поддерживали публикации, в которых обращалось внимание на то, что ленинские положения, приводимые в статье Н. Бухарина «Политическое завещание Ленина», «противоречат всем теперешним лозунгам и директивам»,²⁷ и осуждался лозунг обострения классовой борьбы как вредный экономически и бессмысленный политически.

Поэтому поворот в сторону политики сталинской администрации сопровождался оговорками и колебаниями. Особую озабоченность вызвали события 1931 года. Тут уже и авторитет Горького оказался бессилем. Репрессии и невиданные гонения на ученых и писателей вызвали смятение в душе Святополк-Мирского. Несмотря на то что он получил советское гражданство (июль 1931 года) и для него был заготовлен советский паспорт, он оттягивает возвращение на Родину (которого страстно желал). Более того, неожиданно прерывает переписку с Горьким на восемь месяцев. Только 10 июля 1932 года он решил объяснить, «почему пришлось отложить поездку на год». «Теперь я собираюсь поехать в Союз на житье...»²⁸ Что же изменилось?

Апрельское решение 1932 года о роспуске РАПП встретило одобрение в среде советских писателей, вселяло надежды на расширение свободы творчества. Поверив в это, Святополк-Мирский поехал в Москву...

Идейно-политическая эволюция сопровождалась видоизменением критического метода.

Эстетические взгляды Святополк-Мирского определились уже к 1906—1907 годам, когда его впервые увидел М. Беринг, позднее вспоминавший: «Осенью 1907 года я находился на юге России в доме человека, который сыграл не последнюю роль в русской политике (П. Д. Святополк-Мирский. — В. П.), когда сын моего хозяина, школьник 17 лет от роду, однако знакомый уже с литературой на семи языках, автор как английских, так и русских стихов, в запальчивости воскликнул: „Через 50 лет мы, русские, будем краснеть от стыда при мысли о том, что мы так глупо поклонялись Толстому, тогда как у нас в то же самое время был такой гений, как Достоевский...“».²⁹

В этом восклицании узнается интонация речей В. С. Соловьева,³⁰ которого и в середине 20-х годов Святополк-Мирский будет называть «великим философом».³¹ Критик, увлеченный евразийскими идеями, не мог не помнить, что Соловьев осмыслил взаимосвязь Востока и Запада, как и то, что Достоевский видел в русском человеке «всеевропейца».

В статьях начала 20-х годов Святополк-Мирский часто говорил о значении Достоевского для русской литературы и философии: почти все современные мыслители были «впервые вскормлены Достоевским»,³² со знанием дела писал о традициях великого романиста в творчестве А. Белого, З. Гиппиус, А. Ремизова, Ф. Сологуба.

Вслед за Достоевским критик будет внимателен к народным началам искусства, к его национальной характерности и гуманистической направленности. Это проявилось уже в первой рецензии — о стихах С. Городецкого «Ярь». Он приветствовал их за родство с национальной стариной, за то, что они выявили связь русского символизма «с русской почвой».³³

Первая публикация обнаружила зависимость от символистской критики. Он использовал импрессионистический метод передачи впечатлений от «странной и дикой, но мощной и красивой музыки» стихов Городецкого. Импрессионизм станет устойчивой приметой стиля Святополк-Мирского вплоть до 30-х годов.

Еще один важный признак эстетики Святополк-Мирского — апология «чистого искусства». В 10-е годы чисто эстетический подход к искусству разделяли участники многих литературных кружков Петербурга, завсегдатаем которых становится Святополк-Мирский. Это «Общество свободной эстетики», где он встречал В. Жирмунского и О. Мандельштама; «Ателье поэтов», где собирались акменсты во главе с Н. Гумилевым; «Академия поэтов», которой руководил Вяч. Иванов.

Вместе с тем Святополк-Мирский впитывал и другие принципы мышления. Университетские лекции А. А. Шахматова и И. А. Бодуэна де Куртэна настраивали на осмысление социальной функции звуков речи, пробуждали интерес к народным говорам. Сюда уходят корни внимания Святополк-Мирского к русской частушке.

Таким образом, еще в предреволюционное десятилетие Святополк-Мирский усвоил комплекс идей, ставших слагаемыми его критического метода. Долгие годы войн отодвинули продолжение литературной деятельности, более того, обусловили то, что она развернулась за границей. Но по своим истокам и по сути своей это была деятельность русского критика, озабоченного развитием русской литературы и расширением ее известности за рубежом. Не случайно жанр публикаций в «Лондонском Меркурии» (в этот журнал его рекомендовал М. Беринг) он определил четко — «Русское письмо», явно ориентируясь на традицию, идущую от Н. М. Карамзина, подхваченную в начале века А. Белым и М. Волошиным.

В 20-е годы Святополк-Мирский находил поддержку в беседах с такими знаменитостями, как Г. Честертон и М. Беринг, Н. Бердяев и А. Ремизов, Л. Шестов и М. Цветаева, Л. Карсавин и М. Горький. Понятно, почему первые статьи Святополк-Мирского, посвященные русским символистам, оказались не столько воспоминаниями о Серебряном веке русской поэзии, сколько серьезным ее осмыслением в связи с новым этапом истории и «пореволюционным национальным сознанием».

Святополк-Мирский полагал, что «пореволюционное национальное сознание» сохранило немало традиционных черт (носителем которых был и сам критик). Это патриотизм и гуманизм; это сострадание, о котором говорили Ф. М. Достоевский и В. С. Соловьев, понимая его как страдание вместе с другими, сочувствие другим в их бедах; это отношение к поэту, вслед за В. С. Соловьевым и А. А. Блоком, как к пророку.

Высокие критерии позволили увидеть, что Ахматова дала «выдающиеся создания», которые «касаются важных сторон жизни нации»,³⁴ что она создала после революции «лучшие образцы патриотической поэзии»,³⁵ а некоторые из ее ранних стихов оказались «пророческими». Святополк-Мирский подчеркивал ее гуманизм, умение сочувствовать

человеческим страданиям. «Всестороннюю и сильную человечность» критик отмечал также у Ремизова.³⁶ Вслед за Есениным он отрицал «механически-бездушное» в лике революции.³⁷ И напротив, для Святополк-Мирского был неприемлем антигуманизм А. Мариненгофа, заявившего, что он «с удовольствием бы распял Христа в чрезвычайке»,³⁸ равно как и антипатриотизм Д. Мережковского.

Изучение поэзии классической и «высших поэтов современности» привело Святополк-Мирского к выводу, что подлинный дар пророчества дается тому поэту, который сумел стать «чувствилищем народной души»,³⁹ который не закрывает сердце от «щемящей боли сострадания», который не только хорошо пишет, но и не отворачивается от той «трагедии, которая разыгрывается перед его глазами».⁴⁰

Традиционным Святополк-Мирский считал также стремление к философскому осмыслению событий. Он называл это качество «метафизикой», считал его «одной из составляющих современного русского сознания».⁴¹ И очень сожалел, что есть русские поэты, чья «философия в том, чтобы проклинать все философии». Он ценил поэтов, которые умеют насытить стихи мыслью, и поэзию, которую он называл «метафизической», — поэзию «глубоких философских откровений о Существовании Вещей»,⁴² «постигающую и обнимающую весь мир»,⁴³ поэзию классически отчетливой мысли. Ее истоки он видел, как и в 1907 году, у Баратынского и Тютчева. Воплощение этой стороны национального сознания он находил в творчестве М. Цветаевой и в некоторых стихах З. Гиппиус.

Святополк-Мирский остро понимал, что традиционное должно обогатиться новым историческим знанием, прежде всего трагическим опытом революции и гражданской войны. Не случайно поэтому он назвал есенинские «На Родине» и «Русь Советская» «памятными стихами нашего времени» и настойчиво подчеркивал, что надо ждать обретения голоса писателями нового поколения, «очищенными в огне многих чистилищ России».⁴⁴ Надежды критика оправдались. В творчестве Есенина, Леонова, Маяковского, Пастернака, Федина, Цветаевой «наше поколение», как говорил Святополк-Мирский, имея в виду и себя, действительно обрело голос.

Он разделял желание поэтов понять Россию «как единство „от князя Игоря до Ленина“».⁴⁵ Творчеству и жизненному поведению писателей в развитии пореволюционного сознания критик отводил важную роль. «Смерть Блока, — писал Святополк-Мирский, — глубоко проняла национальное сознание. Она объединила нацию, может быть, больше, чем всякое другое событие с самого семнадцатого года. . .»⁴⁶ Эту же цель — объединение нации — преследовал сам критик. «Издали мы лучше видим целое. . .» — говорилось в предисловии редакции к первому номеру журнала «Версты», основанного для поиска «обобщающих подходов к нынешней России и к русскому». «Мы не щепки в бурю, а клетки одного организма», — утверждал Святополк-Мирский в своих статьях.⁴⁷ Он рассматривал русскую литературу — и на Родине, и в зарубежье — как единую. Он очень сожалел, что политическое озлобление не позволяет некоторым критикам русского зарубежья «в „большевике“ расслышать человека». Поэтому Святополк-Мирский, как и в юные годы, отвергал политический критерий оценки: «нужно судить по литературным признакам».⁴⁸ Поэтому он осуждал политическую тенденциозность как советских, так и эмигрантских рецензентов: «бессмысленно» «подходить к литературе с политическими мерками (будь это «Красная новь», «Звезда» или Зинаида Николаевна Гиппиус)».⁴⁹

Чисто эстетический подход, которому Святополк-Мирский был верен до 1930 года, обязывал к тончайшему анализу литературной формы. Критик уделял большое внимание специфике литературного творчества. «Лирика Пушкина, — писал он, — композиция с определенным началом и концом, содержащаяся сама в себе вселенная, организованная по своим законам, законам эстетическим. . .»⁵⁰

Столь же чуток Святополк-Мирский и к архитектонике созданий современных писателей. Он оценил стих Цветаевой — «орудие постройки поэтических зданий» «из материала переживаний». Его восхищала «логичность постройки» «Дела Артамоновых». Достоинство романов А. Белого «Серебряный голубь» и «Петербург» критик

видел в том, что они «столь же крепко построены, как романы Достоевского и Бальзака. . .».⁵¹

Анализ композиции дополнялся характеристикой стиля — индивидуального и национального. Он различал стиль А. Белого («Монотонный анапестический ритм. . . внешнее выражение восприятия мира как непрерывного потока „роев“»); стиль А. Веселого (стиль «полифонического сказа», «быстрого, бодрого сказа», «широкого изобразительного размаха»⁵²); стиль Ю. Тынянова, обратившегося в «Смерти Вазир-Мухтара» к «использованию гоголевских приемов. . . в стремлении дать фигурам простые физические формулы».⁵³

Раскрытие индивидуального своеобразия писателей сочеталось с показом их общности в рамках русского национального стиля 20-х годов, характерным проявлением которого он считал связь со стихией устной народной поэзии, в особенности с «современной частушкой».

В 1933 году А. В. Луначарский писал: «Мы не искушены, что такое конструкция художественного произведения данного жанра, композиция отдельных частей, единство стиля и различные достоинства стиля».⁵⁴ Святополк-Мирский был в этом искушен и своей деятельностью в 30-е годы способствовал повороту советской критики к внутренним законам искусства.

Однако сохранив и приумножив мастерство эстетического анализа, Святополк-Мирский на несколько лет отказался от критериев гуманизма и национального своеобразия русской литературы. Такова была плата за добровольную прописку в системе рапповской критики. Путь Святополк-Мирского напоминает эволюцию Д. И. Писарева, у которого переход от аполитизма к политическому максимализму сопровождался заменой кодекса чисто эстетической критики принципами вульгарного материализма.

Но стараясь быть «своим» в непривычной системе мышления вульгарного псевдомарксизма, Святополк-Мирский никогда не шел до конца. Оправдывая «утилитарное искусство», он в то же время заявлял, что оно может быть только «благодатной почвой для второсортного искусства».⁵⁵ Предлагая оценивать такую литературу по новому критерию — «по той социальной тенденции, которую она дает», он тут же тревожился: «В свете последних событий вряд ли можно ожидать „великой литературы“ в Советском Союзе».⁵⁶

В этих беспокойных мыслях, сомнениях и эстетических поисках — корень того протеста, который прорвался в суждениях 1935 года о книге А. Фадеева «Последний из удэге». Получив в результате жесткий политический урок, Святополк-Мирский расстался с какими бы то ни было надеждами на «революционность» бывших рапповских вожakov, ставших костяком официальной критики. В 1936—1937 годах он развивает тезис о «трагическом гуманизме», а в книге о творчестве А. С. Пушкина обращается к осмыслению национального своеобразия русской литературы. Это возвращение к истокам означало, что сорокапятилетний критик начинал новый этап творческой эволюции, который не получил завершения. . .

Святополк-Мирский, которому в августе текущего года исполнилось бы сто лет, реализовал на практике девиз газеты «Евразия»: «Кто хочет быть субъектом истории, тот должен быть с Россней», принеся Родине богатое литературное наследие. Знакомство с зарубежной его частью только начинается.

¹ См.: *Мирский Д.* 1) Литературно-критические статьи / Вступ. ст. М. Я. Полякова. М., 1978; 2) Статьи о литературе / Вступ. ст. Н. Анастасьева. М., 1987.

² См.: *Lavroukine N., Tchertkov L. D. S. Mirsky. Profil critique et bibliographique.* Paris, 1980.

³ Лишь в Англии критик приближал написание фамилии к местной традиции, сокращая первую часть до инициала: S. Mirski, а ставя под короткими рецензиями криптоним D. S.-M., он разделял дефисом последние две буквы, указывая тем самым на двойную фамилию. Критик гордился древностью своего рода, его заслугами перед Отечеством. Об этом юношеское стихотворение «Наш род» (см.: *Святополк-Мирский Д.* Стихотворения. 1906—1910. СПб., 1911. С. 74). Я. Смеляков засвидетельствовал, что и в середине 30-х годов критик «о Рюриковичах рассуждал» (см.: *Новый мир.* 1987. № 9. С. 179).

- ⁴ Иванов-Разумник Р. В. Писательские судьбы. New York, 1951. С. 22.
- ⁵ Горький М. О литературе. М., 1935. С. 357. Речь шла о полемике вокруг романа А. Фадеева «Последний из удег».
- ⁶ Чуковский К. Из Дневников // Понск. 1989. № 13. С. 5.
- ⁷ Поэтому надуманным представляется мнение о «двух карьерах» критика на Западе: «непонятно, какая из половин русская, какая английская» (см.: *Lavroukine N. La carrière occidentale // Lavroukine N., Tchertkov L. D. S. Mirsky. Profil critique. . .* P. 14). Если следовать этой логике, то придется говорить о немецкой, о французской, об итальянской карьере.
- ⁸ Цит. по обстоятельной статье Н. Лаврухиной «Maurice Baring and D. S. Mirsky: A Literary Relationship» (*The Slavonic and East European Review*. 1984. V. 62. № 1. P. 27).
- ⁹ *S. Mirsky D. Russian Post-Revolutionary Nationalism // The Contemporary Review*. 1923. № 692. P. 198.
- ¹⁰ *S. Mirsky D. Two Aspects of Revolutionary Nationalism // Russian Life*. 1922. V. 1. № 5. P. 173.
- ¹¹ *S. Mirsky D. Russian Post-Revolutionary Nationalism*. P. 198.
- ¹² *Сувчинский П.* Предисловие // Блок А. Двенадцать. София, 1920. С. 12.
- ¹³ *S. Mirsky D. Two Aspects of Revolutionary Nationalism*. P. 174.
- ¹⁴ См.: Алексеев Н. Н., Ильин В. Н., Савицкий П. Н. О газете «Евразия». Париж, 1929. С. 3—4.
- ¹⁵ Там же. С. 8.
- ¹⁶ Святополк-Мирский Д. Социальная природа русской власти // Евразия. 1929. 30 марта. С. 3.
- ¹⁷ См.: *S. Mirsky D. Why I Became A Marxist // Daily Worker*. 1931. 30 June. P. 2.
- ¹⁸ См.: *S. Mirsky D. Lenin*. London, 1931. P. 173—214.
- ¹⁹ См.: *S. Mirsky D. The Philosophical Discussion in the C.P.S.U. in 1930—31 // Laboir Monthly*. 1931. V. 13. № 10. P. 650—651.
- ²⁰ Из письма М. Горькому от 30 декабря 1930 года // Архив Горького. КГ-П51.-9.-2.
- ²¹ *S. Mirsky D. Why I Became A Marxist*. P. 2.
- ²² Архив Горького. КГ-П51.-9.-1.
- ²³ См.: Изв. ЦК КПСС. 1989. № 1. С. 246—247; № 3. С. 181—187; № 7. С. 215—218.
- ²⁴ Архив Горького. ПГ-РЛ1.-38.-11.
- ²⁵ Там же.
- ²⁶ Там же. Эта антитеза была сформулирована в отзыве о романе Н. И. Колоколова «Мед и кровь». Следует отметить определенную близость горьковской антитезы той, которую выдвинул рапповские критики, отрицающая повесть Ив. Катаева: нам нужно не «молоко» гуманизма, а кровь классовой борьбы (см.: *Серебрянский М.* Эпоха и ее «ровесники» // На литературном посту. 1930. № 5—6. С. 22).
- ²⁷ [Б. п.] «Ленинизм» как оппозиция // Евразия. 1929. 9 февр. С. 3.
- ²⁸ Архив Горького. КГ-П51.-9.-13.
- ²⁹ Беринг М. Вехи русской литературы. М., 1913. С. 74—75.
- ³⁰ См.: Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 290.
- ³¹ Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака / Сост. кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1924. С. 192.
- ³² *S. Mirski D. Russian Literature since 1917 // The Contemporary Review*. 1922. № 680. P. 206. Вскоре он вспомнит о статьях Достоевского, которые «гениальны» (*Русская лирика. . .* С. 170).
- ³³ Д. Петрович [Д. Святополк-Мирский]. «Ярь» С. Городецкого // Звенья. 1907. № 2. С. 44.
- ³⁴ *S. Mirsky D. Chetki. . . // The Slavonic Review*. 1923. V. 1. № 3. P. 691.
- ³⁵ *S. Mirski D. A Russian Letter. Recent Developments in Poetry // The London Mercury*. 1921. № 22. P. 416.
- ³⁶ *S. Mirski D. Russian Literature since 1917*. P. 208.
- ³⁷ Святополк-Мирский Д. Есенин // Воля России. 1926. № 5. С. 78.
- ³⁸ *S. Mirski D. A Russian Letter. Recent Developments in Poetry*. P. 417.
- ³⁹ Святополк-Мирский Д. Поэты и Россия // Версты. 1926. № 1. С. 143.
- ⁴⁰ *S. Mirski D. A Russian Letter. Recent Developments in Poetry*. P. 417.
- ⁴¹ *Ibid.* P. 414.
- ⁴² Святополк-Мирский Д. Джордж Сейнтсбери // Дни. 1925. 25 дек.
- ⁴³ Святополк-Мирский Д. Валерий Яковлевич Брюсов // Современные записки. 1924. Т. 24. С. 421.
- ⁴⁴ *S. Mirski D. A Russian Letter. Recent Developments in Poetry*. P. 418.
- ⁴⁵ Святополк-Мирский Д. Поэты и Россия. С. 146.
- ⁴⁶ Святополк-Мирский Д. Валерий Яковлевич Брюсов. С. 414.
- ⁴⁷ Святополк-Мирский Д. О консерватизме // Благонамеренный. 1926. № 2. С. 89. Уместно отметить, что сходное решение проблемы «человек и история» выдвигал в 30-е годы Л. М. Леонов в повести «Evgenia Ivanovna».
- ⁴⁸ Святополк-Мирский Д. О нынешнем состоянии русской литературы // Там же. № 1. С. 91.
- ⁴⁹ Там же. С. 95.
- ⁵⁰ *S. Mirski D. Pushkin*. London, 1926. P. 96.
- ⁵¹ Святополк-Мирский Д. Критические заметки // Версты. 1927. № 2. С. 258.

⁵² Там же. С. 256, 258, 259.

⁵³ *Святополк-Мирский Д.* Роман Ю. Тынянова о Грибоедове // Евразия. 1929. 16 февр. С. 7.

⁵⁴ *Луначарский А. В.* Собр. соч. М., 1967. Т. 8. С. 549.

⁵⁵ *S. Mirski D.* Books and Films in Russia // The Yale Review. 1931. V. 20. № 3. P. 487.

⁵⁶ Там же. «Последние события» — это названные выше события 1931 года, которые заставили критика повременить с возвращением на Родину.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 ГОДА ¹

Первый вопрос, который скорее всего может быть поставлен относительно современного положения литературы: как может быть возможна какая-либо литературная деятельность в стране, где всякая матерьяльная цивилизация исчезла или исчезает и где жизнь сведена к уровню, напоминающему каменный век?² Ответ на этот вопрос таков, что человеческий дух не так уж и определяется матерьяльными условиями, как об этом говорит официальная марксистская доктрина современных правителей России и что божественное пламя Прометея не покинуло его даже в цепях и под пятой орла.

Это правда, что невыносимые условия, в которые была поставлена русская интеллигенция революцией, не могли не отразиться в судьбах литераторов. Они сломали многих великих — среди величайших прозаиков Розанова (умер в 1919); Александра Блока, величайшего из поэтов после его великого и последнего усилия (умер в 1921 году); стоит назвать также менее великого человека (хотя лучше известного за границей) Леонида Андреева (умер в 1919 году). Гумилев, глава школы молодых петербургских поэтов, был расстрелян Чека в августе 1921 года. Андрей Белый и Ремизов, после того как их продержали в течение четырех лет, несмотря на их относительно благоприятное положение в глазах советских властей, пересекли границу. Многие из более старших и более антибольшевистски настроенных писателей сделали то же самое задолго до них. Случаи морального упадка под влиянием невыносимых условий жизни тоже определенно имели место. Самым ярким, пожалуй, является пример Зинанды Гиппиус (миссис Мережковская), чей Петербургский дневник, хотя и написанный с ее обычной силой, живостью и остроумием, свидетельствует о странном отклонении от моральных норм и определенной моральной безвкусице, что может быть объяснено лишь разлагающей атмосферой голода и животного страха, созданного большевиками.³ Но все же, несмотря на все это, мы можем утверждать, что русская литература — а вместе с ней и душа русской нации — выдержала испытания, пройдя через все муки. Неукротимая свобода и мужество человеческой души победно вышли из чистилища очищенными его огнем. Снова душа нации

В искушеньях долгой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепла. . . Так тяжкий млат
Дробля стекло, кует булат.⁴

Для любителя великих русских писателей 19 века русская литература сегодняшнего дня (понимая под сегодняшним днем 15 — 18 лет со времени смерти Чехова) предстает во многом неизвестной областью. Великие писатели середины и конца 19 века выражали себя почти исключительно в художественной прозе; писатели сегодняшнего дня — большей частью поэты, а если прозаики, то они так или иначе вторгаются в область поэзии, как, например, Ремизов и Андрей Белый, или во всяком случае имеют в своем творчестве вполне уловимый оттенок поэзии, как у Розанова. Великие писатели былых дней подкупали открытой простотой и во многих случаях отказывались пользоваться языком для каких-либо целей, кроме целей более ясно выражения их мысли. Современная литература всегда осознанно, а часто болезненно артистична. Вся русская поэзия и большая часть русской прозы испытала глубоко идущее влияние символистского

движения 90-х годов и сохраняет некоторые черты, особенно неприятные для читателя филистерского склада, — сложную и метафизическую (в том смысле, когда это слово относится к поэзии Донна и Крэшоу⁵) манеру выражения, а иногда чрезмерно ревностный поиск собственной оригинальности. И все же связи между литературой сегодняшнего дня и литературой 19 века весьма очевидны. Метафизический стиль поэтов может быть прослежен до Баратынского, Тютчева и Фета, а вполне возможно до Верлена и Бодлера. Постоянные (и часто удачные) попытки Розанова и Белого выразить невыразимые движения подсознательного прямо наследуют психологические тонкости Наташи Толстого. Лирическая риторика Ремизова и Белого восходит непосредственно к Гоголю, а их отчаянная любовь к причудливым, фантастическим и гротескным аспектам русской жизни определенно предначертана Лесковым и снова Гоголем. Даже Некрасов, в сущности воплощающий Россию середины 19 века, вновь оживает, возрожденный народнической поэзией Белого и молодых поэтов. Но если определять отца нынешней литературы в целом, это определено Достоевский — почти все современные мыслители и критики жизни были впервые вскормлены Достоевским. Самый оригинальный из них Лев Шестов всю свою жизнь был лишь толкователем и объяснителем Достоевского. Мало кто из русских поэтов и мыслителей не чувствовал бы себя на месте на страницах Достоевского — Блок определенно бы занял свое место между Ставрогиным, Рогожиным и Карамазовыми.

Как правило, многое, что является жизненно важным и интересным в современной русской литературе, остается совершенно неизвестным за границей (может быть, за исключением Германии, которая быстро становится культурной провинцией России⁶). Мережковский и Горький для иностранца все еще являются *degnier cri*⁷ русской литературы. Для нас они далекое прошлое, в большей степени невозвратное, чем Пушкин, Достоевский или Толстой, который, вечно молодой, всегда сопровождает нас в нашем путешествии через время. Сейчас оба, Горький и Мережковский, ни в коей мере не являются незначительными авторами, оба они сохраняют свое место среди второстепенной классики — Горький благодаря таким мощным произведениям, как «Фома Гордеев» и некоторым ранним рассказам; Мережковский благодаря такому шедевру критики, как «Толстой и Достоевский». Но для живой литературы они почти мертвы. Горький, правда, все еще привлекает наше внимание своими политическими (это не совсем точное определение) статьями — циничными, резкими, необычайно яркими, но ужасно искажающими русскую реальность.⁸ Мережковский впал в состояние постоянной истерии и больше никому не интересен, кроме специалистов по нервным расстройствам.⁹ Вряд ли что-либо интересное можно найти и среди эмиграции, хотя она включает такие известные имена, как Куприн, Алексей Толстой, Бунин — в основном романистов и авторов рассказов. Толстой, который к счастью или несчастью носит то же самое имя, что и два других писателя, из которых даже менее значительный более велик, чем он, в настоящее время является наиболее удачливым из русских романистов. У него приятная манера и способность лепить персонажи, которая напоминает великих романистов 19 века. Но он безнадежно вульгарен, лишен вкуса и в лучшем случае является прославленным журналистом.¹⁰ Гораздо большего уважения заслуживает Бунин — этот русский Флобер в миниатюре, но, несмотря на все его совершенства и силу его рассказов (лучший из них «Господин из Сан-Франциско» недавно перевели на французский язык), он окружает их такой толстой стеной сдержанности и (пожалуй, я скажу) скуки, что возможные достоинства, скрывающиеся за этой стеной, вряд ли соблазнят читателя прорываться сквозь нее.¹¹

Подлинный царствующий принц русского художественного слова — Алексей Ремизов, родившийся в 1875 году, опубликовавший свои первые работы в 1905 году и уехавший из Петербурга в Берлин осенью 1921 года, за исключением короткой (относительно совсем информативной) заметки доктора Гарольда Уильямса в его книге «Россия русских»,¹² никогда больше, насколько я знаю, не упоминался в этой стране. Он недавно опубликовал (в издательстве Ревеля «Библиофил», Эстония) книгу коротких рассказов,

написанную в Петербурге между 1917—1921 годами, под названием «Шумы города». Книга весьма адекватно отражает искусство Ремизова. Он последователь Гоголя, Лескова и Достоевского, но в значительной степени испытал влияние современного стиля и способа выражения. Его стиль очень тщательный, а диапазон необычайно широк — от полетов тончайшего и в высшей степени амбициозного красноречия до сильной выразительности речи людей из народа и славных восторгов сущей чепухой. Его вокабулярий, я думаю, самый богатый в русской литературе. Но что делает его больше, чем простым творцом слов и рассказов, это его всесторонняя и сильная человечность. В этом он подлинный ученик Достоевского. Он преуспевает в выражении внутреннего человеческого достоинства и самых низких из людей, которых он представляет во всей красоте их отвращения с неподражаемым юмором, одновременно капризным и едким, а затем вдруг сталкивает их лицом к лицу с величайшими жизненными испытаниями (как, например, тюремщик, неожиданно обнаруживающий своего собственного брата в тюрьме)¹³ и, кроме того, со смертью. Постоянное знакомство со смертью одна из наиболее постоянных и характерных черт современной русской литературы.

Ремизов почти один в художественной прозе, которая сейчас в значительной мере выродилась и стала декадентской. Среди молодого поколения только Замятин достоин упоминания. Это очень сильный, возможно, даже могучий мастер реалистического выражения. Его стиль значительно менее богат и обилён, чем стиль Ремизова, но он обладает полнотой и силой, которые делают его рассказы необычайно убедительными и проникновенными. Очень сильный образец его искусства недавно появился в пятом номере петербургского издания «Записок мечтателей». Это страшная, безжалостная картина скованной морозом жизни советского Петербурга, история деградации и нищеты людей, одержимых единственной идеей — добычи пищи и топлива.¹⁴ Это кристаллизованный кошмар, слегка напоминающий По, с той лишь небольшой разницей, что кошмар Замятина предельно правдив.*

Как я уже сказал, самым главным разделом современной русской литературы является поэзия, а величайшим именем среди наших поэтов XX века является имя Александра Блока. Он родился в 1880 году в Санкт-Петербурге, а умер в 1921 году от цинги в том же самом городе Петербурге (каковым сейчас является его официальное название после кратковременного и бесславного Петроград). Я только что получил новую берлинскую перепечатку третьего тома его избранных стихов и мне очень трудно говорить в каких-либо умеренных тонах о блестящем гении этого необычайного поэта. Потому что Блок был действительно падшим ангелом, как убедительно показал в недавно опубликованной содержательной монографии К. Чуковский (наш лучший из ныне живущих критиков).¹⁵ Блок принадлежал другому времени, — времени, когда более великая раса поэтов ходила по земле, — брат Шелли, Шиллера, Байрона, Кольриджа, Гейне. Даже в его внешности было что-то от Шиллера или Байрона, так как он являл собой (как отметил недавно один остроумный журналист) очень необычное зрелище — поэта, который выглядел поэтом. Самое подходящее сравнение было бы, вероятно, с Гейне. Но у Блока было мало остроумия Гейне и совсем не было его сентиментальности; с другой стороны, он обладал гораздо более мощным песенным талантом и был гораздо более немилосердным и чистым гением отчаяния. Представьте трагически бесстыдный пессимизм «Кандиды»,¹⁶ облеченный в обильное ритмическое богатство «Кубла-хана»,¹⁷ и вы получите очень искаженное представление о наиболее характерных частях третьего тома Блока. Этот том содержит его творчество с 1908 по 1916 год. После этого года Блок написал только одну поэму (январь 1918-го), но это — «Двенадцать». Она была переведена на английский язык ** и, как следовало ожидать, не смогла привлечь

* Совсем недавно в Петербурге появились некоторые произведения, которые кажутся возрождением художественной прозы. Они написаны совсем молодыми авторами, среди которых особо многообещающими представляются Михаил Зошенко и Всеволод Иванов.

** Мистером Бичофером (Chatto and Windus, 1920). Есть много изданий этой поэмы.

английского читателя. Не привлечет она его до тех пор, пока он не изучит русский язык и не узнает Россию. Потому что эта поэма — вершина всего богатства русских выразительных средств и русской музыки слова. Она также является квинтэссенцией всего, что в высшей степени национально. Любое описание или резюме этого произведения было бы не более чем нелепой карикатурой на него. Но если бы я был поставлен перед выбором между «Двенадцатью» и всей остальной русской литературой, я бы задумался. Баланс довольно равный. Ее язык, может быть, покажется выпендренным и, может быть, он таков и есть, но поэзия, как вино, и когда человек находится под освежающим влиянием (а оно длится уже вот около двенадцати лет) такого сильного и ударяющего в голову напитка, вряд ли от него можно ожидать полного сохранения благоразумия.

Несомненно, лучшие из других поэтов расположены от Блока, как на трапе, спускаемся вниз. Они очень многочисленны и за редким исключением остались в России. Андрей Белый один приехал в Берлин в конце 1922 года.¹⁸ Но он никогда не отождествлял себя с эмиграцией. Это, конечно, ни в коем случае не означает, что вся русская поэзия пробольшевистская. Ни в коем случае! Но ведь именно у поэтов новый дух выходит на поверхность. Дух, который находит свое выражение в строках самых различных поэтов. Именно определенное очищение и возвышение духа поднимает их над бранными и, возможно, иллюзорными противоречиями нашего времени. Именно это Андрей Белый имеет в виду, когда он говорит о существовании культуры в России, культуры, которая была лицом к лицу с могилой и со смертью, но не была напугана могилой. . . Это культура вечности, снизошедшей на Россию. Поэтому русский поэт нынешнего дня может почти ежедневно повторять слова Вогана: «Как-то вечером увидел я вечность».¹⁹ Эта же исключительная оценка чисто духовных ценностей подвигнула Максимилиана Волошина на его проникновенные и забываемые строки к России, княжне, «которая отдалась грабителю и вору, подожгла свои поля и усадьбы, разрушила свой старинный дом и пошла прочь презренная и нищая, рабыня самого подлого раба». Но, продолжает поэт, «разве я осмелюсь бросить в тебя камень, разве я не пойму твоего страстного и жгучего огня, разве я не паду перед тобой лицом в грязь, благословляя следы твоих босых ног, ты, бездомная, пьяная, бесправная Россия — ты, юродивая во Христе».²⁰ Или вернемся к строфе, в которой тот же самый поэт в более классической струе сравнивает кризис России с темными веками Рима, когда мирская власть императоров наконец пала, но только для того, чтобы уступить место новой власти пап.

Эти два поэта являются крупнейшими среди поэтов старшего поколения.²¹ Среди молодых много таких, которые далеки от того, чтобы обладать благородной возвышенностью такой поэзии. Некоторые из них, как, например, футуристы, признавали себя служащими делу коммунизма и писали сатиры и гимны существующему строю, которые были опубликованы Госиздатом и оплачивались построчно. Эти и другие, главным образом в Москве, соревнуются в оригинальности ради ее самой, увлекаясь эксцентрической метафорой и пышной гиперболой. В конечном счете они достигают того, что они утомительно похожи друг на друга в их заданной наперед оригинальности.

Петербургская школа гораздо более целомудренна и значительно более приятна. Ее крупный лидер Гумилев был расстрелян большевиками в 1921 году. Тогда, когда он был на грани превращения из романтика, подобного Теофилю Готье, в настоящего значительного поэта с мужественной силой. Однако значительнейшей и намного превосходящей всех этих поэтов (за исключением Блока) является Анна Ахматова, поэтесса, сочетающая в себе все лучшие черты петербургской школы, а также все лучшие черты женской поэзии в целом, поскольку ее поэзия лишена каких-либо недостатков этого рода. Она проста, искренна, страстна, прямодушна и является тонким мастером стиха, полного сосредоточенной, выразительной силы. Она имела в перспективе конкурента (все же не очень опасного) в лице Анны Радловой, которую следует отметить хотя бы за то, что она дала лучшее выражение всей этой эпохи в следующих строчках:

Нагая смерть гуляла без стыда,
И разучились улыбаться дети.

И мы узнали меру всех вещей,
И стала смерть единственным мерилом.²²

Возможно, ни у какого другого поэта новая разряженная атмосфера русской поэзии не является столь ощутимой, как у представителя старшего поколения Вячеслава Иванова. Он был в определенной степени ученым и утонченным поэтом с большим вкусом, но узкой популярностью. Сейчас в его «Зимних сонетах» (1920) он проявляется в совершенно ином аспекте. Это проявления чистой и возвышенной души, столкнувшейся с примитивными страданиями голода и холода. Они необычны по своей духовной простоте (не всегда по простоте выражения) и мужественному достоинству страдания. Это продукция, которой по праву может гордиться русская литература.*

Кажется, теперь в Советской России улучшаются условия в отношении экономического статуса литераторов. Зима 1921—22 годов явилась свидетелем огромного подъема в издательском деле. Периодические издания начали появляться в Петербурге (который, как следует помнить, все еще является подлинным интеллектуальным сердцем России) и в Москве. Они лишь выносят на поверхность то, что появилось раньше. Условия все еще очень суровы, и жизнь в России все еще является непреходящим актом героизма. Но дух русской нации оказался сильнее враждебных сил. Русская литература после 1917 года дала урок благородной, терпеливой и мужественной отваги. Он говорит, что человеческий дух величественнее и сильнее, чем все силы грубой материи вместе взятые.

¹ Статья появилась в журнале «The Contemporary Review» (1922. № 680. P. 205—211). Перевод с английского М. В. Бондаренко.

² Положение в Петрограде критик знал по газетам и журналам. Данная оценка совпадает с позицией Е. Замятина, в частности, соответствует той картине, которая нарисована в рассказе «Пещера». Ее подтверждают и воспоминания А. Ахматовой: «... голод и разруха росли с каждым днем» (Ахматова А. Соч. М., 1987. Т. 2. С. 238).

³ «Петербургский дневник» З. Н. Гиппиус был опубликован в журнале «Русская мысль» (1921, № 1—2). Фрагменты печатались в Литературном приложении к газете «Накануне» летом 1922 года. Святополк-Мирского не могло не возмутить отношение Гиппиус к Блоку («Говорят Блок болен от страха, что к нему в кабинет вселят красноармейцев. Жаль, если не вселят. Ему бы следовало их целых двенадцать»), а также поддержка ею иностранной интервенции против России. При этом критик всегда отдавал должное ее сильному поэтическому таланту.

⁴ Строки из «Полтавы» А. С. Пушкина критик цитировал в переводе Бернарда Пэрса. В Британском музее хранятся письма Д. Святополк-Мирского к Б. Пэрсу.

⁵ Richard Crashaw (1613—1649). Вероятно, Святополк-Мирский был знаком с его творчеством еще в России по изданию: *Crashaw R. Steps to the Temple, Delights of the Muses and other Poems*. Cambridge, 1904. Поэтика Р. Крашоу рассматривается в кн.: *Williams G. W. Image and Symbol in the Sacred Poetry of Richard Crashaw*. Columbia, 1963.

⁶ Аналогичное замечание о Берлине встречается в письме А. Толстого И. Бунину от 16 ноября 1921 года: «Очень похоже на Россию...» (см.: *Бунин И. А. Собр. соч. М.*, 1988. Т. 6. С. 296). О культурной работе русских эмигрантов в Германии см.: *Russen in Berlin. Literatur. Malerei. Theater. Film. 1918—1933*. Herausgegeben von Fritz Mierau. Reclam-Verlag, 1987.

⁷ Последний крик (фр.).

⁸ Имеются в виду статьи из книги М. Горького «Несвоевременные мысли». Есть еще один отзыв Святополк-Мирского о статьях Горького тех лет: «Его статьи с начала войны и во время революции, возможно, окажутся в фокусе внимания его потомков...» (*S. Mirski D. Recent Developments in Poetry. Poetry and Politics // The London Mercury*, 1921. V. 4. № 22. P. 417). Позднее критик высоко оценил «Дело Артамоновых»: «Это подлинно социальный роман, в котором художественная сторона органически соединена с социально-познавательной и ни та ни другая не господствует» (Версты. 1927. № 2. С. 256).

⁹ Резкие слова по адресу Д. Мережковского вызваны его призывами к новой интервенции против Советской России, имевшими место и в 1921 году.

¹⁰ В оценке таланта А. Толстого критик следует здесь традиции, сложившейся еще в 1910-е годы, в частности в статьях Ф. Степуна (см.: *Перхин В. В. Художественная проза А. Н. Толстого в оценке русской дореволюционной критики // Филологические науки*. 1985. № 3. С. 16—21). Новый взгляд будет высказан после прочтения первой книги романа «Петр Первый»: «С большой силой изображены всепроникающая атмосфера крепостничества и распада системы» (*Sv'atopolk-Mirskij D. Der russische historische Roman der Gegenwart // Slavische Rundschau*. 1932. № 1. S. 17).

* Эти и многие другие стихи легко доступны в маленькой антологии г-на Эренбурга «Поэзия революционной Москвы» (Изд-во «Мысль», Берлин, 1922).

¹¹ Данная оценка И. Бунина во многом объясняется неверием критика в способность писателей старшего поколения, оказавшихся в эмиграции, сказать новое слово в литературе. Отношение изменилось после появления «Жизни Арсеньева». Этот роман «в силу своей подлинности и самобытности» критик оценил как «самое значительное из его послереволюционных достижений» (*Sv'atopolk-Mirskij D. Die Literatur der russische Emigration // Slavische Rundschau. 1929. № 4. S. 291*).

¹² Критику, бесспорно, импонировало то, что английский автор увидел в сочинениях Ремизова важное и для Святополк-Мирского «влияние Достоевского и Гоголя и определенные черты, напоминающие Лескова», и оценил это как «влияние родственного духа» (*Williams H. W. Russia of the Russians. London, 1914. P. 314*).

¹³ Речь идет о рассказе «Изошел» (см.: *Ремизов А. Шумы города. Ревель: Библиофил, 1921. С. 91—100*).

¹⁴ Имеется в виду рассказ «Пещера». В 1923 году этот рассказ был опубликован на английском в переводе Святополк-Мирского (см.: *The Slavonic Review. 1923. V. 2. № 4. P. 145—153*).

¹⁵ *Чуковский К. Книга об Александре Блоке. Берлин: Эпоха, 1922.*

¹⁶ Стихотворение Т. Кинго (1634—1703) (см.: *История всемирной литературы. М., 1987. Т. 4. С. 273—274*).

¹⁷ «Кубла-Хан, или Видение во сне» — поэма С. Т. Кольриджа.

¹⁸ Результатом этой поездки А. Белого стала интересная статья «О „России“ в России и о „России“ в Берлине» (Беседа. 1923. № 1). «Особенность современной русской аудитории, — писал там Белый, — есть критика догматизма» (С. 225).

¹⁹ Строка из партии Вогана (Вотана) — героя оперы Р. Вагнера «Валькирия», которую Святополк-Мирский слушал в Марининском театре в 1908 году под управлением А. Никиша.

²⁰ В английском тексте статьи в переводе критика дан подстрочник следующих строк из стихотворения М. Волошина «Святая Русь»:

...Отдалась разбойнику и вору,
 Подожгла посадки и хлеба,
 Разорила древнее жилище,
 И пошла поруганной и нищей,
 И рабой последнего раба.
 Я ль в тебя посмею бросить камень?
 Осужу ль страстной и буйный пламень?
 В грязь лицом тебе ль не поклонюся,
 След босой ноги благославляя, —
 Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
 Во Христе юродивая Русь.

Примечательно, что Святополк-Мирский позволил себе одну переводческую вольность: к эпитетам «бездомная» и др. прибавил «бесправная».

²¹ В Советской России аналогичное мнение отстаивал Р. В. Иванов-Разумник (*Иванов-Разумник Р. В. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923*). Оно противостояло официальной точке зрения. Ее ярко выразил Л. Д. Троцкий, объявивший, что «сумеречная блоковская лирика ушла в прошлое», что «конечно, Блок не наш».

²² Строки из стихотворения «Безумным табуном неслись года...» (*Радлова А. Корабли. М., 1920. С. 56*). В статье критик дал их в собственном переводе. Мысль о соперничестве Ахматовой и Радловой возникала и у других современников (см.: *Лукницкий П. Н. Об Анне Ахматовой // Наше наследие. 1988. № 6. С. 69*).

ПОЭТЫ И РОССИЯ¹

Никогда поэты не занимали такого места в русской жизни, как в наше, революционное время. Ими с 1905 года пишется самая значительная страница нашего самопознания. Правда, их голос доходит до немногих, и те не всегда имеют уши. Но это в порядке вещей, чтобы пророков не слышали, не слушали и не узнавали. В пророческой же природе современной русской поэзии сомневаться уж нельзя: слишком она очевидна. И дело, конечно, не в отдельных «поразительных предсказаниях» (вроде прославленного и затасканного лермонтовского «Настанет год, России черный год»), в конце концов случайных и лишенных необходимости, а в том, что в наши дни русские поэты снова стали *чувствилищем* народной души, в которой события совершаются раньше, чем в мире событий гражданских. Флаг поэзии взвивается ветром истории прежде, чем приходит в движение поверхность народного моря.

Поэзия 19-го века была лишена этой пророчественности. Золотой век нашей поэзии был обращен лицом в прошлое. Позднейшая поэзия была оторвана от общей жизни России и питалась поверхностными соками, — отсюда ее худосочие. Одно исключение — Некрасов. У него и, гораздо раньше, у Державина была та со-чувственность общей жизни, которой отмечены высшие поэты современности. Поэтому Державин и Некрасов самые близкие нам теперь поэты. Начало державинское и некрасовское — начало восторга и со-страдания, начало современной нам русской поэзии.

При всем их внешнем и внутреннем несходстве, общего у Державина и Некрасова то, что они поэты более чем личные: гражданские, национальные, политические (зоополитикон²) — словом, поэты *общей* жизни. И другие поэты (Пушкин, Тютчев) писали стихи на политические и общественные темы, но подлинно «гражданские» поэты, как Державин и Некрасов, отличаются от других тем, что их творчество устанавливает некоторый знак равенства между общим и частным и что ими жизнь общая переживается как неотдельная от своей. У Державина рамка личного раздвинута настолько, что включают высокие и обширные переживания торжествующей России; у Некрасова, наоборот, «страдания народа» как бы сжимаются до совпадения со страданиями личными.* Но и у того и у другого общее слито с личным и поэт — чувствилище «общества». Отсюда свойственная обоим поэтам гиперболичность, некоторое как бы отсутствие чувства меры, столь резко отделяющее их от великого гуманиста и «личника» Пушкина.

При таком сходстве такое же, если не еще большее, различие. Победный, восходящий, мажорный строй Державина:

Необычайным я пареньем
От гленна мира отделюсь.

И мученический, нисходящий, минорный у Некрасова:

Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименький, холодно.

В поэзии пререволюционной, поскольку она была «гражданской», господствовало начало некрасовское. Начало державинское после больше чем столетнего сна впервые вновь зазвучало в поэзии гражданской и негражданской наших дней.

Когда после 1905 года впервые были услышаны гражданские «некрасовские» стихи символистов, на них мало обратили внимания, разве что удивились, как это «декаденты», начавшие реакцией против «гражданской поэзии» 80-х годов (которая не была, конечно, ни гражданской, ни поэзией, а всего только интеллигентским дребезжанием), вдруг занялись не своим делом. На поверхности «общественного» сознания эпоха Третьей Думы была одной из самых благополучных, наименее трагических эпох русской истории. Новая, обуржуаженная интеллигенция устраивалась не на вулкане. Был Золотой век эстетики и экономики. Революция исчезла. Мы обогащались и развивались и с высоты «Аполлона» и «Речи» посматривали с презрением на допотопное «Русское богатство». Но в глубине национальной жизни происходило другое. И то, чего не слышали газеты, слышали поэты. Гражданская поэзия Блока (и в меньшей мере Белого) была ветром из близкого будущего, ветром

С Галицийских кровавых полей,

за которыми вставали

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

Новое, высокое бремя пророчества и со-чувствования с еще не наставшими страданиями народа принимали на себя поэты, и особенность этого факта подчеркивалась

* У Некрасова есть и другой путь совпадения с общим, с этими несходный, — путь подлинного народного сверхиндивидуального творчества («Коробейники», «Кому на Руси жить хорошо» и т. д.), в котором «страдания» уже преодолеваются общностью.

тем, что принимал это бремя самый индивидуальный, самый замкнутый, самый бесплотный из поэтов. Не менее удивительной была пророческая и некрасовски сочувственная настроенность у поэта еще более личного (и к тому же гораздо более стихийного и очень «только человеческого») — Анны Ахматовой, в стихах ее, написанных в июле 14-го года.³ И еще удивительнее, может быть, первые звуки «державинской» гражданственности (первые раскаты революционного грома) в поэмах, написанных в глушайшие для Революции годы войны шарлатаном и шутком, ходившим еще тогда в желтой кофте и никем из революционеров всерьез не принимавшимся, — Владимиром Маяковским.⁴ Все эти предчувствия не были случайны и разрозненны: они органически и неразрывно входили в целое творчества каждого из поэтов (теряли даже свою понятность вне связи с этим целым). Вместе же они сливались в один грозный гул надвигающихся Событий.

Переставши после Революции быть пророческой, «некрасовская» линия не сразу умолкла и не сразу ослабла. Наоборот, самые, может быть, сильные ее создания возникли после События — «Двенадцать» Блока, лучшие гражданские стихи Ахматовой. Но общая *тональность* русской поэзии стала меняться. Ее равнодействующая впервые после многих поколений из нисходящей стала восходящей. Есть символический смысл в дате и в имени книги Бориса Пастернака, написанной летом семнадцатого года, — «Сестра Моя Жизнь»: на человеческой памяти ни один русский поэт с такой сестрою не брался.

В младшей, послереволюционной поэзии господствует мажорная, восходящая, «державинская» тональность. Державинское начало воскресло в поэзии Гумилева, Маяковского, Пастернака, Марины Цветаевой. (То, что эти поэты существовали уже до 17-го года, кроме общеизвестного факта, что история не считается с хронологией, только подтверждает пророческую природу поэзии).

Кроме мажорности, этих поэтов объединяет еще одна черта — то, что можно было бы назвать их не- или сверх-человечностью. В этом опять они через голову 19-го века подают руку Державину. Узкие границы человеческой меры, предписанные нам Пушкиным и укрепленные великими романистами, перейдены. Мир возвращается в поэзию. Северное Сияние Ломоносова перекликается с Солнцем Маяковского, и золотые стерляди Державина с красными быками Гумилева. И не только 18-й век (наше средневековье, по верному слову Кохановской,⁵ и, конечно, раннее средневековье космических мифов, а не схоластиков и трубадуров) приближается к нам. Допетровская Россия, Аввакум и Игорь, и вся народная поэзия (уже не в сентиментально-славянофильском преломлении) становится нам ближе. «Вдруг стало видно далеко во все концы света», — слова Гоголя, знаменательно стоящие эпиграфом к одному из удивительнейших стихотворений «Сестры моей жизни». И Россия, как единство, как один рост «от князя Игоря до Ленина», для нас реальнее и зримее, чем была когда-нибудь.

И еще одно. Современная, рожденная из декадентства, «оторванная от почвы», настойчиво-индивидуальная и оригинальная поэзия наших дней чуть ли не впервые за все существование нашей литературной поэзии перекликается с поэзией народной — с современной частушкой.

¹ Статья печатается по тексту журнала «Версты» (1926. № 1. С. 143—146). С. Коновалов и Д. Ричардс перепечатали эту статью в книге «Oxford Book Critical Essays» (Oxford, 1971).

² Животное общественное (греч.). Выражение из «Политики» Аристотеля.

³ Высокие оценки поэзии А. Ахматовой встречаются во многих статьях Святополк-Мирского. Впервые о стихах «Июль 1914» критик упомянул в одном из «Русских писем» 1921 года, назвав их «стихами Кассандры», свидетельствующими о способности сочувствовать «надвигающимся несчастьям ее страны». Одновременно он отметил, что Ахматовой принадлежат «лучшие образцы патриотической поэзии» после 1917 года (A Russian Letter. Recent Developments in Poetry and Politics // The London Mercury. 1921. V. 4. № 22. P. 415). В 1923 году Святополк-Мирский опубликовал в «The Slavonic Review» (V. 1. № 3. P. 690—691) рецензию на сборники Ахматовой «Четки», «Белая стая», «Anno Domini». Здесь он вновь обратил внимание на патриотические стихи, назвав их «Leitgedichte» — «путеводные стихи», и, вероятно, первым из критиков назвал Ахматову «национальным классиком», а ее поэзию «*ἡτήμα ἐς αἰῆ*» — «приобретением навсегда». Текст

рецензии опубликован мною в «Литературной России» (1989. 23 июня. С. 23). Ахматова, очевидно, была знакома с отзывами Святополк-Мирского: критик присылал свои английские статьи К. И. Чуковскому. 12 мая 1922 года он писал Чуковскому из Лондона: «Но меня удивляет, что Анна Андреевна так принимает к сердцу московские глупости (имеются в виду выпады групповой критики, в частности имажинистов. — В. П.). Это, мне кажется, естественная судьба великого поэта. Помните в 1831 году о Пушкине писали:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел.

Во всяком случае, Анна Ахматова самая интимно близкая из всех русских поэтов огромному большинству читателей. А имажинистов будут через двадцать лет читать, как мы Бенедиктова и Марлинского» (ГБЛ. Ф. 620. Карт. 68. Ед. хр. 22. Л. 2, 2, об.). И в заключении письма: «Передайте мой самый искренний привет Анне Андреевне». Последнее позволяет предположить, что Святополк-Мирский был знаком с Ахматовой еще с 1910-х годов по Царскому Селу или «Цеху поэтов».

¹ Талант В. Маяковского критик ценил, понимая, что он шире рамок футуризма, к которому Святополк-Мирский всегда относился весьма холодно. Стихи Маяковского «очень яркие и задушевные», «юмор очень широкий, аристофановский». Это характеристика 1921 года. Летом 1923 года: «Громкая, буйная, но здоровая поэзия Маяковского понятнее и нужнее для читателей, чем творчество других футуристов» (*Святополк-Мирский Д.* Комментарий // *Русская лирика*. . . С. 203). Наиболее значительной, хотя и перенасыщенной социологическими определениями, является статья «Две смерти. 1837—1930», опубликованная в книге «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин, 1931) и перепечатанная в издании «Смерть Владимира Маяковского. Роман Якобсон. Дмитрий Святополк-Мирский» (Paris, 1975. С. 35—48).

² Н. Кохановская (1825—1884).

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ ¹

За эти последние годы умерло несколько очень выдающихся русских поэтов — Блок, Гумилев, Хлебников, и вот — Брюсов. И несомненно, что, по человечеству судя, самая грустная из этих смертей — смерть Брюсова. Именно грустная.

Смерть Блока была глубоко трагична. Он умирал, изжив свое творчество, после трех мучительно-бесплодных лет, с сознанием окончательного и безвыходного, космически безвыходного, отчаяния. Но смерть эта была трагична в высшем, сверхличном, даже сверхисторическом плане, трагична *sub specie aeternitatis*² трагичностью, могущей «в грядущем поколеньи» поэта привести в восторг и умиление.

Смерть Блока глубоко проняла национальное сознание. Она объединила нацию, может быть, больше, чем всякое другое событие с самого семнадцатого года (события разделяли). И хотя поэтическое воздействие Блока было уже на ущербе, смерть его стала сигналом к общему его (читательскому) признанию. Трагична в более земном и историческом смысле была смерть Гумилева. Он погиб в расцвете сил (*nel mezzo del cammin*³ — тридцати пяти лет), только что дав лучшую свою книгу («Огненный столп») — огромный шаг вперед, открывавший его творчеству неожиданные горизонты; погиб насильственно, жертвой бессмысленной провокации. Но он умер именно так, как того хотел, не в постели, при нотариусе и враче, но мужем и воином, и сильный простой, мужественной верой. Наконец, Хлебникова смерть почти никем не была замечена. Он умер почти тем же, чем был, посмешищем и монстром, но зато и эзотерическим вождем и учителем самого молодого, самого энергичного, самого напористого из поэтических движений, — тайным классиком непосредственного будущего.

Брюсов же, вкусивший всех сладостей победы и признания, узнал горечь ни с чем не сравнимую, — медленного высыхания творческих сил, медленного и мучительного отставания от жизни, против которого он боролся с упорством отчаяния, — горечь одиночества и ненужности. Старые друзья из «буржуазной интеллигенции» отреклись от него после его присоединения к РКП. Коммунисты приняли его без энтузиазма, скорей всего как полезную рекламу. С ними у него не нашлось общего языка.*

* Отношение к нему коммунистов ярко выступает из воспоминаний Луначарского (Правда, 11 октября 1924 г.): «Вначале он заведовал библиотечным фондом. Дело это было, конечно, почти

Советская служба давала ему мало радостей. Еще неудачнее были и его отношения с левовцами. Он всячески старался угодить им, в своих статьях признавал футуристов единственными поэтами нашего времени, применял их приемы в оценке поэтов других школ (напр. Мандельштама), явно и рабски подражал Пастернаку (сборник «Дали», 1923). А они его упорно отвергали. В первом же номере «Лефа» была напечатана статья Арватова «Контрреволюция формы», где путем анализа брюсовского словаря остроумно доказывалось, что он устарелое и в корне реакционное явление. В юбилей его левовцы демонстративно отказались участвовать, но (с довольно характерной наглостью) пришли к нему в артистическую и пожелали ему еще одного юбилея. Довольно понятно, что он им ответил: «Нет, уж довольно одного! Не желаю вам встретить такого!»* Юбилей этот (17 декабря 1923 г.) был для него, по-видимому, сплошной пыткой. Мало утешения приносили ему официальные хвалы и даже поднесенное ему звание Народного поэта Армении. Как должен он был вспоминать другой юбилей, юбилей Гоголя в 1909, когда он читал свой превосходный доклад «Испепеленный» и был освистан косной и невежественной публикой, но чувствовал за собой всех лучших и младших, — будущее.

В истории русской культуры Брюсову принадлежит очень видное место. Он центральная фигура символизма. Сам же символизм одно из главных проявлений еще более широкого и значительного движения, которое в его совокупности, к сожалению, можно обозначить только довольно неприятным словом «модернизм». Модернизм был реакцией против старой интеллигентской ортодоксии, подчинявшей всю культуру этически-окрашенной общественности и устранявшей из интеллигентского обихода все чисто культурные ценности, — и в частности искусство. Это движение, начавшееся в девяностых годах, вернуло России искусство как автономную и самоценную деятельность.

Сначала модернизм был сильно окрашен в иностранные цвета, и Брюсов принадлежит как раз к этой первоначальной стадии модернизма, стадии по преимуществу «иностранный», совершенно западной и а-национальной. Только второе «поколение» модернистов (Блок, Белый, Ремизов) стало национальным и «славянофильским». Задача первого — приобщить Россию к утраченной ею почве европейской культуры. Вне литературы первое место в этом отношении принадлежит Миру Искусства. Прямая параллель Миру Искусства в литературе — Мережковский девяностых годов, Бальмонт и — Брюсов.

Заслуга этого западнического поколения в поэзии велика, но есть у нее и обратная сторона. И у Брюсова, и у Бальмонта были корни в прошлом русской поэзии (у Бальмонта — в Фофанове, Надсоне и Фете; у Брюсова — в Случевском, Тютчеве и Баратынском), но главная их точка опоры была за границей, — и эта не-русская «ориентация» дает тон всей старшей декадентской, брюсово-бальмонтской поэзии. К русскому Бальмонт и Брюсов могли подходить только как к экзотике, равноправной по своему экзотизму с Мексикой или Лемурией. Брюсов сумел воспринять как экзотику даже такую домашнюю вещь, как шестидесятые годы и стремление к самообразованию купеческого сына (повесть «Обручение Даши»). Русский поэтический язык он сделал совсем не русским. Всякому знакомо это впечатление «переводности» от стихов Брюсова. У него нет никакой русской сочности («почвенности»), никакой *cursiva felicitas*⁴ в обращении с родным языком. Его можно переводить безнаказанно на любой язык. «Духа языка» Брюсов не чувствовал. У него немало прямых грамматических ошибок, особенно синтаксических. Его стихи пестрят собственными именами, но только иностранными, — русских имен и русских фамилий он тщательно избегал,** несмотря на еще пушкинскую

техническое и рассматривали его, по правде сказать, больше как синекуру. Но Брюсов относился к этому иначе». Потом Брюсов заведовал ЛИТО, и об этом Луначарский говорил: «Брюсов мало годился для этой службы... Он был связан всеми нитями своего существа и с классической литературой, и с писателями дореволюционными... Поэтому через несколько времени его заменил другой писатель-коммунист с более ярко выраженной радикально-революционной позицией, тов. Серафимович».

* См. Известия, 11 октября 1924, статья Н. Асеева.

** «Ахилл для него „эстетичнее“ Архипа», — говорит левовский критик Арватов.

традицию в обращениях (многочисленных у Брюсова) к литературным друзьям. (Даже у Вячеслава Иванова есть «О Сомов чародей»). Характерно для этой «иностранности» Брюсова, что он любил приближать иностранные слова к их иностранной звуковой форме (он систематически писал «мóторы», пытался ввести «Вéнера») и любил несклоняемые слова (напр. «Робеспьеры и Мара», вместо привычного Марата, «авто» — *passim*⁵).

Такова была искупительная жертва за восстановление утраченной связи с Западом. Но, конечно, дело было настолько важным, что оно стоило и не таких жертв. В деле возвращения нам Европы Брюсову, вместе с Мережковским, принадлежит первое место.

Русский символизм в дальнейшем своем развитии принял своеобразные национальные формы и у Вяч. Иванова, Андрея Белого, а у других (особенно после 1910 г.) вылился в мистическое «теургическое» учение, уже не имеющее ничего общего с его французскими истоками. Но у Брюсова он сохранял свою первоначальную «европейскую» и эстетическую чистоту и, пока он не начал разлагаться как движение (1910), Брюсов справедливо себя почитал и был другими символистами почитаем как вождь и центр всего движения. Но, со стороны глядя, многие решали иначе. На самом деле основная сущность символизма — восприятие мира как системы символов, «тайн» и «священнодействий» — так же очевидна у Брюсова, как у Блока и у Белого. Только «теургических» выводов из этого он не делал. И даже после 1912 года, заботясь о снижении своего стиля и отказавшись от метафизических оснований символизма, он оставался в плену прежних представлений и никогда не мог отделаться от «соответствий» и «тайн».

Поклонники Брюсова, после «Венка» (1906), любили настаивать на его классичности и связи с Пушкиным. Сергей Соловьев восклицал:

Ты, Валерий, Пушкина миры поднял.

И вообще сложилось довольно прочное убеждение, что Брюсов — единственный среди декадентов наследник пушкинской традиции (такое же место отводили шестьдесят лет тому назад Майкову). Легенду о своем пушкиноподобии сам Брюсов поощрял и поддерживал и попытался дать ей разительное подтверждение в своем продолжении «Египетских ночей». Подтверждение, однако, стало опровержением, и именно на этом примере В. Жирмунскому пришлось доказывать принципиальную противоположность брюсовского стиля пушкинскому.* Все сближение Брюсова с Пушкиным основано на будто бы общей им объективности. Но объективность Пушкина (далеко его не исчерпывающая) и объективность Брюсова две очень разные вещи. У Пушкина объективность зоркого и любопытного наблюдателя, у Брюсова эрудиция, приискивающая трагические маски для своих очень субъективных декламаций. У Брюсова все напряжено, у Пушкина все легко. Брюсов всегда неудобно одетый священнослужитель, — Пушкин, как описанные им черкесы:

Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет.

Пушкин веселый поэт, шутник, пародист, озорник, — Брюсов ни разу перед публикой не улыбнулся. Пушкин, и вся его школа, пользуется словом как логическим понятием, нагружая его в то же время тончайшими эмоциональными обертонами. У Брюсова нет ни точности, ни тонкости. Стихи его — эмоциональные сплавы, логически неразложимые, — отдельные слова в них не больше имеют самостоятельного бытия, чем олово в составе бронзы. Стих его вообще противоположен всей пушкинской школе, но если в ней искать ему предка, то это скорее всего Баратынский, тоже напряженный и серьезный, улыбавшийся только потому, что улыбаться тогда было принято.

Задачей Брюсова и всего его поколения было воскресить высокую поэзию, заведенную Апутиным и Надсоном в трясину газетной повседневноности. Надо было поднять звание поэта, вернуть ему его жреческое место, и Брюсов стал жрецом. Правда, в начале своего поприща он многим казался шутком, но шутком кажется непосвященным

* «Валерий Брюсов и наследие Пушкина». Петроград, 1922.

всякий жрец незнакомого культа. Вся поэзия Брюсова — священнодействие, и жизнь свою он поэтически представлял себе как цепь священнодействий, и главное из них было священнодействие любви (Мы как священнослужители творим обряд) — понятие, впервые введенное в наш обиход символистами и сильно поразившее воображение читателей обоюбого пола.

Успех Брюсова в широких кругах был именно победой возрожденной им Высокой поэзии. Первая хвалебная статья о Брюсове не из дружеского лагеря (статья Струве о «Венке») приняла его именно с этой стороны, и на «Венке», как на самой «возвышенной» из его книг, сосредоточился читательский интерес к нему.

Гоголь назвал Державина «певец величия», но слова эти гораздо лучше подходят к Брюсову. Величие — главная тема его поэзии. Даже его прославленный урбанизм основан прежде всего на культе величия современного грощтадта. «Громадный город дом», «единый город скрывает шар земной», — мечтал он о будущем. Политические его пристрастия тоже сводятся к тому же культу:

Прекрасен в мощи грозной власти
Восточный Царь Ассаргадон
И океан народной страсти,
В щепы дробящий целый трон.

Словарь Брюсова весь отмечен печатью этой «мегаломании». Среди его любимых слов первые места занимают слова типа «безмерный», «неизмеримый», слова «век» и «столетье» с их производными; общесимволистские слова «тайна», «бездна», «страсть» и «дрожь» со всеми их производными; «царственные» слова — «царь», «золото», «багряный»; слова, обозначающие яркие цвета и т. д. и т. д. Во всем этом много общего с Леонидом Андреевым, который тоже был гипнотизован всяческими огромностями и любил слова того же порядка. Но это сравнение, несколько обидное для Брюсова, должно тоже напомнить нам, чем он отличался от Андреева: он был великий работник, техник, профессионал — Мастер.

Все, знавшие Брюсова в деле, единогласно свидетельствуют, что работоспособность его была изумительна. Тем более изумительна, что вне часов работы он вел жизнь не доброго семьянина или профессора, а жег ее с двух концов. Эротика его имеет прочное биографическое основание, — и он был предан «искусственным эдемам».

Еще в «Urbi et Orbi» (на потеху критиков из «Вестника Европы») он сравнивал свое вдохновение с волком:

Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай.

Но особенно во главу угла становится у него труд после развала символизма. Самый замечательный памятник его трудовой энергии — книга об армянской поэзии. В невероятно короткий срок (кажется, меньше чем в год) он выучился по-армянски, изучил армянскую литературу и перевел большую часть стихов этого огромного тома.

И Брюсов был не чернорабочий, а высококвалифицированный мастер — настоящий «спец» стихотворного дела. Знания его во всех областях стиховедения были огромны. Задолго до Брика он знал все, что можно знать о «звуковых повторах у Пушкина»,* но таил свои знания про себя, пользуясь ими как профессиональной тайной. К стихоучительству Брюсов обратился поздно, только после того как окончательно убедился, что потерял *водительство*. Пока оно было за ним, он жречески хранил свои тайны поэта. Пока символисты шли за ним, он был «суровый маг», каким его изобразили Врубель и Белый. Рецензии его тогда были поразительно скупы на конкретные указания (большая разница с Гумилевым, который еще революционером и вождем уже *учил* своих подмастерьих их

* Брюсовым введен столь привившийся термин «инструментовка» — перевод «instrumentation verbale» Рене Гилля, не имевшей никакого успеха во Франции.

ремеслу). Сам себе Брюсов поставил подножием ремесло, но другим его не давал. Только потерявши место жреца, он стал преподавателем. Знания его были практические. Единственный его «теоретический труд» — «Наука о стихе» — совершенно неудачен. Но, например, из его рецензии на книгу Жирмунского о рифме видно, как много и как практически он знает, как много (и как мучительно) он думал об этих вопросах, работая над своими стихами и изучая стихи своего нового учителя Пастернака.

«Наука о стихе» очень слабая книга, но уроки Брюсова молодым поэтам должны были быть очень поучительны. Чему можно было научить, он своих пролеткультовцев научил. И все они пишут «под Брюсова» и не хуже Брюсова последних лет. Эти практические занятия стиховедением были для Брюсова единственным светлым лучом во мраке этих последних лет, — и его ученики по ВЛХИ теплее всех отнеслись к его памяти.

Расцвет поэтического творчества Брюсова приходится на первое десятилетие этого века. Первые его стихи, написанные в девяностых годах, были как бы «пропедевтикой к символизму». В свое время они произвели большой скандал, и имя их автора стало нарицательным для литературного скандалиста и озорника. Долгое время — до самой революции и до «Венка» — Брюсова не пускали в толстые журналы, куда Бальмонт, Сологуб, Гиппиус принимались беспрепятственно. Однако скандалистом Брюсов никогда не был. Просто он пересаживал в Россию иностранные формы. Его наряд казался столь странным, что мог быть понят только как шутовской. Но в поэзии Брюсова было не сознательное озорство, а некоторое строгое и упрямое донкихотство. Было в ней много безвкусицы, и иногда, надо признаться, очень хорошей безвкусицы. Наивная экзотика и эротика «Chefs d'Oeuvres» (1894) была подлинной струей свежего воздуха, ворвавшегося через новое «окно в Европу» в затхлую атмосферу тогдашней поэзии. Мы теперь привыкли к мысли, что символизм поднял уровень русской поэзии, и хотя нас некоторые в этом опять хотят разубедить, вопрос, серьезно говоря, не подлежит пересмотру. Нельзя серьезно пересматривать сравнительную ценность Надсона и Брюсова, Апухтина и Бальмонта. Можно утверждать, что

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне

очень плохие стихи, и что

Я шел к тебе, на землю упал
Осенний мрак холодный и дождливый

(Надсон, «Грезы») гораздо лучше. Но даже если «эстетически» это и так — исторически «лазоревая луна» стократ лучше «осеннего мрака»: она вытягивала из этого мрака, сдвигала с мертвой точки поэтическую телегу, увязшую в безнадежном болоте эпигонства и формальной пресности. Без «лазоревой луны», без всех этих «альковов» и «криптомерий», как без «черных челнов» и «бесшумно шуршащих камышей» Бальмонта, мы бы никуда не ушли от «Ваалов» Надсона и «бессонных ночей» Апухтина. Конечно, Сологуб неизмеримо более значительный поэт, чем Бальмонт или Брюсов, но его песнь была бы (и была) бесплодна потому, что не ставила вопросов поэтики в острой форме. Он бы сам занес нам, «чадам праха», несколько райских звуков, но никто другой не научился бы писать ни на йоту лучше. Да и сам Сологуб (как и другие старшие — Анненский и Вяч. Иванов) стал как следует на ноги только после того, как черная революционная работа была сделана Бальмонтом и Брюсовым. Только те художники двигают искусство вперед, которые умеют хлестко ударить по привычкам читательской косности, ибо только они подлинные освободители вкуса.

В конце девяностых годов Брюсов несомненно подвергся сильному воздействию представителей более философствующего символизма — Александра Добролюбова и Ивана Коневского. Именно у Коневского, стремившегося создать метафизическую

поэзию, постигающую и обнимающую весь мир, Брюсов научился так насыщать свои стихи мыслью. К Коневскому же восходит и идея столь близкая Брюсову в эти годы — «поэзия — познание». В книгах этого времени («Tertia Vigilia», 1901 и «Urbi et Orbi», 1903) Брюсов дал замечательные образцы «философской» поэзии. Стихи его становятся похожи на то, что он назвал в предисловии к «Tertia Vigilia» «мыслительные раздумья Баратынского». В этих стихах до сих пор пленяет мужественная борьба с темой, упрямое желание уложить свою мысль в узкие тиски стиха. Коневской говорил: «Мне нравится, чтобы стих был немного корявым». «Urbi et Orbi» должно было бы понравиться ему. Конечно, сам Коневской корявей, потому что богаче мыслью, а Баратынский и круче, и туже, потому что мысль его классически отчетлива и стих как упругая сталь. Стих Брюсова всего только обычный чугуун символистов, а мыслителем он никогда не был. При всей своей рассудочности он никогда не думал диалектически. Вся его философия сводится к сопоставлениям, к излюбленным символистами «correspondances»,⁶ к контрастам и «полярностям». Останавливаясь перед этими поражающими его явлениями, он иногда создавал вещи удивительные по своей интеллектуальной (не логической) насыщенности. Тут он даже иногда справлялся со сложными синтаксическими построениями, обыкновенно столь трудными для него. Но восклицание и цепь простых «констатирований» — его любимые приемы. Лучшие образцы такого рода стихов в «Urbi et Orbi» — таков весь отдел «Думы»; таковы некоторые из «Элегий», например «Одиночество», где эта навязчивая тема Брюсова и всех его современников взята в ее эротическом аспекте:

Срывай последние одежды
И грудью всей на грудь прильни, —
Порыв безсилен! нет надежды!
И в самой страсти мы одни!
Нет единенья, нет слиянья —
Есть только смутная алчба,
Да согласованность желанья,
Да равнодушие раба.

Прекрасно! Точность выражений редкая у Брюсова, но все же это не более как ряд патетических «констатирований». Не то у Баратынского, как силлогизм развертывавшего свое рассуждение на тему (другого) одиночества — напр. в «Рифме».

Но вот «Венок». В нем почти уже нет «мыслительных раздумий». Но есть новое, едва намечавшееся в «Urbi et Orbi». «Правда вечная кумиров» останется «приобретением навсегда». Этот прекрасный цикл — центр и вершина Брюсовского творчества и одно из лучших украшений нашей новой поэзии. В нем он достиг стиля и полной адекватности формы, т. е. высшего, чего может достигнуть художник. В воскрешенные им греческие мифы (вечная, неисчерпаемая сокровищница) он вновь вложил действенное и подлинно символическое содержание. В них он дал образцы «полного овладения темой» и редкую экономность и прозрачность формы. Обычного для него напряжения почти нет — конструкции легки, просты и логичны. Лучшее из этого цикла, вероятно, «Тезей Ариадне»:

«Ты спишь, от долгих ласк усталая,
Предавись дрожи корабля,
А все растет полоска малая, —
Тебе сужденная земля!

Когда сошел я в сень холодную,
Во тьму излучистых дорог,
Твоею нитью путеводную
Я кознь Дедала превозмог.

В борьбе меня твой лик божественный
Властней манил, чем дальний лавр...
Разил я силой сверхъестественной, —
И пал упрямый Минотавр!

И сердце в первый раз изведало,
 Что есть блаженство на земле,
 Когда свое биенье предало
 Тебе — на темном корабле!

Но всем судило Неизбежное,
 Как высший долг, — быть палачом.
 Друзья! Сложите тело нежное
 На этом мху береговом.

Довольно страсть путями правила,
 Я в дар богам несу ее.
 Нам, как маяк, вдали поставила
 Афина строгое копьё!»

И над водною могилой
 В отчий край, где ждет Эгей,
 Веют черные ветрила —
 Крылья вестника скорбей.

А над спящей Ариадной,
 Словно сонная мечта,
 Бог в короне виноградной
 Клонит страстные уста.

Последние две строфы особенно замечательны, — простое перечисление ситуаций мифа, но какая насыщенность «темой» с ее вечными ассоциациями! Таков, конечно, классический миф. Но великая хвала поэту, сумевшему его «не унизить».

«Венок» — зенит Брюсова, и он удивительно верно сам это почувствовал. Одновременно с «Кумирами» написано «В полдень», по прекрасному ораторскому движению достойное стать рядом с «Тезеем». Оно кончается:

Зарю, закатно-розоперстую,
 Уже предчувствуя вдали,
 Смотрю на бездну мне отверстую,
 На шири моря и земли.

Паду, но к цели ослепительной
 Вторично мне не вознестись,
 И я с поспешностью томительной
 Всем существом впиваю высь.

Но спуск начался не сразу, или по крайней мере не сразу стал заметен, и только в «Заключении» «Всех напевов» (1909) Брюсов почувствовал себя в положении Фазтона:

Я вижу с вечного зенита
 Со всех сторон отвесный скат,
 И мне одна стезя открыта:
 Дуга крутая на закат!

Быть может, коней не сдержу я,
 Как древле оный Фазтон,
 И звери кинутся, ликуя,
 Браздить горящий небосклон.

Тогда, Кронион, суд исполни
 И гибелью покрой мой стыд:
 Пусть, опален зубцами молний,
 Паду к ногам Океанид.

И коней он действительно не сдержал.

Начиная со «Всех напевов» Брюсов становится собственным эпигоном и клонится к упадку. В этой книге спуск еще очень пологий, но направление вниз несомненно. На это обратил внимание тотчас по выходе книги Сергей Соловьев в самих «Весах». Сам Брюсов это чувствовал очень определенно. Он хотел найти новые пути; он говорил: «время снова

мне стать учеником» и «менее всего склонен я повторять сам себя». Но стал именно повторять сам себя и продолжал это делать, пока действительно не стал учеником Пастернака.

Брюсов стал отодвигаться от символизма, пытался снизить свой стиль. На место торжественной и напряженной эротики появился какой-то нарочитый нигилизм страсти («Иль, скажи, не нами смяты на постели простыни?»). Но в общем он остался в плену своих старых приемов, ставших штампами.

Власти над ремеслом он не терял. Но стихи его стали ненужны, мертвы. Он не мог создать себе нужных тем и в борьбе с этим засыханием источников падал все ниже и ниже. Даже революция («океан народной страсти») не оживила его, но и здесь, как и в предыдущих, есть отголоски прежней силы (напр. «Третья осень», сб. «В такие дни»). Брюсов все время сознавал, что падает, и сознавал в то же время, что мастерство его остается прежнее. Поэтому он упрямо хватался за него и отказывался признать себя побежденным. Понимал он, вероятно, что тема его кончилась, что он оскудел содержанием, и одно время собирался, по-видимому, вовсе бросить искание больших тем и искать силы на путях имитации — стилизации. От этого эпизода остались любопытные следы, не вошедшие ни в один из его сборников, — ряд «пастишей» задуманных так, чтобы могли составить нечто вроде *Legende des Siecles*.⁷ Сюда принадлежат ряд стилизаций — австралийских, малайских и разных других песен, напечатанных в альманахе «Сирин» (1913), и надписи к немецким гравюрам, напечатанные в «Аполлоне» (1910). Вещи эти мало известны и гораздо более интересны, чем современные им сборники «Зеркало теней» (1912) и «Семь цветов радуги» (1916). Не лишнее привести одну из них целиком.

Das Weib und der Tod⁸

(немецкая гравюра XVI века)

Две свечи горят бесстыдно,
Озаряя глубь стекла,
И тебе самой завидно,
Как ты в зеркале бела!
Ты надела ожерелья,
Брови углем подвела, —
Ты кого на новоселье
Нынче в полночь позвала?
Что ж! глядись в стекло бесстыдно!
Но тебе еще не видно,
Кто кивает из стекла!

Припасла ты два бокала,
Пива жбан и груш пяток;
На кровати одеяла
Отвернула уголок.
Поводя широкой ляжкой,
Ты на дверь косишь зрачок...
Эх, тебе, должно быть, тяжело
До полночи выждать срок!
Так бы вся и заплясала,
Повторяя: «мало, мало,
Ну, еще, еще, дружок!»

У тебя — как вишни губы,
Косы — цвета черных смол.
Чьи же там белеют зубы?
Чей же череп бел и гол?
Кто, незванный, вместо друга,
Близко, близко подошел?
Закричишь ты от испуга,
Опрокинешь стул и стол...
Но, целуя прямо в губы,

Гость тебя повалит грубо
И подымет твой подол.

Здесь есть действенная работа над новым стилем и стремление к хорошему прозаизму, хотя не всегда выдержанное («цвета черных смол» — поэтический брюсовизм вместо простого «как смоль»).

Таким же бегством от себя, от своего прошлого вызвана и монументальная «Поэзия Армении» (1915—1916), и исторические повести «Алтарь победы» и «Обручение Даши», и издательская деятельность, и студия стиховедения, и попытки писать стихи с чисто формальными (часто фокусными) заданиями («Опыты», 1918), и служба в Наркомпро-се...

Переход Брюсова в коммунизм не мог не отразиться на оценке его всем некомунистическим обществом. *Оценивался этот переход* обыкновенно как чисто шкурный. Однако в нем была некоторая внутренняя закономерность. Конечно, Брюсов никогда не был социалистом. Скорее его можно было подозревать в империализме (вспомним его полемику с Минским в 1906 г. о русском Drang nach Osten). На самом деле вся его политика была «эстетической» и сводилась к простой формуле: «Ассаргадон — океан народной страсти». По существу Брюсов был аполитичен, — и аморален. Для него не существовали соображения, удерживавшие от перехода к победителям всякого интеллигента-общественника. Для всякого кадета и эсера присоединение к большевикам было позором и преступлением. Для Брюсова оно было не более этически важно, чем переход, скажем, из «Весов» в «Русскую мысль». Кое-что в большевиках должно было его положительно привлекать. Эстетическому критерию «океана» большевики (особенно большевики первого года) вполне удовлетворяли. Их программа со всеми ее «электрификациями» и регламентациями тоже могла нравиться автору «Земли» и «Республики Южного Креста». Наконец, самое трудолюбие Брюсова — вероятно, самое глубокое и искреннее в нем — могло склонять его к партии, выдвигавшей «власть трудящихся». Но главное, что толкало Брюсова к большевикам, было его одиночество, его сознаваемая им отсталость от передних и желание во что бы то ни стало быть снова впереди, опять быть «последним словом». Ничего из этого не вышло. Большевики отнеслись к нему как к рекламе. Революция не оживила его дряхлеющих сил. Только как спец, как преподаватель он еще мог дать многое. И в кругу своих учеников-пролеткультовцев он был меньше всего ненужен и провел наименее мучительные часы своих последних лет. Однако он не обманывался и не думал, что им принадлежит будущее. Ремесленник сам — он знал, что готовит только ремесленников * и что живой рост русской поэзии идет другими путями.

В размерах этой статьи я не могу дать достаточно места многообразной деятельности Брюсова — как переводчика, биографа (Тютчев), издателя, критика, журналиста и романиста. Всюду он оставил глубокий след. Напомню только об его в общем превосходных переводах из Эдгара По и французских поэтов; об «Испепеленном» — одной из первых дельных статей о безнадежно замазанном старою критикой Гоголе; наконец, о лучшем из его романов — «Огненном ангеле». В нем сказалась глубокая культурность Брюсова, живое чувство истории, не подчиненной схемам. Большая заслуга Брюсова как прозаика — что он, один из символистов, не был соблазнен поэтичностью и не подчинился демону *стиля*. Его проза хороша уже тем, что не старается быть великолепной, и в наше время непомерной стилистичности чтение «Огненного ангела» может быть только полезным.

В конце концов Брюсов останется в истории прежде всего как передовой борец за возрождение в России эстетической культуры и за возвращение поэзии принадлежащего ей по праву места. Великим поэтом он не был, но поэтом был, и лучшее из написанного им навсегда сохранит почетное и неотъемлемое место в сокровищнице русской поэзии.

* Единственный значительный пролетарский поэт, Казин, как раз совсем свободен от брюсовщины.

¹ Статья была напечатана как отклик на смерть В. Я. Брюсова в журнале «Современные записки» (1924. Т. 22. С. 415—426).

² С точки зрения вечности (лат.).

³ На половине пути (итал.).

⁴ Любопытной удачи (лат.).

⁵ В других местах (лат.).

⁶ Соответствиям (фр.).

⁷ Рассказов о веках (фр.).

⁸ Женщина и смерть (нем.).

ЕСЕНИН ¹

А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие.

Пугачев

Есенин сейчас самый любимый из новых русских поэтов. Причина тому не одно только свежее и сильное впечатление его смерти. Она только подчеркнула давно уже определившуюся любовь к нему читателей. Чувство, вызванное его смертью, не взрыв отчаяния от смерти великого поэта. Смерть Есенина не показалась ни неожиданной, ни бессмысленной. Она усилила общую любовь к нему не только потому, что всякая потеря увеличивает ценность теряемого, но и потому, что самой своей смертью Есенин как бы заслужил любви еще большей, — она оправдала и осветила его жизнь.

Чувство, вызванное его смертью, не похоже на чувство, вызванное смертью Блока, как любовь к Есенину не похожа на любовь к Блоку. В любви к Блоку господствовало поклонение, сознание неоспоримого и удаляющего превосходства. Любовь к Есенину замешана на жалости и сострадании, на полном понимании и со-чувствии. Его любят нежней и ласковей, более по-человечески, чем обыкновенно любят поэтов — слишком божественных для человеческого к ним отношения. Чувство это разделяется всеми, кроме очень немногих озлобленных, не умеющих в «большевике» расслышать человека. Не любить Есенина для русского читателя теперь — признак или слепоты, или, если он зряч, какой-то несомненной моральной дефективности.

Есенин не великий поэт, не Блок, не Анненский, не Пастернак. В любви к нему есть всегда сознание равенства, соизмеримости с ним, полной допонятости. Он «один из нас». В нашем сердце он занимает то место, которое сорок лет назад занимал Надсон. Сравнение это, я знаю, нынче звучит обидою, и я должен сразу же оговориться, что о сравнении дарований Есенина и Надсона не может быть и речи: просто Есенин был, Надсон не был поэтом. Но их функции в общественном организме сходные. И тот и другой сосредоточили в себе с особо удивительной для среднего современного читателя силой все *слабости* и всю *тоску* своего поколения. Знаменателен образ смерти того и другого — чахотка Надсона и веревка Есенина. Первая символична для расслабленности, бессилия, бесплодия «восьмидесятников». Вторая — для пустоты, неприкаянности, ограбленности нашего поколения. Болезнь Надсона была болезнь силы. Болезнь Есенина — болезнь веры. Надсон не мог делать. Есенин не мог верить. Безверие — корень трагедии Есенина.

Обычное, «вульгарное», представление о Есенине как о поэте «левом» и «крестьянском» покоится на недоразумении. Ни тем, ни другим он не был. Представление о его «левизне» основано на его имажинизме. Имажинисты (помимо Есенина) не были «левыми» поэтами по той простой причине, что они не были поэтами. Имажинизм самого Есенина был, конечно, вполне органичен: зачатки его совершенно очевидны уже в первой из его книг («Радунница», 1916). Но имажинизм как теория не так уж далек от старого доброго «мышления образами» Белинского и Потебни. Даже неразличение «чистого» от «нечистого» (помимо его бытовой, «хулиганской», подкладки) имеет почтенную традицию

в русской литературе (с одной стороны, Андреев, Горький, натурализм Гоголя, с другой — непристойная традиция Лермонтова и Пушкина). По существу своему поэзия Есенина совершенно «правая», тесно связанная с большим прошлым (Блок, декоративное народничество стихов А. Н. Толстого, сентиментальное народничество 70-х годов и т. д.). В ней нет ничего против шерсти традиционного отношения к поэзии. Идеолог крайнего поэтического консерватизма С. А. Андреевский ограничивал область поэзии «красотой и меланхолией». Заменяем нерусскую «меланхолию» русской тоской, и это определение совершенно подойдет к поэзии Есенина, — красота старой деревни, и тоска — по чем? (Вне этого определения останутся только лжепророческие поэмы скифской эпохи, явно ненастоящие). Тоска, «сердечная тоска», которую Пушкин слышал в песнях ямщика, которая звучит в старой народной песне и во всей той полосе русской поэзии, которую можно назвать народно-романтической, — у Григорьева, у Некрасова, у Блока, и у неизвестных поэтов-народников вроде Сурикова и Садовникова, и в лирической прозе пленительного и забытого Левитова, и в репертуаре Плевицкой.² За эту тоску мы и любим Есенина. Все его хулиганство, конечно, не более, как одно из проявлений этой тоски: сочетание традиционно-русское. И тоска эта звучит у Есенина в стихах, по своей легкой, доступной и сладостной мелодичности единственных в современной поэзии. По «музыкальности», в том смысле, как это слово понимается средним читателем стихов, Есенин стоит рядом с Блоком и имеет то преимущество, что его музыка не отягчена и не осложнена слишком внемирной музыкой сфер.

И песенность Есенина, и его тоска, конечно, очень русские, но не непременно «народные» или «крестьянские». По паспорту крестьянин и романтик крестьянства в своей ранней поэзии, Есенин не был крестьянским поэтом. Народную песню и народную легенду он воспринимал сквозь их литературные отражения, хотя бы через Клюева. Клюев был более, чем Есенин, связан со своей, обонежской почвой, но и у него литературная традиция преобладает над народной.

«Литературность» же Есенина особенно ясно выступает из сопоставления его близости с литературной поэзией, при полном отсутствии близости с живым народным творчеством. В его первых книгах постоянно звучит Блок и никогда не звучит частушка. Русское крестьянство сейчас создает удивительно живую и живучую поэзию (и как раз Рязанская губерния — один из центров этого творчества), а поэт, вышедший из рязанского крестьянства, совершенно с этой поэзией не связан.

Народничество Есенина литературного происхождения и обусловлено литературными влияниями. Сначала ретроспективная романтика Клюева, потом социалистическая романтика Иванова-Разумника. И Клюев, и Иванов-Разумник — люди противоположно-го Есенину склада, люди с прочным идейным стержнем без сомнений и без тоски. Подчиниться им Есенин должен был очень легко. Но это было именно подчинение внешней воле. Имажинизм же с его анархической богемностью был для Есенина освобождением и обнаружением, — он оставался один с собою и своей тоской.

После того, что он изверился и в клюевскую Русь, и в разумниковскую Инонию,³ Есенину осталось только одно — вера в себя как поэта и любовь к своей славе. Многие поэты любили и любят свою поэзию и свою славу, веруют в свое величие и требуют себе поклонения. Но у Есенина не было этой преданности себе. Поэзия и слава были для него соломинкой утопающего. Поэтому и в самой своей самовлюбленности он так глубоко человечен и трогателен, что мы его еще больше любим за нее. Подлинной веры в себя у него не было, и все его самопоклонение, как и все его хулиганство, было только одной из форм его беспредметной и безнадежной тоски.

От другой его веры и любви, романтической любви к некоторой поэтической Руси, у него тоже осталась одна тоска, одно разочарование. Революция, которую он сквозь клюевские и разумниковские очки увидел было как осуществление какой-то эстетически-мистической утопии, рано обернулась Есенину крушением всякой романтики: предстала ему уродливым, прозаически-пресным, механически-бездушным своим лицом — плугом, вырывающим из родной земли все, что было дорого ему своей красотой и поэзией.

¹⁰ Русская литература, № 4. 1990 г.

В подлинной Революции — не утопической революции Скифов, но Революции чеки и комсомола — романтик Есенин не мог найти ни красоты, ни предмета веры. Эта жгучая и острая тоска, безнадежное разочарование в обманувшей его Родине звучит с изумительно искренней силой в двух из его поздних стихотворений, которые несомненно останутся в числе самых подлинных и памятных стихов нашего времени — «На Родине» и «Русь Советская».⁴ Но вообще стихи его последних лет (напр. «Персидские мотивы») свидетельствуют о явном упадке его поэтической силы; и когда последняя его вера — в свои стихи — рушилась, оставался единственно неизбежный конец.

У Есенина много плохих стихов и почти нет совершенных. Но (если исключить фальшивую и ненастоящую «Инонию» и примыкающий к ней цикл) во всех его стихах есть особое очарование, какая-то особая трогательность, которая так влечет к нему и заставляет так человечески его любить. Кроме той тоски, за которую русский человек все прощает, в Есенине был еще какой-то огромный запас человеческой нежности. Она особенно заразительна в его чудных стихах о животных. Все помнят его «Жеребенка» и его «Собаку». Это не «стихийные», не «настоящие», а совершенно очеловеченные животные. Ни у одного русского поэта я не знаю таких трогательно-человеческих стихов.

Нигде, может быть, тоска Есенина не звучит так ясно, как в «Пугачеве». «Пугачев», конечно, слабая вещь. Формально трудно что-нибудь возразить тому критику, который назвал ее «жалкой и смехотворной».⁵ Но надо все-таки быть человечески-глухим, чтобы не расслышать за этими слабыми стихами и нелепыми образами самой страшно подлинной, пожирающей и безысходной тоски писавшего ее человека. Особенно последние слова Пугачева, когда изменившие ему товарищи бросаются его вязать, несравненны по своей хватающей заразительности:

Где-ж ты? Где ж ты, былая мошь?
Хочешь встать и рукою не можешь двинуться.
Юность, Юность! как майская ночь,
Отцвела ты черемухой в степной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесниц,
Золотою известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекает петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица.
И все дальше, все дальше встревоживши сонный луг
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под думой так же падаешь, как под ношей? . .
А казалось . . . казалось еще вчера . . .
Дорогие мои . . . дорогие . . . хор-рошие . . .

Пугачев, предаваемый своими сообщниками, — Есенин, *предаваемый своей последней верой* — в свои стихи. «Пугачев» был началом упадка Есенина. Лучшие его стихи принадлежат ко времени непосредственно предшествующему, ко времени его московской жизни с имажинистами, когда он уже успел освободиться от фальши разумниковского псевдомистицизма. Сюда принадлежат «Трерядница», «Песни забулдыги» и «Кобыльи корабли» с пленительным «Сорокоустом». Правда, и в этих циклах мало стихотворений вполне удовлетворительных, как «Жеребенок» или «Песнь о собаке». Почти в каждом есть или слишком явная реминисценция (обыкновенно из Блока, например, чудные стихи «Не жалею, не зову, не плачу» слишком неизбежно вызывают «Осеннюю волю»), или «пустые», малоубедительные стихи, или чрезмерно неоправданные образы, или совсем неубедительная лжемистика («Или, Или, Лима Самахфани» с характерными для книжности Есенина неверными ударениями). Но зато есть в них отдельные стихи, до краев наполненные такой безмерной и такой совершенно излившейся «сердечной тоской», что их

место рядом с самыми лучшими, самыми чистыми, самыми незабвенными стихами русских поэтов; как, например, это начало:

Проплясал, проплакал дождь весенний,
Замерла гроза.
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин,
Подымать глаза...

Или:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Или:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Или конец стихов к Ключеву:

Так мельница крылом махая
С земли не может улететь.

Или эти три строфы:

И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.

Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И не обмытого меня
Под лай собачий похоронят.

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
И Русь все также будет пить,
Плясать и плакать у забора.

¹ Данная статья была опубликована в журнале «Воля России» (1926. № 5. С. 75—80).

² Искусство Н. В. Плевницкой, которую Святополк-Мирский видел в 20-е годы на парижской эстраде, критик ценил за связь с народной песенной устной традицией. К параллели с талантом певицы критик обратился и в рецензии на собрание сочинений поэта: «Есенин подлинно связан со стихией народной лирики... Он сродни и литературной песенной лирике — Кольцову, Григорьеву, лирической прозе Левитова, сродни, конечно, и Плевницкой... Эта песенная лиричность и делает Есенина поэтом настоящим, в какой-то мере даже большим» (*Святополк-Мирский Д.* Критические заметки // *Версты.* 1927. № 2. С. 255—256).

³ Имеется в виду концепция, изложенная Р. В. Ивановым-Разумником в его работе «Россия и Инония» (Берлин: Скифы, 1920).

⁴ Впервые оценка «Руси Советской» дана в некрологе Есенина: «Стихотворение... выражающее глубокое разочарование и отчужденность от новой комсомольской России, является одной из самых пронзительных тихих элегий в русской поэзии» (*S. Mirsky D. S. A. Esenin // The Slavonic Review.* 1926. V. 4. № 12. P. 706—707). Здесь отразилось беспокойство критика очевидной ситуацией, когда молодежь «Новой России», воспитанная напостовской критикой и «агитками Бедного Демьяна», начала отворачиваться от гуманной поэзии Есенина.

⁵ Цитируется статья Г. Адамовича, с которым Святополк-Мирский находился в острой полемике по вопросу об отношении к советской литературе и который заявил, что «ничего русской поэзии Есенин не дал», что «это до крайности скудная поэзия». В полемике с Адамовичем Святополк-Мирского поддержала М. Цветаева, осудившая пренебрежительное отношение к поэзии Есенина (см.: *Цветаева М.* Цветник: Поэт о критике // *Благонамеренный.* 1926. № 2. С. 135).

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. МОЛОДЕЦ. Сказка. Изд. «Пламя». Прага. 1924 г.¹

Первые книги Марины Цветаевой вышли еще в 1910 и 1912 году. Но после того она десять лет ничего не печатала, и только в 1922 году вышло одновременно несколько книг ее стихов, написанных за годы войны и революции, и она вдруг предстала нам во весь

свой (тогдашний) рост, — говорю «тогдашний», потому что с тех пор она еще много выросла и продолжает расти, неудержимо, как в бочке князь Гвидон. («Современные Записки» первые явили Марину Цветаеву эмигрантской публике, напечатавшие (№ 7 и 8) ряд ее стихотворений, привезенных из Москвы Бальмонтом).² Таким образом, несмотря на ранний (еще гимназисткой) дебют, Марина Цветаева должна почитаться поэтом послереволюционным.

Среди поэтов послереволюционных ей принадлежит или первое, или одно из двух первых мест: единственный возможный ее соперник — Борис Пастернак — поэт совершенно иного, чем она, склада. При полном несходстве этих двух поэтов интересно отметить черты, общие обоим. Кроме явной, очевидной, несомненной новизны (беру это слово в строго бергсоновском смысле) — признака как-будто необходимого и неизбежного в истинно большом современном поэте, кроме общей обоим приподнятости, которая почти не может считаться индивидуальным признаком в поэте лирическом, единственное, что есть и в Цветаевой, и в Пастернаке, — это мажорность, бодрая живучесть, «приятие» жизни и мира. Тех, кто болеет патриотической тревогой, должно радовать, что *два первых поэта* нашего поколения, во всем остальном столь несходные, объединены именно *этим* признаком. Значительность этого факта подчеркивается тем, что вся русская литература предшествующего поколения (за исключением одного Гумилева) была объединена признаком как раз обратным — ненавистью, неприятием, страхом перед жизнью. Эта настроенность, мы теперь знаем, была пророческой, и вообще после явного примера Блока мы стали верить в пророчесственность поэзии. Не может ли быть, что Цветаева и Пастернак явление столь же пророческое, как Чехов и Блок? И в то же время на Западе (говорю преимущественно о знакомой мне Англии, но, кажется, это верно и относительно Франции и Германии) поэты того же калибра проникнуты как раз *вчерашней*, предсмертной нашей настроенностью.

Но, повторяю, за изъятием этих черт, Пастернак и Марина Цветаева несходны, почти противоположны. Пастернак зрителен и веществен. Его поэзия — овладение миром посредством слов. Слова его стремятся изображать, передавать, *обнимать* вещи. В этом объятии и овладении реальными вещами вся сила Пастернака. Он «наивный реалист». Марина Цветаева — «идеалистка» (не в вильсоновском, а в платоновском смысле). Вещественный мир для нее только эманация «сущностей». Вещи живут только в словах. Они не *sunt*,³ а *percipiuntur*.⁴ *Sunt* только их сущности. Самая зрительность ее, такая яркая и убедительная (особенно в ее прозе*), как бы бестелесна. Люди ее воспоминаний, такие живые и неповторимые, не столько бытовые, трехмерные люди, сколько сведенные почти к точке индивидуальности, неповторимости. В этом умении мимо и сквозь «зримую оболочку» увидеть ядро личности и, несмотря на его безразмерность (точка), передать единственность и неповторимость этого ядра — несравненное очарование прозы Марины Цветаевой. Наоборот, Пастернак в своих рассказах («Детство Люверс») дает одни оболочки, и души его не личности, а геометрические места пересечения внешних впечатлений. (Это и имеют в виду, когда говорят о конгениальности Пастернака Прусту).⁵

В стихах эта разница проявляется в том, что для Пастернака слово — знак вещи. Язык его «нейтрален», «интернационален», вполне переводим. Для Цветаевой слово не может быть знаком вещи, которая сама только знак. Слово для нее «онтологичнее» вещи — прямо, мимо вещи связано с сущностями; абсолютно, самоценно, незаменимо, непереводаемо. Стихи ее неотрывно русские, самые неотрывнорусские во всей современной поэзии. И ритм, который для Пастернака только данная схема, только сеть долгот и широт (что вовсе не умаляет его как ритмика), для Марины Цветаевой — сущность стиха, *сам* стих, его душа, его живящее начало. Пастернаковский ритм — кантовское, цветаевский — бергсоновское время.

* «Герой Труда» (Воля России, 1925 г. № 9—10 и 11) и «Мои Службы» (Совр. Зап. № 26).

В воспоминаниях Марины Цветаевой о Брюсове («Герой Труда») есть эти замечательные слова: «Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано».⁶ Безграничность у ней была с самого начала. (Не хочу этим сказать, что дарование ее не имеет границ; но эти границы только сбоку, не спереди; оно бесконечно раскрывающийся угол, а не замкнутый треугольник; ограничено поле, но не дальность ее зрения). Судя по ее ранним стихам, можно было бояться, что она не сумеет преодолеть границей свою безграничность, как не сумел в свое время Бальмонт. В ее стихах, написанных до 1919—1920 года, была чрезмерная легкость, незадержанность, которая давала возможность говорить о «распушенности».⁷ В них не было дисциплины стиля. Начиная, приблизительно, с 1920 года, она неуклонно и победоносно преодолевает свою безграничность и, как всякий мастер, *zeigt sich erst in die Beschränkung*.⁸ (Прибавлю, что в ее прозе этот процесс начался позже и достиг еще не той ступени). В стихах 1916—1920 года были изумительные отдельные, минутные взлеты, есть Богом данное, единственное «необщее выражение», без остатка спасавшее даже (нередкие в те годы) худшие безвкусицы. Но не было полного овладения своим «демоном». В новейших ее вещах — «Молодец», «Поэма Конца», «Крысолов», «Поэма Горы», «Тезей» — особенно бросается в глаза именно это полное овладение, полная техническая удача.

Для столь романтического (т. е. субъективного и непосредственного) по природе поэта, каким была Марина Цветаева, такой путь — редкость. Главную роль в этом преодолении «своей безграничности» сыграла ее «словесность», т. е. ее *чуткость* (и поэтому честность) к слову. Большую роль сыграли и прикосновение к стихии народной словесности (начиная с «Царь-Девицы»), и особенно (начиная с нее же) *дисциплина большой формы*, повествовательной и безличной, которая дала ей преодолеть «эмпирическую субъективность» ее ранней лирики, т. е. сделать свой стих из средства изливания переживаний орудием постройки поэтических зданий. «Царь-Девица» и «Молодец» написаны на извне данные темы и свободны от «психологической информации». Но и как лирический поэт Марина Цветаева вышла преображенной из этой школы. Ее последние *лирические поэмы* — «Поэма Горы» и «Поэма Конца» — совершенно не «фонографичны», вполне конструктивны. Это не лирические *записи* переживаний, а поэтические (poetikos — значит созидательный, конструктивный) постройки из *материала* переживаний.

Главное, что ново и необычно в последних вещах Марины Цветаевой — и неожиданно после ее первых стихов, — это присутствие *стиля*. Не стилизации, а настоящего, своего, свободно рожденного *стиля*. В наше время она единственный поэт, достигший *стиля*. Присутствие *стиля* дает ее последним вещам единство и необходимость, а читателю уверенность, что он не будет обманут или оскорблен фальшивой нотой. Такое мое суждение, наверно, удивит иных читателей, которые, как раз наоборот, находят в стихах Цветаевой дерзкое нарушение всех *ихних* канонов вкуса и ничем не оправданную (непонятную) пестроту. Но стиль ее нужно понять изнутри, и для этого нужно то, что Тургенев называл «симпатической настроенностью» (и без чего стихов вообще читать не стоит).

«Молодец» — первая вещь Марины Цветаевой, в которой стиль достигнут. Он отличается от «Царь-Девицы» и «Переулочков» тем, что в нем уже нет стилизации. Это уже не подражание народной поэзии, это не похоже на народную поэзию, хотя тесно связано с ней, как дерево с почвой, — не сходством, а родством. Цветаева давно уже идет по пути освобождения русского языка от пут греко-латинской и романо-германской грамматики и возвращения ему его природной свободы и природных интонационных средств связи. (В этом отношении она соратница Ремизова). В «Молодце» это осуществлено. В нем господствует в высшей степени русская «безглагольность» (не в бальмонтском смысле, и не в шахматовском, а в том, что она предпочитает обходиться без глаголов). Отсюда прямое следствие — «прерывность» ритма, так как «текущая» пушкинского ямба была обусловлена именно его связью с ломоносовско-карамзинским глагольно-причастным синтаксисом. Необыкновенно искусно Марина Цветаева умеет

использовать односложные слова и смежные ударения. Слово, даже слог получают у нее новую свободу и существенность, и интонация становится главной грамматической силой.

Я вижу, у меня уж нет места, чтобы изложить содержание «Молодца»; укажу лишь, что сюжет взят из народной сказки «Упырь». Но трудности и непонятности изложение самого поэта не представляет никаких. Нужно только внимание. Но без внимания вообще ничего не следует читать. Новый стиль требует большего внимания, чем старый и давно разжеванный. Но не больше, чем от ребенка (или взрослого), впервые начинающего читать русские стихи и читающего «Полтаву» или «Демона». Называю именно эти две поэмы, потому что помню, как я читал их десяти лет, удивленно и восхищенно открывая новый мир, сперва непонятный, а потом вдруг понятный. То же сперва непонятное, а потом вдруг понятное откровение нового мира, новой системы отношений и ценности я переживал, читая последние поэмы Марины Цветаевой. Это совсем не такое уж обычное переживание, так как истинно новое редко, а особенно истинно новое, «полный и цельный» стиль.

«Молодец» вышел в 1924 году, а написан в 1922 году. С тех пор (и тем я начал свою статью) Марина Цветаева не сидела на месте, а росла не по дням, а по часам. «Поэма Конца», напечатанная в пражском сборнике «Ковчег» (1926), «Крысолов» — в «Воле России», «Поэма Горы» и «Тезей», еще, к сожалению, не изданные, — еще более высокие достижения, чем «Молодец».

Я сознаю, что в этой рецензии я так ничего и не сказал о Марине Цветаевой и никого ни в чем не убедил. Но о ней надо писать не рецензии, а книги (если вообще стоит писать не поэтам о поэтах), — и гордясь тем, что она наша соотечественница, и радуясь тому, что она наша современница.

¹ Статья была опубликована в «Современных записках» (1926. Т. 27. С. 569—572). Одновременно Святополк-Мирский поместил короткую рецензию в «The Slavonic Review» (1926. V. 4. № 12. P. 775—776). В ней он, в частности, писал: «Великим событием в русской литературе на протяжении последних двух-трех лет является чрезвычайный, следует даже сказать неожиданный, рост поэтического гения Марины Цветаевой; «Они (поэмы «Молодец», «Поэма Конца», «Крысолов». — В. П.) могут рассматриваться как великая поэзия совершенно нового свойства».

² Оба номера «Современных записок» со стихами М. Цветаевой появились в 1921 году. Первой подборке из тринадцати стихотворений («Мое убежище от диких орд. . .», «Закинув голову и опустив глаза. . .», «Развела тебя в стакане. . .» и др.) была предпослана страница воспоминаний К. Бальмонта о Марине Цветаевой в Москве (Современные записки. 1921. Т. 7. С. 92).

³ Существуют (лат.).

⁴ Воспринимаются (лат.).

⁵ В статье о прозе Б. Пастернака Святополк-Мирский писал: «Впрочем, о прямой зависимости от Пруста (которого в России не знают) не может быть и речи, — просто некоторое сходство намерений» (Современные записки. 1925. Т. 25. С. 544).

⁶ Цветаева Марина. Герой труда // Наше наследие. 1988. № 5. С. 54.

⁷ Святополк-Мирский имеет в виду собственное высказывание о ранних стихах поэта: «. . .Марина Цветаева, талантливая, но безнадежно распушенная москвичка» (Русская лирика. . . С. XII).

⁸ Сказывается прежде всего в ограничении (нем.).

«КРЫСОЛОВ» М. ЦВЕТАЕВОЙ ¹

На тех, кто любил Марину Цветаеву за «Стихи к Блоку», «Психею», «Фортуну», последние ее поэмы, написанные за границей, производят в большинстве случаев впечатление странное и неприятное.оборот, принятый ее творчеством, раздражает и разочаровывает их — они чувствуют себя обманутыми. Они жалуются на «непонятность» и «надуманность» этих новых стихов и с сожалением вспоминают о «простоте» и «непосредственности» прежних. И несомненно, что после «Ремесла» (или, вернее, начиная с «Ремесла») то же, что можно назвать творческой передачей, значительно осложнилось у Цветаевой и приняло формы настолько новые и необычайные, что прежняя

установка читательского восприятия для них уже не годится. Всякое восприятие писателя читателем зависит от соответствия читательского представления о поэте его действительному существу. И так как это существо «всегда течет», читательское представление о нем должно тоже постоянно применяться к каждому его повороту или терять возможность его воспринимать. История каждого «романа» писателя с читателем полна таких разрывов, за которыми не всегда следуют сближения. И чем сильнее была читательская связь с прежним писателем, тем труднее, тем даже безнадежнее возобновление ее с писателем изменившимся. Достаточно сказать, что до сих пор гипноз «Войны и Мира» и «Анны Карениной» настолько силен над русским (и иностранным) читателем, что исключает всякую возможность подлинно художественного понимания старого Толстого. И, наоборот, восстановление связи нередко происходит ценой полного забвения первоначального предмета любви: так поклонники «Детства» и «Воспоминаний» Горького утратили всякое воспоминание даже о таких несравненных вещах, как «Мой спутник» или «Двадцать шесть и одна». Так и с Мариной Цветаевой — трудно нащупать то единство, которое связало бы «Фортуна» и «Конец Казановы» с «Поэмой Конца» и «Крысоловом».

Связующее же единство это несомненно существует — не столько в стиле и форме, сколько в том, что (если бы мы не боялись так напомнить о Белинском и Н. И. Карееве²) мы бы до сих пор называли мирозерцанием. Определить это «мирозерцание» своими словами можно только приблизительно: оно романтично и идеалистично, но и то и другое как-то не по-русски. В цветаевском романтизме больше линии, чем цвета (самая ее невидимость происходит не от смазанности и неясности отдельных линий, а от чрезмерного количества мелких, разнообразно пересекающихся линий). Такой «линейный» романтизм вообще не русская вещь, и не случайно, что столь различные между собой «Фортуна» и «Крысолов» — два одновременных заострения этого романтизма — на иностранные темы. (С другой стороны, с точки зрения чисто языковой Цветаева *очень* русская, почти что такая же русская, как Розанов или Ремизов, но эта особо прочная связь ее с *русским языком* объясняется не тем, что он *русский*, а тем, что он *язык*: дарование ее напряженно словесное, лингвистичное, и пиши она, скажем, по-немецки, ее стихи были бы такими же насыщенно-немецкими, как настоящие ее стихи насыщенно-русские).

В прошлом Цветаевой «Крысолов» имеет предшественников — много «крысоловно-го» есть в «Царь-Девиге» (особенно в ее конце) и совсем как предисловие к нему звучит (напечатанная тоже в «Воле России») восхитительная «Полотерская». Во всех этих вещах романтизм Марины Цветаевой принимает определенно бунтарский оттенок, не только в том смысле, что в них ясно звучат определенно социальные, революционные ноты (звучащие и в других вещах, напр. в цикле «Заводских»), но и потому, что в них ярко выступает озорство, можно почти сказать, хулиганство Цветаевой. (Хулиганство, гораздо более задорное и живучее, чем у покойного Есенина). Озорство ее находится в подлинном родстве с частушкой, родстве не только духовном, но и формальном — и это одно из многочисленных указаний на сближение современной литературной поэзии с современной же поэзией народной. Понятно, что для среднего романтически настроенного читателя такие вещи, как в первой главе «Крысолова»: «маленькая диверсия в сторону пуговицы», должны производить впечатление болезненно неэстетическое и непозитическое. Между тем именно в таких местах, именно в таком издевательстве над устоями мира вещественного и устойчивого, подлинный романтизм цветаевской поэзии утверждает особенно явственно.

Тема «Крысолова» — одна из самых вечно романтических тем, созданных романтичнее всего из народов — немцами. Это прославление романтичнее всего из земных вещей — *der deutschen Musik*³ — и посрамление косности и подлости устроенного общества. В выборе этой темы Марина Цветаева была верна своему романтическому существу. В разработке она подчеркнула и выдвинула ее анархические возможности.

Для цветаевского «Крысолова» по сравнению с другими «Крысоловами» (напр. Браунинга⁴) характерно сильное подчеркивание сатирического элемента в изображении благонравных бюргеров Гаммельна, где

... один
Только товар и дорог:
Грех.
(Дорог — редок),

и внесение мотива обуржуажения разъяевшихся «красных» Крыс в гаммельнских подвалах, от которого их спасает анархический зов «немецкой музыки». Еще особенно примечательна пятая глава, где ратсгерры⁵ обсуждают музыку и достоинство музыканта. Это глава — торжество сатирической манеры Цветаевой. Наконец, интересно, что конечный мотив заданного сюжета — сказочное волшебное царство, «детский рай», в который музыкант уводит детей обманувших его гаммельнцев, — сохранился у Цветаевой только в *заглавии* шестой главы. Таким образом, месть музыканта, утопившего детей, только видимая в немецкой легенде (ибо утонувшие дети попадают в «детский рай»), у Цветаевой делается реальной, что придает всей сатире более сухой и как бы жестокий тон.

Несомненно, что «Крысолов» не только то, чем он кажется на первый взгляд, не только изумительная по богатству и стройности словесная постройка, — это серьезная «политическая» (в самом широком смысле) и этическая сатира, которой еще может быть суждено сыграть свою роль в росте нашего общего сознания.

¹ Статья была опубликована в журнале «Воля России» (1926. № 6—7. С. 99—102).

² Н. И. Кареев (1850—1931) написал, кроме известных исторических трудов, популярные «Беседы о выработке мирозозерцания» (5-е изд. СПб., 1904) и «Введение в изучение социологии» (3-е изд. СПб., 1913).

³ Немецкой музыки (нем.).

⁴ Святополк-Мирский был знаком с двумя изданиями поэмы Р. Браунинга: *The Pied Piper of Hameln*. Boston; New York. . . 1897. P. 13—23; *Poems of Robert Browning*. Oxford University Press. London. . . 1917. P. 78—81. В 1937 году он составил «Антологию новой английской поэзии» (Л., 1937), в которую включил поэму Браунинга «Пестрый флейтист из Гаммельна» в переводе Е. Полонской. В момент работы над корректурой книги он был арестован. Можно не сомневаться, что, включая в антологию поэму Браунинга и особенно стихи Г. К. Честертон, критик понимал, что им, как и «Крысолову» Цветаевой, «еще может быть суждено сыграть свою роль в росте нашего общего сознания».

⁵ Члены муниципалитета (нем.).

ЗИНАИДА ГИППИУС¹

Было бы несправедливо, празднуя шестидесятилетие Зинаиды Гиппиус, судить ее исключительно на основании того, что она делает теперь и забывать об ее долгом и славном прошлом. Моральная дальтонистка, лишенная способности непосредственного узнавания и различения добра и зла, она, на свою беду, одарена сильными этическими эмоциями, только некстати приуроченными. Отсюда вся неудачность и нелепость ее нынешней позиции — беспощадного судьи, не умеющего читать в законе. Присоединив к этому то, что весь ее жизненный путь трагически искажен роковой связанностью с Мережковским, присоединив чисто биологическое сознание сиротства, естественное в человеке «пресрежившем свой век» и всегда дающее какую-то «праведность» его «неправым упрекам» и его раздражению на «багровые лучи молодого, пламенного дня», мы поймем и простим нынешнее лютое озлобление Зинаиды Гиппиус и без горечи, с благоговейной грустью обратимся к тем ее созданиям, которые дали ей непоколебимое место в пантеоне русского творчества.

Это, конечно, ее стихи. Чем дальше мы отходим от символизма, тем более становится ясно, что Зинаида Гиппиус была едва ли не самым крупным поэтом «первого выпуска» символистской школы (выпуска 90-х годов). Из всех старших символистов Зинаида Гиппиус была самая русская, с самыми глубокими корнями в русской традиции. Товарищами ее в этом были Александр Добролюбов, Иван Коневской, Владимир

Гиппиус, но ни один из них не осуществился вполне как поэт — Коневской погиб молодым, Добролюбов отрекся от поэзии во имя мистики, Гиппиус остался хаотическим неудачником. Одна Зинаида Николаевна добилась подлинных, прочных, совершенных достижений на путях метафизической поэзии. Ее метафизическая традиция восходит, с одной стороны, к Баратынскому и Тютчеву, с другой — к Достоевскому. С Тютчевым ее связь особенно ясна, хотя от нее был совершенно скрыт основной мир тютчевской поэзии, лежащий за «зримой оболочкой» видимой природы, и даже сама видимая природа — нет поэта более отрешенного от всего зримого, чем Зинаида Гиппиус. Но тон ее несомненно близок тютчевскому. Особенно сближает ее с ним то, что одна из всех русских поэтов после него она создала настоящую поэзию политической инвективы. Даже написанные в состоянии крайнего озлобления стихи 1917—18 годов — подлинно-поэтическая брань, достойная сравнения со стихами Тютчева на приезд Австрийского Эрцгерцога или на князя Суворова. Раньше же она написала два истинных шедевра пророческой инвективы — «Петербург 1909 года»:

И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь —
Нет, ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг.
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

и «Петроград 1914 года»:

Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Воскреснет он, все тот же бледный, юный,
Все тот же в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветренных раздолий
И в белоперистости вешних пург.
Создание революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

Думала ли Кассандра о своих пророчествах, когда детище Петрово «Аврора» входила в Неву?

Но главное ядро ее поэзии не это великолепное красноречие, а цикл стихов, единственных в русской литературе, в которых глубочайшие абстрактные переживания воплощены в образы изумительно жуткой конкретности. Лучшие из них на свидригайловскую тему, о вечности — русской бане с пауками по углам, на тему о метафизической скуке, о метафизической пошлости, о безнадежном отсутствии огня и любви, о метафизической «липкости» своей же души. Воплощающие мучительный внутренний опыт (опыт, родственной гоголевскому в такой же мере, как и подпольно свидригайловско-бобковому опыту Достоевского), эти стихи исключительно оригинальны, и я не знаю ни на каком языке ничего на них похожего. Это — «Там», «Между», «Нелюбовь», «Мудрость», «Черный Серп», «Дьяволенок», «А потом?», «Возня», «Серое платье», «Она», может самое острое и едкое из всех:

В своей бессовестной и жалкой низости,
Она, как пыль, сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почувал жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

¹ Краткий очерк поэзии З. Н. Гиппиус опубликован к шестидесятилетию поэтессы в журнале «Версты» (1928. № 3. С. 141—144).

РЮРИКОВИЧИ

(окончание)

В двух предшествующих статьях (см. № 2 и 3) рассказ о политических деятелях из династии Рюриковичей был доведен до Ивана III. В годы его правления существенно укрепилось, говоря словами Ивана Грозного, «Российского царствия самодержавство»;¹ этот процесс был продолжен и при преемниках Ивана — его сыне и внуке. Обратимся к биографиям последних Рюриковичей.

Таблица 10



ВАСИЛИЙ III ИВАНОВИЧ (1479—1533). Василий был старшим сыном Ивана III от Софьи Палеолог. Как мы уже писали, в 1497 году на него обрушился гнев отца: Иван велел схватить Василия и «посади его за приставы на его же дворе», а наследником объявил его племянника, своего внука Дмитрия Ивановича. Однако уже в 1499 году Иван вернул свое расположение жене и сыну, Василий был объявлен наследником. В августе 1505 года княжич женился на боярской дочери Соломонии Сабуровой, избранной из десяти претенденток в итоге грандиозных смотрин, на которые свезли 500 невест.² Свадьба состоялась 4 сентября, а в октябре скончался Иван III, и Василий стал великим князем всея Руси. По завещанию отца ему досталось 66 городов, тогда как на долю его братьев — лишь 30. Юрий получил Дмитров и Рузу, Дмитрий — Углич, Семен — Калугу, однако все они были фактически в полной зависимости от великого князя.

Перед Василием стояло немало сложных внешнеполитических проблем, с которыми он успешно справился. Он настойчиво боролся за влияние в Казани, стремясь посадить на казанский престол дружественных ханов, вел сложную дипломатическую игру с Крымским ханством, являвшимся в это время едва ли не самым главным источником опасности. Тяжелое испытание выпало Руси в 1521 году, когда крымский хан Мухаммед-Гирей с огромным войском вторгся в центральные районы страны. Русские заслоны на Оке были прорваны у Серпухова и Каширы, воеводы перебиты или пленены. По некоторым данным, татары дошли до подмосковного села Воробьева. Василий покинул столицу и вынужден был дать хану грамоту с обещанием «дани и выхода». Однако грамоту эту хитростью заполучил и уничтожил рязанский наместник — князь И. В. Хабар. Татары с огромным полоном вернулись восвояси. «Крымский смерч», как назвал этот набег Мухаммед-Гирей А. А. Зимин, был, по счастью, единственным неприятельским вторжением за время правления Василия.

Сложными были отношения с Великим княжеством Литовским, где к власти пришел враждебный Василию польский король Сигизмунд. В результате войны с Литвой Василию удалось вернуть в 1514 году старинный русский город Смоленск.

Не меньше тревожили Василия и дела внутренние. Он стремился не допустить усиления и тем более конфронтации своих младших братьев, особенно опасался он Юрия. Не могло не беспокоить Василия и отсутствие наследника: Соломония была бесплодной. В 1525 году, после немалых колебаний, преодолев сопротивление некоторых церковных иерархов, Василий решился на развод: Соломония была насильно пострижена в монахини. Два месяца спустя великий князь женился на молодой красавице Елене Глинской. На его выбор, вероятно, оказало влияние не только то, что Елену отличали «лепота лица и благообразие возраста», но и родовитость семьи: «Глинские вели свой род от ханов Большой орды, чингизида Ахмата»;³ ее дядя Михаил Львович Глинский был влиятельнейшим магнатом и политическим соперником короля Сигизмунда.

Василий умер в 1533 году. В сентябре, помолившись в Троице-Сергиевом монастыре в дни памяти Сергия Радонежского, он отправился в Волок Ламский поохотиться. Но прервать забаву заставила неожиданная болезнь: «явился у него мала болячка на левой стране, на стегне (бедре. — О. Т.)... з булавочную голову». Так началась болезнь, сведшая великого князя в могилу, несмотря на усилия врачей. Умиравшего князя всего более тревожила судьба престола: он объявил своим наследником сына Ивана, которому в ту пору исполнилось всего три года, а регентами назначил бояр Д. Ф. Бельского и М. Л. Глинского. 3 декабря Василий скончался.⁴ Характеризуя его, А. А. Зимин писал: «Это был осторожный и трезвый политик. Человек эпохи Возрождения, Василий сочетал в себе горячий интерес к знанию с макиавеллизмом честолюбивого правителя... Его внешняя политика отличается продуманностью и целеустремленностью, умением использовать международную обстановку для проведения в жизнь военных акций».⁵ Он оставил Ивану IV единое государство: в 1510 году в состав Руси волилась Псковская земля, в 1520 году — Рязанское княжество. Уделы братьев Василия сохраняли лишь номинальную независимость.

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ (1530—1583). Иван Грозный — один из самых выдающихся государственных деятелей допетровской Руси. Его деяния широко известны, его царствованию посвящена обширнейшая литература,⁶ поэтому лишь напомним основные вехи его жизни.

Когда умер Василий, Ивану было три года; спустя пять лет, в 1538 году, умерла Елена Глинская. Существуют предположения, что активно вмешивавшаяся в политическую жизнь регентша-мать была отравлена. Осиротевший отрок оказался свидетелем непривлекательной и жестокой борьбы группировок, претендовавших на первенство, — Глинских, Шуйских, Бельских. На княжича не обращали внимания. Впоследствии Иван вспоминал: играет он с братом «в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем в постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет — ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб на господ».⁷ Во время очередной дворцовой «замятни» заговорщики во главе с Иваном Шуйским ворвались «в постельные хоромы не по времени, за три часа до света», немало напугав тринадцатилетнего Ивана. Год спустя любимца Ивана боярина Воронцова избili тут же во дворце, разорвали на нем одежду, пиная, вытащили из сеней на площадь. Лишь заступничество Ивана спасло ему жизнь, Воронцов был сослан в Кострому. В 1546 году толпа недовольных пищальников (воинов, вооруженных пищальями) попыталась прорваться с челобитьем к Ивану, ехавшему на охоту; охрана великого князя их задержала, в схватке погибло несколько человек. Обвиненных в подстрекательстве к мятежу казнили, хотя, разумеется, от имени Ивана расправлялись со своими соперниками очередные временщики.

В 1547 году Иван был венчан на царство. Это было официальное принятие нового титула, хотя в документах царем именовался уже Василий III. В том же году Иван женился на Анастасии Романовне Захарыной, дочери боярина. Этот брак некоторые княжеские фамилии расценили как бесчестие, ибо Иван женился «на рабе своей». 1547 год был

зловещим: трижды горела Москва, причем во время последнего, июньского пожара сгорело 25 тысяч дворов и погибло, по подсчетам летописца, 1700 человек.

С 1549 года вокруг Ивана группируются его единомышленники и помощники, которых впоследствии Андрей Курбский назовет «избранной радой». Это были окольный Алексей Адашев, думный дьяк Иван Висковатый, митрополит Макарий, священник Сильвестр. Началась пора реформ, направленных на укрепление самодержавной власти царя.⁸

В 1552 году русское войско, возглавлявшееся самим царем, осадило и взяло Казань. Казанское ханство было ликвидировано, Казань включена в состав Руси, угроза татарских набегов с востока навсегда миновала.⁹

В 1553 году Иван тяжело заболел, и в какой-то момент его смерти ожидали с часу на час. Царь потребовал, чтобы бояре присягнули его сыну Дмитрию (в том же году младенец Дмитрий умрет). Но у него оказался сильный соперник — двоюродный брат Ивана, князь Владимир Андреевич Старицкий. Мнения бояр разделились; как писал впоследствии царь, многие из них «восхотались, как пьяные, решили, что мы уже в небытии, и, забыв наши благодеяния, а того более — души свои и присягу. . . решили посадить на престол нашего отдаленного родственника».¹⁰ Эти колебания у своей постели Иван припомнит впоследствии и жестоко отомстит как тем, кто действительно колебался в признании Дмитрия наследником, так и тем, кого Ивану было выгодно объявить своим недругом.

В 1558 году началась война в Прибалтике: Иван намеревался присоединить к Руси Ливонию и открыть стране выход в Балтийское море. Царь рассчитывал опереться на местное население, которое получало от Русского государства различные льготы и освобождалось от власти немецких феодалов. Хотя на первых порах русские добились существенных успехов, продолжавшаяся до начала 80-х годов война не принесла ничего, кроме огромных жертв, истощения казны и потери авторитета. По договорам, заключенным с Польшей и Швецией, Иван утратил не только Ливонию, но даже часть исконно русских земель: в руках государства остался лишь небольшой участок побережья Финского залива у устья Невы.

В начале 60-х годов распалась «избранная рада», в заточение были отправлены бывшие сподвижники царя. Умерла любимая жена Ивана Анастасия, и царь вступил в брак с кабардинской княжной, получившей при крещении имя Мария.

Резкий поворот во внутренней политике царя совершился в 1565 году. Иван неожиданно покидает Москву, объясняя свой отъезд гневом на своих подданных за то, что они «людям многие убытки делаи и казны его государские тошили», бояре же и воеводы «земли его государские себе розоимали и другом своим и племени. . . раздавали». Правда, царь объявил в грамоте, направленной купцам и всему «христианству града Москвы», что на них у него «гневу. . . и опалы некоторые нет».¹¹ Когда же присланная из Москвы депутация стала умолять царя вернуться и поступать как угодно, а «хто будет ему, государю, и его государству изменники и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государская воля», Иван не преминул воспользоваться полученным «разрешением». Он объявил о создании «опричнины» — выделил значительные территории, на которых получали надель служившие его царского двора — опричники, составившие военный корпус царя. Сначала опричников было 570 человек, затем их число выросло до пяти тысяч. В стране развязывается неслыханный террор: массовые казни, высылка из городов центральной России на далекие окраины. Пора жестоких расправ продолжалась несколько лет. В 1565 году были казнены опытный воевода, герой взятия Казани князь А. Б. Горбатов с пятнадцатилетним сыном, окольный П. П. Головин, посажен на кол Д. Ф. Шевырев. В 1568 году был убит боярин И. П. Федоров-Челяднин, человек безупречной репутации и огромного авторитета. Тогда же были казнены 150 его дворян и слуг. Были казнены бояре М. И. Колычев, М. М. Лыков, А. И. Катыврев-Ростовский. В 1569 году умерла Мария Темрюковна. Грозный обвинил в причастности к ее смерти своего соперника Владимира Старицкого и заставил его выпить яд. В 1570 году опричники

развязали кровавую резню в Клине, Торжке, Твери, Новгороде, жители последнего были подвергнуты особенно изощренным издевательствам.¹² В Москве 25 июля на площади у Поганой лужи было казнено около 120 осужденных. Среди них были еще вчера влиятельнейшие люди — казначей Никита Фуников и канцлер Иван Висковатый.

В 1572 году опричнина была отменена, а многие опричники казнены. Болезненно подозрительный, всюду видевший заговорщиков царь вел переговоры о возможном отъезде в Англию. В 1575 году Грозный неожиданно передал царский титул крещеному татарину Симеону, а себя стал именовать «удельным князем Московским», уничижительно называя себя «Ивашкой». С показным смирением Иван просит у Симеона той или иной «милости», в чем ничтожный и абсолютно неавторитетный Симеон естественно не смеет ему отказать: Иван вновь формирует опричное войско и обрушивает на истрадавшуюся страну новые казни. Через год Симеон был тихо сведен с престола и отправлен княжить в Тверь, а Иван вернул себе прежний титул.

В 1581 году гибнет старший сын Грозного — Иван. По свидетельству современников, царь с завистью и тревогой следил за возраставшим авторитетом сына и часто ссорился с ним. Однажды, зайдя в покои сына, Грозный застал сноху, беременную Елену, в нижнем белье. Царь посчитал это грубым нарушением приличий и избил ее посохом; Иван, заступившийся за жену, был также избит. Елена на следующую ночь родила мертвого младенца, а Иван Иванович через несколько дней умер: то ли от нервного потрясения, то ли вследствие ранения в голову. Нелепая смерть, по существу убийство сына потрясло Грозного: у него остался единственный наследник — слабоумный Федор (Дмитрий — сын от последней, седьмой жены царя Марии Нагой — еще не родился).

Последние годы Грозный стал часто болеть. Его терзали дурные предчувствия, и он призывал астрологов и колдуний, чтобы узнать свою судьбу. По свидетельству англичанина Джерома Горсея, лично знавшего царя, колдуньи верно предсказали день его смерти. Но Иван, казалось бы, и не думал умирать: он помылся в бане, приказал подать шахматный столик и стал сам расставлять фигуры, но вдруг внезапно ослабел, упал навзничь и вскоре испустил дух.¹³

Иван Грозный несомненно укрепил самодержавную власть, ликвидировал саму возможность феодальной оппозиции, совершенствовал управление страной. Но нельзя забыть о другой стороне его царствования: кровавых репрессиях, жестоких казнях, опричном терроре. В вакханалии расправ погибли опытные полководцы, блестящие дипломаты, многомудрые дьяки. Меч опричнины рубил прежде всего головы наиболее авторитетных, влиятельных, умных. Был неизмеримо ослаблен интеллектуальный потенциал страны. В опричных погромах гибли не только князья и бояре, но и десятки тысяч далеких от высокой политики горожан, крестьян, воинов. Было подорвано хозяйство, были разорены и пришли в запустение центральные районы России, по которым с наибольшей яростью прокатилась волна опричного террора. Таково было страшное наследие Ивана Грозного.

ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1557—1598). Ивану IV наследовал его сын Федор, слабый телом и духом. По словам современника, «он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. . . он прост и слабоумен. . . не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суверен. Кроме того, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей».¹⁴ Естественно, что править Федор не мог. Государственные дела вел его шурин — брат царицы Ирины Борис Годунов. Умирая, Федор не оставил завешания, что явилось формальным поводом для смуты, начавшейся после его смерти.¹⁵ Династия Юриковичей по прямой линии от Александра Невского прервалась. В 1606—1610 годах на русском престоле вновь оказался Юрикович — Василий Шуйский, потомок Андрея Ярославича, брата Александра Невского.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1583—1591). Младший сын Ивана IV от Марии Нагой едва ли заслуживал бы упоминания, если бы не его неожиданная смерть, послужившая основанием для самозванства и породившая легенду о причастности к его смерти Бориса

Годунова. Обстоятельства гибели царевича были выяснены специальной комиссией, тут же прибывшей в Углич, где Дмитрий жил со своей матерью. Было установлено, что царевич «тешился» на дворцовом дворе игрой в «тычку» (в «ножички») со своими сверстниками. С ним случился припадок (мальчик был болен эпилепсией), он упал и напоролся горлом на нож. Однако версия о том, что Дмитрий был якобы убит, возникла сразу же: мать царевича, Мария Нагая, избила няньку Василису Волохову и стала кричать, что мальчика убил сын Волоховой Осип. Когда дьяк Углича Михаил Битяговский попытался предотвратить расправу над Волоховыми, толпа, возбужденная призывами Нагих, Марии и ее брата Михаила, убила Битяговского, его сына и племянника, а также Осипа Волохова. Комиссия, в составе которой были Василий Шуйский, митрополит Гелласий, окольный Клешнин и думный дьяк Вылузгин, установила истинную причину смерти царевича и отвергла подложные улики (был предъявлен измазанный куриной кровью нож, которым будто бы зарезал Дмитрия племянник Битяговского), вина няnek и кормилицы была лишь в том, что они не успели прийти на помощь бившемуся в припадке мальчику. После этого Марию Нагую постригли в монахини, а ее братьев заключили в темницу. Тем не менее версия Нагих о причастности к убийству Бориса Годунова оказалась чрезвычайно живучей.¹⁶

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШУЙСКИЙ (1552—1612). Как сказано выше, род Шуйских восходит к Андрею, брату Александра Невского.

Василий Иванович начал политическую карьеру еще при Грозном: в 1576 году он входил в свиту «Ивана Московского», как именовал себя Иван IV, передавший свой прежний титул Симеону. В 1582—1583 годах Шуйского постигла кратковременная опала, при Годунове он был снова отправлен в ссылку, однако остался жив и был возвращен в Москву. В 1591 году Шуйский едет в Углич в составе комиссии для расследования обстоятельств гибели царевича Дмитрия. Когда на московский престол сел Лжедмитрий, Василий Иванович за распространение сведений о смерти подлинного Дмитрия, которую он сам некогда удостоверял, был приговорен к смертной казни. Помилование было объявлено в последний момент, когда голова осужденного уже лежала на плахе. Вернувшись в Москву после новой ссылки, Василий стал одним из активнейших участников заговора, приведшего к свержению и убийству самозванца. Шуйский был избран царем, но подозрительно поспешно и, как говорит один из достоверных источников, «малыми некими от царских палат»,¹⁷ т. е. небольшим числом своих единомышленников. Желая упрочить свое положение, Шуйский дал крестоцеловальную запись, в которой обещал не допускать несанкционированных боярским судом репрессий и казней.

Короткое правление Шуйского прошло в постоянных войнах: то с Иваном Болотниковым и Истомой Пашковым, то с Лжедмитрием II. Царь не пользовался популярностью, к Лжедмитрию в Тушино отъехали многие князья и бояре, недовольные Шуйским; он сам начал переговоры с Польшей, надеясь выторговать ценой территориальных уступок так необходимое ему перемирие. В 1610 году положение Василия стало совсем безнадежным. Под Клушином (возле Можайска) польский гетман Жолкевский нанес поражение русским полкам под командованием брата царя, Дмитрия. В Москве заговорщики во главе с Захаром Ляпуновым арестовали Шуйского и постригли его в монахи. Пришедшее к власти боярское правительство пригласило на русский трон польского королевича Владислава, в Москву вступили польские войска. Шуйский был вывезен из монастыря, расстрижен и в мирской одежде отправлен в Польшу, где и умер в заточении в 1612 году.

После победы освободительной войны и изгнания интервентов в 1613 году на московский трон взойдет представитель новой династии — Михаил Федорович Романов.

¹ Первое послание Ивана Грозного Курбскому // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подг. Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. М., 1981. С. 11.

² Зимин А. А. Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 67.

- ³ Там же. С. 298.
- ⁴ См.: Повесть о болезни и смерти Василия III // Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985. С. 18—47.
- ⁵ *Зимин А. А.* Россия на пороге нового времени. С. 419—421.
- ⁶ Назовем лишь несколько последних работ: *Зимин А. А.* Опричнина Ивана Грозного. М., 1964; *Зимин А. А., Хорошкевич А. Л.* Россия времени Ивана Грозного. М., 1982; *Скрынников Р. Г.* 1) Иван Грозный. М., 1975; 2) Начало опричнины. Л., 1966; 3) Опричный террор. Л., 1969 и др.
- ⁷ Первое послание Ивана Грозного Курбскому (перевод). С. 138.
- ⁸ См.: *Зимин А. А.* Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
- ⁹ Об истории казанского похода и взятии Казани рассказывается в древнерусской повести «Казанская история». См. ее текст в кн.: Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. С. 300—565.
- ¹⁰ Первое послание Ивана Грозного Курбскому (перевод). С. 142.
- ¹¹ Никоновская летопись // Полн. собр. русских летописей. СПб., 1904. Т. 13, первая половина. С. 392.
- ¹² См.: Повесть о походе Ивана IV на Новгород в 1570 году // «Изборник»: (Сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. С. 477—483.
- ¹³ См.: *Скрынников Р. Г.* Иван Грозный. М., 1975; *Горсей Джером.* Сокращенный рассказ, или Мемориал путешествий // Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 186—187.
- ¹⁴ *Флетчер Д.* О государстве Русском. СПб., 1906.
- ¹⁵ Апологетическое изображение Федора мы найдем в «Повести о житии царя Федора Ивановича» (см.: Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI—начало XVII века. М., 1987. С. 74—129), автором которой был Иов, первый русский патриарх.
- ¹⁶ обстоятельный рассказ о гибели царевича см.: *Скрынников Р. Г.* Борис Годунов. М., 1978. С. 67—84.
- ¹⁷ Сказание Авраамия Палицына / Подг. текста и прим. О. А. Державиной и Е. В. Колосовой. М.; Л., 1955. С. 115.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

П. Е. БУХАРКИН

ОБ АЛЕКСЕЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ЧИЧЕРИНЕ И ЕГО ТРУДАХ

Алексей Владимирович Чичерин занимает видное место в истории отечественного литературоведения. Многолетний напряженный труд на филологической ниве привел его к созданию сочинений основательных и ценных.

Он прожил долгую жизнь — родился 3 января 1900 года (22 декабря 1899 года по ст. ст.), а скончался 15 января 1989 года. Семья, из которой происходил ученый, весьма именита в русской культуре. Среди его предков и родственников — сосед и друг Е. А. Баратынского Н. В. Чичерин, знаменитый мыслитель Б. Н. Чичерин, известный советский наркоминдел и автор книги о Моцарте Г. В. Чичерин, композитор С. В. Чичерина. Эти семейные связи были далеко не безразличны А. В. Чичерину. Они существенным образом повлияли на его восприятие отечественной культуры, которая была для него чем-то родным и интимно-близким, и малой частичкой которой ученый всегда себя осознавал.

Судьба А. В. Чичерина во многом характерна для определенной части русской интеллигенции. В самой ранней юности, по существу мальчиком, в 1915—1916 годах, он участвует в гимназическом марксистском кружке, собиравшемся у С. Коновалова, сына известного миллионера, министра Временного правительства. Общественные события живо его увлекают. Летом 1917 года на Всероссийском съезде учащихся средних школ, состоявшемся в Москве, он избирается председателем съезда. В годы Гражданской войны находясь в Тамбове, работает инспектором школьного отдела Губоно. Однако уже в начале 1920-х годов такого рода интересы отходят на задний план. В 1920-м году А. В. Чичерин поступает на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, где среди его учителей были И. А. Ильин, Г. Г. Шпет и С. Л. Франк. О последнем А. В. Чичерин отзывался в своих неопубликованных воспоминаниях с особым чувством. Серьезное увлечение философией привело его к религиозным проблемам. Он сближается с кружком православно настроенной молодежи, объединившимся вокруг архимандрита Георгия (Лаврова), жившего в конце 1920-х годов в Даниловом монастыре. Именно тогда окончательно сложилось мировоззрение исследователя, которому он оставался верен всю свою жизнь.

Подобная эволюция при всей индивидуальной неповторимости каждого отдельного случая была достаточно типична для значительной и достаточно влиятельной части интеллигенции начала XX века. «Период с 1917 по 1925 год — время обращения многих русских западников, в особенности представителей интеллигенции, к Православной церкви».¹

В середине 1920-х годов начинается научная деятельность А. В. Чичерина, выходят первые его книги — «Культура слова в школе» (1924), «Что такое художественное воспитание» (1926), «Литература как искусство слова. Очерк теории литературы» (1927). Одновременно он отдает много сил собственно литературному творчеству: в 1927 году издает за свой счет стихотворный сборник «Крутой подъем», готовит книгу рассказов «Египетские минуты». В эти годы Чичерин входит в поэтическое объединение «Узел», где общается с Андреем Белым, М. А. Булгаковым, В. А. Луговским, С. Я. Парнок, Б. Л. Пастернаком. Начинается и его педагогическая работа. В 1922—1930 годах он преподает в экспериментальных, подлинно новаторских школах Москвы, в частности в 4-й опытной школе Эстетического воспитания, которой руководила Н. И. Сац и где

¹ Русская литература, № 4, 1990 г.

работал целый ряд замечательных гуманитариев, среди них С. М. Бонди. В то же время Чичерин активно сотрудничает и в Государственной Академии Художественных Наук.

В январе 1933 года эта напряженная интеллектуальная жизнь прерывается: Чичерина арестовывают. Четыре года он проводит в сибирских и алтайских лагерях. Затем, после кратковременного преподавания в Воронеже, переезжает в Кострому, где с 1939 года возглавляет кафедру литературы и русского языка. Возобновляется научная работа. Чичерин пишет кандидатскую диссертацию «Возникновение романа в России и на Западе на рубеже XVIII—XIX веков», которую успешно защищает в 1945 году в Московском городском педагогическом институте (оппонентами выступили И. М. Нусинов и Б. В. Томашевский).

В 1947 году А. В. Чичерин вновь подвергается преследованиям. Из-за религиозных убеждений его увольняют из института. В начале 1948 года он переезжает во Львов, где возглавляет кафедру зарубежных литератур университета. Ею он заведывал до начала 1970-х годов, затем состоял при ней профессором, профессором-консультантом. Связь его с университетской средой не прерывалась буквально до самой кончины.

«Львовский период» был, пожалуй, самым продуктивным в жизни А. В. Чичерина. В 1957 году в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) он защищает докторскую диссертацию «Роман-эпопея в литературе критического реализма». Официальными оппонентами на защите выступили Б. И. Бурсов, Б. В. Томашевский и Б. М. Эйхенбаум. В 1958 году основной текст диссертации был издан в виде монографии под названием «Возникновение романа-эпопеи». В следующие годы выходят новые книги ученого: «Идеи и стиль» (1965; 2-е изд., 1968), «Ритм образа» (1973; 2-е изд., 1980), «Очерки по истории русского литературного стиля» (1977; 2-е изд., 1985), «Произведения О. Бальзака „Гобсек“ и „Утраченные иллюзии“» (1982), «Сила поэтического слова» (1985). В 1979 году за «Очерки по истории русского литературного стиля» А. В. Чичерин был удостоен премии АН СССР им. В. Г. Белинского.

А. В. Чичерин трудился всю свою жизнь напряженно и разнообразно. Он был прирожденный лектор, замечательно владевший емким живым словом, умеющий складом своей речи передать атмосферу писателя и его эпохи. Лекции Чичерина были не просто частью учебного процесса, они становились подлинным культурным событием и собирали аудиторию обширную и многоликую. Немало сил отдавал филолог и воспитанию молодых исследователей, ученики окружали его всю жизнь, под его руководством были написаны многие кандидатские диссертации.

Не менее важным было для А. В. Чичерина и собственно литературное творчество: стихи, писавшиеся всю жизнь и бывшие не увлечением, не словесными эзерсисами, но внутренней потребностью; мемуарная проза, религиозно-философские сочинения. В них Чичерин раскрывается как интересный поэт, блестящий прозаик и одухотворенный мыслитель. К сожалению, за некоторым небольшим исключением (ранние стихи, опубликованные в 1927 году, и часть воспоминаний, вошедшая в книгу «Сила поэтического слова»), сочинения эти остаются неизвестными читателю.

И преподаванию, и литературным трудам Чичерин отдавал много сил. Но все же главным для него в интеллектуальной деятельности была литературоведческая работа. Именно на этом поприще он в полной мере реализовал свои возможности и «на данные ему пять талантов истинно принес другие пять».²

* * *

Филологическое наследие А. В. Чичерина достаточно четко делится на два хронологических периода: первый — 1920-е годы, второй — 1940—1980-е годы.

В первый период ученый обращается к разным темам, даже к разным областям гуманитарного знания: педагогике, методике, литературоведению. Но во всех этих трудах главенствующим оказывается внимание к слову — в одних молодой исследователь стремится научить чувствовать слово, владеть им, в других — анализирует искусство

слова писателей. Центральное место среди них занимает небольшая книга «Литература как искусство слова», появление которой вызвало целый ряд откликов в печати.³ Некоторые ее страницы несут на себе явственный отпечаток той эпохи, ряд тем раскрыт недостаточно подробно, однако в целом это — незаурядная и оригинальная работа, в которой ученый «утверждал методологию, основанную на целостном восприятии литературного произведения; во взаимообусловленности формы и содержания и их взаимораскрытии».⁴

Этой методологии А. В. Чичерин остался верен и позднее, в работах 1940-х—1980-х годов, написанных во второй период его научного творчества, период зрелый, когда создаются труды, обеспечившие ему почетное место в истории отечественной филологии.

Относящиеся к этому времени статьи и книги посвящены и разным эпохам, и разным литераторам. В поле зрения исследователя попадают не только XIX столетие, особенно ему близкое, но и средневековье, XVII и XVIII век, а также «век нынешний». Не ограничиваясь русской словесностью, ученый пишет также о французской, немецкой, английской, американской, некоторых славянских (украинская, чешская) литературах. При этом, обращаясь к произведениям конкретных писателей, Чичерин создает работы, до сих пор остающиеся образцовыми. Среди них — «Пушкинские замыслы „прозаического романа“» (вошла в книгу «Возникновение романа-эпопеи»), «Ритм и стиль пушкинской прозы» (включен в книгу «Ритм образа»), где ученый обнаруживает в стиле незавершенной пушкинской прозы тенденции, развитые Достоевским и особенно Львом Толстым. Это наблюдение, поддержанное более поздними исследованиями других литературоведов,⁵ получило в науке широкое распространение. Не менее важны и труды Чичерина, посвященные анализу стиля Льва Толстого.⁶ В них мастерски раскрыта диалектическая противоречивость толстовского стиля, дробящего, захватывающего детали и одновременно синтезирующего и объединяющего. Немалую роль в развитии литературоведения сыграли также его статьи о Достоевском и Бальзаке. Оспаривая представления о стилистической неряшливости и «нелитературности» этих писателей, Чичерин показывает подлинное поэтическое своеобразие и художественное совершенство их стилей.

Исследователь обращался к творчеству разных писателей, однако рассматривал их произведения, как правило, под одним углом зрения — стилистическим. Проблема стиля оказывалась тем стержнем, который скреплял многообразие его исследований в единое целое. Действительно, почти все, написанное ученым, посвящено данному вопросу. Вспомним названия его книг: «Идея и стиль», «Ритм образа», с подзаголовком — «Стилистические проблемы», «Сила поэтического слова». Речь в них идет именно о стилистике, а вернее — о стилистическом аспекте литературоведения. Чичерин все же — не стилист, а литературовед, видящий художественный текст сквозь призму стиля. Казалось бы, разница небольшая. Но она есть. Чичерина интересует не стилистическая организация текста в связи с системой языка и ее актуализацией в речи, а выражение в этой стилистической структуре поэтической идеи.

Этим и объясняется, в первую очередь, его достаточно скептическое отношение к лингвистике, и в частности, к работам В. В. Виноградова. Высоко ценя его труды, отмечая огромные его заслуги «в создании филологической основы современного литературоведения», А. В. Чичерин вместе с тем полагал, что «лингвист в нем (В. В. Виноградове. — П. Б.) не только обогащал, но и теснил литературоведа».⁷ Путь стилистического анализа должен быть, по Чичерину, более прямым и коротким — непосредственно от слова к мысли, к творимому писателем миру. В таком подходе была опасность некоторого упрощения, но благодаря своему несомненному таланту исследователь ее избежал, всегда памятуя, что стиль — это содержательность поэтической формы, которая «не просто среда, сквозь которую удобно пройти идее, нет, она в себе идею вынашивает. Даже взятая сама по себе, она содержательна, она идейна».⁸

В своем понимании стиля и путей стилистического анализа А. В. Чичерин опирался на идеи В. Гумбольдта и особенно А. А. Потебни. На связь чичеринских теоретических

построений с потебнианством указывали и В. В. Виноградов, и исследователи научного наследия великого украинского филолога.⁹ Так же как и Потебня, он видел в слове, тем более в слове поэтическом, непрестанную работу духа, творческий созидающий акт. Поэтому Чичерин крайне настороженно относился к структурному анализу, более того, вообще к пониманию языка как знаковой системы. Концепции Ф. де Соссюра, русских формалистов, исследователей структуралистической ориентации казались ему обедняющими творческое, духовное начало языка и литературы.

Призывая к филологическому анализу стиля и полемизируя с лингвостилистикой, А. В. Чичерин, в отличие от многих литературоведов, обращавшихся к данным вопросам, всегда настаивал на необходимости их языкового рассмотрения. Стилистический анализ должен исходить из первоэлемента литературы — языка, в противном случае ему грозит отвлеченность и схоластичность. Поэтому его работы выделяются среди других исследований стиля своей, так сказать, лингвистичностью, обилием языковых фактов. Художественный мир писателя отражается в каждом написанном им слове, более того, даже в излюбленных им грамматических формах. И это не только декларируется Чичериным, но, что гораздо важнее, убедительно раскрывается в конкретных аналитических статьях, например, посвященных Л. Толстому и Чехову.

Говоря о стилистических исследованиях А. В. Чичерина, надо выделить в них две важнейшие проблемы. Первая — взаимосвязь в истории литературы стиля и жанра романа. К ней ученый обратился уже в кандидатской диссертации, рассматривающей формирование романа в России и Западной Европе на рубеже XVIII—XIX веков. Эволюция романной формы изучалась там под стилистическим углом зрения, в связи с развитием изобразительных и выразительных возможностей языка прозы. Еще отчетливее данная проблема была поставлена в книге «Возникновение романа-эпопеи». Здесь на основе анализа прозы Пушкина, Льва Толстого, Золя, Роллана, Голсуорси литературовед приходит к солидно аргументированному выводу: жанровое новаторство всегда влечет за собой и существенные трансформации стиля. Писатель не может обновить романную форму, не обновив стиля.

Это положение прямо и непосредственно вытекает из общетеоретических установок филолога, из его убеждения в том, что «изучение языка поэзии и прозы в истории литературы должно быть, прежде всего, разъяснением коренных особенностей мышления писателя и, в конечном счете, его мировоззрения».¹⁰ Из этого следует тесная и неразрывная связь поэтического языка с другими категориями поэтики, также обусловленными мировидением творящего художника, едва ли не в первую очередь — жанром. Отлично понимая, что именно роман был ведущим жанром словесности XIX века, Чичерин сосредоточивается на его взаимоотношениях с категорией стиля. И надо заметить, что среди русских теоретиков и историков романа, возглавляемых, без сомнения, М. М. Бахтиным, А. В. Чичерину принадлежит почетное место.

Вторая проблема, встающая в большинстве работ выдающегося литературоведа и тесно связанная с первой — проблема исторической взаимосвязи и преемственности стилей отдельных авторов, продуктивности их стилистических открытий. Действительно, отчетливый исторический характер отличает стилистические исследования А. В. Чичерина. Этот историзм сближает его с В. В. Виноградовым. Несмотря на то, что между ними имелись существенные расхождения, приводившие к полемике,¹¹ общий пафос их трудов во многом совпадает. Оба исследователя, в конечном счете, стремились начертать своими работами контуры «исторической поэтики русской литературы, понимаемой как движение повествовательных форм, тесно связанное с развитием русского языка».¹² Несомненно, В. В. Виноградов и А. В. Чичерин были филологами разных научных школ, опирались на иные традиции, каждый шел собственным путем, но цели их во многом совпадали.

Анализируя тот или иной индивидуальный стиль, А. В. Чичерин, так сказать, погружал его в историю. Особенно это заметно в его исследовании «Очерки по истории русского литературного стиля», книге во многом уникальной и не имеющей прямых аналогов в отечественной филологической науке. Главная задача, стоящая перед

Чичериным при написании этого сочинения — дать очерк (хотя бы фрагментарный и неполный) истории литературного стиля с XII по XIX век. И здесь прежде всего хочется заметить, что в наше время авторских коллективов одному человеку взяться за написание труда, охватывающего литературу восьми веков, и средневековую и новую, значит в некотором смысле совершить подвиг. Конечно, в книге имеются существенные пробелы, и не все вопросы раскрыты в должной мере. По словам самого ученого, «... это именно „Очерки по истории...“, не полная картина, а лишь общие контуры, основные тенденции».¹³ Однако в целом титаническая задача выполнена, общее движение русского литературного стиля (а тем самым и русской литературы) показано тонко и глубоко.

Постоянно выявляется связь между писателями или, наоборот, отталкивание их друг от друга. Иногда об этом говорится подробно (Гоголь—Достоевский, Гоголь—Чехов), в других случаях — мельком, на соответствия указывается — и только (Аксаков и XVIII век, Достоевский, Шедрин и древнерусская литература, Некрасов—Блок, Фет—Блок, Анненский, А. Белый, Бунин). И эти беглые указания не менее интересны. Они как бы приглашают к дальнейшему развитию, к работе в указанном Чичериным направлении. Так, в главе об Аксакове, отмечая близость прозаика к словесности XVIII столетия, исследователь особенно выделяет тему «Аксаков и Шишков»: «Не тот ли воинственный и старомодный старик, неистовый автор „Рассуждения о старом и новом слоге“, еще задолго до Гоголя заразил студента Аксакова своим чутьем к плотности, звучности, зримости, запаху, силе коренного русского слова?».¹⁴ Мысль не распространена, но продуктивность ее вряд ли может вызвать сомнение. Кстати, чуть раньше, в начале главы, Чичерин и сам приводит аргументы, подтверждающие позднее высказанное им положение: он пишет об аксаковском любовании словом, о том, как в «Записках об ужении рыбы» писатель размышляет о названиях рыб, пытается проникнуть вглубь имени и почувствовать его жизнь. Не только с Шишковым сопоставим здесь Аксаков. Недаром в главе упоминаются имена Ломоносова, выдающегося натуралиста XVIII века Н. Озерцовского — со всей эпохой Аксаков связан глубоко и интимно. И устанавливая эти связи, Чичерин приглашает к их дальнейшему изучению.

В этом — одна из важнейших причин несомненной значимости «Очерков...» для науки — они действительно будят исследовательскую мысль. И пример с Аксаковым здесь не единичен. То же можно было бы сказать и об отмеченной Чичериным близости позднего Баратынского к XVIII веку и о многих других его наблюдениях.

Вопрос о внутренних связях отдельных писателей, создающих органическое единство и историческую цельность русской литературы — один из важнейших не только в прямо ему посвященных «Очерках...». Он возникает и в других книгах А. В. Чичерина. Возможно, это — главная тема его научного творчества. Ощущая свою причастность живому прошлому, самим фактом своего духовного и интеллектуального бытия свидетельствуя о продолжающейся жизни русской культуры, А. В. Чичерин и в литературоведческих исследованиях стремился раскрыть внутреннюю цельность и непрерывность литературной эволюции — как русской, так и европейской. Человек и ученый счастливо соединились в нем, это придавало его трудам особую страстность и живую заинтересованность.

С этим во многом связана и художественная отточенность его сочинений. Интерпретация искусства — тоже искусство, требующее «и от исследователя обратного вдохновения. Вдохновения, тоже по-своему звучащего и — созвучного».¹⁵ Стилистическое совершенство повышало общекультурную ценность его трудов. Они — факт не только науки, но и искусства слова. И здесь Чичерин созвучен таким литературоведам, как Н. Я. Берковский, Г. А. Гуковский, Л. Я. Гинзбург, которые, как и он, — художники в науке. Так же как и названные исследователи, Чичерин не переступал грани научности и всегда оставался исследователем, артистически владеющим словом, а не эссеистом, вольно пишущим на литературные темы. К последним он относился достаточно скептически.

* * *

Хотя деятельность А. В. Чичерина развертывалась в Москве, Костроме, Львове, долгие годы он был связан с Пушкинским Домом. В 1930-е годы Чичерин выступал с докладами о рукописном сборнике XVIII века из Костромского областного архива и о развитии романа в XVIII веке в Группе по изучению русской литературы XVIII века. Завязавшиеся в те годы отношения не прерывались и в дальнейшем. Именно в Пушкинском Доме ученый защитил докторскую диссертацию, позднее участвовал в работе над «Историей русского романа». Его статьи публиковались и в других изданиях Института — в сборниках «Пушкин. Исследования и материалы», в журнале «Русская литература». Вполне закономерно, что в год 90-летия А. В. Чичерина журнал обращается к его наследию.

В архиве А. В. Чичерина, хранящемся в собрании П. Е. Бухаркина, основное место занимают религиозно-философские эссе, мемуарные сочинения, стихи. Собственно литературоведческих работ, не опубликованных при жизни исследователя, осталось не много. Из них для настоящей публикации выбрана небольшая статья о стиле А. И. Герцена. Она написана в 1962 году. Позднее ученый не обращался к этой теме и главы о Герцене в «Очерках по истории русского литературного стиля» нет. Поэтому публикуемая работа представляет несомненный интерес — она, хотя бы отчасти, восполняет пробел в той истории стилей русской литературы, над которой долгие годы трудился А. В. Чичерин.

¹ *Зернов Н. М.* Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1974. С. 225.

² *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7-и т. М., 1978. Т. 6. С. 232.

³ См.: *Красная новь*. 1927. № 3. С. 245—246; *Советское искусство*. 1927. № 3. С. 78; *Печать и революция*. 1927. Кн. 2. С. 190—192.

⁴ *Ивинский П.* Из истории советского литературоведения. Алексей Владимирович Чичерин (к 85-летию ученого) // *Вопросы теории и истории литературы*. XXVIII (2). Вильнюс, 1986. С. 7.

⁵ См., например: *Гей Н. К.* Пушкин и Толстой. Движение стиля // *Пушкин и литература народов Советского Союза*. Ереван, 1975. С. 145—158; *Фридендер Г. М.* Пушкин и молодой Толстой // *Фридендер Г. М.* Литература в движении времени. М., 1983. С. 216—244.

⁶ Общий обзор работ А. В. Чичерина о Л. Толстом см. в статье: *Бухаркин П. Е.* Метод А. В. Чичерина в исследовании творчества Л. Н. Толстого // *Вопросы русской литературы*. Вып. I (35). Львов, 1980. С. 150—153.

⁷ *Чичерин А. В.* Ритм образа. Изд. 2-е. М., 1980. С. 8.

⁸ *Чичерин А. В.* Идеи и стиль. Изд. 2-е. М., 1968. С. 54.

⁹ *Виноградов В. В.* О теории художественной речи. М., 1971. С. 4—5; *Пресняков О. П.* А. А. Потебня и русское литературоведение конца XIX—начала XX века. Саратов, 1978. С. 204—205.

¹⁰ *Чичерин А. В.* О языке и стиле романа «Война и мир». Харьков, 1953. С. 3.

¹¹ См., например: *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959. С. 75—77, 250—252; *Чичерин А. В.* Идеи и стиль. С. 9—11, 21—23; *Чичерин А. В.* Ритм образа. С. 8, 229—230. Необходимо, однако, заметить, что полемика не мешала обоим ученым высоко ценить друг друга.

¹² *Виноградов В. В.* Избранные труды. Язык и стиль русских писателей. М., 1990. С. 3.

¹³ *Чичерин А. В.* Очерки по истории русского литературного стиля. Изд. 2-е. М., 1985. С. 6.

¹⁴ Там же. С. 154.

¹⁵ Там же. С. 417.

А. В. Чичерин

ГНЕВНЫЙ ГОЛОС ГЕРЦЕНА

Философия языка была проникнута у Герцена решительным свободомыслием. Он ненавидел все подобострастное, льстивое, угодливое в «ливрейном»¹ языке придворной челяди и низкопоклонной журналистики своего времени. «Надобно приучаться к мужественной речи свободного человека и бросить язык, которым перестают говорить в передних».²

Сила слова в том, что оно «есть дело»; «речь наша полна жгучего и горького яда от долгих лет немного страдания; все мучившее нас с детских лет, все оскорблявшее, унижавшее нас возшло в наше слово. . . в нем остался и плач женщин, обесчещенных своими помещиками, и стон засеченных стариков, и звук цепей. . .».³

«Открытая вольная речь — великое дело; без вольной речи нет вольного человека».⁴

Герцен в каждом своем произведении, публицистическом, художественном, научном — полностью осуществлял свои принципы живого, свободного, революционно взрывчатого русского слова. И это придает его повествовательной прозе ее особенную интеллектуальность. Его метафора интеллектуальна: «Парижское 2-е декабря лежало плитой на груди»,⁵ «западный человек не в нормальном состоянии — он линяет» (9, 112); он говорил о Гегеле: «его гений закусывал удила и несся вперед» (9, 23); он писал: «мы росли в этом трении друг об друга» (9, 113), «неудачные революции взошли внутрь. . . каждая оставила след и сбила понятия» (9, 112), «самовластье изнашивает людей» (9, 132), «. . . княгиня шнуровала вместе с талией и душу» (8, 323). В его речи совершенно естественным становится такое словосочетание, как «нравственные легкие» (11, 11) или знаменитое: «Философия Гегеля — алгебра революции» (9, 23).

Острота герценовской метафоры в постоянном сращении отвлеченного с конкретным, душевного с материальным: «горе разедало ее» (8, 331).

Не менее, чем великие русские романисты, его современники, Герцен постоянно ищет крайние выражения, способные вычерпать чувство и мысль без остатка. И поэтому он, как и Достоевский, как и Толстой, не боится нарушения гармонической стройности языка, он давит на слово всю силу своей мысли: «всмотреться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы» (10, 272), «живой интерес. . . к общему не охладел, напротив, он сделался живую болью» (10, 225—226).

Особого рода нагнетание однородных членов бывает необходимо для выражения крайней душевной близости двух людей: «видела ее глазами, думала ее мыслями, жила ее улыбкой» (8, 329). И нередко прямота выражения мысли становится страшной: «Я сам, беспредельно любя ее, участвовал в ее убийстве» (10, 314).

Портрет, пейзаж, всякое описание приобретают явно выраженный интеллектуальный характер: «Его взор не протягивал вам руку на дружбу, но заставлял вас быть вассалом его. . . Он взглянул своим страшным взглядом, и мне показалось, что он меня придавил ногою» (1, 112—113) — это портрет Гете (в описании рассказчика немца). Особенно характерен портрет Грановского: «Не только слова его действовали, но и его молчание; мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластие приучило догадываться и понимать затаенное слово» (9, 122).

Портрет лишен каких бы то ни было признаков зримости, ни слова о волосах, носе, лбе, даже голосе. Весь портрет в описании того, как *мысль* угадывается в лице молчащего человека. И в этом портрете — клеймящий гневный удар по самодержавию, по бесправию, сковавшему уста не одному только Грановскому. Порою отвлеченность портрета более лаконична: «она вся состояла из хороших манер» (8, 328).

Романтики говорили о море, мрачном, грозном, бушующем. Проще и страшнее сказал Герцен: «бессмысленно двигавшееся, мерцавшее море. . . участвовавшее в ее убийстве» (10, 300—301). Для него осмысленное — это прекрасное, а жестокое,

уродливое прежде всего — бессмысленно. Олицетворение в герценовском пейзаже — убедительно и ясно: «месяц светил всем лицом своим» (1, 121).

Стремление все и по-своему осмыслить, характеры, отношения, рост, развитие людей, жизнь русского общества, Европы и всего мира заставляли Герцена поминутно искать новые словосочетания, новые способы выражения мысли: «Метали наружу все, что есть в голове» (1, 109), «Развитые личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов», «мы жили во все стороны» (9, 113).

Герцен смело образует новые слова от русских корней и от корней иноязычных, и всегда это способ выражения тонких понятий, человеческих взаимоотношений, слова, проникающие вглубь: «как мы неразнимчато срослись» (10, 273), от старинного существительного *неразнимок*, означавшего что-то нерасторгнутое — цельное. «Человечественно» (10, 254), «никем не тормошимый» (11, 10) — все это далеко не общепотребительные слова в литературной речи того времени. Герцен постоянно пользуется старинную формой «усталь» (10, 267), которая в обычном употреблении сохранилась только в выражении «без устали». Из очень старого говора выходит иное его слово: «княгиня не особенно издбычивалась на воспитание ребенка» (8, 323), «гащивавшая у княгини» (8, 328). Современный нам читатель не понимает некоторые варваризмы Герцена: «великий антецедент» (10, 275) (предшественник), «я гибну, нравственно уничтоженный, флетрированный» (3, 108) (от *flétrir* — позорить, бесчестить). Герцен в поэтическую речь включает научные термины: «ганзеатическое омировское движение» (1, 113), «термометрическая антипатия» (1, 124).

Тургенева и восхищала и очень смущала речь Герцена: «Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело». ⁶ Так органично, так естественно, так прямо вырывается из ума и сердца каждое слово Герцена. И все-таки Тургенев сетовал, что Герцен не обращается за советом к друзьям, кое-где поправки, по совету Огарева, не повредили бы его стилю. Действительно, Герцен иногда пишет: «сомнения начали одолевать ими», «выйти на покой, на гармонию», «идти перед инквизитора».

В его речи немало галлицизмов: «переселение сделало во мне чрезвычайный переворот» (1, 101), «рот делал нечто вроде улыбки» (1, 108), «обдумав дело, на меня нашел страх» (10, 307).

Но нередко неправильность в речи Герцена обоснована. Для его острой, постоянно сопоставляющей мысли характерно тяготение к сравнительной степени, ему не хватает существующих форм, и он создает не обычные для литературного языка: «мирнее» (11, 12), «бурнее» (1, 107), «жалъче» (8, 324), «бедность грубее стучалась в двери» (10, 252), «дружба... принимает больше страстный характер» (10, 253), своеобразны и формы в таком виде: «иной мир иначе симпатичный» (8, 324).

В слове Герцена, особенно в его эпитете нередко сказывается образ мысли скитальца, в сознании которого постоянны сопоставления далекого-родного и чужого-близкого. Изображая бурю и пасмурный день в Италии, он говорит о небе, застланном «русскими осенними облаками» (10, 281). Пошлая болтовня по поводу семейных его дел представляется Герцену «европейской сплетней» (10, 270).

Литературный язык Герцена необычайно близок к его живой речи. Главное свойство в обоих случаях — *чрезвычайная ассоциативность*. Анненков говорил по этому поводу: «Способность к поминутным неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, весьма значительным каталогом энциклопедических сведений, была развита у Герцена в необычайной степени...». ⁷ И писал Герцен почти так, как говорил, постоянно писал по свежим следам только что произнесенного.

Ни грамматическая шероховатость, ни уцелевшие там и сям проблески юношеской романтики, ни «разметистость» речи — ничто не подрывало силы «возмужалого», «отстоявшегося» герценовского стиля, о котором Горький имел все основания сказать, что он «исключителен по красоте и блеску». ⁸ В нем все насыщено до предела мыслию разящею и гневной.

¹ Русские писатели о языке. Л., 1954. С. 275.

² Там же. С. 276.

³ Там же. С. 267.

⁴ Там же. С. 266.

⁵ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954—1965. Т. 10. С. 283. Далее при цитировании этого издания том и страница указываются в тексте.

⁶ Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1958. Т. 12. С. 433.

⁷ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 218.

⁸ Цит. по кн.: Гинзбург Л. Я. «Былое и думы» Герцена. [М.], 1957. С. 163.

О СЕРГЕЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МАКАШИНЕ И ЕГО ПОСЛЕДНЕЙ КНИГЕ

Когда осенью 1989 года пришло известие, что на восемьдесят четвертом году жизни скончался доктор филологических наук, один из бессменных руководителей «Литературного наследства» Сергей Александрович Макашин, это не было неожиданностью. Сергей Александрович давно уже тяжело болел, его физические силы угасали, и он с беспримерным мужеством, преодолевая недуги, вопреки строгим советам врачей, стремился завершить давно начатые труды: особенно очередные тома «Литературного наследства» и последнюю часть биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Не все удалось завершить, но главное, составлявшее цель и смысл труженической жизни, Макашин успел доделать. Это 99-й том в 2-х книгах «Герцен и Огарев. В кругу родных и друзей» (он подготовлен к печати), завершающий замечательное, единственное в своем роде, собрание текстов и исследований, отдельные части которого выходили в 1950-е и 1980-е годы.¹ Это и последний, четвертый том биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина,² работа над которой длилась более полувека, став неотъемлемой и самой драгоценной частью жизни, творчества, души ученого.

Чем дальше продвигалось создание научной биографии Салтыкова, тем больше возникало проблем, вопросов, сложностей самого различного рода. С. А. Макашин в письме ко мне от 1 мая 1986 года откровенно поделился возникшими во время работы над четвертой книгой биографии трудностями: «...материалов для последнего десятилетия жизни Салтыкова у меня собрано множество — хватило бы на 3-4 книги. Материалы очень важные, значительные. Ни у одного русского, да, пожалуй, и иностранного писателя не было, пожалуй, такого трагического конца жизни, как у Салтыкова. Написать эту картину под силу только писателю. У меня же другая забота — „уплотненно“ сообщить все главные факты и в свете их осмыслить главное в финале этой жизни. Но вот как быть с крупнейшими произведениями Салтыкова 80-х годов?! Трудная проблема».

Письмо особого энтузиазма не рождало: очень могло статься, что обилие материалов и трагические обстоятельства жизни умирающего сатирика замедлят работу над книгой. К счастью, Макашин блестяще справился с огромными трудностями и с вполне законной гордостью ученого, поставившего, наконец, точку в многотомном сочинении, объявил об этом в одной из своих итоговых статей: «...я ожидаю выхода в свет последней книги моей биографической тетралогии, посвященной Щедрина. И когда эта книга появится, я, кажется, получу право и возможность, в мои 83 года, сказать словами Симеона Богоприимца: „Ныне отпускаеши!“»³

Четвертую книгу биографии Салтыкова читатели получили, но оценок ее современниками Макашин уже не узнал. И потому естественной данью памяти замечательного ученого пусть будут несколько слов об этой последней части его тетралогии. Здесь особенно чувствуется, как духовно и душевно сросся Сергей Александрович с главным героем биографии, чувствуется, как труженический подвиг тяжело больного, «оброшенного», умирающего, близкого даже к безумию великого сатирика вдохновлял его мужеством в жестокой и неравной схватке с фатально сошедшимися обстоятельствами. «При всем том, среди частых призывов к смерти как желанной избавительницы от мучительных страданий, среди мыслей о самоубийстве как спасении от грозившего ему — так думал он — безумия, среди „ада семейной жизни“, среди все более скептических, граничивших

с полным отчаянием оценок положения страны, общества, народа — Салтыков создает в эти свои „черные годы“ „Сказки“, „Мелочи жизни“ и „Пошехонскую старину“. Все это — высшие достижения его творчества», — с нескрываемым восхищением пишет Макашин о писателе, который «вопреки всем своим болезням, мучениям и сниженному, казалось, до предела жизненному тону. . . удивительным образом сохранял огромную творческую силу» (С. 327, 367).

Верный методу писать ничего не утаивая и не приукрашивая, в строгом соответствии с фактами, как бы ни были они мрачны и безотрадны, С. А. Макашин восстанавливает страшную картину медленного угасания Салтыкова (по определению писателя, «живая смерть»). А это и катастрофа, постигшая в 1884 году журнал «Отечественные записки» («Вообще хорошая будет страничка для моей биографии. Столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал»⁴), и «раздирающие душу вопли страданий от переживаемых физических и нравственных мук» (С. 330), и кошмарный во всей своей непреложности и непреодолимости «ад семейной жизни».

Хроника семейной жизни Салтыкова 1870—1880-х годов необычайно грустна, тягостна. Редактор Салтыков-Щедрин создал блестящую эпоху русской журналистики «Отечественными записками». Отличавшийся исключительной скромностью, абсолютно нетщеславный, Щедрин имел высшие основания в письме к П. В. Анненкову говорить об историческом значении журнала, которым он руководил почти пятнадцать лет: «Понистине, это был единственный журнал, имевший физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно. . . Наиболее талантливые люди шли в „Отец(ественные) зап(иски)“ как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — *доверяли*, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В „Отец(ественных) зап(исках)“ бывали слабые вещи, но *глупых* — не бывало. . . Я Вам скажу прямо: большинство новых литерат(урных) деятелей, участвовавших в других журналах, только о том и думают, чтобы в „Отец(ественные) зап(иски)“ попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место».⁵ Удивительной была и даже возросшая в эти тяжелые годы творческая энергия Салтыкова, создающего одно за другим (часто одновременно) такие выдающиеся произведения, как «За рубежом», «Убежище Монрепо», «Господа Головлевы», «Круглый год», «Письма к тетеньке», «Современная идиллия», «Пошехонские рассказы», «Пестрые письма», «Мелочи жизни», «Сказки», «Пошехонская старина». Необычайно возрос и авторитет Салтыкова, который лишь упрочил факт закрытия «Отечественных записок». Только в семье этот авторитет не только не чувствовался, но катастрофически падал. Здесь роковым образом совпали разные обстоятельства, усугубленные долгой болезнью Салтыкова, о чем совершенно справедливо пишет С. Макашин, — объективный, но далеко не бесстрастный биограф сатирика: «Конечно, „ад семейной жизни“ Салтыкова возник не только по вине Елизаветы Аполлоновны, хотя вина ее велика. Но несходство характеров, жизненных интересов и целей этих людей не привели бы, надо думать, к столь драматическим результатам, если бы судьба не послала Салтыкову тех невыносимых страданий болезни, которые он приравнивал к „крестным мукам“ и в поисках прекращения которых он не раз думал о самоубийстве» (С. 419).

Все это, конечно, так, хотя и вовсе не смягчает суровой семейной жизни писателя, которая положительно не удалась. Елизавета Аполлоновна, сама стойко отразив просветительно-педагогические усилия Салтыкова, по сути, «спасла» от его влияния и детей: «. . . как и во всех областях семейной жизни фактически был отстранен Елизаветой Аполлоновной от дела воспитания детей — дела, которому он, начиная со своих первых юношеских рецензий на педагогические книги и кончая замечательным очерком „Дети“, введенным в „Пошехонскую старину“, придавал такое огромное значение. Ведь в детях он видел „суд будущего“, в том числе и над своей собственной жизнью» (С. 413). Этот «суд» Салтыков проиграл. С. Макашин воссоздал в воспоминаниях со всей безжалостностью, усиленной обидой за писателя, облик его наследника —

Константина Михайловича, которому отец завещал в предсмертном письме: «Паче всего любви родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому». Сын не оправдал надежд отца. «Большую часть своей тусклой жизни он провел на средних должностях чиновничьей службы в Пензе, где когда-то служил и его отец. В том, что Константин Михайлович рассказывал мне в течение довольно длительной беседы, трудно было уловить, хотя бы в отдельных элементах, глубину понимания личности и творчества Салтыкова. Память мемуариста сохранила воспоминания лишь о бытовой оболочке великой жизни. Воистину природа иногда отдыхает на детях гениальных людей».⁶

В самой книге о семье и семейной жизни Салтыкова говорится много, подробно, откровенно, но одновременно с поразительным тактом, ровно и сдержанно. Разумеется, биограф не щадит и не выгораживает Елизавету Аполлоновну, не забывая, впрочем, как много она значила для Салтыкова, некогда создавшего образ пленительной Бетси, а под конец жизни посылавшего неслыханные проклятия браку, по сравнению с которыми «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого кажется розовой идиллией. Не забывает и о том, каким образом суждено было отразиться Елизавете Аполлоновне в сатирическом зеркале творчества мужа («Мишелевы глупости», по ее мнению): «Она принадлежала к тому типу безыдейной, сексуальной и всецело погруженной в „мелочи жизни“ женственности, который сатирически разработан Салтыковым в его образах разного рода „куколок“ и „ангелочков“. Живой моделью для некоторых черт этих образов, несомненно, послужила Елизавета Аполлоновна» (С. 406—407).

С. Макашин щедро приводит многочисленные и очень нелицеприятные суждения современников и современниц об Елизавете Аполлоновне, с большинством из них соглашаясь. Но не со всеми, стремясь, как всегда, к точности, объективности, непредвзятости. Вот как, к примеру, он корректирует воспоминания Н. А. Энгельгардта: «В приведенных воспоминаниях есть явные преувеличения. В них сильно повышены уровень „светскости“ и „роскоши“ в гостиной Елизаветы Аполлоновны. Никаких связей с „высшим светом“ столицы, с „близкими ко двору дамами“ у нее не было, быть может, за какими-то единичными исключениями. „Светскость“ ее салона была в основном связана с перебравшимися в Петербург семьями сослуживцев ее мужа по высшей губернской администрации тех городов, где прошла его служба. Вряд ли верно и то, что она не раскрывала журнала „Отечественные записки“. А если и не раскрывала, то некоторые произведения Салтыкова позднего периода она не могла не знать хотя бы потому, что иные из них переписаны для набора ее рукой» (С. 411).

Так и при освещении других эпизодов личной, журналистской, писательской биографии Салтыкова С. А. Макашин всегда предельно корректен и руководствуется неизменным стремлением выяснить истину, для чего часто приходится пробиваться сквозь толщу слухов, субъективно-раздраженных, пристрастных, тенденциозных суждений и свидетельств. Многоликий материал в книге Макашина жестко отсеян, профильтрован и — главное — превосходно, глубоко осмыслен. Естественно, что слухи и домыслы Макашин бескомпромиссно отвергает. Вообще-то рассказы-анекдоты о Салтыкове, в изобилии циркулировавшие среди современников, представляются достаточно любопытными и характерными: своего рода мифотворчество, отразившее сугубое внимание общественности к колоритной фигуре Сатирического старца. Возможно, им имело смысл уделить больше места в книге. Но и позиция С. А. Макашина, между прочим отбрасывающего эти анекдоты, понятна: естественное чувство брезгливости к слухам и сплетням, примешивающим к трагедии фарс и суетно-нечистоплотную усмешку.

Само собой получилось, что в последней книге биографии Салтыкова много уделено внимания личной жизни писателя. Это в высшей степени закономерно. И кстати, тем самым преодолевается исторически сложившаяся тенденция больше акцентировать внимание на «общественном» и «литературном» лице писателя, как будто его частная жизнь есть нечто не столь уж существенное, случайный привесок к более серьезным и важным вещам. К тому же о личной жизни великих стало традицией говорить, с одной стороны, в напыщенно-торжественном и нестерпимо-сентиментальном тоне, а с другой —

избегать всяких компрометирующих «низких» подробностей. С. А. Макашин решительно преодолевает эти, в сущности, недобросовестные и только вызывающие недоверие к сочинителю жизнеописаний великих тенденции и штампы. Но конечно, где это возможно и уместно, он деликатно и осторожно перебрасывает мостки от реальной жизни к творчеству, оговаривая специфический и локализованный характер своих наблюдений: «... подробное раскрытие всех *gealia* произведения — задача его комментирования, а не биографии. Здесь же, как и дальше при рассмотрении произведений Салтыкова, достаточно в общих чертах определить их место и значение в идейно-творческом пути писателя, в связи с главными событиями его жизни и его исторического времени. Не более того» (С. 199). Но, добавлю, и не менее: задача биографа, столь четко обозначенная, весьма трудна; здесь уместны только сжатые и очень конкретные, всесторонне обоснованные и тщательно проверенные суждения.

«Все, что сообщается в этом труде о самом Салтыкове, его окружении, его времени — все основано на объективных, документальных источниках и на проверенных разными способами свидетельствах осведомленных современников и, конечно, на книгах и письмах самого писателя, богатых автобиографическим материалом», — предварял С. А. Макашин рассказ о последнем периоде жизни Салтыкова, подчеркивая его строгий, научный, документированный характер, присущий, естественно, и всей тетралогии. Именно на таких принципах и должна строиться любая добросовестная научная биография писателя. Вот только сегодня мы располагаем всего лишь одной такой биографией, на создание которой ушла почти вся сознательная жизнь Сергея Александровича Макашина. Удивительный пример подвижнического целеустремленного труда.

Еще более удивительно, что и в последней книге тетралогии не ощущаешь спешки, усталости. Нет в ней и страниц написанных, так сказать, по инерции, «вдогонку» предыдущим томам. Напротив, поражает свежесть и острота взгляда, стилистическая и психологическая уверенность, умная, а порой и едкая полемичность. Книга незаметно и невольно увлекает читателя. Пять зарубежных поездок Салтыкова, этого своеобразного «западника», не представлявшего себе жизни вне России, которую он любил совершенно особенную и горькой любовью («Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. . . Хорошо там, а у нас. . . положим, у нас хоть и не так хорошо. . . но представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше потому, что больнее. Это всё-таки особенная логика, но все-таки логика, а именно — логика любви»⁷), история закрытия «Отечественных записок», смерти Некрасова и Тургенева, сложные личные и творческие отношения с Достоевским и Толстым, писателями-народниками и многое многое другое в книге Макашина освещено глубоко и ярко.

Сумел Макашин преодолеть и наметившуюся в третьей книге некоторую диспропорцию между рассказом о Салтыкове — общественном деятеле и «партикулярном» человеке и Салтыкове-художнике. В последней книге все сферы жизни и деятельности Салтыкова гармонично и искусно связаны, а строго подчиненные главным задачам биографии сжатые характеристики «За рубежом», «Убежища Монрепо», «Современной идиллии», «Господ Головлевых», «Мелочей жизни», «Сказок», «Пошехонской старины» при всей своей лапидарности превосходны. Многое здесь автором пересмотрено и уточнено в полемике не только с концепциями других ученых, но и со своими собственными, ранее высказанными. Это очень понятно и естественно: за полвека немало переменилось и воды утекло. Менялся и Макашин, освобождаясь от преходящих тенденций и предрассудков эпохи. Однако эти изменения ничего общего не имеют с конъюнктурными колебаниями и переодеваниями: трудное, в чем-то даже болезненное, но органическое развитие, этапы которого отчетливо и выпукло отразились на содержании всех четырех томов биографии Щедрина.

С. А. Макашин вовсе не собирается «выпрямлять» фигуру Салтыкова. Напротив, он всячески очищает ее от шелухи политизированных мифов (миф о революционности Щедрина и др.) и благонамеренных схем. Но и не снижает Салтыкова, неустанно восхваляясь целью и мужественностью его натуры, какой-то органичной неспособно-

стью (здесь, конечно, и *vis comica*⁸ свою роль сыграла) к холуйству, «непочтительно-стью».⁹ Но и в биографии Салтыкова были «пятна», отступления, ошибки, к которым писатель, впрочем, относился сам со свойственной ему беспощадностью. С. А. Макашин очень точно сказал об этом: «Конечно, и Салтыков не прошел свой журнальный, да и жизненный путь совсем „без сделок“ со своей совестью. Но все же он был суровым, непримиримым врагом всякого рода „сделок“, и они единичны в его биографии. В борьбе с цензурой он шел ради сохранения журнала и собственной писательской деятельности на многие уступки и компромиссы. Но шел всегда открыто, с присущим ему до конца идущим прямотушием. К каким-либо подобиям „прикармливания зверя“ он никогда не прибегал» (С. 296).

Мне кажется, что в этих словах биографа Салтыкова заключен и некий автобиографический подтекст, взгляд и на собственный, уже почти до конца пройденный путь в науке и жизни. А он складывался непросто, временами драматически: не совсем так, как описан в небольшой статье четвертого тома «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1967. С. 514—515). Там все благополучно, благостно, безоблачно: родился в Казани в 1906 году, в 1923—1925 годах учился в Высшем литературно-художественном институте им. В. Я. Брюсова, в 1929-м окончил филологический факультет МГУ, участник Великой Отечественной войны, один из редакторов «Литературного наследства» с самого начала издания в 1931 году, лауреат Государственной (Сталинской) премии 1949 года за первый том биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина и т. д. Все соответствует действительности. Вот только лакун много, драматические эпизоды удалены.

Опущено, в частности, одно важное обстоятельство: С. А. Макашин был сыном помещика, о чем умолчал в анкете, был «разоблачен» (отдел кадров МГУ работал добросовестно), вызван к А. Я. Вышинскому, тогдашнему ректору университета, который и не подумал заступиться за перспективного студента, устроив ему форменный допрос с пристрастием. И только после ухода Вышинского с поста ректора С. А. Макашина (в 1929 году) допустили к защите дипломной работы. Но он явно остался на подозрении. В 1931 году Макашина арестовали по абсурдному обвинению в посредничестве в конспиративной переписке бывшего члена ЦК меньшевистской партии В. Икова с лидерами «Союзного бюро ЦК РСДРП меньшевиков» Р. Абрамовичем и Ф. Даном (тогда шел политический процесс о деятельности в СССР этой заграничной организации).

Через два с половиной месяца С. А. Макашин был освобожден из заключения. Ученый вспоминает: «Освобожден, как мне казалось тогда, без каких-либо последствий. Увы! я горько ошибся. Последствия были. Я был взят, как говорится, „под колпак“ негласного политического наблюдения, которое было поручено сексоту ГПУ, известному литературоведу Я. Эльсбергу, по доносам которого я был вторично арестован в 1941 году».¹⁰

Прежде чем стать участником Великой Отечественной войны, С. А. Макашину в ее первые же дни пришлось пройти суровые испытания. Он был арестован и приговорен по знаменитой 58-й статье Особым совещанием к пяти годам заключения. Далее Свердлов, на Исети, освобождение в 1943 году «по активированию». И только после этого война, пленение (жене прислали извещение: «Труп с поля боя не вынесен»), освобождение из плена (был в лагерях Саласпилс и в Мюльберге), снова участие в боях и демобилизация в 1945 году.

Вернувшись с войны после вынужденного пятилетнего перерыва, С. А. Макашин работает с удвоенной энергией изголодавшегося по литературному делу человека. Уже в 1947 году он сдает доработанный первый том биографии Салтыкова-Щедрина в издательство. Однако отпечатанную книгу вдруг запрещают к выпуску за «космополитический уклон». Ее спасло решительное вмешательство А. А. Фадеева, убедившего заведующего отделом культуры ЦК КПСС Ф. М. Головенченко. Дальше резкая перемена («волшебство», по определению Макашина): лестные рецензии, Сталинская премия, обеспечившая Макашину относительно спокойные условия для научной работы.

В жизни С. А. Макашина было немало злых и добрых «волшебств». Среди добрых, более всего памятных, встречи на заре научной деятельности с автором «Шедринского словаря» М. С. Ольминским и А. В. Луначарским, который сказал в конце беседы с ним: «При серьезности вашего интереса к Шедрину, я советовал бы вам заняться его биографией. Этого вам хватит на всю жизнь».¹¹ Луначарский оказался прав. Биография Салтыкова стала самым важным делом всей жизни ученого. Результат очевиден. Это образцовая научная биография, яркая и талантливая, позволяющая в полной мере ощутить чрезвычайный масштаб личности и творчества великого писателя, мыслителя, общественного деятеля.

¹ «Герцен и Огарев» (т. 61, 62, 63. М., 1953, 1955, 1956), «Герцен в заграничных коллекциях» (т. 64, М., 1958), «Революционные демократы. Новые материалы» (т. 67. М., 1959), «Герцен и Запад» (т. 96. М., 1985).

² Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875—1889. Биография. М., 1989. Ранее вышли: Салтыков-Щедрин. Биография (1826—1856). М., 1949; 2-е изд., 1951; Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х годов. Биография. М., 1972; Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860—1870-е годы. Биография. М., 1984.

³ Макашин С. Изучая Щедрина (Из воспоминаний) // Вопросы литературы. 1989. № 5. С. 150.

⁴ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1977. Т. 20. С. 15.

⁵ Там же. С. 29.

⁶ Макашин С. Изучая Щедрина. С. 128.

⁷ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 13. С. 334.

⁸ Эта сила комизма с какой-то неизбежностью присутствует даже в самых мрачных страницах творчества и эпистолярия Салтыкова. Она своеобразно окрашивает и надрывно-драматическое письмо Салтыкова к Анненкову о запрещении журнала, потере литературного «угла»: «Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что я на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель. Думал, что я своим лицом действую, а выходит, что я начальником банды был. И все это я делал не с разумением, а по глупости, за что и объявлен публично всероссийским дураком. И Пошехонье теперь думу думает: так вот он каков! . . . В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие, что я застрелился; третьи, что я написал сказку „Два осла“ и арестован. А я сижу себе на Литейной № 62 — один-одинешенек!» (Салтыков М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 20. С. 14—15). Справедливо и точно глубокое суждение Макашина: «Раздражительность и стихия сарказма, владевшие писателем, далеко не всегда подчинялись его самоконтролю. „Сатирик“ он оставался всегда, нередко и по отношению к самому себе» (С. 122).

⁹ Потому-то Салтыков и «не имел ни одной правительственной награды — случай едва ли не уникальный в истории царской орденоносной бюрократии» (С. 356).

¹⁰ Макашин С. Изучая Щедрина. С. 130. Эльсберг, пожалуй, одна из самых зловещих фигур эпохи «великого» и «малых» терроров. Должно быть, всем памятно, сколько шума наделала заметка о нем в «Краткой литературной энциклопедии», вызывающе подписанная «Г. П. Уткин». Какие были перемещения, поиски «внутренних врагов», строгие санкции! Прелюбопытная страничка недавнего прошлого.

¹¹ Макашин С. Изучая Щедрина. С. 129.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. В. ТОМАШЕВСКОГО

Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ — ТЕОРЕТИК ЛИТЕРАТУРЫ

1

29 ноября 1990 года исполнилось сто лет со дня рождения Бориса Викторовича Томашевского — одного из классиков советской филологической науки.

Энциклопедически образованный ученый, Борис Викторович Томашевский внес огромный, поистине неопределимый вклад во все области отечественной филологии. Основоположник научной текстологии в СССР, он был одновременно одним из создателей знаменитого четырехтомного «Толкового словаря русского языка», вышедшего в 1934—1940 годах под редакцией Д. Н. Ушакова, и участником четырехтомного «Словаря языка Пушкина» (1956—1961). В своих классических работах по теории стиха Б. В. Томашевский продолжил начатый А. Белым труд по разработке научной истории и теории русского стихосложения, подготовив почву для дальнейшего успешного развития современного стиховедения. Особенно велики заслуги Б. В. Томашевского-пушкиниста. В течение нескольких десятилетий он фактически был признанным главой советского пушкиноведения. Его двухтомная (к сожалению, незаконченная) монография «Пушкин», книга статей «Пушкин и Франция», многочисленные статьи, посвященные биографии Пушкина, его стихам и прозе, огромный труд, вложенный им в расшифровку черновых рукописей Пушкина для первого академического и последующего «малого» академического изданий его сочинений (в том числе автографов «Евгения Онегина», «Дубровского», многих стихотворений, статей и прозаических набросков поэта), думается, до сих пор не получили достаточного признания и оценки. Б. В. Томашевским был подготовлен также впервые текст «Гавриилиады», выпущен ряд однотомников Пушкина и издание его сочинений в «Библиотеке поэта». Обаятельный человек необыкновенной взыскательности, научной честности и добросовестности, Б. В. Томашевский отличался исключительной стойкостью и мужеством в науке и жизни.

Математическая точность и ясность мышления (Томашевский окончил в 1912 году Льежскую высшую школу технических наук и в 1931—1935 годах преподавал высшую математику в Ленинградском институте инженеров путей сообщения) навсегда остались отличительной чертой его работ. Человек исключительного остроумия, он мог быть беспощадно язвительен по отношению к своим научным противникам и оппонентам и в то же время неизменно относился с глубоким сочувствием и добротой к коллегам и научной молодежи. Для каждого ученого, студента, читателя, который обращался к нему за помощью и поддержкой, у него всегда находилось свободное время и доброе слово. К Томашевскому относились с глубоким уважением А. Белый, А. Ахматова, В. Маяковский, Н. Заболоцкий. Он первый благословил Ахматову на ее пушкиноведческие изучения и в трудные, трагические для великого поэта дни горячо поддерживал Ахматову, помогая публикации ее работ. Лекции Томашевского в Ленинградском университете, где он в течение многих лет читал курсы по стилистике и стихосложению, а также специальные курсы, посвященные Пушкину, оказывали на слушателей не только благотворное научное, но и большое облагораживающее нравственное влияние. Руководя долгое время рукописным отделом Пушкинского Дома и участвуя в работе его отдела новой русской литературы, Б. В. Томашевский вложил громадный труд не только в издание «большого» и «малого» академического полного собрания сочинений Пушкина, образцово подготовив

для них тексты поэта, но и в академические издания сочинений Гоголя и Лермонтова. Он был также первым руководителем созданного в Институте русской литературы АН СССР по его инициативе специального отдела пушкиноведения. Под редакцией Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева было выпущено в 1929—1931 годах собрание сочинений Достоевского в тринадцати томах (в которое вошли не только художественные произведения, но и «Дневник писателя» и другие публицистические статьи Достоевского). В процессе подготовки этого издания, как и в процессе подготовки академического издания полного собрания сочинений Пушкина, Б. В. Томашевским была проделана колоссальная текстологическая и научно-эдиционная работа, впервые установлено и подвергнуто критическому анализу авторство многих статей и заметок Достоевского.

Научные заслуги Томашевского — пушкиноведа, текстолога, теоретика стиха, осуществленные им образцовые издания сочинений Пушкина, Островского, Достоевского и других русских классиков не помешали тому, что в 20-е и 30-е, а позднее в послевоенные годы он, как и многие другие крупнейшие советские ученые-филологи, испытал ряд несправедливых гонений и преследований. До войны его труды по вопросам поэтики и стихосложению подвергались вульгарно-социологической и рапповской критикой такому же пристрастному разному, как и труды других наиболее видных представителей «формальной школы» в литературоведении. А в 1949—1950 годах он был причислен к последователям Веселовского, ученым и критикам — «космополитам», и его книги долгое время не издавались. Первая часть монументальной монографии Томашевского «Пушкин» (1956) увидела свет после долгого и упорного сопротивления противников ее издания лишь благодаря поддержке В. Г. Базанова. Ходатайство Института русской литературы о присуждении Б. В. Томашевскому за эту книгу Пушкинской премии было отклонено, и эта премия была получена А. А. Елистратовой за популярный очерк о жизни и творчестве Байрона. Не переиздавалась в Советском Союзе с 1931 года и превосходная, не утратившая своего значения до сегодняшнего дня книга Б. В. Томашевского «Теория литературы. Поэтика» (1925), которая выдержала к тому времени шесть изданий и получила единодушную высокую оценку читателей и специалистов. И «Теория литературы» Томашевского, и выпущенный ученым на ее основе и предназначенный для учащихся «Краткий курс поэтики» (изд. 3-е. М.; Л., 1929) были вытеснены из обихода советской высшей школы несравненно более слабой, эклектической по своей методологии «Теорией литературы» Л. И. Тимофеева. Это нанесло весьма существенный вред многим поколениям учащихся нашей высшей школы, знания которых, полученные по курсам теории литературы и введения в литературоведение, оказались обедненными и усредненными. Впрочем, следует оговориться, что и в эти годы «Теория литературы» Томашевского (хотя она продолжала переиздаваться только за рубежом) всегда оставалась богатейшим необходимым источником знаний для всех, кто серьезно и углубленно интересовался в нашей стране теоретическими вопросами науки о литературе.

2

Значению Томашевского — текстолога и пушкиниста посвящен ряд статей, появившихся после смерти ученого.¹ В них с достаточной степенью полноты и убедительности проанализирован и оценен вклад Томашевского в развитие советской текстологии и пушкинистики. Поэтому в данной статье мы хотим остановиться на другой стороне наследия Томашевского, которая, как представляется, не получила исторически верной оценки в нашей науке. Речь идет о наследии Томашевского — теоретика литературы.

Томашевский начал свою деятельность с области теории стиха. Наиболее важные с принципиальной точки зрения работы его в этой области, относящиеся к 1916—1923 годам, были позднее объединены в книге «О стихе» (1929). Уже в наиболее ранних из этих работ Томашевский сформулировал свое *credo*, которому он остался верен на протяжении

12 Русская литература, № 4, 1990 г.

всей своей научной жизни. В этом смысле особенно симптоматичны следующие слова из открывающей книгу «О стихе» статьи «Проблема стихотворного ритма» (1922; опубл. — 1923): «Задачи современной науки далеки от практического менторства. Задачи ее более скромные — познание явлений».² Применительно к вопросам стиховедения та же мысль выражена Томашевским с еще большей прямоотой: «Науку. . . не интересуют дидактические цели. . . Пусть сами поэты ищут новых путей в стихосложении».³

Приведенные декларации чрезвычайно показательны: Томашевский стремился с их помощью провести рубеж между тем новым пониманием задач поэтики (и, в частности, теории стиха), которое он пропагандировал, и, с одной стороны, теми поэтами — символистами и акмеистами, которые выступали как «мэтры», предлагавшие своим ученикам и последователям воспользоваться обоснованной ими поэтической программой, опиравшиеся на их личный поэтический опыт и принципы представляемой ими школы (К. Бальмонт, В. Брюсов, В. И. Иванов, А. Белый и др.), а с другой стороны, различными появившимися к этому времени практическими руководствами по стихосложению (Н. Шульговского и др.), составители которых стремились помочь начинающим поэтам овладеть азами традиционной науки о стихе.

Задача научной поэтики — по Томашевскому — не указание поэтам «готовых» основ определенной сложившейся поэтической теории и не практическое обучение начинающих стихотворцев тому, как можно (и должно) писать стихи, а *строго объективное* научное изучение литературного материала разных эпох и стадий развития поэзии во всей его полноте и исторической изменчивости. Аналогичные задачи ставили перед собой в 20-е годы такие современники Томашевского, как В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов, С. И. Бернштейн, Л. В. Щерба и другие.

В той же книге о стихе Б. В. Томашевский четко формулирует ряд других важных для понимания его теоретической позиции вопросов. «Наука живет лишь дотолы, — читаем мы здесь, — доколе в ней не все благополучно. Если бы в области стиха все было бы решено, не представляло бы никакого интереса заниматься им. . . Наличие многих нерешенных проблем обеспечивает плодотворность дальнейшей научной работы».⁴ И в другом месте: «В науке о русском стихосложении еще не пройден первый шаг к познанию, заключающийся в регистрации и описании подлежащего изучению материала. Приступая к регистрации и описанию, мы должны твердо установить, что именно мы будем регистрировать и как описывать; необходимо решить вопрос о материале и методе описания».⁵

Как видно из приведенных формулировок, Томашевский с самого начала своей деятельности ставил перед стиховедением (и поэтикой вообще) две взаимосвязанные, но в то же время различные задачи: 1) постоянно двигаться вперед, выдвигая новые научные идеи и гипотезы, и 2) в качестве подготовительного «первого шага» к будущему изучению провести «регистрацию и описание» накопленного наукой материала, чтобы затем, отправляясь от этого описания и регистрации, сделанных на основе определенного строго научного метода, уверенно двигаться вперед.

Осуществлением второй из прокламированных здесь задач явились книги Томашевского «Русское стихосложение. Метрика» (1923) и «Теория литературы. Поэтика» (1925), уже упомянутая нами выше. Оставляя в данной статье в стороне книгу Томашевского о русском стихе (так как ее основные выводы в сжатом виде вошли в соответствующий раздел «Теории литературы», а также в посмертно изданный университетский курс лекций ученого «Стилистика и стихосложение» (1959)), мы сосредоточимся в дальнейшем на оценке основных общих теоретико-литературных воззрений Б. В. Томашевского, изложенных в его главной теоретической работе «Теория литературы». При этом прежде всего нужно устранить одну весьма распространенную ошибку.

Из двойного заглавия книги Томашевского «Теория литературы. Поэтика» едва ли не все, кто писал об этой книге (независимо от положительной или отрицательной ее оценки), делали вывод, что понятия «теория литературы» и «поэтика» для Томашевского

20—30-х годов практически друг с другом совпадали. И именно за это в первую очередь книга Томашевского многократно подвергалась позднее несправедливой (а нередко и прямо заушательской) критике. Между тем дело обстоит, как можно видеть и из приводимых далее слов ученого, и из титульного листа самой книги Томашевского, сложнее. Подзаголовок книги («Поэтика») в понимании автора не означал, вопреки общепринятому утверждению, отождествления терминов «теория литературы» и «поэтика» (хотя в вводной главе понятия эти и рассматриваются как равнозначные в школьном словоупотреблении).⁶ Подзаголовок (набранный не случайно другим, более мелким шрифтом) должен был, по мысли автора, служить указанием на то, что книга его охватывает лишь *вполне определенную область вопросов теории литературы*, а именно ту ее часть, которая составляет ее ядро и традиционно покрывается понятием «поэтика» (в отличие от отдела, который Томашевский, следуя Аристотелю, именовал «риторикой» (5)). С этим связана другая важная черта книги. Как мы уже видели, Томашевский в цитированной статье «Проблема стихотворного ритма» указывал, что при неразработанности многих вопросов теории стиха в качестве «первого шага» для подготовки дальнейшего углубленного исследования проблем стиховедения необходимы научно выверенные «регистрация и описание» самого материала изучения. Как явствует из вводной главы к «Теории литературы», в качестве аналогичного «первого шага» к дальнейшему изучению была задумана автором и та систематизация литературного материала, относящегося ко всей области поэтики (в его понимании), которая была предпринята Томашевским при работе над его «Поэтикой». Историко-генетической, психологической и нормативной поэтике Томашевский стремился противопоставить здесь введение в поэтику, основанное на максимально точном описании и классификации приемов художественной речи и способов построения произведения словесного искусства, рассматривая это введение как материал для будущих более широких теоретических обобщений. Причем, разграничивая задачи поэтики общей и исторической поэтики А. Н. Веселовского, автор писал, что «в общей поэтике», в отличие от исторической, «изучается не происхождение поэтических приемов, а их художественная функция» (6).

Все сказанное, как мы полагаем, необходимо иметь в виду для того, чтобы верно оценить «Теорию литературы» Томашевского как в контексте теоретической и историко-литературной мысли 20-х годов, так и с точки зрения значения многих ее основных идей и отдельных более частных положений для современности.

До появления книги Томашевского изучение вопросов поэтики и эстетики словесного творчества имело в русской научной литературе длительную историю. Многие основные вопросы их были поставлены и глубоко освещены русской классической критикой в лице Надеждина, Белинского, А. А. Григорьева, Чернышёвского, Добролюбова, а также такими выдающимися деятелями русской филологической науки XIX века, как Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня и А. Н. Веселовский. Однако А. А. Потебня и его ученики (например, Д. Н. Овсяннико-Куликовский) разрабатывали по преимуществу лишь вопрос о соотношении мысли и языка, понятийного и образного начал художественной речи, а также проблему поэтических родов и жанров. А. Н. Веселовский — создатель нового направления исторической поэтики — уделял основное внимание вопросу о происхождении родов и жанров, генезисе эпитета, психологического параллелизма и других особенностей поэтической речи. Еще одним разрабатывавшимся им направлением была поэтика сюжета. В дальнейшем В. Брюсов, А. Белый, В. Пяст и другие поэты-символисты и постсимволисты (акмеисты, футуристы) заложили фундамент для научного обновления теории русского стиха, которая имела солидную базу еще со времен Тредиаковского, Ломоносова, Радищева, Востокова и других крупных деятелей русской литературы XVIII—XIX веков. Новая глава в разработку вопросов поэтики была вписана в 10—20-е годы учеными «формальной школы». Однако между высокими уровнем теоретической мысли в области поэтики и уровнем университетского, а также школьного преподавания тех же вопросов продолжал существовать весьма серьезный разрыв. Этот разрыв и стремился устранить Б. В. Томашевский, создав первый в советское время обобщающий

труд, дающий систематическое, суммарное изложение основных вопросов поэтики, предельно точное в тогдашних условиях описание и классификацию ее научного аппарата, построенные на основе единого общего метода, на строго научной основе. Не случайно один из рецензентов первого издания «Теории литературы» справедливо назвал ее «первым на русском языке опытом изложения основных элементов науки художественного слова в свете ее новейших достижений».⁷

Несмотря на свои бесспорные достоинства в качестве и научного труда и учебника для высшей школы, «Теория литературы» Томашевского была подвергнута уже первыми критиками и рецензентами, которым пришлось о ней писать, упрекам за связь с идеями «формальной школы» и вытекающую отсюда методологическую ущербность.⁸ Именно из-за этого она была, как уже отмечалось выше, изъята из обихода высшей школы и с начала 30-х годов перестала у нас переиздаваться. Однако с подобными упреками трудно согласиться. И не только потому, что, как мы хорошо знаем сегодня, деятельность «формальной школы» в области истории и теории литературы дала начало положительным и ценным результатам, прочно вошедшим в современную советскую и всю международную науку о литературе. В Ю. Н. Тынянове, В. Б. Шкловском, Б. М. Эйхенбауме или Г. А. Гуковском мы видим не только создателей и пропагандистов идей и принципов «формальной школы», но и классиков русского советского литературоведения XX века. Особая сложность вопроса состоит в том, что, будучи «попутчиком» «формальной школы» и восприняв многие ее идеи, Б. В. Томашевский (так же как В. М. Жирмунский, В. В. Виноградов или Г. А. Гуковский) был слишком большой индивидуальностью, чтобы его научное творчество могло быть целиком ограничено в каждую из эпох его жизни рамками одного направления. Принимая одни из идей «формальной школы», он весьма критически относился к другим ее идеям и никогда не терял научной самостоятельности. И эта самостоятельность мысли Томашевского всецело проявилась в его «Теории литературы», сообщив ей то «лица необщее выраженье», о котором когда-то, характеризуя особенности своей музыки, говорил Е. А. Баратынский.

Над проблемами лингвистики (и прежде всего истории русского литературного языка) Б. В. Томашевский продолжал активно трудиться в течение всей жизни. Он принадлежал к числу тех выдающихся советских филологов, для которых проблемы лингвистики и поэтики были тесно связаны в один узел. Но это не мешало Б. В. Томашевскому проводить строгое различие между лингвистикой и поэтикой, а также между нормативной, чисто лингвистической стилистикой и стилистикой художественной речи с точки зрения их задач и тех методов, которыми обе они пользуются. В соответствии с этим Б. В. Томашевский четко сформулировал во введении к «Теории литературы» мысль, что, хотя «в ряду научных дисциплин теория литературы близко примыкает к науке, изучающей язык, т. е. к лингвистике», и между ними «имеется целый ряд пограничных научных проблем», предмет и содержание их *не совпадают* (3). Практическая, повседневная речь имеет окказиональный характер, является всего лишь средством повседневного общения, в то время как речь художественная твердо фиксирована, а ее особая выразительность и смысловая наполненность придают ей уникальный, самоценный характер (4). Выразительность и самоценность поэтической речи определяют значение для нее вопроса о «конструкции художественных произведений», которая существенно отличается от конструкции произведений нехудожественных. Первую изучает поэтика, вторую же — риторика. Обе они, взятые в совокупности, составляют «общую теорию литературы» (5). При этом, как подчеркивает Томашевский, всегда важно иметь в виду, что *уже единичное слово в поэзии (в отличие от практической речи) не может быть сведено к его чисто «коммуникативной функции». Ибо помимо нее в художественной речи важна функция художественно-эстетическая.* В литературно-художественных произведениях «замечается своеобразная культура выражения, особая внимательность в подборе слов и в их расположении. Внимание, обращенное на самое выражение, гораздо выше, чем в обиходной практической речи. Выражение (т. е. форма.— Г. Ф.) является неотъемлемой частью заключающегося в ней сообщения» (9). И это

относится всецело не только к речи «украшенной», стилизованной, к речи орнаментальной, но к *любой* речи, ориентированной на эстетическое восприятие. Тем более то же самое относится к художественному произведению, взятому как целое. Причем «было бы ошибочно полагать, что художественная речь свойственна только художественному произведению. . . Художественная речь может быть и вне литературы». С другой же стороны, художественное произведение может быть написано «стертым», «неощутимым», т. е. *нехудожественным* языком, так как оно может быть лишено ясной художественной мысли и выразительного построения (10).

Как представитель точных наук, математик по образованию, Томашевский стремился освободить литературную науку от импрессионизма и субъективизма, максимально сблизив ее по методу исследования и изложения с точными науками. Эта основная тенденция научного творчества Томашевского проявилась в его классических работах по стиховедению и текстологии. И в области поэтики она также побудила Томашевского к стремлению, прежде всего, к предельно точному «описанию и классификации явлений и их истолкованию», в чем он был склонен видеть первую, самую насущную задачу поэтики как строго научной дисциплины (3). В то же время Томашевский обладал слишком большим запасом здравого смысла, чтобы за анализом словесной и языковой деятельности человека забыть о ее психологической и эмоциональной выразительности, о значении для литературы мысли и чувства, окружающей человека предметно-объективной материальной среды и широкого круга волнующих его культурно-исторических, социальных и общечеловеческих вопросов (3, 132, 139 и др.). Все эти важнейшие особенности позиции Томашевского отразились в «Теории литературы».

«Интерес, пробуждаемый в нас поэзией, и чувства, возникающие при восприятии поэтических произведений, психологически родственны интересу и чувствам, возбуждаемым восприятием произведений искусства, музыки, живописи, танца, орнамента, — отмечает во Введении автор, — иначе говоря, этот интерес является эстетическим или художественным. Поэтому поэзия именуется также художественной литературой, в противоположность прозе — нехудожественной литературе» (5).

Утверждая далее, что главными свойствами литературы и литературной (художественной) речи являются фиксированность литературного (как и устно-поэтического) текста, его относительная «независимость от случайных, бытовых условий произнесения» (или прочтения), закреплённая «неизменностью текста» (4), Томашевский указывает, что решающим признаком художественной речи, в отличие от речи практической, повседневной, которая служит всего лишь «средством общения» и «живет в условиях ее созидания» (потому любое слово в ней легко может быть заменено другим, а иногда и простым жестом), является «установка на выражение», особая «самоценность» (3). «При восприятии такой речи, — развивает он это определение, — мы невольно ощущаем выражение, т. е. обращаем внимание на входящие в выражение слова и на их взаимное расположение» (9). Однако, специально оговаривает ученый, ни в коем случае не следует полагать, что «установка на выражение» происходит в ущерб мысли, что, следя за выражением, мы забываем о смысле. Наоборот — выражение, обращающее на себя внимание, «особенно возбуждает нашу мысль и заставляет ее продумать услышанное». Привычные же, «не задевающие нашего внимания формы речи как бы усыпляют внимание и не вызывают в нас никаких представлений. *Человек, которому нечего сообщить, но который обязан говорить, прибегает к обычной „штампованной фразеологии“, которая дает ему возможность создавать видимость речи, не заключающей в себе никакой мысли.* Точно так же и слушатель, привыкший к этой „штампованной фразеологии“, автоматически слушает ее, не задерживаясь вниманием на смысле сказанного» (9—10; курсив мой. — Г. Ф.). Современный человек не может не ощутить в последних двух приведенных фразах из «Теории литературы» горячий протест автора против схоластической идеологической риторики и догматизма в науке и жизни, которые — увы! — достаточно часто звучали у нас уже в первые пореволюционные годы и которые впоследствии, в годы укрепления сталинизма и в послевоенные годы застоя, превратились в огромную

общественную беду, на много лет задержавшую развитие нашего общества и его продвижение вперед.

Стремясь к строго научному построению поэтики, Томашевский делит книгу на три основные части: 1) «Элементы стилистики» (9—70); 2) «Сравнительная метрика» (71—130) и «Тематика» (131—206). Как мы уже знаем, главной задачей своей при построении каждой из этих частей автор считал всего лишь «описание и классификацию» научного материала. Тем более необходимо отметить, во-первых, что при выделении основных понятий и категорий каждого раздела автор — и в этом состоит огромное достоинство его труда — стремился настойчиво избежать всякого схематизма. Свою классификацию категорий поэтики он строил не на априорных схемах (подобно В. Я. Брюсову или Н. С. Гумилеву), а на обобщении громадного скрупулезно изученного материала истории русской и мировой литературы. Поэтому предпринятая Томашевским классификация категорий теоретической поэтики практически легла в основу едва ли не всех значительных работ по введению в литературоведение, теории литературы и поэтики у нас и за рубежом. При этом в дальнейшем она существенно дополнялась также и новыми понятиями (метод, направление и т. д.), корректировалась и уточнялась в соответствии с позднейшими научными открытиями и достижениями. И все же в основе своей — в пределах имеющихся в книге Томашевского разделов — принципиальных изменений в своем категориальном аппарате она не претерпела вплоть до сегодняшнего дня. А во-вторых, хотя Томашевский и оговаривает в начале книги специально, что задачу свою он сознательно ограничил «описанием и классификацией» элементов стилистики, стихотворной речи, основных категорий сюжетного построения, а также жанровых разновидностей драматических, лирических и повествовательных произведений, он фактически постоянно вводит в ткань своего повествования проблемы исторической поэтики, вопросы о реальном бытовании, происхождении и развитии поэтических форм и приемов.

Однако прежде чем перейти к характеристике отдельных разделов книги Томашевского, следует подчеркнуть еще одно большое общее достоинство его труда, сообщившее «Теории литературы» новаторское значение. Дореволюционные учебные пособия по теории словесности оперировали только материалом русской литературы XVIII—XIX веков. Томашевский же, широко обращаясь в «Теории литературы» к русской классике — от Ломоносова и Сумарокова до Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Островского, Достоевского, Щедрина, Толстого, Чехова, в то же время впервые обильно привлекает в своем труде в качестве материала для анализа и иллюстрации отдельных его положений наряду с классикой русскую литературу XX века и литературу советскую. В каждом из разделов его книги то и дело мелькают имена Бунина, Брюсова, Блока, А. Белого, И. Конеvского, В. И. Иванова, Хлебникова, Маяковского, Н. Тихонова, Асева, В. Каменского, Зощенко, Бабеля, Н. Никитина, Вс. Иванова, Б. Пильняка, С. Образовича, Л. Сейфуллиной, В. Инбер, В. Каверина, И. Эренбурга и других представителей новейшей русской поэзии и прозы. В этом признании *равного значения* для целей построения современной поэтики творчества классиков и современников, писателей — традиционалистов и новаторов крылась своеобразная научная «революция» в сфере исследования теоретических закономерностей исторического развития литературы.

Так же как в других разделах «Теории литературы», в основу построения ее первого раздела, посвященного вопросам стилистики, автор кладет «классификацию проблем» последней (11). Это позволяет ему тонко и содержательно охарактеризовать основные проблемы лексики, синтаксиса и эвфонии (звуковой стороны) художественной речи, имеющие в литературе стилистическое значение. Особое место Томашевский уделяет вопросам об «основном значении» слова и его «вторичных значениях», а также о «потенциальных смысловых ассоциациях», которые слово способно вызывать (13). Привлекая в качестве иллюстрации по сравнению со своими предшественниками несравненно более широкий исторический материал, Томашевский на большом числе самых разнообразных примеров характеризует значение для литературно-художественно-

ственной речи «отбора слов различной языковой среды» (14—28), многообразные художественные функции в ней варваризмов, диалектизмов, сказового фона, лексики различных профессиональных групп, архаизмов (в том числе славянизмов), различного типа неологизмов, прозаизмов и других разрядов слов, обладающих особой лексической окраской. То же самое относится к разделу о тропах (29—54). Особой содержательностью отличаются страницы, посвященные вопросам о «необычных согласованиях» и шире — синтаксису художественной речи и его эмоционально-психологическому подтексту. В каждом из перечисленных разделов Томашевский выступает как подлинный новатор в области стилистики поэтического слова, один из зачинателей (вместе с В. В. Виноградовым) современной науки о языке и стиле художественной литературы как особого научного направления отечественной филологии. Многие страницы этих разделов можно признать блестящими, непревзойденными и сегодня по краткости и точности определения (см., например, с. 30—37 — о метафоре и эпитете, замечания и примеры на с. 38—39 о развернутой метафоре как «обычном приеме развития лирической темы» (39) и только что упомянутый раздел о синтаксисе литературно-художественной речи (42—54)). Ряд нетрадиционных, плодотворных, часто весьма современных идей и гипотез высказан автором также в разделе, посвященном классификации приемов, способствующих звуковой выразительности, и способов специфического графического оформления литературно-художественной речи.

К написанию главы «Сравнительная метрика» Томашевский был подготовлен многочисленными более ранними работами о пушкинском стихе, а также книгой «Русское стихосложение» (1923) — одной из первых солидных работ на эту тему. Кроме того, он мог опереться при написании этого раздела и на работы О. М. Брика, В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума и других исследователей стиха 20-х годов. В определенной мере глава эта отражает уровень развития тогдашней стиховедческой мысли, которая, благодаря позднейшим работам самого же Б. В. Томашевского, В. М. Жирмунского, С. М. Бонди, К. Тарановского, а в новейшее время М. Л. Гаспарова и других выдающихся современных исследователей русского стиха, проделала дальнейшую эволюцию и поднялась на новую ступень. Тем не менее как подведение итогов работы и развития нашей стиховедческой школы 20—30-х годов этот раздел книги Томашевского имел выдающееся значение. Здесь весьма точно и доказательно охарактеризовано различие между стихом и прозой, подчеркнута значимость для стихотворной речи «речитативной формы» (которую писатель мыслит как «речь произносимую», 71), интонации, системы ударений, звуковых аналогий и ассоциаций. «В стихе ритм является определяющим построением моментом, и в рамки стиха вдвигается смысл и выражение. . . То, что нам приходится задерживать внимание на каждом слове, чтобы „прислушаться“ к нему, обостряет восприятие каждого отдельного слова. . . То, что речь является *не сплошь*, а рядами, более или менее изолированными, создает особые ассоциации между словами одного ряда и между симметрично расположенными словами параллельных рядов. Благодаря этому. . . развитие стихотворной речи ведется главным образом по тесным словесным ассоциациям, от слова к слову, от предложения к предложению, от „образа“ к „образу“» — так весьма удачно Томашевский резюмирует свои идеи об общем своеобразии стихотворной речи в отличие от прозаической (73). Особую ценность стиховедческому разделу «Теории литературы» придает то, что история русского стиха изучается в нем на широком фоне истории античного — древнегреческого и древнеримского — и западноевропейского (французского, английского, итальянского, немецкого и польского) стихосложения. Наряду с метрической, силлабической и силлабо-тонической системами стиха заметное место уделено народно-поэтической традиции, акцентному стиху, новейшим поэтическим исканиям XX века. При характеристике александрийского стиха отмечается различие его построения во французской, итальянской, польской и русской поэзии. Специальные разделы посвящены цезуре, различным видам рифм и поэтическим повторам, звуковой стороне стиха, вопросам строфики и т. д. Весь этот обильный и разнообразный материал изложен предельно сжато, со строгим учетом хронологического развития поэзии и ее

отдельных форм. Причем особенно важно подчеркнуть, что стихотворная речь неизменно характеризуется автором как речь, обладающая особой эмоциональной и психологической выразительностью, *способствующей предельной сгущенности мысли и чувства в сфере лирической поэзии*. Естественно, что особое внимание при этом уделено Пушкину, к которому мысль исследователя обращалась постоянно.

Третий раздел книги Томашевского («Тематика») в настоящее время относительно устарел больше двух других, так как не охватывает ряда вопросов, ставших предметом более пристального внимания на более поздних этапах развития нашей литературной науки. Однако если рассматривать его в рамках тех задач, которые поставил перед собой автор, он так же, как и два предыдущих раздела, содержит множество конструктивных идей, не только широко вошедших в последующую литературную науку, но и сохранивших свое значение для наших дней.

О важнейших недочетах последнего раздела книги с современной точки зрения мы скажем дальше. Пока же остановимся на некоторых его немаловажных достоинствах.

Прежде всего следует отметить, что как на главную особенность литературно-художественного произведения Томашевский указывает на присутствие в нем «общности мысли» (131). Именно объединяющую все компоненты произведения «общность мысли» ученый характеризует как тему произведения. «В художественном выражении — так формулирует он исходное положение всего раздела «Тематика» — отдельные предложения, сочетаясь между собою по их значению, дают в результате некоторую конструкцию, объединенную общностью мысли или темы. Тема (о чем говорится) является единством значений произведения. . . Только заузное произведение не имеет темы, но потому-то оно и является не более как экспериментальным лабораторным занятием некоторых поэтических школ. Для того, чтобы словесная конструкция представляла единое произведение, в нем должна быть объединяющая тема, раскрывающаяся на протяжении произведения» (Там же).

Итак, подлинного художественного произведения без «общности мысли», т. е. без определений идеи и темы, по Томашевскому, не существует. Это исходное положение ученого (так же как его ограничительную характеристику «заузной» поэзии) нельзя не рассматривать как прямую полемику с идеями «формальной школы».

Характеризуя далее возможность выбора художником различных тем — более или менее «интересных» и занимательных для широкого читателя, а также более или менее актуальных, Томашевский строго разграничивает произведения на «преходящие, временные» темы и на темы более глубокие, емкие и значительные. «Чем значительнее выбирается тема, — пишет он, — тем длительнее ее действительность, тем более обеспечена жизненность произведения. Расширяя так пределы актуальности, мы можем прийти до „общечеловеческих“ интересов (проблема любви, смерти), неизменных на всем протяжении человеческой истории. Однако эти „общечеловеческие“ темы должны быть заполняемы каким-то конкретным материалом, и если этот конкретный материал не связан с актуальностью, постановка этих проблем может оказаться „неинтересной“» (132).

Здесь отчетливо просматривается протест ученого, направленный как против грубой политизации искусства, превращающей его в простое средство агитации и пропаганды (что было характерно для Пролеткульта, Лефа и многих других литературных направлений первых советских лет), так и против эпигонства, когда из общечеловеческих тем в произведении выхолащивается живая жизнь и оно лишается всякой связи с живыми, реальными интересами читателя. Думается, что такая постановка вопроса о соотношении злободневного и общечеловеческого в искусстве не потеряла своего значения и сегодня.

«Актуальность» не следует понимать только как «изображение современности» — подчеркивает далее Томашевский. «Историческая тема из определенной эпохи» также может быть актуальна, а порою — при условии живого ощущения исторической связи прошлого и настоящего — даже «встречать, может быть, больший интерес, нежели изображение современности. Наконец, в самой современности надо знать, что изобра-

жать. Не все современное бывает актуально, не все вызывает одинаковый интерес. . . Интерес к теме определяется историческими условиями момента возникновения литературного произведения, причем в этих исторических условиях важную роль играет литературная традиция. . .» (133).

В подчеркивании ученым исторической связи между прошлым и настоящим, в убежденной защите им значения литературных традиций также невозможно не увидеть сознательной полемической ноты по отношению не только к теоретикам Пролеткульта, но и к представителям лефовской критики 20-х годов.

Рассматривая в качестве необходимого для нормального функционирования литературы условия постоянную связь писателя с живым читателем и его интересами, Томашевский особо отмечает, что, учитывая общественно-литературные и культурно-исторические интересы читателя и активно опираясь на них, писатель должен в то же время помнить о необходимости постоянно поддерживать внимание читателя к произведению, стимулируя живое эмоциональное отношение его к идеям, фабуле и действующим лицам. «В поддержании внимания, — пишет в связи с этим Томашевский, — крупную роль играет эмоциональный момент в тематизме. . . Эмоции, возбуждаемые произведением, являются главным средством поддержания внимания. Не достаточно холодным тоном докладчика констатировать этапы революционных движений. Надо сочувствовать, негодовать, радоваться, возмущаться. Таким образом, произведение. . . воздействует на читателя, вызывая в нем какие-то направляющие его волю эмоции. . . Вот почему тема художественного произведения бывает обычно эмоционально окрашена, т. е. вызывает чувство негодования или сочувствия, и разрабатывается в оценочном плане. При этом не надо забывать, что *этот эмоциональный момент вложен в произведение, а не привносится читателем*» (133; курсив мой. — Г. Ф.).

Переходя к дальнейшим, более конкретным категориям поэтики, Томашевский излагает свои определения категории фабулы (которую он характеризует как «совокупность событий» произведения «в их взаимной внутренней связи»), ситуации, интриги, сюжета («совокупности тех же мотивов в. . . последовательности и связи, в которой они даны в произведении»). Особое значение автор придает причинно-временной связи событий, составляющих фабулу, последовательности ввода ее основных мотивов в поле зрения читателя, различным видам сюжетного построения произведения. Существенно и проведенное Томашевским разделение отдельных фабульных составных на традиционные и свободные, а также на мотивы вводящие, динамические (двигающие сюжетный ход событий) и статические (описания природы, местности, обстановки и т. д.). Классификация и характеристики этих категорий, данные Томашевским на широкой сравнительно-исторической основе, с учетом многочисленных русских и зарубежных источников, в целом прочно вошли в современную поэтику у нас и на Западе, хотя, как правило, без ссылок на приоритетную разработку их Томашевским. Так же обстоит дело с различением прямой и задержанной экспозиции, замечаниями о значении временных сдвигов в развертывании фабульного материала, характеристикой разных типов рассказчиков, соотношения слова автора и слова героя, анализом различия между фабульным временем и временем повествования (139—143).

Менее удачны в книге разделы о мотивировке (144—152) и о литературном герое (152—158). Стремясь как к главной своей задаче к классификации различных типов мотивировки развития событий в произведении (реальных и фантастических), Томашевский отвлекается от принципиального для вопросов искусства различия между литературой, рассчитанной на выполнение высоких этических и идейно-эстетических функций, и литературой, удовлетворяющей более скромные потребности читателя, ориентированной прежде всего на занимательность. Отсюда известная усредненность, внекритическая абстрактность даваемых им определений. Особенно показателен в этом смысле раздел о герое, где обращение художника к образам живых персонажей рассматривается без учета центрального значения для литературы образа человека — как «средство» «группировки и нанизывания мотивов». Самая личность героя, его

характер определяются Томашевским как всего лишь подсобное средство, облегчающее читателю «возможность разобраться в нагромождении мотивов» (152).

Вообще в последних разделах книги обнаруживается известная непоследовательность автора. Сосредоточиваясь на приемах и средствах художественной занимательности, ученый почти не затрагивает вопроса о соотношении литературы и действительности в разные исторические эпохи. Выпадают из его поля зрения и проблема различия мифологического, сказочного и романного типа героев, способность литературы высветить через рассказ о личной истории испытаний персонажа большие, общие проблемы человеческого бытия. Стремление Томашевского провести разделительную черту между «общей» и исторической поэтикой обнаруживает свою слабую сторону. То же самое относится к страницам о жизни сюжетных приемов, а также к последней главе книги «Литературные жанры» (158—206). Здесь особенно отчетливо чувствуется сознательная установка Томашевского на «описание и классификацию материала». Установка эта хотя и способствовала разнообразию содержания и известной целостности книги, но вместе с тем значительно сузила и обеднила те разделы ее, где от строительных клеточек стилистики и метрики автор поднимается к вопросам иного порядка, охватывающим проблемы структуры художественного произведения как целого, во всей диалектической сложности его внутренних сцеплений, и взаимоотношения его с многовековым общекультурным и историко-литературным процессом. Несмотря на значительное число систематизированных ученым ценных сведений о различных модификациях драматических, лирических и повествовательных жанров и приемах их построения,⁹ взгляд на литературно-художественное творчество как на продукт чисто индивидуального авторского мастерства, где действие освещено «заданной» субъективной интенцией писателя, эмоциональным его отношением к героям и их поступкам, заметно снижает уровень последней части книги по сравнению с двумя первыми ее частями. Емкость и многозначность анализируемых художественных текстов остаются здесь нераскрытыми. Вопреки провозглашенному на первых страницах «Теории литературы» отказу от научного дидактизма, Томашевский невольно поддается соблазну превратить ее последние главы в своеобразное руководство для начинающих писателей, цель которого помочь им овладеть всеми накопленными веками секретами литературного «мастерства», чтобы свободно использовать их, хотя и не подчиняясь при этом специфическим предписаниям той или иной литературной школы или направления. Стремление построить поэтику как синхронную систему категорий без учета диахронии историко-литературного процесса приводит на практике к тому, что главы, посвященные вопросам «макропоэтики», теряют теоретический интерес, приобретая скорее характер школьного изложения. Этот недостаток, который особенно ощутим в пересказах «Андромахи» Расина, мольеровского «Тартюфа» и шекспировского «Гамлета», как можно полагать, почуствовал уже вскоре сам автор, изменивший в позднейшем лекционном курсе «Стилистика и стихосложение» для студентов ЛГУ название последней части «Теории литературы» на иное — «Художественная система как категория историческая» (хотя переработка этой части не была доведена до конца).¹⁰

* * *

После окончания войны, когда Б. В. Томашевский вернулся из Москвы в Ленинград и возобновил преподавательскую деятельность в ЛГУ, он, хотя и не имел возможности опубликовать новое переработанное издание своей «Теории литературы», продолжил систематическую работу над ней в процессе подготовки и чтения лекционных курсов по стилистике и стихосложению на филологическом факультете. После смерти ученого курс его лекций «Стилистика и стихосложение» был в 1959 году издан под редакцией проф. В. Я. Проппа. Позднее, в 1983 году, первая часть этого курса («Стилистика») была переиздана издательством ЛГУ в качестве учебного пособия под редакцией А. Б. Мурато-

ва, снабдившего это издание содержательным (хотя и не во всем бесспорным) кратким послесловием. При подготовке обоих изданий посильную помощь редакторам оказала вдова ученого — И. Н. Медведева-Томашевская, а при подготовке второго из них также ее дочь З. Б. Томашевская.

Положив в основу лекций общую схему и группировку материала старой «Теории литературы», Томашевский постарался в своем курсе опровергнуть прочно сложившуюся к этому времени, хотя, как мы старались показать выше, совершенно несостоятельную на деле характеристику его книги как написанной с узкоформалистических позиций. Поэтому он предпослал курсу в качестве введения специальную лекцию «Форма и содержание», где по существу развил ряд идей, заключенных уже в тех первых разделах его «Теории литературы», которые остались непонятыми (или сознательно обойденными) его критиками.

«Большой ошибкой, — писал здесь Томашевский, отвечая своим критикам, — является распространенное убеждение, что мысль и ее выражение можно изучать одно независимо от другого. . . Мысль мы узнаем только из ее словесного выражения; равно и выражение есть средство передачи мысли. . . Если отнять у мысли ту форму выражения, в которую эта мысль облекается, то. . . может получиться нечто совсем иное. . . Единство формы и содержания вовсе не есть только требование хорошего произведения, без которого в крайнем случае можно и обойтись. . . Разграничить форму и содержание в произведении невозможно. Форма и содержание — два аспекта неделимого целого, два полюса, между которыми располагаются все взаимно обусловленные элементы произведения».¹¹

В отличие от «Теории литературы» книга «Стилистика и стихосложение» сложилась на основе курса университетских лекций и предназначалась (в авторской и стенографической записи) как будущее учебное пособие к этому курсу. Отсюда — введение в книгу обширного дополнительного материала по истории русского литературного языка и по истории поэтики (изложение вопроса о соотношении церковнославянского и русского языков, характеристики грамматик Мелетия Смотрицкого, Лудольфа; полемики по вопросам языка русских писателей XVIII века, «Поэтики» Аристотеля; подробный анализ сущности языковой реформы Ломоносова, трактатов Тредиаковского, Ломоносова и Кантемира о русском стихосложении, спора шишковистов и карамзинистов; специальные главы о языке Пушкина и Гоголя, о стихе Маяковского и т. д.). Из других важных дополнений к тексту «Теории литературы» можно отметить более подробную разработку вопроса о соотношении театра и драматургии, роли сценичности для построения и восприятия драматической формы (хотя этим вопросам, так же как проблемам времени в драме, соотношению в ней главных и эпизодических персонажей, автора, режиссера и художника, участвующих в постановке спектакля, различию между актерами сказового и мимического типа, значительное место было уделено уже в соответствующем разделе «Теории литературы»). Кроме того, в разделах «Стилистика» и «Стихосложение» автор поставил своей задачей учесть те достижения в области разработки проблем стилистики и теории стиха, которые были сделаны после 1931 года. Однако, как свидетельствует тщательное сопоставление текста «Теории литературы» с позднейшим лекционным курсом Томашевского, именно материал, систематизированный в «Теории литературы», и ее структура оставались для Томашевского руководящей нитью при построении его лекционных курсов. Это всецело относится (вопреки мнению А. Б. Муратова) к вводной лекции последнего незавершенного раздела его лекционного курса, озаглавленной теперь (как уже было указано выше) «Художественная система как категория историческая».

Дополняя свое прежнее изложение поэтики и ее основных категорий, где преобладал в соответствии с устремлениями научной поэтики 20-х годов принцип синхронного изложения материала, принципом диахронии и обогащая в соответствии с этим ее историческую часть, Томашевский не уходил от своих идей 20-х годов, а стремился более глубоко и тщательно обосновать их на новом историческом материале (хотя многочисленные исторические экскурсы, относящиеся ко многим элементам языка и стиха присутствовали, как мы постарались показать выше, уже в его более ранней работе). Эта

настойчивость ученого в защите своих основных научных позиций свидетельствует не только о его глубокой убежденности в правильности исходных идей своей работы в области поэтики, но и о его гражданском мужестве и достоинстве — качествах, неотъемлемых от нашего представления о чертах, присущих каждому подлинному ученому.

Думается, что, оценивая в свете сегодняшнего дня задачи нашей теории и истории литературы, наш долг пересмотреть сложившееся у нас в прошлые годы предубеждение против «Теории литературы» и примыкающих к ней других теоретических работ Томашевского, перечитать эти работы свежими глазами и способствовать их новому комментированному переизданию для специалистов и для нашей научной молодежи.

¹ См., например: *Измайлов Н. В.* Томашевский как исследователь Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 5—24; *Левкович Я. Л.* Б. В. Томашевский // Вопросы литературы. 1979. № 11. С. 201—219; *Jacobson R. B. V.* Tomaševský (1890—1957) // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1959. Т. 1—2. Р. 343—346. Краткие биографические сведения о Б. В. Томашевском см.: *Измайлов Н. В.* Б. В. Томашевский // КЛЭ. М., 1972. Т. 7. Стлб. 570—572; *Бахтин В., Лурье А.* Писатели Ленинграда. Библиографический справочник. Л., 1982. С. 300—301 (здесь же свод библиографических материалов).

² *Томашевский Б. В.* О стихе. Л., 1929. С. 9.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 61—62.

⁵ Там же. С. 9.

⁶ *Томашевский Б. В.* Теория литературы. 6-е изд. М.; Л., 1931. Далее цитаты из этого издания даются в тексте с указанием страницы.

⁷ *Сергеевский И.* [рец.] // Красная новь. 1925. № 5. С. 276.

⁸ Звезда. 1925. № 3 (9). С. 298—299; На литературном посту. 1927. № 11—12. С. 30—37; Печать и революция. 1927. № 6. С. 208—209. О «формалистической идеологии книги» пишет несправедливо, на наш взгляд, опираясь на помещенные здесь рецензии (и солидаризируясь с ними в оценке позиции Томашевского как автора «Теории литературы»), также А. Б. Муратов. См.: *Томашевский Б. В.* Стилистика. Учебное пособие. 2-е изд. Л., 1983. С. 286—287.

⁹ Особо содержательным представляется краткий раздел, посвященный лирическим жанрам, где блестяще охарактеризован «особый тематизм» лирики, роль в ней «выразительного нагнетения» лирической темы, которая «получает движение в варьировании выражения» и в расширении ассоциативного подтекста (180). Здесь же непреходящее значение сохраняет анализ различных форм собственного лирическому произведению тематического, синтаксического, лексического, строфического и интонационного параллелизмов (184—188), указание на «особую интонацию и особенную подчеркнутость» концовки стихотворения, придающих ей повышенную суггестивность (189).

¹⁰ *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 497—524.

¹¹ *Томашевский Б. В.* Стилистика. Учебное пособие. С. 3—4.

К ИСТОРИИ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ КНИГИ Б. В. ТОМАШЕВСКОГО «ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ»

В 85-м томе «Литературного наследства» помещена рецензия В. Я. Брюсова на представленную в Госиздат работу Б. В. Томашевского «Пушкин и французские поэты» (публикатор — Т. В. Анчугова). Краткий комментарий, сопровождающий публикацию, завершается словами: «Кто был автором предыдущего отзыва о работе Томашевского „Пушкин и французские поэты“, установить не удалось».¹ Текст, публикуемый ниже с исправлением очевидных опечаток, является, по нашему мнению, той неразысканной рецензией.

Б. ТОМАШЕВСКИЙ. ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЭТЫ

Книга Б. Томашевского, заключающая в себе две статьи — «Пушкин и Мольер» и «Пушкин и Лафонтен», представляет собой работу очень нужную и важную в настоящее время для изучения Пушкина. Нет сомнений, что точно выяснится работа Пушкина нам только тогда, когда мы сумеем для себя ориентировать Пушкина в его эпохе и в том круге писательских восприятий, который был ему близок и дорог. До сих пор исследование «влияний» шло путем кустарничества. Случайно знакомый с тем-то поэтом и Пушкиным автор случайно их склеивал в некое единомыслие, — отсюда вся однобокость таковых суждений и совершенно недоразвитое рассмотрение влияний авторов XVIII века, несомненно положивших свою руку на всю раннюю работу П(ушкина), а, следовательно, ясно отразившихся и на последующей работе.

Исследования Б. Томашевского с достаточной точностью и осторожностью, намечают взаимоотношения Пушкина с Мольером и Лафонтеном: о первом автор весьма основательно говорит, что М(ольер) в конце концов послужил для П(ушкина) мостом к Шекспиру, — ряд сложных парафразов из Мольера (Дон-Гуан, Скупой рыцарь), видимо, подтверждают это мнение; О Лафонтене Т(омашевский) говорит, что сей был не предметом изучения для П(ушкина), а автором, которого было нужно и можно читать: влияние Л(афонте) на П(ушкина) отсюда весьма действенно, и естественно привлекался к Л(афонте) П(ушкин), видимо, по противоположности с Депрео — как к живым мощам классицизма.

Книга Б. Т(омашевского) заслуживает быть напечатанной в одну из ближайших очередей.

Сергей Бобров.

25.5.20

Москва.²

Сравнивая две рецензии, можно резюмировать противоположность оценок следующим образом: Боброву нравится у Томашевского кропотливая конкретика сопоставлений, столь близкая его будущей методологической статье.³ Брюсову подобные аналогии кажутся общевидными,⁴ и он настаивает на переходе от поверхностных структур к глубинным («часто места, по внешнему содержанию вовсе не сходные, глубже

вскрывают влияние другого писателя, нежели почти тождественные. В самой настойчивости отрицания того или другого метода можно иногда вернее проследить влияние, нежели в подражаниях».⁵ В противоречивой философии Брюсова иррационально-неопределенное враждовало с конкретно-вещным,⁶ и найти здесь доминанту непросто. Свою позднюю работу «Пророк», например, Брюсов завершает выводами, почти дословно перекликающимися с «Займствованиями и влияниями»: «Руководствуясь формальным методом, возможно установить точную связь данного стихотворения с предшествовавшими ему явлениями литературы (влияния и займствования)».⁷ Столь же трудно, на первый взгляд, понять, почему Брюсов, выискивая у Пушкина автореминисценции и реминисценции из Языкова,⁸ воспротивился аналогичным поискам Томашевского. Вероятно, к интерпретации брюсовского отклика на книгу Томашевского необходимо привлечь и историю их взаимоотношений, взятую в историко-культурном контексте.

Первым печатным выступлением Б. В. Томашевского была, как известно, рецензия на антологию «Французские поэты XVIII века», составленную И. М. Брюсовой при участии В. Я. Брюсова. Итоги рассмотрения были удручающими. Там, где Брюсов обнаруживал лишь «легкую поэзию и беспечные чувства»,⁹ Томашевский продемонстрировал широкую, динамичную палитру литературных направлений. Вывод рецензента, не упустившего возможность отметить и изобилие фактических ошибок, был суров: «Лирические настроения XVIII века отличаются пестротой, решительно не укладывающейся в рамки характеристик Брюсова».¹⁰ В том, что Брюсову в поэзии XVIII века Парни и Мильвуа были ближе Вольтера и Шенье, нет ничего удивительного, так как на энциклопедическую образованность ученого неизбежно накладывались более сильные вкусовые пристрастия поэта. Это отражалось и на его пушкиннике. Пушкин был для Брюсова не просто неизменный образец, но абсолютным отражением как русской, так и мировой литературы.¹¹ Подобный телеологизм граничит с отождествлением субъекта и объекта изучения — так брюсовское восприятие литературы как бы исподволь проникает в создаваемый им образ Пушкина: перечисляя пристрастия Пушкина во французской литературе, Брюсов в первом ряду упоминает Вольтера, Парни и Шенье, во втором — Экушара-Лебрена и Маро, но возвышающей характеристике Парни противопоставляет «псевдоклассицизм» Маро и Вольтера.¹² Еще отчетливей это проявляется в предисловии к незаконченному собранию сочинений. Сначала следует «нейтральная» характеристика знакомства Пушкина с творчеством Корнеля, Расина, Мольера, Лафонтена, Буало, Дидро, Руссо и Вольтера; затем — энергичное пояснение («но, *разумеется* (Курсив мой. — К. П.), *займствовать* П<ушкин> более всего мог из французской „легкой“ (т. е. чисто-лирической) поэзии XVII—XVIII вв.»)¹³ и, наконец, уничтожающая аттестация «классиков», оснащенная входившими в моду социологическими характеристиками («продолжая традиции лжеклассицизма, французские поэты усердно подражали древним, преимущественно римским поэтам, которые писали в сходных условиях (при дворах императоров) и щедро наполняли свои стихи мифологическими образами, именами богов и богинь, намеками на разные подробности античных сказаний и т. д. Все эти особенности целиком перешли в лицейские стихи П<ушкина> и должны быть (Курсив мой. — К. П.) скинуты со счетов, если мы хотим выяснить их собственный характер»)¹⁴ Аналогичность последнего утверждения — очевидный результат уступки Брюсова-исследователя собственным литературным пристрастиям.

В этой связи становится ясным, насколько чужд брюсовскому пушкиноведению труд Томашевского. Привыкнув мыслить глобальными ценностными категориями, в свете которых Пушкин-драматург сопоставлялся не менее чем с Шекспиром,¹⁵ Брюсов не захотел увидеть между ними далекого ему Мольера. К этому, очевидно, примешивалось и личное недовольство: еще в 1911 году Томашевский в частных письмах осмелился вежливо, но твердо указать Брюсову на просчеты его стихологии;¹⁶ раскритиковав «Французских поэтов XVIII века», он не пощадил подготовленное Брюсовым издание «Гавриилиады» и предпочел ему аналогичную работу брюсовского ученика С. П. Боброва.¹⁷ Наконец, Брюсову могла быть известна сохранившаяся в наркомпросовских бумагах

рецензия Томашевского на первый том издаваемого им Пушкина.¹⁸ Не оставивший надежд на продолжение издания отзыв был помечен 28 мая, брюсовская рецензия на «Пушкина и французских поэтов» — 23 июня 1920 года.

¹ Лит. наследство. 1976. Т. 85. С. 244.

² ГБЛ. Ф. 144. Карт. 9. Ед. хр. 8. Как явствует из этого текста, предложенная Томашевским брошюра должна была состоять из двух статей, опубликованных намного позднее. См.: *Томашевский Б. В.* «Маленькие трагедии» Пушкина и Мольер // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 1. М.; Л., 1936. С. 115—133; *Томашевский Б. В.* Пушкин и Лафонтен // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. III. М.; Л., 1937. С. 215—254.

³ *Бобров Сергей.* Заимствования и влияния // Печать и революция. 1922. Кн. 8. С. 72—92.

⁴ Впрочем, очевидными по банальности казались ему и изыскания Модзалевского и Губера (см.: *В. Я. Брюсов.* <Рец.:> Дневник А. С. Пушкина. М.; Пг., 1923; П. К. Губер. Дон-Жуанский список Пушкина. Пг., 1923; И. Д. Ермаков. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. М.; Пг., 1923; *Неизданный Пушкин.* М.; Пг., 1923 // Печать и революция. 1924. Кн. I. С. 257—259).

⁵ Лит. наследство. Т. 85. С. 243—244.

⁶ См.: *Кульюс С.* «Основания всякой метафизики» В. Я. Брюсова (Опыт реконструкции) // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1983. Вып. 653. С. 125.

⁷ *Брюсов В. Я.* «Пророк» // В. Я. Брюсов. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. С. 196.

⁸ См.: *Гужиева Н. В.* Пометы В. Я. Брюсова на полях сочинений Пушкина // Книга. Исследования и материалы. Т. XLI. М., 1980. С. 144.

⁹ *Брюсов В.* Французская лирика XVIII века // Французская лирика XVIII века. М., 1914. С. XV.

¹⁰ *Томашевский Б. В.* Французские поэты XVIII века (по поводу антологии, составленной Брюсовым) // Аполлон. 1915. № 6—7. С. 83.

¹¹ См.: *Гиндин С. И.* Неосуществленный замысел Брюсова // Вопросы литературы. 1970. № 9. С. 200; *Брюсов В. Я.* Разносторонность Пушкина // В. Я. Брюсов. Собр. соч. Т. 7. С. 110—115.

¹² *Брюсов В. Я.* Пушкин-мастер // Там же. С. 176.

¹³ *Брюсов В. Я.* Детство и отрочество Пушкина // А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Под ред., со вступ. ст. и с объяснительными прим. Валерия Брюсова. Т. I. Ч. 1. С. XLIII—XLIV.

¹⁴ Там же. С. XLIV—XLV.

¹⁵ *Брюсов В. Я.* Маленькие драмы Пушкина // Брюсов В. Я. Собр. соч. Т. 7. С. 101.

¹⁶ *Томашевский Б. В.* Письма В. Я. Брюсову 1910—1911 гг. Вступ. ст. и публ. Л. С. Флейшмана // Уч. зап. Тартуск. ун-та. 1971. Т. 5. Вып. 284. С. 535.

¹⁷ *Б. Т.* <Б. В. Томашевский> Первые плоды свободы печати // Почтово-телеграфный журнал. Часть неофициальная. 1918. Май-август (№ 5, 6, 7, 8). С. 251—252.

¹⁸ ЦГА РСФСР. Ф. 2306. Оп. 26. Ед. хр. 2. Л. 135—139. Опубликовано в журн.: Книга и революция. 1921. № 1 (13). С. 57—60.

К БИОГРАФИИ Ф. Г. КАРИНА

Федор Григорьевич Карин до сих пор остается личностью легендарной в том смысле, что все известное о нем восходит к сообщениям двух мемуаристов, не всегда заслуживающих доверия. Основными источниками его биографии служат «Записки» С. Н. Глинки и отрывочные воспоминания М. Н. Макарова.¹ Жестокий приговор этим мемуаристам вынес Г. А. Гуковский, назвавший Макарова «известным вруном», а о «Записках» Глинки заметивший: «...ничего не знающий и полувывивший из ума болтун; обилие чудовищных ошибок в его книгах бросается в глаза».² Сведения и того и другого источника во всех случаях требуют самой тщательной критической проверки, и сколь бы ни резки были оценки Гуковского, сделанные в пылу полемики, но действительно, отличить у Макарова и Глинки факт от вымысла — задача часто непосильная.

В отношении сведений о Карине она в какой-то мере облегчается работой В. И. Саитова, сопоставившего мемуары Глинки и Макарова с другими немногочисленными печатными источниками. Однако и он был вынужден принять на веру кое-что из их размашистых рассказов.³

Из статьи Саитова вырисовывается любопытная, неординарная фигура литератора-дилетанта XVIII века. Федор Карин принадлежал к семье, отличавшейся литературными интересами. Два его старшие брата, Александр и Николай, были из числа самых ранних и способных последователей Сумарокова. Александру принадлежит пользовавшаяся популярностью переработка комедии Ф. Детуша «Граф Карамелли» — одна из первых пьес, представленных на публичном театре в Москве в 1759 году. Он первый обратился к обработке прижившегося в России сюжета Л. Голберга в комедии «Россияне, вернувшиеся из Франции», стоящей в том же ряду, что и «Бригадир» Фонвизина. Согласно указанию Новикова в «Опыте исторического словаря о российских писателях» (1772), перед смертью Александр Карин работал над трагедией «Антигона». Николай, как говорит тот же Новиков, был поэтом и печатался в московских журналах 1760-х годов, скорее всего принадлежал к окружению Хераскова. Оба они скончались в очень молодом возрасте почти одновременно, в 1768 и 1769 годах.

Младший, Федор, так же как и старшие братья, прошел через Московскую университетскую гимназию, но печататься начал уже после их смерти. Все сочинения и переводы, с доста-

точной убедительностью атрибутируемые ему, имеют «серьезный» по понятиям XVIII века характер. Это «Рассуждение о преступлениях и наказаниях» Д. Драгонетти (1769), «Нравоучительные мнения, взятые из свойств графини М. В. Салтыковой» (1770), «Письмо к Николаеву о преобразителях русского языка на случай преставления Сумарокова» (1778). Все остальное — переводы «Ифигении» Расина, похвальных слов Антуана Тома, драма «Фанелия», песни, вышедшие под псевдонимом А. Дружеруков⁴ — либо сомнительно, либо не дошло до нас и известно по противоречивым указаниям современников. Д. И. Хвостов, по матери племянник Карина, объяснял это тем, что Карин «боялся имени сочинителя, а паче стихотворца, и для того мало вверял произведения пера своего печатю». Зато в дружеском кружке Н. П. Николаева, к которому Карин принадлежал, в его адрес раздавались самые неумеренные похвалы. Тот же Хвостов называет его «стражем красот и правил языка, ценителем строгим, но справедливым и весьма полезным для друзей своих, с музами знакомство имеющих».⁵ Для Николаева он «Парнасских областей почетный гражданин... Чьи переводы все столь с подлинником близки, Столь точны, хороши, Что часто мыслит чтец, Не переводчик ли их истинный творец».⁶

К сожалению, у нас нет никаких оснований принять эти оценки или отвергнуть их как преувеличенные. «Письмо о преобразителях языка» позволяет думать, что Карин принадлежал к тем литераторам, которые полагали, что в 1770-е годы наступило время синтеза литературных достижений Феофана Прокоповича, Ломоносова и Сумарокова и что такой синтез «всех красот» — логичности, украшенности и ясности — необходим и возможен. Слог самого «Письма» не свидетельствует, что эта стилистическая задача была Кариним решена.

Однако и вне зависимости от своего реального литературного значения фигура Карина представляет интерес как один из типов дворянских литераторов XVIII столетия.

Всего лишь гвардейский подпоручик в отставке, он не имел доступа ко двору, в так называемый «высший свет». С другой стороны, наследник значительного состояния, он имел возможность жить широко и открыто. Не поднявшись по лестнице чинов, мог быть с вельможами «на дружеской ноге» (предание говорит, что Карин бывал в обществе Потемкина) и сам вел себя подобно вельможе. После

смерти И. И. Шувалова он приютил поэта Ермила Кострова, участвовал в выкупе из крепостного состояния музыканта Д. Н. Кашина; на его обедах собирались литераторы и театралы. Кое-что, разумеется, приписано Карину позднейшими мемуаристами по модели «просвещенного вельможи» XVIII века, как она сложилась, например, в «Послании к вельможе» Пушкина.⁷ Уточнить, откорректировать мемуарные свидетельства о Карине дают возможность некоторые архивные документы.

Собственные бумаги, архив Кариных, бесследно исчезли. Федор Карин вышел из службы подпоручиком, т. е. выслужив первый офицерский чин, далее жил частным человеком. Поэтому обычного шлейфа бумаг, который тянется за человеком служивым, у него нет. Лишь постепенно у меня скопилось несколько архивных ссылок на официальные документы, в которых упоминается имя Карина. Они относятся к последним годам его жизни и связаны со скандальными обстоятельствами: взятием в опеку его именов и с жалобами жены Карина, с которой он разехался немного времени спустя после женитьбы, где-то в начале 1780-х годов.

В России практика опеки над именьями возникла при Петре I, но широкое распространение получила только во второй половине века. Обычная цель взятия в опеку состояла в том, чтобы предотвратить разорение крупного дворянства, копившего огромные долги, не дать пойти с молотка родовым земельным владениям. После учреждения опеки за ведением хозяйственных дел наблюдали опекуны, выбранные по согласию с владельцем; часть доходов шла на погашение долгов, а владелец получал определенную денежную сумму на прожитие. С другой целью, также предусмотренной законом, — ограничить самовластье особо жестоких помещиков — при Екатерине II опека применялась крайне редко. Когда Фонвизин разрешал конфликт «Недоросля» словами Правдина, что «за бесчеловечие» Простаковой правительство повелевает ему принять в опеку простаковские дом и деревни, эта финальная развязка была не столько отражением сложившейся практики, сколько напоминанием о полном равнодушии властей к судьбам крепостных.

Однако, как выясняется, просвещенный Карин попал под опеку именно по тем же причинам, которые Фонвизин выставлял на вид Екатерине II, предлагая обуздать «злонравия достойные плоды». Произошло это, однако, уже в царствование Павла I. Закон о трехдневной барщине, а главное, появившаяся возможность всем, в том числе и крестьянам, подавать прошения на высочайшее имя вызвали в начале павловского царствования поток крестьянских жалоб. Среди таких челобитных, проходивших через руки статс-секретаря Д. П. Трошинского, сохранилось прошение от крестьян села Богородского Владимирского наместничества, в котором состояло 500 душ и которое принадлежало «подпоручику гвардии Федору Григорьевичу Корину». Сохранилось два набело написанных варианта прошения. Один из них составлен не по

форме и абсолютно безграмотен по языку. Скорее всего, его писал какой-то грамотей из самих жалобщиков. Второй, по содержанию идентичный, составлен уже в Петербурге, где его подавали Никифор Иванов да Иван Васильев с «нижеподписавшимися». Прошение рисует довольно колоритную картину деревенской жизни Карина, разумеется, с точки зрения его крепостных крестьян.

«Господин берет с нас, — писали они, — оброку по 44 рубли с венца, по два барана, по 5 куриц, по 100 яиц, и на всякую боярскую работу ходим, пашем, жнем и сена косим, да еще берет по четверти аржаного хлеба, и означенную господскую землю засеваем своим хлебом, как аржаным, так и овсяным, да еще за дрова с каждого венца платим по 4 рубли в год, также и для псовой охоты требует от нас как аржаной, так и овсяный хлеб, а если кто не имеет, то последнюю взявши корову, травит собаками. Нас же, именованных, мучительски тиранит, отчего пришли в крайнюю бедность и разорение» (ЦГИА. Ф. 938. Оп. 1. № 19. Л. 43). Эти типичные для всех крестьянских прошений жалобы несколько конкретизирует черновой текст прошения, в котором меньше следов канцелярского слога: «Он нас мучит день на своей работе, а ночью собирает оброк; и коль скоро оброку не станет, и коров с двора погонит к себе на двор, и он же корову зарежет и собакам истравит. А бьет старого и малого нещадно, и сам не знает, за что бьет. И хоромины мы строим по 40 человек в день, и достальные, которые пашню пашут, и лес возят, и сенокос косят; и жнитво жнем, и управляем весь дом его» (Там же. Л. 26).

Видимо, в таком же положении находились крестьяне и в других поместьях Карина, потому что по представлению вологодского губернатора А. Шетнева 20 декабря того же 1797 года императорским указом «за невоздержное поведение и угнетение крестьян своих» Карин был отрешен от управления «имением своим», взятым в опеку (ЦГИА. Ф. 1374. Оп. 3. № 1973. Л. 2).

Жалоба крестьян на Карина-помещика на конкретном примере отражает характерное для русской культуры XVIII века противоречие. С одной стороны, мы видим образованного светского человека, усвоившего в литературной форме гуманные и передовые идеи эпохи Просвещения; с другой — они не находят никакого применения в его традиционном домашнем быту, применимость практическая их в России как будто вообще не предполагается. У Карина была стойкая репутация вольтерьянца. Глинка, правда, заверял, что не было в нем и тени безбожия, но характерно, что имя Карина первым срывается с пера у С. П. Жихарева, когда пять лет спустя после его смерти тот записывает свое настроение во время пасхального благовеста: «Ну что бы Карину или кн. Горчакову (имелся в виду поэт Д. П. Горчаков. — В. С.) побывать у пасхальной заутрени в Успенском соборе? Нет сомнения, чтоб они вышли с нее другими людьми, и отложив ветхого

человека, в нового облеклись».⁸ Карин переведил Гельвеция, сформулировавшего новую этику и запрещенного к распространению в России. Существует рассказ, что будто бы Карин был таким поклонником Дидро, что в 1773—1774 годах, во время пребывания французского писателя в России, приехал в Петербург и готов был прожить в столице, лишь бы видеться с ним.

О том, каким Карин виделся современникам, склонным идеализировать его меньше, чем позднейшие мемуаристы, некоторое представление дают прошения его жены, обрastавшие по мере прохождения по инстанциям официальными справками о Карине. Жена его, Анна Михайловна, была внукой кн. В. В. Голицына и дочерью кн. Михаила Алексеевича Голицына, в качестве шута императрицы Анны Иоанновны известного под прозвищем Квасник. На его шутовскую свадьбу в Ледяном доме с калмычкой Бужениновой сочинял «Приветствие...» В. К. Тредиаковский: «Здравствуйте, женившись, дурак и дура». Карина родилась от последнего брака Голицына с Хвостовой и после смерти родителей воспитывалась у родственников другого шута, Алексея Апраксина. Замуж за Карина она была выдана Федором Апраксиным в 1776 году с небольшим приданым. После того как супруги расстались, Карин, по-видимому, обеспечил ей небольшое содержание, но со временем, испытывая нужду в деньгах, она решила получить назад всю стоимость приданого, да еще и с процентами на этот капитал, начисляя сумму более 20 тысяч рублей. Это и было причиной денежных споров, которые, по словам мемуаристов, омрачили последние годы жизни Карина.

В 1793 и 1796 годах Анна Карина по крайней мере дважды обращалась из Москвы с прошениями к императрице, описывая, сколько огорчений она претерпела за шесть лет жизни с мужем «от жестокости нрава его», как он выгнал ее из дома, «оставя у себя дочь двух лет, не допуская никогда ее видеть» (ЦГАДА. Ф. 1239, Оп. 3. Ч. 111, № 62505. Л. 1; см. также: ЦГИА. Ф. 468, Оп. 43. № 384. Л. 8—9). Первое прошение не имеет резолюции; на второе императрица приказала ответить в свойственной ей манере, что «в тяжбу жены с мужем не вступается» (ЦГАДА. Ф. 1239, Оп. 3. Ч. 111, № 60964. Л. 3, об.).

Для характеристики Карина особенно интересна справка об обстоятельствах этого семейного дела, подготовленная московским главным командующим А. А. Прозоровским по требованию Д. П. Трошинского, в качестве статс-секретаря готовившего прошение к докладу императрице.

Прозоровский только что закончил разгром московских масонов и продолжал держать Москву под недреманным оком многочисленных осведомителей. Поэтому он быстро собрал полнейшие сведения и городские сплетни о Каринных.

«Доход ее неизвестен, — сообщал он Трошинскому, — ибо недвижимого за ней ничего нет почти, приезд же гостей имеет довольный...

Раздор между ими случился от ревности, что муж ее вообразил, и может к тому некоторые и причины были поданы. После расхождения с мужем, наконец, была она другом генерал-майору князю Сергею Абрамовичу Волконскому, который убит в последнее взятие Очакова. Муж ее мне сосед по Володимерской деревне... Он и теперь там находится. Дочь, о которой она говорит, сколько слышу я, старался воспитывать и по обычаю держал при ней и мадамов. Он человек безбедной; думаю, до 2000 душ имеет. Натурально, сказывают, человек неглупый, несколько учился и читал, и делал, наконец, некоторые сочинения, но имеет слабость писать противу божества. То есть он суший атеист; по моему заключению, есть полуученый, который обыкновенно вреднее бывает невежды. Был и масон, но другого разбору с мартинистами. Неумерен во многих положениях и к людям, ему принадлежащим, что я от соседей моих и его слышал, как то и в Москве о нем заключают. Теперь спился, что называется с кругу. Он, сказывают, пьет пуш и ничего не ест, и хозяйство его в дурном положении. Свести их в том, кажется, надобно, чтобы он ей следуемое отдал по рядной. Можно б к сему сделать опыт приступлением, но ожидать согласного исполнения по роду описанного его нрава будет трудно» (ЦГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. № 62505. Л. 2—3).

Не имеет смысла останавливаться на том, как Прозоровский подводит своего корреспондента к мысли, что «воображаемая» ревность мужа имела «некоторые причины»; история семейных раздоров Каринных не представляет чего-то исключительного в русском быту XVIII века.

Другое дело, как понимать данную Прозоровским характеристику Карина? Необходимо иметь в виду, что его записка имеет официальный характер. Официальные бумаги принято считать носителями наиболее достоверных, буквальных сведений. Однако с ними же, поскольку составитель документа всегда преследует совершенно конкретную цель, связаны определенные сложности. Так, совершенно очевидно, что в любом прошении (как это и видно из встречных прошений супругов Каринных) дело описывается с точки зрения просителя и в благоприятном для него свете. Что касается записки Прозоровского, то хотя в ней не чувствуется прямого недоброжелательства по отношению к Карину, приходится иметь в виду личность Прозоровского и время, когда она составлялась.

Именно к 1790-м годам формируется подозрительное отношение к людям, занимающимся литературой, людям пишущим. Резко меняется отношение к европейскому Просвещению. Восторженное внимание к французской философии все чаще сменяется полемикой с ней. Вольтерьянство становится синонимом атеизма и безбожия; в безверии начинают подозревать даже масонов, упорно выясняя на следствии по делу Новикова, бывал ли тот у исповеди.

Искоренять подобное вольнодумство и был послан в Москву Прозоровский, «старая и

верная пушка» Екатерины II, по меткому выражению Потемкина. Естественно поэтому, что он прежде всего счел нужным охарактеризовать Карина с интересующей его стороны, и отзыв этот подтверждает репутацию Карина как вольтерьянца. Любопытно, что Прозоровский ссылается при этом в доказательство на какие-то сочинения Карина, в которых он «пишет против божества». В печатных сочинениях Карина никакого вольтерьянства не было. Идет ли здесь речь о его неизвестных рукописных сочинениях, или это всего лишь расхожий штамп, прилагаемый к любому, подозреваемому в вольномыслии?

Можно предположить, что в записке отразилось обобщенное представление о русском вольтерьянце, ставшее стандартным его изображением буквально через какое-то десятилетие в литературе начала XIX века. В записке присутствует полный набор отрицательных моральных качеств: «полуученость», пренебрежение святостью брака, эгоизм, дурное обращение с крестьянами, склонность к вину. Это не означает, что приводимые факты выдуманы Прозоровским. Но их выделение в подобном сгущенном сочетании, как кажется, предопределяло складывавшимся стереотипом.

Записка Прозоровского, довольно точно суммированная в докладе Трошинского, однако, не произвела впечатления на императрицу, отказавшуюся вмешиваться в семейные дела Кариных.

Не добившись ничего от Екатерины II, Анна Карина возобновила свои домогательства после воцарения Павла I и обратилась к нему с прошением того же содержания (ЦГИА. Ф. 468. Оп. 43. № 551; см. также: ЦГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. № 63987).¹ Это произошло вскоре после учреждения опеки над именьями Карина: указ об опеке был подписан в декабре 1797 года, прошение поступило в канцелярию статс-секретарей в апреле 1798 года. Повидимому, она надеялась, что теперь ее претензии к человеку, попавшему в опеку и тем самым скомпрометированному, будут в глазах императора выглядеть убедительнее.

Тем не менее новое прошение также не получило хода. Однако оно имело другое неожиданное последствие: всерьез напугало Карина, который решил принять свои меры, чтобы обезопасить состояние от посягательств ненавистной супруги.

Как раз в это время дочь Прасковья, которую он воспитывал, вышла замуж, и, воспользовавшись этим, уже сам Карин в апреле 1799 года обратился к императору с униженной просьбой выделить из своего опечного имения в 1452 души две трети для дочери: одну в приданое, а вторую — для уплаты ею накопившихся за ним долгов. Сам он соглашался жить на доходы с оставшейся в опеке последней трети имений.

О себе в прошении он писал как о «старце, сраженном монаршим гневом, унылом, изнуренном болезнями и стоящем при пороге смерти», «для всего умершем»; просил не ради себя, а «ради единородной невинной дочери, матью своею оставленной в трехлетнем возрасте» (ЦГИА. Ф. 1374. Оп. 3. № 1973. Л. 1).

Просьба была доложена и удовлетворена с необыкновенной быстротой. Прошение из Москвы датировано 14 апреля, а уже 28 апреля последовал высочайший указ, разрешавший раздел имущества (ЦГИА. Ф. 1329. Оп. 1. № 214. Л. 298). Таким образом, большая часть каринского наследства попадала в руки дочери еще при жизни отца.

Несмотря на этот, казалось бы, благоприятный исход дела, задуманная Кариним операция осуществилась не вполне. Он скончался 1 марта 1800 года (эта ранее неизвестная дата устанавливается по сохранившемуся в делах донесению московского губернского прокурора Петрово-Соловова — ЦГИА. Ф. 1374. Оп. 3. № 1973. Л. 2). После смерти Карина дочь его, теперь уже по мужу Авдулина, предложила к разделу с матерью только ту третью часть имений, которые остались за отцом и находились в ведении опекунов (ЦГИА. Ф. 1374. Оп. 3. № 1973. Л. 8). Видимо, это была не лучшая треть, так как из нее на долю матери приходилось всего около ста душ крестьян. В бумагах по делу о наследстве Карина сохранились письма Анны Кариной за апрель—май 1800 года к П. Х. Обольянинову, выступавшему ходатаем за нее перед Павлом I (ЦГИА. Ф. 1374. Оп. 3. № 1973. Л. 10—25). Из них, в частности, видно, что дочь была воспитана в ненависти к матери и не желала идти с ней ни на какое соглашение. Дело вновь решил указ Павла I (ЦГИА. Ф. 1329. Оп. 1. № 227. Л. 73) от 8 июня 1800 года. Анна Карина получила одну треть всех имений, правда, с уплатой половины всех долгов, сделанных ее покойным мужем. Был ли этот указ обжалован после смерти Павла I — неизвестно.

¹ Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895 (см. указатель имен); Макаров М. Н. Карин и Костров. Записки прежних времен // Маяк. 1840. Ч. 4. Отд. 3. С. 135—139.

² Гуковский Г. А. О «Хоре ко превратному свету». (Ответ П. Н. Беркову) // XVIII век. М.; Л., 1935. Сб. 1. С. 206—207. Возможно, какой-то свет на особенности источников сведений Глинка, степень их достоверности прольет новое готовящееся издание его «Записок».

³ Саитов В. И. Ф. Г. Карин. Один из малоизвестных писателей второй половины XVIII в. СПб., 1893. (Оттиск из журнала «Библиофил». 1893. № 1).

⁴ Относительно того, является ли А. Дружеруков реальным лицом, или это имя всего лишь псевдоним Ф. Г. Карина см. в статье Н. П. Морозовой «Алексей Дружеруков» в «Словаре русских писателей XVIII века» (Л., 1988. Вып. 1).

⁵ Хвостов Д. И. Соч. 3-е изд. СПб., 1828. Т. 1. С. 185. (Авторское примечание к стихотворению «Гробница Ф. Г. Карина»).

⁶ Николев Н. П. Творения. СПб., 1796. Т. 4. С. 168. («Письмо к Ф. Г. Карину»).

⁷ С. Н. Глинка, например, рассказывает (С. 175) об одном из таких вельможных поступков Карина. В Москве умер однофамилец Карина, человек недостаточный, по смерти которого в горькой бедности осталось многочисленное семейство; сострада малолетним сиротам, Карин будто бы усыновил их. Исходной точкой рассказа послужила память о том, что в Москве долгое время жил и другой Карин,

довольно известный архитектор, в родстве с Ф. Г. Каринным не состоявший (он был из разночинцев). С. А. Карин умер в январе 1797 года и, судя по прошению вдовы на высочайшее имя, оставил семью в нищете и с большими долгами. Однако дети их были уже взрослыми: две дочери в девицах, четверо сыновей, из которых трое были в службе, а один уже в отставке (ЦГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 111. № 58379. Л. 8). Кроме того, официально усыновить было можно только собственных внебрачных детей.

⁸ Жихарев С. П. Записки современника. Л., 1989. С. 71—72.

Л. С. Саркисян

ОБ ОДНОМ «НЕСОСТОЯВШЕМСЯ» ЖАНРЕ РУССКОЙ ЛИРИКИ КОНЦА XVIII—НАЧАЛА XIX ВЕКА (КАРАМЗИН И ДЕРЖАВИН)

Конец XVIII—первое десятилетие XIX века характеризуются расцветом и быстрым угасанием эстетики и литературы сентиментализма. Возникнув из недр классицизма, сентименталистское мировоззрение не во всем противостояло ему. Сентименталисты почти полностью сохранили прежнюю систему жанров. Однако новые веяния, усвоение новых тем, новых эстетических проблем, достижения разных родов поэзии и прозы приводили к жанровому расширению художественных исканий: строгая система жанров перестала существовать как некое стабильное, статическое единство. Поэты-сентименталисты стали культивировать песню, сказку, идиллию, романс, бытовую песню и т. д. На арену выдвигались «средние» и «низкие» жанры. Происходило то, что Ю. Тынянов называл «смещением» жанра, а В. Шкловский — «канонизацией младших жанров».¹

В 1792 году произошло на первый взгляд незначительное, но имевшее литературные последствия событие: почти одновременно появились в печати «Граф Гваринос» Карамзина² и «Менальк мой без подружки» Клушина³ — первая в русской литературе пьеса с жанровым обозначением «романс». С появлением этих произведений, казалось, открылась возможность возникновения нового жанра русской лирики — русского романса — и четко наметились две линии его дальнейшего развития: героико-эпическая («Граф Гваринос») и любовная («Менальк мой без подружки»).

В 1791 году Карамзин предпринял издание «Московского журнала». Целью Карамзина, поэта и издателя, стало постепенное приобщение русской читающей публики к эстетике и литературе сентиментализма. Сознательно сочетая оригинальные произведения, философско-эстетические и критические сочинения с переводными, Карамзин способствовал развитию отече-

ственной литературы. Перевод и издание старинного испанского романса о графе Гвариносе были обусловлены желанием дать художественные образцы искусства «чувства».

Испания и испанская литература неоднократно входили в обширный круг философско-эстетических и литературных интересов Карамзина.⁴ Поэт был знаком с известным трактатом епископа Авранского Даниэля Юэ, изданным в России в 1783 году. Кроме подробных и различных спорных вопросов из истории испанской литературы в трактате имеется краткая характеристика древних испанских «романсов»: «...сии песни, которые они (испанцы. — Л. С.) называли *Romances*, были очень отменны от того, что романами именуют. Это были стихотворения, сделанные для пения и, следовательно, весьма краткие. . . они служили иногда и объяснению истории испанской и к приведению происшествий в хронологический порядок».⁵ Популярный уже во времена Карамзина роман Сервантеса «Дон Кихот» усилил интерес писателя к испанской литературе «золотого века», «в немалой степени мог также содействовать любопытству русского писателя к старинным испанским романсам».⁶ «Плохо вам пришлось, французы, в Ронсевальском славном деле!» — поет простой крестьянин в «Дон Кихоте» (том 2, глава 9). С полным текстом романса о графе Гвариносе Карамзин ознакомился на страницах первого тома немецкого журнала «Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur», издававшегося Фридрихом-Юстином Бертухом; с него же сделал и свой перевод.⁷

Знакомство с испанскими старинными романсеро не ограничивалось лишь чтением для души — Карамзин освоил и твердо знал жанровые и метрические особенности романсной поэзии. «Какая цель перевода? — дать возможно близкое понятие об иностранном

произведении так, как оно есть», — писал Белинский в 1845 году.⁸ Задолго до него Карамзин претворял в жизнь это положение переводческой науки. Он старался наиболее точно и близко к оригиналу передать содержание, особенности стиха подлинника. Сохранив полностью экзотику и необычность сюжета, писатель тем не менее назвал свой перевод не «романсом», как в оригинале, а «древней гишпанской исторической песней». Такая метаморфоза не случайна: в рецензии на сочинение немецкого философа Г. Э. Гроддека «О сравнении древней, а особливо греческой с немецкою и новейшею литературою» Карамзин, солидаризируясь с автором, говорит о неподлинности материала готовому жанровому образцу.⁹ Писатель чувствовал новое звучание и необычайный аромат, которые произведение приобрело в русском переводе, но, очевидно, новый жанр не дал поэту ощущения художественной завершенности на русской почве. В письме 1791 года к Дмитриеву Карамзин писал: «Я вызываю тебя по дружбе сочинить в стихах сказочку или романс. У нас еще в этом роде ничего нет. . .»¹⁰

Сразу же после появления в печати «Граф Гваринос» приобрел необычайную популярность, проник в самые разные слои населения, был переложен на музыку, оказал влияние на творчество многих писателей, сыграл свою роль «в становлении русской баллады».¹¹ Именно нестандартностью тематики и сюжета следует объяснять неопределенное, пограничное место этой пьесы между «романсом» и «балладой», что сказалось на восприятии ее читателями и исследователями, разошедшимися во мнениях о жанровой природе «Графа Гвариноса».¹²

Синтезирующим обе точки зрения представляется нам высказывание Р. В. Иезуитовой: «Вместе с переводным „романсом“ Карамзина „Граф Гваринос“ эта баллада («Раиса». — Л. С.) определила собой общую структуру и жанровый облик доромантической русской баллады, способствовала обращению русских поэтов к этой жанровой форме».¹³

С одной стороны, «Графа Гвариноса» безусловно можно рассматривать в русле таких произведений, как «Раиса» (1791), «Громвал» Г. Каменева (1804); русских переводов из Бюргера, творчества М. Н. Муравьева, Мерзлякова, Львова и т. д. «Гишпанская историческая песня» естественно вписывается в литературную балладную традицию. С другой стороны, она обнаруживает «романсную» жанрово-стилистическую самостоятельность и оригинальность. Попытаемся показать это, сравнив «Графа Гвариноса» с балладой «Громвал» Каменева — одним из наиболее популярных образцов балладного жанра на грани XVIII—XIX веков.

В «Графе Гвариносе» повествуется о том, как доблестный рыцарь Гваринос, воин Карла Великого, попал в плен к маврам в битве под Ронсевале. Обращение к конкретному историческому событию во многом отличает это произведение от обычной баллады, «историчность» которой

условна и даже мнима. Баллада — рассказ о необычном, исключительном происшествии, сохраненном памятью народа, — требует вымысла, «гиперболизации и апологии страстей, взволнованной эмоционально-лирической интонации повествования, предельной концентрированности действия, неожиданного сюжетного поворота и трагического финала с вмешательством сверхъестественных сил».¹⁴ Эпическое начало и правдоподобие как героев, так и сюжета «Графа Гвариноса» сразу бросается в глаза. Варьируется известная тема мировой литературы: герою предлагается сделка — обрести свободу ценой предательства, принятия другой веры. Но ни обещание личной свободы, ни предлагаемый ему брак с любой из дочерей красавиц властителя Аравии не смогли сломить твердость духа, могучую стойкость и веру рыцаря:

Сохрани господь небесный
И Мария, мать его,
Чтоб Гваринос, христианин,
Магомету послужил!
Ах! во Франции невеста
Дорогая ждет меня.¹⁵

За отказ следует жестокое наказание: законного в кандалы рыцаря бросают в темницу:

Пусть гниет там понемногу,
И умрет, как бедный червь! . . .

А когда настанет праздник,
Пасха, Святки, Духов день,
В кровь его тогда секите
Пред глазами всех людей. . .

(С. 75)

Основные события романа разыгрываются через семь лет после пленения Гвариноса, когда на празднестве все арабы состязаются в бросании копий в цель и никто из них не может попасть в нее. Гваринос просит разрешения участвовать в турнире, сбивает цель, сражается с набросившимися на него противниками:

Но Гваринос их рассеял
И до Франции достиг,
Где все рыцари и дамы
С честью приняли его.

(С. 78)

Произведение локализовано по времени и месту действия: сюжет развивается на конкретном историческом фоне — битва при Ронсевале («Карл Великий там лишился Лучших рыцарей своих»). Многочисленные реалии культовых обрядов («Христиане сыплют галгант, Мирты мечет всякий Мавр») подчеркивают историческую конкретность ситуации. Суровый тон повествования концентрирует внимание на поступках героев. Отсутствуют описания природы, которые могут создавать эмоционально-лирический фон рассказа.

Целостность произведения не нарушают характерные для фольклора поэтические прие-

мы. Они органично и легко включаются в текст романа:

Солнца свет почти затмился
От великого числа
Тех, которые стремились
На Гвариноса все вдруг.
(С. 78)

Неоднократное повторение магического числа «семь» придает произведению черты сказки:

И Гваринос был поиман
Многим множеством врагов;
Адмирала вдруг пленили
Семь арабских королей.

Семь раз жеребей бросают
О Гвариносе цари:
Семь раз сряду достается
Марлотесу он на часть.
(С. 74)

В другом месте:

Ты семь лет в тюрьме сидел,
Где другие больше года
Не могли никак прожить...
(С. 77)

Применяется и другой прием фольклорной поэтики — выдвигаются условия-запреты:

Детям груди не сосати,
А большим не пить, не есть,
Если цели сей на землю
Кто из мавров не шибет.
(С. 76)

Палитру фольклорных красок дополняют постоянные эпитеты: цели тяжки, копые булатно, храбрый воин, буря разъяренна и т. д.

Так, как буря разъяренна,
К цели мчится сей герой:
Мечет он копые булатно —
На земле вдруг цель лежит.
(С. 78)

Сюжет баллады «Громвал» также переносит нас в старину:

Мысленным взором я быстро стремлюсь,
Быстро проникнул сквозь мрачность времян.
Поднимаю завесу седой старины —
И Громвала я вижу на бодром коне.¹⁶

Как и «Граф Гваринос», «Громвал» полон примет рыцарской эпохи: перед нами старинный замок, славный рыцарь на бодром коне с булатным копьем, «зыблются перья на шлеме его» и т. д.

Рыцарь Громвал, разлученный злым волшебником Зломаром с любезной Рогнедой, отправляется на поиски пропавшей невесты. На пути к своей цели герою приходится преодолевать темные леса, биться с чудовищами, двумя крылатыми Зилантами, и т. п. По ходу действия нагнетается атмосфера страха, ужасающие картины сменяют друг друга:

Тени в окнах мелькают и взад и вперед,
Завывания, стоны в нем глухо звучат.
(С. 193)

Вдруг затрещало по замку, как гром,
Стены трясутся, окошки звенят,
И, как молния быстро блистает во тьме,
Освещается зала вмиг синим огнем.

Настежь все двери стучат отворясь.
В саванах белых, с свечами в руках,
Входят медленно тени; за ними несут
Гроб железный скелеты в руках костяных.
(С. 195)

Настоящий шабаш предстает перед взором Громвала: нечистая сила неистовствует, пугая и завораживая героя:

Духи, скелеты, руками схватясь,
Гаркают, воют, рыкают, свистят,
В испугленном восторге беснуясь, они
Пляшут адскую пляску вокруг гроба его.
(С. 196)

Не дрогнув и не отступив, Громвал сражает всех врагов и чудовищ, спасает свою возлюбленную от злых чар колдуна, погрузившего ее в таинственный сон («Я с тех пор в бездне мрака сокрыта была»).

Несмотря на отсутствие «трагического финала с вмешательством сверхъестественных сил», «Громвал» — одно из типичных и характерных произведений рыцарской, волшебной баллады, органически включающей элементы традиционного балладного жанра. Чудеса и превращения следуют друг за другом, ирреальные картины сменяются непрерывно; сюжет фантастичен от начала до конца. Ближе всего он даже не к народной легенде, а к переводным «готическим» романам из французской, немецкой, английской литератур, к рыцарским романам XVIII века, сюжетные мотивы которых сродни произведению Г. Каменева. «Влияние западноевропейских романов сообщало известное настроение русскому обществу конца XVIII—начала XIX века, целый мир новых образов, нежных и мрачных картин природы, моральных идей приятно действовал на чувство, бодрил ум и томно ласкал воображение», — читаем в исследовании, посвященном литературе того времени.¹⁷ «Я спрашивал, — пишет Карамзин, — у многих книготорговцев, какого рода книги у нас расходятся больше всего, и все отвечали: романы...»¹⁸

Условность исторического, временного и местного колорита, отсутствие «сугубо национальной окраски», наличие фантастического элемента и постепенное его усиление — признаки, которые отличают «Громвал» от «Графа Гвариноса» и позволяют Каменеву, не конкретизируя фон и место действия, сосредоточиться на психологических аспектах повествования. Своеобразный характер балладной композиции (постепенное нагнетание атмосферы таинственности, взволнованных чувств и эмоций) обуславливает свободу фантазии и творческой

мысли поэта. Будучи задуманными как реальные фигуры, Громвал и его возлюбленная в водовороте фантастических событий и гротескных превращений перестают восприниматься как нефантастические существа: их поступки и действия также становятся игрой воображения. Стирается грань между реальным и ирреальным — создается единое эмоциональное настроение, держащееся на непрерывной напряженной ноте.

Фантастический антураж описанных в балладе событий несет и другую смысловую нагрузку. «В своем наиболее интересном произведении — балладе „Громвал“ — он (Г. Каменев. — Л. С.) пытается синтезировать масонскую символику с приемами сюжетного развития, почерпнутыми из „рыцарского“ и „готического“ романов», — пишет Ю. М. Лотман.¹⁹ И хотя взволнованные интонации «Громвала» звучат в унисон с экзотической, неординарной и возвышенной темой «Графа Гвариноса», хотя оба произведения выполняют одинаковую функцию в литературе — утверждают сентименталистское мировоззрение, — они являются совершенно разными жанровыми образованиями. «Громвал» Каменева обобщает небогатый «балладный» опыт, который накопила русская поэзия конца XVIII века, а «Граф Гваринос» Карамзина, эпическое повествование на историческую тему, — удачное перенесение на русскую почву жанра испанского романсеро с полным сохранением реалистического тона повествования. «Привнесение готовых жанров с Запада могло удовлетворить только на известный момент: новые жанры складываются в результате тенденций и стремлений национальной литературы, и привнесение готовых западных жанров не всегда целиком разрешает эволюционную задачу внутри национальных жанров», — писал в свое время Ю. Н. Тынянов в связи с балладным творчеством Жуковского.²⁰ В применении к творчеству Карамзина эта мысль оказывается плодотворной: жанр испанского романсеро оказался чужд «тенденциям и стремлениям» национальной русской литературы — он не был освоен и разработан русскими поэтами. «Граф Гваринос» является одной из немногих попыток «пересадки» данного жанра на русскую почву.²¹ Более перспективной оказалась песенно-любовная линия романской лирики, корнями уходящая в поэзию XVIII века, исследование которой не входит в цели и задачи данной работы.

* * *

Несмотря на «неплодovitость» эпической линии, жанр «романса» в восприятии русских писателей нередко ассоциировался с произведением, описывающим картины из истории древнейших времен, а также бытовые истории. С этой точки зрения интересной представляется интерпретация жанра в поэтическом творчестве Державина. Для того чтобы понять позицию Державина-поэта, необходимо вкратце вспомнить некоторые положения его эстетики.²²

Известно, что у трактата Державина «Рассуждение о лирической поэзии» было двойное назначение. Подобно многочисленным учебным пособиям, «введениям в науку стихотворства», «основаниям российской словесности», он должен был выполнять чисто дидактические функции. Одновременно «„Рассуждение“ — обобщение громадного опыта крупнейшего русского поэта; это эстетический трактат, основанный на державинском понимании лирической поэзии, ее происхождения, истории, теории и современной практики, — причем практики не одного только автора, но всей русской поэзии конца XVIII—начала XIX века».²³

В трактате Державин сформулировал свой оригинальный взгляд на существо и назначение поэзии. Негодование поэта вызывало деление ее на жанры: «Я скажу, что ежели названия не придадут вещам уважение без прямого их достоинства, то должно со мной согласиться, что они, то есть те наименования, или особые отделы песен, более есть умничество или чванство педагогов в познании их древности, нежели прямая надобность; ибо говоря в них об одной материи, можно с приличностию помянуть и о другой... Под каким названием какие сочинения были, под такими и передавались потомству. Форм им или правил по многочисленности случаев быть не может».²⁴ Смелость и оригинальность рассуждений Державина были сразу же замечены митрополитом Евгением Болховитиновым, советовавшим, однако, автору «не вооружаться против разделения лирической поэзии по жанрам, ибо оно не школьное, а коренное греческое».²⁵ Державин ответил: «Педантские разделы лирических стихотворений я не очень уважаю, но чтоб не поднять всю ораву школ на себя, переменяю, несколько только касаясь».²⁶ Признавая разнообразие и изменчивость вкусов человеческих, отказываясь от «педантских разделов лирических стихотворений... от набора слов, скропанных по школьным одним правилам», Державин расшатывал твердые каноны классицизма, утверждал приоритет творческой индивидуальности. «У всякого гения есть своя собственность или печать его дара, которым он от других отличается», — продолжает Державин.²⁷ За этим высказыванием стоит многое: крушение строгой системы жанров, их смешение, непривычная интерпретация и воплощение их в поэзии; в стихотворениях с одним и тем же жанровым обозначением можно говорить о совершенно разных материях.²⁸ Отсюда расплывчатость и многомерность характеристики жанра «романс»: «Содержание старинных романсов была всякая всячина: забавная и печальная, а особливо набожность, храбрость, честь, любовь. В них воспевались рыцари, дамы, волшебники, волшебницы, в богомолье, в рыцарских подвигах и волокитстве упражнявшиеся».²⁹ Определяя основные этапы истории романса, его поэтическую структуру, Державин видит «достоинство хороших, правильных романсов» в следующем: «(1-е) Чтоб писаны были сколько можно проще, но не

площадным языком, если ж и шуточно, то шутки бы были в мысли, а не в словах, а особенно в испорченных. 2-е) Чтоб рассказывались в них сколько можно простодушнее похождения или приключения, но лирически, то есть: раздельно на четырехстрочные куплеты, краткими, выразительными, звучными стихами, с богатыми или счастливыми рифмами. 3-е) Чтоб приключение в них было описано старинное и, сколько можно, того времени наречием и покровом, когда и где что происходило; но не так, чтобы того разуместь было невозможно. 4-е) Чтобы не было в них какого-либо умничества или учености, а равно и варварского невежества. 5-е) Чтоб приключения в них были рассказываемы занимательные, чудесные, трогательные или смешные, почерпнутые из мифологии, истории, басен, романов, сказок и прочих событий времен прошедших. — Словом: романс любит волшебное, чудесное, удивительное, ужасное, мечтательное, любовное, нежное, страстное и всякие издевательские повести обоих полов, а особливо о каком-либо древнем богатыре, странном рыцаре, царе-девице, волшебнике, волшебнице, отшельнике, старинном служивом и проч.»³⁰ Свои теоретические размышления Державин иллюстрирует «Вахмистром» И. Дмитриева (произведение в дальнейшем печаталось под названием «Карикатура» и не вошло в собрание сочинений поэта) и «Царь-девицей» собственного сочинения. В основу «Вахмистра» положена реальная история, случившаяся в Сызранском уезде, в деревне Ивашевка, о которой знал поэт и о которой писал М. А. Дмитриев в своих мемуарах.³¹

Сними с себя завесу,
Седая старина!
Да возведу я внукам
Что ты откроешь мне —

так многообещающе начинается произведение И. Дмитриева.³² Но интрига не развивается: после громкого пафоса зачина заземленно рассказывается история бывшего вахмистра Шамшинского полка, вышедшего в отставку после двадцати лет службы и возвращающегося домой, где его ждет ужасное известие об аресте жены и разорении домашнего очага. Бытовая история, рассказанная И. Дмитриевым, вызвала восторг Державина, считавшего, что «Вахмистр» «по легкости и красоте, а лучше по простоте своей, что есть душа романсов... достаточен был бы для подражания», если бы не отсутствие в нем рифм (ибо «первые изобретатели романсов трубадуры писали романсы свои всегда с рифмами»)³³

В начале XIX века русская эстетическая мысль обратилась к достижениям народной культуры, исходя из положения, что национальная культура не может существовать без фольклора и древнего эпоса, без народных идеалов. Русская литература XVIII века знала два пути освоения народного творчества. Первый — это собрание песен, сказок, пословиц, народных сказаний, былин и их публикация. Второй путь — это попытки создания произведе-

ний в народном духе, в основном приводившие к стилизации под фольклор. В таких направлениях шли М. Чулков, М. Попов, Ф. Ключарев и др.

В творчестве Державина, обратившегося к фольклору в начале XIX века, в последний период своей жизни, четко и твердо намечается третий путь освоения фольклора, противоположный двум первым. Державин решал проблему, отталкиваясь не от фольклора, а от литературы. Это был путь освоения «принципов поэтичности, заложенных в фольклорно-языковых жанрах, и естественное включение их в стиль произведения».³⁴ Отрицая русский героический эпос, Державин создавал поэзию, во многом близкую традициям фольклорной героической поэзии. Свою же теорию он строил на русском мифологизме, бывшем еще на уровне предположений и гипотез. Получалось, что в поэзии Державин, по инерции воспринимал отдельные моменты поэтики русского эпоса, о чем свидетельствует гиперболизм его образов, а теоретически опираясь на незрелые, гипотетические идеи. Иначе говоря, свои поэтические опыты он старался обосновать теорией, которая не имела разработанной структуры. Это приводило к тому, что попытки создания фольклорных произведений не выходили за рамки поэтических опытов: он не смог сказать того, что чувствовал как поэт.

Резко критикуя былины из сборника Кирши Данилова (1804), Державин писал: «...они (былины. — Л. С.) одноцветны и однотипны. В них только господствует гигантск, или богатырское хвастовство, как в хлебосольстве, так и в сражениях, без всякого вкуса... и тому подобная нелепица, варварство и грубое неуважение женскому полу изъясляющая».³⁵ Не принимая «дикость и грубость нравов, изображенных в сих стихотворениях», поэт предлагает свою интерпретацию русской старины и рисует образ мудрой и гордой правительницы Царь-девицы.

В 1807 году Державин написал небольшую пьесу «Луч» для сенатора и писателя И. С. Захарова, просившего его сочинить романс.

Князь-Гром имел Умилу,
Прекрасну, нежну дочь.
Очей прелестных силу
Кто зрел, тлел день и ночь.³⁶

Легкая ирония, игривость чувствуется как в сюжете, так и в манере письма: не будучи посвященным в рыцари и не имея тем самым права сражаться со своим противником Ветерханом, претендующим на руку и сердце Умилы, шитиносец князя Луч

Чтоб отцу любезной
Ничем не согрubitь,
Решился огонь свой нежный
В туманах, в мраках скрыть.³⁷

«Царь-девица», «Луч» и «Вахмистр» иллюстрируют полифоничность, многоплановость перечисленных Державиным «достоинств» романа. Первая пьеса описывает «приключение старинное... почерпнутое из истории... сказок

и прочих событий времен прошедших»; сюжет второй заимствован из «баснословных сказаний, писан шуточно», а сочинение Дмитриева повествует о «старинном служивом», написано «сколько можно простее». Очевидно, что все три произведения, отличающиеся друг от друга тематикой, образной системой, ритмико-синтаксическими формами их воплощения, отражают упорный поиск жанрообразующих элементов, композиционного решения и стремление к жанровой завершенности. Процесс этот характерен для всей русской литературы конца XVIII—начала XIX века. Однако творчество Державина наиболее выпукло и отчетливо выражает общие тенденции русской литературы этого периода. «В начале своего творческого пути Державин воспринял различные системы, переданные ему историей, как системы различных жанров. Потом, выйдя на собственный путь, он отрывает все стилистические

признаки от слитых с ними прежде жанровых понятий, произвольно, по-новому выбирает из общей их суммы то, что ему нужно, и соединяет их в немислимых прежде сочетаниях. Самые жанры, лишённые своих стилистических характеристик, также спутываются.¹⁴ Таким образом, в творчестве Державина мы наблюдаем «спутывание» жанров для того, чтобы возникли «новые формации», новые композиционные решения.

Искания Карамзина и Державина не привели к появлению нового жанрового образования: поэтические опыты и экспериментирование в целях создания историко-эпического, сказочно-повествовательного поджанра «романс» не вышли за рамки их творческих лабораторий. Дальнейшая судьба жанра сложилась в совершенно ином русле — напевно-мелодическом, лирическом.

¹ См.: *Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 5—20.

² Московский журнал. 1792. Ч. 4. С. 219—226.

³ Зритель. 1792. Ч. 1. С. 59—60. В. Е. Гусев появление первого жанрового обозначения «романс» относит к 1796 году. См.: *Песни русских поэтов.* 3-е изд. Л., 1988. С. 13. (Библиотека поэта, большая серия).

⁴ См. об этом: *Алексеев М. П.* Русская культура и романский мир. Л., 1985.

⁵ Там же. С. 84.

⁶ Там же. С. 246.

⁷ Там же. С. 243—244.

⁸ *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 276.

⁹ См. об этом: *Душина Л. Н.* У истоков русской романтической баллады // По законам жанра. Тамбов, 1975. С. 14.

¹⁰ Письма Карамзина к Дмитриеву. СПб., 1866. С. 21.

¹¹ *Иезутова Р. В.* Баллада в эпоху романтизма // Русский романтизм. Л., 1978. С. 143.

¹² Одна группа ученых и писателей склонна видеть в поэтике этого произведения элементы романского жанра (см.: *Загарин П. В.* А. Жуковский и его произведения: 1783—1883. М., 1883. С. 33; *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. 7. С. 153; *Кучеров А. Я.* Карамзин и поэты его времени. Л.; М., 1936. С. 43. (Библиотека поэта, малая серия)), а другая — элементы балладного жанра (см.: *Алексеев М. П.* Указ. соч. С. 249; *Русская поэзия / Под ред. С. А. Венгерова.* СПб., 1901. Вып. 7. С. 138).

¹³ *Иезутова Р. В.* Указ. соч. С. 142.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотв. 2-е изд. М.; Л., 1966. С. 75. (Библиотека поэта, большая серия). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

¹⁶ Поэты начала XIX века. 3-е изд. Л., 1961. С. 192. (Библиотека поэта, малая серия). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

¹⁷ *Козмин Н. К.* О переводной и оригинальной литературе конца XVIII и начала XIX века в связи с поэзией В. А. Жуковского. СПб., 1904. С. 25.

¹⁸ Там же.

¹⁹ *Лотман Ю. М.* Русская поэзия начала XIX века // Поэты начала XIX века. С. 60.

²⁰ *Тынянов Ю. Н.* Указ. соч. С. 111—112. Критика этого тезиса относительно творчества Жуковского содержится в работах Р. В. Иезуитовой.

²¹ Известны также переводы гердеровских романсов о Сиде, сделанные В. А. Жуковским (1831) и П. А. Катениным (1832).

²² Подробно об эстетических взглядах Державина см.: *Кулакова Л. И.* Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. Л., 1968.

²³ *Западов В. А.* Работа Г. Р. Державина над «Рассуждением о лирической поэзии» // XVIII век. Сб. 15. Л., 1986. С. 242.

²⁴ Цит. по: *Кулакова Л. И.* О спорных вопросах в эстетике Державина // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 34.

²⁵ Там же. С. 85.

²⁶ Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1871. Т. 6. С. 340.

²⁷ См.: *Кулакова Л. И.* О спорных вопросах в эстетике Державина. С. 35.

²⁸ Рассуждения Державина созвучны взглядам Гердера, считавшего, что «творения Гомера, Вергилия, Ариосто, Мильтона, Клопштока одинаково носят названия эпоеи, а между тем... являются совершенно различными произведениями» (*Гердер И. Г.* Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 111).

²⁹ Цит. по: *Западов В. А.* Указ. соч. С. 259.

³⁰ Там же.

³¹ *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 124—125.

³² *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотв. Л., 1967. С. 275. (Библиотека поэта, большая серия).

³³ Цит. по: Западов В. А. Указ. соч. С. 259.

³⁴ Серман И. З. Державин // Русская литература и фольклор (XI—XVIII вв.). Л., 1970. С. 349.

³⁵ Сочинения Державина... Т. 8. С. 932—933.

³⁶ Державин Г. Р. Стихотворения. 3-е изд. М.; Л., 1963. С. 324. (Библиотека поэта, малая серия).

³⁷ Там же.

³⁸ Гукровский Г. А. Русская поэзия XVIII в. Л., 1927. С. 201.

Р. Г. Назарьян

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ А. А. ДЕЛЬВИГА КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ БИОГРАФИИ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Исследователям творчества А. А. Дельвига хорошо известны хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского Дома рукописные тетради поэта с беловыми и черновыми автографами стихотворений. Это тетради, заполнявшиеся, как предполагается, в первой половине 1820-х годов.¹ Внешнее их сходство дополняется и внутренним: в каждой из этих тетрадей часть страниц отведена под хозяйственные записи, сделанные на немецком языке. Содержание записей не оставляет сомнений в их принадлежности дворянской фамилии остзейского региона.

Все прежние владельцы дельвиговских черновиков не обращали никакого внимания на эти «чужеродные» вкрапления, без тени сомнения считая их принадлежащими родителям поэта. И лишь в 1934 году, когда означенные бумаги покоились уже в архиве Пушкинского Дома под грифом «Черновики произведений А. А. Дельвига в приходо-расходных книгах его отца», готовивший издание сочинений Дельвига Б. В. Томашевский высказал в своих комментариях предположение о принадлежности немецких записей родителям... Кюхельбекера. Исследователь мотивировал свою догадку упоминанием имен членов семьи Кюхельбекера (Wilhelm, Mischa, Jülchen) и почерком, схожим с почерком его родителей.² Однако несмотря на то, что предположение Б. В. Томашевского было повторено и во втором издании Полного собрания стихотворений Дельвига в 1959 году, оно так и осталось лишь догадкой, не привлекая внимания других исследователей. Причину этого равнодушия можно усмотреть в том, что лифляндский период биографии В. К. Кюхельбекера (к которому и относятся немецкие записи) был совершенно неизвестен историкам декабристского движения и литературоведам, вслед за Ю. Н. Тыняновым начинавшим ее лишь с лица. И лишь теперь, получив документальные свидетельства о детстве и юности поэта,³ мы можем подтвердить догадку Б. В. Томашевского.

Во-первых, мать Дельвига (Любовь Матвеевна Красильникова) была русской и не владела немецким языком; две же из трех тетрадей заполнены (вопреки архивному каталогу)

женщиной — хозяйкой поместья. Во-вторых, мыза Авинорм, упоминаемая в этих записях, принадлежала семейству Кюхельбекеров; отец же Дельвига был военным — офицером лейб-гвардии Измайловского полка, а позднее генералом внутренней службы — и не владел поместьем в Лифляндии. Кроме того, генерал этот скончался в 1828 году, а в одной из записей 1809 года речь идет о «покойном муже» — Карл Кюхельбекер, отец будущего поэта и декабриста, умер в марте 1809 года. Думается, нет надобности перечислять и иные доказательства принадлежности тетрадей родителям Кюхельбекера — сам характер записей со всей очевидностью свидетельствует об этом.

Каким же образом стихи Дельвига 1820-х годов оказались в приходо-расходных книгах родителей Кюхельбекера, заполнявшихся в Авинорме с 1801 по 1810 год? Дабы ответить на этот вопрос необходимо упомянуть еще несколько фактов. Тетради, о которых идет речь, имеют водяные бумажные знаки 1787 и 1788 годов. Можно предположить, что сохранились они с тех пор, когда отец поэта, Карл Кюхельбекер, состоял в должности управляющего Павловска (1781—1789 годы) при великом князе Павле Петровиче. Получив же в 1801 году лифляндское поместье, Кюхельбекеры и использовали их в качестве приходо-расходных книг, заноса на страницы этих тетрадей записи о своих хозяйственных делах.

Покинув после смерти мужа Авинорм, мать Вильгельма жила то в Петербурге, то в Павловске у старшей дочери. Распродав все имущество, она сохранила лишь некоторые личные вещи и бумаги, в числе которых были и хозяйственные тетради. В 1817 году Вильгельм, окончив Царскосельский лицей, поселяется в Петербурге и определяется на службу в Коллегию иностранных дел. В последующее время умирает Г. А. Глинка, муж старшей сестры Вильгельма, а брат Михаил, флотский офицер, почти все время проводит в морских походах. Финансовое положение семейства столь затруднительно, что 60-летняя Юстина Яковлевна, не желая быть обузой для детей, уходит жить во Вдовый дом. Видимо тогда, считая свою жизнь конченной, она и передает

имевшиеся у нее семейные реликвии старшему сыну Вильгельму.

Он же, тоже нуждаясь в деньгах и стремясь улучшить свое материальное положение, устраивается на службу еще и в Благородный пансион при Педагогическом институте, получив там и бесплатное жилище. Об этом периоде биографии Кюхельбекера до нас дошло очень мало сведений: почти единственным достоверным документом являются лишь мемуары его ученика по пансиону Н. А. Маркевича.⁴ Из них мы узнаем, что Кюхельбекер, будучи учителем русской словесности, не порывал лицейских связей — его частыми гостями были Пушкин, Дельвиг и Пушкин. Тесное общение это продолжалось и позже, когда Кюхельбекер переселился в квартиру на Конюшенной улице. Близкая дружба с Дельвигом, зародившаяся еще на лицейской скамье, переросла в подлинное братство. В 1818 году, когда нелепая ссора Пушкина с Кюхельбекером привела к дуэли, Дельвиг, не сумев помирить друзей, принял сторону последнего, став его секундантом.

Два года спустя Дельвиг, скромный служащий Публичной библиотеки, получил заманчивое предложение от знатного вельможи А. Л. Нарышкина сопроводить его в заграничную поездку, однако, считая материальное положение друга более тяжелым и желая как-то помочь ему, отказался от этого предложения в пользу Кюхельбекера, мотивируя свой отказ якобы незнанием иностранных языков. Обрадованный Кюхельбекер с восторгом писал о предстоящем путешествии матери, подчеркивая особенно то, что будет «получать ежегодно 3000 рублей на всем на готовом». Как известно, отъезд его из Петербурга состоялся 8 сентября 1820 года, а перед этим Кюхельбекер снес ненужные ему в поездке вещи именно Дельвигу, ибо второй его ближайший друг, Пушкин, в мае того же года был выслан из столицы. Среди этих вещей могли быть и указанные тетради. Хотя наличие в них стихотворений Дельвига разных лет наводит на мысль, что тетради могли очутиться у него либо несколько раньше, либо несколько позже — в 1822 или 1825 году. Можно предположить, что Дельвиг, стесненный в средствах, испросил у друга разрешение использовать чистые листы в уже ставших ненужными тетрадях для своих черновиков, ибо писчая бумага стоила для него совсем не дешево.

Предположение о вещах, порученных Дельвигу перед отъездом за границу и так и не востребованных хозяином, находит подтверждение в письме, отправленном в конце 1822 года в Закуп.⁵ В нем Дельвиг пишет своему опальному другу: «...Эртель⁶ мне говорил, что часы, которые ты у меня оставил, надо кому-то доставить, но не сказал кому; уведошь поскорее, и они сейчас будут отнесены туда и в лучшем состоянии, чем были прежде. Мебель твою куплю я; мои положения скоро поправятся; дай Бог, чтоб и твои поскорее пришли в прежнее состояние...».⁷

Встреча их состоялась лишь в середине 1825 года, когда Кюхельбекер вновь поселился

в столице, чтобы спустя несколько месяцев навсегда распрощаться с друзьями и свободой. А тетради, чудом сохранившиеся в архиве Дельвига, стали ценным звеном, дополняющим биографии обоих поэтов.

Первая из этих тетрадей была начата в январе 1801 года — сразу же после поселения семейства Кюхельбекеров в Авинорме. В связи с тем, что глава семьи еще не оставил службу в Петербурге, все заботы об имении взяла на себя Юстина Яковлевна, мать будущего поэта. Будучи женщиной весьма практичной и отчетливо понимая, что материальное благополучие ее близких теперь зависит от умелого ведения хозяйства, она с первых же дней стала лично вести учет всех доходов и расходов по дому.

Записи в этой тетради фиксируют мельчайшие поступления и траты, вплоть до десяти копеек, что явно свидетельствует о стесненности Кюхельбекеров в средствах. Юстина Яковлевна с немецкой скрупулезностью запечатлела в конторской книге все подробности авинормского быта ее семьи. Январские и февральские записи 1801 года сделаны в основном в правой части этой книги, где помещена графа расходов. Покупались дрова, мясо, яйца, цыплята, сливы, пиво, табак и водка, полотно для хозяйственных нужд, «щетка для подметания комнат из Дерпта», кастрюли, шейный платок для одного из слуг. Было также уплачено извозчикам, парикмахеру, кухаркам и горничным.

В записях фигурируют некоторые русские люди, служившие в имении: Лукерья (Lukeria), Дарья (Daria), Матрена (Matrona), нянька Татьяна (Nenka Tatinna или Tatianna), Ефим (Efim), и служащие-немцы — Фриц (которому уплатили за конскую упряжь) и Карл (для которого и был приобретен шейный платок). Небезынтересно, что Ю. Я. Кюхельбекер, не владевшая русским языком, употребляла в своей речи (и в записях) некоторые русские слова, усвоенные ею в Петербурге. Так, например, она вносит в статью расходов слова: «лапка» («лавка»), «lavoschnik Alexeу» («лавочник Алексей»), «isvoschick» («извозчик»), «klukwa» («клюква»), «partku» («портки»), «kul» («куль»), «pogon» («прогон») и т. п.

В тетради совершенно отсутствуют записи за март и апрель 1801 года. Можно предположить, что это обстоятельство было связано со смертью императора Павла I, которому долгие годы верой и правдой служил отец будущего поэта, Карл Кюхельбекер, в последние годы правления едва не ставший временщиком, подобно графу И. П. Кутайсову. Почти весь 1800-й и начало 1801 года Кюхельбекер жил вместе с императором в Михайловском замке, ибо «Павел не мог уже обходиться без него; в самый вечер перед последней ночью (11 марта 1801 года. — Р. Н.), увидя между дворцом и садом несколько ленточников,⁸ он послал его узнать, что значит это собрание. „Пользуются хорошою погодю, — сказал Кюхельбекера отец, возвратясь, царю. — Прогуливаются“. Ночью Павла не стало. Когда Кюхельбекеру захотелось поцеловать руку покойного царя, его не допустили

часовые. Тело лежало в комнате, куда вела двойная дверь; известно, как толсты иные стены в Михайловском замке. Четыре часовых стояло в дверях: пара с одной стороны дверей, другая — с другой. Увидя графа Палена проходящего, Кюхельбекер бросился к нему просить, чтоб его пропустили к покойнику. Ни слова не отвечая, Пален дал знать рукою, чтоб часовые впустили его, а сам прошел мимо. Внутренние часовые не видели этого знака и скрестили ружья. Кюхельбекер хотел воротиться, но вступившие его солдаты скрестили тоже ружья и не выпустили его, и он более двух часов простоял в амбразуре дверей в виду тела своего благодетеля, между четырьмя скрещенными штыками».⁹

Имеется свидетельство современника, что Юстина Яковлевна в это время находилась в Петербурге. И когда на следующий после убийства день Карл Кюхельбекер в расстроенных чувствах явился домой и поведал жене о трагической смерти императора, эта энергичная и властная женщина прервала его всхлипывания гневной фразой: «Ты обязан был умереть там!».¹⁰

Смерть Павла была невосполнимой потерей для семьи Кюхельбекеров, лишившихся высочайшего покровительства. И, видимо, Юстина Яковлевна не могла возвратиться в Авинорм, покада не были завершены все траурные процедуры по покойному императору, имя которого всегда произносилось в доме Кюхельбекеров с благоговением. Лишь отдав дань уважения усопшему царю, она приезжает в имение.¹¹ В майских записях приходо-расходной книги 1801 года отдельно указано: «Получено от моего мужа в Петербурге на мою поездку (дорогу) 24 апреля 1801 года 154 рубля». Здесь же впервые упомянут некий инспектор Пайшель, подполковник граф Сиверс и комиссар Вольфарт, от которых получены деньги и с которыми Кюхельбекер во время пребывания в Авинорме связывали деловые и приятельские узы. Кроме этих денег, в конце мая Юстина Яковлевна получает еще 200 рублей («от моего мужа из Санкт-Петербурга») и подводит итог в графе прихода за май — 1604 рубля. Каковы же были расходы за этот месяц и приход за июнь — узнать невозможно, так как следующий лист из тетради вырван. Среди расходов июня — уплата инспектору Пайшелю 150 рублей в счет какой-то аренды. Дальнейшие записи малочисленны и лаконичны, суммы прихода и расхода указывают на материальные затруднения семьи: покупаются в малом количестве масло и яйца, сахар и мука, мед, ягоды и кофе, дрова и коленкор. Учтены и мелкие траты: копейки для некой Агаты, старого привратника Грамина и старой женщины, некогда служившей здесь кухаркой, а также подавание на похороны «бедному молодому человеку из Вади». Фиксируется и мелочь, выданная 25 декабря детям «на праздник Рождества». Приход за этот период весьма невелик и состоит из денег, присланных из Петербурга мужем, из собственной пенсии

Юстины Яковлевны и небольшой суммы, вырученной от продажи масла.

Январь 1802 года: приход — 251 рубль 50 копеек, расход — 251 рубль 60 копеек. Владелица имения пытается свести концы с концами, добиться того, чтобы траты не превышали полученных денег. О доходах говорить не приходится, ибо почти вся указанная сумма складывается из присланных мужем денег (22 р. 50 коп., 75 р. и 60 р.) и пенсии Юстины Яковлевны (66 р.). В графе расходы — плата няньке, лавочнику Алексею, транспортные расходы и т. д. В феврале и в марте опять прослеживается январская тенденция: приход — 50 рублей, расход — 49 рублей 85 копеек (февраль) и 31 рубль прихода, 29 рублей 60 копеек расхода (март). Деньги в основном истрачены на одежду; приобретены шапки и рукавицы, кафтан и кушаки, сапоги, портки и шейные платки слугам Ивану и Карлу Нозепту, а также кафтан и дрова для кучера. Приобретены сапоги для сыновей Вильгельма и Миши за три рубля, а дочери Юльены (Юлии) и Вильгельму выданы еще три рубля «на зубок». В апреле мать справила сыну новую одежду, записав в графу расходов: «Вильгельму на платье — 7 рублей 20 копеек».

В мае итоговая сумма прихода выглядит довольно значительной — 2535 рублей, однако складывается она отнюдь не из доходов от имения. Мартовские события 1801 года перечеркнули все радужные надежды, убийство Павла I рикошетом ударило и по Кюхельбекеру. Не стало покровителя, под началом которого он прослужил два десятилетия, человека, от которого зависело благополучие семьи и будущее детей. Окружение покойного родителя явно не устраивало наследника престола Александра I, замешанного в дворцовом заговоре. Один за другим бывшие фавориты бывшего императора получали отставку. В мае 1802 года пришла очередь Кюхельбекера, увольнение которого сопровождалось милостивым позволением обратиться в пенсион получаемое жалованье в полном объеме. Полученную при расчете сумму Карл Кюхельбекер и высылает в Авинорм («получено от моего мужа 2025 рублей»), сам же он пока остается в столице, улаживая личные дела. В другой графе указано: «Получено от моей дочери 500 рублей». Речь, конечно же, идет о старшей дочери Юстине Карловне Кюхельбекер, воспитаннице Петербургского училища ордена святой Екатерины (Екатерининский институт благородных девиц), принятой туда 26 мая 1798 года «по вакансии графини Скворонской». За отличные успехи и примерное поведение «девица Юстина Кюхельбекер» при выпуске из учебного заведения была «пожалована» пятьюстами рублями, которые она и передала матери. Еще десять рублей хозяйка Авинорма получила от «мадам Пайшель», жены тамошнего инспектора.

Тогда же Юстина Яковлевна начинает отправлять деньги мужу в Петербург — зафиксирована сумма 50 рублей. Столько же вручено женщине по имени Авдотья Андреевна

(Awdotia Andrewpa). Чуть более двадцати рублей обошлась Юстине Яковлевне поездка в Нарву. Другая же поездка в Нарву «со всеми затратами» обошлась ей уже в 138 рублей.

В июне приход от продажи муки составил 54 рубля 25 копеек. Среди записей о торговых сделках упомянуты эстонские крестьяне и места их проживания: Йохан Мадис из деревни Логузен, Йозеф Андрес из Аллекиля и Яак из Кирбонсааре, а также другие жители Логузена, Майцме, Мустафера, Воттифера, Вади и Энгисаара. Расходы же за этот месяц намного превысили эту сумму — было истрачено 353 рубля 60 копеек. Деньги, полученные в мае, были истрачены на деловые поездки в Нарву, на выплату годового (с мая 1801 по май 1802 года) жалованья служащим в имении людям, на одежду и кольцо старшей дочери. Вильгельму пошли новые сапоги и приобрели для него книги у бродячего торговца-еврея.

Вновь (дважды) посылались деньги (200 р. и 25 к.) мужу в Петербург, приобретались пищевые продукты и картузы для сыновей Вильгельма и Михаила. Транспортные расходы при продаже хлеба и другой сельскохозяйственной продукции превысили 90 рублей, недешево обошлась матери и деловая поездка к графу Сиверсу. В августе как приход, так и доход составили всего шесть рублей. Записи за сентябрь—декабрь в тетради вообще отсутствуют.

В 1803 году в прибалтийских губерниях разразился голод, вызванный неурожаем. И хотя от нехватки хлеба страдали в первую очередь крестьянские семьи, землевладельцы тоже переживали трудные времена, ибо их благополучие целиком зависело от крепостного люда. Кюхельбекеры были вынуждены прекратить продажу зерна, а имевшиеся запасы распределить между крестьянами.¹² Пришлось резко сократить расходы, так как небольшая пенсия Юстины Яковлевны и мизерные поступления от мужа стали почти единственными источниками существования. В январе приход составил всего 170 рублей. Сумма эта состояла из пенсии матери (66 р.), трех переводов (34 р., 30 р. и 15 р.) от Карла Кюхельбекера и 25 рублей, присланных мадам Брейткопф, давним другом их семьи. Жизнь же все дорожала — за один лишь кафтан, сшитый для Вильгельма, Юстина Яковлевна уплатила портному 15 рублей.

Дальнейшие поступления от мужа все уменьшаются — их максимальная разовая сумма не превышает 50 рублей. Вскоре и он сам совсем приезжает в Авиноرم, пытаясь спасти семью от невзгод. Но и следующий год вновь был неурожайным — Кюхельбекеры задолжали государственной казне немалую сумму. Теперь в графе прихода фиксируются самые незначительные доходы, например, один рубль, полученный от «Крюгера из Майцме».

Записи в этой тетради заканчиваются в начале 1805 года. Январские сообщают о получении 110 рублей от мужа, который в это время находился в Дерпте. Оттуда же в феврале было получено еще 32 р. 75 копеек. В графе расходов

фигурируют имена детей — Юлии (Юльхен), Вильгельма и Михаила.

Другая же тетрадь с надписью на обложке «Conto Buch 1803» заполнена рукой Карла Кюхельбекера. В самом начале ее названы фамилии лиц, с которыми Кюхельбекеры имели деловые отношения. Каждому из них — пастору Асверусу, барону фон Баггохуфвуду,¹³ комиссару Вольфарту и барону фон Людеру — были отведены специальные страницы, где были указаны даты получения и выдачи денег и характер сделок. Эта конторская книга велась, как и предыдущая: в левой стороне указывались поступления (Debet), в правой расходы (Credit). Обе стороны страниц имели по пять граф, четыре из которых имели обозначения года, месяца, рублей и копеек — Anno, Monat, Rubel), C(opek), — а в пятой указывалась сама произведенная операция. И хотя тетрадь датирована 1803 годом, записи в ней выходят за указанные пределы — последние относятся к самому концу 1806 года. Небезынтересно, что в них упомянут и брат Юстины Яковлевны — вице-адмирал фон Ломен, которого Кюхельбекер уважительно именует «Федор Яковлевич», и старший сын хозяина Авинорма — Федор Карлович. Можно предположить, что тетрадь содержала и записи за последующие два года (Карл Кюхельбекер скончался в марте 1809 года), но эти страницы вырваны.

Третья тетрадь заполнялась Юстиной Яковлевной уже после смерти мужа, что и наложило свой отпечаток на сам характер записей. Дело в том, что мыза Авиноرم была пожалована Карлу Кюхельбекеру пожизненно, без права наследования. В соответствии с этим после его кончины имение переходило в государственную казну. Все попытки вдовы арендатора сохранить за собой поместье оказались безрезультатными. Указанная тетрадь проливает свет на совершенно неизвестные факты биографии семьи Кюхельбекеров: записи в ней сделаны с осени 1809 года по март 1810 года, а это позволяет сделать предположение о том, что Юстине Яковлевне удалось продлить свое пребывание в Авинорме еще на один год. Надо полагать, это произошло не без помощи вдовствующей императрицы Марии Федоровны, продолжавшей оказывать покровительство семье бывшего фаворита ее покойного мужа.

Последнее время Юстина Яковлевна провела в имении одна: старшая дочь вышла замуж в 1805 году и переехала к мужу в Дерпт, другая дочь, незамужняя Юлия, жила в Петербурге. Вильгельм с 1808 года находился в Верро, где обучался в уездном училище, а Михаил, младший сын, жил в Дерпте, у сестры, готовясь к поступлению в Морской кадетский корпус. Похоронив супруга, эта мужественная женщина продолжала стойко переносить все удары судьбы во имя своих несовершеннолетних сыновей.

Имение уже не приносило дохода, ибо последние годы снова были неурожайными. Жить приходилось на пенсию, которую ей платили за покойного мужа, и крайне редкие заработки, полученные от продажи хлеба и

масла. Почти все имеющиеся деньги вдова расходовала на мальчиков: сыновей и внуков — детей старшей дочери Юстины. Почти все записи этого периода содержат в себе упоминание этих имен: плата кучеру Якобу, отвезшему Мишу в Дерпт, одежда и обувь для Вильгельма и Миши, подарки для внука Митиньки, плата за обучение Вильгельма и за его содержание в пансионе, за купленные ему панталоны и портфель. Кроме того, мать выделяет им деньги на карманные расходы. Расходы же на собственные нужды весьма невелики.

Последние записи в тетради свидетельствуют о бедственном положении Юстины Яковлевны, вынужденной покинуть имение, так и не принесшее материального благополучия ее семье. Вдова, не имеющая средств к безбедному существованию и вынужденная к тому же оказывать помощь детям, полна решимости сделать для них все от нее зависящее. В октябре 1809 года она продает «маленькую кобылку» за сорок рублей, всех своих ягнят по рублю за голову; козел и коза проданы дороже — по два рубля. Козлик продан ткачу Андресу, а вся хозяйственная утварь Йоханесу Мадису и Софи-хен за 22 рубля. Из вырученных денег она почти ничего не может оставить себе — надо расплатиться с долгами. Юстина Яковлевна выдает 25 рублей в счет жалованья «старому Меттигу». Это именно та сумма, записывает она в своей тетради, «которую обещал ему мой покойный муж». Произведен расчет и со служанкой Анной, которой, несмотря на собственную бедность, хозяйка вручает один рубль «на чай». Возвращен долг и некой мадемуазель Гуппель. Меттиг, получив сполна причитавшиеся ему деньги, возвращает вдове вексель в 200 рублей, полученный когда-то от хозяина.

Несмотря на холодное время года (ноябрь), приходится распродать и шерстяные кафтаны. По ее поручению Иван Филиппович продает кому-то экипаж, а сам приобретает у нее всех кур, гусей и уток. Собрав небольшую сумму, Юстина Яковлевна вновь едет в Петербург с прошением, но опять безрезультатно. Получив там свою пенсию за четыре месяца (366 рублей), она расплачивается с авинормскими «процентщиками»: по 100 рублей Лукерье Ивановне и Варваре Максимовне. Денег опять не хватает — приходится продать домашнюю мебель. За нее мадемуазель Данцман заплатила 40 рублей. Еще 10 рублей получено от фон Людера за проданные чашки. Но денег катастрофически не хватает, а продавать больше нечего. На помощь приходит Софья Андреевна, сестра Г. А. Глинки, мужа старшей дочери — она посылает вдове 100 рублей.

И среди этих забот Юстина Яковлевна помнит о детях и записывает в графе расходов: «данцигское сукно на шинель Вильгельму и воротник к ней», «панталоны и фрак для Миши», внуку «Митиньке на люльку». Мать дважды выезжает к Вильгельму в Верро, вносит плату за его обучение ректору Бринкману (125 р. и 63 р.). Рассчитавшись со слугами и всеми кредиторами («Якобу уплачено 55 р.,

Магги — 25, Софи-хен — 8, Еве — 6 р. 50 копеек, ткачу Петеру — 10, Софье Андреевне — 15»), Юстина Яковлевна навсегда покидает Авинорм. Последняя запись в тетради сделана ею 14 марта.

Всегда ощущая в себе потребность заботиться о близких, она мечтала поселиться в Дерпте и нанять своих внучат. Однако же остаться в родной Лифляндии Юстине Яковлевне не удалось: в середине марта ее зять Григорий Глинка подал прошение об отставке с должности профессора Дерптского университета и, получив ее, уехал в свое смоленское имение Закуп. Туда же последовала и его семья. Прожив некоторое время в столице, вдова вскоре (в 1811 году) перебралась в Павловск, где отныне находилась с детьми ее дочь Юстина: Григорий Глинка получил место воспитателя при великих князьях Николае и Михаиле. Но близость ко двору не принесла ни ей, ни ее родным желанных перемен: об этом свидетельствует письмо, отправленное в апреле 1817 года ее дочерью Юстиной императрице:

«Государыня!

Жестокое положение, в котором находится моя мать, дает мне смелость броситься к ногам Вашего Императорского Величества, дабы испросить Вашей милости. Отец мой долгие годы служил Императору в должности управляющего Павловска и Каменного острова, а затем в гоф-интендантстве. Поскольку его дурное здоровье принудило его выйти в отставку, он получил в пожизненное владение землю и 600 рублей пенсии (полугодовое жалованье, вручаемое при увольнении со службы. — Р. Н.). Однако он недолго наслаждался своим отдыхом и, умерев, оставил мать мою с четырьмя детьми, трое из которых были в малом возрасте, лишь я устроена. Поскольку старший сын ее незадолго до того был убит на войне,¹⁴ Ее Императорское величество Императрица-Мать сооблаговолила оставить вдове те 1100 рублей пенсии, которая была назначена еще моему отцу. Мать моя, проникнутая признательностью, старалась содержать себя, проживая вместе со мною. Сегодня дети ее уже взрослые. Она опутала себя долгами из-за экипировки одного сына, который недавно был произведен в офицеры.¹⁴ Другой же сын на пороге выпуска из Лицея, а все, что есть у нее в таком тревожном положении, — это ее слезы, я же не имею возможности чем-либо помочь ей. Я умоляю Всевышнего и обращаюсь к его земному образу, нижайше осмеливаюсь просить о помощи. Простертая у его ног, я осмеливаюсь заметить, что нужно иметь мать в таком состоянии, как моя, чтобы осмелиться на дерзость, которую я себе позволяю и за которую прошу прощения.

Вашего, Государыня, Императорского Величества нижайшая, покорнейшая и вернейшая слуга и подданная Юстина Глинка, урожденная Кюхельбекер».¹⁵

К письму приложена запись, запечатлевшая царскую щедрость: «Всемилоштивейше пожалованные от Ея Величества господа Императрицы

Елисаветы Алексеевны триста рублей получила за матушку свою статскую советницу Кюхельбекер коллежская советница Юстина Глинкина»...

Таким образом, приходо-расходные книги родителей декабриста, дошедшие до нас благодаря вписанным в них стихам Дельвига, не только свидетельствуют еще об одной грани дружеских отношений поэтов в послелицейский период, но и существенно обогащают наши знания и представления об «эстонском» периоде

биографии Вильгельма Кюхельбекера до самого последнего времени бывшем белым пятном для исследователей. И документальные свидетельства о семейном быте, окружении и нравах лифляндского дворянства, запечатленные в авианормских «Conto Buch», ценны именно тем, что позволяют почувствовать ту атмосферу, в которой складывался характер декабристского поэта и критика и в которой следует искать корни неординарной личности Вильгельма Кюхельбекера.

¹ ИРЛИ, ф. Р1, оп. 6, № 164, а также 18044 18045 CXIV61 и CXIV62.

² См.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 438.

³ См. статью Р. Г. Назарьяна и М. Г. Салу-пере «Эстонские странички биографии В. Кюхельбекера» (Русская литература. 1990. № 1. С. 156—164).

⁴ Воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817—1820 гг. // Лит. наследство. М., 1954. Т. 59. С. 501—512.

⁵ После «досрочного» возвращения из-за границы Кюхельбекер, опасаясь преследований со стороны правительства, почти сразу же уехал на Кавказ, получив службу у А. П. Ермолова, но, не ужившись и там, возвратился в смоленское имение старшей сестры Закуп.

⁶ Эртель Василий Андреевич (1793—1847) — двоюродный брат Е. А. Баратынского, прозаик и переводчик, сотрудник Публичной библиотеки, общий приятель поэтов.

⁷ Русская старина. 1875. № 7. С. 360.

⁸ Здесь имеются в виду убийцы императора Павла I — по аналогии с X строфой оды А. С. Пушкина «Вольность»: «...Он видит — в лентах и звездах... идут убийцы потаенны».

⁹ Воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817—1820 гг. // Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 509—510.

¹⁰ Рассказано кн. В. Ф. Одоевским П. Бартенева (см.: Русский архив. 1881. № 1. С. 137).

¹¹ О благоговейном отношении Юстины Яковлевны к императору свидетельствует запись в тюремном дневнике В. Кюхельбекера: «В 52 томе „Вестника <Европы>“ чрезвычайно занимательная статья „О детстве императора Павла Первого“. . . Как бы я обрадовал матушку, если бы мог ей прочесть эту статью! Она всех людей, о которых тут говорится, отлично знала; сверх того, память покойного императора ей драго-

ценна...» (Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 189).

¹² Подробнее об этом см. в нашей статье, указанной в прим. 3.

¹³ Более подробные сведения о пасторе Асверусе содержатся в статье, указанной в предыдущей сноске. Баронский род Баггохуфвуд (Баггехуфвудт, Багговут) имеет норвежские корни. В 1565 году его основоположник Ганс-Петер, норвежский дворянин из дома Баггохуфвуд, переселился в Швецию, а его потомки в XVII веке были пожалованы королем землями в Эстляндии, входившей тогда в состав Швеции. Точными сведениями о «бароне из Веннифера» мы не располагаем. Известно, однако, что представители этого рода сыграли определенную роль в русской истории: генерал-лейтенант Карл Федорович фон Баггохуфвуд (1761—1812), служивший в армии Барклая де Толли, принимал участие в Бородинской битве и вскоре погиб под Тарутином; его племянник Александр Федорович был каким-то образом причастен к событиям 14 декабря 1825 года; другой же родственник генерала — прапорщик 17-го Егерского полка Багговут — в феврале 1826 года сопровождал в качестве конвойного офицера арестованного декабриста И. В. Киреева, перевозимого из Житомира в Петербург на главную гауптвахту; Юлия (Анна Шарлотта Юлиана) Федоровна фон Баггехуфвуд (в замужестве Адлерберг, 1760—1839) — некогда гувернантка великого князя Николая Павловича, а затем статс-дама, кавалерственная дама ордена святой Екатерины I степени — долгое время была начальницей Воспитательного общества благородных девиц (Смольного института) в Петербурге.

¹⁴ Федор Карлович Кюхельбекер, офицер Главного штаба, погиб в бою с французскими войсками под Кенигсбергом в 1806 году.

¹⁵ ЦГИА СССР. Ф. 1286. Оп. 9. Ед. хр. 1122. Л. 484. Оригинал на французском языке. Публикуется впервые.

ЗАМЕТКИ О СТИХОТВОРЕНИИ ПУШКИНА «ГЕРОЙ»

Стихотворение Пушкина «Герой» (1830) не обойдено исследовательским вниманием: многие вопросы, относящиеся к его интерпретации, обсуждались достаточно подробно.¹ И все же «Герой» ставит перед исследователями новые проблемы, относящиеся к разным аспектам изучения стихотворения. Некоторым из них и посвящены предлагаемые заметки.

* * *

Начну с текстологии. В так называемом Большом академическом издании сочинений Пушкина стихотворение «Герой», согласно редакторской помете, «печатается по автографу».² В нем, однако, обнаруживается ряд отклонений от рукописи, являющейся единственным источником его текста. Последняя представляет собой тщательно переписанный рукой поэта беловик, почти без помарок, с четко расставленными знаками препинания. Рукопись была послана М. П. Погодину вместе с письмом, содержащим следующие наставления: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять *никому* моего имени. Если московская цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную...»³ Погодин передал «Героя» Н. И. Надеждину, который и напечатал его анонимно в первом номере «Телескопа» (под именем Пушкина оно было впервые напечатано уже после смерти поэта в «Современнике» 1837 года).⁴ Пушкин скорее всего не принимал участия в подготовке своего стихотворения к печати. Дата цензурного разрешения № 1 «Телескопа» — 6 января 1831 года. Пушкин в это время находился уже в Москве, однако едва ли он занимался чтением корректуры «Героя», тем более в условиях строгой анонимности его публикации.⁵

В текст стихотворения с самого начала стали проникать частные искажения, особенно в пунктуации, подвергшейся весьма существенным изменениям. Не входя во все детали, коснусь лишь одного, важнейшего разночтения. Имеется в виду концовка стихотворения, особо значимая для его интерпретации (цит. по рукописи):

Оставь Герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!

Друг

Утешься. . . .

Как видим, после слова «сердце» Пушкин поставил точку с запятой; вслед же за ключевым словом «тиран» стоит восклицательный знак. Однако в «Телескопе» пушкинская пунктуация

была изменена: восклицательный знак появился после слов «Оставь Герою сердце», к восклицательному же знаку после слова «тиран» добавлены две точки (!..). Эти изменения, естественно, исказили интонацию цитируемого фрагмента, особенно слова «тиран». В «Современнике» же в этом месте пушкинская пунктуация восстанавливается, что говорит о явном предпочтении рукописи,⁶ косвенно свидетельствуя о том, что Пушкин едва ли имел отношение к изменениям текста стихотворения в первой его публикации.

Колебания между публикацией «Телескопа» и «Современника» сохраняются и в дальнейшем. Большое академическое издание (текст «Героя» подготовлен Т. Г. Зенгер-Цявловской) в рассматриваемом фрагменте текста вообще исключает восклицательный знак после слова «тиран», заменяя его многоточием.⁷ Эта замена искажает предполагаемую пушкинскую пунктуационную интонацию и одновременно влияет на восприятие всего контекста. Вместо решительного утверждения («Тиран!») возникает раздумчивая интонация, за которой стоит неуверенность мысли, отнюдь не вызываемая контекстом. Другое дело реплика Друга «Утешься...», многоточие после которой несет на себе совершенно определенную смысловую нагрузку, связанную с недосказанностью мысли и предполагающую сотворчество читателя. «В контексте диалога, — справедливо замечает В. А. Грехнев, — реплика Друга „Утешься“ — лишь реакция на собеседника, и... это реакция приглушенно выраженного сомнения».⁸ За этим стоит и более широкое обобщение, связывающее концовку стихотворения с его глубинным смыслом, ответом на евангельский вопрос эпитафии «Что есть истина?», а также с важнейшей для Пушкина проблемой гуманности власти. В «Герое», по словам Ю. М. Лотмана, поэт «выдвигал идею гуманности как мерила исторического прогресса».⁹ Слово Друга «Утешься...» снимает безусловность утверждений Поэта и предполагает возможность другой точки зрения, поэтому незавершенность его фразы приобретает весьма глубокий смысл. При таком понимании рассматриваемого контекста восклицательный знак при слове «тиран» получает принципиальное значение.

Впрочем, текстологическое решение Большого академического издания, преобладающее в современных перепечатках «Героя», не является единственным. Во втором издании академического десятилетия сочинений Пушкина Б. В. Томашевский восстановил восклицательный знак после слова «тиран».¹⁰ Восстановил он и стоящую в рукописи после слов «Оставь герою сердце» точку с запятой, отказавшись, таким образом, следовать за пунктуацией «Телескопа», которой и в этом месте придерживается Большое академическое издание. Однако в четвертом издании академического десяти-

томника восклицательный знак после слова «тиран» вновь исчезает; появляется здесь и совершенно произвольное решение — многоточие после слов «Оставь герою сердце», отсутствующее в каких бы то ни было источниках. Восстанавливается также и восходящее к публикации «Телескопа» многоточие после слов «Нас возвышающий обман».¹¹ Это приводит к смысловым сдвигам, искажающим энергичный пушкинский текст (цит. по рукописи):

Тьмы низких Истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Оставь Герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!

Приведенный материал подтверждает важность анализа пушкинской пунктуации и опасность неоправданного вторжения в нее, тем более тогда, когда отказ от избранной поэтом системы знаков препинания влечет за собой и смысловые искажения, влияющие на восприятие текста стихотворения. «Пунктуация, — писал В. И. Чернышев, — дополнение языка, и знаками препинания автор выражает оттенки мысли, не выраженные словами. В этом отношении пушкинские тексты оказываются гораздо более правильными и содержательными, чем уверяют редакторы, кромсавшие их собственной произвольной расстановкой знаков препинания».¹²

Остановлюсь еще на одном вопросе, возникающем при обращении к рукописи «Героя», — употреблении Пушкиным прописных букв. Еще П. В. Анненков протестовал против пренебрежения правилами пушкинского правописания; в примечании к стихотворению «Пир Петра Первого» он писал: «Оно перепечатано посмертным изданием 1838 г., с обычным уничтожением больших букв во многих словах, причем и намерение автора уничтожилось с изменением одной буквы. Посмертное издание напечатало: „И раздался в честь науки Песен хор и пушек гром“, но в слове „Науки“ Пушкин имел в виду олицетворение, и оно уже выходило тогда из точного смысла простого существительного имени».¹³ К замечанию Анненкова следует прислушаться; необходим анализ каждого случая употребления Пушкиным прописных букв. В «Герое» их особенно много. Например: «Да, Слава в прихотях вольна»; «Но нам уж то Чело священно»; «Сей ратник Вольностью венчанный»; «Тогда ль как рать Героя плещет»; «Клейменный М(?)ошноу Чумоу, Царицею Болезней»; «Клянусь, тот будет Небу другом»; «Да будет проклят Правды свет»; «Когда Посредственности хладной» и др.

Трудно проследить здесь совершенно определенную систему: в этих написаниях можно увидеть и дань отживающей традиции, и учет официальных требований («Пред кем смирились Цари»), наконец, вероятно, и некоторый элемент случайности. Однако в большинстве случаев они вполне соотносимы с суждением Анненкова. И тем не менее точного следования пушкинской рукописи нет ни в одном из изданий «Героя» начиная с публикации в «Телескопе» и «Совре-

меннике». Пушкинская система обозначений сразу же разрушается, хотя отдельные слова продолжают писаться с прописной буквы (Большое академическое издание сохранило, например, лишь один такой случай: «Нет, не у Счастлива на лоне»). Вряд ли такое могло бы случиться, если бы Пушкин имел прямое отношение к тексту «Телескопа», и это повышает значение его автографа как наиболее авторитетного источника текста «Героя». Таким образом, применение прописных букв в пушкинском «Герое» не только представляет собой сложный текстологический казус, требующий внимательного анализа, но имеет существенный и более общий смысл.

Рассмотренные примеры указывают на текстологические вопросы, возникающие при новом обращении к рукописям Пушкина. Возможно точное прочтение каждого пушкинского слова, достоверность контекста, в котором оно возникает, соотношение со смыслом целого и наряду с этим внимание к авторской орфографии и пунктуации являются обязательным требованием при установлении основного текста произведений Пушкина. Только такой подход гарантирует точное соответствие буквы и смысла пушкинского текста, ибо любой, даже незначительный на первый взгляд семантический сдвиг, нарушающий предусмотренное поэтом значение, способен отразиться на понимании смысла его произведений и сказаться на их научной интерпретации.

* * *

Центральное место в диалоге Поэта и Друга, на котором построено стихотворение «Герой», занимает их спор о Наполеоне, вернее, об эпизоде его легендарной биографии, воодушевляющем Поэта. Его восторженное отношение к самопожертвованию Бонапарта, который «хладно руку жмет Чуме И в погибающем уме рождает бодрость», вызывает скептическое замечание Друга (цит. по рукописи):

Мечты поэта,
Историк строгой гонит вас!
Увы! его раздался глас
И где ж очарованье света!

Примечание, которым сопровождается стих «Увы! его раздался глас», — «Mémoires de Bougiennpe» — в публикации «Современника» было произвольно распространено: «Бурьенный отрицает в „Записках“ своих сказание о том, что Бонапарте, посетив в Яффе госпиталь зараженных чумою, прикоснулся к некоторым для ободрения их. „J'affirme“, говорит он, „ne l'avoir pas vu toucher un pestiféré“».¹⁴ («Я утверждаю, что не видел его прикасающимся к кому-либо из зачумленных»).

Примечание это, многократно повторенное в большинстве дореволюционных изданий сочинений Пушкина (сопровожаемое обычно отсылкой к «Современнику»), надолго срослось с текстом стихотворения, удовлетворяя

потребность читателя в подробностях, касающихся мемуаров Бурьенна. Этим, возможно, объясняется то, что комментаторы и исследователи, не говоря уже о читателях стихотворения, мало заботились об ознакомлении с текстом, к которому отсылает пушкинское примечание, ограничиваясь обычно скупой ссылкой на подложный характер записок Бурьенна, в действительности принадлежавших перу бывшего дипломата Вилламаре. Последний воспользовался краткими мемуарами секретаря Наполеона для создания десятистрочного сочинения, выданного им за подлинное воспоминание современника.¹⁵ Изданные в 1829 году одновременно в Париже, Штутгарте и Брюсселе, в 1830 году записки Бурьенна вызвали всеобщий интерес. На эту книгу¹⁶ Пушкин и ссылается в примечании к своему стихотворению. Естественно, что сенсационное разоблачение выразительного эпизода с зачумленными в Яффе в 1799 году, сыгравшего заметную роль в создании мифологизированного образа Наполеона и закрепленного, в частности, в известной картине А. Гро, актуализовало и сам этот эпизод, чем в значительной мере и объясняется выбор его Пушкиным в качестве предмета восхищения Поэта в его стихотворении. (Разумеется, решающую роль сыграло здесь и свойственное эпохе и Пушкину восприятие по аналогии чумы и холеры,¹⁷ что влекло за собой современные ассоциации, предполагаемые содержанием пушкинского «Героя».)

Эпизод с зачумленными в Яффе в книге Бурьенна не привлек к себе, однако, внимания писавших о «Герое»; исключение составляет лишь Д. Д. Благой, отметивший, в частности, что ее автор «не только отрицал, что тот (Бонапарт. — Л. С.) прикоснулся к кому-либо из зачумленных, но и утверждал, что, поскольку французские войска вынуждены были уйти из Яффы, все заболевшие по секретному приказу Наполеона были отравлены».¹⁸ Действительно, эпизод с зачумленными в мемуарах Бурьенна связывается именно с рассуждением об этом бесчеловечном поступке, который, однако, автор склонен оправдать военной необходимостью и явной обреченностью больных: «Печальное, продолжительное рассуждение произошло о жреби, ожидавшем зачумленных, которые не имели надежды к исцелению и находились при конце жизни. После самых совестливых прений решились укоротить несколькими минутами, посредством усыпительного приема — смерть, неизбежную чрез несколько времени, но более болезненную и более жестокою».¹⁹ С этим решением Наполеона и связывается далее описание посещения им военного госпиталя: «Там были изуверенные, раненые, страждущие воспалением глаз, которые испускали жалобные вопли, и зачумленные. Кровати этих последних находились направо при входе в первую палату». Далее следует текст, частично процитированный в примечании «Современника»: «Утверждаю, что я не видел, чтобы он прикоснулся хоть к одному зачумленному. И для чего ему было бы к ним прикасаться? Они

находились в последнем периоде болезни. Ни один не произносил ни слова. Бонапарте очень знал, что он не безопасен от заражения. Неужели и тут вмешивать фортуну?..» и т. д. (следует рассуждение о бесполезности для Наполеона рисковать своей жизнью, важной для спасения французской армии, находившейся в это время в крайне трудном положении).²⁰ Совершенно очевидно, что именно этот пассаж имел прежде всего в виду Пушкин, вкладывая в уста Друга слова: «Мечты поэта, Историк строгой гонит вас!», — и в этом отношении примечание «Современника» справедливо указывало на соответствующее место записок Бурьенна (допущена была лишь небольшая неточность: согласно показаниям «историка строгого», больные, о которых идет речь, не были помещены в отдельный «госпиталь зараженных чумою», но находились в общем помещении с другими ранеными и больными). Можно полагать, что пушкинская отсылка к мемуарам Бурьенна, во-первых, имела в виду более широкий контекст и, во-вторых, предполагала контрастное соположение описаний, в них находящихся, и текста стихотворения. Речь, разумеется, может идти о внетекстовой связи; однако, будучи составной частью текста, примечание к стихотворению создавало условия для сопоставления обеих картин. Ср. (цит. по рукописи):

Одров я вижу длинный строй,
Легит на каждом труп живой
Клейменный мощною Чумою,
Царицею Болезней; Он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами,
И хладно руку жмет Чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость — — —

И в книге Бурьенна: «Бонапарте скоро прошел через палаты, слегка стегая по желтым отворотам сапог своим хлыстом, который он держал в руке. Идучи большими шагами, он повторял: „Укрепления разрушены. Фортуна не благоприятствовала мне в Сен-Жан д'Акре. Я должен возвратиться в Египет, дабы предохранить его от имеющих прийти неприятелей. Через несколько часов Турки будут здесь, все, которые имеют довольно сил для того, чтобы отправиться с нами, будут перенесены на носилках и на лошадях“. Зачумленных было едва шестьдесят человек... Их совершенное безмолвие, их обессиление и всеобщее расслабление возвещали близкую их кончину. Взять их с собой в том положении, в котором они находились, значило бы очевидно привить заразу к остаткам армии».²¹

Контраст, который возникает при этом сопоставлении, очевиден, и едва ли Пушкин не имел его в виду, отсылая читателя к книге Бурьенна; по крайней мере, комментируя стихотворение, следует обратить внимание на эти подробности, способные пролить дополнительный свет на содержание «Героя» и обогатить его понимание.

* * *

Публикуя стихотворение «Герой», редакция журнала «Современник» сопроводила его примечанием, текст которого был предложен М. П. Погодиным в письме П. А. Вяземскому. В конце примечания сообщалось: «Разумеется, никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного *утешься*, 29 сентября, 1830, есть день прибытия государя императора в Москву во время холеры».²² Видимо, в 1837 году надо было уже «припоминать» читателям об обстоятельствах, в которых возникло стихотворение Пушкина; кроме того, напоминовение о приезде Николая I в Москву в 1830 году жестко привязывало «Героя» к этому событию и позволяло оценивать его как выражение якобы верноподданнических чувств поэта. Даже заключительная реплика Друга «Утешься...» в понимании Погодина прямо соотносилась с поступком царя, противопоставленным мнимому самоотвержению Наполеона, разоблаченному ссылкой на Бурьенна. Таким образом, содержание пушкинского стихотворения однозначно сводилось к возвышению русского царя. Не раз отмечалось, что Погодин надолго преподал понимание стихотворения,²³ и в навязанном им аспекте «Герой» нередко рассматривался даже тогда, когда исследователи в противовес этой версии включали его в круг произведений, связанных с разочарованием Пушкина в Николае I.²⁴ Постепенно, однако, возобладало иное понимание стихотворения, на первый план выдвигавшее его философско-историческое содержание. Здесь не место подробнее останавливаться на сложных мировоззренческих и художественных проблемах, встающих при анализе «Героя». Бесспорно, что, так сказать, «никлаевский» план реально в нем существует, входя составной частью в сложный и многозначный смысл стихотворения.

«Герой», таким образом, может быть включен в ряд поэтических откликов на приезд Николая I в холерную Москву. Сопоставление стихотворения с литературным фоном, на котором оно появляется, представляет поэтому несомненный интерес независимо от того, входили ли соответствующие произведения в поле зрения Пушкина. Будучи оторван в Болдине от литературной жизни столиц, поэт скорее всего мог познакомиться с некоторыми из них только позднее. Вопрос этот мало занимал исследователей; в сущности только два стихотворения, напечатанные в «Литературной газете» А. А. Дельвига, обратили на себя их внимание — анонимное «Утешитель» и «Царь-Отец» Н. К. (утозо)ва.²⁵ Ими, однако, круг стихотворений, вызванных приездом Николая I в Москву, не ограничивается; обращение только к газетной периодике 1830 года позволяет включить в этот ряд еще несколько произведений. Большинство из них носит откровенно верноподданнический характер. Правда, общественная реакция на поступок Николая I была безусловно положи-

тельной, и стихотворные отклики на его приезд в холерную Москву отражали это единодушное одобрение. Пушкин также высоко оценил это событие, и его реакция на «великодушное посещение государя», которое, по его мнению, «воодушевило Москву»,²⁶ не расходилась с общей оценкой: «Каков государь? молодец! того и гляди, что наших каторжников простит — дай бог ему здоровье».²⁷

И тем не менее «Герой» отнюдь не сливается с хором похвал, звучавших в стихотворениях других авторов. Пушкин не только отказывается от славословия царю, но не дает и прямой оценки его поступку, подчиняя ее решению других, более глубоких философских и этических проблем. Показательно и само обстоятельство появления стихотворения, напечатанного анонимно с строгим соблюдением секретности относительно его автора (в примечании «Современника» Погодин отмечал, что он «свято хранил до сих пор тайну»)²⁸. Предлагались различные объяснения анонимной публикации «Героя»; вернее всего, Пушкин опасался, что стихотворение, подобно стансам 1828 года «Друзьям», не будет допущено к печати Николаем I;²⁹ но существенно и соображение, высказанное в 1837 году Погодиным в его письме Вяземскому. Верный своему одностороннему истолкованию «Героя» («В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному царю»), Погодин объяснял, однако, стремление Пушкина скрыть свое имя тем, что тот не хотел «продираться со лъстецами».³⁰ Официозная реакция на события, представленная в многочисленных газетных откликах, в том числе и Погодина как составителя «Ведомости о состоянии города Москвы», была хорошо известна Пушкину. Более того, в «Герое» поэт в известной мере откликнулся на нее.³¹

Тем не менее стихотворение Пушкина глубоко отлично от выражения официальных чувств, что легко обнаруживается при обращении к стихотворениям поэтов, прямо воспевавших Николая. В качестве примера приведу стихотворение Трилуного «Утешитель», по заглавию совпадающее с анонимным стихотворением в «Литературной газете»:

Гостеприимная Столица!
 Когда с Востока гость-убийца
 Как хищный тать к тебе проник,
 Ты стихла, замерла как птица,
 Услыша соколиный зык;
 Так лицемерной тишиною
 Исполнен воздух пред грозю...
 Но ободришь! С гнезда Орел
 К тебе бесстрашно полетел;
 Надежда северной Державы!
 Пророчит много он добра:
 В нем повторится жизнь Петра.
 Не на пирах, среди забавы,
 Но в дни суровых непогод
 С Царем знакомится народ.³²

На приезд императора в Москву откликается в своем стихотворении живший в то время в Твери Ф. Н. Глинка:

Когда бедой карает Царь Небесный,
Наш Царь земной, опередив молву,
Куда спешит с *решимостью* чудесной? —
Все едут из *Москвы*, а Он — в *Москву*!!³³

Последний стих был процитирован в очерке, напечатанном в «Северной пчеле» («Письмо Москвича к приятелю в Санктпетербург о холере»): «Моему ли слабому перу описывать, выхвалять великодушную черту сию царя русского? Она впишется в историю его и отечества златыми буквами. Поэт один сказал прекрасно: „Все едут из *Москвы* — а он в *Москву*!“»³⁴

Казенное славословие облакалось и в традиционные одические формы, вернее, обветшалые словесные штампы, как, например, в опусе Александра Волюкова «Стихи на прибытие государя императора в Санктпетербург, по возвращении его величества из *Москвы* 25 октября 1830 года»:

Какой восторг умы объемлет,
Что умиляет душу в нас,
Что слух наш с сладостию внемлет,
Что радует толико нас?

.....
Монарх, исполненный щедроты!
Твой каждый час, Твой каждый шаг,
Твои труды, Твои заботы
Устремлены для общих благ...³⁵

Из литературного фона «Героя» исследователями были выделены стихотворения, помещенные в «Литературной газете» 1830 года; помимо двух из них, отмеченных в литературе, в ней было помещено еще одно стихотворение — «Высокопреосвященному Филарету» И. И. Козлова, представляющее собой отклик на один из эпизодов пребывания Николая I в холерной Москве. Очевидец, давая описание первого дня присутствия царя в древней столице, повествует об этом так: «Государь в сопровождении князя Дмитрия Владимировича Голицына изволил ехать к Успенскому собору почти шагом среди теснившегося вокруг коляски народа... Перед южными дверями собора встретил государя преосвященный Филарет со святым крестом и водою и со всем старшим московским духовенством».³⁶ Мемуарист не упоминает о последовавшей затем приветственной речи, которую произнес, обращаясь к царю, московский митрополит. «Высокопреосвященнейший Филарет, — сообщалось в газетной корреспонденции, — при входе в собор встретил государя императора с животворящим крестом и святою водою и приветствовал приличной сему случаю речью».³⁷ Опубликованная тогда же речь Филарета «пред высочайшим шествием в большой Успенский собор» не только обратила на себя внимание Пушкина, но и сказались в его «Герое».³⁸ Именно эта речь и обстоятельства ее сопровождавшие легли в основу стихотворения Козлова:

Когда долг страшный, долг священный
Наш Царь так свято совершал,

А ты, наш Пастырь вдохновенный,
С крестом в руках Его встречал, —

Ему Небес благоволенья
Изрек ты именем Творца,
Пред Ним да жизнь и воскресенье
Текут и радуют сердца!

Да вновь дни светлые проглянут,
По вере пламенной даны;
И полумертвые восстанут,
Любовью Царской спасены.³⁹

Ощущение связи этого стихотворения с конкретным событием впоследствии было утрачено; в дореволюционных изданиях сочинений Козлова оно печаталось без пояснений; современный же комментатор остановился перед ним в недоумении, высказав совершенно невероятные предположения о реалиях, содержащихся в стихах Козлова. «Долг страшный. Вероятно, имеется в виду подавление Николаем I декабрьского восстания. *С крестом в руках его встречал*. Имеется в виду встреча Николая I, прибывшего в Москву для коронации 26 июля 1826 г. *Полумертвые восстанут*. Вероятно, имеются в виду сосланные в Сибирь декабристы».⁴⁰ Восстановление подлинных обстоятельств создания стихотворения Козлова и его связь с конкретным событием, о котором в нем говорится, позволяют внести соответствующие коррективы в комментарий к нему. В частности, второе четверостишие прямо соотносится с содержанием речи Филарета 29 сентября 1830 года и даже дословно повторяет ее формулировки: «Царь небесный провидит сию жертву сердца твоего, и милосердно хранит тебя, и долготерпеливо щадит нас. *С крестом сретает тебя, государь, да идет с тобою воскресение и жизнь*» (курсив мой. — Л. С.).⁴¹

Стихотворение Козлова «Высокопреосвященному Филарету» выделяется, конечно, на фоне других произведений, откликавшихся на приезд Николая I в холерную Москву; однако и оно может быть понято единственно как отклик на конкретное событие. Пушкинский же «Герой» отличается от всех других стихотворений, вызванных теми же обстоятельствами, именно своей неоднозначностью; и хотя автор был озабочен соотносительностью его с определенным событийным рядом, понимание стихотворения невозможно без учета и других, дополнительных смыслов, составляющих в конечном счете все его сложное и богатое содержание. Эпиграф «Что есть истина?» и помета «29 сентября 1830. Москва», открывающие и замыкающие его текст, оказываются двумя полюсами, сложное взаимодействие которых определяет единство конкретно-исторического и историко-философского смыслов. Но это уже другая тема.

Предложенные здесь наблюдения претендуют лишь на то, чтобы представить некоторый новый материал, учет которого при анализе стихотворения «Герой» может внести дополнительные штрихи в его интерпретацию. Стихотворение Пушкина несомненно не раз еще привлечет к себе внимание глубиной и сложностью

решаемых в нем художественных и мировоззренческих проблем; поэтому любое новое знание о нем может оказаться полезным и необходимым для дальнейшего исследования.

¹ См., например: *Краснов Г. В.* «Апокалипсическая песнь» А. С. Пушкина: (к спорам о стихотворении «Герой») // Проблемы пушкиноведения: Сб. научн. трудов. Л., 1975. С. 59—66; *Листов В. С.* Из творческой истории стихотворения «Герой» // Временник Пушкинской комиссии. 1981. Л., 1985. С. 136—146; *Михайлова Н. И.* К творческой истории стихотворения «Герой» // Болдинские чтения. Горький, 1987; *Mikkelsen G. E.* Puškin's «Geroj»: A Verse Dialogue on Truth // Slavic and East European Journal. 1974. Vol. 18. № 4. P. 367—372. Отмечу также посвященный «Герою» доклад О. С. Муравьевой (см.: Русская литература. 1989. № 4. С. 242—243).

² *Пушкин.* Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 3. Кн. 2. С. 1221. Автограф стихотворения см.: ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. № 918.

³ *Пушкин.* Полн. собр. соч. 1941. Т. 14. С. 121—122.

⁴ См.: *Телескоп.* 1831. № 1. С. 46—48; *Современник.* 1837. Т. 5. С. 143—146.

⁵ В дневнике М. П. Погодина (22 декабря 1830 года) говорится о досаде «на поправки Над(ежда) в герою», однако вне связи с упомянутым выше свиданием с Пушкиным. См.: *Пушкин в воспоминаниях современников:* В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 22.

⁶ Сличение текста «Героя» в «Телескопе» и «Современнике» обнаруживает и другие случаи возвращения к пушкинской пунктуации, хотя и здесь есть места с произвольными ее изменениями.

⁷ См.: *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 1. С. 253. Вопреки утверждению, что стихотворение печатается по рукописи, пунктуация академического издания во многом следует тексту «Телескопа».

⁸ *Грехнев В. А.* Болдинская лирика Пушкина: 1830 год. Горький, 1977. С. 99—100.

⁹ *Лотман Ю. М.* Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1981. С. 187.

¹⁰ Ср.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 3. С. 201; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1957. Т. 3. С. 200; *Пушкин А. С.* Стихотворения. Л., 1955. Т. 3. С. 571. (Библиотека поэта, большая серия).

¹¹ См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1977. Т. 3. С. 189.

¹² *Чернышев В. И.* Избр. труды: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 77. В последнее время важность решения проблем орфографии и пунктуации в текстах Пушкина была отмечена Ю. М. Лотманом. См. в кн.: Пушкинские чтения в Тарту: Тезисы научной конференции 13—14 ноября 1987 г. Таллинн, 1987. С. 89—95.

¹³ *Пушкин.* Сочинения / Изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Т. 3. С. 61.

¹⁴ *Современник.* 1837. Т. 5. С. 146.

¹⁵ См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1931. Т. 6: Путеводитель по Пушкину. С. 71—72.

¹⁶ *Mémoires de M. de Bourienne, ministre d'état; sur Napoléon, la directoire, le consulat, l'empire et la restauration.* A Paris, chez Ladvozat, libraire de S.A.R. le duc de Chartres, quai Voltaire et Palais-Royal. 1829. Tome second. Рассказ о судьбе зачумленных в Яффе см. на с. 256—264.

¹⁷ См.: *Громбах С. М.* Пушкин и медицина его времени. М., 1989. С. 200—201.

¹⁸ *Благод Д. Д.* Творческий путь Пушкина: (1826—1830). М., 1967. С. 503.

¹⁹ Цит. современный Пушкину русский перевод книги: Записки г. Бурьенна, государственного министра. О Наполеоне, директории, консульстве, империи и восстановлении Бурбонов / Перевел с фр. С. де Шаплет. СПб., 1834. Т. 1. Ч. 2. С. 238.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. С. 239—240.

²² *Современник.* 1837. Т. 5. С. 143.

²³ См.: *Городецкий Б. П.* Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 321; *Краснов Г. В.* Пушкин: Болдинские страницы. Горький, 1984. С. 45.

²⁴ См., например: *Кирпотин В. Я.* Наследие Пушкина и коммунизм // Кирпотин В. Вершины: Пушкин; Лермонтов; Некрасов. М., 1970. С. 45; *Мейлах Б. С. А. С.* Пушкин: Очерк жизни и творчества. М.; Л., 1949. С. 79—80.

²⁵ См.: *Пушкин.* Письма / Под ред. и с прим. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. Т. 2. С. 480—481. Ср.: Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово: 1827—1832. Л., 1927. С. 73—74 (комментарии Н. В. Измайлова и Б. Л. Модзалевского). Здесь же см. ссылку на мнение управляющего III Отделением М. Я. фон Фока, склонного приписать «прелестное стихотворение на императора» «Утешитель» перу Пушкина или Баратынского.

²⁶ *Пушкин.* Полн. собр. соч. Т. 14. С. 134, 422.

²⁷ Там же. С. 122.

²⁸ *Современник.* 1837. Т. 5. С. 143.

²⁹ См.: *Бонди С. М.* Памятник // Бонди С. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978. С. 471.

³⁰ *Пушкин А. С.* Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. 2. С. 498.

³¹ См.: *Листов В. С.* Указ. соч. С. 144; *Михайлова Н. И.* Указ. соч. С. 218—219.

³² Санктпетербургские ведомости. 1830. 24 окт. № 128. С. 827.

³³ Там же. 13 окт. № 123. С. 795.

³⁴ Северная пчела. 1830. 27 ноября. № 142.

³⁵ Русский инвалид. 1830. 28 окт. № 274.

³⁶ Воспоминания о холере в Москве, в 1830 году, архитекторского помощника (В. А.) Бокарева // Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Шуккина. М., 1902. Ч. 10. С. 124.

³⁷ Московские ведомости. 1830. 8 окт. № 81. С. 3592.

³⁸ См.: Михайлова Н. И. Указ. соч. С. 218—220.

³⁹ Лит. газета. 1830. Т. 2. 17 ноября. № 65. С. 233; Козлов И. И. Полн. собр. стихотв. Л., 1960. С. 182. (Библиотека поэта, большая серия).

⁴⁰ Там же. С. 464 (примечания И. Д. Гликмана).

⁴¹ Ведомость о состоянии города Москвы. 1830. 1 окт. № 9.

С. А. Фомичев

ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ

В год столетнего юбилея Пушкина В. С. Соловьев оценил стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» как «достойный и благородный „компромисс“ поэта с будущим народом». «Это стихотворение, — заметил он, — есть не поэтическое, а практическое (в хорошем смысле слова) *credo* Пушкина — непостыдное соглашение его с потомством. Для поэта главное в поэзии — она сама, но он не может отрицать и ее нравственной пользы; для „народа“ главное в поэзии — это нравственная польза, но ведь он ценит и ее прекрасную форму. Значит, нет надобности обращать эти два взгляда острием друг против друга, когда они могут сойтись в одной и той же, хотя и неодинаково обоснованной оценке:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа».¹

Предостережение оказалось нелишним. Спустя два десятилетия М. О. Гершензон обратил так «эти два взгляда острием друг против друга»: «Я сразу же выскажу мысль, чуждую всяких ученых соображений, внушенную единственно простым чтением пушкинских строк; я полагаю, что только так, и никак не иначе должен понять эти строки всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно.

Пушкин в четвертой строфе „Памятника“ говорит не от своего лица — напротив, он излагает чужое мнение, мнение о себе народа. Эта строфа не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит...

В „Памятнике“ точно различены: 1) подлинная слава — среди людей, понимающих поэзию, а таковы преимущественно поэты:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит;

и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава-известность:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...
Эта пошлая слава будет клеветою...

Я утверждаю, что лишь при таком понимании становится понятной пятая, последняя строфа „Памятника“, совершенно бессмысленная в традиционном истолковании... Ее смысл — смирение перед обидой».²

Само собой разумеется, подобное истолкование не могло не вызвать протеста. Нельзя не заметить, однако, что пушкинисты, опровергавшие трактовку М. О. Гершензона, вынуждены были всякий раз выходить за пределы текста самого стихотворения, проверять высказанное Пушкиным в «Памятнике» контекстом его общеэстетических взглядов, не допускающих, как вполне очевидно, надменного отвержения «мнения народного».³

И все же... Разве художественное произведение не самодостаточно? Ведь необходимость широкого контекста для вразумительного толкования смысла произведения рождает невольное сомнение в его совершенстве. Да и так ли обязательно для поэта в каждом своем стихотворении быть в согласии с самим собой? В конце концов и пушкинская муза, подобно некрасовской, могла в одночасье издать «неверный звук».

Прочтем, как и советовал М. О. Гершензон, стихотворение внимательно. Но прежде, чтобы понять текст непредвзято, постараемся обнаружить в нем точку зрения автора. *Точку зрения* — в самом прямом смысле этих слов.

Для выяснения ее первоначально обратимся к аналогичному пушкинскому тексту:

Он видит: окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяясь крылами
Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

Сначала здесь взгляд поэта фиксирует картину в целом, но затем членит ее, перемещаясь сверху вниз. Внешне это чисто пространственная вертикаль. На самом деле в ней — в данном случае, аллегорически — воплощено историческое время, свершение. Ведь Чесменская колонна, о которой идет речь, — это памятник победоносному сражению на море. Но причинная связь событий (вместе с пространственно-временной) предстает в этой строфе в необычном ракурсе, тоже по вертикали сверху вниз: победа («орел молодой») — бой («стрелы громовые») — возвратившееся в первоначальное, спокойное состояние море («валы... улеглись»).

В сущности тот же ход — из будущего в настоящее — предпринят и в стихотворении

«Памятник». Здесь вовсе нет «двух взглядов» (которые в произведении подозревали В. С. Соловьев и М. О. Гершензон), он один, но оттуда — сюда. Следствие утверждено изначально, и лишь потом излагаются причины (на границах первых четырех строф в подтексте — «ибо», перед последней строфой — «и потому»):

Exegi monumentum.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяка сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

Для того чтобы восстановить более привычную, прямую хронологически-причинную перспективу, стихотворение можно прочитать в обратном порядке строф. Но стоит проделать этот опыт, как станет понятно, что в таком случае оно превратилось бы во вполне логичное самооправдание. Пафос же стихотворения — в гордом самоутверждении: «Ты сам свой высший суд».

Вот теперь, прочитав непредвзято пушкинское стихотворение, мы можем обратиться к его культурному контексту.

Собственно, обратная временная перспектива была намечена уже в горацянском «Памятнике» и более строго выдержана в подражании Г. Р. Державина, отступившего, однако, от нее в последней строфе. Пушкин же последователен до конца.

Стихотворение Пушкина ориентировано напрямую на державинский «Памятник». Понятно почему. Прошло лишь два десятилетия со времени смерти самого крупного русского поэта прошлого века, и оказалось, что скорее он был прав в последнем своем стихотворении:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей;
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы⁴...

Первые строфы пушкинского «Памятника» развиты на оппозиции именно к этим строкам. Отсюда — «памятник нерукотворный» (коли «дела людей» тленны), «душа в заветной лире» и само «Нет», с которого начинается второе четверостишие.

Некоторые исследователи в словах «памятник нерукотворный» видели религиозный смысл. Все возражения против такого толкования сводятся к наблюдению, сделанному впервые И. Л. Фейнбергом, который указал на «Надпись к камню, назначенному для подножия статуи Петра Великого» (1770) В. Рубана, где имеется строка «Нерукотворная здесь Российская гора».⁵ Между тем сакральный смысл слова сохранился несомненно и у Рубана: природа для него «нерукотворна», так как сотворена не промыслом человеческим, а помыслом божим.

Для объяснения «Памятника» незачем обращаться к Рубану, так как Пушкину, конечно, это слово было известно не из «Надписи», а непосредственно из Нового завета: «Мы слышали, как он говорил: Я разрушу храм сей рукотворный, и через три дня воздвигну другой нерукотворный» (Марк, 14, 58); «Ибо знаем, когда земный наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный» (2-е Посл. к коринф., 5, 1).

Но воспользовавшись высоким библеизмом, Пушкин переосмысляет его семантику, каждой новой строфой его конкретизируя, все более заземляя: «душа в заветной лире» — «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой» — «чувства добрые я лирой пробуждал». Бессмертие свое поэт утверждает в миру, в земных людях: «памятник нерукотворный» неотделим от «народной тропы».

Известно недоуменное восклицание П. А. Вяземского: «А чем же писал он стихи свои, как не руками? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта».⁶ С другой стороны, фразеологизм «памятник нерукотворный», утвердившийся в русском языке, трактуется как «благодарная память о чьих-либо делах».⁷ Оба толкования идут мимо смысла пушкинского стихотворения. В стихотворении утверждается личное бессмертие,⁸ та духовная ипостась личности, которая выражена в слове. Его фиксация на бумаге в данном случае несущественна, существенно иное — слово это воспринимается как откровение ближними и дальними. Примерно о том же говорил А. С. Грибоедов: «В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне выраженные мысли и чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, — но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для того с обеих сторон требуется: с одной — дар, искусство; с другой — восприимчивость, внимание».⁹ Не просто к «благодарной памяти» взыскует Пушкин, а к памяти-действию, к постоянному возрождению своих чувств и мыслей в каждом новом поколении.

В стихотворении Пушкина по сути дела воссоздана модель культуры. Культура немислима без памяти, но памяти особого рода, не окостеневшей, а живой, вектор которой направлен не в прошлое, а в будущее. Это воспоминание о будущем, памятник нерукотворный.

С обратной временной перспективой, как нам кажется, связана и еще одна реалья стихотворения: «Александрийский столп». Готовя текст произведения для посмертного издания, В. А. Жуковский изменил последнюю строку первого четверостишия, напечатав: «Наполеонова столпа», чтобы не возбуждать опасных ассоциаций с Александровской колонной, установленной в столице сравнительно недавно, в 1834 году. Опасение это было, конечно, обоснованным. Понятно и то, почему в советском пушкиноведении укрепилось толкование, связанное с памятником царю, несмотря на давно отмеченную лингвистическую некорректность такого толкования.¹⁰ Свободолюбивое значение пушкинской поэзии принято было оценивать преимущественно в политизированных, а не общечеловеческих категориях. В такой трактовке и «милость к падшим» соотносилась лишь с декабристами.

Если принять во внимание, что в первой строфе имеется в виду самое дальнее будущее время, то масштаб сопоставления «памятника нерукотворного» с Александровской колонной окажется несоразмерно заниженным. Нет, речь здесь может идти только о самом грандиозном сооружении рук человеческих,¹¹ о культурной реалии всемирного значения, о которой Пушкин вспоминал в неоконченной повести «Мы проводили вечер на даче...»: «Темная, знойная ночь объемлет африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли, дома померкли. Дальний Фарос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовье спящей красавицы».

Возможно, воспоминание о маяке, Фаросе («Александрийском столпе») определило ночной колорит следующей строфы стихотворения («в подлунном мире»).

Что же касается строки «Жив будет хоть один пиит», то, кажется, мы также можем объяснить тот ассоциативный ход, который ее подготовил.

Известно, что летом 1836 года Пушкин работал над переводом «Слова о полку Игореве» и статьей о нем. Судя по сохранившимся материалам этой работы, его особенно интересовало наличествующее в этом произведении постоянное соперничество автора с «соловьем старого времени». О Бояне — вероятно, реаль-

ном русском поэте — стало известно лишь по этим воспоминаниям — опять же единственного из известных нам русских «пиитов» XII века. Эта ситуация в стихотворении Пушкина отбрасывается в далекое будущее.

Нет, конечно, никакого противоречия между второй и четвертой строфами стихотворения, если учесть огромную временную дистанцию между ними. В жестокий «нынешний» век, естественно, будет более понятен и необходим этический смысл поэзии. Но чувства добрые, возбужденные ею, в конце концов восторжествуют; ср. одним штрихом в третьей строфе намеченный — по контрасту с «нынешним» — следующий исторический период: «ныне дикой» — т. е. речь идет уже о времени просвещенном. Однако и тогда поэзия не отомрет — наоборот, отчетливо проявится ее высшая, эстетическая ценность.

¹ Соловьев В. С. Значение поэзии по стихотворениям Пушкина // Вестник Европы. 1899. № 12. С. 709—710.

² Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. Пг., 1919. С. 50—61.

³ См.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»: Проблемы его изучения. Л., 1967.

⁴ 26 ноября 1830 года Пушкин записал это стихотворение в альбом нижегородского приятеля Д. А. Остафьева. См.: Рукою Пушкина: Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 667—668.

⁵ Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. М., 1981. С. 233. Здесь же (С. 240) см. перечень работ, в которых доказывается, что в основе «Памятника» лежит религиозная идея.

⁶ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1855. Т. 8. С. 625.

⁷ Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. М., 1955. С. 625.

⁸ Это резко заявлено в самом начале стихотворения: «Я памятник себе / воздвиг нерукотворный» (шестишопные строки здесь имеют обязательную цезуру после третьей стопы).

⁹ Грибоедов А. С. Соч. М., 1988. С. 371.

¹⁰ Александрийский — такое притяжательное прилагательное могло быть образовано от слова «Александрия» и никак не от слова «Александр».

¹¹ Это самое высокое из известных в пушкинское время сооружений (около 180 метров).

Б. Н. Тихомиров

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (СОНЯ МАРМЕЛАДОВА И ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ)

Как хорошо известно исследователям творческой истории «Преступления и наказания», в процессе публикации романа в «Русском вестнике» М. Н. Каткова имели место неоднократные конфликты между Достоевским и редакцией журнала, самый значительный из которых — в июле 1860 года — был связан с главой IV четвертой части — эпизодом первого посещения Раскольниковым Сони Мармеладовой. Руководители «Русского вестника» отказались печатать главу в предложенной редакции из «опасения за нравственность», увидев в ней «следы нигилизма», — как писал об этом инциденте сам Достоевский одному из своих корреспондентов, — и потребовали от писателя существенной переработки написанного. Достоевский вынужден был это сделать, хотя считал, что «был прав, — ничего не было против нравственности и даже чрезмерно напротив» (282, 166).¹ Злоключения текста главы, однако, на этом не закончились: как следует из письма Каткова, которым редактор «Русского вестника» сопроводил посылаемую Достоевскому «для просмотра» корректуру нового варианта главы, он не был полностью удовлетворен сделанной писателем переработкой и «позволил себе изменить некоторые из приписанных... разъяснительных строк относительно поведения и разговора Сони». Завершая письмо, Катков уверял Достоевского, что «ни одна существенная черта художественного изображения не пострадала. Устранение резонирующего места придало ему только большую своеобразность».²

К сожалению, до нас не дошли ни рукопись первоначальной редакции главы, вызвавшей неудовольствие руководителей «Русского вестника», ни корректура нового варианта с правкой Каткова и пометами Достоевского; и судить о характере изменений, сделанных писателем при переработке, можно лишь на основании косвенных свидетельств: писем Достоевского, Каткова и т. п. При таких обстоятельствах целесообразно обратиться к черновым рабочим тетрадям писателя, содержащим подготовительные материалы к роману, с тем чтобы выявить «линию» Сонечки, как она разрабатывалась в первоначальных планах, и соотнести ее с образом героини в окончательном тексте романа. Ведь именно образ Сони, как можно судить по переписке Достоевского, в первую очередь вызвал возражения. Такое рассмотрение, с одной стороны, должно в определенной степени прояснить мотивы конфликта Достоевского с редакцией «Русского вестника» в данном конкретном случае, а с другой — имеет более общее значение в аспекте изучения творческой истории «Преступления и наказания» в целом

и образа одной из главных героинь — Сони Мармеладовой, в частности.

Сразу же надо подчеркнуть, что более или менее связанных черновых записей, непосредственно относящихся к рассматриваемой главе, в распоряжении исследователей нет, поэтому предметом анализа будет именно «тенденция» образа Сони в подготовительных материалах и степень реализации этой «тенденции» в печатной редакции романа.

Пожалуй, главное, принципиальное различие образа Сонечки в черновых материалах и в окончательном тексте заключается в том, что начиная уже с декабрьских (1865) набросков (т. е. со времени, когда Достоевский вплотную приступил к работе над печатной редакцией) образ Сони Мармеладовой рисовался в творческом сознании писателя не только как обладающий большой идейной нагрузкой, но и как образ *героя-идеолога*. Другими словами, в подготовительных материалах Соня предстает не только как *воплощение*, но и как *выразитель* одной из важнейших идей романа. Поясню этот тезис сопоставлением двух следующих черновых набросков:

ИДЕЯ РОМАНА

I

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ, В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ

Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты... Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.

Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание... приобретается опытом pro и contra, которое нужно переташить на себе» (7, 154—155).

Приведенный набросок и по характеру записи, и по сути представляет собой непосредственно-авторское выражение одной из важнейших идей всего романа (на определенной стадии его написания), сформулированное писателем «для себя». Но вот в заготовке диалога между Раскольниковым и Соней, помеченной 7 декабря (1865) и хронологически близкой приведенной записи, сходная во многом мысль высказана уже не автором, а звучит от лица героини: «Это неправда-с, — говорит Соня. — А в комфорте-то, в богатстве вы бы, может, ничего и не увидели из бедствий людских, Бог, кого очень любит и на кого много надеется, посылает тому много несчастий, чтобы он по себе узнал и больше увидел, потому в несчастии больше в людях видно горя, чем в счастье... С горем-то (иной раз) больше счастья» (7, 150). Мысль

оригинальная и глубокая. И каким сложным, разветвленным, сопрягающим причины, условия и цели предложением эта мысль выражена! Надо признать справедливым замечание Г. Ф. Коган, указавшей на связь данного наброска с Книгой Иова.³ Но сразу же отметим, что прямо из библейского текста эта мысль во всем своем своеобразии не извлекается и непосредственно не выводится. Перед нами религиозно-этическое построение самой героини. И этот пример далеко не единственный в подготовительных материалах, он лишь наиболее ярко иллюстрирует наш тезис о том, что в черновых набросках (причем в период работы над печатной редакцией) Соня Мармеладова предстает как герой-идеолог, обладающий не только специфическим мироотношением, но и продуманным, оформленным мировоззрением.

С другой стороны, можно указать ряд черновых набросков, намечающих такие сюжетные положения, в которых Соня проявляет себя в существенно ином качестве, чем в окончательном тексте романа: «Споры (у Раскольниковы с Соней. — Б. Т.) о настоящей гордости» (7, 137).⁴ «Иногда разговоры (Свидригайлова. — Б. Т.) с Соней о хороших идеалах» (7, 164) и т. п.

Ничего подобного нет в опубликованной редакции «Преступления и наказания», нет принципиально. В романе Сонечка терзается и негодует, ужасается и любит, наконец, призывает, но не философствует, не рассуждает, не спорит, как в черновиках. То есть она, конечно же, спорит с Раскольниковым, возражает ему, и очень страстно, но, так сказать, всем существом своим, эмоционально, а ни в коем случае не рассудочно, не «вербально», не выставляя против слов слова же, против идей — идеи, против отвлеченных построений — отвлеченные построения. В черновиках же намечено противоборство героев именно в идеологической плоскости: «Его идея: взять во власть это общество. . . Она ведет ему напротив» (7, 155). Правда, и в окончательном тексте Соня читает Раскольникову евангельскую притчу о воскрешении Лазаря — свой символ веры, но, как уведомлял Достоевский руководителей «Русского вестника», именно здесь первоначальный вариант претерпел существенные изменения: «чтению Евангелия придан другой колорит» (282, 164).

В романе Соня воздевает на Раскольникова больше взглядом, жестом, прикосновением, нежели словом. «Самое глубинное зерно в душе Раскольникова Соня нашла не разумом, не в словах его, которых она большей частью не понимает, а в последних тайниках, чувством, любовью».⁵ — справедливо пишет В. Я. Кирпотин. И так же, чувством, любовью, а не рассудочным словом отвечает Сонечка Раскольникову в романе, открывая тем самым ему его самого с новой, не знаемой им прежде стороны, а вовсе не переубеждая его.

Буквально за полчаса до явки с повинной, признаваясь себе, что он не видит в предстоящем «донесении на себя» смысла, Раскольников восклицает: «Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один

и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! не было бы всего этого!» (6, 401. Курсив Достоевского. — Б. Т.). Острое ощущение своей нерасторжимой связи с людьми, мучительной, необоримой, воспринимаемой героем чуть ли не как проклятие, — вот одна из главных причин его признания. И хотя это восклицание вырывается у героя после разговора с сестрой, один из важнейших истоков этой кульминации — в эпизоде их предшествующей встречи с Сонечкой, в ее безмолвном прикосновении. (Недаром в восклицании Раскольникова появляется форма множественного числа: «Но зачем же они сами меня так любят. . .»).

Эти два эпизода (последняя встреча с Соней и отчаянное восклицание Раскольникова), бесспорно, находятся в связи друг с другом: второй подготовлен первым, первый прослушивается во втором: «После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением; даже странно было: как? ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в руке! Это уж была какая-то бесконечность собственного уничтожения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он бы почел себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один» (6, 337). Не надо, конечно, придавать решающее значение именно этому эпизоду, этому Сониному жесту, этому прикосновению, но оно, это прикосновение, как в фокус, собрало и высветило в сознании героя главное его переживание «в последнее время» (хотя понимает и оценивает этот Сонин жест Раскольников еще весьма превратно). Знаменательно, что Достоевский не только не дает героине в этой сцене ни одного слова, но и специально подчеркивает, что «Соня ничего не говорила». Такова в романе доминанта отношения Сонечки к Раскольникову.

Вернемся теперь к главе IV четвертой части романа и прокомментируем слова Достоевского о том, что в новой редакции в этой сцене «чтению Евангелия придан другой колорит». Необходимо остановиться на следующей черновой записи:

«Ну, поцелуйте Евангелие, ну, поцелуйте, ну, прочтите!

(Лазарь, гряди вон!)

Это когда она убеждает его, т. е. прежде прощания.

Я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня» (7, 192).

По положению в третьей рабочей тетради Достоевского, по характеру окружающих записей можно с большой степенью уверенности говорить, что этот набросок один из позднейших, непосредственно предшествующий работе писателя над IV главой четвертой части. И тем более показательно, что в этом наброске Сонечка

предстает как страстный проповедник и интерпретатор Евангелия. «Возражения Каткова и Любимова были вызваны прежде всего тем, — справедливо предполагает Л. Д. Опульская, — что слова Евангелия Достоевский в этой сцене вложил в уста „падшей женщины“, сделав ее вдохновенной толковательницей учения Христа и наставницей героя на пути возрождения».⁶ Это предположение подтверждают наблюдения над текстом окончательной редакции, где инициатива обращения к Евангелию принадлежит уже Раскольникову, которому приходится даже преодолевать в этом сильное сопротивление Сонечки:

«— Где тут про Лазаря? — спросил он вдруг. Соня упорно глядела в землю и не отвечала. . .

— Зачем вам? Ведь вы не веруете? . . . — прошептала она тихо и как-то заикаясь.

— Читай! Я так хочу! — настаивал он. . . » (6, 249—250).

Следует подчеркнуть, что внутреннее чувство Сони осталось в этой сцене тем же: Раскольников «хорошо понимал, — читаем дальше в романе, — как тяжело было ей теперь выдавать и обличать *свое*» (курсив Достоевского. — Б. Т.), что «ей мучительно хотелось самой пропеть, несмотря на всю тоску и на все опасения» (6, 250). Но теперь Евангелие, притча о воскресении Лазаря из важнейшего аргумента в споре Сони с Раскольниковым превращается в ее «тайну» (см. там же), в то сокровенное, чье значение для Сонечки лишь угадывается героем. И к своей судьбе притчу о Лазаре открыто, вслух Соня здесь не применяет: «Все о воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза» (6, 251).

В новой редакции главы «все разделено, размежевано и ясно», — писал Достоевский Любимову (28, 164). Действительно, в подготовительных материалах евангельское начало во многом определяет не только содержание, но даже стиль Сониных речей: «А вы будьте кротки, а вы будьте смирны — и весь мир победите, нет сильнее меча кроме этого» (7, 188). В печатной редакции романа ничего подобного «от себя» героиня не говорит: «евангельское» теперь строго локализовано и не выходит за пределы читаемой Соней Раскольникову «вечной книги».

Но вот тут-то исследователь и сталкивается с парадоксальными законами художественного творчества. Вынужденный отказаться от своих первоначальных решений, перерабатывая главу по требованию редакции «Русского вестника», Достоевский в образе Сони Мармеладовой поднимается на несравненно большую художественную высоту, чем — определено здесь можно говорить лишь о подготовительных материалах — в ближайших к публикации черновых набросках. В печатном тексте Соня освобождается от чуждых ей идеологичности и дидактичности, становится героиней принципиально иного качества. Можно сказать, что теперь сам образ Сонечки, ее присутствие рядом с Раскольниковым оказывает на героя гораздо

более плодотворное воздействие, чем ее слово. Заслуга в этом, конечно же, не Каткова.

«Переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы» (28, 166), — жаловался в эти дни Достоевский в письме А. П. Милюкову; но дело, пожалуй, обстояло серьезнее: изменение доминанты образа Сони, характера ее взаимоотношений с главным героем, переработка ключевой главы романа не могли не сказаться на идейно-композиционном решении всего произведения в целом. Ведь в подготовительных материалах именно Соне Мармеладовой было предназначено высказать религиозно-философские идеи, занимающие столь важное место в художественном замысле «Преступления и наказания». И в высшей степени показательно, что в отдельном издании романа в 1867 году Достоевский не изменил (не считая, конечно, чисто стилистической правки), не убрал и не вставил в этой главе ни одного слова, ни одной реплики героев. Это обстоятельство также свидетельствует, что возвращение к первоначальному варианту главы оказалось уже невозможным.

Однако навряд ли новая художественная концепция образа Сони Мармеладовой и ее роли в романе сложилась у Достоевского сразу, во время переработки эпизода чтения Евангелия. Скорее всего, это был непростой и длительный процесс. Так, еще и в IV главе пятой части (сцена признания Соне), которая писалась в августе-сентябре 1866 года, Сонечка (особенно в журнальном варианте) настойчиво *убеждает* Раскольникова пойти покаяться, *доказывая*, что нельзя «одному с кровью жить»: «Ну, пришел бы ты ко мне, если б можно было одному с кровью жить? Вот уж и понадобился тебе человек, а как же без человека-то прожить!» (7, 289). Показательно, что при подготовке отдельного издания Достоевский в этой главе последовательно вычеркивает все подобные «резонирующие места» «относительно разговора и поведения Сони», теперь уже, естественно, без какого бы то ни было вмешательства Каткова: очевидно, в контексте завершенного романа они воспринимались писателем как рудиментарные и противоречащие его художественной воле.

Можно предположить, что решение окончательно освободить Сонечку от роли героя-идеолога и в связи с этим внести серьезные коррективы в идейно-композиционный замысел романа в целом сложилось у Достоевского к ноябрю 1866 года, когда после представленной ему Катковым «льготы на месяц» для написания «Игрока» писатель возобновляет работу над шестой частью «Преступления и наказания». В этом отношении характерно, в частности, что во всей шестой части, равно как и в Эпизоде, находим лишь *одну* обращенную к Раскольникову реплику Сони: «Перекрестись, помолись хоть раз», — просит она его за четверть часа перед признанием (6, 404). И вместе с тем воздействие Сонечки на Раскольникова в последней части не ослабевает, а наоборот — усиливается, но, как было показано выше, теперь это воздействие взгляда, жеста,

прикосновения, а не проповеди, не идейного контрпостроения.

Вполне определенно об осознанном отказе писателя от первоначального замысла образа Сони Мармеладовой позволяет говорить Эпилог романа, в котором Достоевский однажды как бы воскрешает черновой вариант, намечает, так сказать — «пунктиром», близкий к подготовительным материалам образ героини, но делает это для контраста, чтобы тут же его и отвергнуть: «В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу» (6, 422). Перед нами своеобразная «эпитафия» первоначальному замыслу, и она позволяет говорить, что, завершая роман, Достоевский вполне определенно осознавал несоответствие раннего варианта образа Сонечки характеру сложившихся взаимоотношений своих главных героев. Недаром в Эпиллоге Раскольников раздражает сама мысль, что Соня будет надоедать ему религией, а она ведет себя вопреки его ожиданиям. В шестой части и Эпиллоге писатель уже не то чтобы приглушает и ослабляет первоначальную тенденцию, а вполне сознательно строит образ героини и ее взаимоотношения с Раскольниковым на существенно иных основаниях.

Однако предназначенное в подготовительных материалах для Сони Мармеладовой, столь важное для идейного замысла всего произведения и дорогое для самого Достоевского «слово» не могло уйти из романа, и оно нашло в него иной путь: конечно же, претерпев определенные изменения, но в главном сохранив свою принципиальную установку, Сонино «слово» перешло в шестой части романа к... Порфирию Петровичу, во многом существенно перестроив его образ.

Исследователи неоднократно указывали на своеобразии третьей встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем. Необычность высказываний Порфирия, его непохожесть на самого себя, как он уже проявился в романе, в последнее время стали предметом пристального внимания в работах советских ученых. Подробно сцену третьей встречи Раскольникова с Порфирием рассмотрел Ю. Ф. Карякин. И хотя с его окончательными выводами трудно согласиться, исходное положение Карякина: «неожиданность самая невероятная: Порфирий словно переродился»⁷ — в полной мере соответствует действительности.

Отношение Порфирия к Раскольникову многослойно и противоречиво, его невозможно свести к одному какому-нибудь пункту, но в аспекте нашего исследования важно подчеркнуть следующее: неожиданность проявления Порфирия в сцене их третьей встречи во многом (хотя и не исключительно) состоит в том, что в его речах явственно начинает звучать Сонина тема. Некоторые исследователи романа уже указывали на определенную близость

функций Сони и Порфирия Петровича (всегда имея в виду Порфирия третьей встречи). «Чтение Соней главы из Евангелия о воскрешении Лазаря — это конечный прообраз судьбы Раскольникова, — пишет Н. М. Чирков. — Это главная идея романа — мысль о конечном духовном возрождении героя. Но в то же время это и та мысль, которую формулирует Порфирий Петрович в последнем свидании с Раскольниковым».⁸ Одна из задач настоящего исследования и заключается в том, чтобы показать, в чем состоит эта близость, и объяснить ее, все-таки достаточно неожиданную, в плоскости творческой истории произведения.

Первое, что бросается в глаза: Порфирий Петрович выступает в этой сцене как апологет страдания. Он как бы подхватывает Сонино: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо» (6, 323), вторит ей: «Что ж, страдание тоже дело хорошее. Пострадайте» (6, 351).

В романе ответ Сони на раскольниковский вопрос: «что делать?» — это непосредственная реакция, чуждая какой бы то ни было умозрительности; однако в черновиках призыв героини к страданию вводился в специфический религиозно-философский контекст: «В красоту русского элемента верь (Соня). Русский народ всегда, как Христос, страдал, говорит Соня» (7, 134). И Порфирий в разговоре с Раскольниковым, предлагает ему избрать путь страдания, также апеллирует к опыту народной жизни — к Миколке, старцу, у которого Миколка был «под духовным началом», к бегунам и т. п.: «Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них „пострадать“? Это не то чтобы за кого-нибудь, а так просто „пострадать надо“, страдание, значит, принять... Что, не допускаете, что ли, чтоб из такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь» (6, 348). «Страдание, Родион Романович, великая вещь... не смейтесь над этим, в страдании есть идея, Миколка — то прав» (6, 352).

Но Миколка (как и Сонечка в романе) — персонаж, воплощающий идею страдания; Порфирий же в сцене третьей встречи выступает как *идеолог* страдания. Однако эта роль, роль религиозного проповедника, как уже говорилось, первоначально предназначалась Соне. Таким образом, Порфирию Петровичу передоверено в романе высказать то, что согласно подготовительным материалам должна была убежденно отстаивать Соня Мармеладова.

Причем важно подчеркнуть, что в романе Сонечка, призывая Раскольникова к страданию, по существу, лишь мучительно беспокоится о *возвращении* отрезавшего себя убийством от мира героя *назад*: к людям, к Богу, к жизни; о восстановлении, так сказать *status quo* не больше: «Скажи всем, вслух: „Я убил!“ Тогда Бог *опять* тебе жизни пошлет» (6, 322). В черновиках дело обстояло иначе; являясь здесь Сониным символом веры, страдание интерпретируется ею гораздо более широко и универсально: «Бог, кого очень любит и *на кого много надеется*, посылает тому много несчастий, чтоб он по себе узнал и *больше*

увидел...» (7, 150). Как герой-идеолог, как мыслитель Сонечка в этом ключевом для первоначального замысла ее образа наброске встает вровень с автором, который чуть раньше в заметке «для себя» писал о Раскольникове: «NB. С самого этого преступления начинается его *нравственное развитие*, возможность таких вопросов, которых прежде бы не было... без этого преступления он бы не обрел в себе *таких* (Подчеркнуто Достоевским. — Б. Т.) вопросов, желаний, чувств, потребностей, стремлений и развития» (7, 140). Конечно же, дело здесь, по Достоевскому, не в преступлении как таковом, а в сопряженном с преступлением страдании, которое в этой этической системе рассматривается уже не столько как искупление и необходимое условие восстановления разрушенного единства с людьми, но главным образом — как основание для нравственного совершенствования человека. На страдании же зиждется и здание народной нравственности: «Русский народ всегда, как Христос, страдал, говорит Соня» (7, 134).

И именно в этом, более широком смысле надо понимать слова Порфирия о том, что «в страдании есть идея» (6, 352). Недаром он обращается за примером к Миколке, который *не совершил никакого преступления*, и объясняет, «что значит у иных из них (Людей из народа. — Б. Т.) „пострадать“... Это не то чтобы за кого-нибудь, а так просто „пострадать надо“» (6, 348). Таким образом, проповедь Порфирия в сцене их третьей встречи с Раскольниковым, его апология страдания оказывается гораздо ближе к черновым наброскам образа Сони, чем призыв самой героини в окончательной редакции: «Страдание принять и искупить себя им, вот что надо» (6, 323).

И еще одно, может быть, самое важное. На обороте листа, на котором Достоевский записывает мысль о том, что преступление явилось настолько сильным потрясением героя, что с него «начинается его нравственное развитие», — дана следующая характеристика Сони и ее роли в романе: «Роман начинается у него в последней степени унижения и *отчаяния* с Мармеладовой. Спор у него с Мармеладовой. Та говорит: покайтесь. *Перспективы новой жизни* и любви ему показывает... Тот предает себя наконец, *побежденный*» (7, 138).

В контексте окружающих записей «перспективы новой жизни», которые показывает Раскольникову Сонечка, скорее всего надо понимать не столько как возможность восстановления разрушенных связей с миром, но — как новую фазу в нравственном развитии героя, как «великий будущий подвиг», о котором говорится в Эпиллоге романа, где на «больных и бледных лицах» героев сняет «заря обновленного будущего, полного воскресения в *новую жизнь*»: Раскольников «даже не знал того, что *новая жизнь* не даром же ему дается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее *великим будущим подвигом*» (6, 422).

Понятая таким образом черновая запись опять напрямую ведет к Порфирию Петровичу,

пафос которого в сцене третьей встречи буквально в том и состоит, что он «перспективы новой жизни» Раскольникову показывает. Опять как бы подхватывая и даже усиливая черновую заготовку реплики Сони: «А я знаю, что Бог вас найдет» (7, 188), Порфирий убеждает Раскольникова: «Почем вы знаете: может, вас Бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсил?» (6, 351).

«— Да вы-то кто такой?» — кричит в ответ на эти слова Порфирия Раскольников. Порфирий Петрович отвечает так: «Кто я? Я поконченный человек, больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кой-что и знающий, но уж совершенно поконченный. *А вы — другая статья: вам Бог жизнь приготовил...*» (6, 352). Эта фраза Порфирия, пожалуй, не уступит по своей значительности Сониному прикосновению к плечу Раскольникова. И это говорит судебный следователь убийце двух женщин! Как тут опять не вспомнить Сонино рассуждение в черновиках: «Бог, кого очень любит и на кого много надеется...». Показательно, однако, что в отличие от *жеста* Сони в романе фраза Порфирия проходит мимо Раскольникова; и Порфирий уходит от него «как-то согнувшись и как бы избегая смотреть на Раскольникова» (6, 353). Это тем более замечательно, что позиция Порфирия здесь близка авторской точке зрения на героя.

Но это-то и помогает вскрыть глубинный смысл эволюции первоначального замысла Достоевского, насколько об этом позволяет судить рассматриваемый материал. В главном идейно-композиционной перестройка романа в процессе его воплощения состоит вовсе не в том, что «слово», которое согласно ранним планам должна была высказать Соня, писатель передоверяет произнести Порфирию Петровичу; даже не в том, что он освобождает Сонечку от чуждых ей функций героя-идеолога (хотя это очень важно). Суть дела в другом: Достоевский, видимо, отказывается от самой мысли о возможности воскрешения героя через «слово». По крайней мере, в первую очередь через «слово».

Фиаско Порфирия в этой сцене — это тоже своеобразная «эпитафия» раннему замыслу; внутренний смысл сцены — в преодолении самим Достоевским своих первоначальных позиций. Как Сонечка в раннем черновом наброске, Порфирий здесь и спорит с находящимся «в последней степени... отчаяния» Раскольниковым и, действительно, «перспективы новой жизни» ему «показывает». Но вот что в результате «тот предает себя наконец, *побежденный*» (7, 138), из этого уже не следует. Воскрешение героя мыслится теперь Достоевским уже далеко не так прямолинейно и однозначно. И хотя в конечном счете Порфирий тоже вносит свою лепту в дело воскрешения Раскольникова, главная роль в этом принадлежит не идеологическому оппоненту героя.

Обращение к черновым записям, связанным с работой Достоевского над образом Порфирия Петровича, также, в свою очередь, подкрепляет высказанные выше соображения. Как известно, в первоначальных замыслах не было места для следователя, изобличающего «теоретического преступника». Больше того, согласно «программе», изложенной в сентябрьском (1865) письме Каткову, герою — «совершенно случайным образом — удастся совершить преступление и скоро, и удачно. Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы, никаких на него подозрений нет и не может быть» (28₂, 137). Однако уже в записи от 14 октября 1865 года намечается «эпизод, что его на основании разговора с Заметовым, посещения в тот же вечер квартиры убитых, выдачи вдове Мармеладовой денег, неосторожных разговоров и проч. — преследует судебный следователь. Допрос. Он гордо и совершенно свободно выпутывается из дела» (7, 90). Ко времени начала работы над окончательной редакцией задуманный «эпизод» разрастается в самостоятельную интригу: «На него за этот день и потом — подозрения. Следователь, снимающий показания, гордые его ответы. (В преследовании его и вывертывании *новый* интерес)» (7, 132). Одновременно следователь становится оппонентом Раскольникова в идеологических спорах, которые ведутся на вечеринке у Разумихина (7, 93; 142 и др.). В таком ключе и разрабатывается образ Порфирия Петровича во второй и большей части третьей тетради с подготовительными материалами.

В сюжетном отношении во все время работы над первыми частями окончательной редакции «линия» Порфирия Петровича представлялась писателю еще очень и очень смутно. Так, уже отправив в редакцию «Русского вестника» вторую часть романа и приступая к работе над третьей, в последних главах которой Раскольников впервые встречается с Порфирием, Достоевский еще не имеет намерения дать три встречи преступника со следователем — гениальный идейно-психологический «каскад», где в каждом новом эпизоде Порфирий все глубже и глубже проникает в «незавершенную и нерешенную душу Раскольникова» (Бахтин). Уличить и опровергнуть «теоретического преступника» — главная задача Порфирия на этом этапе. Вот, к примеру, один из планов этого времени, намечающий перспективу взаимоотношений Раскольникова со следователем:

«Порядок такой:

1) Сначала Порфирий допрашивает о пустяках.

2) Затем донос мещанина. *Порфирий арестует.*

3) Он (Раскольников. — Б. Т.) *под арестом...*

4) Мещанин (Так. — Б. Т.) показывает на себя. Он изучил обстоятельства. Сначала путается, но потом поправляется.

5) Между тем за Раскольникова хлопочут. *Его выпускают из-под следствия»* (7, 175).

В интересующем нас отношении особенно важны записи на страницах 127—130 третьей тетради, где чередуются наброски как к IV (посещение Сони), так и к V (вторая встреча с Порфирием) главам четвертой части романа (7, 192—194). Соня на этих страницах наиболее активна в пропаганде и толковании Евангелия (ряд этих записей цитировался выше); Порфирий же пока целиком озабочен лишь уличением Раскольникова: «Работник признается. — Но мещанин показаний не дает. . . Порфирий мещанину *в конце романа* (! — Б. Т.): Зачем ты не являлся. Ведь это улика, я б его тогда посадил. . .» (7, 193).

Герои в этих набросках еще замкнуты каждый в своей теме: мостики от Сони к Порфирию еще не переброшены. Таким образом, вплоть до осенних (1866) набросков к шестой части в черновиках нет ни одного намека на возможность превращения Порфирия в проповедника страдания, открывающего Раскольникову «перспективы новой жизни». И лишь на странице 137, среди записей, само положение которых в рабочей тетради указывает на их позднейшее происхождение, впервые и единственный раз читаем: «Порфирий, ему, у него. Знаете ли вы это слово: *пострадать*» (7, 199. Подчеркнуто Достоевским. — Б. Т.).

Все эти наблюдения над творческой историей образа Порфирия Петровича, по необходимости отрывочные, подкрепляют наш вывод: в сцене третьей встречи с Раскольниковым Порфирий отчасти выполняет миссию, которую по первоначальному плану писателя должна была выполнять в романе Соня Мармеладова. Он высказывает одну из важнейших для автора религиозно-философских идей произведения. (Сразу же оговорюсь, что эта «одна из идей» входит в сложное взаимодействие с иными, иногда противоположно направленными идеями, и это взаимодействие рождает идейное содержание уже более высокого уровня).

Может показаться, что «слово» Сони Мармеладовой передается Порфирию Петровичу чисто механически, в противоречии с художественной логикой его образа. «Ошеломляешься этим неожиданным контрастом, — пишет Ю. Ф. Карякин о непохожести Порфирия третьей встречи на Порфирия предшествующих частей. — Не хочешь, не можешь никак поверить в возможность такого перерождения»⁹. На самом деле это не так: к третьей встрече с Раскольниковым Порфирий внутренне готов выполнить эту миссию.

Среди персонажей романа, окружающих Раскольникова, Порфирий Петрович занимает особое место. Он единственный начинает знакомство с героем заочно, с его статьи, с его теории разделения людей на два разряда и лишь затем, постепенно, исследуя обстоятельства дела, в процессе встреч и бесед с Раскольниковым познает его натуру, постигает, как он сам говорит, его «великое сердце». Соня же, напротив, сначала открывает для себя сердце героя и лишь потом узнает об убийстве и теории.

В сцене третьей встречи Порфирий начинает с того, что делает акцент на «основных свойствах... характера и сердца» Раскольникова, «которые, — говорит он, — я лущу себя надеждой, что отчасти постиг-с (6, 344). «Познав вас, — продолжает Порфирий, — почувствовал к вам привязанность» (Там же). Общение с героем оказалось для Порфирия цепью открытий — открытий характера и сердца Раскольникова. Это началось уже с первой их встречи, когда, после разбора раскольниковской статьи, Порфирий в удивлении восклицает: «Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?.. И-и-и в Бога веруете?» (6, 201). Это удивление и есть начало той цепи открытий, которые в финале позволяют Порфирию заявить Раскольникову: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, — если только веру иль Бога найдет» (6, 351). И еще: «А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения струсили?.. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь... Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (6, 351—352).

Сейчас трудно предположить, каким предстал бы перед читателем Порфирий Петрович в финале романа, не «привей» ему Достоевский религиозно-этическое «слово» Сони Мармеладовой, но безусловно одно: внутренней логикой

развития образа на протяжении всего романа Порфирий Петрович оказался подготовленным к тому, чтобы стать выразителем этих столь важных для замысла «Преступления и наказания» идей.

¹ Все тексты Достоевского, в том числе черновые материалы и письма, цит. по: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972—1988. Т. 1—30, с указанием тома и страницы.

² Цит. по: *Гроссман Л. П.* Достоевский. М., 1962. С. 367.

³ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 410.

⁴ Курсив везде, кроме специально оговоренных случаев, принадлежит автору статьи.

⁵ *Кирпотин В. Я.* Избранные работы: В 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 173.

⁶ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 326.

⁷ *Карякин Ю. Ф.* Человек в человеке (Образ пристава следственных дел в «Преступлении и наказании») // Вопросы литературы. 1971. № 7. С. 82.

⁸ *Чирков Н. М.* О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. М., 1967. С. 107.

⁹ *Карякин Ю. Ф.* Указ. соч. С. 83.

ИСТОРИЯ ДВУХ ПИСЕМ И. А. БУНИНА

К Г. Т. ШЕМЕТИЛЛО

(ПУБЛИКАЦИЯ Т. А. ГЕЛЛЕР)

Адресат двух писем И. А. Бунина, которые предлагаются вниманию читателей, — Георгий Теофилович Шеметилло — жил в Казани. Жизненный путь этого человека был ярким, но сложным и трудным.

Георгий Теофилович родом из маленького местечка недалеко от Ровно. Эта часть Западной Украины находилась на территории Польши. Здесь был довольно значительный слой русского населения. Г. Т. Шеметилло окончил русскую гимназию. В 1932 году он уехал во Францию. После нескольких лет тяжелого труда и материальных лишений ему удалось осуществить свою мечту — он стал студентом Сорбонны.

Вторая мировая война застала Г. Т. Шеметилло во Франции. Оказавшись на юге страны, Г. Т. Шеметилло стал активным участником движения Сопротивления, был одним из первых организаторов отрядов «русских маки» в Марселе и Лионе, участвовал в диверсиях, организовывал побег советских военнопленных. Его подпольная кличка — Жорж Шемет.

После освобождения Франции он принимал участие в организации «Союза друзей Советской

Родины» в Марселе, был делегатом на первом конгрессе советских граждан во Франции, избран ответственным секретарем Союза советских граждан.

В 1948 году Г. Т. Шеметилло вернулся на Родину. В течение ряда лет он преподавал французский язык в школах Казани, затем до своего выхода на пенсию был старшим преподавателем кафедры иностранных языков Казанского медицинского института.

За годы жизни во Франции Г. Т. Шеметилло сблизился с литературными кругами русской эмиграции. Он сам занимался литературным творчеством, издал книгу стихов, принимал участие в литературных вечерах, имел дружеские связи со многими русскими писателями. Его знакомство с И. А. Буниным началось в середине 30-х годов; более тесные контакты с писателем и переписка с ним относятся к годам войны. К сожалению, в личном архиве Г. Т. Шеметилло сохранилось всего два письма И. А. Бунина. Мы публикуем эти письма И. А. Бунина и отрывки из воспоминаний Г. Т. Шеметилло о его встречах с писателем.

1

Дорогой Поэт, благодарим Вас за Ваше милое письмо, приятно, что Вам у нас понравилось. Вера Николаевна шлет Вам благодарность еще и за бумагу. Луку и гороху мы *очень* хотим, очень — сделайте одолжение выслать нам 10 кило зеленого луку и 6 кило сухого гороху. Если это трудно выслать сразу, будьте добры выслать в два приема (но, пожалуйста, купите все немедленно). Как быть с деньгами? Можете ли Вы послать *наложенным* платежом? Если нет, напишите — немедленно вышлю нужную сумму. Всего доброго, поклон Вашей жене.

Ив. Бунин.

2

15.1.44

Милый Георгий Боголюбович,¹ с Новым годом, всех благих пожеланий дай бог исполнения!

Посылаю Вам 40 фр. за какие-то зерна, присланные Вами. (Это, кажется, все, что я Вам должен — или нет? Напишите, если нет). Очень благодарю за заботы.

Посылку Шведск. Кр. Креста получил недели 2 тому назад. Жалко, что скоро исчезнет.

Есть кое-что в ней, что мы не понимаем. Напр. «Ungersk Tillverkning» — каких-то порошков пять пакетов — что с ними делать, не знаем. «Soppmjöl. . . Ärtor, Tett, och Kott. . .» Что это такое? Потом какая-то мука, что-то (тоже в порошок — 2 пакета), чтобы чистить ванны, насколько понимаем. . . уж какие там ванны!

Написали в Марсель горячую благодарность — искреннюю вполне — от колбасы и масла и рыбных консервов чуть не плакали от счастья.

Обнимаю Вас.

Ив. Б.

. . . Зимой Бунины жили в Париже, летом — в Грассе. Парижская квартира находилась в 16-м округе, на улице Оффенбах. Квартирка была небольшая, всего 3 комнаты и нечто вроде чуланчика, где стояла койка Л. Зурова.² Обстановка квартиры была простая и скромная. Кабинет, где работал Иван Алексеевич и который служил ему одновременно и спальней, украшали портреты русских писателей (вернее, фотографии большого формата), некоторые с собственноручными их надписями. На полочках — его любимые книги: Пушкин, Толстой, Чехов. В столовой — стол, несколько стульев, буфет. В третьей комнате была спальня Веры Николаевны.

Квартира во время оккупации, пока Бунины жили в Грассе, была реквизирована, и после войны Бунинным пришлось хлопотать о ее возвращении, что и задержало их переезд в Париж.

Район Пасси, где находилась улица Оффенбах, считался когда-то одним из ари-

стократических районов Парижа. После первой мировой войны там поселилось немало иностранцев, а в 20-е годы — много русских эмигрантов. Появились неизбежные русские магазинчики с водкой, солеными огурцами, капустой. В киосках рядом с «Фигаро», «Юманите» — «Последние новости» Милюкова и «Возрождение» Гукасова. Дом, в котором жили Бунины, ничем не отличался от старых доходных домов Парижа: тот же бесшумный маленький лифт, те же таблички с фамилиями жильцов на дверях, те же ковровые дорожки на лестнице. Скромная, небольшая табличка с надписью на французском языке — «И. Бунин».

Вилла «Жаннетт» в Грассе была расположена на холме, несколько в стороне от проезжей дороги. Грасс — небольшой городок, но его знает вся Франция. Высоко над морем (до него от Грасса десять с небольшим километров), у начала Приморских Альп человеческое упорство и трудолюбие создали сказочный оазис. Зеленеют оливковые рощи и сады, зреют под щедрым южным солнцем и наливаются янтарно-желтым или темно-красным цветом различные сорта винограда. Грасс — столица роз во Франции. И он весь утопает в розах: белых, красных, лимонно-желтых, всех цветов, оттенков и размеров. Мягкий приморский воздух напоен их ароматом и кажется от этого теплее и гуще. Чудесные духи — гордость Франции — выделяют из грасского розового масла. Во время оккупации драгоценное розовое масло вывозилось в небольших флакончиках за океан вместо валюты, оно ценилось на вес золота.

Вокруг построенной из крупного серого камня виллы «Жаннетт» росла масса цветов. Дикий виноград и плющ покрывали ее стены, взбирались на черепичную крышу, проникали в окна. В доме летом было прохладно и тихо, Иван Алексеевич мог спокойно работать за своим письменным столом. На столе неизменно стояла знаменитая бунинская пельшница, тяжелая и как бы немного обгоревшая. Кроме нее на столе были небольшая стопочка книг и папки с рукописями, над которыми работал Иван Алексеевич. В пустынной комнате не было ничего лишнего: удобное кресло Ивана Алексеевича и 3-4 стула. В часы занятий И. А. Бунина сюда никто не входил, даже Вера Николаевна.

Столовая помещалась в удлиненной большой комнате, стол стоял не посередине, а немного ближе к дверям, вокруг него — простые старые стулья. Если не ошибаюсь, около окна стоял радиоприемник. Кабинет и столовая были самыми большими комнатами в доме, спальня Веры Николаевны и комната для гостей были поменьше.

Из окон дома видны были отдельные виллы и небольшие улочки нижнего Грасса. В мистраль с моря дул ветер и стекла в окнах постоянно дребезжали. . .

Вера Николаевна сама вела хозяйство, прислуги, даже приходящей, в Грассе не было. Тот, кто знал Веру Николаевну или хотя бы встречался с ней несколько раз, запомнил ее навсегда. В те годы (конец 30-х — начало

40-х) она была уже далеко не молода и совершенно седая. Иван Алексеевич написал прелестные стихи о такой старости:

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых и злых...
Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!³

Тонкие, изумительно нежные черты ее лица, большие, светлые и бесконечно добрые глаза, высокий чистый лоб, бледный цвет кожи, на которой, когда она волновалась, проступал едва заметный румянец, — все было гармонично и немного похоже на головку из тончайшего китайского фарфора.

Все это каким-то чудом пощадили годы, и она осталась, как и в молодости, красавицей, только красота ее сделалась другой — стала одухотвореннее и строже. У нее были маленькие руки с гибкими и сильными пальцами, как руки пианистки. Вера Николаевна сама печатала на пишущей машинке рукописи Ивана Алексеевича — «заказчика» строгого и взыскательного: «жена-секретарша», как шутливо говорила она о себе. Она бережно охраняла его покой, умела, как никто другой, погасить вспышки его (иногда беспричинного) гнева. Порою Бунин был очень вспыльчив, а вспылив, не слишком считался со словами.

Самым дорогим для нее были рукописи и книги Ивана Алексеевича, она была его первым читателем и критиком.

Бунин на склоне лет и сам был изумительно красив тонкой изящной красотой, которая осталась у него до конца его дней. Невысокий ростом, но хорошо и пропорционально сложенный, он казался выше и даже, несмотря на худобу, как-то крупнее. Маленькие, сухие и нервные руки с тонкими, гибкими пальцами всегда были беспокойными, казалось, что они постоянно что-то ищут.

И в старости он держал голову прямо, даже слегка откидывал ее назад, что придавало ему тот гордый вид, который многие принимали за высокомерность и надменность. Сухое продолговатое лицо отличалось тем ровным смуглым загаром, который был результатом ежегодного пребывания летом под горячим солнцем Лазурного берега. До глубокой старости оставались зоркими и молодыми его глаза. Спокойные и строгие, они ненадолго, но пристально останавливались на человеке, вещи, предмете. Они редко, очень редко смеялись, и даже когда он был весел, в глубине зрачков таилась неясная боль и горечь...

...Я приехал к Бунину в 1942 году. Грасс был оккупирован итальянскими войсками, как и все Приморские Альпы до Ниццы. У Бунина в это время жил друг семьи писатель Леонид Зуров, с которым я был очень дружен. В тот же период на вилле Бунина нашел себе пристанище журналист А. Бахрах, еврей по национальности, скрывавшийся от гестапо, всесильного не только в так называемой

«оккупированной зоне», но и в неоккупированной Франции.

В Грасс я приехал в конце июля, предварительно списавшись с Зуровым, который и пригласил меня к себе.

Жили Бунины очень бедно. Иван Алексеевич иногда уезжал в Ниццу, и там его немного подкармливали состоятельные знакомые. Обедали мы все вместе, но для Ивана Алексеевича Вера Николаевна старалась сделать что-нибудь лишнее. Это было очень трудно: в Грассе, кроме цветов, практически ничего не было.

Тогда же, когда я гостил у Буниных, произошел эпизод, характеризующий отношение Ивана Алексеевича к оккупации.

Вилла Бунина стояла несколько в стороне от проезжей дороги, но чем-то, несмотря на свою неустроенность, понравилась итальянцам, и они решили ее реквизировать. С бумагами о реквизиции пришли к Бунину местные французские власти и итальянский офицер.

Иван Алексеевич страшно вспылал, кричал о безобразии и незаконности, но наотрез отказался идти в итальянскую комендатуру и просить об отмене реквизиции.

— Оставьте меня в покое! Не пойду! Не буду унижаться! — кричал он на уговоривших его домашних — Веру Николаевну, Зурова, Бахраха. Потом подошел еще кто-то из русских, проживавших в Грассе.

В конце концов Бунин ушел к себе в кабинет, и уже без него мы все, посоветовавшись, решили отправить делегацию к итальянцам. От имени Бунина и жителей виллы выступал Зуров. Итальянцы, узнав, что имеют дело с русским писателем, лауреатом Нобелевской премии, оставили Бунина в покое...

...После моего возвращения в Марсель я старался, чем мог, помочь Бунину. Кое-что из продуктов мне удавалось доставать. Бунин аккуратно спрашивал о цене и высылал названные суммы. В организации этих продовольственных посылок мне помогал православный священник в Марселе В. Бакст, родственник художника.

...В 1942 году я познакомился, а потом и подружился с секретарем шведского консульства Юрием Ньюманом и его женой. Ю. Ньюман был финном по национальности, а жена его — австрийской еврейкой, дочерью австрийского генерала. После аншлюса Ньюманы уехали в Бельгию, где Юрий работал в каком-то банке. Ньюманы были высококультурные, образованные люди, оба знали несколько иностранных языков, любили литературу и были убежденными антифашистами. Я рассказал Ньюману о тяжелом положении Буниных и спросил, не смог ли бы шведский Красный Крест чем-то помочь лауреату Нобелевской премии. Ньюман обещал узнать в консульстве и снестись со Стокгольмом. Во время второго своего посещения Буниных в 43 году я сообщил Ивану Алексеевичу о предоставляющейся возможности и сказал, что Ньюман просит написать официальное обращение на имя шведского консула в Марселе, и дал адрес консульства. Через некоторое

¹/₂15 Русская литература, № 4, 1990 г.

время Иван Алексеевич известил меня, что письмо в консульство отправил и ждет ответа.

Так началась наша переписка. Это первое письмо Бунина ко мне не сохранилось, как и многие другие. В этом первом письме И. А. Бунин писал о встречах с советскими военнопленными, работавшими в пекарне в Грассе. Об этом факте я знал и из письма Л. Зурова ко мне. Советских парней, взятых в плен на Ленинградском фронте, нашел Л. Зуров, он привел их на виллу «Жаннетт», познакомил с Иваном Алексеевичем, и они стали частыми его гостями. Иван Алексеевич сначала с некоторым недоверием, а затем с нескрываемым любопытством беседовал с ними. Ему было приятно узнать, что эти простые деревенские парни, хотя и не читали его книг, но знали его имя, знали, что он первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию...

...В тревожном и радостном 1944 году я окончательно перешел на нелегальное положение, и связь моя с Буниным временно оборвалась. Из переписки с Л. Зуровым, возобновленной в конце 1944 года, я знал, что он сам собирался возвращаться в Советский Союз и что неоднократно говорил на эту тему с Буниным. Иван Алексеевич колебался, слишком сложным был бы этот шаг для него, привыкшего за четверть века к Парижу. Сомнения его были в основном вызваны тем, что не сможет на Родине писать в своей манере, что он потерял за такой большой срок своего читателя и будет непонятен новой России...

...В Париже я встречал Ивана Алексеевича редко, два или три раза, в последний раз на вечере в зале Консерватории на авеню Токио. Как всегда, он бесподобно читал свои произведения. Но он был уже не тот, с которым я встречался в Грассе, у него на вилле, а снова парижский, прежний гордый, замкнутый, окруженный старыми друзьями...

...Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», доклад А. Жданова, резкая критика в адрес М. Зощенко и А. Ахматовой вызвали исключительный по своей трагической силе резонанс в литературных кругах русской эмиграции во Франции. Это был конец колебаний для многих литераторов, собиравшихся возвращаться на Родину, даже для тех, которые до этого стояли на патристической платформе...

...Союз советских граждан во Франции (я был ответственным секретарем правления со дня его основания) издавал свою газету «Советский патриот». Главным редактором был профессор Д. М. Одинец.¹ Выступление А. Жданова вызвало бурную реакцию. Со всех сторон в редакцию посыпались письма. Редакция газеты обратилась за помощью к советскому посольству, чтобы прокомментировать положения доклада А. Жданова. Посол СССР во Франции А. Е. Богомолов сам написал для нашей газеты статью «О свободе творчества» (она была подписана «Советский патриот»). Если же некоторых эта статья, возможно, и убедила, то целый ряд литераторов, даже сотрудничавших в нашей газете, не принял

ее. У И. А. Бунина она вызвала резко отрицательное отношение.

В это трудное время редактор нашей газеты Д. М. Одинец поручил мне повидаться с И. А. Буниным и поговорить с ним. Я понимал всю сложность этого поручения и мою ответственность. Наш Союз работал в тесном контакте с советским посольством, и предложение, сделанное мне Д. М. Одицом, о свидании с И. А. Буниным исходило от советского посла во Франции А. Е. Богомолова. Цель предстоящего разговора определялась следующим образом: я как ответственный секретарь Союза должен был узнать о настроениях И. А. Бунина по поводу его возвращения на Родину и в первую очередь об его отношении к возможности получить советский паспорт.

С Л. Зуровым я продолжал поддерживать теплые дружеские отношения, хотя встречались мы в это время редко. Л. Зуров по-прежнему был близким для Ивана Алексеевича человеком, по-прежнему он жил с ним в одной квартире. Поэтому, получив предложение от Д. М. Одиноца, я предварительно договорился с Л. Зуровым о своем приходе к нему.

Мы встретились с Л. Зуровым в квартире И. А. Бунина на улице Оффенбах. Разговор был трудным и для него и для меня. Повторяю, выступление А. Жданова произвело очень тяжелое впечатление на круги русской эмиграции. Для Л. Зурова вопрос о возвращении на Родину был уже решенным, но после доклада А. Жданова он, как и многие другие, отказался от своего решения. Позиции И. А. Бунина в этом вопросе были шаткими и раньше, между ним и Зуровым неоднократно вспыхивали жаркие споры, но теперь, после доклада А. Жданова, Л. Зуров стал единомышленником И. А. Бунина. Однако он понимал всю сложность и трудность моего положения и попытался мне помочь. И. А. Бунин, как я считаю, уже знал о возможности того предложения, которое я должен был сделать во время нашего разговора.

Л. Зуров вошел в кабинет И. А. Бунина. Через приоткрытую дверь мне был слышен их короткий разговор:

— Иван Алексеевич, там пришел Шемет. Хотите его видеть?

— Нет!

Л. Зуров вернулся и сказал мне со смущенным видом:

— Не хочет. Может быть, это только минутное настроение, но, я думаю, вряд ли. Ты ведь теперь не просто поэт Георгий Шемет, ты — ответственный секретарь Союза.

Вот таким печальным было мое последнее посещение квартиры И. А. Бунина на улице Оффенбах. Вскоре в моей жизни произошли большие перемены. Наша газета была закрыта, правление Союза арестовано и выслано из Франции. Я вернулся в Советский Союз.

¹ Георгий Боголюбович — так называли Георгия Теофиловича Шеметилло в русской среде во Франции. Имя «Геофил» употреблялось

в прямом русском смысловом переводе — «Боголюб».

² Имя Леонида Зурова часто встречается в воспоминаниях и в рассказах Г. Т. Шеметилло как имя человека, очень близкого писателю. Известно, что с Л. Ф. Зуровым Бунины прожили вместе все тяжелые годы оккупации, и даже после возвращения в Париж в маленькой скромной квартире Буниных нашелся уголок для Леонида Зурова. Г. Т. Шеметилло рассказал, что Зуров в годы гражданской войны находился в армии Деникина, затем эмигрировал и жил в Париже. Он стал писателем, автором романа «Кадет». Во время войны принимал активное участие в движении Сопротивления. В течение ряда лет был председателем «Союза русских писателей и поэтов» (у Г. Т. Шеметилло сохранился билет Союза, подписанный Л. Ф. Зуровым). Умер Л. Зуров в Париже в 1971 году.

На наш взгляд, близость Л. Зурова к Бунину интересна для исследователей жизненного и творческого пути И. А. Бунина в двух аспектах.

Во-первых, в тяжелые годы оккупации, когда Бунины жили на юге страны на вилле «Жаннетт», Иван Алексеевич и Вера Николаевна, два старых человека, не приспособленных к физическому труду, оказались в очень трудном положении. Вилла имела печное отопление, нужно было завести огород, копать грядки, сажать овощи. Весь этот постоянный, изо дня в день, тяжелый физический труд, непосильный для И. А. Бунина и его жены, взял на свои плечи Леонид Зуров. В суровых условиях оккупации Л. Зуров создал для И. А. Бунина (хотя бы и очень скромные) бытовые условия для его творческой деятельности. Роль, как видим, очень благородная, и выполнить ее Л. Зуров мог не только из чувства симпатии к своему другу, но в первую очередь из-за отчетливого понимания всего значения личности И. А. Бунина для истории русской литературы.

Во-вторых, благодаря Л. Зурову в годы войны, на своей вилле «Жаннетт», И. А. Бунин получил возможность несколько раз встречаться с советскими военнопленными, беседовать с ними. Ниже мы приводим отрывки из писем Л. Зурова Г. Т. Шеметилло, в которых содержатся некоторые сведения о жизни И. А. Бунина в годы войны. Написанные приблизительно в то же время, что и публикуемые письма И. А. Бунина, они как бы дополняют воспоминания Г. Т. Шеметилло.

5.1.43.

Милый друг!

Мы все поздравляем тебя и Валю от всего сердца. Желаем добрых и радостных дней. Сегодня пришло известие, что умер Бальмонт. Дочь его бедствует. Желая тебе от души радостных праздников. Не забывай. Пиши. Крепко обнимаю, целую. Храни Господь.

Твой Л. Зуров

... У нас стоят холода с ветрами. Мерзнем.

20 марта 1943 г.

Милый друг!

Спасибо сердечное за письмо. Всегда рад получить от тебя весточку. За газеты благодарим. Присылай, пожалуйста. Читаем их с чувством, толком и расстановкой...

У нас, слава Богу, все тихо и спокойно. Мой вес — 59 кил. Огород стал большим — 200 кв. метров — лук, чеснок, бобы. Закончил черновой набросок романа. Начал отделку первых глав. Труд предстоит серьезный и напряженный.

Еще раз спасибо за бумагу. Она мне весьма пригодилась. Если будет возможность, то, пожалуйста, пришли мне еще бумаги для пишущей машинки. Стоимость я тебе оплачу. Не присылай даром. Деньги я тебе сразу же вышлю. Буду тебе признателен и благодарен бесконечно...

Храни Вас Господь.

Твой Л. Зуров.

Р. С. Вера Николаевна и Иван Алексеевич шлют тебе самые лучшие пожелания. Работашь ли ты, пишешь ли? Закончил ли ты те стихи, которые читал мне?

Л. З.

4-го января 1944 г.

Милый Георгий,

Посылку твою и письмо получил. Большое спасибо. Устрою сочельник. Пакет Ивану Алексеевичу передал. Напиши, пожалуйста, сколько я тебе должен. Деньги у меня есть, со всеми затруднениями я справился, с долгами расплатился: перед праздником поработал.

От всего сердца благодарю тебя и Валю за приглашение погостить у Вас. Поехал бы с величайшим удовольствием, но с моей ранкой произошло осложнение. Образовалась фистула и не заживает. Доктор прописал впрыскивание, и я колю себя. Если это не поможет, то необходимо хирургическое вмешательство. Вот, милый, какие дела! Все это — результат плохого питания. Нельзя жить на 600 франков в месяц в течение трех лет и усиленно работать в огороде и за письменным столом.

Настроение у меня бодрое. Целую тебя, благодарю. Привет Вале. Иван Алексеевич сегодня получил повестку — шведская посылка пришла.

Твой Л. Зуров.

6.XII.1944 г. Грасс.

Милый друг, спасибо за письмо. Читал с волнением... Обнимаю, целую, рад, что вы с Валей выжили и хорошо поработали. Немного потрудились и я. Сюда, год тому назад, прямо из Гатчины, пригнали русских хлопцев в английском обмундировании и заставили выпекать для немецкой армии хлеб. Большинство из ребят были взяты на Волхове и в Мясном Бору.

В первый же день я познакомился с ними. Стали забегать. Хорошо говорили, по душам. Перед высадкой 14 человек, захватив немецкое оружие и пулеметы, ушли к партизанам. Много

пришлось поработать потом. Собирали одиночек. Отправляли в отряд. Тут я связался с Союзом друзей Советской Родины и мне поручили грасский район. Теперь у меня здесь три секции — Грасс, Рурз, Рокфор. . .

. . . Весной думаю поехать в Париж. Трудно будет найти комнату. Ну, да как-нибудь устроюсь. Если обстоятельства позволят, то думаю издать в Советском Союзе первый том. Это — Октябрь, Петроград. Хочу закончить экспедиционную работу в Эстонии, подарить русским музеям результаты трехлетней экспедиционной работы. Трудно загадывать, а хотелось бы сделать многое.

Целую тебя, мой родной, целую Валу.

Буннины шлют сердечный привет.

Твой Зуров.

Р. С. Нет, милый, я догадывался о твоей работе. И когда союзники нас освободили и Вера Николаевна спросила меня: «Где Шемет?» — «Работает в Резистанс, — ответил я ей, — он там уже давно». Рад, милый, что и наша линия сошлась. . .

³ Г. Т. Шеметилло цитирует стихотворение «Старая яблоня», датированное приблизительно 1916 годом.

⁴ Дмитрий Михайлович Одинец, профессор Сорбонны, историк, редактор газеты «Советский патриот» Союза советских граждан во Франции, вернулся на родину в 1948 году, работал в Казанском университете, был профессором кафедры истории СССР; умер в Казани в 1950 году.

П. Р. Забаров

И. П. УМОВ — ПОЭТ И ПЕРЕВОДЧИК

Несмотря на широкий — в последнее время — интерес к русскому литературному зарубежью и очевидные успехи в его изучении, оно известно нам по-прежнему крайне недостаточно, и понадобится еще немало усилий, для того чтобы этот мощный пласт отечественной культуры стал нам доступен и понятен если и не в полной, то в большей, чем сегодня, мере. Новому для нашего читателя эпизоду из истории русского литературного зарубежья и посвящен настоящий этюд — краткий очерк жизни и творчества одного из замечательных представителей эмиграции «первой волны».

Иван Павлович Умов родился в 1883 году в селе Русские Юрткули Спасского уезда Казанской губернии.¹ Однако, поскольку некогда уезд этот относился к Симбирской губернии и симбирской уроженкой была его мать, сам он считал своей «малой родиной» Симбирск, и именно с этим городом были связаны у него до конца дней самые светлые и волнующие воспоминания. По отцовской линии он принадлежал к старинному дворянскому роду Наумовых,² но ввиду того, что брак его прадеда Павла Михайловича Наумова с крепостной крестьянкой не был узаконен, дети их, по издавна существовавшему обыкновению, получили усеченную фамилию Умовых. Сын их Иван был женат на Анастасии Александровне фон-дер Бриген, дочери декабриста. В свою очередь, их старший сын Павел был женат на Варваре Александровне Спасской. От этого брака и родился будущий поэт и переводчик.

О своем детстве, проведенном в отцовском имении, Умов вспоминал с большой теплотой в одном из писем к сестре Вере Павловне Пальчиковой (1882–1975). «Какое счастлиное было у нас детство! И какие удивительно

хорошие люди, наши родители и их друзья, окружали нас, — восклицал он. — Я все упрекаю себя, мою старческую лень, за то, что не пишу историю нашей семьи».³ К сожалению, идея эта так и не была им реализована, и сейчас многое из этой истории, весьма типичной для русского дворянства, а точнее — дворянской интеллигенции рубежа XIX—XX веков, утрачено безвозвратно.

После завершения первоначального — домашнего — образования Умов был определен в Симбирский кадетский корпус, а затем продолжил занятия в Петербурге, в Николаевском инженерном училище,⁴ откуда был выпущен осенью 1903 года с чином подпрапорщика в 14-й саперный батальон, квартировавший в Киеве.⁵

Годичное пребывание в «древней русской столице на Днепре» оставило в жизни Умова весьма значительный след, обогатив его множеством ярких впечатлений и существенно расширив его кругозор. Общение с представителями местной аристократии и одновременно с участниками освободительного движения, пылавшими ненавистью к «верхам», сближение с художественной элитой в доме профессора А. В. Прахова, наконец, дружеские связи со сверстниками, горячо увлеченными отечественной историей и литературой, такими как В. Л. Модзалевский и М. Л. Гофман, — все это не только способствовало формированию его личности, но и подготовило важный сдвиг в его сознании, выразившийся в решении оставить военную службу.⁶

По свидетельству самого Умова, несомненное воздействие оказал на него в этом отношении Л. Н. Толстой, которого он неоднократно посещал в Ясной Поляне: великий писатель

находил его ремесло «преступным» и всячески убеждал «выбрать иной путь». Однако в основе этого поворота лежало все нарастающее его увлечение музыкой и литературой. В Крым, куда он попал вследствие тяжелой болезни, Умов получил первые серьезные навыки фортепианной игры. Что же касается литературы, то она притягивала его к себе уже давно: во всяком случае, еще в 1900 году на концерте, устроенном кадетами в честь их «августейшего покровителя» — Главного начальника военно-учебных заведений великого князя Константина Константиновича, юный Умов прочел «поэму, в которой воспевал Волгу и очарование прибрежных лесов», а вскоре одно его стихотворение увидело свет, возможно, не без содействия великого князя, одаренного поэта, вошедшего в историю нашей культуры под псевдонимом К. Р. Позднее, в Петербурге, Умов не раз бывал у него в Мраморном дворце; покровительством этого просвещенного и душевно щедрого человека пользовался он и в дальнейшем, например, предлагая свои сочинения в различные журналы и газеты.

Таких публикаций до настоящего времени выявлено около двадцати; первые относятся к 1901-му, последняя — к 1916 году. В основном это небольшие лирические стихотворения, рисующие картины «скромной» русской природы (иногда в ее противопоставлении южной экзотике) и старинного усадебного быта, которые то исторгают у поэта слезы умиления, то вселяют в него грусть, то внушают сочувствие к страждущим, то побуждают противостоять «невзгодам» и «темному горю». Одним из характерных образцов этой ранней лирики может служить стихотворение «Береза на чужбине», как бы предвосхищавшее важнейший мотив его позднего творчества:

В саду, где питомцы горячего юга —
Оливы и лавры цвели,
Нашел я березу, забытого друга;
Казалось, привет из родимого края,
Проникнув, она прошептала, вздыхая,
Ветвями касаясь земли.

Среди кипарисов и гордых латаний,
Магнолий и пышных маслин,
В своем незаметном и скромном уборе
Береза белела, как символ страданий
Страны, где гуляет метель на просторе
Засыпанных снегом равнин.

И чужды мне стали и горы, и море:
Я вспомнил раздолье полей,
Затерянных сел безысходное горе.
Душа моя, грустью внезапной объята,
Почуяла в тонкой березке собрата,
Болящего скорбью моей.⁷

Однако ни поэзию, ни музыку (которой продолжал упорно заниматься) Умов не сделал все же тогда своей профессией. Прослужив еще несколько лет в Севастополе, он вышел в отставку и поступил в московский Лазаревский институт восточных языков, где обучались

будущие драгоманы и русские консулы на Востоке. Там он, уже владевший основными европейскими языками, освоил грузинский, арабский, персидский, турецкий, сирийский и некоторые другие.⁸

Все это сулило Умову блестящую карьеру. Однако надежд этим не пришлось осуществиться. По окончании Лазаревского института он был назначен вице-консулом в Александрию, 1 января 1913 года приступил к исполнению своих обязанностей, но пробыл на этом посту менее пяти лет: с падением Российской империи ее дипломатический корпус остался не у дел, и Умов в ряду многих превратился из официального представителя могучей державы в частное лицо, в невольного эмигранта. Попытки его возвратиться на родину ни к чему не привели; связи с семьей, с друзьями прервались.

К тому времени Умов был уже женат на египетской уроженке, дочери православного сирийца Иосифа Хури-Хадада. Мария-Александра или (как величали ее на русский лад) Александра Иосифовна принесла ему солидное приданое, которое позволило им, а затем и всему их разросшемуся семейству (от этого брака родилось четверо детей — трое сыновей и дочь) жить, не зная особой нужды, в тисках которой оказались многие тысячи русских эмигрантов, включая известных писателей и артистов. Однако и сам Умов трудился без устали, выступая с концертами как пианист и обучая этому искусству (свое образование он завершил в Лондонской консерватории в 1936 году).

Способности отца унаследовали дети — Иосиф, ставший виолончелистом, и Екатерина (Катя), посвятившая себя скрипке, хотя одаренность ее была весьма разносторонней: талант музыканта-исполнителя сочетался в ней с талантами танцовщицы, художественного и театрального критика и т. д.⁹

Несомненно, музыка находилась в центре жизни Умова: это было и его повседневное занятие, и призвание, и неиссякаемый источник эстетических наслаждений. Тем не менее до конца своих дней он не выпускал из рук пера, продолжая писать стихи по-русски, а также нередко пробуя силы в творчестве на других языках.

На чужбине Умовым было создано огромное количество стихотворений; некоторая их часть увидела свет в периодических изданиях, вышедших в разных странах и на разных континентах (библиографии этих публикаций не существует).¹⁰ Однако к концу жизни поэта значительное их число было все же объединено в трех сборниках. Первый появился в 1949 году, второй — пять лет спустя, третий — еще через четыре года. Благодаря этим книгам мы и можем хоть как-то представить себе, о чем вспоминал, размышлял и мечтал этот даровитый русский человек, влюбленный в отечественную культуру, но волею судьбы и обстоятельств от нее оторванный и, как ему казалось, навсегда из нее изъятый.

Сборник 1949 года, изданный стараниями Г. Д. Гребенщикова, писателя-сибиряка, обосновавшегося в США, был озаглавлен «Незримый гость», и название это весьма точно выражало намерение автора: в книге должно было «материализоваться» его мысленное возвращение на родину.

Выход «Незримого гостя» был приурочен к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина, которому Умов поклонялся. Отсюда и первый раздел сборника (посвященный видному пушкинисту и старому другу М. Л. Гофману), который открывался «венком сонетов» о великом поэте. В этих пятнадцати стихотворениях, искусно сплетенных одно с другим, жизнь Пушкина воссоздавалась на всем ее протяжении — от детских лет «в Лефортове, на улице Немецкой», до трагической гибели и «последнего путешествия» в Святогорский монастырь:

Под смех и толк и шепот нареканий
Врагов твоих, в мученьях тых угас.
Вокруг тебя, средь сдержанных рыданий,
Стояли Арнд, Тургенев и Данзас.

И добрый Даль в торжественный твой час
Держал тебя. . . Про пыл твоих страданий
И, к небу вверх, по книгам порываний
Жуковский нам печальный дал рассказ.

И Александр Тургенев зорькой ранней
Помчался с гробом снежным тем путем,
Где «Три Сосны» шумели над певцом.

В обители, близ мест твоих мечтаний,
Покойся же, как спал ты в детстве сном,
В Михайловском, с твоею верной няней.¹¹

К «пушкинскому циклу» относятся также стихотворения «Памяти В. И. Даля», «Арап Петра Великого», «Перед портретом», «На утре лет», «Библиотека», «Собрату», «Душа пробудилась от долгого сна. . .», «Прозрачный ключ поэзии нетленной. . .» и, наконец, «Русский язык». В сущности, почти каждое из них являлось в большей или меньшей степени признанием поэта-изгнанника в любви к «венчанному певцу», «певцу-пророку»: в пушкинской поэзии черпал он вдохновение; она «питала его дух»; ей был обязан он тем, что и на склоне лет не оставлял надежды «стать в ряды работников страны».¹²

В отличие от первого, второй раздел сборника — «Пролетные птицы», посвященный памяти отца, П. И. Умова, «плебейского героя и почитателя природы», лишен какого-либо единства. Это «раздумия» о русских писателях — Лермонтове, Достоевском, Некрасове, Короленко, Бунине, о прошлом и будущем далекого отечества, о горькой доле «чужестранцев», о предназначении поэта, о смысле жизни и вечных тайнах бытия. С особой настойчивостью звучат в этом разделе ностальгические мотивы, возникающие в самой разной связи и по различным поводам. Впрочем, ряд стихотворений — только об этом; например, проникновенные строки, отчасти напоминающие

знаменитое «Ah, si vous saviez. . .» Сюлли-Прюдома:

О, если б знали вы, как больно сердце бьется
Под шум дождей ночных, под шепот вечных дум,
Что мать — твой лучший друг — на зов не
отзовется,
Что сердцем ты — старик, ненужен и угрюм!

О, если б знали вы, что русский на чужбине
Непонят, одиноч, всегда живет в мечтах
О липах, о дубах, о вьюге на равнине,
О белых лебедях на заливных лугах!¹³

Тоской по оставшимся на родине близким
и страхом за них продиктовано стихотворение «Перелетные птицы», давшее название всему разделу:

Мы дети России, бездомные птицы,
Мы бедствуем всюду, под небом всех стран.
Летят разоренных скитальцев станицы
В Египет, в Алжир, на седой океан.

Нас видели в Смирне у дряхлой мечети,
И в римском палаццо, в старинном окне,
А матери наши, а малые дети
Тоскуют о нас в незабвенной стране.

И мучит нас вечным, безмолвным укором,
То матери облик во мраке ночном,
То призрак сестры с угасающим взором,
То, с плачем о хлебе, дитя под окном.¹⁴

Третий раздел, посвященный А. И. Умовой, озаглавлен «Жертва. Образы русских женщин». Героини этих стихотворений — «раба крепостная», отчаяния наложившая на себя руки; М. Н. Волконская, «в тайге ледяной» вспоминающая «все, что было вчера»; горемычная крестьянка-мать, теряющая сына; юная обительница «дворянского гнезда», удалившаяся «не скорбя» в монастырь; сестра милосердия, «вся — честь, вся — долг», доживающая свою многотрудную жизнь «без жалоб, без роптаний»; Анна Павлова, приемлющая «смерть в краю чужом»; Нелли, «беспризорная девочка», «мирское дитя»; недавняя царица московского «света», ушедшая «в науку и революцию»; последняя русская императрица, искупившая «тягчайшей мукой» свои «небывалые вины»; наконец, женщины Сталинграда:

Вы — преемницы мучениц, жен декабристов,
И сестер, что видали Малахов Курган,
Тех подвижниц, что помнили Шипку и Систов,
Тех, окрасивших кровью своей гаолян.

Там, в оврагах, где крут хмурым берег на-
горный,
Там, где солью сверкает за Волгой Эльтон,
Вы зарыты с запекшейся ранюю черной,
И приволжские ветры лелеют ваш сон.

Сестры, сестры! Вам снится ль пожар Ста-
линграда,
Русь в слезах и крови у последней черты,
Где, под громы и вопли крошечного ада,
Вы без слез сожигали девичьи мечты?

К вам, безвестным и юным, пришедшим на
 Волгу,
 Чтобы жизнь положить за собратьев-солдат,
 К вашим теням взываем и плачем подолгу,
 Души вновь обновляя средь жизни утрат.

Как ничтожно-бедны тусклых дней треволненья
 Перед пламенем чистым возженных сердец!
 И всевластно влечет мощных душ притяженье
 Ввысь, где славой горит женской жертвы
 венец.¹⁵

Последний раздел сборника — «Неизменный сон», посвященный памяти К. Р., «направлявшего мои первые шаги в русской поэзии»; состоит он из двух циклов — еще одного «венка сонетов» под общим заголовком «Новый храм» и «Стихов о России». Впрочем, о России идет речь и в «Новом храме». Это картины русской истории — от древнейших времен до севастопольского «позора», явившегося страшным возмездием «за кнут, за кровь, за Николая гнет», до революции, принесшей «вопли и стенанья», до обрушившейся на страну губительной войны (по всей вероятности, цикл относится к 1940-м годам). Однако при всем трагизме ее судьбы, поэт исполнен веры в грядущее возрождение России:

Заря встает над русской землей,
 Неугасимы ясных звезд блистанья
 И будет Русь — вселенной Рулевой —

Весь мир вести под песни ликованья,
 И внемлет мир той песни молодой,
 Под гул грозы и бури завыванья!¹⁶

Что же касается «Стихов о России», то это по преимуществу картины родной природы, причем двенадцать из них образуют единый цикл, который можно было бы назвать «Времена года». Заключительный сонет — ключевой для всего раздела; отсюда и совпадение их заглавий: «неизменный сон» поэта — Россия:

Все тот же сон — далекая Россия!
 К тебе одной летит моя мечта,
 Влечет твоя родная красота,
 Зовут поля, твои леса глухие,

И серых дней напевы дождевые,
 И вечеров осенних долгота,
 Унылых рощ багрец и пестрота —
 И зимние сугробы снеговые!

Я вновь живу средь отроческих грез,
 Вновь чувствую, что мир земной не тесен. . .
 Далекий звук знакомых с детства песен

Дарует мне поток нежданных слез.
 В чужой стране, где сердце холодеет,
 Оно, в любви к отчизне, молодеет.¹⁷

«Незримый гость» свидетельствовал не только о напряженной работе мысли, но и о высокой поэтической культуре Умова, усвоившего лучшие традиции минувшего века: наибольшее влияние оказали на него Пушкин, Лермонтов, Некрасов; немало почерпнул он и в творчестве своих старших современников; не случайно таким авторитетом был для него К. Р.

Вообще отечественную поэзию в разных ее проявлениях Умов не только любил, но и превосходно в ней ориентировался, что в конце концов и побудило его ознакомиться с некоторыми ее образцами иностранных, прежде всего франкоязычных читателей. В следующий свой сборник «Oiseaux de passage», изданный в Александрии, он включил 30 французских переводов из русской поэзии, выполненных им «с соблюдением ритма оригинала».¹⁸ В этом «альбоме» были представлены Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, А. Ф. фон-дер Бриген, А. И. Одоевский, Е. А. Баратынский, Ф. А. Туманский, Ф. И. Тютчев, И. И. Козлов, Н. М. Языков, А. И. Полежаев, М. Ю. Лермонтов, Н. П. Огарев, Е. П. Ростопчина, Я. П. Полонский, А. Н. Майков, Н. А. Некрасов, А. К. Толстой, А. А. Фет, И. С. Никитин, Н. М. Минский, С. М. Городецкий, С. А. Сафонов, К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, А. А. Блок, А. А. Ахматова. В общей сложности это составило 72 стихотворения, причем значительная часть их до тех пор на французский язык не переводилась.

В сборнике нашло отражение и собственное творчество Умова на французском, немецком, английском и польском языках, хотя решился он на такой шаг не без смущения и в открывавшем книгу рондо обратился к читателям с просьбой его «не осуждать». Содержание его было довольно пестрым: несколько рондо и сонетов; стихи, вдохновленные музыкой его любимого Шопена, а иногда и воспроизводившие его ритмы;¹⁹ избранные поэмы о Египте; «видения прошлого и будущего»; наконец, обширный раздел, посвященный России: 12 сонетов под общим заглавием «Une Année en Russie entre la Volga et les Monts Ourals» («Год в России между Волгой и Уральскими горами»); несколько «портретов» русских женщин (Мария Волконская, Татьяна Ларина, Александра Ермолова, Софья Перовская, Анна Павлова, Вера Фигнер, Елена Ляпунова); ряд стихотворений на исторические темы («Le Saint Alexandre Nevski» («Святой Александр Невский»), «Koulikovo Pole» («Куликово поле»), «Le Quatorze décembre 1825» («Четырнадцатое декабря 1825 года») и другие). Особо следует выделить отнесенные к этому же циклу стихотворения «Moscou» («Москва») и «Rideau de fer. . .» («Железный занавес. . .»), не оставляющие сомнений в том, что Умов отчетливо понимал, что творится на его родине, и какой болью отзывались в его душе страдания «мучеников-заключенных», томившихся в сталинских тюрьмах и лагерях.²⁰

Последний из выпущенных Умовым сборников — «Offrande» («Жертвоприношение») — дань памяти его единственной дочери, скончавшейся вследствие трагической случайности 17 сентября 1955 года в возрасте 29 лет.²¹ Это были французские стихи о ней, о ее дарованиях и увлечениях, о его беседах с ней, стихи, исполненные светлой грусти, к которой Умов был склонен всегда по своему мироощущению и складу характера. Завершался же сборник рядом старых его переводов («Пророк»

и «Я вас любил...» Пушкина, «Ангел», «И скучно и грустно», «Горные вершины» Лермонтова, «То было раннею весной» А. К. Толстого, «На заре ты ее не буди» Фета, «Это было давно...» Сафонова, «Не буди воспоминаний...» Бальмонта, «По вечерней заре» Бунина и «Смуглый отрок бродил по аллеям» Ахматовой), которые более других ценила эта незаурядная «русская девушка», воспитанная в атмосфере преклонения перед родной культурой.

Несмотря на тяжкие утраты (в том же 1955 году в Лондоне умер его старший сын Павел), Умов не терял интереса к творчеству. Мечтал он и об издании своей «русской книги» в Москве, «если помогут добрые люди, которые там у печатного слова», как писал он сестре 16 марта 1958 года.²² Из письма к ней же от 20 мая 1959 года следует, что с просьбой об этом он обращался к министру культуры СССР Н. А. Михайлову, но «и ответа не получил».²³ Между тем жизнь Умова была уже на исходе: он скончался в 1961 году в Александрии.

О новых публикациях произведений Умова ничего не известно; архив его — в силу разных обстоятельств — сохранился лишь в малой степени, так что сейчас память о нем живет главным образом в кругу его близких — у нас и за рубежом. Думается, однако, что пришло время устранить эту несправедливость и вернуть имя и наследие Ивана Павловича Умова стране, которую он так горячо и, увы, безответно любил.

¹ Почти все печатные и рукописные материалы, использованные далее, любезно представлены автору внучатой племянницей И. П. Умова — старшим научным сотрудником Ленинградского государственного университета Натальей Федоровной Мартыновой.

² По преданию, которому Умов вполне доверял, род его имел шведские корни и восходил в XIV веке.

³ Письмо от 20 мая 1959 года (личное собрание Н. Ф. Мартыновой).

⁴ Училище помещалось в Инженерном замке, причем Умов жил в комнате, которую некогда занимал Ф. М. Достоевский.

⁵ См.: Николаевская инженерная академия и училище... на 1903—1904 учебный год. СПб., 1904. С. 106.

⁶ Основным источником сведений о молодых годах Умова послужили его написанные по-французски воспоминания, относящиеся к концу 1950-х годов.

⁷ Родник. 1909. № 12. С. 728. Помимо приведенного, в русской печати начала века появились следующие оригинальные стихотворения Умова: В лазарете // Рассвет. Сб. русских писателей и писательниц. Кн. 1. Изд. 2-е. СПб.,

1901. С. 169; Под Новый год // Сб. русских поэтов и поэтесс. СПб., 1901. С. 239—240; На темном утесе, над пеной морской... // Там же. С. 241; В лесу // Братская помощь. 1908. № 6. С. 7—9; На Волге // Детский мир. 1908. № 15. С. 450; Осень // Там же. № 17. С. 514; Облака // Родник. 1910. № 1. С. 5—6; Вы помните залу, где страстно... // Светлый луч. 1911. № 9. С. 8; Мышки-шалунишки // Солнышко. 1913. № 10. С. 333—334; В старых комнатах // Родник. 1913. № 1. С. 3—4; Весенние цветы // Там же. 1914. № 5. С. 539; Отчего? // Нива. Ежемесячное литературное и популярно-научное приложение. 1916. № 2. С. 255.

⁸ См. его переводы с английского — из Лонгфелло (Родник. 1910. № 7—8. С. 169—170), с турецкого — из Эмин-бея (Родник. 1911. № 5. С. 536—537), с персидского — из Омара Хайяма (Илл. приложение к газете «Новое время». 1912. 17 (30) ноября. № 13178).

⁹ Впрочем, прекрасной пианисткой была также мать А. И. Умовой, да и она неплохо играла на рояле.

¹⁰ См., например, стихотворение «Волжские воды» (с посвящением К. Д. Бальмонту) в рижском журнале «Перезвоны» (1928. № 40. С. 1277).

¹¹ Умов Иван. Незримый гость. Стихи. Alatas Printing. Churaevka. Southbury, Conn. U. S. A., 1949. С. 30.

¹² Там же. С. 40.

¹³ Там же. С. 83.

¹⁴ Там же. С. 176.

¹⁵ Там же. С. 148 («Героиням Сталинграда»).

¹⁶ Там же. С. 168.

¹⁷ Там же. С. 194.

¹⁸ *Oumov Ivan. Oiseaux de passage. Sonnets, rondeaux et autres poèmes.* Alexandrie, 1954. Название это являлось переводом уже употребленного ранее — «Пролетные птицы».

¹⁹ На Лангедокских весенних играх (Jeux Floraux de Languedoc) в 1951—1952 годах два из помещенных здесь сонетов («L'Idole renversée» и «Esseulement des bienheureux») были удостоены премии Леконта де Лиля, а в 1952 году одно из стихотворений «шопеновского цикла» («Bonheur») — премии Сюлли-Прюдорма.

²⁰ Предваряли книгу сочувственные отзывы о творчестве Умова, принадлежавшие профессорам Александрийского университета Жаку Лангладу и Камиллю Альмюли; там же был приведен фрагмент письма И. А. Бунина, в котором он благодарил Умова за присылку его «трогательных и прекрасных стихотворений».

²¹ *Oumov Ivan. Offrande. Poèmes.* Alexandrie, 1958.

²² Личное собрание Н. Ф. Мартыновой.

²³ Там же.

Д. М. Климова

О НЕКОТОРЫХ НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСАХ ТЕКСТОЛОГИИ И ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Спустя тридцать лет после завершения творческого пути, в год столетия со дня рождения Бориса Пастернака, В. Н. Альфонсов закончил свое исследование о его поэтическом творчестве словами: «Настала пора для углубленного постижения этой замечательной поэзии, круг удивленных и благодарных читателей которой неукоснительно и быстро расширяется».¹

Делу постижения этой поистине замечательной поэзии служит и выход в свет полного свода стихотворных произведений Пастернака, которым ознаменован его столетний юбилей.²

Этим книгам предшествовали семь посмертных изданий, выпущенных с 1961 по 1965 год, которые в большинстве своем или вовсе не претендуют на научность³ или, обладая достаточной полнотой (ограниченной, впрочем, цензурными условиями) и научным аппаратом, отмечены эмпиричностью и отсутствием единой концепции в структуре, отборе произведений, текстологической подготовке и комментарии.⁴ Поэтому упомянутые издания не могут быть опорой для научного исследования.⁵

Первая попытка научной подготовки текстов Пастернака предпринята в 1965 году во втором издании Большой серии «Библиотеки поэта», тексты которого положены затем в основу вышедшей в 1976 году книги третьего издания Малой серии.⁶ Последним по времени является упомянутый выше двухтомник третьего издания Большой серии (1990), предпринятый как первое полное собрание оригинальных стихотворных произведений.⁷ В его основной текст включены все известные составителям к настоящему времени (ибо собирательская работа продолжается) законченные стихотворные произведения, а также наиболее ценные в художественном отношении наброски. Среди них и такие, которые были известны давно, но не могли быть напечатаны по цензурным соображениям: «Два посвящения» (1916), «Кому, когда не этим в сумерки...» (1917), «Русская революция» (1918), «Куль личности забрызган грязью...» (1956), «Друзья, родные, милый хлам!...» (1957) и др. Учтены практически все доступные исследователям материалы, дающие возможность открытой постановки и решения (хотя бы частичного) основных проблем текстологии пастернаковских произведений.

Следует отметить, что подготовка посмертных изданий Пастернака осложнена рядом существенных обстоятельств.

При жизни поэта не было выпущено полного собрания его произведений. Насколько известно, в его архиве не имеется ни плана такого собрания, ни каких-либо иных свидетельств о намерениях автора в этой области. Большинство прижизненных изданий подвергались посторонним вмешательствам (не только цензурным, но и стилистическим). Рукописи плохо сохранились, разбросаны по разным архивохранилищам и недостаточно изучены. Известно также обыкновение поэта править свои ранние произведения (порой в другую историческую эпоху и с иных творческих позиций), вносить принципиальные композиционные изменения и сокращать тексты объемных стихотворений в изданиях избранного.

Перечисленные обстоятельства создают значительные сложности в подготовке любого современного издания и определяют большую вариативность структурных и текстологических решений. При всем том любой вариант требует убедительных, исчерпывающих обоснований, опирающихся на тщательный анализ всех источников текста.

К сожалению, до сих пор исследованы не все известные в настоящее время материалы.

Двухтомник «Библиотеки поэта» впервые открыто поставил во всем объеме, хотя и не решил окончательно, вопрос об участии Пастернака в подготовке своего последнего сборника, приостановленного на стадии второй корректуры.⁸

В семейном архиве Пастернака сохранился неполный третий экземпляр машинописи этого сборника, переданный автору для ознакомления и согласования, с большим количеством рукописных исправлений. В разных собраниях имеются и другие подготовительные материалы. Основные правленные корректуры (верстка и сверка), содержащие значительную правку, хранятся у Н. В. Банникова. Эти источники частично введены в литературоведческий обиход предыдущими изданиями, хотя ни в одном из них не дано сколько-нибудь убедительного их описания.⁹

В процессе подготовки двухтомника БП-90 в полном смысле слова реконструированы необходимые сведения о совокупности материалов Сб-57 — авторизованной машинописи 1956 года (далее сокращенно: М-56), верстки и сверки, — проведен их сопоставительный анализ и поставлен вопрос о необходимости дальнейшего изучения с целью внести существенные уточне-

ния в кардинальные вопросы подготовки будущих научных изданий.¹⁰

Приведем лишь несколько примеров.

Композиция так называемого «основного собрания», включающего девять поэтических книг Пастернака, в большинстве посмертных изданий опирается на верстку (Сб-57). Особенностью этого расположения является то, что в книге «Поверх барьеров» (1929) разделы «Начальная пора» и «Поверх барьеров» отделены от раздела «Стихи разных лет» включением книг «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Возникает вопрос, насколько правомерна композиция верстки, отражает ли она творческую волю поэта или решение составителя. Ведь кроме верстки, такой композиции нет ни в одном из прижизненных изданий: Пастернак в своих итоговых сборниках¹¹ открывал «основное собрание» книгами «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», за которыми следовала книга «Поверх барьеров. Стихи разных лет» (1929), рассматриваемая им как единое целое. Небесспорно представляется и предлагаемая структура книги «На ранних поездках» (М., 1943). На основании Сб-57 в состав этой книги включены первая глава поэмы «Зарев», раздел «Из летних записок», стихотворения «Безвременно умершему» (1936), «Памяти Марины Цветаевой» (1943); не включены «Присяга» (1941), «Русскому гению» (1941), «Спешные строки» (1943), «Одесса» (1944). Но такое решение правомерно лишь в том случае, если состав Сб-57 подготовлен или одобрен автором, а это пока не доказано.

Пастернак неоднократно перерабатывал свои произведения, подчас возвращаясь к ним на протяжении всей жизни. Выразительным примером такой правки является работа над стихотворением «Ледоход», продолжавшаяся от издания к изданию с 1917 по 1957 год, когда в Сб-57 объединились все стадии авторской работы. То же самое можно сказать о «Петербурге» (1915), отдельные части которого только в Сб-57 появились в окончательном варианте, как, например, знаменитая строфа:

Он тучами был, как делами, завален,
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалась царская ярость.

Тексты больших стихотворений как правило приспособлялись к типу издания — сокращались в избранном и вновь развертывались в итоговых собраниях.¹² Программное двадцатистрофное стихотворение «Марбург» (1916) позднее неоднократно печаталось в составе 18-ти, 13-ти, 11-ти и 8-ми строф. При этом сокращение, в известной степени механическое, часто сопровождалось творческой стилистической правкой.

Сильнейшим импульсом к переработке текста являлась трансформация творческого стиля: книга «Второе рождение» (1930—1931) знаменует итог первой половины творчества, кризис идей «Сестры...» и переход к новой творческой манере (по слову В. Н. Альфонсова); 1940-е —

1950-е годы отмечены некоторым отходом от прежнего стиля и стремлением к «неслышанной простоте». Характерно в этом смысле замечание на полях М-56 по поводу правки «Марбурга»: «Не могу отделаться от чувства, что среди моря метафорических неясностей здесь именно требуется психологическая почти протокольная сухость».¹³

Ограничное для поэта обращение к простоте стиля переплеталось зачастую с конъюнктурным упрощением под давлением издательства и критики, усиленно толкавшим автора на приспособление к вкусам «читателя 50-х годов, утратившего, как писал Пастернак, даже язык того времени, когда создавались стихи, тем более тогдашнее понимание искусства».¹⁴ Поэтому позднейшие изменения, даже иногда и санкционированные самим Пастернаком, следует принимать с большой осторожностью. Сопоставление текстов с вариантами и примечаниями в БП-90 дает богатый материал для размышлений на эту тему.¹⁵

В 30-х и особенно в 40-х годах заметно навязывание автору норм орфографии, орфоэпии и пунктуации, нарушение своеобразия авторской речи, с которым Пастернак уже не боролся. Вряд ли можно считать авторским изменением просторечного «Все оденут сегодня пальто» (1913) на формальное «Все наденут сегодня пальто» (1929). В «Балладе» (1930) «Бессонный запах метиол» исправлено в М-56 на нормативное *маттиол*, но в пастернаковском произношении устойчиво звучало народное «метиолы», именно так он писал А. М. Рипеллино: «*Метиолы* — ночные цветы».¹⁶

Насильственная нивелировка авторского стиля или незамеченные опечатки могут повлечь за собой и более серьезное, смысловое вторжение в текст, как в «Импровизации», где все издания до 1945 года дают чтение:

И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы о локте.

Архаичная форма «грызлись... о локте» (т. е. из-за локтя, по поводу локтя) в «Избранном» (1945) исправлена на более понятную «у локтя», но это может быть опечаткой или редакторской правкой, перешедшей во все последующие издания вплоть до Сб-57.

Приведем также образец бесспорно ошибочной, на наш взгляд, пунктуации в стихотворении из цикла «Разрыв» (книга «Сестра моя жизнь», 1917):

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потужить
Этот приступ печали, гремящий сегодня, как руть
в пустоте Торичелли.
Воспрети помешательство мне — о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись — мы одни.
О, туши же, туши! Горячее!

Все без исключения посмертные издания заключают слово «помешательство» в запятые, делая из него обращение и тем самым обесмысливая текст: ведь здесь, как во всем цикле, поэт обращается не к помешательству, а к любви.

мой — с мольбой помешать, воспретить ему помешательство.

Как видим, сложная задача разграничения мотивов правки далеко не решена, а во многих случаях и неразрешима ввиду недостатка документальных данных. Необходимо всестороннее, в том числе палеографическое, рассмотрение не только рукописных, но и печатных источников, в особенности — всех материалов Сб-57. Публикатор вправе и даже обязан применить текстологическую интуицию при отсутствии достаточного количества объективных документов. Мы имеем досадно глухие сведения о «совместной работе автора и составителя над правкой отдельных мест, часто противоречивой, незавершенной и спорной».¹⁷ Так, на полях стихотворения «Встав из грохочущего ромба...» имеется заметка Пастернака: «Если не нравится *голос*, то: И север — *обл(ук)* мой второй». Неизвестно, отвечал ли здесь автор на требования редактора или, наоборот, настаивал на своих намерениях. Можно спорить и о том, навязана ли ему концовка стихотворения или она является результатом творческого развития темы:

Но незаметно жизнь мужала,
И никогда я не пойму,
Что нас влекло, что нас сблизало,
Зачем я нужен был ему.

Известны однако и такие авторские исправления, которые Пастернак упорно отставил, обосновав свои намерения в «Дополнительных замечаниях» (Сб-57) следующим образом: «Редактор книги и его помощники неправы, восставая против переработки некоторых стихотворений, на которой я категорически настаиваю».¹⁸ Прямое настояние «принять новые исправления „*sine qua pop*“ (Обязательное условие. — *Д. К.*)» содержится на полях верстки (Сб-57) к двум строфам стихотворения «Сестра моя — жизнь», которые вызвали недоумение итальянского переводчика А. М. Рипеллино.¹⁹

Любая деталь, даже техническое оформление текста может пролить свет на содержательные моменты. Пастернак придавал особое значение циклизации своих произведений, однако редакторы часто не учитывают это и не всегда издательская рубрикация соответствует существу авторского замысла. До сих пор наблюдаются колебания в членении таких произведений, как «Зимнее утро», «Весна», «Сон в летнюю ночь» (книга «Темы и вариации», 1916—1922), хотя они снабжены авторскими подзаголовками: «Пять стихотворений».

Сложнее вопрос о двух отрывках, связанных единой темой и общим заглавием «Памяти Марины Цветаевой» (1943). Соотношение этих отрывков можно определить, по-видимому, только обращением к Сб-57. Структурная завершенность и ритмическая самостоятельность каждого из них позволяет предположить два отдельных произведения. Это подтверждается и автографом первоначальной редакции, где имеется подзаголовок «Два отрывка» и примечание: «Мысль *этих стихотворений* (Курсив мой. — *Д. К.*) связана с задуманной статьей

о Блоке и молодом Маяковском».²⁰ Вопреки столь недвусмысленному заявлению самого автора, обе части печатаются в посмертных изданиях обычно как единое целое без достаточных обоснований.²¹ Правда, в Избр.-85 имеется неясная ссылка на некую «рукопись 1956 г.» (вероятно, имеется в виду Сб-57), в которой дана «новая редакция», но в каком виде — неизвестно. В этом случае было бы полезно проанализировать принципы технической подачи текста в Сб-57, особенно — условные обозначения самостоятельных произведений и их частей.

Как видим, множество текстологических проблем вызвано плохой исследованностью последнего несостоявшегося прижизненного издания (Сб-57). Между тем доступность печатных и архивных источников, непредвзятость их описания и использования является неперенным условием полноценности посмертных публикаций, не контролируемых автором. Иначе мы рискуем иметь столько же вариантов текста, сколько издателей, или напротив (при монополии одних и тех же издателей) — один текст, но соответствующий вкусу составителя, а не творческой воле автора.

В последние несколько лет появилась возможность применения общих методологических основ текстологии к произведениям не только дореволюционной, но и советской литературы — главным образом, исследования текста с учетом цензурных и автоцензурных изъятий. В дальнейшей издательской практике (ведь мы подошли уже вплотную к академическому изданию) необходимо рассматривать тексты Пастернака, равно как и других писателей послеоктябрьского времени, с точки зрения общепринятых в мировой текстологии принципов и тем самым поставить теоретические исследования на твердую почву фактов.

¹ Альфонсов В. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 367.

² Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1, 2; Пастернак Б. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. В. Н. Альфонсова. Сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака: В 2 т. Л., 1990 (Б-ка поэта, Большая сер.). В дальнейшем сокращенно: БП-90. В настоящей статье использованы преимущественно материалы этого издания.

³ Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М., 1961; Пастернак Б. Стихи. М., 1966; Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М., 1988.

⁴ Пастернак Б. Собр. соч.: В 3 т. [Мичиган], 1961; Пастернак Б. Избранное: В 2 т. М., 1985. В дальнейшем сокращенно: Избр.-85.

⁵ При всем том они сыграли свою роль в деле возвращения читателю пастернаковской поэзии. Этим мы обязаны прежде всего Е. Б. и Е. В. Пастернакам, всецело посвятившим себя собиранию, хранению и публикации творческого наследия поэта.

⁶ Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. Вступ. ст. А. Снявского. Сост., подг. текста

и прим. Л. А. Озерова. Л., 1965 (Б-ка поэта, Большая сер. В дальнейшем сокращенно: БП-65); *Пастернак Б.* Стихотворения и поэмы. Вступ. ст., сост., подг. текста и прим. Л. А. Озерова. Л., 1976 (Б-ка поэта, Малая сер.).

⁷ Не зависящие от редакции обстоятельства производственного характера задержали выход тома, подготовленного к 100-летию юбилею Пастернака, и он выпущен после первых двух поэтических томов пятитомного собрания сочинений.

⁸ *Пастернак Б.* Стихотворения и поэмы / Сост. Н. В. Банникова. М., 1957 (не вышел из печати). В дальнейшем сокращенно: Сб-57. Материалы сборника, оставшиеся у Н. В. Банникова, до сих пор не доступны для исследователей.

⁹ Два первых посмертных сборника (1961) печатались не критически по верстке (Гослитиздат) и сверке (Мичиганский университет); несколько вариантов извлечены из верстки для первой книги «Библиотеки поэта» (1965); выборочно и не вполне точно правка верстки продемонстрирована в двухтомнике Избр.-85.

¹⁰ До сих пор во всех изданиях упоминалась только верстка. К сожалению, и сейчас варианты Сб-57 приводятся и обосновываются по неполным копиям 25-летней давности, которые

сделаны для изданий 1960-х годов и в дальнейшем не уточнялись.

¹¹ См.: *Пастернак Б.* Стихотворения: В 1 т. Л., 1933; *Пастернак Б.* Стихотворения: В 1 т. Изд. 2-е. М., 1935 (1936).

¹² Эта особенность впервые отмечена Е. Б. Пастернаком в Избр.-85. Т. 1. С. 527.

¹³ БП-90. Т. 1. С. 457.

¹⁴ Там же. С. 440.

¹⁵ Собрание, публикация и осмысление этого материала далеко еще не закончено. В частности предстоит уточнить и дополнить свод вариантов Сб-57.

¹⁶ БП-90. Т. 1. С. 489.

¹⁷ Там же. С. 440.

¹⁸ Там же. С. 441. Черновой текст «Дополнительных замечаний», впервые частично опубликованный Л. А. Озеровым в БП-65 и полностью в БП-90 Е. Б. Пастернаком, по-разному трактуется этими исследователями.

¹⁹ Пояснения Пастернака к тексту содержатся в письме к Рипеллино от 17 августа 1956 года (см.: БП-90. С. 460).

²⁰ Избр.-85. Т. 1. С. 590.

²¹ Первая публикация — в «Новом мире» (1965. № 1), где напечатан только первый отрывок, что подтверждает его самостоятельность.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРИБОЕДОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

31 января — 1 февраля 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась Всесоюзная научная конференция «Творчество А. С. Грибоедова в контексте мировой культуры». Открывая ее, доктор филол. наук С. А. Фомичев отметил, что это уже четвертая Грибоедовская конференция, проводимая Пушкинским Домом, и что жизнь и творчество одного из выдающихся деятелей русской культуры, связанного множеством нитей со всей мировой культурой, изучаются в разных городах нашей страны.

С. А. Фомичев (Ленинград) выступил с докладом «Творческий путь А. С. Грибоедова в контексте русского литературного процесса». По его мнению, творческий путь Грибоедова совершенно не вписывается в принятую для XVIII—XIX веков схему «от классицизма — через романтизм — к реализму». Традиционно его ранние пьесы трактуются как классицистические, рудименты классицизма отмечаются также в реалистической комедии «Горе от ума», поздние же драматургические его замыслы оцениваются как романтические. Между тем, отметил докладчик, если отрешиться от априорных схем, нельзя не заметить, что жанр «легкой» (светской, салонной) комедии несет приметы рокайльного стиля, а трагедийные замыслы Грибоедова — черты стиля барокко. Эти конкретные наблюдения позволяют поставить вопрос о более сложных явлениях, определяющих литературное движение в России на рубеже XVIII и XIX веков. Знаменитая полемика «архаистов и новаторов» (по определению Ю. Н. Тынянова) с точки зрения точных дефиниций была противоборством барочных (а не классицистических) и рокайльных (а не предромантических) традиций. Через стиль барокко в русской литературе сохранялась преемственная связь с древнерусской литературой. Русский же реализм (так это произошло и в творчестве Грибоедова) наследовал прежде всего именно рокайльные и барочные традиции.

Оригинальную концепцию «Горя от ума» предложил Б. А. Голлер (Ленинград) в докладе «„Горе от ума“ в мире изменяющейся культуры». Подлинная драматургия рождается там, где возникает неразрешимое противоречие двух разных правд. По мнению докладчика, поединок Софьи и Чацкого и есть главный конфликт пьесы, усложненный тем, что это конфликт двух близких людей, которые равновелики по способности к борьбе и по силе переживания, по своей бунтарской природе. А конфликт Чацкого со всем обществом, с фамусовским кругом

возникнет лишь на почве личного. И уже нельзя будет понять, где конец одного и где начало другого, потому что при этом конфликт общественный делается личным, а личный, сугубо интимный, — общественным. Это и есть драматургия Грибоедова, подчеркнул Б. А. Голлер.

Выступление И. С. Чистовой (Ленинград) было посвящено эпизоду из ранней биографии Грибоедова, почти повторившему анекдотический случай с подпоручиком Кижее. Речь идет о бурной переписке по поводу корнета Грибоедова в то время, когда он уже был в отставке. Жизнь корнета Грибоедова протекала как бы в двух измерениях: с одной стороны, в официальных документах, в официальной переписке, в которой участвовали разные инстанции военного ведомства, и, с другой — в повседневной реальности. И, как показала И. С. Чистова, это были две разные жизни, два различных существования, потому что по большей части действия, зафиксированные казенными бумагами, и действия реальные не совпадали. Офицера переводят из одного полка в другой; его новый командир после полугода напрасного ожидания требует его присылки на службу, адресуясь на место прежней службы, где, как оказывается, разыскиваемый офицер никогда и не значился. Когда, наконец, установлено место его пребывания, выясняется, что он уже почти год как по болезни уволен от службы. Едва ли можно считать случайным, что героем анекдотической истории явился Грибоедов: его действительная военная служба настолько не соответствовала обозначенной в казенных бумагах, что оказалось крайне затруднительным определить местонахождение молодого офицера и полк, в котором он формально состоял.

А. Л. Гришунин (Москва) привел некоторые свидетельства мемуаристов о религиозных воззрениях Грибоедова и отметил, что этот вопрос должен быть рассмотрен в общемировоззренческом, философском плане. По мнению докладчика, многое говорит в пользу того, что религиозность Грибоедова относилась к проявлениям своеобразного этнографизма и историзма, приверженности «вере отцов», специфического национального чувства, отражающего нравственный опыт каждого народа.

С докладом «О прозе Грибоедова» выступила А. В. Архипова (Ленинград), рассмотревшая ее как целостную художественную систему. Кроме деловых бумаг и литературных статей к прозе А. В. Архипова относит очерки и записи путевых впечатлений, большая часть которых носит черновой характер. Особенно интересны

именно эти записи для себя, в которых личность автора, индивидуальное восприятие им окружающего мира выражаются ярче всего. А. В. Архипова подчеркнула, что Грибоедов очень чутко улавливал художественные веяния своей эпохи, поэтому его проза явилась отражением как личности самого писателя, так и основных тенденций литературного развития.

На материалах, хранящихся в ЦГИА, был построен доклад Н. А. Тарховой (Москва) «О „Проекте Российской Закавказской компании“ А. С. Грибоедова и П. М. Завелейского». Исследовательница доказала, что «Мнение об учреждении Российской Закавказской компании» написано генералом М. С. Жуковским; атрибуцию этого документа И. К. Ениколоповым как произведения полковника И. Г. Бурцова необходимо отвести. «Мнение...» М. С. Жуковского положительно оценивает этот проект, поэтому все исторические и историко-литературные концепции, связывающие неудачу «Проекта...» с отрицательным отношением к нему М. С. Жуковского, а вслед за ним Паскевича, требуют пересмотра.

В докладе Ю. П. Фесенко (Луганск) «Из комментария к „Путешествию в Арзрум“ А. С. Пушкина (грибоедовский эпизод)» особое внимание было обращено на так называемые «несоответствия» в описании встречи Пушкина с телом погибшего в Тегеране Грибоедова. Прежде всего имеется в виду несопадение изображаемого ландшафта и обозначаемого места встречи; не упомянут и пышный кортеж, который, по свидетельству современников, сопровождал тело Грибоедова при доставке его от русско-персидской границы до Тифлиса. Это, а также высказанное В. С. Листовым мнение о привнесении в обрисовку гибели Грибоедова обстоятельств смерти константинопольского патриарха Григория в 1821 году позволили докладчику сделать вывод о специальном конструировании Пушкиным «грибоедовского эпизода». Причем смысл подобного построения, по мнению Ю. П. Фесенко, — в стремлении поставить под сомнение официальную версию разгрома русской миссии в Тегеране. Среди компетентных людей, с которыми Пушкин мог говорить о событиях 1821 года и о ближневосточной политике русского царизма в целом, докладчик называет В. И. Даля — участника русско-турецкой кампании 1829 года на Балканах. Докладчик подчеркнул знакомство В. И. Даля с идеями «Путешествия в Арзрум» и его постоянный интерес к творчеству Грибоедова. В заключение Ю. П. Фесенко отметил необходимость дальнейшего изучения пушкинского произведения и продолжения архивных разысканий.

В докладе Г. И. Магнера (Ленинград) «О „духе времени“ и „государственном быте“ России» было показано, что Грибоедов понимал связь Литовского Статута и Русской Правды. Об этом заявил печатно в 1830—1831 годах Ф. В. Булгарин, почерпнувший свои сведения, как считает докладчик, из бесед с Грибоедовым. Установлением этой связи утверждалось

мнение о глубокой традиционности представительного правления на всех территориях, принадлежавших к Древней Руси, и его соответствию разнообразнейшим местным условиям и нуждам. Для обоснования необходимости народного представительства декабристы ссылались на вечевой строй древнерусских городов, деятельность земских соборов в Москве XVI—XVII веков. Но они не смогли проследить пути развития русского законодательства, так как между Русской Правдой (XI век) и Соборным Уложением 1649 года был разрыв в 600 лет. Лишь с учетом Литовского Статута, свода законов Великого княжества Литовского, становится ясным, что до установления в России абсолютизма Петра I на всех русских землях, которые перенесли татаро-монгольское иго или оказались в руках литовских феодалов, существовала ограниченная в той или иной мере монархия, и только там, где независимость была сохранена, — Новгород, Псков, Хлынов (Вятка) — развилось республиканское правление, прекращенное в XV—XVI веках искусственно, путем присоединения республиканских территорий к Московскому государству. Эта историческая картина, как подчеркнул докладчик, опровергает расхожий социальный миф о самодержавии как наиболее свойственной России форме правления и о «долготерпении» как характерной особенности «русского духа». Грибоедов считал, что любые преобразования надо проводить исходя из истории каждого народа, из реальных условий его жизни и осознанных им насущных потребностей. Бесплодные споры западников и славянофилов со всеми их позднейшими вариациями были диалектически разрешены еще до их начала грибоедовским тезисом о «новом образе управления», создаваемом путем «приноравливания» кодекса к тщательно исследованным местным обычаям и стремлениям народа. Грибоедов был поистине «иною века гражданин», сказал Г. И. Магнер.

В докладе М. Г. Соколянского «„Горе от ума“ и традиции европейской „высокой комедии“» был сделан акцент на более широкое понимание поставленной проблемы: речь идет не столько о генетической связи между комедией Грибоедова и «Мизантропом» Мольера, сколько о типологической общности «Горя от ума» со всей линией развития «высокой комедии» как жанровой формы. Эта общность прослеживается не только в выборе главного героя и конфликта, но также в сюжетостроении, композиции, стихе. Особое внимание докладчик обратил на традиционные для «высокой комедии» нарушения классицистских норм в «Горе от ума», высказав мнение, что грибоедовская комедия явилась важной вехой на пути ускоренного развития в отечественной литературе просветительского реализма.

С докладом «„Горе от ума“ в годы гласности прошлого века» выступил Г. В. Краснов (Колмна). Он подчеркнул, что в публицистической критике конца 50-х — начала 60-х годов XIX века герои, типы «Горя от ума» содействовали политизации общественной мысли, созреванию

революционной ситуации. В эти годы пересматривается миф «грибоедовская» («фамусовская») Москва, Россия (статьи А. И. Герцена, Ап. Григорьева), происходит переосмысление ряда образов, особенно Чацкого. Для Добролюбова и Писарева время Чацкого и близких ему героев прошло, Ап. Григорьев, напротив, открывает новые возможности честной, деятельной натуры Чацкого. Чацкий, по Григорьеву, противопоставлен «радикалу», нигилисту Репетилову. Герои грибоедовской комедии в критике Писарева составляют среду, необходимую для оценки героев других писателей (Пушкин, Гончаров и др.). Публицистическая критика конца 50-х — начала 60-х годов, отметил докладчик, предвосхитила произведения на грибоедовские темы Салтыкова-Щедрина и Гончарова.

По мнению С. В. Свердлинной (Астрахань), выступившей с докладом «К проблеме творческой предыстории „Горя от ума“», одним из литературных источников для Грибоедова явилась комедия Ю.-У. Немцевича «Powrót poła». Соотносясь с ней и в то же время отталкиваясь от нее, он создал свою национальную самобытную комедию, национальные характеры. Грибоедова, по утверждению С. В. Свердлинной, должна была привлечь в комедии Немцевича проблематика, близкая России 10-х годов прошлого века, — борьба старого, консервативного, и молодого, прогрессивного лагеря, стремление утвердить новые демократические начала в жизни общества, обличение галломании и, главное, образ положительного героя, противопоставленного глупцу и лицемеру, хотя и молодому, но примыкающему к «старичкам», безразличному к судьбам родины и народа.

В докладе Н. И. Михайловой (Москва) «Грибоедовская Москва в творчестве В. Л. Пушкина» для историко-бытового комментария «Горя от ума» были привлечены письма В. Л. Пушкина 1810—1820-х годов, которые дают возможность представить москвичей, некоторые характерные черты московской жизни, нашедшие отражение в комедии Грибоедова. В аспекте сатирической литературной традиции, отозвавшейся в «Горе от ума», были рассмотрены художественная проза и поэзия В. Л. Пушкина, его стихотворения «Вечер», «Послание», «К камину», басни «Японец», «Сурок и щегленок».

С докладом «„Ум“ и „горе“ в комедии Грибоедова» выступил С. А. Ильёв (Одесса). Он подчеркнул эти заглавные слова как основные категории комедии. Рационализм Чацкого, по мнению докладчика, — такой же объект комедийного изображения, как и коллективный ум фамусовского общества. «Здравый смысл» и Чацкого, и фамусовского общества относителен, все зависит от точки зрения сторон. «Уму» каждого персонажа в комедии соответствует свое «горе». Можно сказать, отметил С. А. Ильёв, что комедия «Горе от ума» построена по принципу Цицерона: «Я каждого человека — в образе его мыслей».

В докладе В. А. Кошелева (Череповец) «Грибоедов и Хомяковы» тема, представленная

в заглавии, рассматривалась в нескольких аспектах. Во-первых, в отношении «генеалогической подпочвы» (П. Флоренский), имеющей особое значение для славянофильства: Грибоедовы и Хомяковы были родственниками и близкими соседями (дед А. С. Хомякова по отцовской линии был женат на двоюродной тетке Грибоедова, за которой в приданое получило имя Липицы, под Вязьмой, находящееся в непосредственном соседстве с грибоедовской усадьбой Хмелита), и черты этого родства мы находим в биографии драматурга. Во-вторых, Хомяковы (деды и родители славянофила) были типичными представителями старой Москвы и во многом напоминали тех типов, которые были выведены в «Горе от ума», — следовательно, здесь возможны и типологические связи, относящиеся к московскому быту 1820-х годов. В-третьих, здесь возникают и собственно творческие связи: небезынтересны упоминания комедии «Горе от ума» в родственной переписке Хомяковых 20-х годов. Наконец, нуждаются в тщательном изучении и сами биографические моменты взаимоотношений. В связи с этим несколько подробнее рассматривалась жизнь и личность старшего брата славянофила — Федора Степановича Хомякова (1802—1829).

Л. А. Щербина (Одесса) остановилась на постановках «Горя от ума» на одесской сцене. Первая постановка комедии в Одессе была осуществлена 21 июня 1835 года Харьковской труппой во главе со Щепкиным. Попытки поставить комедию предпринимались также в 1848, 1849 и 1858 годах, но безуспешно. В Одессе хранится «Алфавитный каталог изданиям на русском языке, запрещенным к обращению и перепечатыванию в России». Среди запрещенных вещей и «Горе от ума». Третье действие комедии было сыграно 1 октября 1887 года при открытии в Одессе городского театра; затем комедию ставили в день 10-, 17- и 25-летия Одесского театра.

С сообщением об интереснейшем документе, найденном в Архиве внешней политики России, выступил Е. В. Цымбал (Москва). Это «Реестр вещам Грибоедова, оставшимся после его гибели», в котором перечислены вещи всех находившихся в составе грибоедовского посольства. Особо докладчик остановился на списке книг, оставленных в Тавризе, проведя сравнение с библиотекой Пушкина, Чаадаева и В. Ф. Одоевского.

Е. А. Вильк (Ленинград) рассмотрел в своем докладе грибоедовский замысел драматического пролога «Юность Вещего». О нем мы можем судить по фрагменту поэтического вступления и плана в черновой тетради. Эти источники дополняют воспоминания С. Н. Бегичева. Как показал докладчик, лирическая вариация Грибоедова резко расходится со сложившимся к тому времени литературным стереотипом, восходящим к прозе сентименталистов и батышковскому «Посланию к И. М. Муравьеву-Апостолу». С образа «чувствительного» мечтателя-рыбака, отметил Е. А. Вильк, Грибоедов перемещает акцент на трагический разлад

между стремлениями одаренной личности и рамками ее деятельности, заданными обществом.

Л. А. Степанов (Краснодар) в докладе «Действие, план и композиция „Горя от ума“» проанализировал драматургическое построение комедии. Он подчеркнул, что план комедии нельзя сводить к последовательности явлений, к сценической событийной динамике. План понимался Грибоедовым очень широко — как «эстетическая часть творения». В него входит «общее соображение» комедии, он включает сопоставление событий сценических, происходящих в течение одного дня в доме Фамусова, и досценических, когда определялись взаимоотношения основных действующих лиц. План охватывает также бытие внесценических персонажей, вовлекаемых в диалоги и монологи героев комедии. Поэтому план шире действия, и такое важнейшее событие, как путешествие Чацкого, предшествуя сценическому действию, во многом определяет и расстановку сил, и характеристики персонажей, и динамику событий. До появления Чацкого уже начинается развиваться комедийная интрига между Софьей и Фамусовым, его приезд резко меняет и драматизирует ситуацию, сближая действия Фамусова и Софьи, направленные против Чацкого, при том что исходная противоположность их интересов остается до самого финала комедии. Интрига Софьи в итоге снимается разоблачением Молчалина, но реплика Чацкого о возможном примирении с ним создает проекцию развития отношений за пределами действия комедии. Финальная реплика Фамусова также открывает перспективу развития событий за пределами сцены (теперь жертвой клеветы станет Фамусов и его дом). Как подчеркнул докладчик, сложные взаимоотношения досценического времени и сценического действия объясняют диалектику случайного и закономерного в пьесе. Случайность властвует на уровне персонажей, но полностью исключена из композиции комедии, последовательно реализующей широкие возможности плана в строго продуманном сцеплении явлений, эпизодов, диалогов, монологов, ансамблей и сцен. Эта особенность пьесы была отмечена О. Сомовым. В «Горе от ума» «ничто не подготовлено» с точки зрения читателя или зрителя, но автором «все обдуманно и взвешено с удивительным расчетом», сказал в заключении Л. А. Степанов.

Целью доклада В. Э. Вацура (Ленинград) «„Родамист и Зенобия“ (к истории замысла)» было прояснение, насколько это возможно, истории неосуществленного замысла трагедии Грибоедова. Текст прозаических планов известен только в первой публикации, автограф (в так называемой «черновой тетради») погиб. Установлено, что сюжет трагедии восходит к книге XII «Анналов» Тацита и соотносится с трагедией Кребийона «Родамист и Зенобия» (1711), в 1809 году переведенной на русский язык С. И. Висковатовым. Считается, однако, что с трагедией Кребийона замысел Грибоедова не имеет ничего общего, кроме основных действующих лиц. Он как бы возвращается

к подлинному тексту Тацита, создавая параллельное произведение. Между тем, по мнению В. Э. Вацура, Грибоедова и Кребийона связывает очень многое, хотя сам характер связи — это не отношения источника и оригинала. Общим является то, что в обоих случаях пишется трагедия. «Родамист и Зенобия» — одна из лучших французских классических трагедий XVIII века. Таким образом, Грибоедов как бы вступает в соревнование с классическим образцом. Трагедия Грибоедова, как подчеркнул В. Э. Вацура, в 1824 году неизбежно должна была приобрести политический характер. Рассказывая о заговоре против властителя, автор пытается проанализировать его причины и побудительные мотивы, выявляя в нем, в частности, значительную роль своекорыстных, низменных интересов. Это естественно для скептической позиции Грибоедова 14 декабря 1825 года, но было бы совершенно невероятно после разгрома восстания, арестов и судебного следствия: в этом случае анализ превращался бы в прямой памфлет, даже личного характера, а типологические сходжения могли бы быть восприняты даже как пасквиль. Поэтому трактовка «Родамиста и Зенобии» как отклика на декабрьское восстание маловероятна. Напротив, есть основания думать, что именно восстание заставило Грибоедова отказаться от осуществления замысла, подчеркнул В. Э. Вацура.

Р. Г. Назарьян (Самарканд) рассмотрел вопрос о филоориентализме Грибоедова и его влиянии на литературно-эстетические позиции В. К. Кюхельбекера. Докладчик проследил истоки русско-восточных литературных связей, отметив особый интерес отечественной словесности первой четверти прошлого века к ориентальной поэзии. Обращение к Востоку диктовалось самим развитием русской литературы, господствующим направлением в которой становился романтизм с его тягой ко всему необычному, яркому, исключительному. Однако не только романтические веяния способствовали зарождению филоориентализма в России, и подтверждением тому, как подчеркнул Р. Г. Назарьян, может служить творчество Грибоедова, не укладывающееся в привычную опозицию «классицизм — романтизм». Докладчик пересмотрел некоторые устоявшиеся мнения об изменении литературно-эстетических позиций В. К. Кюхельбекера под прямым воздействием «архаических» воззрений Грибоедова. Переход Кюхельбекера в «лагерь славян» был закономерным итогом его развития, однако сыграл при этом свою роль и автор «Горя от ума», сумевший привить ему любовь к Востоку, к Библии и Корану. Обращение же к сокровищам восточной лирики, к красотам Священного Писания, к библейской тематике в целом не могло не изменить творческой и литературно-эстетической позиции бывшего карамзиниста Кюхельбекера.

С сообщением «Отзвуки „Писем из Москвы в Нижний Новгород“ И. М. Муравьева-Апостола в „Горе от ума“ и „Евгении Онегине“» выступил Д. И. Белкин (Ульяновск). С произведени-

ем И. М. Муравьева-Апостола, ставшим заметным явлением в отечественной публицистике 1813—1815 годов, но теперь забытым, Д. И. Белкин связывает критическую часть некоторых монологов Чацкого. Их родни и тематика, и внесценические образы («французик из Бордо»), и некоторые словосочетания. По утверждению докладчика, и Грибоедов, и Пушкин использовали в своих произведениях рассказы И. М. Муравьева-Апостола о французах — воспитателях молодых дворян. Необходимо, отметил Д. И. Белкин, ввести «Письма из Москвы в Нижний Новгород» в круг комментариев к двум самым выдающимся памятникам русской литературы и сцены.

Доклад С. М. Шаврыгина (Ульяновск) был посвящен проблеме «Грибоедов и русский сентиментализм». Хотя в современной науке распространено мнение об исключительно отрицательном отношении Грибоедова к сентиментализму, оно не было простым и однозначным. Как считает докладчик, ко времени создания «Горя от ума» отношение это значительно изменилось. Элементы сентиментализма, отметил докладчик, присутствуют в творчестве Грибоедова уже в «Письме из Брест-Литовска к издателю», сосуществуя с элементами других стилей. Комедия «Молодые супруги» также содержит в себе спектр различных традиций: сатирической комедии, просветительского нравоописательного очерка, светской «легкой» комедии. В ней сталкиваются два подхода к действительности: зарождающийся «психологизм» и традиционное просветительство. Отношение Грибоедова к сентиментализму неоднозначно: он и полемизирует с ним, и опирается на него, творчески осваивая свойственные Карамзину способы изображения «жизни души». В 1818—1819 годах, во время первого путешествия в Персию, Грибоедов открывает реальную психологическую основу «сентиментального» отношения к действительности. Письма к друзьям Грибоедов насыщает мотивами, близкими жанру сентиментального путешествия. Собственные психологические состояния Грибоедов сопоставляет с известными сентименталистскими образцами. Как подчеркнул С. М. Шаврыгин, осознав силу и слабость сентиментализма, Грибоедов оценил его значение для развития русской литературы.

С сообщением «Горе мое завещаю...» выступила М. Г. Салупере (Тарту), отметившая, что стремление извинить привязанность Грибоедова к Булгарину бросает на самого драматурга тень неискренности. По мнению М. Г. Салупере, Булгарина превратили в злого демона русской литературы, часто не заботясь о подкрепляющих это обвинение уликах. Его называют агентом III Отделения, однако среди множества доносов агентов этого ведомства пока не найдено ни одного булгаринского. Как утверждает М. Г. Салупере, М. Лемке в книге «Николаевские жандармы и литература» припи-

сал Булгарину три анонимных доноса на Полевого и «Московский телеграф», а Н. Эйдельман обвинил его в доносе на Погодина (ноябрь 1826 года). По мнению исследовательницы, первые три написаны рукой правителя канцелярии III Отделения М. Я. фон Фока, а последний — его брата П. Фока. Стиль, тон этих записок ничем не напоминают какие бы то ни было печатные или рукописные тексты, автором которых бесспорно является Булгарин. Известно, что М. Я. фон Фок получал доносы агентов, а затем реферировал их для Бенкендорфа, выделяя то, что считал достойным внимания. Эти рефераты писались, как правило, без обращения и подписи, тон их — тон не подчиненного, а друга и советника. Эта деятельность фон Фока освещена в книге Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором». Как считает М. Г. Салупере, указанные особенности записок о Погодине и Полевом делают неубедительным предположение об авторстве Булгарина. И сама осведомленность анонима значительно превышает его возможности. Кроме того, записки эти не содержат никаких данных, которые фон Фок мог бы получить только от Булгарина. Необходимо беспристрастное изучение фактов и источников, подчеркнула в заключение исследовательница.

Зав. литературным отделом музея А. С. Грибоедова в с. Хмелита Н. П. Балунова остановилась на характеристике смоленских связей семьи Грибоедовых. Анализ их был проведен на основе изучения архивных материалов ЦГИА СССР, связанных с конфликтом деда А. С. Грибоедова, Федора Алексеевича, а затем его сына, дяди А. С. Грибоедова, Алексея Федоровича в связи с постройкой в соседнем с Хмелитой селе Григорьевском церкви и устройством нового прихода. Доклад также содержит новые сведения о семье Лыкошиных, знакомых А. С. Грибоедова; сделана попытка составить генеалогию рода Лыкошиных — Колечицких — Рачинских.

В докладе «Грибоедов в ассоциативном контексте романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» Ю. Н. Борисов (Саратов) привел многочисленные примеры реминисценций из «Горя от ума» в романе Булгакова, связанных в основном с сатирическим изображением московской жизни.

Директор музея А. С. Грибоедова в с. Хмелита В. Е. Кулаков обратился к участникам конференции с просьбой о поддержке обращения музея в Министерство культуры РФСФР. Речь идет о необходимости полной реставрации и музеефикации Хмелиты. Дело движется чрезвычайно медленно, хотя в материальных средствах недостатка нет. В. Е. Кулаков поставил также вопрос о создании Грибоедовского комитета.

Закрывая конференцию, С. А. Фомичев отметил, что по материалам прочитанных докладов будет издан сборник «А. С. Грибоедов. Проблемы творчества».

А. К. Михайлова

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ НЕКРАСОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

29—30 января 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась XXV (юбилейная) Некрасовская конференция. В ней приняли участие литературоведы Москвы, Ленинграда, Коломны, Орла, Иванова, Костромы, Саратова, Череповца, Еревана, Одессы, Пскова, Ивано-Франковска, Ярославля, Краснодара, Кривого Рога, Ленинобада, Уфы.

Во вступительном слове заместитель директора института, доктор филол. наук О. В. Творогов напомнил, что Первая Некрасовская конференция состоялась 40 лет тому назад, 15 января 1950 года. Ее организатором и инициатором был В. Е. Евгеньев-Максимов — большой ученый и яркий человек, которого смело можно назвать основоположником как дореволюционного, так и советского некрасоведения, создателем огромной школы исследователей. За эти годы выросло несколько поколений некрасоведов. Их усилиями много сделано и в области текстологии, и в изучении цензурных материалов, и в исследовании сложных проблем биографии и творчества Некрасова. Современное некрасоведение, как и во все времена, формируется в процессе подготовки академического издания сочинений и писем Некрасова, в подвижнической музейной работе («Карабиха», «Грешнево», «Чудовская Лука», Музей-квартира Некрасова — Литейный, 36) и в не менее подвижническом вузовском труде. Однако подводить итоги (что подразумевает всякий юбилей) преждевременно: еще не завершено академическое издание Некрасова, не созданы большие обобщающие труды о Некрасове—литераторе и журналисте.

Открывая конференцию, ее участники почтили память ученых-некрасоведов: В. Г. Базанова, А. И. Груздева, А. М. Гаркави, М. М. Гина, Б. О. Кормана, В. Э. Бограда, С. А. Рейсера, Б. Я. Бухштаба, Е. Г. Бушканца, — много сделавших в изучении наследия поэта. На четырех заседаниях было заслушано и обсуждено тридцать три доклада.

В полемическом выступлении «К вопросу об эволюции лирической системы Некрасова» доктор филол. наук М. В. Теплинский (Ивано-Франковск) обратил внимание на то, что утвердившееся в литературоведении представление о реалистической лирике Некрасова требует пересмотра. По мнению докладчика, нет никаких оснований отстаивать мысль о неизменности лирической системы поэта, приверженности его только реалистическому методу (точка зрения В. Д. Сквозникова, Б. О. Кормана). Смысл эволюции, которую претерпевала в своем развитии лирика Некрасова, докладчик обозначил формулой: от реализма до романтизма. В зрелом творчестве Некрасова исчезает культура многоголосья, свойственная более ранним периодам, на первое место настойчиво выдвигается самоанализ, «пока-

янная лирика». Процесс этот явно совпал с ростом романтических тенденций в русской литературе 1870-х годов.

В духе концепции М. В. Теплинского был построен не во всем бесспорный доклад З. П. Ермаковой (Кривой Рог) — «„Мать“ — как романтическая поэма», вызвавший полемику. Мысль о романтичности поэмы докладчица обосновала исходя из анализа стилистики поэмы, сильной лирической струи в ней, ее пейзажа, образа героини, лишенного, по мнению З. П. Ермаковой, бытовых и социально-биографических мотивировок.

Доклад канд. филол. наук Л. Н. Душиной (Саратов) «О содержательности ритма „Трех элегий (А. Н. Плещееву)“ Некрасова» был посвящен рассмотрению элегичности как особого качества некрасовской поэтики, укрупняющей его элегию как жанр. В процессе литературного анализа докладчица проследила как соприкосновение Некрасова с традиционным жанром, так и его противоборство с жанровой традицией: лексическое, стилистическое и интонационное. По наблюдениям докладчицы, стилистика и ритм определяют драматическое содержание «Трех элегий», в которых ритм выполняет огромную смысловую функцию.

Канд. филол. наук Н. Н. Мостовская (Ленинград) выступила с докладом «Стихотворение „Поэт и гражданин“ в литературной традиции». Усматривая в формуле «общественно-политическая и эстетическая декларация» (по отношению к стихотворению) известную инертность и окаменелость, докладчица попыталась выяснить литературные истоки «Поэта и гражданина» как произведения, органически вписывающегося в контекст всего творчества художника и общественно-литературной эпохи в целом. Выявляя литературную родословную «Поэта и гражданина», Н. Н. Мостовская проследила в нем творчески преломленное «пушкинское» во всех его модификациях, торжественно приподнятую стилистику декабристской поэзии (не только известную реминисценцию из посвящения Бестужева к поэме Рыльева «Войнаровский»), прямые реминисценции из Радищева. На основании сопоставительного текстологического анализа монологов Гражданина и радищевской «Беседы о том, что есть сын отечества», в которой говорится о высоком предназначении истинного гражданина и охарактеризованы те, кто недостойн носить имя «полезного сына отечества», докладчица заметила, что некрасовские строки «А что такое гражданин? — Отечества достойный сын» являются перефразированной цитатой из «Беседы...» Радищева. Кроме того, Некрасовым осуществлен тот же смысловой и композиционный прием в монологе Гражданина, в котором перечислены все те, кто не могут называться «достойными сынами отечества». Анализируя стихотворение «Поэт и гражданин» на фоне не привлекавшей внимания исследователей

журнальной публицистики, переписки современников, «Материалов для биографии Пушкина» П. В. Анненкова, статьи Пушкина о Радищеве, докладчика высказала предположение, что апелляция Некрасова к Радищеву происходила опосредованно — через литераторов-декабристов (прежде всего Рылеева) — и прямо соотносилась с интересом Пушкина к автору «Путешествия из Петербурга в Москву».

Канд. филол. наук Н. Н. Пайков (Ярославль) в докладе «Духовно-личностная проблематика поэмы Некрасова „Несчастные“» обратил внимание на первую, малоисследованную главу поэмы, отметив в ней автобиографические и социально-типические мотивы (размышление человека о смысле избранного им пути, приведшего его к духовному крушению). Центральную идею поэмы докладчик усматривает не в демократической проповеди политического заключенного Крота, а в мысли о «духовной жажде» человека массы, о необходимости и возможности его «воскрешения». Так, по мнению Н. Н. Пайкова, в процессе работы над поэмой у Некрасова утверждается диалектический взгляд на соотношение духовных ценностей «мира почвы» (провинции) и «мира деяния» (столицы) и впервые художественно обосновывается идея Родины как универсальной бытийно-духовной ценности, находящей свое оправдание в социально-исторической перспективе.

Об использовании Некрасовым фольклорной символики, поэтики лубка, райка, театра Петрушки речь шла в докладе Т. П. Баталовой (Ярославль) «„Коробейники“. Художественное осмысление народной культуры».

На конференции прозвучали доклады, освещающие сложные вопросы атрибуции некрасовских текстов, важные в период подготовки и издания академического собрания сочинений Некрасова. Канд. филол. наук В. А. Громов (Орел) высказал несколько соображений о стихотворении «Я посягну на неприличность...», позволяющих датировать его началом декабря 1853 года. Написанное в связи с приездом Тургенева из ссылки 9 декабря, оно прозвучало на званом обеде в редакции «Современника» 13 декабря в честь возвращения писателя, одного из самых активных сотрудников журнала. По убеждению докладчика, стихотворение Некрасова, посвященное Тургеневу, представляет собой по времени первую попытку поэтического осмысления места и роли автора «Записок охотника» в литературно-общественном процессе 1840—1850 годов.

Канд. филол. наук Б. В. Мельгунов (Ленинград) сосредоточил внимание на раннем творчестве Некрасова. Обнаруженные докладчиком новые материалы, в том числе и архивные, позволили ему сделать вывод: «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни» (1841) писались Некрасовым совместно с Ф. А. Кони; автором стихотворной афиши «Кабинет восковых фигур...» (1843) и фельетонных миниатюр «Провинциальные афиши» и «Остроумные надписи» был, по всей вероятности, также Кони, а не Некрасов.

Доклад доктора филол. наук Ф. Я. Приимы (Ленинград) был посвящен поэтическим и прозаическим произведениям Некрасова, в которых появляется образ бурлака (встречающийся в предшествующей и современной поэту литературе редко), и прежде всего атрибутированию Некрасову анонимной рецензии «Песни крестьян Владимирской и Костромской губерний, собранные и изданные... А. Смирновым. М., 1847» (опубликованной в № 8 «Современника» за 1847 год). Докладчик аргументировал свое утверждение о принадлежности Некрасову этой рецензии следующими мотивами: по-видимому, это первое по времени сочинение Некрасова, посвященное «бурлацкой теме», так как в рецензии упоминается образ бурлака-костромича, тянувшего баржу, груженую хлебом, — образ, близкий некрасовскому мужику, возделывающему хлебное поле; автор рецензии — превосходный знаток ярославского фольклора; автобиографическое свидетельство Некрасова о том, что в 1847 году (в период отъезда Белинского за границу) он «писал много рецензий»; книга песен, изданная А. Смирновым, находилась в библиотеке Некрасова.

В докладе кандидатов филол. наук Б. Л. Бессонова (Ленинград) и М. А. Марусенко (Ленинград) «Об авторстве романа Некрасова и А. Я. Панаевой „Три страны света“ (по данным ЭВМ)» были сопоставлены результаты двух исследований: филологического, основанного на сближении творческих и биографических показателей авторства, и математико-лингвистического, оперирующего данными стилистрики. Методики, одна из которых отправлялась от автора к тексту, а другая шла обратно, сошлись в атрибуции лишь шести глав. Относительно остальных шестидесяти двух показаний расходятся. При этом в тридцати семи случаях результаты, полученные с помощью ЭВМ, отмечены как не вполне наглядные. Из них двадцать девять приходится на И. А. Панаева, шесть на Некрасова и два на Панаеву. Что касается отчетливых результатов (тридцать один случай), то по стилистическим данным наибольшее число глав — тринадцать — принадлежит в романе Панаеву, на одну главу меньше — Панаевой и только лишь шесть — Некрасову. По мнению содокладчиков, традиционно-филологическая и математико-лингвистическая методики взаимно обогащаются от творческого «соревнования», но та и другая еще не достаточно разработаны, поэтому комплексное исследование продолжается. Его предметом стало «Мертвое озеро» — второй и последний роман, подписанный именами Некрасова и Панаевой.

Доклады о Некрасове-прозаике отличались разнообразием методов исследования. В докладе канд. филол. наук Н. Л. Вершининой (Псков) «Элементы сентиментальной поэтики в прозе Некрасова 1840-х годов» на материале ранних повестей писателя, романа «Жизнь и похождения Тихона Гростникова» рассматривалась проблема преобразования сентиментальных

символов в необычном для них реалистическом окружении; новое содержание, которым они наполняются в контексте присутщего беллетристики этих лет сочетания романтического и «натурального» стилей. В результате анализа ранней прозы Некрасова Н. Л. Вершинина пришла к выводу, что «поворот к правде», о котором писал Некрасов, совершился путем оттапливания от утратившего почву романтизма и движения к реалистическому мироощущению через посредствующий «сентиментальный» этап.

Канд. филол. наук М. Н. Зубков (Москва) остановился на историко-литературном анализе романа «Три страны света». Пафос его выступления сводился к тому, что это, по его мнению, глубоко проблемное произведение Некрасова и А. Я. Панаевой недооценено критикой и литературоведением. Художественно воплощенные в нем темы труда, народа (глава «Записки Каютина») не дают оснований для определения жанра «Трех стран света» как «авантюрного романа».

Несколько докладов было посвящено поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Доктор филол. наук В. Г. Прокшин (Уфа) в обобщающем выступлении «Концепция творческого пути Некрасова» подвел итоги своим многолетним исследованиям проблематики, жанра поэмы, ее места в творчестве поэта, обозначив суть концепции как путь к эпопее.

«Философия „возраста“ в поэме Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“ — тема доклада доктора филол. наук В. А. Кошелева (Череповец), в котором анализировались возрастные обозначения героев поэмы, их соотношение с обликом носителей «старого» и «молодого» возраста, возникающие на стыке бытовых и художественных ситуаций. По мнению докладчика, возрастные «неувязки» поэмы «старуха» Матрена Тимофеевна — «лет тридцати осьми» и т. д.) не свидетельствуют «недомотра» или необработанности замысла, а показатель особенного отношения поэта к «вечной» проблеме человеческого возрастания. Лица, «выбившиеся» из «круга жизни» — своеобразные исключения, становятся в то же время наиболее показательными для представления этого «круга», традиционного в народном быту.

В докладе канд. филол. наук В. А. Сапогова (Псков) «Проблема добра в поэме Некрасова „Кому на Руси жить хорошо“» рассматривался этический аспект поэмы, который полярно выражен в двух героях: Савелий, олицетворяющий народное начало; Гриша Добросклонов, условно говоря, — «интеллигентское».

Канд. филол. наук А. В. Чернов (Череповец) в докладе «„Пир на весь мир“ в общественно-политической ситуации 1876—1877 годов» сосредоточил свое внимание на сопоставлении «Пира...» и «Дневника писателя» Достоевского на 1876 год, что, по наблюдению исследователя, позволяет по-новому оценить специфику проблематики и образной системы самой драматической главы поэмы Некрасова. В качестве основных и близких у Некрасова и Достоевского

тем названы народ и интеллигенция, война и мир, активный деятель.

«Топография и географические реалии в поэме „Кому на Руси жить хорошо“» — тема доклада С. В. Смирнова (Ярославль), который на основе изучения реалий пришел к выводу, что топографию поэмы неправомерно отождествлять с топографией какой-либо конкретной местности. Она значительно шире и олицетворяет судьбы народа и поиски судьбы, всеобщее разорение и распад. Обилие в поэме реалий Ярославско-Костромского края объясняется тем, что именно здесь происходил массовый уход крестьян с земли (в виде отходничества).

Канд. филол. наук В. А. Паршина (Ярославль) рассказала в своем докладе о принципах составления словаря поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Опыт подобной работы (подготовка нескольких выпусков «Указателя слов в поэтических произведениях Н. А. Некрасова») на кафедре русского языка Ярославского пединститута уже есть.

Ряд докладов были посвящены проблеме: Некрасов, воспринимаемый в контексте той или иной исторической эпохи. Доктор филол. наук Г. В. Краснов (Коломна) в докладе «Диалог с читателем. Жанр „Заметок о журналах“ 1855—1856 годов» отметил литературно-критический журнализм некрасовских обзоров, их взаимосвязанность с «Журналистикой», «Литературными и журнальными заметками», «Отечественных записок»: сближение мнений (например, в «Отечественных записках», 1855, № 11 и «Современнике», 1856, № 2), полемические выпады, разные подходы к одним и тем же писателям (Л. Толстой, В. Г. Бенедиктов и др.).

Канд. филол. наук В. В. Тихомиров (Иваново) обратился к малоисследованной теме «Некрологи как источник сведений о личности и творчестве Некрасова». Докладчик заметил, что, кроме традиционных положительных оценок личности покойного, появлялись некрологические статьи, авторы которых включались в полемику о степени искренности «музы мести и печали» Некрасова. В их числе были не только заведомые противники поэта (Евг. Марков), но и критики и публицисты демократической ориентации (редакция журнала «Дело», в частности Н. В. Шелгунов). По мнению В. В. Тихомирова, достаточно распространенное возращение о противоречивости поэтической позиции Некрасова не было случайным и соответствовало истинному положению вещей.

Доктор филол. наук Л. А. Розанова (Иваново) в своем докладе «Оценка поэзии Некрасова между двумя революциями 1917 года (по материалам провинциальной печати)» рассказала о результатах изучения четырнадцати городских, уездных, губернских газет и тогда же появившихся нескольких сборников, в которых содержалось много интересных материалов о Некрасове. Их авторы, различные по профессиональному и социальному составу, обращались к поэту как к Учителю, поэту всей Руси. Сделанные докладчиком наблюдения позволяют по-новому поставить проблему «Некрасов и чи-

татель», важную для понимания истории культуры начала века.

Канд. филол. наук А. З. Дун (Ленинабад) в своем выступлении «Из жизни некрасовских строк» сосредоточился на обнаруженных им многочисленных цитатах и реминисценциях из поэзии Некрасова в статьях малоизвестного литератора и публициста А. Т. Цаликова, напечатанных в 1900-е годы в журнале «Живое слово».

В докладе канд. филол. наук Т. С. Царьковой (Ленинград) «Некрасов в эпиграммах конца XIX — начала XX века» речь шла о сложном процессе восприятия литературного имени писателя после его смерти в таком жанре, как эпиграмма. Предметом наблюдений докладчицы были материалы, содержащиеся в журналах 1870-х годов («Стрекоза», 1879, № 3 — автор «Сентиментальный поэт» — псевдоним Г. А. Немирова), 1900-х годов («Заноза», 1906, № 3 и др.) и в более поздних публикациях (в частности, стихотворение В. Эрлиха «Некрасов», 1928 год).

В ряде докладов освещались разные аспекты проблем: Некрасов и современники, Некрасов в восприятии писателей последующих поколений. Канд. филол. наук В. А. Викторович (Коломна) рассмотрел соотношение нравственных и социальных мотивов в творчестве Некрасова и Достоевского. По мнению докладчика, взаимопроникновение идейно-художественных систем этих писателей может служить аргументом в пользу представления об их общности. О щедринском начале в поэтике Некрасова и щедринской концепции читателя как своего рода ориентире для поисков Некрасовым художественных средств выражения читательского сознания и диалогизации повествования говорил в своем докладе «Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин» канд. филол. наук А. П. Ауэр (Коломна). «Некрасов и А. А. Фет о содержании поэзии» — тема выступления Н. К. Кашиной (Кострома). Анализируя статью Некрасова «Русские второстепенные поэты» (1850) и статью Фета «О стихотворениях Тютчева» (1859), а также стихотворения Некрасова и Фета 1850-х годов (до выхода в свет сборника Некрасова 1856 года), Н. К. Кашина заметила как своеобразие этих художников в понимании поэзии, так и определенную близость их поэтических систем в этот период. Канд. филол. наук Ю. П. Фесенко (Луганск) в докладе «В. И. Даль и Некрасов. К постановке проблемы» предложил пересмотреть устоявшуюся в литературоведении точку зрения о творческих расхождениях между этими писателями. Аргументируя свою позицию, Ю. П. Фесенко обратился к анализу стихотворений Некрасова «Филантроп», «Всевышней волею Зевеса...», черновики поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а также к архивным материалам, содержащим положительные суждения Даля о Некрасове. О некрасовской традиции в повести И. А. Бунина «Деревня» речь шла в докладе канд. филол. наук Н. Г. Морозова (Кострома), затронувшем в повести Бунина некрасовские

реминисценции (из поэм «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо») и известные аналогии в освещении этими писателями темы вымирания патриархального крестьянства. Канд. филол. наук С. П. Ильев (Одесса) в докладе «Некрасов в кругу русских символистов» проследил творческие переключки, параллели, типологические схождения у символистов и Некрасова. По мнению докладчика, объяснение этому явлению — в художественной перспективности урбанизма (присущего русской и мировой поэзии) и в стилиевой множественности системы символизма. Канд. филол. наук К. С. Сапаров (Ереван) выступил с сообщением «Некрасов в системе воззрений В. Я. Брюсова в долитературный период и в 1890-е годы», в котором проследил эволюцию отношения Брюсова к творчеству поэта: от детского «благоговения», затем неприятия поэтической системы Некрасова (в середине 1880-х годов) до серьезного внимания к Некрасову (в конце 1890-х годов) в период начала распада литературно-эстетической системы символизма. Проблеме традиций Некрасова в философской лирике Н. Заболоцкого был посвящен доклад канд. филол. наук Л. С. Волковой (Краснодар), «Первый зырянский поэт И. А. Куратов и некрасовская школа» — тема выступления доктора филол. наук Н. В. Вулих (Ухта), рассказавшей о творчестве зырянского поэта, создавшего свою оригинальную поэзию в жанрах, характерных для школы Некрасова.

На конференции также выступил сотрудник Музея-усадьбы Некрасова «Карабиха» В. И. Яковлев (Ярославль) с сообщением «К вопросу о владениях дворянского рода Некрасовых в Ярославской губернии». В нем речь шла об уточнении истории родовой усадьбы дворян Некрасовых (сельцо Грешнево) как истории рода Некрасовых. О новых материалах, связанных с историей некрасовской школы в селе Абакумцево, обнаруженных в 230 фонде (Ярославская духовная консистория) ГАЯО, рассказал заведующий филиалом «Абакумцево» Г. В. Красильников (Ярославль).

В обсуждении докладов приняли участие Г. В. Краснов, Л. А. Розанова, В. Г. Прокшин, М. В. Теплинский, М. Н. Зубков, Ж. Ф. Ананьина, Р. Б. Заборова, Б. В. Мельгунов, Н. Н. Мостовская и др. Выступавшие отметили высокий научный уровень конференции, «многоголосье» на ней как неизбежную примету времени и состояния некрасоведения; высказали пожелание создавать новые обобщающие труды о Некрасове, привлекать в качестве участников молодых некрасоведов и проводить заседания не в два, а в три дня.

Участники и гости конференции тепло поздравили с 80-летием О. В. Ломан, старейшего некрасоведа, организатора Музея-квартиры Некрасова (Литейный, 36), сподвижницу В. Е. Евгеньева-Максимова, К. И. Чуковско-

Н. Н. Мостовская

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ»

23—25 мая 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) состоялась научная конференция «Славянофильство и современность». В ней приняли участие ученые из Ленинграда, Москвы, Ярославля, Томска, Череповца, Волгограда, Краснодара, а также зарубежные специалисты.

Вступительное слово произнес заместитель директора института доктор филол. наук О. В. Творогов.

Первый доклад — «О национальных истоках славянофильства» — сделал доктор филол. наук Ю. В. Стенник (Ленинград). Он проанализировал литературные явления XVIII—начала XIX века, которые, отражая рост национального самосознания, объективно предвосхищали пафос славянофильских умонастроений. Сами славянофилы называли в ряду своих предшественников А. С. Шишкова, Н. И. Болтина, А. С. Грибоедова. А. И. Герцену принадлежало высказывание о предславянофильстве князя М. М. Щербатова. Но, по мнению докладчика, гораздо с большими основаниями об истоках будущих славянофильских исканий можно говорить применительно к позиции позднего Н. М. Карамзина и к творчеству А. С. Пушкина 1830-х годов. Для уяснения же исторической перспективы формирования предславянофильства в XVIII веке принципиальными являются мысли К. Аксакова, высказанные им в статье «О Карамзине» (1848), где жизнеспособность литературы XVIII века связывалась с ее способностью противостоять европейскому влиянию.

Ю. В. Стенник наметил два этапа формирования истоков славянофильства. На первом этапе водораздел между предславянофильскими умонастроениями и насаждавшимся сверху западничеством обозначился в полемике, которая возникла вокруг «норманской теории» происхождения русской государственности между немецкими учеными Г. З. Байером и Г. Ф. Миллером и между М. В. Ломоносовым и В. К. Третьяковским, а также в выступлениях Екатерины II против сочинения аббата Шаппа д'Отроша «Путешествие в Сибирь...» и Н. И. Болтина против «Истории России... древней и новой» французского историка Н. Леклерка, вышедшей в Париже в 1783—1787 годах.

На втором этапе в обстановке наметившейся смены приоритетов культурного сознания борьба с западнической ориентацией общественной мысли происходит внутри самой русской литературы, и представители предславянофильского направления выступают Н. И. Новиков, П. А. Плавильщиков, А. И. Тургенев и А. С. Шишков.

Доктор филол. наук В. А. Кошелев (Череповец) в докладе «Славянофилы и официальная народность» рассмотрел проблему оценки «официальной народности» — одного из нашедших идеологических течений 1830—1850 го-

дов, представленном именами М. П. Погодина и С. П. Шевырева. Анализируя разветвленную «мифологизированную» систему отношений славянофилов и руководителей «Москвитянина», докладчик пришел к выводу, что применительно к этим отношениям нельзя ограничиваться простой констатацией степени «консервативности», «реакционности» (или, напротив, «либерализма»). Исследовав многие конкретные эпизоды деятельности М. П. Погодина и С. П. Шевырева в 1840—1850 годах, В. А. Кошелев показал, что они в это время выступали гораздо острее, чем К. С. Аксаков или И. В. Киреевский. Характерной мифологемой оказывается, по мнению докладчика, и пресловутая уваровская триада («православие, самодержавие, народность»), которая вообще имеет смысл только в рамках какой-либо конкретной идеологической системы: организующим звеном ее становится понятие «народности», предельно широкое и неконкретизируемое. Поставленный вопрос, сказал в заключение В. А. Кошелев, заслуживает дальнейшего изучения, в особенности для рассмотрения взаимосвязей «официальной народности» и других направлений общественной мысли той эпохи (западничество, почвенничество, правительственная идеология и др.).

С докладом «Православие в историко-культурной концепции А. С. Хомякова и Н. В. Гоголя» выступила канд. филол. наук Е. И. Анненкова (Ленинград). В истолковании исторической роли и сущности православия, его отличия от западных вероучений, сказала она, у Гоголя и Хомякова немало общего. Гоголь в теоретических статьях «Арабесок», а Хомяков в «Записках о всемирной истории» исследуют историческую роль христианства, но уже на первых этапах изучения православие (сберегающее истинную сущность христианского вероучения) воспринимается не как некая теоретическая система, концепция жизни, а как мироощущение, которому доступна цельность, «внутренняя правда», «живой закон единения». Есть близость между Гоголем и Хомяковым и в негативных оценках католицизма, «беззаконно и жестоко», как замечал Хомяков, разорвавшего единство церкви, и в понимании сущности церкви и ее исторической роли. Но, полагает Е. И. Анненкова, художническая природа Гоголя и философская, аналитико-теоретическая природа Хомякова разделяла их едва ли не больше, чем сближали. Художественное творчество Гоголя обнаруживает не внутреннее тяготение, а неслиянность религиозного и эстетического начал. «Выбранные места из переписки с друзьями» позволяют видеть, что для этого писателя истина церкви и дело жизни не только не взаимосвязаны, но противоположны. Попытка объединить богословское учение и писательское слово («Размышления о Божественной Литургии») не была завершена. Славянофилы категорически не приняли «Выбранные места...», увидя в них гордыню,

ложь, гипертрофированность авторской личности, чуждые православному мироощущению, и сопоставление истолкований православия Гоголем и Хомяковым дает ключ к пониманию этого, подвела итог Е. И. Анненкова.

Доклад Н. В. Серебrenникова (Томск) был посвящен историческим запискам А. С. Хомякова в связи с «Философическими письмами» Чаадаева. Ответом Хомякова на «Философические письма», по мнению Н. В. Серебrenникова, можно считать не только статью 1836 года «Несколько слов о философическом письме», но и так называемые «Записки о всемирной истории» (1837—1852). Главная мысль «Философических писем» — в необходимости для человека и для народа ведущей идеи и неуклонности ее от вечных истин. Исследованиям истины исторических идей посвящены и хомяковские записки. Наряду с конструктивной критикой некоторых исторических выкладок Чаадаева, сказал докладчик, мы видим у Хомякова и ряд положений, вполне согласных с установками противника (вера как определяющее начало культуры, народ как нравственное существо, внутреннее чутье как «инстинкт истины» и т. д.). Основной спор Хомякова с Чаадаевым — спор о России. «Движение нравственной идеи» — вот что хотел видеть и не видел Чаадаев в русской истории, даже усматривая в славянстве некую безначальную общность. Напротив, основной пафос исторических записок Хомякова направлен на то, чтобы найти корни славянства в глубине тысячелетий. Хомяков ловит Чаадаева на том, сказал Н. В. Серебrenников, что славянин является тем человеком, идеал которого изображен Чаадаевым, ведь славянин довел свою подчиненность Богу «до совершенного лишения себя своей свободы», а как раз это Чаадаев и называет «высшей степенью человеческого совершенства». Но ни «Философические письма», ни исторические записки Хомякова не дают ответа на вопрос, какая идея доверена Промыслом русскому народу, заключил свой доклад Н. В. Серебrenников. На подступах к этому ответу Хомяковым выстроен костяк того учения, которое в своей жертвенно-мессианской форме получило название Русской идеи.

Последним в этот день выступил А. Л. Осповат (Москва). Он зачитал текст недавно найденной в парижском архиве Н. И. Тургенева и переведенной с французского «Докладной записки» Ф. И. Тютчева Николаю I (1843), которая после долгих разысканий наконец стала доступна научному исследованию. В кратком сопроводительном слове А. Л. Осповат подчеркнул значимость этого документа.

Второй день работы конференции начался с доклада канд. филол. наук А. М. Буланова (Волгоград) «Рациональное и сердечное в теории познания и эстетике славянофилов». Нет сомнения, сказал А. М. Буланов, что важнейшее место в философских исканиях и теориях «западников» и «славянофилов» занимали политические и социальные проблемы. Однако столь же ясно, что утверждение в теории познания

примата «рационального» (дискурсивного) или «сердечного» (интуитивного) относится не только к эпистемологии; в действительности, определяя концепцию человека, рациональные или эмоциональные «основания бытия» определяют и решение важнейших проблем общественного движения России. К моменту, когда в русской общественной мысли наметился раскол на «западников» и «славянофилов», в европейской философии (в России это произошло несколько позже) уже начался процесс разделения единой рациональности на рациональность знания, отождествляемую с рассудочной упорядоченностью, и рациональность действия, отождествляемую со способностью добиваться предрассчитанного успеха (по выражению Н. С. Автономовой).

В связи с этим необходимо отметить, что поиски «самостоятельного» пути в области теории познания были представлены в русской мысли более широко, чем считалось до сих пор, и не только ранними славянофилами. Так, во «Введении в философию» В. Н. Карпова находим утверждение, что путь русской философии «синтетический». «Человеческое существо проявляется в трех главных видах жизни: в мышлении рассудка, в хотении воли и в чувствованиях сердца». Нетрудно обнаружить в этих, не во всем таких уж оригинальных идеях общее со славянофильской концепцией гносеологического антирационализма.

Проблематика «ума и сердца», их соотношения, получившая принципиальное значение в творчестве русских писателей второй половины XIX века, когда у Достоевского «сердце» становится полем битвы между Богом и дьяволом, во многом вобрала в себя положения гносеологии и эстетики славянофилов.

Первые попытки чисто философской рефлексии «сердечного познания» в славянофильской критике осуществлялись на путях противопоставления рационального и иррационального. В ней отразились те сомнения во всеилии рационализма как философского направления, которые в европейской мысли обозначил никому тогда не известный датский философ С. Кьеркегор.

Логически-отвлеченному познанию противопоставляется иной подход, а по сути, иное понимание отношений субъекта и объекта при совершенно отличном понимании природы познающего и творящего субъекта: единство познания и веры у И. В. Киреевского, их «синтез» у А. С. Хомякова, отделение «чувства» от «ума» в эстетике К. С. Аксакова. Но это совсем не означает бесплодного отрицания разума и не может трактоваться как обскурантизм. Проблематика рационального и эмоционального, сказал А. М. Буланов, завершая доклад, в русской философской и художественной мысли была достаточно напряженной. И, как теперь становится очевидным, эту напряженность в сильнейшей степени поддерживала религиозно-философская мысль, в частности, возродившаяся в первой трети XIX века традиция восточной христианской аскетики.

Затем с докладом «Место Ап. Григорьева

в исторической последовательности: славянофильство — „молодая редакция“ „Москвитянина“ — почвенничество» выступил Р. Виттакер (Нью-Йорк). Он рассмотрел отношения Ап. Григорьева к славянофильству в 50-е годы XIX века как «молодого редактора» «Москвитянина» и в 60-е годы как критика почвеннических журналов. В 1856 году Ап. Григорьев объяснял А. И. Кошелеву, что «молодая редакция» расходится со славянофилами во взгляде на искусство, которое она ставит выше науки, и не может согласиться с тем, что наиболее сохранившей веру, нравы, язык частью общества является крестьянство. Лучшим носителем русской народности Ап. Григорьев считал купечество. В 50-е годы его отношение к аристократической культуре (представителями которой он считал и славянофилов) было отрицательным. В письмах из Флоренции Ап. Григорьев объяснял, что славянофильство как теория видит только искусственное единство в русской народности, между тем как последняя, в сущности, двойственна. Народное, типическое русское состоит из старого и нового на разных уровнях — историческом, общественном, культурном, духовном, бытовом. Русское народное православие Ап. Григорьев также считал двойственным, соединяющим христианство и язычество. Критические статьи 1859—1860 годов, в которых он развивал эти идеи, положили начало почвенничеству. Но он не участвовал в создании почвенничества как журнального направления и был не согласен с некоторыми мнениями «Времени» и «Эпохи». Ап. Григорьев не хотел, чтобы почвенничество стало новым типом славянофильства в согласии с его концепцией о двойственности русской народности. Смерть застала Ап. Григорьева на пути к созданию этого нового типа славянофильства и, таким образом, по словам Страхова, старые «славянофилы победили».

В докладе «Сложная эволюция славянофильства в 1860-х годах» доктор филол. наук Б. Ф. Егоров (Ленинград) показал, как уход из жизни основателей славянофильства (братьев Киреевских, Хомякова, К. Аксакова) к началу 1860-х годов и напряженные общественно-политические события этого десятилетия (реформы, революционное движение, польское восстание) обусловили разногласия между младшими славянофилами (И. Аксаковым, Ю. Самариним, А. Кошелевым, князем В. Черкасским, В. Елагиным, Ф. Чижовым и другими). У некоторых из них стали проявляться элементы панславизма в сочетании с великодержавными, «русификаторскими» тенденциями, особенно ярко проявившимися в публицистике профессора-слависта В. И. Ламанского (1833—1914), в то время как у ранних славянофилов такого сочетания не было: они приближались к панславизму как к идее единения славян, но совершенно вне русификации.

Великодержавный панславизм у поздних славянофилов стал более широко распространяться в 1870-х годах, а к началу XX века пошел на убыль: неославянофилы, как правило, не

были им заражены. В радикальном общественно-политическом движении, наоборот, великодержавные начала (впрочем, совершенно без панславизма) были достаточно заметны у мыслителей 1840-х годов, особенно в работах Белинского; в 1860-х годах они сменились прочным федерализмом, а в следующем веке возродились после 1917 года.

В докладе В. М. Лурье (Ленинград) «Учение А. С. Хомякова о Святой Троице и Церкви» были рассмотрены важнейшие положения богословия А. С. Хомякова в сопоставлении со святоотеческим, в особенности поздневизантийским богословием. Церковь пребывает во внутренней жизни Св. Троицы, так что в ней как в Теле Христовом пребывает «от Отца исходящий и в Сыне почивающий Святой Дух», полагал А. С. Хомяков. Это учение соответствует святоотеческому, но противоречит латинской схоластике, на которой строилось тогда преподавание в духовных академиях. Отсюда плохое понимание Хомякова современниками, что выразилось даже в искажениях его мыслей при переводе его брошюр, которые были написаны им по-французски. Особое значение для понимания Хомякова имеет латинская заметка о Св. Троице, недавно атрибутированная ему Н. В. Серебрянниковым. В ней Хомяков подходит к учению о нетварных энергиях Божиих и о вечном воссиянии Духа через Сына.

С докладом «Революционные демократы и славянофилы: две линии в развитии русской культуры» выступил канд. филол. наук И. В. Кондаков (Москва). Он охарактеризовал славянофильство и революционный демократизм как два альтернативных направления в развитии русской культуры, находящихся в постоянном противоборстве и взаимодействии начиная с 1840-х годов и представляющих в конечном счете диалектическое единство двух противоположных тенденций, действующих в любой национальной культуре, — центростремительной, способствующей сохранению национальной специфики культуры, и центробежной, обеспечивающей выход культуры за свои условные пределы, т. е. ее историческое развитие. Это явление прослеживается в русской культуре на протяжении уже по крайней мере трех столетий начиная с реформ Петра I, обогащая оба направления. Однако внутренний драматизм национально-исторического развития России создавал все меньше условий для взаимообогащающего диалога направлений, до предела поляризовал их по отношению друг к другу, вплоть до неразрешимого антагонизма. Исторически закономерный «соблазн радикализма» затягивал русскую культуру в своеобразную социально-политическую воронку; критериями социокультурного прогресса стали почитаться классовая ненависть, апология социально-политической борьбы, нетерпимость к любому инакомыслию, претензии на монополизм в обладании последней (на данный исторический момент) истиной и т. д. Прослеживается прямая линия от «Письма Белинского Гоголю» — через «Очерки гоголевского периода русской литера-

туры» Чернышевского, статьи Добролюбова, Писарева, Михайловского и Плеханова — к ленинскому манифесту «Партийная организация и партийная литература» и далее к вульгарно-политической «эстетике» сталинизма. Сегодня становится очевидно, заключил И. В. Кондаков, что исторически неизбежное нарушение баланса в развитии национальной русской культуры явилось ее исторической трагедией, последствия которой ощутимы до сих пор.

В докладе «И. С. Аксаков в Ярославской губернии» С. В. Смирнов (Ярославль) подчеркнул значение изучения биографий славянофилов, взаимозависимости и слитости их образа жизни с их идеями и деятельностью. С. В. Смирнов рассказал о прислужной и прилитературной деятельности И. С. Аксакова по объединению ярославских краеведов, определяемой его восприятием памятников культуры, обычаев, фольклора. И. С. Аксаков оказал большое влияние на ярославских краеведов С. Серебrenникова, Е. Трехлетова, И. и П. Серебrenниковых, А. Артынова, Н. Хлебникова, А. Финютина. Он и сам непосредственно занимался краеведением. Его работа с ярославскими краеведами была первой попыткой осмысления значения краеведения и его места в литературе как пути формирования питательной среды для распространения славянофильских идей; она была прообразом его публицистической деятельности.

Доклад канд. филол. наук Н. Н. Мостовской (Ленинград) «Об одной пародии на славянофилов» был посвящен полемике славянофилов и западников, отраженной в творчестве писателей, не разделявших символ веры славянофилов и осмыслявших глубоко принципиальные идеологические и литературные споры в ироническом, комическом, пародийном ключе. В центре доклада была история пьесы В. А. Соллогуба «Сотрудники, или Чужим добром не наживешься. Повесть в двух отделениях» (1851), представляющая собой по стилистике и содержанию пародию на ожесточенные споры славянофилов (преимущественно К. Аксакова) и западников. Написанная в период, когда острота полемики шла на убыль, пьеса, по наблюдению Н. Н. Мостовской, соотносилась с литературной традицией (пародия Герцена «Путевые записки г-на Вёдрина»; пародийные эпизоды в «Очерках литературной жизни» Некрасова и его пародии на славянофилов в альманахе «Первое апреля»; шаржированные зарисовки «московского умницы», славянофила с чертами К. Аксакова, в поэме Тургенева «Помещик» и иронические выпады против К. Аксакова в «Хоре и Калиныче» и «Одноворце Овсянникове»; суждения Гоголя в главе «Споры» «Выбранных мест...», назвавшего спорящих «славянистов и европеистов» «карикатурами на то, чем хотят быть»). Н. Н. Мостовская раскрыла приемы пародирования, использованные Соллогубом, многочисленные реалии, взятые им из истории общественно-литературных споров середины 1840-х годов, из биографий и деятельности

славянофилов (главным образом К. Аксакова) и редакции «Современника». Кроме того, в докладе анализировались критические отклики современников, заметивших пародийность пьесы Соллогуба (И. С. Аксакова, Н. В. Гоголя, А. В. Дружинина, в известной мере Ап. Григорьева). Особое внимание было уделено анонимной критической рецензии в «Современнике» (1851, № 3), атрибутируемой Некрасову и публикуемой в академическом издании в разделе *Dubia*. В атрибуции рецензии Некрасову вызывает настороженность то обстоятельство, что в ней остались незамеченными как пародийность пьесы Соллогуба, так и насыщенность ее реалиями, в том числе прямыми намеками на К. Аксакова и редакцию «Современника».

Второй день работы конференции завершился докладом С. С. Бычкова (Москва) «Начало идейных разногласий в кружке славянофилов». На основе анализа письма И. С. Аксакова Ю. Ф. Самарину от 6—8 марта 1861 года С. С. Бычков показал неоднородность славянофильства. Старшему поколению славянофилов пришлось жить и трудиться в эпоху мрачного николаевского царствования, младшему — в эпоху либеральных alexандровских реформ. 1861 год стал ключевым в истории славянофильства, именно в этот период начались идейные разногласия между славянофилами. Письмо И. С. Аксакова, написанное сразу после обнародования Манифеста, обнаруживает признаки будущего размежевания, резкое неприятие многих установок старших славянофилов — таков был вывод С. С. Бычкова.

Последний день работы конференции открылся докладом доктора истор. наук Н. И. Цимбаева (Москва) «Позднее славянофильство и „неославянофильство“», в котором речь шла о судьбе славянофилов в пореформенные времена, о деятельности И. С. Аксакова, А. И. Кошелева, Ф. В. Чижова, Ю. Ф. Самарина в 1860—1870 годы, которая и считается «поздним славянофильством». Головная линия в развитии позднего славянофильства — отход от специфики славянофильских мнений (идея особого русского пути) и соединение с иными направлениями общественного движения на основе земского либерализма (просвещение народа, местная культурная и хозяйственная деятельность и проч.). Побочным явлением в эволюции позднего славянофильства стало, в первых, сближение с панславизмом, который в 1860—1870-е годы понимался главным образом как содействие освобождению зарубежных славян (деятельность И. С. Аксакова в Славянском комитете, особенно в годы Восточного кризиса (1875—1878); работа князя В. А. Черкасского по созданию гражданской администрации в Болгарии). Второе побочное явление — это грубо ошибочное смешение некоторых идей славянофильства с национализмом («газетное славянофильство» М. Н. Каткова и его последователей). В этой связи докладчик рассмотрел спор о славянофильстве 1891—1893 годов, участники которого (Вл. Соловьев, Н. Стравинский, П. Милуков, Л. Тихомиров, А. Пыпин,

А. Киреев, С. Трубецкой, П. Виноградов, А. Васильев, Н. Аксаков, Н. Колюпанов, К. Бестужев-Рюмин) говорили то о «воскрешении» славянофильства, то о его «разложении» и даже смерти, но понимали под ним в лучшем случае «просвещенный патриотизм» (С. Н. Трубецкой), «идеализированный патриотизм» (Н. Н. Страхов).

По мнению Н. И. Цимбаева, так называемые «неославянофилы» — это нечто весьма неопределенное по своим взглядам. Это и Лев Тихомиров, и Бердяев, и Грингмут, и Гершензон. Применительно к истории русского общества XX века пользоваться понятием «неославянофильство» следует с большой осторожностью, помня, что к истинному славянофильству идеи и деятельность любых «неославянофилов» отношения не имеют, сказал в заключение Н. И. Цимбаев.

Основная мысль доклада С. Н. Носова (Ленинград) «Вл. Соловьев и славянофильство» состояла в том, что славянофильство — это сон. Культура «видит сны» в периоды кризиса. Сон культуры — способ избавления от «адского» давления реальности кризисного времени. Внешний признак «культурного сна» — вольное парение в нем воображения, господство желаемого над действительным. Сон — апофеоз свободы, полная противоположность необходимости. Славянофильство есть сон потому, полагает С. Н. Носов, что для славянофилов важнейшее — предпочтение интуиции факту и противопоставление интуитивно-ощущаемого реально существующему, причем под интуицией понимается антипод опыта: не преддверие подтверждаемой опытом истины, а ее опровержение. При этом Вл. Соловьева докладчик считает не только заимствовавшим у славянофилов их «сны», но и еще более «спящим», чем славянофилы.

В. С. Федоров (Ленинград) в докладе «О некоторых философских аспектах славянофильства» проанализировал известный спор между А. И. Герценом и А. С. Хомяковым. Славянофилы и западники не только расходились между собой, сказал он, но имели и немало общего. Прежде всего, они были едины в критике общественно-политического уклада России, его имперско-крепостнического начала, того удушающего деспотизма, который, по словам Хомякова, явил собой все «мерзосты рабства законного». Однако во взглядах на путь возрождения России они решительно между собой расходились. При всем том и Герцен, и Чернышевский, говоривший, что «мы никогда не разделяли и не чувствовали ни малейшего влечения разделять мнения славянофилов», отдавали дань уважения их заслугам. Если в целом творчество как западников, так и славянофилов серьезно изучается, сказал В. С. Федоров, и их социальные позиции во многом для нас уже становятся проясненными, то их философские взгляды по-прежнему остаются для нас *tabula rasa*. Любопытным материалом для определения их философских ориентаций может служить полемика между Хомяковым и Герценом, состоявшаяся 20 декабря 1842 года. Конфессиональные взгляды

Хомякова представляли собой сложное синтетическое образование, которое было не только первичнее знания, но и тождественно самому знанию. По сути дела истина для Хомякова становится доступной сознанию только благодаря рациональной интуиции, доводящей сочетание дискурсивной дифференциации *ad infinitum* с интуитивной интеграцией до степени единства. Синтетический характер философских взглядов славянофилов раскрывал новые пути в познании мира и бытия человека, давал возможность создания целостной картины мира.

Канд. филол. наук В. А. Котельников (Ленинград) выступил с докладом «Святоотеческое наследие у ранних славянофилов». Верным по существу обозначением круга идей ранних славянофилов, выдвинутым ими самими, является термин «славяно-христианское направление», сказал он и остановился затем на логической структуре определения, чтобы войти в смысл явления, затемненный позднейшим термином «славянофильство». «Славяно-христианское направление» — то, в основе которого выступает христианство (восточно-христианское вероисповедание с вытекающим из него миропониманием), славянское по месту исторической актуализации христианской идеи, наиболее органичной и плодотворной. С появлением «славяно-христианского направления» возникает перспектива, в которой впоследствии оказалось возможным русское религиозно-философское творчество.

В. А. Котельников выразил сожаление о том, что в общем идеологическом потоке славянофильства подчас теряются четкие очертания главных фигур его, особенно фигур ранних славянофилов, в то время как тип личности этих людей редкостный и ценнейший у нас. Может быть, не столько созданное ими, сколько сами личности эти составляют культурное достояние той эпохи.

В. А. Котельников подробно обрисовал Н. П. Киреевскую, жену И. В. Киреевского, как равновеликую фигуру в ряду родоначальников славянофильства. Он подчеркнул решающее влияние, оказанное Н. П. Киреевской на мужа и выразившееся в перемене им образа мыслей и религиозных убеждений. Благодаря ее влиянию И. В. Киреевский всерьез принял за чтение греческой патристики, обнаружив сильную религиозно-философскую интуицию и филологическое чутье. Но метафизическое и богословское содержание греческих писателей не получает развития у Киреевского. В его религиозно-философской картине мира отсутствует эсхатологический аспект. Вместо эсхатологических ожиданий возникают исторические ожидания, обращенные к национальной культуре, национальной личности.

С докладом «Славянофильство и русская литература» выступил канд. филол. наук В. П. Попов (Краснодар). Он сказал, что значение сельской общины для русской культуры, особенно для русской классической литературы и философии (за исключением вопроса об «общин-

ном социализме»), не оценено еще в полном объеме. А ведь если община сохранялась «чуть ли не как господствующая форма народной жизни на протяжении огромной империи» (К. Маркс), то, значит, сохранялась «чуть ли не как господствующая» в народе и общинная идеология, во всяком случае она имела «большую жизненную силу» (К. Маркс). Община и непосредственно, и через учение ранних славянофилов, впервые и наиболее ярко ее обрисовавших, определила некоторые существенные стороны творчества русских писателей — таких, как Гоголь, С. Аксаков, Л. Толстой, Островский, Достоевский и другие.

Более того, утверждал В. П. Попов, можно сказать, что в известной мере и славянофильство, и народничество, и почвенничество, и толстовство явились разными ступенями и формами развития общинного начала. Конечно, общинный «голос» не всецело определял перечисленные явления, но он участвовал в диалоге и его надо, наконец, услышать.

В докладе канд. филол. наук В. Е. Ветловской (Ленинград) «Славянофильская концепция народа и Шукшин» шла речь о народной нравственности, которую славянофилы заключали в границы рационально построенной, логически обоснованной концепции, опирающейся на заповеди православия и историю русской церкви. Соглашаясь или полемизируя с отдельными положениями славянофильской доктрины, русская классическая литература усвоила их

концептуальный подход. Особенность Шукшина (в его рассказах) в том, что, показывая нравственные нормы народной жизни, он говорит об истинах вне логических, вне рациональных доказательств. Он имеет дело (и в этом состоит его особый подход, его художественная задача и заслуга) с народной аксиоматикой. Нравственные понятия народа, как они предстают в рассказах Шукшина, по самому своему существу несводимы к какой бы то ни было логически-рациональной концепции. Народ владеет не философией, но мудростью, важной для сохранения и продолжения жизни из рода в род. Народная аксиоматика вбирает и христианские заповеди, но она ими не ограничивается и иногда корректирует их. Как только она теряет силу, пропадает и погибает не мудрость, а сам народ — органическое целое, живое и жизнеспособное единство.

Каждый день работы конференции заканчивался оживленным обсуждением докладов. Итоги конференции подвел Б. Ф. Егоров. Он оценил работу как весьма плодотворную. Участники конференции были единодушны во мнении, что подобные встречи должны стать регулярными, а круг участников нужно расширить; совершенно необходимо издание сборника материалов прошедшей конференции.

А. В. Федорова

ПЯТЫЕ АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

7 июня 1990 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялись Пятые Алексеевские чтения, посвященные памяти академика Михаила Павловича Алексеева (1896—1981). Открывая конференцию, доктор филол. наук Н. Н. Скатов подчеркнул, что М. П. Алексеев не стоит в ряду тех филологов, которые одаривают науку какой-то одной идеей, долгое время после ее внедрения муссируемой и размельчаемой другими и многими. И это прямо связано с универсализмом его занятий, с поразительной объективностью его подходов.

С докладом «Сатира Байрона „Бронзовый век“» выступила доктор филол. наук, проф. Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена Н. Я. Дьяконова. Как указал сам Байрон, он посвятил свою поэму «политике и т. п. и т. п. а также обозрению событий дня». Она была актуальна тогда, в начале 1823 года, так как осмеивала Конгресс участников Священного Союза, которые в ноябре 1822 года обсуждали меры, необходимые для подавления революции в Испании, но она актуальна и теперь как воплощение долгого душевного и интеллектуального опыта своего создателя.

«Бронзовый век» построен по законам поэти-

ки классицизма: героический стих, сочетание инвективы и апологии, чередование возвеличивания и сатирического обличения, система контрастов, выдержанных в пределах строки, двустишия, строфы, последовательно соблюдаются. Образ Наполеона задуман как образ классицистического героя, обремененного трагической виной и за нее покаранный. Но с замыслом вступает в спор романтический субъективизм, побуждающий Байрона отождествлять себя с Наполеоном и его судьбой. Рамки классицистической сатиры для поэта тесны. Он вырывается за их пределы, отчасти тогда, когда описывает экономические первопричины политических катаклизмов (предвосхищая тем самым позднейший критико-реалистический метод в искусстве), и отчасти тогда, когда отступает от рационалистической логики и дает волю лирическим чувствам, вдохновленным верой в неограниченные возможности личности. Пространственно-временные границы «Бронзового века», расширенные на классицистический лад за счет сопоставлений с античной и библейской древностью, сказала в заключение докладчица, приобретают масштаб романтически безбрежный, воплощая приверженность автора идее свободы, «рожденной в начале времен».

Канд. филол. наук С. А. Кибальник (ИРЛИ) выступил с докладом «Художественная философия Пушкина и французская романтическая историография». Доклад был посвящен одному аспекту этой большой темы, а именно преломлению философско-исторических представлений «доктрины» (В. Кузен, О. Тьерри, Ф. Гизо, П. де Барант) в пушкинских поэмах «Полтава» и «Медный всадник». С. А. Кибальник показал, что тот примат исторической неизбежности над правами человеческой личности, который Пушкин исповедует в «Полтаве», сложился в нем под влиянием французской романтической историографии. Поэма не столько подвергает творческой проверке, сколько иллюстрирует разделяемые Пушкиным господствующие философско-исторические представления эпохи. Переход Пушкина от культа исторической необходимости в «Полтаве» к учету права каждой личности на простое человеческое счастье — результат собственного, органического развития поэта. Однако, считает докладчик, одним из факторов, предопределивших подобное развитие, могла быть аналогичная эволюция в конце 1820-х — начале 1830-х годов виднейших представителей новой школы в европейской историографии. Идея, на которые ориентируется Пушкин в «Медном всаднике», уже лишены прежнего догматизма и крайностей, которые отличали направление «доктрины» раньше, но дело не только в этом. Пушкинское решение темы теперь уже не обнаруживает полного совпадения с освещением ее во французской романтической историографии. Более того, Пушкин в «Медном всаднике» сосредоточивает свое внимание как раз на той серьезной проблеме оплаченности прогресса человеческими жертвами, которая была весьма дискуссионной у «доктринеров» и не могла быть решена ими. Пушкин подвергает эту проблему художественному исследованию, решает ее сложно и неоднозначно, что, разумеется, не было возможно в рамках французской романтической историографии уже в силу самой специфики публицистической мысли.

Доктор филол. наук С. А. Фомичев (ИРЛИ) рассмотрел один из аспектов темы, которой М. П. Алексеев посвятил целую монографию «Стихотворение Пушкина „Я памятник себе воздвиг...“. Проблемы его изучения». (Л., 1967). Доклад С. А. Фомичева «К интерпретации стихотворения Пушкина „Я памятник себе воздвиг...“» печатается в настоящем номере журнала «Русская литература».

В своем докладе «Русские связи Вальтера Скотта» канд. филол. наук А. А. Долинин (ИРЛИ) напомнил, что М. П. Алексеев в работе «Вальтер Скотт и его русские знакомства» уделил большое внимание пребыванию в Великобритании графа В. П. Орлова-Давыдова, который в 1825—1828 годах учился в Эдинбургском университете и входил в круг собеседников В. Скотта. Доклад А. А. Долинина развивает и уточняет этот небезыңтересный сюжет, вводя в научный обиход ранее неизвестные материалы из личного архива Орлова-Давыдова (ГБЛ),

и в первую очередь его переписку с известной ирландской писательницей Марией Эджворт. Как явствует из приведенных в докладе документов, летом 1827 года Орлов-Давыдов совершил поездку по Ирландии и нанес визит М. Эджворт, которая отнеслась к нему как к посланцу и доверенному лицу Вальтера Скотта — ее старого друга и любимого романиста. Пространные письма писательницы к юному русскому аристократу, любителю современной английской литературы, охватывающие период с 1827 по 1830 год, представляют собой ценный историко-литературный документ, поскольку во многих случаях они предназначались для передачи Вальтеру Скотту и содержат оценки произведений последнего. После отъезда Орлова-Давыдова из Великобритании Мария Эджворт некоторое время продолжала сообщать ему литературные новости (прежде всего об их «общем друге»), так что и в поздних письмах можно найти немало важных сведений, относящихся к восприятию романов «шотландского чародея» — по словам писательницы, «самого милого и самого великого из всех волшебников на свете». Материал, введенный в обиход А. Долининым, служит необходимым дополнением к работе М. П. Алексеева, расширяя наши представления об одном из эпизодов в долгой истории русско-английских связей.

В докладе доктора филол. наук Р. Ю. Данилевского (ИРЛИ) «А. Фет и Ф. Ницше» была предложена гипотеза, объясняющая создание стихотворения Фета «Добро и зло» (1884), вошедшего во второй выпуск «Вечерних огней», знакомством поэта с только что тогда изданной книгой Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». Проблема добра и зла, их относительности, их диалектической взаимосвязи являлась одной из основных проблем философии Ницше. В разработке ее он значительно отошел от позиций своего учителя А. Шопенгауэра, не говоря уже об И. Канте. Поскольку Фет был, как известно, переводчиком и знатоком Шопенгауэра, можно было бы предположить, что и стихотворение его было навеяно мыслями этого немецкого философа, если бы не близость смысла этого стихотворения именно к той трактовке добра и зла, которую дал Ницше, а не Шопенгауэр. Если же допустить, что Фет не успел к моменту создания стихотворения познакомиться с книгой Ницше (впервые издана в начале 1884 года), то можно сделать вывод об одинаковом направлении, в котором параллельно развивались русской и немецкой мыслью XIX века представления о диалектике добра и зла.

Доклад доктора филол. наук Н. К. Орловской (Тбилисский университет) «История и вымысел в романах Джеймса Морьера» был посвящен творчеству видного английского писателя первой половины XIX века, который как дипломат провел ряд лет на Востоке и позднее использовал полученные там впечатления в своей литературной деятельности. Предметом анализа явились сборник рассказов «Мирза» и два романа «Айша, девушка из Корса» и «Зораб-заложник», рассмотрение которых

позволяет определить как своеобразие творчества автора, так и его связь с литературными традициями. Подобно приключенческому роману XVIII века, его произведения полны острых ситуаций, которые держат читателя в постоянном напряжении. Однако если предшествующие авторы, перенося действие на Восток, создавали весьма условный экзотический колорит, то Морьер опирается на собственное знакомство с жизнью восточных стран. Докладчица подчеркнула, что особый интерес представляют встречающиеся в романах подлинные исторические данные. Наиболее широко использована историческая тематика в романе «Зораб-заложник», ярко рисуящем эпоху царствования в Иране Ага-Мохаммед-шаха. Главным источником сведений для Морьера явилось историческое исследование Джона Малкольма, но долгое пребывание автора в стране, где происходит действие романа, придает книге Морьера и созданным им образам особую убедительность. Хотя исторические данные у Морьера несколько изменены, а вместе с историческими лицами выведены вымышленные персонажи, колорит эпохи и нравов делает книгу интересным образцом исторического романа, продолжившего традиции Вальтера Скотта.

Тема доклада канд. филол. наук В. Е. Багно (ИРЛИ) — «Самозванство „апостолов“ новой веры. (Новозаветные мотивы в „Бесах“).» Как считает докладчик, для Достоевского периода «Бесов», в сознании которого зреет мысль о «русском социализме» под знаменем Христа, западноевропейский социализм, вскормленный католицизмом и экспортируемый в Россию, является узурпатором, самозванцем и Антихристом. С предельной ясностью он выразил эту свою мысль несколькими годами ранее в наброске неосуществленной статьи «Социализм и христианство»: «Социализм назвался Христом...» В свете этого и сходных высказываний, считает В. Е. Багно, многочисленные евангельские ассоциации и, шире, новозаветный реминисцентный материал в «Бесах» складываются в значительно более стройную картину, чем это было принято считать. Тем самым «бесы» оказываются «апостолами» новой веры, принимающими «вид служителей правды» (2 Кор, 11, 15), а роман посвящен их «деяниям».

Докладчик попытался определить, насколько

круг новозаветных ассоциаций и реминисценций в романе соответствует ключевому для Достоевского тезису об узурпации «гидрой» нигилизма миссии Христа. В частности, пророчествами о появлении Антихриста и о втором пришествии Христа пронизаны многие страницы подготовительных материалов к роману. «Каменное строение», которое вознамерился травестировать Петр Верховенский, предполагает и роль человека-самозванца, которую он предлагает одному из лжеапостолов, Николаю Ставрогину. В системе евангелия от Хроникера, травестирующего многие новозаветные мотивы, функцию Тайной вечери выполняет глава «У наших», фиктивный день рождения Виргинского, истинной пружиной которого, по замыслу Петруши Верховенского, является выявление «доносчика». Тем самым в перевернутом мире «Бесов» Шатов оказывается Лже-Иудой, которому уготована мученическая смерть. Во же время пощечина Лже-Иуды неудавшемуся претенденту в Антихристы в перевернутом мире травестированных новозаветных мотивов является зеркальным отражением поцелуя Иуды истинного.

Достоевский, по убеждению В. Е. Багно, не ставил перед собой цели сохранить само число апостолов. Однако мотивная структура обладает своей памятью, проявляющейся подчас вне зависимости от намерений художника, и, пожалуй, можно утверждать, что лжеапостолов в романе оказалось все же двенадцать. Без колебаний к ним можно отнести Петра Верховенского, Липутину, Лямшина, Шигалева, Толкаченко, Виргинского, Эркеля, Лебякина и Кириллова; с определенными оговорками — Ставрогина, Шатова и Степана Трофимовича. В перевернутом мире «Бесов», многими нитями связанном с Новым Заветом, есть и свой разбойник — Федька Каторжный, которого свела судьба с «апостолами» новой веры. Так прочитывается, с точки зрения докладчика, роман Достоевского сквозь призму христианского учения. Апостольская социальная проповедь «бесов» была проповедью самозванцев.

Разнообразие докладов, представленных на конференции, — дань широчайшему диапазону филологических интересов выдающегося ученого.

Р. М. Горхова

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В 1990 ГОДУ**

СТАТЬИ	№	Стр.
Богомолов Н. А. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич	3	48
Викторович В. А. Всеволод Крестовский: Легенды и факты	2	44
Кормилов С. И. Русская метризованная проза (прозостих) конца XVIII—XIX века	4	31
Купреянова Е. Н. Гоголь-комедиограф (публикация В. Е. Ветловской)	1	6
Лихачев Д. С. Закономерности и антизакономерности в литературе	1	3
Мельник В. И. И. А. Гончаров в полемике с этикой позитивизма (к постановке вопроса)	1	34
Мысляков В. А. Писарев: романтик реализма	4	3
Мысляков В. А. Щедрин и Михайловский: проблема «героев» и «толпы»	2	59
Немировский И. В. Библейская тема в «Медном всаднике»	3	3
Панченко А. М. Пушкин и русское православие (статья первая)	2	32
Сливцкая О. В. О многозначности восприятия «Анны Карениной»	3	34
Смирнова Е. А. Венедикт Ерофеев глазами гоголеведа	3	58
Спиридонова И. А. Степан Разин Василия Шукшина	4	18
Тамарченко Анна (США). Драматургическое новаторство Михаила Булгакова	1	46
Тирген П. (ФРГ). Обломов как человек-обломок (к постановке проблемы «Гончаров и Шиллер»	3	18
Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Исторические реалии в бытине о Дюке	2	3

ИЗ НАСЛЕДИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Бердяев Н. А. Русская идея (вступительная заметка, послесловие и примечания В. А. Котельникова)	2	85
	3	67
	4	59
Бицилли П. М. Статьи: История. Культура. Литература (вступительная статья В. А. Туниманова)	2	134
Г. П. Федотов. Святой Филипп, митрополит московский	2	138
Трагедия русской культуры	2	140
Возрождение аллегории	2	147
Булгаков М. А. Стенограмма (сценка) (публикация Я. С. Лурье)	3	103
Короленко В. Г. Письма из Полтавы (предисловие и примечания С. Н. Гуськова)	4	45
Короленко В. Г. Торжество победителей (подготовка текста, вступительная заметка и примечания Б. В. Аверина и Е. В. Павловой)	2	77
Котельников В. А. Русская идея как философская и историко-литературная тема		112
Лаппо-Данилевский К. Ю. Глеб Струве — историк литературы	1	99
Святополк-Мирский Д. П. Литературно-критические статьи (вступительная статья и примечания В. В. Перхина)	4	120
Игорь-Северянин. Ручьи в лилиях. Поэзы 1896—1909 годов (публикация В. А. Косшелева)	1	68
Струве Г. П. Журналы русского зарубежья	1	108

УЧИТЕЛЮ-СЛОВЕСНИКУ

Творогов О. В. Рюриковичи	2	155
	3	105
	4	155

ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ

Новичкова Т. А. Два мира — земной и космический — в современных народных легендах	1	132
Царькова Т. С. К изучению стихотворных надписей	3	115

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Бухаркин П. Е. Об Алексее Владимировиче Чичерине и его трудах	4	161
Туниманов В. А. О Сергее Александровиче Макашине и его последней книге	4	170
Чичерин А. В. Гневный голос Герцена	4	167

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. В. ТОМАШЕВСКОГО

Постоутенко К. Ю. К истории невышедшей книги Б. В. Томашевского («Пушкин и французские поэты»)	4	189
Фридлиндер Г. М. Б. В. Томашевский — теоретик литературы	4	176

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Батюто С. А. Неизвестные автографы И. П. Павлова, Э. Л. Радлова, П. А. Сорокина	3	165
Безродный М. В. Об одной подписи Алексея Ремизова	1	224
Битюгова И. А., Якубович И. Д. Неизвестное письмо Достоевского к Н. А. Любимову, посвященное «Братьям Карамазовым»	1	177
Водолазкин Е. Г. Всемирная история в духовном мире древнерусского книжника (к вопросу литературного освоения Хроники Амартола)	1	144
Ганзбург Г. И. К истории издания сочинений Елизаветы Кульман	1	148
Голлербах Э. Ф. Из воспоминаний о Федоре Сологубе (публикация М. М. Павловой)	1	218
Два рукописных наброска В. И. Даля «Силистрия» и «Кулевчи» (вступительная заметка, публикация и комментарии Ю. П. Фесенко)	3	146
Евдокимова О. В. Н. С. Лесков и Ф. И. Буслаев	1	194
Заборов П. Р. И. П. Умов — поэт и переводчик	4	228
Запелалов В. Н. О судьбе шолоховского архива	1	232
Зельдхейн-Деак Ж. (<i>Венгрия</i>). «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева. К проблеме жанра	2	188
Из архива Н. Я. Берковского (публикация М. А. Кузьменко)	3	192
История двух писем И. А. Бунина к Г. Т. Шеметилло (публикация Т. А. Геллер)	4	223
Каньяр-Беккер Е. (<i>Швейцария</i>), Данилевский Р. Ю. Швейцарский собиратель и хранитель русских книг	3	167
Корниенко Н. В. «Заметки» Андрея Платонова (комментарий к истории невышедших книг А. Платонова 1939 года)	3	179
Кроль Ю. Л. Об одном необычном трамвайном маршруте («Заблудившийся трамвай» Н. С. Гумилева)	1	208
Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова)	1	200
Кумпан К. А. История издания поэтического сборника Вяземского «В дороге и дома»	1	164
Лаптева Л. П. Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии	3	169
Назарьян Р. Г. Рабочие тетради Дельвига как источник для биографии Кюхельбекера	4	202
Назарьян Р. Г., Салупере М. Г. Эстонские страницы биографии В. К. Кюхельбекера	1	156
Никё Мишель (<i>Франция</i>). Поэма С. Есенина «Черный человек» в свете аггелизма	2	194
Моисеева Г. Н. Из истории архива М. В. Ломоносова	2	171
Перхин В. В. Два письма Андрея Платонова	1	228
Петрунина Н. Н. Из истории первого собрания стихотворений Пушкина	3	137
Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемилловскому (подготовка текста Т. С. Царьковой, вступительная статья и примечания А. М. Грачевой)	2	197
Письма Леонида Андреева к Льву Алексеевскому (публикация Л. А. Иезуитовой)	3	151
Письмо Романа Роллана И. С. Ремезову (публикация Д. В. Базановой)	2	235
Рейсер С. А. Н. С. Лесков и народная книга	1	181
Саркисян Л. С. Об одном «несостоявшемся» жанре русской лирики конца XVIII—начала XIX века (Карамзин и Державин)	4	196
Сидяков Л. С. Заметки о стихотворении Пушкина «Герой»	4	208
Степанов В. П. К биографии Ф. Г. Карина	4	192

Тихомиров Б. Н. Из творческой истории романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (Соня Мармеладова и Порфирий Петрович)	4	217
Трубецкая О. Н. Отрывки из семейной хроники (публикация И. С. Чистовой)	2	176
Фомичев С. А. Памятник нерукотворный	4	214
Фридлиндер Г. М. Достоевский в оценке Хосе Ортеги-и-Гасета	1	172
Шаркова И. С. Подписка Екатерины II на иностранные периодические издания в годы Великой французской революции	3	130
Эткинд Е. Г. Поэзия Новалиса: «Мифологический перевод» Вячеслава Иванова	3	157
Юхименко Е. М. Новые данные к биографии Семена Денисова	2	168

ТЕКСТОЛОГИЯ И АТРИБУЦИЯ

Климова Д. М. О некоторых нерешенных вопросах текстологии и издания произведений Бориса Пастернака	4	233
--	---	-----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Аверин Б. В. Исследование М. П. Громова о Чехове (Громов Михаил. Книга о Чехове. М.: Современник, 1989. 384 с.)	2	252
Баскаков В. Н. Новая библиография русской эмигрантской литературы (Emigration russe. Revues et recueils, 1920—1980. Index général des articles. Préface de Marc Raff. Paris, 1988. XXII, 662 p. (Bibliothèque de l'Institut d'études slaves. T. XXXI)	3	200
Буланин Д. М. Указатели к русским историко-филологическим журналам (Летопись занятий Археографической комиссии 1861—1928 гг. Указатель содержания. Сост. Л. П. Смирнова, А. Ф. Тутова, А. А. Цеханович. Л., 1987. 121 с.; Gesamthaltsverzeichnis zu russischen philologischen Zeitschriften und Reihen. Bearbeitet von K. Günther. Berlin, 1989. 320 S.	3	203
Бухаркин П. Е. Первый том нового словаря русских писателей (Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1989. Т. 1: А—Г. 672 с.)	1	249
Грякалов А. А., Дорохов Ю. Ю. От структурализма к деконструкции (западные литературно-эстетические теории 70—80-х годов XX века)	1	236
Гуськов С. Н. О новом собрании сочинений В. Г. Короленко (Короленко В. Г. Собр. соч.: В 5 т. / Сост., подг. текста Б. Аверина, Н. Дождиковой; прим. Б. Аверина, Н. Дождиковой, Е. Павловой; вступ. ст. Б. Аверина. Л.: Худож. лит., 1989—1990)	3	206
Егоров Б. Ф. Книга об эстетике русских шестидесятников (Moser Charles A. Esthetics as Nightmare: Russian Literary Theory: 1855—1870. Princeton: Princeton University Press, 1989. XXIV, 288 p.)	2	250
Левин Ю. Д. Английские исследования деятельности и творчества Герцена (Partidge Monica. Alexander Herzen: Collected Studies. Nottingham: Astra Press, 1988. VIII, 157 p.)	2	244
Стенник Ю. В., Николаев А. И. Жанр «диалога в царстве мертвых» в русской литературе XVIII века (Marcialis Nicoletta. Caronte e Caterina. Dialoghi dei morti nella letteratura russa del XVIII secolo. Roma: Bulzoni Editore, 1989. 307 p.)	2	240

ХРОНИКА

Благов Д. А. Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака	3	218
Горохова Р. М. Пятые Алексеевские чтения	4	251
Грачева А. М. Третья научная конференция молодых специалистов «Литература и общество»	3	222
Ковалева Ю. Н. Бушминские чтения в Волгограде	3	213
Колесникова Е. И. Научная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Андрея Платонова	2	258
Михайлова А. К. Четвертая Грибоедовская конференция	4	237
Мостовская Н. Н. Двадцать пятая Некрасовская конференция	4	242
Покровская С. Всесоюзная научная конференция «Анна Ахматова. Труды и дни»	1	256
Пономарева Е. А. Научная конференция «Лирика Пушкина»	3	215

Рождественская М. В. Памяти Николая Калликовича Гудзия	3	211
Соколянский М. Г. Третьи Алексеевские чтения в Одессе	2	256
Федорова А. В. Научная конференция «Славянофильство и современность»	4	246
Голлербах Е. А. Ахматова, Голлербах, Лукницкий (по поводу одной публикации в «Нашем наследии»)	1	262
Чистов К. В. Уточнение	3	226

НОВЫЕ КНИГИ

- Агранович С. З., Рассовская Л. П.** Историзм Пушкина и поэтика фольклора. [Науч. ред. Л. А. Финк]. Саратов; Куйбышев: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 188 [2] с.
- Алексеев М. П.** Русская литература и ее мировое значение. Избр. труды. Отв. ред. В. Н. Баскаков, Н. С. Никитина. Л.: Наука, 1989. 410 [3] с. (АН СССР, Отд-ние лит-ры и яз.).
- Аникин А. В.** Муза и мамона: соц.-экон. мотивы у Пушкина. М.: Мысль, 1989. 253 [2] с.
- Анненкова Е. И.** Гоголь и декабристы: (Творчество Н. В. Гоголя в контексте лит. движения 30—40-х гг. XIX в.). М.: Прометей, 1989. 172 [2] с.
- К. Н. Батюшков: жизнь, творчество, окружение. По материалам выст. Лит. музея [К. Н. Батюшкова].** [Сост. О. А. Пылева, Л. Д. Коротаева]. Вологда: Упрполиграфиздат, 1989. 30 [2] с.
- Боханов А. Н.** Коллекционеры и меценаты в России. Отв. ред. К. Ф. Шацилло. М.: Наука, 1989. 187 [1] с.
- Булахов М. Г.** «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. Краткий энцикл. слов. Под ред. Л. А. Дмитриева. Минск: Университетское кн. изд-во, 1989. 245 [2] с.
- Буслаев Ф. И.** О литературе. Исследования. Статьи. [Сост., вступ. ст. и примеч. Э. Л. Афанасьева]. М.: Худож. лит-ра, 1990. 511 [1] с.
- В памяти Отечества. Материалы науч. чтений. Горький, 31 мая—5 июня 1987 г.** [Редколлегия: М. М. Белякова и др.]. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. 189 [1] с. (Горьковский гос. лит.-мемор. музей Н. А. Добролюбова).
- Вацуро В. Э. С. Д. П.** Из истории литературного быта пушкинской поры. [С. Д. Пономарева и кружок «Сословие друзей просвещения»]. М.: Книга, 1989. 413 [2] с.
- Венок Н. В. Гоголю. Гоголь и время.** [Сб. Сост. В. В. Сосидко]. Харьков: Прапор, 1989. 250 [4] с.
- Венок поэту: Жизнь и творчество К. Н. Батюшкова.** [Сборник. Под ред. В. В. Гуры]. Вологда: Вологодское обл. отд-ние Сов. фонда культуры, 1989. 138 [2] с.
- Венок России Кобзарю: Стихи рос. поэтов о Т. Г. Шевченко.** [Сост. и примеч. В. Г. Крикуненко, Ю. А. Саенко; Вступ. ст. Е. А. Исаева]. М.: Сов. Россия, 1989. 319 [1] с.
- Взаимодействие жанров, художественных направлений и традиций в русской драматургии XVIII—XIX веков:** Межвуз. сб. науч. тр. [Ред. М. Д. Лозанская]. Куйбышев: КГПИ, 1988. 132 [1] с.
- Висковатов П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество.** [Факс. издание 1891]. М.: Книга, 1989. 454, 24 [1] с.
- Вопросы источниковедения русской литературы:** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Е. Г. Бушканец (отв. ред.) и др.]. Казань: КГПИ, 1989. 133 с.
- Гаджиев А. Д.** Вокруг Пушкина. [Творч. связи А. С. Пушкина с Азербайджаном]. Баку: Языки, 1989. 143 [1] с.
- Головко В. М.** Художественно-философские искания позднего Тургенева: (Изображение человека). Науч. ред. Г. К. Шенников. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1989. 167 [2] с.
- Горячим словом убеждения: «Современник» Некрасова — Чернышевского.** [Сб. Сост., авт. вступ. ст. М. Г. Вандалковская]. М.: Современник, 1989. 540 [2] с. (Память).
- Грановская Н. И.** «Если ехать вам случится...» Очерк-путеводитель, предлагающий путешествие с авт. по пушк. местам Гатчинского р-на Ленингр. обл. Л.: Лениздат, 1989. 190 [2] с.
- А. С. Грибоедов. Материалы к биографии.** Сб. науч. тр. Отв. ред. С. А. Фомичев. Л.: Наука, 1989. 287 [1] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Долнин А. С.** Достоевский и другие. Ст. и исслед. о русской классич. лит-ре. [Вступ. ст. В. Туниманова. Примеч. М. Билинкиса и др.]. Л.: Худож. лит-ра, 1989. 478 [1] с.
- «Домик Лермонтова», музей (Пятигорск).** [Путеводитель. Авт. текста П. Селегей]. Минеральные Воды: Б. И., Б. г. (1988). 24 с.
- Елизаветина Г. Г. Н. А. Добролюбов и литературный процесс его времени.** Отв. ред. А. С. Курилов. М.: Наука, 1989. 333 [2] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- Еремеев А. Э.** Русская философская проза (1820—1830-е гг.). Под ред. А. С. Янушкевича. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. 188 [2] с. На обл. авт.: А. Е. Еремеев.
- Жилище славных муз: Париж в лит. произведениях XIV—XX вв.** [Сб. Сост. и коммент. О. Смолицкой, С. Бунтмана]. М.: Моск. рабочий, 1989. 571 [1] с. (Города мира в образах литературы).
- Жихарев С. П.** Записки современника. [В 2 т. Вступ. ст. М. А. Гордина; Коммент. Л. Н. Киселевой]. Л.: Искусство, 1989. 1: Дневник студента — 309 [2] с. 2: Дневник чиновника; Воспоминания старого театраля. — 523 [2] с.
- Зажурило В. К. и др.** «Люблю тебя, Петра творенье...» Пушк. места Ленинграда. Л.: Лениздат, 1989. 263 [8] с. Перераб. и доп. изд. кн. «Пушкинские места Ленинграда».
- Заславский И. Я.** Лермонтов и Украина: Лит.-критич. очерк. Киев: Дніпро, 1989. 347 [2] с.
- Иезуитова Р. В.** Жуковский и его время. Л.: Наука, 1989. 287 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Историко-литературный процесс. Методологические аспекты: Науч. информ. сообщения.** [В 4 вып. Редколлегия: Л. С. Сидяков (отв. ред.) и др.]. Рига: ЛГУ, 1989. 1: Вопросы теории — 68 с. 2: Русская лит-ра XI—начала XX в. — 87 с. 3: Советская литература — 31 с. 4: Проблемы лит. взаимоотношений — 23 с.

- Исторический роман в литературах социалистических стран Европы.** Отв. ред. П. М. Топер, Н. Б. Яковлева. М.: Наука, 1989. 267 [1] с. (Ин-т мировой лит-ры).
- «История культуры и поэтика», всесоюзная конф. (1989; Москва). Тезисы.** М.: Наука, 1989. 70 [1] с. (АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики).
- История русского дореволюционного драматического театра.** [Учеб. для ин-тов культуры и театр. вузов. . . Под ред. Н. И. Эльяша. Ч. 1. От истоков до 1870-х годов]. М.: Просвещение, 1989. 334 [2] с.
- История русской литературы XIX века, 1800—1830-е гг.** [Учеб. пособие. . . Под ред. В. Н. Аношкиной, С. М. Петрова]. М.: Просвещение, 1989. 445 [2] с.
- Карпунин Г. Ф. По мысленному древу: Перечитывая «Слово о полку Игореве».** Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. 542 [2] с.
- Кезина Т. Н. Болдино. Путеводитель.** Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1989. 108 [1] с.
- Келейникова Н. М. Правда слова не знает границ: (М. Е. Салтыков-Щедрин в западноевроп. печати).** Отв. ред. В. А. Хомяков. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1989. 144 [1] с.
- Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдемамовый платок: Костюм — вещь и образ в рус. лит-ре XIX в.** М.: Книга, 1989. 286 с.
- Книга в Сибири: (Конец XVIII—нач. XX в.). Сб. науч. тр.** [Редколлегия: В. Н. Волкова (отв. ред.) и др.]. Новосибирск: ГПНТБ, 1989. 174 с.
- Кондаков Н. И., Кленовская Л. А. Крылатые аргументы. Афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина.** М.: Знание, 1989. 203 с.
- Кулешов В. И. Русская демократическая литература 50—60-х годов XIX века.** [Учеб. пособие для вузов. . .]. М.: Высшая школа, 1989. 149 [2] с.
- Ланщикова А. П. Николай Гаврилович Чернышевский.** [Для ст. возраста]. М.: Детская лит-ра, 1989. 269 [2] с.
- Лебедев А. А. Красота и яркость мира: Очерки становления рус. материалист. эстетики. (Чернышевский — Плеханов — Луначарский).** [Для ст. шк. возраста]. М.: Детская лит-ра, 1989. 332 [3] с.
- Легенды, предания, бывальщины.** [Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. Н. А. Криничной]. М.: Современник, 1989. 286 [1] с.
- Лейфер А. Э. Удивительная библиотека: Рассказы о старых книгах и книжниках.** Омск: Кн. изд-во, 1989. 175 [1] с.
- Лерман И. Н. По сердцу близкие друзья. Из лит. краеведения.** Хабаровск: Кн. изд-во, 1989. 108 [2] с.
- М. Ю. Лермонтов. Проблемы идеала: Межвуз. сб. науч. тр.** Под ред. И. П. Щерблыкина. Куйбышев; Пенза: КГПИ, 1989. 170 [2] с.
- Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX века. Учеб. пособие.** [В. Н. Азбукин и др.]. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. 173 [1] с.
- Ломоносов К. Н. Михаил Юрьевич Лермонтов. Очерк жизни и творчества.** [Для ст. возраста]. М.: Детская лит-ра, 1989. 174 [2] с.
- Максимов С. В. Крылатые слова: [Очерки]. По толкованию С. Максимова.** [Вступ. ст. В. Астафьева]. Красноярск: Кн. изд-во, 1989. 390 [1] с.
- Мальцев Г. И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики: (Исслед. по эстетике уст.-поэтич. канона).** Отв. ред. А. Ф. Некрылова. Л.: Наука, 1989. 165 [3] с. (Ин-т русской лит-ры).
- Мещеряков В. П. Жизнь и деяния Александра Грибоедова.** М.: Современник, 1989. 476 [2] с.
- Модификации художественных форм в литературном процессе: Д. Н. Мамин-Сибиряк — художник.** Сб. науч. тр. [Редколлегия: Г. К. Щенников (отв. ред.) и др.]. Свердловск: УрГУ, 1989. 134 [2] с.
- Мороз Д. П. Читая прошлого страницы: Из записок книголюбца.** Минск: Польша, 1989. 286 [1] с.
- Мудрое слово Древней Руси (XI—XVII вв.).** [Сб. Вступ. ст., подгот. текстов, пер. и коммент. В. В. Колесова]. М.: Сов. Россия, 1989. 462 [1] с. (Сокровища древнерусской лит-ры).
- Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина, 1870—1906: Беседы с памятью.** [Сост., предисл., примеч. А. К. Бабореко]. М.: Сов. писатель, 1989. 507 [2] с.
- Николаев С. И. Польская поэзия в русских переводах: Вторая половина XVII—первая треть XVIII в.** Отв. ред. А. М. Панченко. Л.: Наука, 1989. 209 [2] с. (Ин-т русской лит-ры).
- О просвещении и романтизме. Сов. и польские исследования.** [Отв. ред. И. Свирида]. М.: Ин-т славяноведения и балканистики, 1989. 191 [1] с.
- Овсяннико-Куликовский Д. Н. Литературно-критические работы. В 2 т.** [Сост., подгот. текста, примеч. И. Михайловой. Вступ. ст. Ю. Манна]. М.: Худож. лит-ра, 1989. Т. 1: Статьи по теории лит-ры; Гоголь, Пушкин, Тургенев, Чехов. 541 [1] с. Т. 2: Из «Истории русской интеллигенции»; Воспоминания. 525 [1] с.
- Осетров Е. И. Три жизни Карамзина. Роман-исследование.** М.: Моск. рабочий, 1989. 286 [1] с.
- Памятники литературы Древней Руси, XVII в.** [Сб. текстов. Сост. и общая ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. Кн. 2]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 704 [2] с.

- Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. В 3 т.** Под ред. Б. Н. Путилова. [Вступ. ст. И. А. Разумовой]. Петрозаводск: Карелия, 1989. Т. 1: Былины. [Подгот. А. П. Разумова и др.]. 527 с.
- Пословицы русского народа. Сб. В. Даля. В 2 т.** [Т. 2. Послесл. В. П. Аникина]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 443 [4] с.
- Поэзия А. С. Пушкина и ее традиции в русской литературе XIX—начала XX века: Межвуз. сб. науч. тр.** [Редколлегия: В. Н. Аношкина (отв. ред.) и др.]. М.: МОПИ, 1989. 144 [1] с.
- Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX—начала XX века. Сб. науч. тр.** [Редколлегия: Ю. М. Проскурина (отв. ред.) и др.]. Свердловск: СГПИ, 1989. 119 [2] с.
- Публицистика и исторические сочинения периода феодализма. Сб. науч. тр.** Отв. ред. Е. К. Ромодановская. Новосибирск: Наука, 1989. 277 [2] с. (АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии).
- Пушкин А. С. Письма.** [Под ред. с предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. Репринт. М.; Л.: Госиздат, 1926. Т. 1. 1815—1825]. М.: Книга, 1989. XLVII, 537 [3] с.
- Пушкин Н. И. Записки о Пушкине. Письма.** Сост., вступ. ст. и коммент. М. П. Мироненко, С. В. Мироненко. М.: Правда, 1989. 574 [1] с. (Лит. воспоминания).
- Раевский Н. А. Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин. Повести.** [Послесл. О. Михайлова]. Алма-Ата: Жазушы, 1989. 526 [1] с.
- Раевский Н. А. Портреты заговорили.** [Лит. исслед. о А. С. Пушкине]. Алма-Ата: Жазушы, 1989. 478 [2] с.
- Розанов В. В. Мысли о литературе.** [Сб. Сост., вступ. ст., коммент., указ. имен А. Н. Николюкина]. М.: Современник, 1989. 605 [1] с.
- Роот А. А. «Колокол» возрожденный, 1868—1869.** Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1989. 237 [2] с.
- Руденко Ю. К. Чернышевский-романист и литературные традиции.** Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 255 [1] с.
- Русская поэзия 1801—1812.** [Сост. и примеч. А. Архангельского, А. Немзера. Вступ. ст. А. Немзера]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 384 с.
- Русские народные сказители.** [Сб. Сост., вступ. ст., коммент. Т. Г. Ивановой]. М.: Правда, 1989. 462 [1] с.
- Русско-сербские литературные связи XVIII—начала XIX века.** [Сб. ст. Отв. ред. Ю. Д. Беляева]. М.: Наука, 1989. 227 [2] с.
- Сабанеев С. Б. К. Л. Хетагуров и русская литература. Орджоникидзе: Ир, 1989. 37 [1] с.**
- Сборники А. П. Чехова: Межвуз. сб.** Отв. ред. А. Б. Муратов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 147 [2] с.
- Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым.** [Вступ. ст., подгот. текста В. П. Аникина]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 397 [1] с. (Забытая книга).
- Слово в контексте литературной эволюции: античность — средние века — Возрождение.** [Сб. ст. Отв. ред. О. А. Смирницкая. Ч. 1]. М.: МГУ, 1989. 86 с.
- Собенников А. С. Художественный символ в драматургии А. П. Чехова. Типол. сопоставление с западноевроп. «новой драмой».** Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1989. 194 [1] с.
- 100 лет русской культуры в Японии.** [Сб. ст. Отв. ред. и авт. предисл. Л. Л. Громковская]. М.: Наука, 1989. 351 с.
- Стержнев И. В. «К студеным северным волнам»: А. С. Пушкин и Беломорский Север: Лит.-краевед. очерки.** Архангельск: Северо-Западное кн. изд-во, 1989. 237 [1] с.
- «Судьба поэта»:** [О М. Ю. Лермонтове. Сост. А. И. Кареев]. М.: ВНИЦНТИКПР, 1989. 235 с.
- Толстая А. Л. Отец. Жизнь Л. Толстого. В 2 т.** [Послесл. А. П. Чудакова]. М.: Книга, 1989. 502 [1] с.
- Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда.** М.: Сов. Россия, 1989. 111 [1] с.
- Фольклористика Карелии.** [Сб. ст. Науч. ред. Н. А. Криничная, Э. С. Киуру]. Петрозаводск: КФАН СССР, 1989. 159 [1] с.
- Чаадаев П. Я. Сочинения.** [Сост., подгот. текста, примеч. В. Ю. Проскуриной; Вступ. ст. В. А. Мильчиной, А. Л. Осповата]. М.: Правда, 1989. 655 с. (Из истории отеч. филос. мысли).
- Чеховиана. Ст., публ. эссе.** Отв. ред. В. Я. Лакшин. М.: Наука, 1990. 276 [1] с.
- Шор Ю. М. Очерки теории культуры: Учеб. пособие.** Л.: ЛГИТМИК, 1989. 158 [2] с.
- Этнические принципы русской литературы и их художественное воплощение: Межвуз. сб. науч. тр.** [Отв. ред. В. Е. Кайгородова]. Пермь, ПГПИ, 1989. 128 [1] с.
- Акимова А. Н., Акимов В. М. Семидесятые, восьмидесятые... Пробл. и искания современ. дет. прозы. Очерки, размышления, заметки.** М.: Детская лит-ра, 1989. 221 [2] с.
- Александров В. П. Твоя союзница, учитель. Беседы о соврем. сов. лит-ре. Кн. для учителя.** М.: Просвещение, 1989. 188 [2] с.
- Аллилуева С. И. Двадцать писем к другу.** М.: СП «Вся Москва», 1989. 216 с. (Репринт. воспроизведение изд. 1967 г.).
- Аникин А. Е. Ахматова и Анненский. Заметки к теме.** [Вып. 5]. Новосибирск: Б. И., 1989. 56 [1] с.
- Анна Ахматова и русская культура начала XX века: Тез. конф.** [Редколлегия: В. В. Иванов и др.]. М.: Б. И., 1989. 106 [1] с.

- Белая Г. А. Дон Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М.: Сов. писатель, 1989. 395 [2] с.
- Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. [Сост. и послесл. И. В. Белозерского]. М.: Худож. лит-ра, 1989. 221 [2] с.
- Бестужев-Лада И. В. Открывая Высоцкого. М.: Моск. рабочий, 1989. 60 [1] с.
- Бишарев О. Л. Ученик Есенина. Жизнь, творчество, трагедия И. Приблудного. Донецк: Донбасс, 1989, 129 [1] с. Изд. за счет Фонда им. И. Приблудного.
- Бобров А. А. Современная частушка. М.: Сов. Россия, 1990. 99 [2] с.
- Бойназаров Ф. А. Художественная концепция и историческая личность. Ташкент: Фан, 1989. 178 [2] с.
- Воспоминания о Павле Васильеве. [Сб. Сост. С. Е. Черных, Г. А. Тюрин]. Алма-Ата: Жазушы, 1989. 301 [1] с.
- Воспоминания о Степане Щипачеве. [Сб. Сост. В. Н. Щипачева, А. М. Турков]. М.: Сов. писатель, 1989. 204 [2] с.
- В. С. Высоцкий: исследования и материалы. [Сб. Редколлегия: Ю. А. Андреев (науч. ред.) и др.]. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1990. 190 [2] с.
- Гайтукаев К. Б. В пламени слова. Критич. ст. и исслед. Грозный: Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние «Книга», 1989. 223 [1] с.
- Георгиев Л. Владимир Высоцкий — знакомый и незнакомый. [Пер. с болг.]. М.: Искусство, 1989. 139 [2] с.
- Голоса и краски России. Сб. выступлений на худож.-публицист. вечере изд-ва «Сов. Россия». [Ред.-сост. Б. А. Филев]. М.: Сов. Россия, 1989. 92 [2] с.
- Горбачев В. В. Постижение. Ст. о лит-ре. М.: Сов. Россия, 1989. 477 [2] с.
- Горелов П. Г. Крепнистый путь: Кн. лит.-критич. ст. [Послесл. В. Кожина]. М.: Молодая гвардия, 1989. 253 [2] с.
- Графин Д. А. Точка опоры: Статьи. Беседы. Портреты. М.: Изд-во Агентства печати «Новости», 1989. 316 [1] с.
- Гуманитарные и общественные науки: Тез. сообщ. Межфак. студ. науч. конф. Урал. ун-та им. А. М. Горького, 23—24 нояб. 1989. [Редколлегия: В. Е. Третьяков (отв. ред.) и др.]. Свердловск: УрГУ, 1989. 38 с.
- Действенность художественного слова: (О воспитат. потенциале лит-ры). [В. С. Брюховецкий, Р. Т. Громяк, В. А. Мельник, Е. В. Шпилевая; Отв. ред. Е. В. Шпилевая]. Киев: Наук. думка, 1989. 245 [2] с.
- Муса Джалиль и патриотические традиции в советской литературе: Материалы всесоюз. науч. конф., посвящ. 80-летию поэта-героя. [Сост. М. Б. Мардиева]. Казань: Татарское кн. изд-во, 1989. 238 [1] с.
- Жанр и композиция литературного произведения: Ист.-лит. и теорет. исслед. Межвуз. сб. [Редколлегия: В. Н. Захаров (отв. ред.) и др.]. Петрозаводск: ПГУ, 1989. 176 [1] с.
- Жуков И. И. Фадеев. М.: Молодая гвардия, 1989. 333 [2] с. (Жизнь замечат. людей: ЖЗЛ: Серия биогр.: Осн. в 1933 г. М. Горьким; 703).
- Забелин П. В. Поэты и стихотворцы: Обзор, рец., портр. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. 203 [2] с.
- Зельдович М. Г. В поисках закономерностей. О лит. критике и путях ее изучения. Харьков: Изд-во при Харьковском гос. ун-те, 1989. 160 с.
- Золотусский И. П. Исповедь Зоила: Ст., исслед., памфлеты. М.: Сов. Россия, 1989. 507 [3] с.
- Зуборев Л. И. Крик буревестника: Ист.-докум. повесть о М. Горьком и Богдановичах. Минск: Мастац. літ., 1989. 326 с.
- К огню вселенскому. Рус. сов. поэзия 1920—1930-х гг. [Сост., предисл. и коммент. Е. В. Грековой]. М.: Правда, 1989. 574 [1] с.
- Казинцев А. И. Лицом к истории. Лит.-критич. ст. М.: Современник, 1989. 188 [1] с. (Диалог со временем).
- Как мы пишем. Сборник. [Послесл. М. Чудаковой]. М.: Книга, 1989. 195 [1] с. Содерж.: А. Белый, М. Горький, Е. Замятин, М. Зощенко, В. Каверин, Б. Лавренев, Ю. Либединский, Н. Никитин, Б. Пильняк и др.
- Книги не молчат. Из публицистики восьмидесятых. [Для ст. возраста. Сост. И. Скороходова; Предисл. С. Баруздина]. М.: Детская лит-ра, 1989. 285 [2] с.
- Ковалев В. А. В ответе за будущее: Леонид Леонов. Исслед. и материалы. М.: Современник, 1989. 299 [2] с.
- Корзов Ю. И. Советская политическая драматургия 60—80-х годов. Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1989. 261 [2] с.
- Кощечкин С. П. Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С. Есенине. [Для ст. шк. возраста]. Минск: Юнацтва, 1989. 237 [2] с.
- Красноперов Д. А. Я увез из Перми воспоминание... Письма, дневники, воспоминания рус. писателей, связ. с Перм. Прикамьем. Пермь: Кн. изд-во, 1989. 286 [2] с.
- Крышук Н. П. Искусство как поведение. Кн. о поэтах. Л.: Сов. писатель, 1989. 415 [1] с.

- Кто написал «Тихий Дон»? (Пробл. авторства «Тихого Дона»). [Перевод]. Г. Хьетсо, С. Густавсон, Б. Бекман, С. Гил. М.: Книга, 1989. 192 с.
- Ланина Т. В. Александр Володин. [Драматург]. Очерк жизни и творчества. Л.: Сов. писатель, 1989. 317 [2] с.
- Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.: Сов. писатель, 1989. 605 [2] с.
- Луначарский А. В. Мир обновляется. [Вступ. ст. И. Луначарской]. М.: Молодая гвардия, 1989. 237 [2] с.
- Малые жанры прозы в литературах народов Поволжья и Приуралья. Сб. ст. [Отв. ред. Л. Д. Айтуганова, Т. И. Зайцева]. Ижевск: Удм. ин-т истории, языка и лит-ры, 1989. 164 [3] с.
- Мальгин А. В. Роберт Рождественский. Очерк творчества. М.: Худож. лит-ра, 1990. 204 [2] с.
- Маркова Е. И. М. Горький и И. Федосова: Препр. докл. на заседании президиума Карел. фил. АН СССР 26 сент. 1989 г. Петрозаводск: КФАН СССР, 1989. 17 [1] с. (Науч. доклады).
- Медведева К. А. Проблема нового человека в творчестве А. Блока и В. Маяковского: Традиции и новаторство. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1989. 290 [2] с.
- Мусаев А. И. Интернациональное в художественном образе. Фрунзе: Илим, 1989. 122 [2] с. (АН КиргССР, Ин-т яз. и лит-ры).
- Найман А. Г. Рассказы об Анне Ахматовой: Из кн. «Конец первой половины XX века». М.: Худож. лит-ра, 1989. 300 [2] с.
- Неверов А. В. Черты поколения. М.: Современник, 1989. 172 [1] с. (Диалог со временем).
- Неживой Е. С. Александр Воронский. Идеал. Типология. Индивидуальность. М.: Изд-во Всесоюзного заоч. политех. ин-та, 1989. 180 [1] с.
- Новиков В. И. Книга о пародии. М.: Сов. писатель, 1989. 540 с.
- «...Одним дыханием с Ленинградом...»: Ленинград в жизни и творчестве сов. писателей. [Очерки. Редактор Э. Ф. Кузнецова]. Л.: Лениздат, 1989. 395 [2] с.
- Озеров Л. А. О Борисе Пастернаке. М.: Знание, 1990. 62 [2] с.
- Орлицкий Ю. Б. Хранить вечно: Заметки о нар. искусстве Куйбышев. обл. Куйбышев: Кн. изд-во, 1989. 126 [2] с.
- Осипов А. Н. Основы фантастования: (Пособие для культпросветучреждений и любит. об-ний). М.: ВНИЦТИКПР, 1989. 126 с.
- Павловский А. И. Куст рябины: О поэзии М. Цветаевой. Л.: Сов. писатель, 1989. 350 [2] с.
- Перечитывая заново: Лит.-критич. статьи. [Сост. В. Лаврова]. Л.: Худож. лит-ра, 1989. 374 [2] с.
- Плагек Я. М. Верьте музыке. [Лит.-муз. очерки]. М.: Сов. композитор, 1989. 349 [2] с. Содерж.: О В. Маяковском, О. Мандельштаме, М. Цветаевой, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, М. Булгакове.
- Полякова Л. В. Поэзия и современность: «за» и «против». М.: Современник, 1989. 300 [2] с.
- Последний Лель: Проза поэтов есенинского круга. [Сост., авт. вступ. ст. С. С. Куняев]. М.: Современник, 1989. 572 [2] с.
- Поэтика русской советской прозы: Межвуз. науч. сб. [Редколлегия: В. С. Синенко (отв. ред.) и др.]. Уфа: БГУ, 1989. 119 [2] с.
- Приходько В. А. Горизонты В. М. Мухиной-Петринской: Критико-биогр. очерк. [К 80-летию писательницы]. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1989. 213 [2] с.
- Проблема художественности и анализ литературного произведения (в вузе и школе). Тез. докл. зон. науч.-практ. конференции 24—26 окт. 1989 г. [Редколлегия: Р. В. Комина и др.]. Пермь: ПГПИ, 1989. 84 [1] с.
- Проблемы художественного мышления и историко-литературный процесс. [Сб. ст. Отв. ред. А. Н. Давшан]. Ташкент: Фан, 1989. 124 с.
- Распутин В. Г. Знать себя патриотом. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1989. 38 [1] с. (Позиция).
- Рассадин С. Б. С согласия автора. Об экранизации отеч. классики. М.: Всесоюз. творч.-произв. об-ние «Киноцентр», 1989. 125 [2] с.
- Роднянская И. Б. Художник в поисках истины. М.: Современник, 1989. 382 [2] с.
- Русская советская проза: Хрестоматия. В 2 ч. [Учеб. пособие... Сост. Г. М. Благасова и др. Под ред. А. А. Журавлевой]. Л.: Просвещение, 1989. Ч. 1: 381 [2] с. Ч. 2: 382 [1] с.
- Рыленков Н. И. Насущный хлеб поэзии: Размышления, заметки, письма. [Предисл. А. Туркова]. М.: Сов. писатель, 1989. 311 [1] с.
- Современный литературный процесс. Проблемы историзма. [Сб. ст. Редколлегия: А. И. Алиева (отв. ред.) и др.]. Черкесск: Карачаево-Черкес. НИИ истории, филологии и экономики, 1989. 132 [1] с.
- Современный русский фольклор промышленного региона: Сб. науч. тр. [Редколлегия: В. П. Кругляшова (отв. ред.) и др.]. Свердловск: УрГУ, 1989. 103 [1] с.
- Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX веке. [Сб. ст. Отв. ред. В. А. Хорев]. М.: Наука, 1989. 205 [3] с. (АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики).
- Структурно-семантический и стилистический анализ художественного текста. Сб. науч. тр. [Редколлегия: Г. Ф. Калашникова (отв. ред.) и др.]. Харьков: ХГПИ, 1989. 144 с.

- Сушков Б. Ф.** Александр Вампилов. Размышления об идейн. корнях, проблематике, худож. методе и судьбе творчества драматурга. М.: Сов. Россия, 1989. 164 [1] с. (Писатели Сов. России).
- Тарасенко С. В.** Современная советская поэзия: Пособие для учителя. Киев: Рад. шк., 1989. 189 [3] с. (Б-ка учителя рус. яз. и лит-ры).
- Творческая платформа советской многонациональной литературы. Тез. докл. респ. науч.-теорет. конф. (нояб. 1989 г.).** [Редколлегия: С. Г. Асадуллаев (отв. ред.) и др.]. Баку: Изд-во Азерб. ун-та, 1989. 148 с.
- Традиции и перспективы изучения музыкального фольклора народов СССР.** Сб. ст. [Ред.-сост. Э. Е. Алексеев, Л. И. Левин]. М.: Б. и., 1989. 213 с.
- Удодов А. Б.** Пьеса М. Горького «На дне»: Худож. структура и авт. концепция человека. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1989. 183 [2] с.
- Устинов М. Е.** «Без России не напишешь...» Кн. критики. М.: Молодая гвардия, 1989. 62 [2] с.
- Филимонов О. В.** Время поиска и обновления: Из истории сов. лит. критики, 20-е годы. М.: Знание, 1989. 62 [2] с.
- Фольклор народов РСФСР: Современ. состояние фольклор. традиций и их взаимодействие: Межвуз. науч. сб.** [Отв. ред. Л. Г. Бараг]. Уфа: БГУ, 1989. 134 с.
- Функционирование жаровых систем: (Рассказ, новелла...).** Сб. науч. тр. [Редколлегия: А. Ф. Николова (отв. ред.) и др.]. Якутск: ЯГУ, 1989. 144 [1] с.
- Ханбеков Л. В.** Присягаю Уралу: Три лит. портр. [О Л. К. Татьяничевой, М. Д. Львове, В. В. Сорокине]. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1989. 255 [1] с.
- Хватов А. И.** Живые страницы, памятные имена. М.: Современник, 1989. 350 [2] с.
- Химич В. В.** Поэтика романов Л. Леонова. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1989. 141 [2] с.
- Хлебниковские чтения (3; 1989; Астрахань). Тезисы докладов III Хлебниковских чтений.** Астрахань: Б. И., 1989. 44 с.
- Ходасевич В. Ф.** Воспоминания о Горьком. М.: Правда, 1989. 46 [1] с. (Б-ка «Огонек», № 44).
- Хрулев В. И.** Мысль и слово Леонида Леонова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 186 [2] с.
- Художественная индивидуальность писателя и литературный процесс (Творчество Л. Мартынова).** Межвуз. сб. науч. тр. [Редколлегия: Э. Г. Шик (отв. ред.) и др.]. Омск: ОГПИ, 1989. 135 с.
- Художественная литература и духовная жизнь общества.** [О. В. Белый, В. С. Брюховецкий, Р. Т. Громьяк и др.]. Киев: Наук. думка, 1989. 267 [2] с.
- Цена метафоры, или Преступление и наказание Снявского и Даниэля.** [Сб. Сост. Е. М. Великанова]. М.: Книга, 1989. 526 [1] с. (Время. Судьбы).
- Чалмаев В. А.** Андрей Платонов: (К сокровен. человеку). М.: Сов. писатель, 1989. 445 [2] с.
- Чернова Н. Ю.** Костры памяти: [О поэтах, погибших в годы Великой Отеч. войны]. М.: Молодая гвардия, 1989. 221 [1] с.
- Четыре встречи с Владимиром Высоцким: По мотивам телевиз. передачи. Автор и ведущий Э. Рязанов.** М.: Искусство, 1989. 268 [2] с.
- Чуковский Н. К.** Литературные воспоминания. [Вступ. ст. Л. И. Левина]. М.: Сов. писатель, 1989. 327 [2] с.
- Чупринин С. И.** Настающее настоящее: Три взгляда на соврем. лит. смуту. М.: Современник, 1989. 159 [1] с. (Диалог со временем).
- Шевченко М. П.** Дань уважения: Рассказы о писателях: [Для детей]. Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1989. 220 [2] с. Содерж.: О А. Фадееве, М. Шолохове, А. Платонове, К. Паустовском, О. Берггольц и др.
- Шилов Л. А.** Анна Ахматова: (100 лет со дня рождения). М.: Знание, 1989. 62 [2] с.
- Штайн К. Э.** Язык. Поэзия. Гармония. Ставрополь: Кн. изд-во, 1989. 204 [2] с.
- Эволюция художественных форм и творчество писателя: Темат. сб. науч. тр.** [Редколлегия: Х. А. Адибаев (отв. ред.) и др.]. Алма-Ата: КазПИ, 1989. 91 с.
- Эфрон А. С.** О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. [Сост. и авт. вступ. ст. М. И. Белкина; Коммент. Л. М. Турчинского]. М.: Сов. писатель, 1989. 477 [2] с.
- Явчуновский Я. И.** Драма на новом рубеже. Драматургия 70-х и 80-х годов: конфликты и герои, пробл. поэтики. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. 220 [2] с.
- Ярмаченко Н. Д.** Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко. Кн. для учителя. Киев: Рад. шк., 1989. 189 [2] с. (Пед. б-ка).
- Баскаков В. Н.** Рукописные собрания и коллекции Пушкинского дома. Отв. ред. Т. С. Царькова. Л.: Наука, 1989. 77 [1] с.
- Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана: Аннот. кат. Публикации.** [Сост. М. С. Лесман и др.; Вступ. ст. Н. Г. Князевой]. М.: Книга, 1989. 462 [1] с.
- Русская литература. Советская литература. Спр. материалы. Кн. для учащихся ст. классов.** [Сост. Л. А. Смирнова]. М.: Просвещение, 1989. 447 [1] с.

Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректоры Г. А. Александрова, В. В. Крайнева, А. Х. Салтанаева и С. И. Семиглазова

Сдано в набор 14.08.90. Подписано к печати 18.12.90. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Фотонабор. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21.45. Усл. кр.-отт. 22.07. Уч.-изд. л. 29.39
Тираж 13635. Тип. зак. 635. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12